АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

АКАДЕМИК
Е. В. ТАРЛЕ

СОЧИНЕНИЯ

IX

Евг. Тарле

АКАДЕМИЯ НАУК СССР



АКАДЕМИК

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ТАРЛЕ



СОЧИНЕНИЯ
В
ДВЕНАДЦАТИ
ТОМАХ



1959

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА

АКАДЕМИК

Евгений Викторович ТАРЛЕ



СОЧИНЕНИЯ

ТОМ

IX



1959

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА



Е. В. ТАРЛЕ

Крымская война
II

Глава I

СОЮЗНИКИ В ВАРНЕ И ВЫСАДКА В КРЫМУ

1

Хотя уже 12 (24) марта 1854 г., т. е. за пятнадцать дней до формального объявления войны России, Наполеон III повелел образовать «восточную армию» и тогда же назначил ее главнокомандующим маршала Сент-Арно, но только в июне эта армия оказалась на Дунае и только в июле начала военные действия.

Несколько раньше стал искать неприятеля соединенный англо-французский флот, уже 4 (16) января крейсировавший в Черном море и поддерживавший сношения между Константинополем и Варной.

О том, что делалось на Черном море, в Севастополе, в главной квартире Меншикова, и как рисуют документальные свидетельства его поведение и настроение его приближенных весной и летом 1854 г. до высадки союзников, мы будем говорить в дальнейшем. Здесь достаточно пока сказать, что вплоть до июня Меншиков ничего не успел или, точнее, не сумел сделать для серьезной защиты русских берегов.

«Мне приходится здесь готовиться к отпору французских и английских десантов»,— пишет Меншиков графу Гейдену из Севастополя 4 марта 1854 г.[1] Но на самом деле ни к чему он ни в марте, ни в апреле, ни в мае не готовился.

Уже 2 (14) апреля 1854 г. началась переписка об эвакуации правительственных учреждений из Одессы в один из внутренних городов Новороссийского края. Все черноморские близлежащие порты (вроде Николаева) оказались в непосредственной опасности[2]. Но дело в течение всего апреля и мая почти и не вышло из стадии переписки. К счастью для России, морская разведка у союзников была не налажена, и они не знали, где им полезней всего начать нападение.

С момента проникновения союзного флота в Черное море в опасности оказался город Керчь. Для обороны ее почти

ничего не было сделано, и вице-адмирал Серебряков еще в середине апреля 1854 г. жаловался, что керченский градоначальник продолжает ничего не делать и все ждет предписаний [3]. А между тем значение Керчи было громадно: каботажное торговое плавание, имевшее базу в Керчи, кормило всю крымскую армию и войска северной части Кавказского побережья [4]. Неприятелю еще весной 1854 г. ничего не стоило налететь на почти беззащитную Керчь, овладеть всеми судами в бухте и увести их прочь. Но первой пострадала не Керчь, нападение на которую могло бы в самом деле быть в тот момент очень выгодным для союзников, а Одесса. Случилось это совершенно неожиданно.

9 (21) апреля английский паровой фрегат «Тигр» доставил адмиралу Дондасу, командиру британской эскадры, находившемуся в Галлиполи, официальный документ — объявление английской королевой войны России. Спустя несколько часов французский корабль «Аяччио» доставил французскому адмиралу Гамлэну послание императора Наполеона III к сенату, содержащее объявление войны России. Гамлэн знал, как императорское правительство в Париже ждет победоносных бюллетеней, и давно уже горел нетерпением, не теряя времени, напасть на русские суда или гавани. Но Дондас не торопился, да и вообще, пока союзная армия еще не высадилась в Варне полностью, незачем было, с английской точки зрения, начинать.

Однако Гамлэну очень повезло: именно англичане и дали ему нужный предлог для начала военных действий. В тот самый день, когда в союзном флоте было получено официальное известие об объявлении войны России, в гавань Галлиполи прибыл из Одессы английский паровой фрегат «Furious», который был туда командирован, чтобы забрать английского консула. Капитан фрегата доложил немедленно адмиралу Дондасу, что русские не уважают парламентеров и что 8 (20) апреля они стреляли в спущенную с фрегата шлюпку, шедшую под белым флагом и имевшую на борту офицера, посланного для переговоров. Капитан Вильямс Лоринг забыл прибавить, что эта шлюпка без всяких препятствий подошла к молу, где парламентеру и было сообщено, что консул уже уехал из Одессы. После этого шлюпка отправилась вполне благополучно обратно. Но затем, так как фрегат приходил не только за консулом, но и с целями некоторой разведки, то он направился к линии береговых батарей, после чего и были даны два предостерегающих выстрела, никакого вреда никому не причинивших. Бессмысленность и бесцельность приписываемого одесским властям преступления против международного права были так очевидны, что на донесение Лоринга, конечно, не было бы обращено ни малейшего внимания, если бы оно не подоспело удивительно кстати. Гам-

лэн прежде всего обиделся за английского парламентера; Дондасу не оставалось ничего другого, как тоже обидеться. Телеграмма Гамлэна в Париж морскому министру гласила, что Гамлэн откроет военные действия против Одессы, «чтобы потребовать у властей этого города репараций за возмутительное нападение портовых батарей на английский фрегат и английскую шлюпку, шедшую под парламентерским флагом». Приказ снаряженной против Одессы англо-французской эскадре гласил, что ей поручается блокировать одесскую гавань и «тщательно обследовать ее подступы».

Девять французских судов 8 (20) апреля вечером уже стояли перед Одессой. Спустя несколько часов подошло еще три паровых фрегата, отправленных к ним на подмогу из Балчика [5].

Состав английских судов, принявших участие в экспедиции, был значительно больше французского.

По русским показаниям, к Одессе подошла соединенная англо-французская эскадра из шести линейных (трехдечных) кораблей, тринадцати (двухдечных) фрегатов и девяти пароходов. Эскадра стала в трех километрах от города.

На другой день с утра город Одесса был объявлен на осадном положении. В четыре часа дня к начальствующему войсками барону Д. Е. Остен-Сакену явился парламентер и от имени адмирала Дондаса и адмирала Гамлэна потребовал выдачи всех находящихся в гавани русских судов, а также судов (торговых) английских и французских. Остен-Сакен объявил, что на такое дерзкое требование он и отвечать не станет.

На следующий день, 10 (22) апреля, в $6^1/_2$ часов утра девять неприятельских пароходов (один 54-пушечный, восемь других большей частью 32-пушечных) подошли к берегу и начали бомбардировку. Огонь был направлен на батареи, большинство которых были так слабо вооружены, что не могли отвечать на огонь неприятеля. На самом конце Практического мола стояла 6-я, или так называемая левая батарея, которая одна только приняла активное участие в борьбе. Начальствовал там прапорщик Щеголев. У него было всего четыре орудия, из которых одно было скоро подбито, другое было так поставлено, что его амбразура препятствовала обстрелу судов, когда они заняли позицию. Его батарею обстреливали восемь пароходов и линейный винтовой корабль. Батарея Щеголева была приведена к молчанию после шестичасовой перестрелки. Стоявшие недалеко русские суда были объяты пламенем. Щеголев и состоявшие при батарее фейерверкеры и рядовые вели себя в течение этих часов неравного боя с необычайным мужеством. Затем неприятель отрядил несколько пароходов к предместью Пересыпи и к Практическому молу, очень близко от берега. Канонада направилась на суда, стоящие в Практической гавани, и на дома

в Пересыпи. Попытка высадки (по-видимому, разведчиков, потому что производить десант не предполагалось) не удалась и стоила неприятелю нескольких жертв; было несколько убитых и раненых и с русской стороны.

В общем обстрел продолжался около двенадцати часов, после чего неприятельские суда отошли к своей позиции [6].

11 (23) апреля неприятельская эскадра снялась с якоря и ушла в море. С русской стороны утверждали, что три парохода и один линейный корабль из числа принимавших участие в бомбардировке получили некоторые повреждения.

Действительно, французские фрегаты «Вобан» и «Сампсон», даже и по французским показаниям, получили повреждения от каленых ядер. Но главная потеря ждала эту эскадру впереди. Корабли и фрегаты, составлявшие эскадру, которая бомбардировала Одессу, крейсировали некоторое время поблизости, производя порученную им разведку,— и 30 апреля (12 мая), застигнутый туманом, сел на мель близ Одессы один из лучших английских паровых фрегатов «Тигр». Отчаянные усилия экипажа спасти фрегат остались совершенно тщетными.

Русские быстро доставили артиллерийские орудия на берег и расстреляли фрегат. Экипаж сдался в плен, фрегат сгорел дотла.

Принимая во внимание ничтожные, с военной точки зрения, результаты бомбардировки Одессы, должно признать, что союзная эскадра заплатила потерей «Тигра» несоразмерно высокую цену за удовольствие, доставленное парижскому повелителю, состоявшее в опубликовании невероятно пышного бюллетеня об одесской «победе». Гамлэн сигнализировал адмиралу Дондасу следующее: «Мы живо чувствуем потерю „Тигра“, это также и для нас национальное несчастье» [7].

Заметим к слову, что несколько пожаров, вызванных в одесской гавани, и уничтожение щеголевской батареи даже парижская пресса не сумела все-таки раздуть в большую победу, несмотря на первоначальные попытки сделать это. Что касается Англии, то в Лондоне были летом 1854 г. очень недовольны обоими адмиралами, действовавшими в русских морях. Чарльз Непир после бесплодных прогулок по Балтийскому морю отошел от Кронштадта «к возмущению всего флота». Адмирал Дондас, бесплодно постреляв по Одессе, тоже перестал подавать признаки жизни,— и газета «The Press» укоряла Дондаса, что он только то и знает, что молится. «Замечательное дело,— пишет в своем дневнике лорд Мэмсбери,— из двух адмиралов, командующих флотом, один в Черном море, а другой в Балтийском, один постоянно молится, а другой — постоянно ругается, и только в одном они оба сходятся: ни тот ни другой не сражаются» [8]. Но с конца июня и с начала июля с напряженным вни-

манием оба союзных правительства начали следить за действиями своих сухопутных войск, оказавшихся, наконец, в Варне, в турецкой Болгарии, в непосредственной близости от еще не совсем покинувшего территорию Дунайских княжеств неприятеля.

2

Как уже было упомянуто, еще 12 (24) марта 1854 г. Наполеон III подписал декрет, повелевавший сформировать особую восточную армию, главнокомандующим которой был назначен маршал Сент-Арно. Эта армия, постепенно перевозившаяся, прибыла в восточные воды к середине июня в составе четырех пехотных дивизий, одной кавалерийской и $7^1/_2$ батарей (из них три пеших, три конных, одна батарея горных гаубиц и $^1/_2$ ракетной батареи), а также особого полевого артиллерийского парка. В общем в армии числилось к началу военных действий около 40 000 человек. Сверх того, был сформирован осадный парк из 24 пушек, 12 гаубиц и 22 мортир. Для обслуживания осадного парка было назначено семь рот. Посадка на суда началась 24 марта (5 апреля) 1854 г. Первая высадка армии произошла в Галлиполи. Только к концу мая французские дивизии стали переправляться в Варну. Но в начале июня переправлено было лишь три дивизии, потому что четвертая (под начальством генерала Форе) отправлена была в Афины, чтобы обеспечить Турцию от грозившей ей войны со стороны греков. Только 27 июня (9 июля) Форе со своей дивизией сел на суда, чтобы отправиться в Варну. Таким образом, французы появились на Дунае, когда русская армия уже начала уходить оттуда. Вообще же часть французской восточной армии осталась в Галлиполи и в Константинополе. Оба главнокомандующих, маршал Сент-Арно и лорд Раглан, опередили свои армии и уже в начале мая встретились в Константинополе.

С именем маршала Сент-Арно связана самая начальная стадия военных действий французской армии в Крымскую войну.

В газетной корреспонденции Карла Маркса (в «New-York Daily Tribune» от 24 июня 1854 г.) мы читаем: «Теперь нельзя пройти по улицам Лондона, чтобы не увидеть толпу, стоящую перед патриотическими картинами, на которых изображена интересная группа „трех спасителей цивилизации“: султан, Бонапарт и Виктория». Маркс приглашает читателей ознакомиться с портретом генералиссимуса, маршала Сент-Арно [9]. Долги, кутежи, сомнительные финансовые проделки, безобразные в моральном смысле поступки — все это было известно всем, следившим тогда за карьерой Сент-Арно. И с моральной точки зрения поименованные в иронических кавычках Марксом

правители не могли избрать генералиссимуса хуже маршала Сент-Арно.

Нам нужно тут лишь отметить черты его ума и характера, выявившиеся за последние месяцы его жизни, которая оборвалась через несколько дней после первой битвы с русскими в Крыму, куда он перевез свою армию. Вглядимся в эту по-своему любопытную фигуру военного хищника, кондотьера XIX столетия и колониального завоевателя.

Маршал Сент-Арно провел бурную, гульливую, буйную, приключенческую жизнь. Не было злодеяния, перед которым он остановился бы, наслаждений, которых он не испытал бы, опасности, перед которой отступил бы, человека, которого пожалел бы. Он воевал очень долго в Алжире, служил в африканском «иностранном легионе», арабов за людей никогда не считал, своим подчиненным позволял грабить их и убивать при малейшем сопротивлении и сам грабил и убивал, но и расстреливал своих солдат беспощадно за малейший признак неповиновения с их стороны. Это было единственное, чего он не прощал им. Его отряд головорезов, воспитанных им же, получил не только у арабов, но и французов название «адской колонны». Арабов ему случалось (например, в Шеласе, в 1845 г.) загонять массами в пещеры и потом лишать их жизни поголовно, впуская в пещеры дым. Но при этом Сент-Арно, следует заметить, всегда скромно оговаривался, что является лишь подражателем и продолжателем генерала Пелисье, которого из товарищеской корректности не хотел лишать авторской славы и первенства в этом открытии: Пелисье впервые измыслил и пустил в ход этот прием при усмирении Дахры (там же, в Алжире) на год раньше. Луи-Наполеон, умевший выбирать нужных ему людей, вызвал Сент-Арно в 1851 г. во Францию из Африки и затем назначил его военным министром. Готовя переворот 2 (14) декабря, принц-президент хотел иметь полную уверенность, что его военный министр, если понадобится, снесет Париж с лица земли. Сент-Арно выполнил все, на что рассчитывал его повелитель,— и кровавая бойня 4 (16) декабря, учиненная над безоружной толпой на Больших бульварах, вызвала полное одобрение сверху: без этого происшествия переворот 2 (14) декабря был бы как-то не полон, так как и 2 и 3 декабря прошли почти без кровопролития и Франция еще недостаточно была терроризирована. Таков был человек, который с самого начала восточных осложнений не переставал мечтать о посте главнокомандующего действующей армией. Маршал Сент-Арно был талантливым военачальником, зорким, энергичным, быстрым и удачливым в решениях, лично бесстрашным. Он до такой степени нуждался в острых ощущениях, что не пропускал и в мирное время ни одного большого пожара в городе,

если таковой был поблизости, участвовал в тушении, рисковал жизнью. В нормальной жизненной обстановке он чувствовал себя ненормально. Очень уже широко он пожил, железный организм свой вконец надломил, жег свечу с двух концов и в 57 лет оказался на краю могилы. Он домогался поста главнокомандующего потому, что без войны, без новых приключений жизнь ему казалась просто противной. Знал ли он, что ему жить осталось всего несколько месяцев, или окружающим только казалось, что он это так уж твердо знает, но Сент-Арно торопился изо всех сил поскорее устроить порученную ему императором восточную армию и повезти ее на Дунай. Денег после переворота 2 (14) декабря он получил сколько угодно: Наполеон III в этом отношении вполне походил на своего дядю и тоже умел щедро награждать дееспособных своих слуг. Маршальский жезл Сент-Арно также получил. Теперь, в 1854 г., ему хотелось лишь одного: опять испытать кровавую потеху и все наслаждения, которые она ему всегда давала и без которых он долго обойтись не мог; хотелось успеть показать себя не в войне с арабами в Африке или с какими-то презренными штатскими на парижских бульварах, а в схватке с войсками величайшей империи, в войне против русского царя.

В начале апреля 1854 г., вскоре после назначения Сент-Арно главнокомандующим французской армии, в Париж прибыл его английский коллега, только что назначенный главнокомандующим английской армией, лорд Раглан, и 11 (23) апреля представился императору в Тюильрийском дворце и познакомился с маршалом Сент-Арно. Трудно представить себе двух людей, до такой степени ровно ни в чем несходных, как этот честный, тугой, массивный, прямолинейный, медлительный и в мышлении и в движениях английский аристократ, весь век соблюдавший и шаблон морали, и шаблон церковной веры, и шаблон светского быта, и вообще все шаблоны, принятые в его касте, и вне их не живший и не мысливший,— и французский маршал, выходец из мелкобуржуазных низов, авантюрист и кондотьер по натуре, никогда не останавливавшийся даже перед границами уголовной наказуемости, человек быстрой сметки и очень тонкого чутья. Сент-Арно весь век провел на войне,— а лорд Раглан, с тех пор как потерял руку, 25 лет от роду, в битве при Ватерлоо в 1815 г., не видел ни войны, ни лагеря и в военном деле смыслил очень мало, назначен же был преимущественно за свой аристократизм. Сент-Арно мгновенно понял нехитрого лорда и на первых же порах, правда уже не в Париже, а когда они оба прибыли в Турцию, попытался его обмануть. Был деликатный вопрос, над которым Сент-Арно стал задумываться уже давно: кому будет подчиняться Омер-паша? То есть: войдет ли турецкая армия в состав французской или английской,

или будет самостоятельной? Маршал Сент-Арно решил поступить с лордом Рагланом так, как он привык поступать при переговорах с шейхами арабских племен, т. е. поставить его перед совершившимся фактом, и если факт еще не совершился, то солгать, что он совершился. Это всегда сильно облегчало дело. Поэтому он сообщил Раглану, что Омер-паша будет подчинен ему, маршалу Сент-Арно. Но тут он ошибся. Он упустил из виду, что при лорде Раглане находился посол Англии лорд Стрэтфорд-Рэдклиф. Раглан имел одно хорошее свойство: вовремя отстраняться и предоставлять, где нужно, говорить за него более бойким, чем он сам. И он предоставил лорду Стрэтфорду объясниться. Стрэтфорд ласково, дипломатически свел к нулю эту попытку Сент-Арно. Тогда Сент-Арно предложил другое: чтобы главное командование было объединено и чтобы все три армии — английская, турецкая, французская — подчинились тому из трех главнокомандующих, который старше в чине. А так как, случайно, именно он, Сент-Арно, маршал и поэтому старше чином, чем Раглан и Омер-паша, то уж он, так и быть, согласен стать их начальником. Но и это не вышло.

Лорд Раглан показал маршалу инструкцию, полученную им от британского кабинета: инструкция повелевала лорду Раглану подчиняться исключительно британскому военному министру и никому более.

Стрэтфорд, до сих пор, всю осень, всю зиму, всю весну 1853—1854 гг. энергично боровшийся всеми мерами против французского посла Барагэ д'Илье за власть и влияние в Турции, вовсе не желал уступить первенство французам. Он и впредь упорно отстаивал Раглана и Омер-пашу от всех покушений со стороны Сент-Арно умалить их власть.

Совершенно неожиданно для Раглана Сент-Арно вдруг заявил, что он не намерен немедленно же ехать с армией в Варну и оттуда выступить на помощь Омер-паше и особенно осажденной и явно близкой к гибели Силистрии. Причиной было, во-первых, незавершенное устройство экспедиционной французской армии, а затем нежелание начинать действовать, пока английский корпус полностью не доставлен в турецкие воды. А так как французская армия была больше английской, то, несмотря на все ухищрения Стрэтфорда-Рэдклифа, в конечном счете в ходе военных действий воля маршала Сент-Арно являлась решающей. Задержка продолжалась около двух недель.

В течение конца мая и всего июня французские и английские войска перевозились на транспортных судах из Галлиполи и из Константинополя в Варну, высаживались в порту и распределялись в городе и в окрестностях. 66-летний грузный, однорукий лорд Раглан, 40 лет уже не видевший войны, вполне подчинялся в это время маршалу Сент-Арно во всем, что каса-

лось организации варнинского лагеря. Фактически очень большое значение в английском лагере принадлежало начальнику кавалерии лорду Лэкэну, который был и моложе Раглана на 11 лет, и энергичнее, и гораздо больше смыслил в военном деле, чем его начальник.

Так казалось во время стоянки в Варне. После битвы под Балаклавой, как увидим в своем месте, это перестало казаться.

3

Уже к первым числам июля Сент-Арно считал, что в Варне и около Варны у него вскоре будет около 50 000, а у лорда Раглана — около 20 000 человек.

Расположившись лагерем в Варне и в ближайших к Варне селах и деревнях этой части Болгарии, союзники уже с самого начала почувствовали себя далеко не в дружественной обстановке.

Болгары в своей массе сочувствовали русским, а не союзникам, пришедшим укрепить турецкое владычество в Болгарии и на всем Балканском полуострове. Французские источники говорят о «слепом фанатизме болгарского населения, который возбуждался темными происками», другими словами,— русской пропагандой. «Фанатизм» заключался в том, что если болгары не очень хорошо знали, какого рода результаты даст им русская победа, то зато они вполне отчетливо представляли себе, как отзовется на них победа турок, которым помогать и прибыли Сент-Арно с Рагланом. Начались неприятности с вопроса о перевозочных средствах. Хотя союзники предлагали за работу хозяину одного вола и одной телеги в день три франка, т. е. примерно в пять раз больше обычной цены, да еще притом, независимо от платы, кормили весь день и волов и погонщиков,— но болгары упорно не шли на эту соблазнительную приманку. Тогда Сент-Арно, привыкший за свою долгую карьеру в Африке не очень церемониться с гражданским населением, приказал силой захватить («удержать» — «retenir», как он деликатно выражается в одном донесении) 800 болгар с их волами и телегами. Но хотя их «стерегли не спуская глаз (étroitement gardés à vue)», однако с посредственным результатом: в первую же ночь 150 болгар (из числа этих 800 арестованных) бежало, бросив и волов и телеги, а другие стали «разбивать свои телеги или поджигать их, чтобы они не могли служить для транспортирования наших припасов»,— пишет маршал. Все это болгары проделывали, рискуя попасть под расстрел.

Правда, кроме болгар, в Варне были и турки и (в малом, впрочем, количестве) валахи и молдаване. Но турки так упорно

не желали работать, по наблюдению французов, что могло показаться, будто коран запрещает им это, а валахи и молдаване не работали вследствие лени, хотя и стремились к вечеру получить три франка. Приходилось, побившись бесплодно с турками и молдаванами, снова обращаться к коренному населению — болгарам, которые умели работать, любили работу, но не желали помогать союзникам своих господ и притеснителей; приходилось снова «задерживать» озлобленных болгар и «стеречь» их... Взаимоотношения между самими союзниками и в армии и во флоте портились не по дням, а по часам. Это началось уже давно. Когда обе эскадры стояли в Безике, положение стало настолько напряженным, что об этом заговорили в Европе. Прусский генерал фон Герлах, сидя в Берлине, знал и об этих ссорах в Безикской бухте, и о том, что Франция уже опасается наперед, что уничтожение русского флота будет слишком выгодным для англичан [10]. Затем, в апреле-мае 1854 г., в Галлиполи, где жилось довольно голодно и неуютно, французские офицеры не скрывали своего неприязненного взгляда на роль Англии. «Сердились на англичан, которые нас завлекли в это большое предприятие. Офицеры обеих наций не встречались и не искали встреч один с другим...»

«...Англия нам послала лишь вспомогательный корпус...»,— пишет французский офицер, правдивый и искренний свидетель, Шарль Боше о пребывании в Галлиполи [11]. Раздражала французов и неслыханная для них, африканских вояк, избалованность англичан в пище и во всем обиходе, и стремление английского начальства сваливать тяжелую работу по укреплению галлиполийского порта исключительно на французов, и слишком скромные размеры фактического участия англичан в походе. Дальше, под Севастополем, эти взаимные неудовольствия еще усилились: англичане очень хорошо замечали эту враждебность своих «союзников» и обижались. 5 июля 1854 г. Омер-паша прибыл в Варну, и Сент-Арно устроил парад французским войскам. «Нам рекомендовали кричать: „Да здравствует Турция! Да здравствует Англия!“ Но этот приказ слабо выполнялся и мало одобрялся». Чувству французской армии эти приветствия не отвечали нисколько, потому что Турция нравилась тогда французам так же мало, как и Англия. «Будучи свидетельницей слабости Турции, ее глубокого упадка, наша армия судила яснее, чем наша дипломатия,— говорит тот же французский офицер,—русский император имел за себя разум и правду, когда он утверждал, что Турция агонизирует; единственная его вина заключалась в том, что, казалось, он желал поживиться ее остатками, а это не было в интересах остальной Европы... Мы становились покровителями турок, не надеясь получить за это малейшую благодарность» [12].

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

АКАДЕМИК

Е. В. ТАРЛЕ

КРЫМСКАЯ ВОЙНА



ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКВМФ СОЮЗА ССР

МОСКВА—1943

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ КНИГИ «КРЫМСКАЯ ВОЙНА» (ч. II)

4

Во французском экспедиционном корпусе много говорили о поляках, о том, что «казачий отряд» Садык-паши (Михаила Чайковского), находящийся в составе армии Омера, является только застрельщиком, что за ним явится очень большой легион польских добровольцев, что в Париже снаряжается польская армия, что император Наполеон намерен освободить Польшу, и поэтому, изгнав русских из Дунайских княжеств, союзники двинутся прямо на север в Польшу. Эти слухи продолжались все лето. На самом деле они были в значительнейшей мере плодом фантазии, но нельзя полагать, что возникли совсем уже без всяких оснований. Об этом необходимо сказать тут же несколько слов.

Некоторое время Наполеон III, прямо не высказываясь, делал вид, что он хотел бы изгнать русских из Польши и восстановить польское государство. Но он избегал об этом много говорить, а предоставлял такого рода речи своему двоюродному брату принцу Наполеону. Польские эмигранты не видели, что ими играют, что они—пешки в дипломатической игре французского императора. Только постепенно они убедились в этом, да и то очень скоро забыли. Так или иначе, польская эмиграция во главе с князем Адамом Чарторыйским с восторгом ухватилась за эту новую лучезарную надежду.

У польской эмиграции в 1853 и в 1854 гг. эта надежда основывалась еще на том, что, казалось, будто уже первый шаг сделан, уже есть на востоке и воюет против русских польская военная сила, предводительствуемая польским патриотом, повстанцем 1831 г. Чайковским, Садык-пашой, и что этот отряд Садык-паши будет зародышем польской армии. Нужно было лишь упросить Наполеона III о разрешении сформировать и вооружить «польский легион» добровольцев — и затем переправить его на восток, а там соединить его с казачьим отрядом Садык-паши.

Странный был человек этот Михаил Чайковский. Фантазер, дилетант в политике и в беллетристической литературе, где он тоже подвизался, временами увлекающийся польский патриот, временами совсем особого, оригинального типа украинофил, мечтавший о какой-то фантастической польско-украинской казацкой республике, человек с порывами благородства и вместе с тем способный иногда на неожиданные и очень некрасивые поступки,— Михаил Илларионович Чайковский давно уже составлял предмет бесконечных толков в польской эмиграции.

Когда он впоследствии вдруг испросил у Александра II разрешение вернуться в Россию и, вернувшись, покончил самоубийством,— некрологическая литература о нем отразила эти толки и недоумения. Чайковский очень любил вспоминать,

что если по отцу он польский шляхтич из западнорусского края, то по матери — прямой потомок украинского гетмана Ивана Брюховецкого. Он участвовал в восстании Польши в 1830—1831 гг., прославился своей храбростью. В эмиграции в Париже очень сблизился с Чарторыйским,— и в качестве представителя Чарторыйского поехал в Турцию. У него была идея: образовать из казаков-раскольников, некогда бежавших от преследований из России, особый казацкий отряд, а затем и славянское особое войско, которое было бы, оставаясь в пределах Турции и признавая верховную власть султана, оплотом широкой автономии всех славянских народов. Все это было очень туманно и запутанно, и Чайковский часто менял программу, но он верил всякий раз в свою идею. В 1848 и 1849 гг. Николай раздраженно следил за Чайковским, собственноручно писал о нем Абдул-Меджиду, домогаясь его высылки, и когда по желанию царя, в 1849 г., у Чайковского, находившегося в Турции, велено было французским правительством отобрать французский паспорт, то Чайковский внезапно принял магометанство, получил имя Садык и стал турецким подданным. В 1853 г. в начале войны он образовал казацкий полк на деньги, выданные ему турецким правительством, и отправился воевать на Дунай. Там он включился в армию Омер-паши, который впоследствии давал ему ответственные поручения, даже назначил однажды командовать одной турецкой дивизией.

На него-то и возлагала некоторое время большие надежды часть польской эмиграции в Париже, в том числе великий польский поэт Мицкевич.

Старый князь Адам Чарторыйский ласкал Чайковского и считал его чуть ли не главным оплотом, надеждой для польского дела в дунайском походе. Но другие вожди польской эмиграции не любили Садык-пашу, например, граф Замойский не мог простить ему религиозного отступничества, перехода в ислам. Нужно сказать, что и Чайковский не стеснялся в выражениях, когда речь заходила о католицизме и об иезуитах, которых он терпеть не мог. Но и вообще слишком уж авантюристский склад Чайковского не позволял вполне на него полагаться.

Но что же было делать? Адам Чарторыйский выслушивал милостивые, но ничего точного не обещающие слова Наполеона III, затем отправлялся к министрам, к Друэн де Люису, к военному министру Вальяну, а те его встречали небрежно, нетерпеливо. Он хлопотал об образовании особого польского корпуса войск, а министры говорили, что это невозможно, и предлагали полякам поступать в иностранный легион. Чарторыйский говорил, что просит хоть о том, чтобы в этом французском (африканском) «иностранном легионе» был особый польский батальон и чтобы, если впоследствии будет образован

польский корпус, полякам было бы позволено всем этим батальоном включиться в корпус,— а ему и этого обещания не давали. Дело в том, что в 1854 г. положение Наполеона III в польском вопросе было очень уж деликатное. Восстановление Польши было, правда, ему желательно, однако вовсе не являлось для него первоочередной задачей, и он понимал, что это может затянуть войну с Россией до бесконечности. А с другой стороны, Франц-Иосиф и Буоль очень подозрительно смотрели на эти переговоры и сношения Адама Чарторыйского с французским двором: ведь восстановление Польши грозило отторжением от Австрии польских областей, вошедших в состав Габсбургской монархии по трем разделам Польши в XVIII столетии. Между тем Наполеону III военный союз с Австрией представлялся такой заманчивой и важной дипломатической победой, за которую можно было, по крайней мере сейчас, в 1854 г., пожертвовать какими угодно польскими симпатиями.

И вот польский вельможа, князь Адам, которого некогда так дружески принимал, осыпал такими ласками, окружал таким почетом еще сам император Александр I, этот царский любимец, у которого в имении царь гостил, на старости лет должен был обивать пороги парижских канцелярий, просить, напоминать, ждать часами в приемных, кланяться чиновникам, унижаться, и главное без всяких сколько-нибудь стоящих результатов. Между тем поддержка Наполеона III была бесконечно важна для поляков еще и потому, что на Чайковского становилось все труднее и труднее надеяться. Он чувствовал в 1854 г. себя больше Садык-пашой, чем Чайковским.

В Париж приходили грустные вести от польского патриота Сатурнина Клечинского из турецкого лагеря, где он наблюдал Чайковского. Оказывалось, что Садык-паша не очень хорошо и совсем не искренне относится и к пану князю (Чарторыйскому) и к пану графу (Замойскому) и интригует где только может и против них и против польского дела (gdzie tylko może intryguje sekretnie) [13]. Всю весну и лето 1854 г., т. е. именно тогда, когда легион польских добровольцев, о формировании которого мечтала польская эмиграция, мог бы себя проявить на Дунае, Адам Чарторыйский не мог решительно ничего добиться в Париже, и чем больше с каждым месяцем возрастали надежды Наполеона III и Англии на вступление Австрии в войну, тем невежливее и нетерпеливее обращались французские сановники со стариком. В конце июня 1854 г. Друэн де Люис прямо заявил Чарторыйскому, что казацкий отряд (куда именно и имелось в виду направить добровольцев-поляков) *не имеет значения*. Выслушав это, Чарторыйский спустя некоторое время снова просил аудиенции у министра иностранных дел. Друэн де Люис всячески уклонялся, так что польский князь «с трудом

до него дошел». Он «должен был ждать на аудиенции *три часа* после того часа, который был ему назначен». Когда, наконец, его приняли, то едва он начал говорить, как Друэн де Люису возвестили, что приехал английский посол,— и аудиенция была сокращена. Друэн де Люис нетерпеливым тоном объявил, что сама Турция должна решать, где и какой корпус ей следует создавать, на Дунае или в Азии, и что Франция в это не вмешивается и не примет в этом никакого участия. Если полякам угодно поступать в африканский французский иностранный легион, то их вместе с легионом перевезут даром на восток, но больше ничего французское правительство на себя не возьмет. Друэн де Люис заявил, что он хочет, чтобы Чарторыйский знал, как обстоит дело, и не строил себе иллюзий. «Напрасно князь Адам ссылался на слова императора. Друэн де Люис только выразил мысль, что если император говорит одно, а министры другое, то в государстве не может быть порядка».

Если такой осторожный бюрократ, царедворец и карьерист, как Друэн де Люис, объяснялся столь резко и развязно, то именно потому, что Наполеон III и в самом деле, кроме туманно-ласковых слов, полякам ничего не говорил и ничего определенного не обещал, а министрам своим отнюдь не разрешал очень ввязываться во все эти польские эмигрантские предприятия, от которых непосредственной большой пользы на востоке ждать было нельзя, а вред они могли принести бесспорно, отпугнув Франца-Иосифа от сближения с союзниками. Единственной реальной силой, на которую ссылался Чарторыйский, был все-таки только этот самый Чайковский, Садык-паша, но у Наполеона III были на востоке, как и в прочих трех странах света многочисленные и превосходные шпионы, и он не мог не знать того, что давно уже было сказкой польского эмигрантского Парижа: что Садык-паша ведет себя совершенно самостоятельно от князя Адама и что его маленькая кавалерия — не польское, а турецкое войско.

В середине 1854 г. Садык-паша собрал уже восемь казачьих сотен, правда, неполных, так что у него было не 800, а лишь 600 казаков. При осаде Силистрии казаки Садык-паши несли сторожевую службу, сопровождали обозы с провиантом и боеприпасами, подходившие к осажденной крепости от Омер-паши. После снятия осады с Силистрии Садык-паша шел в авангарде армии Омера при ее движении на эвакуированный русскими Бухарест. Но австрийское начальство относилось к отряду Садык-паши подозрительно, и «положение казаков стало трудным» [14]. Вообще же этот маленький отряд нес также разведочную службу и производил (например, на английского комиссара Саймондса) такое впечатление, что эти казаки — наилучшая часть турецкой кавалерии [15].

Но могли ли помочь польскому делу эти лестные отзывы английского наблюдателя о кавалерии Садык-паши, когда самому Садык-паше вредило в Англии больше всего именно то обстоятельство, что он на самом деле не турок Садык-паша, а поляк Чайковский? И Кларендон, и Пальмерстон, и сам Эбердин летом и осенью и зимой 1854 г. напряженно ждали, точь-в-точь как Наполеон III и Друэн де Люис в Париже, выступления Австрии,— и меньше всего желали поэтому раздражать и беспокоить австрийский кабинет разговорами о полном восстановлении польского государства. Замойский отправился в Константинополь и здесь был принят в начале июня (1854 г.) британским послом лордом Стрэтфордом-Рэдклифом, который и сообщил ему следующее: он, Стрэтфорд, говорил о польских предложениях с австрийским послом в Константинополе Бруком,— и Брук «не противится» тому, чтобы поляки и венгры помогали туркам, но только в Азии (т. е. на Кавказе). Другими словами, Австрия вовсе не желала подпускать поляков к Дунаю, откуда не очень далеко до Галиции и Польши, до Львова и Кракова. Для Стрэтфорда в этот момент желание Австрии было законом: он тоже ждал с часу на час вступления Австрии в войну на стороне союзников. Это было совсем не то, о чем первоначально хлопотали и к чему стремились вожди польской эмиграции. Но что же им было делать? Да и что другое мог ответить лорд Стрэтфорд Замойскому, когда почти в это же самое время, в мае 1854 г., молодой князь Владислав Чарторыйский, пребывавший в Лондоне, жаловался, что в разговорах с ним английские министры «обливают его холодной водой (zimną wodą oblewają)» и что такая же холодная вода льется на поляков и на заседаниях парламента [16].

И английские министры и Наполеон III просто использовали домогательства и визиты Адама Чарторыйского и присутствие Садык-паши на Дунае и разговоры о польском легионе, чтобы усилить давление на Австрию, пугая ее, между многим прочим, еще и тем, будто, если Австрия не перейдет на их сторону,—они восстановят Польшу, и тогда Габсбургская держава потеряет Краков и всю Галицию. Ничего серьезного из этого «польского легиона» не вышло — и выйти не могло.

5

Сент-Арно в Варне раньше польских эмигрантов в Париже убедился, что ничего сколько-нибудь существенного для союзной армии из всех этих разговоров о поляках не получится. Раздражало маршала и это, а еще больше раздражали союзники. В турецкой армии он видел массу недостатков, роковых,

неискоренимых, традиционных; Омер-пашу понял вполне, и никакой отрады от этого обстоятельства не ощутил; на англичан также взирал весьма критическим оком.

Мнение Сент-Арно мало расходилось с мнением его ближайшего помощника, дивизионного генерала Канробера, который стал впоследствии вместо него главнокомандующим. А Канробер чем больше наблюдал английских союзников, тем менее оставался ими доволен. Их храбрости он не отрицал и считал, что на поле битвы они держатся хорошо. Но его возмущало обилие негодных элементов, пьяниц, бродяг и иных сомнительных людей, попадавших в английскую армию по добровольному найму, так как обязательной воинской повинности в Англии не существовало. Достаточно сказать, что, по сведениям Канробера (диктовавшего свои воспоминания Жермену Бапсту через много лет после Крымской войны), за 16 лет, с 1854 по 1870 г., из английской армии дезертировала *четвертая часть всего ее солдатского состава*. Держать в руках эту массу английское военное начальство считало возможным, только применяя жесточайшие наказания вроде русского проведения сквозь строй. Канробер вспоминает, как происходили у англичан эти публичные экзекуции. Но французские солдаты, с другой стороны, завидовали англичанам в том, как относительно хорошо было у них поставлено снабжение теплым бельем, фланелевыми и шерстяными фуфайками, теплой верхней одеждой, прекрасной обувью. «Англичанам незачем было при каждой вылазке снимать с русских (трупов — *Е. Т.*) сапоги, которые так ценились нашими (французскими — *Е. Т.*) солдатами»,— с горечью говорит Канробер [17]. Сент-Арно видел, подобно Канроберу, подобно Боске, что английские солдаты, набранные наскоро с бору да с сосенки, на войне никогда не бывавшие, совсем не умеющие приспособиться к лагерной жизни и к походу, доставят еще много хлопот.

И он и Канробер знали, что дело снабжения французской армии поставлено хуже, чем у англичан. Но вооружение и у англичан и у французов было хорошее, хотя у англичан усовершенствованные ружья были более равномерно и повсеместно распространены, чем у французов. Что было плохо у англичан — это военное невежество, неподготовленность к новой войне. Они остались при приемах XVIII в. Офицеры были кастой, покупавшей за деньги (и за большие деньги) свои офицерские патенты, специальная военная их подготовка в подавляющем большинстве случаев была равна нулю. Храбрость офицеров, хладнокровие в опасных случаях были на большой высоте, но тем более было жаль французским генералам, что и офицеры и солдаты английской армии часто гибнут от полной военной безграмотности своего начальства, без всякой пользы для дела.

Это французы заметили еще задолго до побоища при Балаклаве. Порядочных вождей в генералитете, окружавшем лорда Раглана, было очень мало, несравненно меньше, чем у французов. Сам Раглан очень мешал делу. Мышление у него было какое-то медленное, тугое, неповоротливое. Он, например, на военных советах удивлял и злил французов тем, что упорно называл неприятеля не «русские», а «французы» (the french). Он извинялся тем, что вся его молодость прошла еще при Наполеоне, и он, как англичанин, на всю жизнь привык к тому, что слова «француз» и «неприятель» тождественны.

Впрочем, маршал Сент-Арно не часто беспокоил лорда Раглана военными совещаниями: он охотно лишал себя удовольствия выслушивать мнения и советы милорда главного командира. Еще меньше тревожил Сент-Арно Омер-пашу. Французскому маршалу хотелось бы иметь для разведок в распоряжении туземный кавалерийский отряд, но он, профессионал, не очень доверял башибузукам Омер-паши, которых все-таки Омер-паша не умел дисциплинировать, и еще меньше он хотел сблизиться или хоть ознакомиться с казацким отрядом Садык-паши — Чайковского. В его армии был генерал Юсуф, араб, заработавший чины в Африке, где он смолоду поступил на французскую службу. Сент-Арно поручил Юсуфу образовать особый отряд, куда набирать турок и даже переманивать башибузуков, чтобы их дисциплинировать и подготовить к настоящей, регулярной войне. Юсуф организовал требуемый отряд «восточных спагисов», как их назвал Сент-Арно. В этом отряде еще до переезда армии в Крым было уже шесть кавалерийских «полков» (эскадронов), в общем — 3000 всадников. Омер-паша всячески мешал этому, желая сохранить власть над башибузуками, но ему не удалось провалить дело.

Между тем из Лондона и из Парижа пришла сначала телеграмма маршалу (13 июля), потом депеши и маршалу и Раглану — одинакового содержания. Военный министр герцог Ньюкэстльский и император Наполеон III приказывали готовиться к экспедиции в Крым. Подробности предоставлялось выработать на месте. Причиной этих неожиданных поторапливаний была уже ясно обозначившаяся невозможность для Чарльза Непира в Балтийском море сломить нейтралитет Швеции и трудность для союзников ускорить выступление Австрии на стороне союзников без энергичного ведения войны против России на юге, без вторжения на русскую территорию. Подготовка к экспедиции началась. Что объектом ее будет высадка около Севастополя, затем осада и взятие Севастополя,— это было решено уже давно и в Париже и в Лондоне. Но необходимо было запастись нужнейшими сведениями, произвести разведки, обдумать множество важных деталей, организовать колоссаль-

ное транспортирование армии, везущей с собой очень многочисленную и крупную артиллерию.

Целый месяц прошел, пока можно было пуститься в путь. И очень много было пережито союзной армией в этот месяц. Положение становилось угрожающим.

29 июня (11 июля) 1854 г. Меншиков доносил царю, что при предстоящей высадке 50 000 — 60 000 французов и англичан (кроме турецких войск) у русских для обороны всего Крыма имеется: 22 700 штыков (т. е. 26 батальонов пехоты), 1128 сабель (т. е. 8 эскадронов конницы) и 36 орудий. А кроме того, еще до 600 казаков: вот и все [18].

По донесениям русского посланника Хрептовича из Брюсселя (а у него были всегда довольно точные данные), в Варне и Шумле к 17 (29) июля у союзников собралось до 60 000 человек, 19 000 англичан и 41 000 французов [19].

6

Уже с первых дней, когда союзная армия начала сосредоточиваться в Варне и вокруг Варны, во французском, а потом и в английском лагере появилась холера. Замечу кстати, что появилась она вовсе не из «глубин Азии, откуда всегда является этот грозный бич», как расписывали парижские газетчики, а за ними повторяли французские историки, но — по словам секретного донесения адъютанта Сент-Арно, посланного в Париж из южной Франции,— из городов Авиньона, Арля и Марселя, откуда французские воинские транспорты и занесли ее сначала на о. Мальту, потом в Безику, в Галлиполи, Константинополь и, наконец, в Варну. Холера быстро усиливалась, и дело дошло до того, что из штаба Сент-Арно весьма категорически просили Париж *прекратить* присылку подкреплений из Франции: «Маршал надеется, что будет прекращена всякая новая присылка. В этот момент подкрепления были бы только лишней пищей для госпиталей (les renforts ne seraient en ce moment qu'un aliment de plus pour les hôpitaux)».

Борьба с эпидемией была невероятно трудна. Улицы Варны, куда выбрасывался всякий хлам и которые были совсем непроходимы из-за грязи и мусора, издавали острое зловоние. Их никто не убирал, болгары не шли на эту работу ни за деньги, ни под влиянием угроз, ни из страха перед сыпавшимися на них палочными ударами. Сент-Арно, больше всего с целью несколько разгрузить скученный лагерь, а также чтобы дать некоторую работу изнывавшей в бездействии армии, организовал экспедицию, точнее глубокую разведку, в Добруджу. Экспедиция выступила из Варны по направлению к Кюстенджи 24 июля (5 августа). Военная бесполезность ее была оче-

видна. Русские определенно стремились очистить ту часть территории княжеств, которую они еще занимали. Уже с первых дней в экспедиционном отряде появилась холера и в таких размерах, в каких она еще ни разу не проявлялась в самой Варне. Кроме ничтожных стычек с уходившими казаками, не давших ни малейших результатов, экспедиция никаких дел с неприятелем не имела. Но когда было получено известие, что значительные русские силы собраны около Бабадага, и когда в 6 часов вечера 28 июля (9 августа) был дан приказ сниматься со стоянки и двигаться в путь, то «пятьсот человек не поднялись с земли»: из них 150 скончалось уже через два часа, остальные позже. Это было лишь началом. В течение 27, 28, 29 июля потянулись в Кюстенджи и Варну арбы с умирающими. Трупы выбрасывали с арбы и ехали дальше. О закапывании или сжигании не могло быть и речи. А там, где устраивались стоянки, делались, конечно, попытки зарывать трупы, чтобы хоть как-нибудь уменьшить опасность заразы. «Часто руки, которые рыли землю, останавливались, не кончив работы, и тот, кто держал заступ, молча падал, чтобы уже больше не подняться, на краю полураскрытой могилы. Те, которые еще были живы, взваливались на лошадей или их несли на руках солдаты, артиллерийские лафеты были завалены больными»,— говорит очевидец. От малярии, от страшной болотной лихорадки придунайской страны организм многих солдат был уже ослаблен с середины июня, и это делало холеру, напавшую на союзные войска, злом непреоборимым. Англичане страдали меньше потому, что жили в гораздо лучших, несравненно более гигиенических условиях, чем французы, а в этой бедственной экспедиции в Добруджу они вообще предпочли не участвовать.

В ночь с 31 июля на 1 августа пришлось, бросив несколько сот умерших за последние сутки, взвалить 800 больных и умирающих на лафеты, на лошадей кавалерии и артиллерии и отправить их в Кюстенджи. Но эпидемия все разрасталась, уже не хватало перевозочных средств. Передвигаться сколько-нибудь быстро стало невозможно. Долгие остановки на месте повлекли за собой истощение припасов, некоторое время нельзя было ни двигаться вперед, ни идти назад.

Оставив несколько тысяч трупов в степях Добруджи и эвакуировав на корабли около 2000 больных в Мангалии и Кюстенджи, отряд вернулся в Варну.

Но в Варне уже не хватило ни помещения, ни возможности ухода за новыми и новыми больными. Были спешно вытребованы пароходы из Мангалии, из Кюстенджи, даже из Константинополя. Однако транспортирование больных из Варны, Мангалии и Кюстенджи очень и очень осложнялось: эпидемия напала на матросов и офицеров флота и косила их беспощадно.

Целый поселок больничных палаток устроился около Варны, на холмах, окружающих город. Туда относили больных из города, но оттуда возвращались немногие. «Я всех поддерживаю, но душа моя сокрушена. Вот до чего мы дошли. Есть воля к действию, приготовлены средства, а бог поражает нас в нашей гордости, насылая на нас бич более сильный, чем человеческое сопротивление». Так писал никогда не грешивший чувствительностью маршал Сент-Арно военному министру из Варны в первых числах августа, наблюдая, в каком состоянии вернулись в город полки, отправленные им в эту губительную и бесполезную экспедицию.

Чтобы покончить с этим вопросом, прибавлю тут же, что холера, свирепствовавшая в Варне, сопровождала союзников на кораблях, с ними оказалась при высадке в Евпатории, не покинула их ни перед Альмой, ни после Альмы. «С тех пор, как мы высадились в Крыму, у нас (в английской армии — *Е. Т.*) столько же умерло от холеры, сколько погибло при Альме. Из двух тысяч, выбывших из строя в деле с неприятелем, убитых было 380 человек. Умерших от холеры насчитывается теперь столько же»,— пишет в своем военном дневнике В. Россель [20].

Мушавер-паша, имевший все нужные сведения и не обязанный через 13 лет после событий поддерживать официальную ложь, признавал, что французы в своей совершенно бесцельной экспедиции в Добруджу потеряли умершими от холеры и изнурения 3500 человек. Один полк зуавов из 2200 человек потерял 800 к концу августа 1854 г. [21]

10 (22) августа вечером в Варне вспыхнул пожар «неизвестного» происхождения. Пламя охватило торговую часть города. Население не тушило страшного пожара, и Сент-Арно приказал своей армии пустить в ход все средства для предотвращения ужасающей беды: дело в том, что бушующее пламя быстро приближалось к пороховым складам и к огромным депо боеприпасов французской и английской армий, где в тот момент находилось 8 миллионов снарядов.

Солдаты и офицеры работали топорами, подрубая стены и разрушая постройки, по которым огонь шел прямо к пороховым складам. Четыре раза, по собственному признанию, маршал Сент-Арно готов был, отчаявшись, приказать войскам бросить все и бежать, чтобы спастись от последствий неминуемого неслыханной силы взрыва. Но это было бы полным провалом кампании 1854 г. «Я решил бороться, я послал свое прощание всем и стал ждать». В последний момент удалось не допустить пламя до складов.

Часть города — и именно торговая — выгорела до основания. Французы и англичане потеряли большие запасы одеж-

ды, обуви, съестных припасов, но порох и боеприпасы уцелели, и часть армии, которая рисковала взлететь на воздух, осталась невредимой.

7

Пожар заставил окончательно решиться как можно скорее покинуть Варну, где случаются такие происшествия, и искать ушедшего неприятеля на его собственной территории.

Это решение назревало уже давно, и, конечно, не только пожаром оно могло быть вызвано, при всей огромности того болезненного впечатления, которое он произвел и на солдат и на их командиров.

Пожар в Варне произвел огромные опустошения. У англичан, например, погибло такое количество запасов, которого было бы достаточно, чтобы прокормить всю английскую армию в течение шести недель. Союзники были раздражены и испуганы, и их гнев обрушился на пострадавших жителей Варны, безразлично и болгар и турок. Турки явно уже жаловались на безобразное поведение своих «защитников», прибывших спасать их от русского нашествия. Союзники реквизировали квартиры, не платя за это ни гроша хозяевам; обращались с жителями Варны надменно, не принимали просителей, не отвечали на письменные прошения и жалобы. Старики вспоминали войну 1828—1829 гг., когда русские взяли Варну после осады. Мушавер-паша записал интересные заявления, которые и воспроизводит в своих записках. «Московиты явились в Варну после того как их раздражила двойная осада, они тут оставались в течение двух лет, и никому не подали повода к жалобам на их поведение, и оставили город в лучшем состоянии, чем нашли его. А франки пробыли в Варне едва лишь три месяца, они принудительно забрали наши дома и склады, покрыли нас позором, а теперь город истреблен из-за их небрежности». Так говорили Слэду турки. А другие прибавляли: «Аллах! Тот враг обращался с нами лучше, чем эти наши друзья!» [22]

«Упадок духа начал проявляться в воинской массе». Это констатировалось вполне определенно в штабе Сент-Арно еще до пожара. Теперь, после 10 (22) августа, солдаты чувствовали себя не только во власти явного и страшного врага, холеры, но и в тайно враждебном окружении, способном на самые отчаянные действия при малейшей оплошности союзников. Хотя в точности причины пожара не были выяснены и от генералитета велено было отрицать умышленный поджог, но и солдаты и офицеры плохо этому отрицанию верили. Да и молчаливое злорадство болгар наводило многих на вполне определенные размышления. Оставаться в этом зараженном гнезде дольше

было бессмысленно и опасно; повторить губительную добруджинскую экспедицию с каждым днем становилось явно нелепее и нелепее, потому что русские уходили не задерживаясь. На Крым или на Кавказ, но нападение на русское Черноморье с начала августа представлялось маршалу Сент-Арно делом решительно неотложным. Сам маршал, которого не могли сломить долгие и трудные походы в многолетней алжирской войне, казался хилым стариком после полуторамесячного пребывания в Варне. Его здоровье было подорвано настолько, что врачи начали считать его осужденным на скорую гибель, если будет продолжаться прежняя колоссальная работа по управлению армией. А эта работа именно теперь, с начала августа, должна была не прекратиться, но усилиться во много раз. Откладывать отъезд из Варны становилось, наконец, просто невозможным. За один только август во флоте погибло от холеры десять процентов всего экипажа, и гораздо больше десяти процентов лежало на койках корабельных лазаретов, ожидая смерти.

Из Парижа уже давно торопили маршала с отъездом из Варны и именно в Крым. Вопрос о Кавказе фактически отпал еще в июле. Английский кабинет, который больше всего был заинтересован в том, чтобы помочь Шамилю и изгнать русских из южного Кавказа, весьма благоразумно предоставлял осуществить эту не очень легкую операцию французским и турецким союзникам. Вот как сформулированы были еще в начале июля инструкции, которые английское правительство послало в Варну лорду Раглану и которые на всякий случай военный министр Вальян переслал непосредственно маршалу Сент-Арно: «Очень остерегаться от вступления в Добруджу и от преследования русских по ту сторону Дуная; сохранить все средства и все войска для экспедиции в Крым и для осады Севастополя. Отказаться от этого главного предприятия (entreprise capitale) — только если составится основательное убеждение в очевидной несоразмерности сил обороны с силами нападения. Эта несоразмерность может только возрасти, если немедленно не осуществить эту экспедицию. Оттоманский корпус под командой французских и английских офицеров получил бы поручение овладеть Перекопом и закрыть перешеек для неприятеля или же сделать диверсию в Черкесии, овладев Анапой и Сухум-Кале, единственными позициями, которые Россия сохранила на этих берегах» [23]. В полном согласии с этими общими инструкциями спустя несколько дней лорду Раглану было «формально воспрещено подвергать свою армию действию столь губительных молдавских лихорадок».

Точно так же воздержались англичане и от обещания деятельного — и вообще какого бы то ни было — участия в экспедиции на Кавказ, о чем тоже заходила речь в последние дни

июля и первые дни августа. Дело в том, что 25 июля в Варну прибыла и представилась маршалу Сент-Арно и лорду Раглану делегация от Шамиля под предводительством родственника Шамиля — Наиб-паши. В делегации было до пятидесяти человек. Сент-Арно устроил в их честь смотр, и делегация не щадила самых пышных восточных хвалений по адресу союзной армии. Со своей стороны, эти горные наездники возбудили восторг французов и своим воинственным видом и замечательным уменьем держаться на лошади. Но дальше взаимных комплиментов дело не пошло: Шамиль именно после возвращения этой делегации, по-видимому, окончательно разуверился в возможности получить от союзников реальную помощь. А в штабе маршала Сент-Арно в течение нескольких дней, в самом деле, носились с проектом некоторой помощи кавказским горцам. Сент-Арно писал в Париж следующее донесение 27 июля (8 августа), ровно через два дня после появления черкесской делегации в Варне, о своем новом проекте: «этот проект состоит в том, чтобы броситься на Анапу и Суджак-Кале (sic! — *Е. Т.*), которые можно окружить и взять. Я нападу на Анапу и Суджак-Кале одновременно. Двойная высадка на севере и на юге. Я велел произвести рекогносцировку на берегу и у фортов: ничего не может быть легче, особенно, со значительными силами, приготовленными для Севастополя, которые и послужили бы тут. Более того, это дело приобретает большую важность с политической точки зрения потому, что помощник Шамиля Наиб-паша находится здесь, в Варне, с пятьюдесятью черкесскими вождями. Он только что мне предложил, если я высажусь в Черкесии с армией, поднять все племена и предоставить в мое распоряжение сорок тысяч вооруженных ружьями людей, чтобы отрезать русским отступление и уничтожить их. Это очень соблазнительно (c'est bien tentant)» [24]. Но проект так и остался проектом. Англичане помощи в этом деле никакой не обещали; в полном повиновении племен Шамилю Сент-Арно не был уверен, а его штаб — еще меньше. Делегация уехала ни с чем.

Конечно, для ветерана африканских войн, смельчака и авантюриста и по своей натуре, и по своей стратегии, и по своей биографии, маршала Сент-Арно, хотя бы и больного и утомленного, не было бы в другое время препятствием, что, по слухам, не все будто бы племена повинуются Шамилю; не остановило бы его от «соблазна» (о котором он пишет), что англичане не хотят помочь. Тут было и нечто посложнее. Он знал, что Наполеон III не имеет никаких причин во имя чисто английских политических интересов, в целях охраны Персии и Индии, отвоевывать у русских Кавказ, да еще великодушно проливать для этого французскую кровь, когда Эбердин запрещает лорду Раглану давать на это дело англичан. «Я — между

двумя проектами»,— писал Сент-Арно военному министру в этом уже цитированном письме от 27 июля (8 августа), имея в виду проект высадки на Кавказе и проект высадки в Крыму.

Но вот, еще даже не ожидая ответа из Парижа, маршал отказался сам от первого («соблазнительного») проекта. Оставался второй, и Сент-Арно с удвоенной энергией, напрягая уже свои исчезающие жизненные силы, стал торопить подготовку к сосредоточению флота в Варне и к посадке войск, назначенных в Крым.

В самых решающих случаях голос французского командования всегда перевешивал, и разногласие всегда оканчивалось тем, что англичане уступали. Только спустя много лет этот факт стал выясняться, потому что политические и всякие иные соображения долго мешали обеим сторонам признать его.

Но в данном случае, когда в Варне шли споры о том, отправляться ли в Крым, не только английский адмирал Дондас, командир английского флота, но и адмирал Гамлэн, командир флота французского, высказывались «всецело» (wholly) против экспедиции в Крым. Это вполне определенно заявил позже сам Дондас Джону Брайту, встретившись с ним в кулуарах палаты общин 22 февраля (6 марта) 1855 г.[25]

8

В середине августа 1854 г. Сент-Арно созвал в Варне совещание. Оно длилось долго и протекало очень недружно. Главными оппонентами, представлявшими радикально несогласные мнения, были: Сент-Арно и командир британской эскадры адмирал Дондас. Никто не вел протокола заседания, и соблюдение военной тайны было повелительным служебным долгом для всех немногочисленных участников совещания. Но сейчас же после конца собрания кое-что было узнано Базанкуром; впоследствии его данные были дополнены отрывочными и скупыми деталями, проникшими в печать, когда уже давно все события Крымской войны отошли в область истории. В основном вот как выясняется перед нами происходившее на этом совещании.

Маршал Сент-Арно заявил собравшимся, что прежде всего нужно признать абсолютную невозможность дальнейшего пребывания в Варне и на всем этом болгарском берегу. Холера не уменьшается, истребляет союзную армию и уже очень заметно подбирается к флоту. И французская и английская армии стоят в бездействии, повторять экспедиции, вроде несчастной добруджинской, только чтобы занять солдат, теперь бесцельно; русские ушли, австрийцы заняли княжества, Турция, которую якобы прибыли «защищать» оба союзных флота и обе армии, больше на этом театре войны ни в чьей защите уже не нуждается. По-

мимо вопроса о холере в Варне, нельзя большую армию месяцами оставлять в полном бездействии и в тщетном ожидании встречи с неприятелем. Мало того. Во всей Европе, в колеблющихся нейтральных странах все смотрят на союзные силы и ждут подвигов, которые были бы достойны в самом деле великих союзных держав. Только нападение на Крым, перенесение войны на русскую территорию может дать серьезный результат. Сент-Арно напоминал, что уже на предшествующих совещаниях было принципиально решено плыть в Крым. Он, Сент-Арно, знает очень хорошо, что эта затеваемая экспедиция — дело очень нелегкое, сопряженное с предвидимыми и непредвидимыми подстерегающими союзников опасностями, но эти опасности меньше, чем те, которые сторожат союзную армию, если она будет продолжать оставаться в Варне. Он, маршал Сент-Арно, уверен в конечном успехе, который прославит английское и французское имя тем больше, чем яснее станет для всего света, как в самом деле трудно затеваемое предприятие. Кончил он свою речь следующими словами: «Судите, взвешивайте, поднимитесь на высоту обстоятельств, вспомните, что вся Европа смотрит на вас,— и высказывайтесь. Но знайте хорошо, что колебания уже более недопустимы, раз наше решение будет принято. Оглядываться назад и возвращаться вспять уже более не будет возможно (il ne sera plus possible de regarder en arrière et de revenir sur les pas). Если вы выскажетесь в утвердительном смысле, ничто более не должно будет нас остановить».

Это говорил человек, долгие годы ведший нескончаемую войну в Африке с арабскими племенами, не останавливавшийся на войне никогда ни перед какими самыми зверскими мерами, так же как Пелисье, и даже в большей мере, чем другие французские генералы, тоже слабонервностью не отличавшиеся. Это говорил крутой и решительный человек, никогда не уклонявшийся от самого отчаянного риска, авантюрист крупнейшего калибра, один из тех бессовестных и безжалостных клевретов Луи-Наполеона, руками которых был целесообразно подготовлен и успешно совершен переворот 2 декабря. Недуг уже начал разрушать в это время организм Сент-Арно. Ни он и никто другой на этом совещании 19 (31) августа не мог, конечно, знать, что маршалу остается жить на свете всего 39 дней, но что близость смерти он чувствовал и непременно хотел поторопиться, чтобы успеть переведаться с русской армией лицом к лицу,— в этом близкие люди его свиты были уверены.

Как только Сент-Арно окончил свою речь, начались прения. Лорд Раглан, как всегда, своего мнения не имел; точнее, опасался свое мнение высказать, сознавая, очевидно, свою очень малую компетентность. Он обыкновенно следовал за Сент-Арно,

а потом за Канробером и за Пелисье. Впоследствии его часто стесняло, разумеется, то обстоятельство, что французская армия численно далеко превосходила английскую и принимала несравненно более активное и сопряженное с жертвами участие в военных операциях. Но тут, на этом окончательном совещании в Варне, лорд Раглан мог как раз подобными соображениями не стесняться: численно английская армия, предназначенная к посадке на корабли, была, согласно договоренности, равна французской. Однако Раглан молчал, предоставив первому с английской стороны высказаться адмиралу Дондасу.

Дондас определенно высказался против экспедиции в Крым. Он считал, что вся сила союзников, поскольку речь идет о защите Турции, заключается во флоте, и незачем рисковать флотом и истреблять его в таких условиях, которые выгодны русским, а не союзникам. Если русский флот отважится выйти в открытое море, он будет истреблен, и он это знает, и поэтому русские суда исчезли с Черного моря именно под прикрытие Севастопольской морской крепости. Зачем же исполнять желание врага и идти к этой крепости, где русскому флоту защищаться будет гораздо удобнее и легче от превосходных сил союзников?

Поддержку адмиралу Дондасу оказал (повторяя доводы англичанина) и командир французской эскадры адмирал Гамлэн. Адмирал Гамлэн командовал восточно-средиземноморским французским флотом с июля 1853 г., когда еще этот флот стоял в Безике. 17 (29) октября он ввел свою эскадру в Дарданеллы, 14 (26) ноября 1853 г.— в Босфор, 4 (16) января 1854 г.— в Черное море. В апреле он командовал судами, бомбардировавшими Одессу. Он с большой тревогой относился к опустошениям, которые стала производить холера на его судах, больше всего в связи с перевозкой заболевших солдат после добруджинской операции. Гамлэн должен был организовать их перевозку из Кюстенджи в Варну, из Варны в Константинополь, и экипаж терпел жестоко от заразы. Заменить хорошего матроса или мичмана гораздо труднее, чем солдата, и Гамлэн не верил, что холера прекратится с переездом в Крым. А кроме того, он тоже полагал, что брать Севастополь с моря невозможно. Но он не смел возражать маршалу Сент-Арно так решительно, как это делал Дондас. Помимо всего, оба адмирала очень хорошо помнили блистательную победу Нахимова под Синопом. И Нахимов и Черноморский флот были еще налицо. Спор шел долго. По-видимому, маршал Сент-Арно вел себя не как председатель совещания, а как диктатор, раздраженный неуместной критикой. Он несколько раз брал слово и, очевидно, сильно обрывал оппонентов. Официальный летописец Базанкур деликатно пишет нижеследующее, проглатывая явственно очень много слов: «Совещание было долгим, оживленным, и маршал,

с самого начала управляя спором и *господствуя* над ним (en dirigeant, en dominant la discussion), занял в нем ту позицию, которая подобала верховному главнокомандующему».

Другими словами, Сент-Арно оказал решительное давление на присутствующих. Конечно, не французских участников он боялся при окончательном вотуме: ни Гамлэн, ни, подавно, адмирал Брюа не посмели голосовать против верховного вождя сухопутных французских сил. А с англичанами он поступил так. Вопреки общему для всех военных советов того времени обычаю Сент-Арно стал отбирать голоса, начиная не с младших по чину, как это делалось, именно, чтобы дать им свободно и независимо выразить свое мнение, а с верховного главнокомандующего английской экспедиционной армией лорда Раглана, в покорности которого он был уверен. Да Раглан, кроме того, знал, что кабинет в Лондоне был бы очень разочарован, если бы пришлось вовсе отказаться от нападения на русские берега.

«Дело идет уже не о том, чтобы думать о препятствиях, но о том, чтобы победить»,— заявил Сент-Арно снова, а на слова Дондаса об ответственности возразил: «Пусть так, да, это большая ответственность, но нужно уметь стать выше ее (se mettre au-dessus d'elle). Никаких больше сомнений, никакой нерешительности; время не терпит, наше сегодняшнее решение должно стать непреложным!» Раглан голосовал за экспедицию, и после этого оппоненты подчинились. Решение оказалось единогласным. Официальный летописец барон Базанкур, дающий в своей книге столько ценнейших, нигде больше не встречающихся документов и так мало серьезной критической их оценки, пишет по поводу этого единогласия: «то, что произошло на этом совещании — странно. Очарованные этим убежденным красноречием (fascinés par cette éloquence de conviction), которое с одинаковой откровенностью коснулось и хорошей и дурной стороны экспедиции, наиболее нерешительные, наиболее противящиеся голосовали утвердительно» [26]. Едва ли оптимистический барон верил сам, что маршал Сент-Арно, больной и раздраженный, мог добиться такого результата одними чарами красноречия, которыми доселе он вовсе никогда не блистал. Непреклонная воля и резкая настойчивость верховного главнокомандующего победили уж потому, что ни оставаться в Варне, ни возвращаться в Константинополь было по сути дела невозможно, если было неугодно признать кампанию проигранной союзниками. Итак, Дондас и Гамлэн смирились и немедленно с удвоенной энергией стали готовить свои суда к близкой экспедиции.

После окончания совещания кто-то случайно вспомнил об ускользнувшем как-то совсем из памяти факте существования турок и Омер-паши, и им поспешили сообщить о результате заседания. Турки уже давно перестали чему-либо со стороны своих

защитников удивляться и принялись отбирать и получше снаряжать 6000 солдат, которых им велено было приготовить к посадке на суда одновременно с союзной армией.

Заметим, что и турки и их западные «защитники», особенно англичане, собираясь напасть на Крым, очень хорошо понимали, о чем идет речь по существу.

Что турецкую добычу именно с той целью и должно «оборонять» от русских, чтобы она целиком попала в руки Англии, в этом никто из английских военных не сомневался. «Севастополя мы, может быть, и не возьмем, зато Константинополь будет наш»,— говорили англичане, начиная осаду Севастополя [27].

9

20 августа (1 сентября) маршал Сент-Арно велел собраться всем генералам французской армии. Он хорошо знал, что некоторые генералы весьма недовольны «единогласным» решением и не только вполне разделяют сомнения Гамлэна и Дондаса, но, если бы их спросили, представили бы еще от себя немало доводов. Они не были уверены в быстрой победе при войне на абсолютно неведомой *и никогда не обследовавшейся их штабом и* штабным шпионажем крымской территории. Слежка вокруг Севастополя и севастопольского рейда велась французами давно, еще с конца 30-х и начала 40-х годов. Но этим дело и ограничивалось. Сколько-нибудь детальных военных карт южного побережья Крыма у французов не было. Добавлю, что и у русских тоже не было, если не считать отдельных пунктов. Полная бессистемность и убогая недостаточность военных картографических работ были одной из бесчисленных слабых сторон русского военного министерства. Но несуществующие в России топографические съемки не могли поэтому и быть своевременно выкрадены французским штабом. Кроме незнания местности, часть подчиненного маршалу Сент-Арно генералитета была неспокойна и относительно возможности пополнения армии Меншикова переброской новых и новых войск с севера. Были и еще сомнения, и если бы Сент-Арно позволил генералам говорить, то наслушался бы многого. Он это знал очень хорошо и именно поэтому говорить никому не позволил. «Господа генералы,— начал он,— на совете решено, что будет предпринята экспедиция в Крым. Войска будут посажены на суда в конце этого месяца. Я знаю, что среди вас существуют разногласия относительно этой кампании. Но ведь я вас тут собрал не за тем, чтобы спрашивать у вас ваши мнения, но чтобы уведомить вас о цели этой операции, о плане, который принят, и о результатах, на которые я надеюсь. Не могу сделать ничего лучшего, как прочесть вам депешу, которую я только что по этому поводу написал». И маршал прочел им свое приготовленное накануне донесение в Париж.

Вот что услышали генералы. Сент-Арно дал сначала систематическую мотивировку своих действий с момента прибытия французской армии в Галлиполи. Вначале нужно было поспешить на помощь осажденной Силистрии, потому что «русские силы угрожали раздавить турецкую армию». Поэтому пришлось перебросить армию в Варну. Но когда русские ушли, что же оставалось делать? «Преследовать врага в опустошенной и зараженной эпидемическими „чумными“ (pestilentielles) болезнями стране значило бы идти на верную гибель. Для того чтобы иметь возможность вести кампанию по ту сторону Дуная и на Пруте, нужна была активная реальная помощь („сотрудничество“ — la coopération — *Е. Т.*) Австрии, вечные колебания которой создали обоим главнокомандующим (т. е. самому маршалу и лорду Раглану — *Е. Т.*), бесчисленные трудности. Было ли допустимо бездействие для обеих армий, расположившихся лагерем в Варне? Не могло ли, должно ли было оно породить упадок духа среди испытаний, которые, быть может, были им суждены так далеко от родины? Ни воинская честь, ни политический интерес этого не допускали. Следовало заставить врага страшиться нас. Крым был перед нами как залог. Нанести России удар в Крыму, поразить ее в Севастополе,— это значит ранить ее в сердце. Перед лицом этих фактов главнокомандующие обеих армий и адмиралы обоих флотов, обсудив благоприятные и неблагоприятные обстоятельства, решили предпринять экспедицию в Крым». Это маршал напоминал, что уже 14 (26) июля и на других предшествовавших последнему совещаниях принципиально было решено плыть в Крым. «После этого решения самые фатальные бедствия,— продолжал он,— кажется, соединились с целью помешать нашему предприятию. Страшный бич поразил нас и опустошил смертью наши ряды. Огонь уничтожил часть наших запасов и запасов наших союзников. Уже приближающееся дурное время года нам угрожает. Но непоколебимая сила воли и энергия сердца восторжествуют над всеми этими препятствиями. Приготовления заканчиваются. К концу месяца войска сядут на суда, и с божьей помощью они скоро высадятся в Крыму, на русской земле. Конечно, наши средства, может быть, не так обильны, как можно было бы того желать, но храбрость и порыв (l'élan) войск удесятерят наши силы. Нет ничего невозможного для таких солдат, как наши, и для братского единения *двух народов*». Подзащитных турок Сент-Арно опять забыл! Генералы выслушали — и затем им было объявлено, что маршал их больше не задерживает.

Начались самые энергичные приготовления к близкой уже посадке на суда. Военный министр прислал из Парижа полное одобрение императора и извещение, что уже спешно высланы в Варну из Тулона все пароходы-транспорты, какие только

удалось собрать. А спустя несколько дней прибыло и воззвание Наполеона III к войскам, собирающимся ехать в Крым. Воззвание было составлено в высокопарных выражениях, император благодарил армию за то, что «даже еще не сражаясь, она одержала блестящий успех», заставив русских уйти за Дунай. Так Наполеон III хотел объяснить солдатам русское отступление от Силистрии. Вообще император французов был слишком чужд педантичному отношению к истине. Например, он в этом же воззвании к армии, собирающейся в Крым, сообщает ей для поднятия настроения: «уже Бомарзунд и две тысячи военнопленных только что попали в наши руки». Даже если причитать к «военнопленным» офицерских и солдатских жен, взятых на Бомарзунде, а также многочисленных прачек, найденных в укреплениях и тоже захваченных в полном составе в плен усилиями десантного корпуса генерала Барагэ д'Илье, то все-таки цифра, поминавшаяся императором, получится лишь с трудом.

«Франция и государь, *которого она себе дала* (так мягко и скромно именует себя самого автор ночного переворота 2 декабря — *Е. Т.*), с глубоким волнением взирают на такую энергию и такое самопожертвование и употребят все усилия, чтобы прийти вам на помощь».

Воззвание было прочтено по ротам уже перед самой посадкой войск на транспорты, собравшиеся в огромном количестве в Варне к концу августа, и в первые дни сентября эскадры должны были сосредоточиться в Балчике. Посадка войск и орудий шла усиленными темпами с 31 августа. Погрузка артиллерии, в том числе незадолго до отплытия из Варны прибывшего парка осадных орудий, совершилась быстро и исправно, согласно инструкции, разработанной во всех подробностях в штабе Сент-Арно. Сам главнокомандующий, очень больной, сел на корабль в Варне 2 (14) сентября. В Балчике он пересел на флагманский корабль «Город Париж». 5 (17) сентября французская эскадра снялась с якоря. Английская присоединилась к ней несколько позже. Огромная армада шла очень медленно, держа курс на Евпаторию.

10

Плывя к берегам Крыма, Сент-Арно не знал точно, где именно он произведет высадку. Сначала ему казалась наиболее подходящим пунктом Кача, но уже перед отплытием он получил сведения, что русские укрепились на этом месте. Следовало очень подумать об этом огромной важности вопросе, а точных данных почти не было. 8 сентября, в пути, Сент-Арно созвал на своем корабле совещание. Решено было послать вперед для разведок об удобнейшем месте высадки компетентную комиссию.

Сент-Арно пишет в своем дневнике, который он вел до самой смерти: «В 6 ч. (8 сентября — *Е. Т.*) члены комиссии отправляются, я мучительно скорблю, что не могу их сопровождать, плачевное состояние моего здоровья приковало меня к ложу страдания». Гнилая дунайская болотная лихорадка трясла его и осложнялась еще какой-то болезнью, и он выехать на разведку не мог, а только собственным глазам он в таком вопросе и поверил бы. Дело в том, что он мало кому из своих подчиненных доверял, кроме генерала Боске и еще немногих других. Из лиц, которых он назначил в комиссию, он ставил довольно высоко Канробера и Мортанпре. На англичан он вовсе не надеялся.

Четыре военных корабля сопровождали эту отряженную для разведок комиссию. Спустя три дня, 11 сентября, разведочная комиссия вернулась к эскадре и сделала свой доклад,— и вот что записал Сент-Арно в своем дневнике, который изо дня в день вел в пути: «Все, что она (комиссия — *Е. Т.*) докладывает, очень успокоительно. Русские нас ждут у Качи и у Альмы, но они не сделали никаких больших оборонительных сооружений. У них есть лагерные стоянки, есть войска на этих двух пунктах. Во всяком случае ничего особенно грозного». Комиссия обследовала довольно подробно почти весь берег Херсонесского полуострова и собрала (высаживаясь в разных местах берега) справки о Севастополе. Они убедились, что русские считают своими главными позициями берега реки Качи и реки Альмы и что там у них и лагери и артиллерийские парки. Что же касается Севастополя, то «ничего не изменено против прежнего положения севастопольского порта и русских судов». Суда, которые сопровождали комиссию, обследовали берег от Альмы до Евпатории, и тут офицеры нашли на берегу между Альмой и Евпаторией место, которое они сочли наиболее удобным для высадки, но с непременным условием одновременного занятия города Евпатории. Это место — «Старый форт» (old fort), лежащий на 45° северной широты, и город Евпатория и должны были, по мнению комиссии, стать первым опорным пунктом для десанта. Они узнали даже, что в Евпатории есть крепкое здание госпиталя, которое может при случае пригодиться в военных целях. Комиссия немедленно изготовила и представила уже 12 сентября свой доклад и свои конечные выводы обоим главнокомандующим. И тут возгорелся сразу же спор между маршалом Сент-Арно и лордом Рагланом. Сент-Арно считал, что нужно высадиться именно у Качи, с бою оттеснив русских, там находящихся, и, сэкономив этим несколько дней, идти прямо оттуда к Севастополю. А лорд Раглан категорически этому смелому плану воспротивился, и все английские генералы единодушно его поддержали. Сент-Арно, который именно 12 сентября переживал

острый кризис болезни, осложняемой изнурительной лихорадкой, и кризис к худшему, не в состоянии был настоять на своем, тем более, что адмирал Гамлэн, начальник французского флота, тоже стал на сторону Раглана. Сент-Арно в первый и в последний раз подчинился. Но в тот же день он написал в Париж военному министру: «До сегодняшнего дня я противопоставил болезни, напавшей на меня, все усилия энергии, на которые я способен, и я долго мог надеяться, что я достаточно приучен к страданиям, чтобы оказаться в состоянии командовать, скрывая от всех силу припадков, выносить которые я осужден. Но эта борьба истощила мои силы... я хочу надеяться, что провидение позволит мне выполнить до конца дело, которое я предпринял, и что я буду в состоянии повести к Севастополю армию, с которой завтра я высажусь на берегу Крыма. Но это будет, *я чувствую, моим последним усилием, и я прошу вас испросить* у императора назначение мне преемника». Сент-Арно не приписал тут тех строк, которые мы читаем в его письме к его родному брату, писанном за два дня на борту того же флагманского корабля: «...мысль оставить армию без управления, без вождя, накануне высадки... А я? Умереть от лихорадки перед встречей с неприятелем». Он оттого и стоял так упорно за высадку на Каче, чтобы еще успеть перед смертью встретиться с русскими. *«Без вождя»* — писал он в интимном письме. Канробера, который по соображениям военной иерархии и послужного списка почти неминуемо должен был стать его преемником, Сент-Арно не считал вполне подходящим главнокомандующим, хотя и ценил его как исправного служаку.

Он не знал еще тогда, когда писал министру, что 12 марта, при отправлении на восток, дивизионный генерал Канробер получил от военного министра Вальяна следующий конфиденциальный приказ: «По повелению императора вы возьмете на себя главное командование восточной армией, если какое-либо военное событие или болезнь помешают маршалу Сент-Арно сохранить командование за собой». Но даже не зная об этом тайном приказе, Сент-Арно велел, в тот же день 12 сентября, генералу Канроберу явиться к нему в каюту. Сент-Арно определенно ждал смерти в этот же день, до такой степени возрастали боли с каждой минутой, и он сказал об этом Канроберу. Тогда Канробер показал ему этот конфиденциальный приказ.

Но припадок прошел, и Сент-Арно вышел 13 сентября на палубу. Флот подходил к Евпатории. Солдаты и матросы союзного флота не спускали глаз с пустынного берега, покрытого красноватым песком. Не только берег, но и город, в бухту которого вошли первые суда рано утром 13 сентября, казался совершенно покинутым жителями. Что в Евпатории нет никакого гарнизона и что город ничем не защищен и явно не намерен

обороняться, об этом Сент-Арно знал еще 11 сентября, когда вернулись четыре судна с комиссией, ездившей на разведки.

Поэтому, как только союзный флот вошел в бухту Евпатории, Сент-Арно пригласил на свой корабль лорда Раглана в $2^1/_2$ часа дня, и тут оба главнокомандующих утвердили окончательно диспозицию по высадке, согласно докладу и мнению разведочной комиссии. Вот к чему сводилось это предложение комиссии.

Высадка состоится на морском берегу между Альмой и Евпаторией у Старого форта. В тот же день Евпатория будет занята двумя тысячами турок, одним французским и одним английским батальонами, а в ее порт войдут два турецких судна и одно французское. Затем, через три или четыре дня после высадки, армия двинется к югу, держа равнение правым флангом к морю. С моря ее будут поддерживать, следуя вдоль берега, 15 военных судов, защищая ее своей артиллерией и снабжая припасами. С некоторыми несущественными изменениями Сент-Арно и Раглан утвердили эту программу ближайших действий.

В третьем часу ночи по сигнальному выстрелу транспорты с войсками, под прикрытием военных судов, стоявших вне рейда Евпатории, направились к назначенному пункту высадки. В городе Евпатории, занятом без боя, Сент-Арно оставил лишь очень небольшой гарнизон,— вся армия должна была быть у него под рукой для сражения, которое все-таки можно было ждать почти непосредственно после высадки. Ведь где именно стоят части армии Меншикова, этого не знал никто, разведка обшаривала только ближайший берег, а на данные от расспросов татар полагаться можно было лишь с очень большой осторожностью. Флот союзников был так огромен, что казался целым медленно движущимся городом. В 7 часов утра 14 сентября 1854 г. первая линия транспортов причалила к пустынному берегу, и в 8 часов 10 минут началась высадка французских войск. Высадились три дивизии. Четвертую дивизию, бывшую на английских судах, адмирал Дондас высадил попозже, так как он получил на 14 сентября специальное задание от Сент-Арно: идти к Каче и делать вид, будто именно там предполагается сделать высадку. Русские наблюдатели, по расчетам Сент-Арно, должны были своим донесением отвлечь Меншикова от действительного места высадки или, во всяком случае, раздробить его внимание и его силы между двумя далекими пунктами и этим уменьшить опасность русского нападения в самый момент, когда десант будет сходить постепенно с кораблей на берег.

Но матросы, с раннего утра 14 сентября сидевшие на вершине мачт, не могли заметить до далекого горизонта ни малейших признаков русских войск. Высадка французских дивизий

закончилась к полудню. Английская армия начала высаживаться лишь в 10 часов утра, когда уже больше половины французских войск находилось на берегу в полной боевой готовности. До позднего вечера продолжалась выгрузка артиллерии как осадной, так и полевой, кавалерийских и артиллерийских лошадей, боеприпасов, складов одежды и обуви, съестного довольствия и т. д. и одновременно шла работа по приготовлению к немедленному походу на юг, к Севастополю. Уже в 2 часа дня Сент-Арно, сошедший на берег рано утром, произвел верхом в сопровождении свиты первый осмотр уже выстроившихся в боевом порядке эшелонов. К ночи явился и уходивший со своими судами делать демонстрацию перед Качей и Альмой адмирал Дондас, и на другой день он высадил четвертую французскую дивизию. Итак, в руках Сент-Арно к 17 сентября, когда он решил, дав армии три дня на отдых, двинуть ее против русских войск, было, по самому малому счету, 61 200 человек. Эта цифра дается официальными французскими источниками. Из них французов было 27 600, англичан ровно столько же — 27 600, турок — 6000 человек. Но чаще дается немного отличающаяся общая цифра: 63 000. По-видимому, турок было не 6000, а несколько больше, и высадились они с некоторым опозданием. Приводится иногда и цифра в 62 500, даже 62 000, но нет ни одного показания, дающего цифру меньше указанной официальной. По претендующим на бо́льшую точность позднейшим показаниям, состав союзных корпусов, предназначенных к отправлению в Крым, был «около 62—64 тысяч человек». Из них французов 27 000 — 29 000, англичан — 28 000, турок — 7000 [23]. У англичан был в момент прибытия в Варну осадный парк в 65 орудий (50 пушек и 15 мортир). Как видим, и тут «точность» относительная. Таков был первый десант союзников в Крыму. Он не был последним, но немногим из этого первого десанта привелось снова сесть на корабли, привезшие их сюда... Сент-Арно торопился. Но ему не удалось выступить в поход 17 сентября, как он рассчитывал. Английская армия и высаживалась медленно и, главное, везла с собой несравненно больше грузов, чем французские дивизии. Только 17-го кончилась полностью высадка армии лорда Раглана, но еще продолжалась выгрузка огромной английской клади. К этому времени Сент-Арно уже получил такие сведения. Русские стоят в большом количестве на берегу реки Альмы. Их всего около 50 или 60 000 человек, и они разбросаны в разных пунктах между Альмой и Севастополем. Сосредоточиваться они намерены, по-видимому, именно около Альмы и здесь попытаются загородить союзной армии дорогу к Севастополю. Воспользовавшись лишним днем, так как из-за англичан нельзя было сняться с места раньше, 19-го Сент-Арно послал генералов Канробера,

Тири и Бизо на фрегате «Примогэ» на окончательную разведку к устьям Альмы и Качи. Генералы вернулись с известием, что не заметили и не узнали ничего ни о новых русских укреплениях, ни о подходе сколько-нибудь значительных подкреплений к русской армии, ждущей союзников на Альме.

18 сентября Сент-Арно, еще по пути, в море, по наблюдению его свиты и спутников, чуть не по часам высчитывавший, успеет ли он встретиться с русскими или смерть ускорит за ним погоню и настигнет, уже твердо знавший и чувствовавший, что ему осталось жить ровным счетом несколько дней, решил больше не церемониться. Сент-Арно не пошел к тут же находившемуся Раглану и не пригласил его к себе, а написал ему письмо, в котором заявил вполне категорически, что больше ждать не намерен и что завтра, 19 сентября, в 7 часов утра он, маршал Сент-Арно, отдает приказ к выступлению в поход французской армии прямо на Севастополь и что «больше *ничто* его не остановит». Раглан подчинился. С момента высадки и перед встречей с русской армией англичанин явно терялся и уже не рисковал пускаться в споры с раздраженным маршалом, военную компетентность которого он признавал.

19 сентября в 7 часов утра, согласно приказу, союзная армия в боевом построении покинула свою стоянку на месте высадки и двинулась на юг, к Севастополю.

С середины дня вдали показались русские кавалерийские разъезды...

Высадка в Севастополе была уже вторым в хронологическом порядке прямым нападением союзников на Россию.

Глава II

БАЛТИЙСКАЯ КАМПАНИЯ 1854 г.

1

Первым по времени враждебным вооруженным выступлением двух западных союзников против России было появление британского и французского флотов в Балтийском море, сопровождавшееся нападением на русские суда, взятием и разрушением Бомарзунда, бомбардировкой города Або и других пунктов на побережье Финского залива.

Нужно с самого начала сказать, что нанести России сокрушительный удар по столице союзники не только не попытались в те месяцы (с марта по октябрь 1854 г.), когда они пребывали в Балтийском море, но не имели вовсе этого и в виду.

Разумеется, английский кабинет желал этого гораздо больше, чем взятия Севастополя или хотя бы всех городов русского Черноморского побережья, но подобное предприятие представляло для англичан совершенно непреодолимые трудности, а на помощь Наполеона III рассчитывать в данном случае было невозможно. Он определенно этого не хотел — и, конечно, прежде всего именно потому, что этого уж очень хотели его заламаншские «союзники», мечтавшие о разрушении Кронштадта и потоплении русского Балтийского флота. А без большой сухопутной армии, которой располагали французы, но не располагали англичане, в сущности, никаких серьезных результатов тут добиться было нельзя.

Вот какими примерно силами в 1854 г. располагало русское командование для защиты столицы и какое дальнейшее распределение их предполагалось в конце лета военным министерством: Петербургский район с Кронштадтом должны были защищать 80 000 человек, Свеаборг и Свеаборгский район — тоже 80 000, на низовьях Западной Двины — 40 000, а всего 200 000, считая же с постоянными гарнизонами 270 000 человек. Таково

приблизительно было количество войска, которым так или иначе можно было распоряжаться в 1854—1855 гг. в районе побережья Финского залива [1].

Союзники не знали, конечно, этих цифр в точности, но в общих чертах отдавали себе отчет в том, какие силы собраны для защиты Петербурга и подступов к нему.

Следовательно, действия в Балтийском море летом 1854 г. должны были лишь держать в тревоге столицу и препятствовать русским посылать подкрепления на Дунай, а затем и в Крым. Второй целью было сорвать шведский нейтралитет и заставить Швецию примкнуть к союзникам.

Союзники жадно собирали всякие сведения и слухи о возможных выступлениях поляков. От рижского военного губернатора и лифляндского, эстляндского и курляндского генерал-губернатора А. А. Суворова было получено 16 июля 1854 г. следующее донесение: «Секретно. Господину шефу жандармов. Консул наш в Мемеле, надворный советник Трентовиус, уведомляет меня, что неизвестное лицо имело в Мемеле сношения с командиром английского парохода — корвета „Арше" (Archer) и уверяло его, что в Ковенской и прочих Литовских губерниях, также в Царстве Польском, совершенно готово восстание, и как только английские корабли покажутся у Полангена, то инсургенты возьмут это местечко, для приготовления высадки неприятельским войскам. Вслед за тем предположено идти с тою же целию на город Либаву.

Долгом считаю довести обо всем этом до сведения вашего сиятельства, почтительнейше присовокупляя, что с сим вместе я сообщаю настоящее сведение Виленскому военному, Гродненскому, Минскому и Ковенскому генерал-губернатору, и начальнику Курляндской губернии». На полях написано (очевидно, Вас. Долгоруковым): «К сведению уже меры взяты какие возможны. Государь получил точно такое уведомление от г. Сиверса, командира 1-го ар[мейского] корпуса» [2].

Но поляки не выступили.

Напомним сначала вкратце, как готовился русский флот, Кронштадт, Свеаборг к встрече неприятеля, затем обратимся к тому, как действовали союзники в Балтийском море, и, наконец, отметим, как реагировала шведская дипломатия на эти события.

Собственно главной, наиболее реальной обороной с русской стороны была та громадная (по тогдашним масштабам) сухопутная армия, о которой только что было упомянуто.

Что касается русского Балтийского флота, то в адмиралтействе считалось невозможным выйти в море и разбить англичан. Но отстояться за кронштадтскими укреплениями надеялись твердо.

Балтийский флот представлял собой силу, которую англичане и французы считали серьезной и расценивали (особенно, личный состав экипажей) высоко.

Черноморский флот в материальной части несколько уступал Балтийскому. Линейных кораблей он имел 17, тогда как на Балтике их было 25, парусных фрегатов в обоих флотах было по 7, паровых фрегатов, которых вовсе не было на Балтийском море, на Черном море было 4, но пароходов на Черном море было всего 10, тогда как на Балтийском — 27. Мелких судов (корветов, бригов, катеров и т. п.) было почти поровну (65 на Черном море и 60 на Балтийском). Почти равен был и личный состав: в Черноморском флоте — 34 500, в Балтийском — 40 000 человек [3].

Уже летом 1853 г. в план обороны Кронштадта были включены мины академика Б. С. Якоби. Но царское правительство довольно сильно мешало делу, в которое впутался заводчик Нобель, снискавший неизвестно какими «вескими» аргументами сочувствие «Комитета о минах», образованного в начале 1854 г. Нобель строил легковесные мины (с зарядом от 2 до 4 килограммов) с корпусом из тонкого листового железа. Эти мины ставились довольно далеко от берега, с которым они не были связаны, т. е. были, по техническому термину, «автономны». Их трудно было охранять, и в 1854—1855 гг. англичане «вытралили» до 70 мин Нобеля [4]. Погружены они были на северном фарватере у Кронштадтской косы, а также на южном фарватере, на юго-запад от форта Павел. Несколько мин Нобеля было опущено у Свеаборга.

Комитет, впрочем, не отказал и Якоби, который работал несравненно добросовестнее и научнее, чем коммерсант Нобель и его штат, которому, как и следовало ожидать, фактически покровительствовал Меншиков и его компания.

Гальваническая мина Якоби укреплялась на якоре и была связана со стоявшей на берегу гальванической батареей, заряд ее был равен 14 килограммам черного пороха. Эти мины, в некоторых отношениях более совершенные, чем западноевропейские, изготовлялись под руководством Якоби матросами «гальванической команды». Уже в 1854 г. до 60 мин Якоби было погружено по линии фортов Павел — Александр. Уже за летнюю кампанию 1854 г. оказалось, что мины Нобеля не могут сравниться с минами Якоби. В них подмок порох, многие сорвались с так называемых минрепов, некоторые взорвались и переранили русскую команду. И все-таки «бабушка», «ворожившая» богатому заводчику Нобелю в 1854 г., продолжала ему ворожить и в 1855 г. Он продолжал сооружать и продавать русскому морскому ведомству свои мины по 100 рублей за штуку. Но благодаря нескольким знающим и честным людям, вроде вице-адмирала

Литке, 301 мина Якоби была погружена у Кронштадта на Большом рейде, в 400 саженях на запад от линии фортов Павел — Александр, а также близ Лисьего Носа. Эти минные заграждения были усилены изобретенными Якоби очень важными особыми приборами. Особенно сильно было заграждение в 200 мин на Большом рейде: эти мины взрывались током с гальванической батареи из 300 элементов, установленных на так называемой батарее Литке [5].

К минам Якоби англичане не отважились подойти, потому что их далеко отгонял огонь береговых батарей. На гораздо мористее поставленных легких минах Нобеля подорвано было в 1855 г. четыре английских корабля: пароходо-фрегат «Merlin» и пароходы «Firefly», «Volture» и «Bulldog», но тут-то и сказался вред от преобладания чисто коммерческих и спекулятивных интересов иностранца-заводчика над интересами русской обороны: все четыре коснувшиеся мин Нобеля английских парохода «получили лишь сильное сотрясение» и незначительнейшие повреждения, а будь заряд несколько больше, то все четыре корабля могли бы потонуть [6].

Во всяком случае мины русского изобретателя Якоби, опередившего минную науку и технику Запада, делали Кронштадт и Свеаборг недоступными для англичан, даже если бы тем удалось прорваться сквозь заградительный артиллерийский огонь и подойти к берегу.

Среди матросов никакой тревоги не замечалось, но близкая опасность очень чувствовалась уже с февраля. Моряки-офицеры не считали ни флот, ни обе морские крепости вполне готовыми к встрече врага.

Победить английский флот в Балтийском море не надеялись, но многие гнали от себя мысль не только о сдаче (о чем с гневом уже наперед заявляли как о совсем немыслимом исходе), а даже и о том, чтобы запереться в Кронштадте. Некоторых увлекала мысль — выйти в море и, погибая, все же успеть взорвать и потопить часть неприятельской эскадры [7].

«Балтийский флот горит желанием сразиться с англичанами и показать себя перед Черноморцами. Моряки Балтийские и Черноморские решились или *погибнуть* или *победить*»,— писал моряк А. В. Головнин Погодину 25 февраля 1854 г. [8]

С русской стороны, нужно сказать, не было в 1854 г. твердой уверенности в несокрушимости Кронштадта и Свеаборга. Осматривавший батареи северного кронштадтского прохода знаменитый впоследствии полковник Тотлебен донес, что эти батареи так расположены, что «будут поражать друг друга, а не неприятеля!» [9] Не очень крепок был и Свеаборг. В начале лета 1854 г., т. е., значит, когда Непир уже был в Финском заливе, Николай внезапно вытребовал к себе флигель-адъютантов

Аркаса и Герштенцвейга и объявил им: «Мой сын (Константин — *Е. Т.*) получил письмо без подписи, в котором сказано, что ежели неприятель пожелает занять Гельсингфорс и Свеаборг, то может совершить это в 24 часа». Он приказал обоим флигель-адъютантам немедленно осмотреть оба пункта. Осмотр дал неутешительные результаты. Батареи были расположены так нелепо, что, по словам донесения Аркаса, «нельзя было не удивляться, для чего затрачивались громадные деньги на сооружение их». Всюду оба ревизора «поражались негодностью и дурным состоянием всего вооружения» [10].

Были сейчас же предприняты новые работы, но на первых порах дело подвигалось необычайно медленно. Прибывший в Свеаборг, вскоре после Аркаса, адмирал Матюшкин прямо заявил: «Трудно недостроенную крепость, оставленную без всякого внимания более сорока лет, привести в продолжение нескольких зимних месяцев в столь надежный образ, чтобы флот наш находился вне опасности от нападения неприятеля» [11]. В Гельсингфорсе пробная стрельба привела к тому, что там рушилась стена Густавсвердских укреплений уже после седьмого выстрела, который делало орудие, стоявшее на этой стене. Что же, значит, Непир ошибся, когда считал немыслимым взять Свеаборг? Пусть даст ответ тот же беспокойный критик безотрадного состояния русских укреплений, адмирал Матюшкин: «Оборона в русском матросе и солдате, и Свеаборг англичанам не взять... В трубах зданий и подвалах будет порох, где нельзя будет держаться, взорвем или взорвемся». Но и помимо того, русская морская артиллерия в Свеаборгской бухте была сильнее береговой, да и по улучшению береговой обороны закипела большая и плодотворная работа тогда же, со средины лета [12]. О медленности, на которую жаловался в начале дела Аркас, уже не было и помину,— и быстро выросла новая крепость рядом со старой.

«В Кронштадте, по тесноте, *не было по сие время порохового погреба*, а порох доставлялся по потребности, с Охты. Теперь спешат построить погреб, в который назначено поместить 20 тысяч пудов... Обратить на это важное обстоятельство особое внимание» [13]. Об этом невероятном, но вполне достоверном факте читаем у графа Граббе, в его дневнике, и это происходило как раз в те дни, когда решался (и решился) вопрос о назначении его комендантом Кронштадта, накануне появления адмирала Непира с эскадрой в Финском заливе!

22 марта (3 апреля) начальником сухопутных войск в Кронштадте был назначен генерал П. Х. Граббе. В момент его назначения там было 24 батальона, к которым был прибавлен вскоре карабинерный полк. В первые же дни после приезда Граббе старому генералу пришлось пережить большое несчастье, причина которого навсегда осталась невыясненной до конца: в 7 часов

утра 2 (14) апреля в Кронштадте раздался оглушительный взрыв: взлетела на воздух лаборатория, где производилась выделка взрывчатых веществ. Убито было сорок человек, из которых тридцать принадлежали к двум гвардейским полкам. «Причина взрыва неизвестна и вероятно останется не открытою, никто из работавших не остались в живых» [14]. Мы и теперь не знаем, было ли тут дело в преступном умысле или в случайности, и если этот взрыв был деянием злоумышленника, то кем был этот преступник подослан.

Еще в октябре 1853 г. всем судам, стоявшим в Ревеле, было велено перейти в Свеаборг. Одновременно стали устанавливать батареи на Красной горке. Балтийские моряки даже обиделись по этому поводу. «Мне кажется, это лишние издержки,— писал граф Гейден: — имея в Балтике 26 кораблей, кажется, можно держать Финский залив безопасным от нападения. Разве считают наши корабли недостойными носить флаг русский? В таком случае лучше их не иметь» [15].

Три дивизии — из них одна в Свеаборге — были сосредоточены и находились в полном вооружении на берегах Финского залива в начале октября 1853 г. в ожидании событий.

Неспокойно было на душе в эту зиму и весну 1853—1854 гг. у балтийских офицеров, и вовсе их в Кронштадте не радовал переход русских войск через Дунай, который должен был сделать войну совсем уже близким событием. «Не знаю, как мы справимся с неприятелем, но мне кажется, что мы не совсем готовы к войне, переход же через Дунай ускорит начало неприятельских действий»,— пишет Гейден 25 марта 1854 г. [16]

С первых же месяцев 1854 г. балтийские суда спешно довооружились артиллерией, Кронштадт был битком набит матросами, а с 1 апреля туда еще должна была прибыть гвардейская дивизия [17]. Петербург «обносится с морской стороны батареями», «в Ревель и Гельсингфорс беспрерывно тянутся обозы — кажется большие тяжести, как то пушки уже все перевезены гужом» [18]. Весь гребной флот, которым Россия располагала тогда на Балтийском море (196 единиц), был приведен в готовность. Команда на судах гребного флота должна была по положению состоять из 12 296 человек, — и их в спешном порядке набирали и сажали на эти гребные суда. Линейный флот также спешно чинился и приводился в порядок. Времени терять было нельзя. Непир уже входил в Балтийское море.

Нужно, говоря о русском флоте в годы Крымской войны вообще и о Балтийском флоте в частности, сделать существенную оговорку. Конечно, отсутствие большого парового военного флота, стоявшего на достаточно высоком, современном, техническом уровне европейских боевых эскадр, было одной из главных *непосредственных* причин проигранной войны. Специалисты

морского дела, критикуя действия русского флота (особенно Балтийского) во время Крымской войны, иногда указывают и на другую очень важную причину, мешавшую оперативности русских морских сил: уже наперед решено было отказаться от активных действий на море, флот предназначался для «пассивно-оборонительной» тактики. Эта идея гасила, говорят нам, всякий наступательный порыв [19]. Но не следует забывать, что самая «идея» возникла прежде всего под влиянием сознания технической отсталости и численной в тот момент недостаточности русского флота.

Спора нет, некомпетентность, небрежность, полная непригодность Меншикова на таком посту, как высшее управление флотом, не могли не сказаться пагубно, и весной 1854 г., когда Непир уже входил в Балтийское море, в Петербурге и Кронштадте говорили иногда, что Меншиков «погубил» Балтийский флот [20]. И тем не менее близкая опасность заставила и во флоте (так же как в укреплениях Кронштадта и Свеаборга) многое выправить и кое-какие давние упущения ликвидировать,— и сказать, что Балтийский флот был «ничтожной величиной», было бы решительно несправедливо. Он очень достойно выполнил, в пределах возможного, свой долг.

Техническая отсталость, выражавшаяся в отсутствии винтовых пароходов, не мешала русскому балтийскому морскому флоту быть во всеоружии. В начале Балтийской кампании, 28 апреля 1854 г., состоялся в Кронштадте высочайший смотр собранному там русскому военному флоту.

Налицо оказалось: 17 линейных кораблей, 10 фрегатов и «пароходо-фрегатов». Орудий на этих судах было 1476, не считая орудий (неизвестно, почему их тут не подсчитали) на восьми пароходо-фрегатах [21]. Общее число экипажа было: 11 адмиралов, 503 офицера, 16 119 нижних чинов. Кроме того, в Кронштадте был налицо еще так называемый «блокшифный отряд», состоявший из трех линейных кораблей, трех фрегатов, одного корвета и пяти пароходов. В общем этот отряд имел 384 орудия и экипаж в 2335 человек при одном адмирале и 92 офицерах. Наконец, в Кронштадте была гребная флотилия, имевшая в общей сложности 32 канонерских лодки, одно бомбардирское судно, два парохода и два бота: в общем 67 орудий и команду в 1513 человек, при 39 офицерах. В Свеаборге стояла эскадра под начальством вице-адмирала Румянцева в составе шести линейных кораблей и одного фрегата. Русский мелкий «шхерный флот», гребные суда, канонерские лодки очень мешали свободе действий английского флота 22 августа при обстреле англичанами города Або (с расстояния в 2000 сажен), длившемся 40 минут и не приведшем ни к каким результатам; именно присутствие канонерских лодок помешало Непиру приблизиться.

Какова была относительная боевая ценность этого флота?

В конце июля 1856 г., вскоре после заключения мира, сэр Чарльз Непир посетил с разрешения русского правительства Петербург и Кронштадт. Его принимали очень любезно, возили по всем кронштадтским укреплениям, показывали флот и т. д., и он писал потом, что окончательно удостоверился в несокрушимой силе этих укреплений и невозможности взять Кронштадт. Между ним и генерал-адмиралом русского флота великим князем Константином Николаевичем произошел тогда же разговор, который Непир дословно изложил в письме к лорду Пальмерстону, писанном поздней осенью того же 1856 г. (29 октября). Полнейшая точность этого разговора удостоверена самим Константином по специальной просьбе Непира, в письме Константина к Непиру от 13 (25) ноября 1856 г. В этом разговоре интересны два пассажа. Константин вполне признавал почти абсолютную для Непира невозможность с успехом напасть на укрепления Кронштадта, но только допускал одно исключение: он не понимал, почему Непир не напал на северную сторону Кронштадта. «Но когда я,— пишет Непир,— сказал ему, что у меня не было средств сделать это, что у меня не было ни канонерских лодок, ни судов с мортирами и с конгревовыми ракетами,— то он перестал удивляться».

Второй пассаж этого очень интересного с исторической точки зрения разговора двух противников относится к не менее важному вопросу. «Я спросил его высочество,— пишет Непир,— позволит ли он мне говорить с ним напрямик. Он согласился. Тогда я сказал ему, что если бы он встретился со мной у Киля со всем своим флотом, то у нас была такая плохая и плохо дисциплинированная команда (we were so ill-manned and ill-disciplined), что я не знаю, каковы были бы последствия. Он (Константин — *Е. Т.*) ответил, что он узнал о нашем состоянии слишком поздно, и прибавил...: «если бы у меня были винтовые пароходы, я бы имел честь с вами встретиться» [22]. Этот разговор происходил уже после личного ознакомления Непира с кронштадтским флотом.

Чарльз Непир, впрочем, еще задолго до своего назначения командиром Балтийской эскадры утверждал, что Россия имеет флот в Балтийском и Черном морях численностью (в общей сложности) от 40 до 50 линейных судов и фрегатов и «не может быть сомнения», что русский флот может быть двинут в дело против Англии до того, как Англия будет готова к отпору [23].

Сведения (на самом деле очень неполные) о русских силах, собранные английским адмиралтейством и сообщенные Непиру при отплытии его эскадры, были не весьма успокоительны. Указывалось, что у русских в Финском заливе 27 линейных судов, от восьми до десяти фрегатов, семь корветов и бригов, семь пароходов, множество мелких военных шлюпок и канонерских

лодок — до 180 единиц. Осведомители утверждали, что матросы и канониры у русских прекрасно обучены и дисциплинированы.

Когда Непир только отплывал в Балтийское море, в Англии раздавались голоса компетентных лиц, предупреждавшие, что быстрых успехов и завоеваний в Балтике ждать не следует. Анонимная брошюра «Русская война и блокада Балтики», выпущенная весной 1854 г. адмиралом, отказавшимся подписать свою фамилию, увещевала публику: «Оставляя в стороне желание, которое может возникнуть в нашей стране,— желание слышать о блестящих успехах, о победах, может быть дорого купленных,— для какой надобности было бы делать нападения на берег, который, говорят, защищен лучше, чем когда бы то ни было? Следует припомнить также, что берега Финского залива, насколько они известны (а буера и маяки оттуда убрали), в высшей степени опасны, сравнительно с нашими».

Помимо всего этого, состоящий на службе и поэтому не подписавший своего имени адмирал предупреждает своих читателей, что пренебрегать качеством личного состава русского флота отнюдь не следует: «Об экипажах пишут, что они превосходны в стрельбе и маневре (perfect in gunnery and evolution) и что офицеры и команда долго жили вместе. Таким флотом пренебрегать нельзя» [24].

2

Что начальство над английским флотом, предназначенным действовать против русских в Балтийском море, будет дано адмиралу Чарльзу Непиру,— это в морских кругах Англии не вызывало никаких сомнений. Непир был, во-первых, одним из старейших адмиралов: ему в 1854 г. было 68 лет, а возрастный лимит тогда в британском флоте не существовал. Во-вторых, уже с 13 лет он находился на морской службе,—и служил с успехом и в мирное и в военное время, одержал в 1833 г. блестящую морскую победу над эскадрой претендента на португальский престол — дона Мигуэля, с успехом провел несколько очень ответственных экспедиций на востоке, у берегов Египта и Турции в 1840—1841 гг., командовал затем некоторое время флотом на Ламанше (Channel-fleet), был несколько лет подряд членом парламента, где числился лучшим авторитетом по морским вопросам, и снискал себе репутацию дельного, способного и умного человека.

Он был очень честолюбив и, конечно, был уязвлен тем, что первое место отдали адмиралу Дондасу, а не ему. Никто уже с самого начала русско-турецкой войны не сомневался, что главный узел грядущего великого столкновения завяжется — и так или иначе развяжется — именно на Черном море, а не в каком-либо другом месте.

«Когда событие, которое Чарльз Непир так давно предвидел, в самом деле произошло, когда вызывающее поведение самодержца, наконец, вынудило нас воевать, эта война застала наш флот в состоянии неподготовленности, которое он так часто предсказывал. Правда, в наших гаванях в это время было много великолепных судов, но эти суда были неподходящего типа для имевшегося в виду предприятия, а когда при самых напряженных усилиях они, наконец, были подготовлены к отплытию,— то да позволено будет спросить: где же были моряки, которыми должен был быть снабжен этот превосходный флот? Эти суда были пустыми бараками без солдат, с которыми, по одному случаю, сэр Чарльз Непир так удачно сравнивал их»,— так говорит издатель его корреспонденции и близкий его родственник, пользовавшийся его доверием, генерал-майор Эллерс Непир, давший много документов, пополняющих, объясняющих и уточняющих богатую документацию, представленную па суд общественного мнения самим Чарльзом Непиром и изданную в 1857 г. Чарльз Непир хотел, конечно, получить командование средиземноморским флотом и ничуть этого не скрывал. Но ему этого не дали, а предложили флот балтийский. И в письме от 24 февраля 1854 г., в котором Непир извещал правительство о своем согласии, звучит такой упрек: «Я никогда не делал затруднений, когда требовалась моя служба и после долгой жизни, проведенной с честью, я не буду их делать и теперь» [25].

«Я вижу, что русские перешли через Прут; если в моих услугах есть нужда, я совершенно готов к работе и телом и душой»,— писал Чарльз Непир еще в июле 1853 г. первому лорду адмиралтейства Джемсу Грэхему.

Восемь линейных кораблей и шесть больших паровых фрегатов решено было отдать под его команду в самый день его официального назначения. Состав эскадры затем несколько видоизменился.

11 (23) февраля 1854 г. первый лорд адмиралтейства сэр Джемс Грэхем сообщил адмиралу Чарльзу Непиру, что кабинет сделал его главнокомандующим английских морских сил, предназначенных действовать на Балтийском море против русских. Спустя несколько дней, 7 марта, в одном из самых значительных политических клубов Лондона («Клуб Реформы») Непиру был дан торжественный прощальный банкет в присутствии лордов адмиралтейства, некоторых министров, представителей двора и аристократии. Говорились речи, причем в одной из них содержалось утверждение, что сэр Чарльз с помощью божией через три недели возьмет Петербург. В газетах и в позднейшей полемике эта фраза передавалась в нескольких вариантах: не возьмет Петербург, а будет только бомбардировать, а только прорвется и т. д. Указывалось также, что не сам Непир выразил эту мысль,

а другой оратор. Подчеркивалось, что банкет был крайне продолжительный и заявление о взятии Петербурга последовало уже в самом конце этого безмерно затянувшегося обеда, за ликерами. Друзья Непира настаивали впоследствии, что вообще было чрезвычайно много выпито, а сам Непир устами Батлера Ирпа, которому передал потом все документы о Балтийском походе, назвал это заявление «послеобеденной шуткой (after dinner jocularity)»[26].

Но эта «послеобеденная шутка» имела очень большой отклик и успех и в Англии, и во Франции, и в Швеции, и ее гораздо дольше трех недель очень многие продолжали принимать вполне всерьез.

11 марта 1854 г. Чарльз Непир вышел в море с эскадрой, состоявшей из 17 вымпелов (из них самых крупных линейных кораблей — 4, поменьше — 4, фрегатов — 4 и паровых судов средних размеров — 5). К этой основной эскадре потом должны были прибавиться еще три линейных корабля. Прибывшая к отплытию эскадры королева Виктория шла на своей яхте рядом с флагманским кораблем и проводила отъезжающих до самого дальнего из прибрежных маяков.

Эскадра была сильна артиллерией, суда были большей частью в прекрасном состоянии, но экипажем Непир был очень недоволен и находил, что набирали для него команды кое-как, наскоро, отдав лучший людской состав, наиболее обученных и закаленных моряков адмиралу Дондасу, командиру флота, который должен был действовать в Средиземном и затем в Черном морях. Чарльз Непир был недоволен и тем, что ему дали необученных артиллеристов, и уж наперед был убежден, что русские артиллеристы гораздо лучше обучены и лучше стреляют, чем его собственные, и повторял это и после войны, устами своего «издателя»[27]. Спустя некоторое время Непиру подослали подкрепления, и число боевых судов в его эскадре возросло до 31.

Хотя Финский залив еще не совсем был освобожден ото льда, но уже перед выходом в море Непиру рекомендовали торопиться и поскорее подойти к датским берегам. Дело в том, что в английском адмиралтействе не очень полагались на Данию. Там существовала «русская партия», к которой принадлежала не только аристократия (как в германских государствах, в Австрии и многих других странах тогдашней Европы), но отчасти и «низшие классы» (the lower classes), по выражению Непира, среди которых еще держалась закоренелая вражда к Англии по воспоминаниям о двух варварских бомбардировках Копенгагена (в 1801 и 1807 гг.), осуществленных англичанами в условиях самого вопиющего беззаконного, по мнению датчан, нарушения международного права. Но торговая буржуазия в Дании была на

стороне англичан, надежных и богатых потребителей датских продуктов.

Для английского флота было важно первому подойти к датским берегам, чтобы не дать русскому флоту прийти к Копенгагену с целью заставить Данию стать на сторону России. Эти опасения оказались фантастическими, так же как не оправдались и полученные в Лондоне шпионским путем (через Либаву и Гамбург) сведения, будто русскими на остров Гогланд свезено триста тяжелых орудий.

Первой своей задачей Непир поставил воспрепятствовать возможной попытке русских, разбив лед, отвести наилучшие суда из Кронштадта в Свеаборг, где эти суда *«были бы в совершенной безопасности»*. Взятые в кавычки слова принадлежат не названному по фамилии тайному осведомителю (the informant) британского правительства [28].

Нужно отдать справедливость адмиралу Непиру. Он вовсе не разделял того презрительного отношения к Балтийскому флоту, которое искренне или аффектированно выражали тогда наиболее читавшиеся английские газеты. Непир имел среди своих документов также и следующие сообщения от бывшего посла в Петербурге сэра Гамильтона Сеймура: «Храбрость русских моряков стоит вне сомнения, и хотя эти моряки не равны морякам союзников, но за ними то преимущество, что они знают свои воды, которых союзники совсем не знают. Более того, русские моряки будут стойко держаться у своих орудий, и хотя они в стрельбе стоят ниже, но они сумеют в бою устанавливать дистанции».

Приведя это мнение, Непир подчеркивает, что Сеймур *ошибается,* думая, будто русские стреляют хуже англичан, и снова категорически утверждает, что русские морские артиллеристы *лучше* обучены, чем английские.

В донесении Сеймура подтверждалось известие, что русские будут стремиться перевести часть судов из Кронштадта в Свеаборг.

16 марта Непир достиг 55° северной широты и согласно инструкции вскрыл запечатанный конверт. Ему сообщалось, что хотя война еще не объявлена, но Николай, несомненно, ответит на ультиматум отрицательно. А потому, не начиная пока враждебных действий, Непир обязан отныне ни в каком случае не пропускать русских судов в Северное море. Он обязан атаковать их, если они откажутся повиноваться этому запрету, но не препятствовать им, если они пожелают войти в какой-либо нейтральный порт. И прежде всего он должен всеми мерами воспротивиться тому, чтобы появление русского флота у датских или шведских берегов вызвало переход Дании или Швеции на русскую сторону. Все это было не очень ясно и прямо

противоречиво, так как Дания и Швеция именно и были нейтральными державами, куда идти русским судам Непир не должен препятствовать.

Непир из этой инструкции убедился, что правительство очень боится за датский нейтралитет. Русский флот из Свеаборга мог, при окончательном вскрытии прибрежного льда, совершить визит в Копенгаген и вывести эту и без того довольно враждебную по отношению к Англии страну из состояния нейтралитета. Непир, стоя у входа в Балтийское море, получил еще подкрепление двумя большими линейными кораблями, но все-таки очень рад был, что «русские верят, будто британский флот находится на высоком уровне оперативности», во что сам Непир, несмотря на подкрепления, не верил. Линейный корабль «Монарх» был «в самом плачевном состоянии, ему не следовало и в море выходить», доносил Непир адмиралтейству, снова и снова прибавляя вдобавок, что команда его эскадры плоха, а на некоторых судах просто «отвратительна». «Вы сами можете понять, с каким беспокойством я жду подкреплений, так как по всему, что я слышу, русские будут в большой силе с их кораблями и канонерками. Я вас предупреждаю, что если с нами произойдут несчастья вследствие недостатка команды, то это будет не шуткой»,— так доносил Непир лордам адмиралтейства. А тут еще он получил от бывшего английского посла в Петербурге Гамильтона Сеймура очень колкое письмо, прямо намекающее на безответственные застольные речи на банкете в «Клубе Реформы» о взятии Петербурга через три недели: «Я делаю все,— писал Сеймур,— чтобы умерить ожидания моих земляков и объяснить им, что флот не может плыть по льду и взять Кронштадт, как берут осиное гнездо, и что если бы Кронштадт был взят, все же Зимний дворец слишком обширен, чтобы его перенести и водрузить на Трафальгарском сквере».

Непир вошел в Финский залив. Он получил за четыре дня, с 27 по 31 марта, ряд сообщений от адмиралтейства,— и эти сообщения были таковы, что он сразу же отказался от мысли напасть на эту морскую крепость, несравненно более сильную, чем Севастополь. Ему сообщили, что у русских в Кронштадте плавучие батареи, причем на каждой по четыре крупнейших мортиры, «в то время как у него ни тогда, ни позже не было в его флоте ни одной мортиры» [29]. Далее. Он узнал, что на кронштадтских фортах 128 орудий, из которых 64 очень крупные. Вместе с тем русские расположили мины у входа не только в Кронштадтскую, но также в Ревельскую и Свеаборгскую бухты. Непир полагал, что он разгадал русский план: подпустить британскую эскадру к крепости, успешно ее громить береговыми и плавучими батареями, а к концу двинуть на потрепанную уже эскадру весь кронштадтский флот, дать знать в Свеаборг,— и свеаборгский

флот отрезал бы отступление англичанам. «План был плохо обдуман и имел бы больший или меньший успех, несомненно, если бы адмирал был настолько неблагоразумен, чтобы оправдать русские ожидания и напасть на кронштадтские форты»,— так хвалит самого себя Непир за осторожность, спасшую его эскадру от разгрома и гибели в кронштадтских водах.

Но если нужно отказаться от нападения на Кронштадт и на Петербург, то что же предпринять? От нападения на Свеаборг Непир решил воздержаться приблизительно по тем же причинам, какие заставили его отказаться от прямой атаки Кронштадта. Нападение на Ревель или на любой другой порт русской Прибалтики могло бы иметь существенное значение, если бы Непир мог верить россказням английских газет о том, что не сегодня-завтра Австрия, Пруссия и весь Германский союз станут на сторону союзников. Тогда можно было надеяться на кооперацию прусских войск в Курляндии и Эстляндии. Но без такого, более чем сомнительного, выступления Пруссии действия британской эскадры у прибалтийских берегов России ни к чему существенному привести не могли.

Через две недели после отплытия от берегов Англии Чарльз Непир стал приближаться к Килю, где и вошел в бухту 27 марта.

Тут он осмотрелся и дал знать в Лондон, что, во-первых, некоторые суда его эскадры настолько потрепались от штормов, что фактически стали сейчас временно бесполезны; во-вторых, что экипажем он недоволен. Ему на это посоветовали из адмиралтейства принять шведов и датчан, что было совсем неисполнимо. Шведы еще настолько боялись русских репрессий, а датское правительство, спасенное Николаем в 1850 г. от покушений Германского союза на Голштинию и Шлезвиг, было так дружественно России, что речи не могло быть о согласии шведского или датского правительства на снабжение британского флота моряками этих двух держав. Тревожило Непира и еще одно обстоятельство: он был снабжен порохом и артиллерийскими снарядами гораздо меньше, чем это требовалось для необходимой учебной стрельбы. А без выучки пускать свою команду в дело он не считал возможным.

1 апреля Непир вошел в бухту Кьоге близ Копенгагена. Отсюда он хотел было двинуться к Свеаборгу и уже 17 апреля подошел к Ганге. Но залив медленно очищался ото льда,— и пришлось отложить это предприятие. Непир повел свою эскадру к берегам Швеции и 21 апреля вошел в бухту Эльсгнаббен, недалеко от Стокгольма. Он побывал в Стокгольме, виделся с королем Оскаром, зондировал намерения короля касательно возможности вступления Швеции в войну, но успеха не имел. У Швеции были тогда в полной готовности немалые морские силы: 10 линейных кораблей, 16 фрегатов и корветов, 14 пароходов и

очень большая флотилия канонерских лодок (328 единиц). Оскар и его правительство полагали, что для охраны нейтралитета этого довольно, а для войны с Россией — мало. «Ни я, ни мой народ не стремимся к завоеваниям, даже к завоеванию Аландских островов, пока нейтралитет Швеции обеспечен»,— ответил король английскому адмиралу.

20 мая Непир с эскадрой прибыл в Ганге и тут получил письмо, что французский флот под начальством адмирала Парсеваля-Дешена идет в Балтийское море на помощь ему в предстоящих операциях. С этого времени, в течение почти месяца, крейсируя между Ганге и Баро-Зундом, Непир, как явствует из двух его писем от 30 мая и 4 июня к сэру Болдуину Уокеру и из позднейших свидетельств, все надеялся, что ему удастся выманить русский флот из Кронштадта и сразиться в открытом море [30]. Но эта надежда не сбылась. А нападение на Кронштадт было сопряжено с безумным риском. «Было бы сумасшествием играть в руку России и броситься головой вперед на ее гранитные стены, рискуя нашим морским превосходством, со всеми фатальными последствиями поражения, в неравной борьбе дерева против камня (with wood against stone)»,—писал Джемс Грэхем Чарльзу Непиру, который, впрочем, вовсе и не нуждался в подобных предостережениях [31].

20 мая Непир бомбардировал передовой форт Ганге — Густавсверде. Форт отвечал, перестрелка длилась около восьми часов,— и Непир с эскадрой отошел, ровно ничего не добившись. Замечу, что именно об этой защите Густавсверде говорит Маркс, предсказывая, что оборона финского побережья будет упорная. Непир изображает дело так, что он бросил канонаду, так как бесцельно было бы удерживать форт, если бы даже он был взят и разрушен. Он только забывает прибавить, что форт не был ни взят, ни разрушен и что англичане отошли ни с чем.

21-го обстрел окрестностей Ганге продолжался, и у местечка Эккес произошел довольно длительный бой. Английские суда подошли близко и обстреливали не только русские батареи, но и войска, отвечавшие в помощь артиллерии также ружейным огнем. Англичане отошли, снова ничего не добившись.

13 июня Парсеваль с французской эскадрой прибыл в Баро-Зунд. Он привел восемь линейых судов, шесть парусных фрегатов, один паровой, четыре парохода поменьше, в общем 19 вымпелов. Английская эскадра, в этот момент получившая подкрепление, состояла из 28 крупных и более мелких судов. Союзники были очень любезны друг с другом,— но не весьма друг другу доверяли, причем этот обоюдный скептицизм наблюдался не только в Баро-Зунде, но и в Париже и в Лондоне, и британский кабинет поспешил через первого лорда адмиралтейства подчеркнуть в особом извещении Непиру, что он абсолютно волен в сво-

их действиях и ничуть не подчинен Парсевалю, как и Парсеваль не подчинен ему [32]. Это была все та же система «двух главнокомандующих», которая проводилась в течение всей войны, Дондасом и Гамлэном в Черном море, Рагланом и Сент-Арно в Варне, Рагланом и Канробером — а потом Пелисье — перед Малаховым курганом. Ни Наполеон III, ни британское правительство так до конца и не могли осилить этого непобедимого взаимного недоверия.

Разведки вокруг Кронштадта, предпринятые союзным флотом в последние дни июня (с 24 июня по 30-е), производились судами, сборным пунктом которых были воды в 8 английских милях от Толбухина маяка.

Сведения, добытые разведчиками, не очень много прибавили к тому, что уже и раньше было известно. Вход в кронштадтскую бухту очень защищен минами («адскими машинами», как они тогда назывались), русский флот расположен в трех колоннах и состоит из тридцати приблизительно судов; все подступы могущественно защищены береговой артиллерией. Канал с южной стороны так узок, что союзному флоту придется передвигаться гуськом и русские расстреляют и пустят ко дну все вошедшие суда поодиночке. Взять Кронштадт только нападением с моря нельзя ни в коем случае. Если же высадить осадную армию, то (предупреждает Непир свое адмиралтейство) «вы должны ожидать, что русские всегда будут в большем количестве, чем вы, и если вы потерпите неудачу, то ваша армия — погибла, а если вы одержите успех, то, вероятно, ваша армия перемрет от голода в течение долгой зимы. Поэтому, я полагаю, нечего о том и думать» [33].

15 (27) июня 1854 г. начальник кронштадтского гарнизона П. Х. Граббе записал в своем дневнике: «С воскресенья (12— *Е. Т.*) англо-французский флот в виду и отдельные пароходы приближаются по временам почти на пушечный выстрел по обеим сторонам косы. Толбухин маяк занят неприятелем. Гарнизон был немедленно усилен еще двумя батальонами» [34].

Мелькнула у Николая в это время мысль принять бой в открытом море, но была тотчас же оставлена. Вот что читаем в неизданном дневнике главнокомандующего кронштадтским портом адмирала Литке: «26-го [июля 1854 г.] государь посетил Кронштадт и, во-первых, адмиралтейский корабль император Петр I, куда и мне велено было приехать. После обыкновенного обхода государь пошел в адмиральскую каюту и позвал туда адм. Рикорда, его начальника штаба и меня. Великие князья были все, кроме Михаила Николаевича. Заперли двери.— Очевидно совещание. Прежде чем сели, Конст. Ник. успел шепнуть мне на ухо: On a la malheureuse idée de faire sortir la flotte,— combattez la [есть несчастная мысль вывести в море флот, оспаривайте ее].

Государь начал изображением опасного и почти беспомощного положения крепости Бомарзунда (Аландские о-ва), окруженной большею частию соединенного неприятельского флота, который должен усилиться еще значительным десантным отрядом. В то же время 8 или 9 кор[ветов] лежат у Ревеля,— как будто бравируя или вызывая нас. Соображая все это, государь выразил мысль, нельзя ли Кронштадтским дивизиям выдти и, соединясь с Свеаборгскою, атаковать стоящий отдельно у Ревеля отряд, может быть овладеть им, и вместе с тем сделать полезную для Бомарзунда диверсию?

Адм[ирал] Рикорд в общих выражениях изъявил готовность исполнить волю государя, но вместе неуверенность в успехе.

За ним я положительно высказал мое мнение, что успеха от поиска над отдельным неприятельским отрядом ожидать нельзя, потому что, имея 6 винтовых мин. кораблей, он всегда может уйти от наших парусных, которых рангоуты, появившиеся на горизонте, во-время его предостерегут, если и не сделают этого крейсеры. Наш же флот может подвергнуться большой опасности, если главные силы неприятеля, извещенные крейсерами, на него обратятся.

„Ну если нельзя, то нечего об этом и думать", — сказал государь и отправился на берег, где посетил генерала Дена и осмотрел строящийся на Косе редант, и потом возвратился в Петербург» [35].

Это была последняя разведка перед Кронштадтом, предпринятая Непиром накануне бомарзундской операции.

В июле 1854 г. один из лордов адмиралтейства, сэр Морис Беркли, сообщил правительству и парламенту, что Чарльз Непир считает взятие Кронштадта и даже Свеаборга делом немыслимым и что он сам, Беркли, держится того же убеждения. По мнению некоторых морских кругов Англии, именно подобные заявления и заставили Швецию остаться твердо на позиции нейтралитета [36]. Они не спорят против того, что в 1854 г. война застала Англию, как и всегда, врасплох и что в 1854 г. никак нельзя было взять Кронштадт и Свеаборг. Но, по их мнению, можно и должно было начать в самых энергичных темпах готовиться к кампании 1855 г.,— а это и не было с надлежащей быстротой и должным размахом сделано.

Эти морские специалисты, тотчас после войны взявшиеся за детальную критику морских операций 1854—1855 гг., утверждали, что с того момента, когда выяснилось, что русские не желают выводить свои суда из Свеаборга и Кронштадта в открытое море, флот Чарльза Непира мог делать только то, что он и делал в действительности, т. е. крейсировать в Финском и Ботническом заливах, препятствуя торговле, задерживая одной угрозой своего присутствия на севере большую часть русских вооруженных сил,

чем облегчались операции на Черном море, мешая переброске войск по морю из Ревеля в Свеаборг и Кронштадт, вынуждая Россию получать нужные материалы и товары всякого рода (в том числе боеприпасы) сухим путем, что необычайно замедляло, осложняло и удорожало их доставку. Но что в 1854 г. Непиру немыслимо было взять Кронштадт, это не подлежало сомнению. Англичане, между прочим, базировались на таком расчете: для сокрушительной бомбардировки Кронштадта с его укреплениями и для других действий артиллерии, например для расчистки прохода между Кронштадтом и Лисьим Носом от загромождающих его искусственно созданных русскими препятствий, английская эскадра должна была бы потратить, несомненно, немало дней и при этом тратить не меньше 241 тонны пороху в день, а между тем, беря то время, когда в Англии больше всего фабриковалось пороху,— а именно август месяц 1855 г., мы узнаем (и это приводится как «хорошо известный», точно установленный факт), что «все государственные и частные предприятия вместе во всей Англии вырабатывали годного для артиллерии пороха только сто восемь тонн» не в день, а в неделю [37]. Это не значило, с точки зрения морских специалистов, что нужно было отказаться от нападения на Кронштадт, нет, но следовало в течение всего года — с весны 1854 до весны 1855 г.— приготовить такое грандиозное количество пороху, снарядов, тяжелых мортир и других орудий и снарядить такой флот, чтобы участь Кронштадта, Свеаборга и Гельсингфорса была решена летом 1855 г. А укрепившись в этих трех твердынях, союзники непременно получили бы военную помощь Швеции, и, переведя осенью 1855 г. часть освободившихся после взятия Севастополя сил на север,— можно было бы весной 1856 г., угрожая уже непосредственно Петербургу, поставить России жестокие условия мира.

Оставалось идти на Аландские острова,— осадить и взять Бомарзунд, но для этого у Непира не было ни достаточно артиллерии, ни сухопутных войск. Следовало ждать прибытия французской эскадры с десантом, потому что английское правительство вовсе не желало давать солдат там, где можно было надеяться получить их от Наполеона III, а Наполеон III не торопился, потому что Балтийское море и русский флот в Финском заливе интересовали его несравненно меньше, чем англичан.

В ожидании французской помощи Непир стал собирать сведения о Бомарзунде. «Правительство (английское—*Е. Т.*) не могло получить от своих послов и консулов, бывших почти на самом месте, никаких сведений, так хорошо Россия хранила свои секреты», — говорит Непир [38]. Первый лорд адмиралтейства сам ровно ничего не знал об Аландских островах и рекомендовал Непиру самому добыть себе сведения «сильной рекогносцировкой», потому что нельзя было даже и начинать при-

готовления, действуя до такой степени вслепую: по одним известиям доходило, что гарнизон Бомарзунда равен 1000 человек, а по другим — 9000. Только 25 апреля Непир получил показавшиеся ему сколько-нибудь достоверными сведения о Бомарзунде. Ему сообщили, что гарнизон Бомарзунда — 2000 человек, что из Петербурга туда направлено подкрепление в 6000, но эти 6000 еще не попали на Аландские острова. Кроме того, 4000 человек находятся в городе Або, и русские хотят их тоже переправить в Бомарзунд. Сведения шли явно из Бомарзунда, потому что Непира уведомляли, что комендант крепости, Бодиско, считает невозможным взятие Бомарзунда с моря, а опасается только высадки десанта.

В начале мая Непир стал медленно приближаться к Аландским островам, отрядив небольшую флотилию под начальством адмирала Пломриджа на разведки в Ботнический залив. Он скоро убедился в необычайной трудности действовать среди бесчисленных островков, которыми усеяна вся эта часть финского побережья. Французы все не приходили, а Непир, еще даже не зная мнения Бодиско, утверждал, что без сухопутных сил Бомарзунда не взять. Если бы шведский король выступил и если бы мы имели тут войска, мы бы могли действовать против Аландских островов,— доносил Непир первому лорду адмиралтейства Грэхему. Но ни Грэхем войск не присылал, ни шведский король не изъявлял желания выступить. В эту пору до отступления русских из Дунайских княжеств страх перед Россией был еще так силен, что шведское правительство вовсе не желало себя компрометировать и даже очень неодобрительно смотрело на вербовку в Швеции лоцманов для эскадры Непира. А датское правительство определенно воспретило датским лоцманам поступать на корабли английской эскадры. Между тем «ни одна душа (no soul)» у Непира не имела никакого понятия о водах Финского залива и восточной части Ботнического. Отсутствие датских лоцманов (которых ценили гораздо выше шведских) особенно давало себя чувствовать.

20 мая Непир подошел к Ганге, и три корабля из его эскадры выпустили безрезультатно несколько снарядов по укреплениям. Пять линейных судов прошло к Гельсингфорсу на разведки. Узнали они немногое: в Кронштадте — гарнизон в 10 000 человек, на рейде под прикрытием береговых батарей там стоят 20 линейных кораблей, три больших парохода и 16 малых судов. Внутренний рейд защищен минами, взрывающимися посредством гальванических батарей. В Свеаборге — 13 линейных кораблей, в Ганге — сильная позиция, особенно важны батареи на Скомсгольме и на Густавсверде — их прежде всего нужно привести к молчанию. Вообще Ганге взять можно, но с жертвами: людьми и судами.

Непир на это не пошел, не видя во взятии Ганге особой выгоды, так как без сухопутных войск удержать Ганге за собой было нельзя.

Эскадра стояла в бездействии, охотясь за торговыми судами и рыбачьими лодками.

Вообще у Непира составилось прочное мнение, от которого он уже не отказывался и которое изложил в донесении адмиралтейству 3 июня 1854 г.: «Совершенно достоверно, что Кронштадта взять нельзя (Cronstadt is impregnable)», а берега Финского залива с обеих сторон — и со стороны Финляндии и со стороны Ревеля, Либавы, Риги — прочно заняты сухопутными войсками. Да и в Ганге можно, правда, вытеснить русских из передовых батарей, но с крепостью ничего сделать нельзя: «я пустил несколько снарядов с кораблей в крепость, но это было точь-в-точь так, как если бы бросить горохом в гранитные стены»[39]. Чарльз Непир давно уже жаловался и на малые силы, данные ему адмиралтейством для серьезнейших операций, и на почти полное отсутствие дельных мичманов и хороших матросов и опытных офицеров. Поэтому он постоянно и с некоторым как бы злорадным удовольствием пишет о неприступности Кронштадта, который должен был бы явиться основным объектом всей кампании, и после новой обстоятельной рекогносцировки в конце июня, изложив подробно, почему Кронштадта взять никак нельзя, Непир прибавляет язвительнейший «постскриптум» к своему донесению, издевательский смысл которого несомненен: «Наилучший план нападения на Кронштадт заключается в том, чтобы начать с Петербурга. Вы можете высадить армию или к северу или к югу (от города — *Е. Т.*) и идти на город; это должна быть такая армия, против которой русские не устояли бы, и вы не должны потерпеть поражение, потому что иначе это обратится в такой же бедственный поход, как поход Бонапарта»[40].

Бездействие тяготило и раздражало Непира, но он ровно ничего не только не делал, но и не мог делать. Он ждал с нетерпением французов.

Французская эскадра благополучно дошла до Киля. Но тут произошла заминка, которая объяснялась туманами и абсолютным незнанием морей, в которые вступил французский адмирал, шедший на подкрепление к Непиру.

Наконец, сначала передовой французский линейный корабль «Аустерлиц», а затем и вся французская эскадра, отряженная в Балтику, явились в Финском заливе.

Вот уже союзный флот совсем придвинулся к Аландским островам, отряд генерала Барагэ д'Илье приготовлен к высадке,— генерал и оба адмирала спохватываются, что упущена одна, не лишенная некоторого интереса, подробность: а что же делать с Бомарзундом дальше, уже после того, как он будет взят?

Барагэ д'Илье не скрывает, что, он, взяв Бомарзунд, сейчас же уедет во Францию вместе со своими десятью тысячами. Хорошо бы совсем было, если бы шведы заняли крепость. Затруднение в том, что шведы боятся России. Спешно Непир снова посылает в Стокгольм, предлагая Оскару Аландские острова, которые ему будут совсем уж скоро переданы союзниками. Но Оскар сказал: пока Австрия не объявит России войну, до тех пор Швеция ни за что против России не выступит [41].

Значит, на этот план сотрудничества Швеции, да еще немедленного, нужно махнуть рукой. Бомарзунд будет взят, Барагэ д'Илье уедет, шведы не приедут, и Бомарзунд будет брошен на произвол судьбы.

А вывод был сделан неожиданный: нужно все-таки Бомарзунд брать, раз уж подошли к нему, хотя полнейшая ненужность дела стала ясна даже простым матросам.

Адмирал Парсеваль, начальник французской эскадры, решил не расставаться с ближайшим местом действия французских сухопутных войск у Бомарзунда. На дееспособную помощь англичан, на их фактическое боевое участие ни он, ни генерал Барагэ д'Илье пред началом бомарзундской операции явно не надеялись. Сам же Непир, так и не давший главных сил своей эскадры для борьбы против Бомарзунда, приводит два аргумента в защиту своего образа действий, не замечая, что эти аргументы разнородны. Выходит так: во-первых, крупные суда были бы бесполезны и бессильны при нападении на Бомарзунд, а, во-вторых, он, Непир, при всем желании, никак их дать не мог, а должен был находиться с ними совсем в другом месте. Первый аргумент он подкрепляет отчетом капитана Сэлливана, посланного на дополнительную разведку в аландские шхеры. Он донес, что пробить казематы Бомарзунда с кораблей не удастся, а сама эскадра окажется под выстрелами 60 орудий с главного форта. Условия же шхер таковы, что больше шести-семи кораблей одновременно пустить в дело будет невозможно. Кроме того, с трех боковых башен огонь будет поражать атакующую эскадру, как только она сделает попытку уменьшить расстояние между собой и главным фортом. Общий вывод Сэлливана был таков: громить Бомарзунд издали совершенно бесполезно (totally useless), а подойти ближе слишком рискованно и никакой гарантии успеха нет (risk too great to warrant the attempt) [42]. Итак, разведка Сэлливана убедила, по-видимому, окончательно Чарльза Непира в том, что лучше, если этот риск возьмет на себя не английская, а французская эскадра.

Но ясно вместе с тем, что один этот аргумент не мог произвести особенно отрадного впечатления ни на Парсеваля, которому великодушно предоставлялось испытать огонь бомарзундских фортов и боковых башен, ни на французского императора, кото-

рый весьма внимательно присматривался вообще к образу действий своих верных, но очень уж недавних союзников (не к тому, что печатали их газеты, но к тому, куда двигались их адмиралы). Поэтому Непир выдвигает и второй аргумент: он не может очень дробить свою эскадру, потому что необходимо все время неусыпно стеречь Финский залив. Русская эскадра могла выйти каждый момент из Кронштадта или из Свеаборга, или одновременно из этих двух мест и внезапно напасть на англичан. Вот почему нужно было главные силы английской эскадры держать в кулаке.

Непохоже было вовсе, что внезапно русские выйдут в море. Но что Непир сам в это не верит, а просто лукавит, ни Парсеваль и никто вообще, конечно, доказать не мог. Не доказали это и командиры некоторых больших линейных кораблей английской эскадры, жаловавшиеся впоследствии адмиралтейству, что Чарльз Непир лишил их славы, не послав их на помощь французам к Аландским островам. С напряженным вниманием глаза всего мира направились на Аландские острова. Это было время между снятием русской осады с Силистрии и высадкой войск в Крыму, время некоторой как бы заминки на главном, южном театре военных действий, и можно сказать, что в августе 1854 г. Финляндия, а не Турция стоит в центре дипломатических забот великих держав. Дело шло о стародавней мечте Пальмерстона: привлечь Швецию в состав антирусской коалиции, посулив ей Финляндию,—и в самом деле, отняв эту территорию у России, сделать Швецию близкой соседкой Петербурга, всегда угрожающей русской столице. Завоевание Аландских островов должно было, по мнению британского кабинета, могущественно содействовать началу реализации этого плана. В Лондоне долго убеждены были, что Финляндия—нечто вроде русской Индии по чувству ненависти и вражды к овладевшим ею в 1808—1809 гг. завоевателям. Но, к большому удивлению союзников, действовавших в Балтийском море, их ждало разочарование,—и оно наступило именно после нескольких месяцев пребывания английской эскадры в Финском и Ботническом заливах, после высадок на огромном побережье и островах, после систематических разведок и опросов жителей и пленных рыбаков и купцов. Показания были довольно однообразны, и вот каков был общий вывод, сообщенный Непиром по начальству: «Общераспространенным в Англии было убеждение, что Финляндия с энтузиазмом восстанет против России и таким образом воспользуется удобным случаем добиться воссоединения с Швецией. Хотя таково было некоторое время и мнение британского правительства, но это было ошибкой. Может быть, Финляндия могла желать стать независимой или образовать часть Швеции на тех же основаниях, как и Норвегия, но даже это было сомнительно». Догадки, которые приводит тут Непир,

нас не интересуют, конечно. Но самый факт для него не подлежит уже ни малейшему сомнению. И не только аристократия, на которую сыплются русские чины и ордена, но и «коммерческие классы» (как выражается адмирал) тоже пользуются привилегиями и довольны своим положением. А если между коммерсантами и существовали симпатии к союзникам, то эти чувства теперь «совершенно изменились под влиянием блокады, установленной сэром Чарльзом Непиром и уничтожающей их торговлю» [43]. Вообще же адмирал признает, что действия его эскадры имели последствием еще более тесное сближение Финляндии с Россией (the effect being rather to draw them closer to Russia).

Но если приходилось махнуть рукой на финнов,— то оставалась Швеция, и здесь шансы союзников были несравненно более благоприятными. Мы будем впоследствии говорить о настроениях в Швеции, обозначившихся до осени 1854 г., а теперь обратимся к бомарзундской операции союзников, для которой Парсеваль и привез в Балтийское море генерала Барагэ д'Илье с его отрядом.

3

Группа Аландских островов находится в 21 версте от финского берега, в 35 — от шведского, в 175 — от Стокгольма. Море крепко замерзает. В 1809 г. острова были заняты русскими войсками. С 1829 г. началась постройка бомарзундских укреплений, на главном острове Аланд. Но к 1854 г. только $1/5$ часть укреплений была готова. Укрепления были не связаны между собой. Главный форт был просто двухэтажной каменной казармой под железной крышей. Позади форта находились двухэтажный сводчатый капонир и два отдельных двухэтажных офицерских флигеля без сводов. В главном флигеле были помещения для 2500 человек. Амбразур было 115. В 400 саженях от форта находилась башня «С», господствовавшая над всеми укреплениями [44]. Отдельно от форта и на таком же почти расстоянии от него, как и башня «С», находились еще две башни. В каждой могло поместиться до 125 человек, в первой было до 20 амбразур. Стены как форта, так и башен были толщиной в 6 футов и сделаны были из кирпича, облицованы же были гранитом. Во всех этих укреплениях в общей сложности находилось 112 орудий с запасом в 80 снарядов на каждое. Лафеты были старые, деревянные. В день, когда началось нападение, у коменданта Бомарзунда, артиллерийского полковника Бодиско, было в распоряжении, считая с офицерами, писарями, нестроевыми командами,— 2175 человек, но под ружьем и при орудиях состояло лишь 1600 человек.

В мае 1854 г. английский флот начал крейсировать близ Бомарзунда, высаживая гребными судами небольшие отряды по берегам, забирая людей, которых и расспрашивали об укреплениях.

Уже начиная с июня, а особенно с июля, маленький гарнизон Бомарзунда констатировал близкое присутствие неприятеля. В течение нескольких недель англичане почти ежедневно высаживали своих разведчиков на берегу материка и на островах, и они расспрашивали местных жителей об укреплениях. Непир узнал таким путем об устроенной капитаном Теше скрытой береговой батарее. 21 июня (3 июля) англичане, производя очередную рекогносцировку, открыли огонь по двум островам, а затем, выстроившись фронтом перед замаскированной, но уже известной им батареей Теше, три парохода начали громить батарею. Три часа длилась канонада. Англичанам сильно мешали при этом стрелки 2-й роты гренадерского саперного батальона: рассыпавшись по лесу позади батареи, русские стрелки били очень метко в амбразуры трех неприятельских пароходов, поражая артиллерийскую прислугу [45]. Держаться далее батарея не могла, и полковник Фурцгельм приказал ей отступить в форт.

Тогда неприятель начал бомбардировать форт, который деятельно отстреливался до второго часа ночи, когда пароходы ушли. Русские заметили, что неприятель, выпустив до 2000 снарядов, причинил форту больше повреждений, чем скрытой батарее. Поэтому сейчас же после ухода неприятельских судов гарнизон принялся сооружать новую прибрежную батарею, которую и вооружили восемью орудиями.

Прошло несколько недель затишья. Мы уже знаем, что Непир ждал французов.

10 (22) июля в так называемом Лумпоренском озере (сообщающемся с морем) показались шесть паровых фрегатов и кораблей. Это была новая рекогносцировка, на этот раз уже без канонады. Неприятель совсем не отвечал даже на русские выстрелы с форта прибрежной батареи и с так называемой башни «С». Тут гарнизон сделал роковое открытие: русские снаряды не долетали до неприятеля.

Прошло еще три недели. Неприятель бездействовал, хотя суда его накапливались и накапливались в Лумпоренском озере.

Наконец, произошло событие, предрешившее близкую гибель Бомарзунда. 26 июля, в 10 часов вечера, вдруг послышалась далекая, но сильная пальба. Среди ночи с 26 на 27 июля пальба возобновилась: это Чарльз Непир салютовал подходившей к нему долгожданной французской эскадре адмирала Парсеваля, привезшего десантный отряд генерала Барагэ д'Илье.

Первый отряд французской эскадры и находившихся за ней французских сухопутных войск появился перед Бомарзундом

уже 1 августа, и с 1 по 3 августа французы производили разведки ввиду предстоящей высадки. Прибыл и один английский пароход с очень небольшим количеством моряков, предназначенных к высадке. Барагэ д'Илье не хотел начинать высадку, пока не прибудет полностью вся французская эскадра с материальной частью экспедиционного корпуса,— а она была еще в пути, задержавшись несколько в Киле. Курьезное впечатление производят письма Чарльза Непира, писанные им в эти августовские дни первому лорду адмиралтейства. Непир, окончательно решив не давать для операции своих судов, прямо выходил из себя, досадуя на медлительность французов: «Лето проходит и каждый час дорог, а французский генерал не хочет высаживаться и занимать позиции, пока материальная часть не прибудет... Если русские могут продержаться, пока не настанет дурная погода, то мы очутимся в затруднительном положении». По-английски сказано сильнее: «we shall be in mess». «Все, что может быть сделано, я делаю, но это откладывание убивает меня». То есть он ровно ничего не делал,— и его корреспондент сэр Джемс Грэхем, как и весь английский кабинет, это отлично знал. Но Непиру незачем было и стесняться между своими. Он знал, что и в Лондоне смотрят точно так же, как и он: зачем брать Бомарзунд английскими руками, когда можно сделать это французскими?

2 августа в гарнизоне узнали, что неприятель начал высаживаться на берег близ Зунд-кирки, в 12 верстах от форта. Тогда, в предвидении немедленной тесной осады форта, русские решили сжечь все строения на острове, где неприятель мог бы найти приют или извлечь какую-либо пользу. 2, 3, 4 августа были сожжены госпиталь, тюрьма, три провиантских магазина, конюшни для артиллерийских лошадей, бани, гауптвахта. В ночь с 7 на 8 августа Бодиско велел уничтожить прибрежную батарею и взорвать орудия. Но это не успели исполнить,— и неприятель захватил орудия.

7 августа в 3 часа утра началась высадка французов и английского отряда. Высадка продолжалась $3^1/_2$ часа. Высадились 11 000 человек в трех отдельных пунктах, и уже спустя несколько часов союзники открыли первую бомбардировку. 8, 9, 10 августа продолжалась выгрузка осадных орудий, зарядных ящиков и провианта. К бомбардировке башен с 9 августа прибавилась бомбардировка главного форта. Осадные орудия были очень крупного калибра, на выгрузку каждого с корабля на берег требовалось до 200 человек. 15-го и утром 16-го огонь осаждавших необычайно усилился. Стрельба русского гарнизона тоже не ослабевала, и русской артиллерии удалось даже тяжело повредить английский корабль «Леопольд» и вывести его из строя. Но этот успех был одиноким исключением: артиллерия Бомарзунда была такого калибра, что ядра очень редко долетали до неприя-

теля. Для союзников осада Бомарзунда была, в сущности, почти совершенно безопасным занятием.

Кроме 10-тысячного отряда Барагэ д'Илье, 8 августа у Бомарзунда решено было высадить еще 2000 французских моряков; англичане высадили небольшое количество своих матросов и 90 саперов.

Участие этих английских сил было равно нулю. Ни Барагэ д'Илье их не требовал, ни сами они ничего не намерены были делать, и их высадка имела лишь символический и как бы декоративный смысл.

Всю ночь с 7 на 8-е шла перестрелка.

С утра 8-го непосредственная цель неприятеля обозначилась ясно. Французы подошли к крепости и сейчас же соорудили три батареи против самой важной из башен, башни «С», построенной на высоте, которая господствует над всей крепостью.

Командиром башни был инженерный капитан Теше, под его командой было 123 человека, из них 85 Финляндского батальона, 18 артиллеристов и 20 стрелков Гренадерского батальона.

Положение маленького гарнизона было совершенно безвыходным с первого же момента высадки десанта. «Малый калибр наших орудий,— пишет русский офицер, участник дела,— не мог успешно отвечать неприятельским: все ядра падали, *далеко не достигнув неприятеля*. Удалившись за линию падения наших снарядов, неприятель, ничего не страшась, громил форт бомбами с точностью практической стрельбы на ученье, до того впоследствии верной, что ядра попадали в самые амбразуры и сбивали орудия». Обойдя форт и заняв возвышенности, укрывшись за скалой и большими каменьями, неприятель «разбивал кирпичные стены внутренности форта и ежеминутно угрожал взрывом пороха, помещенного в ящиках при каждом каземате» [46]. Бомбы проникали решительно во все места казематов и башен, и люди по нескольку суток почти не смыкали глаз. Гарнизон не смутился духом и дорого решился продать жизнь свою, если неприятель решится брать штурмом. Но неприятель угадывал отчаянное положение осаждаемых и на штурм не пошел, он продолжал ослаблять гарнизон убийственным огнем своих орудий...

В форте начались пожары, и все усиливавшаяся бомбардировка мешала тушить их.

Три дня продолжалась неравная отчаянная борьба,— и башня сохраняла сообщение с главным фортом, откуда и получала снаряды. В 7 часов вечера капитан Теше пришел к коменданту с грустными вестями. Часть его гарнизона была перебита метким огнем французских стрелков через амбразуры, одно орудие подбито. Все заметили, что он «совсем расстроен от усталости и заботы» [47]. Не только он, но и весь гарнизон был абсолютно уверен, что сдача совершенно неизбежна.

Взятие башни предрешило падение всего форта. Французы еще до взятия башни выстроили две сильные батареи в непосредственной близости от форта: одну на Чертовой горе, а другую на том самом месте, где стояла русская прибрежная батарея и где были захвачены русские орудия. По показаниям, идущим со стороны неприятеля, некоторые выстрелы вырывали прочь самые амбразуры вместе с орудиями. Еще в первые дни бомбардировки форт отстреливался очень энергично, но артиллерийская дуэль была очень уж неравной: русские снаряды сплошь и рядом не долетали до цели. Вот, например, что рассказывает в своем официальном донесении человек, деятельно участвовавший в обороне форта, об эпизоде боя, происшедшего 9 августа: «...в 11 часов утра пароход „Пенелопа" сел на мель в проливе между островами Престэ и Тавте в 800 саженях от форта.

Немедленно был открыт сильный огонь по пароходу, который, по показанию неприятеля, получил девять пробоин, но подоспевшие на помощь четыре парохода сняли „Пенелопу" с мели, сбросив часть вооружения оной в воду, в три часа успели взять поврежденный пароход на буксир и вывесть в Энгезунд. Если бы орудия наши имели больший калибр, то пароход „Пенелопа" неминуемо должен был бы погибнуть. Чтобы отвлечь огонь наш, неприятельский линейный корабль приблизился к форту и сильно бомбардировал оный, причинив нам значительный вред 96-фунтовыми орудиями своими» [48].

В 4 часа утра 13 августа французская артиллерия открыла бомбардировку западной башни Бомарзундской крепости. Бомбы необычайной силы непрерывно громили башни, огонь продолжался весь день. Русские отвечали, но, в сущности, сопротивление ничтожной кучки людей, запертых в старом замке, из амбразур которого трудно было даже направлять огонь, было абсолютно невозможно. Им пришлось обороняться от большой, прекрасно вооруженной десантной армии, обильно снабженной не только легкой, но и осадной артиллерией. К вечеру разбиты были стены, кое-где совсем вырваны прочь амбразуры с орудиями, стрелявшими из них. «Несмотря на это и на еще более усилившийся огонь французских егерей, гарнизон мужественно отстаивал свои позиции, и его орудия работали без остановок, поддерживая до вечера непрерывный огонь против неприятеля» [49]. К вечеру целый ураган разрывных бомб ударил в разрушенную крепость.

Наступала уже темнота, когда в одном из отверстий в стене показался парламентерский флаг. Огонь прекратился, и генерал Барагэ д'Ильс с несколькими провожатыми подошел ближе, чтобы узнать, о чем хотят говорить осажденные. Русские предлагали четырехчасовое перемирие. Убежденный, что осажденные имеют в виду добыть за это время каким-нибудь путем новые

боеприпасы, Бараго д'Илье ответил, что он даст перемирие на один час. Тогда, по одним данным, русские крикнули на французском языке: «В таком случае поскорее убирайтесь к своим, мы сейчас возобновим огонь». По другим данным, они выразили эту же мысль вежливее: «советуя парламентской группе поспешить (to go quickly)»,— говорит Непир.

Канонада после этого страшно усилилась. Железные и каменные обломки пачками взлетали высоко на воздух и обрушивались на погибающую крепость. Наступила ночная тьма. Французы расположились вокруг тесным кольцом, окончательно отрезав защитников крепости от всяких сношений с внешним миром.

Несмотря на убийственное различие в дальнобойности и силе артиллерии, гарнизон форта продолжал сопротивляться и отстреливаться. Наступила последняя ночь башни «С». Около половины ее гарнизона успело уйти в форт, Теше приказал заклепать орудия. Тяжело раненный, он и несколько человек в четвертом часу утра 14 августа были взяты французами в плен. В ночь с 13 на 14 августа, как раз когда решалась участь башни «С», начиная с 10 часов вечера французы начали обстреливать форт особенно сильно, очевидно, чтобы затруднить помощь со стороны форта защитникам погибающей башни. Обстрел велся в эту ночь также конгревовыми ракетами и гранатами, которых у русских не было вовсе. Бомбардировка шла всю ночь, а с утра 14-го французы начали устройство новой батареи на взятой ими уже башне «С». Но подполковник Финляндского полка Кингштедт уже вечером того же 14 августа стал бить из трех мортир по этой новой батарее и удачно поджег снарядами дрова, сложенные во дворе. Возник пожар, который дошел до порохового погреба, и часть башни взлетела на воздух.

Чтобы покончить с фортом, осаждающие призвали флот. В 5 часов вечера 14-го три военных корабля приняли деятельное участие в обстреле форта. С 8 часов утра 15 августа уже восемь кораблей бомбардировали форт, помогая сухопутной артиллерии. Комендант еще в ночь с 13 на 14 августа приказал установить во дворе форта три мортиры: одну пятипудовую и две трехпудовые. Именно они-то так удачно и действовали против новой французской батареи на взятой неприятелем башне «С». «При действии сих мортир особенно отличились арестанты, добровольно предложившие заменить артиллерийскую прислугу под сильным огнем неприятеля»,— читаем в донесении Кнорринга. Арестанты были переведены в форт перед тем, как в предвидении близкой осады пришлось сжечь находившийся вне укреплений острог. Арестанты состязались в храбрости с солдатами и оказали в эти дни много услуг по обороне Бомарзунда. Но огонь неприятеля становился невыносимым. В этот день 15 августа, по приблизительному расчету, неприятель действовал против форта и еще оставшейся

в руках русских одной башни из 800 орудий, и по форту было выпущено за 11 часов этого дня (с 8 часов до 7 часов вечера) до 4000 снарядов. В этой Нотвичской башне было 20 орудий (24- и 36-фунтового калибра) и 120 нижних чинов. Она была вскоре разгромлена, казематы ее были разрушены до основания, и в 8 часов вечера 15 августа эта (Нотвичская) башня, совсем лишенная возможности отстреливаться, сдалась. Тогда все батареи уже безраздельно были направлены на форт. Крыша была снесена с форта уже вся целиком, стропила постоянно загорались, и хотя арестанты «с редким усердием работали под ядрами и всякий раз тушили пожар», но обороняться становилось невозможно. Бомбардировка шла всю эту ночь с 15 на 16 августа, усиливаясь с каждым часом. 80 человек Финляндского линейного батальона были лишены возможности отстреливаться еще до того, как в 3 часа ночи к неприятелю, и без этого во много раз превосходившему русских силой и численностью орудий и огромным общим перевесом осадного корпуса над гарнизоном, подошли еще три военных корабля. Они принялись осыпать бомбами башню, построенную на острове Прете. Башня не могла отвечать не только вследствие общей причины — относительной слабости калибра своих орудий, но и потому, что неприятель, укрывшись за огромными камнями, был в совершенной безопасности даже от случайных попаданий.

Обстрел форта продолжался. Отстоять форт артиллерией было совсем немыслимо. И все-таки русские войска не хотели сдаваться до последней возможности. Новые и новые английские и французские военные пароходы прибывали 3 (15) августа и в ночь на 4 (16) августа на место действия, артиллерийский обстрел форта все свирепел, одна русская батарея за другой умолкала, русские ядра сплошь и рядом не долетали. Надежды на спасение не было ни малейшей. Французы готовились к штурму, который, конечно, привел бы к немедленному и полному успеху атакующих. В час Барагэ д'Илье, войдя в форт, сказал коменданту форта Бодиско, что он хорошо сделал, не доведя дело до штурма, потому что при взятии форта штурмом «французы не пощадили бы никого» [50].

Все укрепления Бомарзунда последовательно были взорваны в ближайшие дни. Затем, 2 сентября Барагэ д'Илье со своим экспедиционным корпусом выехал во Францию. Англичане после бесцельной и совершенно безрезультатной бомбардировки города Або покинули аландские воды 14 сентября.

И враги и русские военные эксперты высказывались как в 1854 г., так и впоследствии в том смысле, что оборонять Бомарзунд при том соотношении сил, которое было налицо между нападением и защитой в августе 1854 г., оказалось для русского гарнизона абсолютно невозможным.

Но русский солдат был недоволен, что ему не дали погибнуть со славой хотя бы и в безнадежной борьбе. Солдата Загородникова, имени которого мы не знаем, потому что он под своим письмом к тетушке Дарье Савельевне поставил перед своей фамилией лишь начальную букву, взяли в плен вместе с его товарищами в Бомарзунде 16 августа 1854 г.[51] После двухлетнего пребывания в плену в Англии он вернулся и написал своей тетке большое письмо, в котором описывал все, что с ним случилось. Он полон (несправедливого) гнева против начальства, которое не пыталось в открытом бою воспрепятствовать высадке неприятеля на остров, возмущен гарнизоном за то, что укрылся в крепости: «Гарнизон наш не так действовал... Воины, как будто испуганные, бросив пушки на батарее, бежали в крепость, а запершись в оной полагали защиту иметь в каменных стенах; а неприятель, взошед на остров, благодарил судьбу за доставленную ему уступку местности без всякого сопротивления и за исполнение его желаний. Нет, как мертвого невозможно разбудить от вечного сна, так воображение не может устоять против провидения божьего...» Загородников так же горько и так же фактически несправедливо обвиняет «главное начальство», что оно «не подавало собой пример неустрашимости воинам». Он возмущен и тем, что при офицерах и солдатах находились их жены и дети, и находит, что это могло ослабить нужный в борьбе дух самоотвержения: «Да возможно ли мужчине, занятому нежными ласками и приятными поцелуями жены, не ослабить дух рыцарства против врага?» Мужчина при этом «забывает должную предприимчивость в защите себя от неприятеля и падает под слабым его ударом. И извинительно, любовь не имеет предела, она преступает закон». Ему тяжело было в плену, и он полагает, что и те, за кем последовали семьи в Англию, не могли себя хорошо чувствовать: «Какая же злобная рука тревожила их блаженный покой? Плен и призыв России к себе». Загородникова продолжает мучить бомарзундское дело даже и через два года после события, когда он пишет: «Словом сказать: Аландский гарнизон потерял честь и хвалу». Его нисколько не утешает, что, по общему признанию, гарнизон честно выполнил все, что было в человеческих силах. Окончание обороны Бомарзунда «сокрушило мое сердце. Я тайно в чувствах душевной боли со слезами приносил раскаяние, что мы не сыны церкви и не истинные слуги царю и отечеству, предавались почти целым гарнизоном постыдному плену».

И хоть сам царь дважды через присланного адъютанта выразил полное свое благоволение гарнизону и вполне оправдывал его поведение, на Загородникова это ничуть не действует. Он хорошо знает при этом, что только неизвестной никому

Дарье Савельевне он может поведать свою грусть и снедающие его стыд и обиду,— и он делает это, как только его вернули по окончании войны из плена.

Объективно — обвинения Загородникова несправедливы, стыд и горечь его — необоснованны. Но все-таки очень хорошо, что случайно это солдатское письмо спустя 40 лет не затерялось, как терялись все солдатские письма. Оно дает нам возможность заглянуть туда, куда очень редко находили случай и время заглядывать современники и историки: в душу русского солдата, вынесшего на себе эту долгую и тяжкую войну. Письмо Загородникова к Дарье Савельевне с этой точки зрения — такой же по-своему нужный и в своем месте ценный для исследования документ, как французская переписка барона Бруннова и графа Киселева с канцлером Нессельроде или письмо Николая к Наполеону III.

Я нашел в Военно-морском архиве беглое, но ясное указание на то, что Загородников был далеко не одинок в своих настроениях и что солдаты в Бомарзунде были решительно против сдачи. Вот что пишет о бомарзундском гарнизоне один генерал, который и сам сгоряча порицал сдачу, хотя в те дни, когда писал, еще не имел (и не мог иметь) точных сведений об обстоятельствах, сопровождавших это событие: «...жаль людей, которые чуть не бунтовались против этих действий начальства» [52].

4

Был ли какой-нибудь военный стратегический смысл для союзников брать Бомарзунд? Не было ни малейшего, в этом не только убедились впоследствии западные критики Балтийской кампании, но убеждены были еще до начала операции члены британского кабинета. «Я не вижу какой-либо большой выгоды в том, чтобы взять Бомарзунд с риском большой потери в людях и в кораблях, если Швеция останется в стороне от борьбы и будет держаться за свой нейтралитет»,— писал 29 июня 1854 г. первый лорд адмиралтейства Джемс Грэхем Чарльзу Непиру [53]. Но если так (а с этим были по существу согласны и Непир, и Парсеваль, и командир французских войск Барагэ д'Илье), то зачем же все-таки было предпринято нападение на Бомарзунд? На это можно представить два объяснения. Первый ответ мы находим в письме Чарльза Непира первому лорду адмиралтейства от 28 июня 1854 г.: «если мы не нападем на Аландские острова, то я не вижу, что же другое мы можем сделать» [54]. Ни Свеаборга, ни Кронштадта взять нельзя, русский флот укрылся под береговыми батареями и не выходит в море; как главным делом — заниматься

ловлей ревельских и гельсингфорсских рыбаков двум первостепенным морским державам не пристало.

Второй ответ дает анализ настроений в Париже, в Тюильри и в прессе. В войне — заминка, прошло с 24 марта три месяца и ничего не сделано ни на юге, ни на севере. Наполеону III эта легкая победа над заброшенной, давно ненужной русской крепостцей была необходима для целей агитационных, для подъема шовинистических настроений.

«Я был у французского генерала, у него есть некоторые сомнения касательно нападения на Бомарзунд»,— пишет Непир за несколько дней до этого предприятия. Конечно, бессмыслица дела бросалась в глаза Парсевалю там, на месте, но его повелителю в Париже было важно прежде всего получить бюллетень о победе, а затем эта «победа» могла приободрить Швецию и способствовать ее дипломатическому, и со временем военному, сближению с западными державами.

Волнение в Швеции было большое. После Синопа оно не переставало возрастать. «Шведский сейм очень шумел против нас, и по этому поводу в Финляндию вступает 2-я гвардейская дивизия»,— доносил 5 января 1854 г. из Петербурга посланный туда Меншиковым капитан Краббе [55].

Это волнение в шведских политических кругах в течение всего марта и апреля 1854 г. необычайно усилилось. Приверженцы нейтралитета были менее заметно представлены в прессе, но очень сильны при дворе. Сторонники выступления на стороне союзников говорили громко и резко, но все-таки не решались требовать немедленного выступления. Король колебался. Он боялся России, не верил Англии, не верил усердно распускаемому англичанами слуху, будто Наполеон III горячо желает отторжения Финляндии от России, и ждал событий, желая прежде всего убедиться, насколько серьезен будет размах военных действий союзников на Балтийском море. И не только король считал нужным проявлять в этот момент сугубую осторожность. Очень влиятельный и читаемый публицист Магнус Якоб Крузенстольпе писал в апреле 1854 г., желая образумить слишком ретивых сторонников Англии, что союз с Англией равносилен вовлечению Швеции в такую войну, где Англия едва ли ей поможет, потому что если только Николай (которого автор приравнивает к сатане, называя его князем тьмы, «mörkrets furste») не будет окончательно побежден, то он непременно отомстит. А поэтому Крузенстольпе очень рекомендует своим соотечественникам «попридержать язык (hålla tungan röt in mun!)» [56].

Уже начиная с февраля, т. е. за месяц до объявления войны, лорд Кларендон заявил, а пресса во главе с «Таймсом» подхватила, что одним из результатов войны может стать вос-

соединение Финляндии со Швецией, от которой она была отторгнута за 45 лет перед тем. Шведский посол в Париже граф Левеньельм был очень встревожен и взволнован тем впечатлением, поистине потрясающим, которое произвела в Швеции статья «Таймса» от 28 февраля 1854 г., инспирированная Кларендоном. Левеньельм боялся войны, делился опасениями со своим другом (тоже дипломатом по карьере) Нильсом Пальмшерна и полагал, что увлечение английскими обещаниями может толкнуть Швецию на опасную авантюру. Англичане сулят Финляндию, но ведь русский медведь пока еще цел (angelsmännen vill gi uss Finland igän. Men björnen blir fladd för han är inte fångad) [57].

Тактика Чарльза Непира, состоявшая в том, чтобы ничего не делать, притворяясь усиленно действующим, нигде не принесла в 1854 г. такого вреда союзникам, как именно в Швеции.

В Швеции деятельнейшую и успешную пропаганду против России вел Джон Кроу, сначала английский вице-консул в Хаммерфесте, потом генеральный консул в Христиании. Это был такой же оперативный агент Пальмерстона в Скандинавии, каким оказался Стрэтфорд-Рэдклиф в Турции. Ему удалось всеми правдами и неправдами разжечь вражду и пробудить острое чувство подозрительности к России в Норвегии и в стокгольмских правящих сферах, и, в угоду Пальмерстону, он посылал с давних пор в Англию донесения самого тревожного свойства о мнимых намерениях России завладеть так называемой «Финской маркой» (Finnmarken), т. е. северной приморской полосой Норвегии, примыкающей к Финляндии. Даже шведские историки в настоящее время признают эти обвинения лживыми [58]. Пылкие надежды Пальмерстона на раздел русских владений побуждали его и наиболее ценимых им агентов вроде Кроу очень интересоваться подготовкой общественного мнения в Швеции, в Норвегии и, поскольку это было возможно, в Финляндии к агрессивной войне против России, и, конечно, благодарным материалом для этой агитации являлось запугивание будущим нападением русских на норвежское приморье.

За те четыре с лишком месяца, когда английская эскадра гуляла по обоим заливам Балтийского моря, ловя купцов и рыбаков и почти ничем другим не ознаменовывая своего присутствия, шведское правительство, шведская аристократия, шведская буржуазия успели пережить, если можно так выразиться, целую гамму разнохарактерных настроений. С момента объявления войны России и французский и английский кабинеты не переставали настойчиво приглашать шведского короля Оскара взяться за оружие и выступить на стороне союзников против грозного соседа.

Вот что писал французский министр иностранных дел Друэн де Люис 25 марта 1854 г.: «Швеция может рассчитывать на нашу поддержку, чтобы обеспечить ее от недоброжелательства, которое не преминет навлечь на нее позиция, удержанная ею, несмотря на все усилия и все угрозы русского кабинета»[59]. Казалось бы, Друэн де Люис хлопочет только о нейтралитете Швеции. Но нет: он приглашает Оскара «отобрать обратно позиции, утерянные Швецией», и выполнить «национальные упования», тем самым «усилив блеск новой династии (en ajoutant à l'éclat de la nouvelle dynastie)». Другими словами, Оскару предлагалось отвоевать у России Финляндию. «Новая династия», основанная отцом Оскара, маршалом Наполеона I, Бернадоттом (он же король шведский Карл XIV), должна была, по мнению Друэн де Люиса, именно для обратного завоевания Финляндии войти в фарватер англо-французской политики. Эта мысль была принята в Стокгольме сначала с некоторым воодушевлением, студенчество стокгольмского и упсальского университетов обнаруживало патриотическое волнение, демонстрировались симпатии к французам и англичанам в столичном обществе.

Но уже тогда, весной, Оскар и его министры не скрыли ни от Лондона, ни от Парижа, что Швеция находится до такой степени в угрожаемом положении, как ни одна из уже воюющих с Россией держав. Константинополь отделен от русских берегов Черным морем, а между самым западным из Аландских островов Содерамом и ближайшим к нему пунктом шведского берега еле наберется 16 миль, да и по льду в этих местах русские уже хаживали, добираясь до самого Стокгольма. Следовательно, без серьезнейших, очень реальных гарантий, Швеция не может поставить своего существования на карту. И уже 30 мая 1854 г., значит, спустя два месяца после первого появления эскадры Чарльза Непира в Балтийском море, король Оскар сформулировал, и уже не в первый раз, вполне конкретное предварительное условие, без которого Швеция против России не может и не хочет выступить: предварительно к союзникам должна примкнуть Австрия, и не только дипломатически, но с оружием в руках. Мало того: Австрия должна обязаться даже и после ухода русских из Молдавии и Валахии не заключать мира, а продолжать воевать против России.

Подобной гарантии ни французское, ни английское правительства дать, конечно, не могли. А с другой стороны, полное бездействие английской эскадры с каждым месяцем все более и более раздражало и беспокоило Швецию. Оскару и его министрам было решительно все равно, чем именно Непир объясняет свою инертность. Плохой экипаж, мало мичманов, нет хороших офицеров, в шхерах трудно двигаться, Крон-

штадт и Свеаборг сильно укреплены и т. д. Факт был налицо: жизненные центры России для англичан недоступны, и, призывая шведов на смертельную войну, англичане ровно ничем им не помогут.

Союзники тогда же, летом, поняли, что нужно пустить в ход нечто посильнее посулов и что одной Финляндией, без всяких гарантий, Швецию из нейтралитета вывести нельзя. Тогда была сделана довольно недвусмысленная попытка дипломатического устрашения. Агент французского правительства в Стокгольме Лобстейн получил поручение заявить шведскому правительству следующее: «Швеция должна ожидать, что если в течение зимы 1854/55 г. союзные флоты увидят себя вынужденными вследствие суровости времени года искать убежища в ином месте, чем Балтийское море, то Россия потребует у стокгольмского кабинета серьезных объяснений и даст ему почувствовать тяжесть своего неудовольствия. Договор с Францией и с Англией оградил бы Швецию в этом случае» [60]. Если мы переведем это с дипломатического языка на общепринятый, Друэн де Люис через посредство своего агента заявляет королю Оскару: зимой мы все равно войдем в ваши порты, хотите вы этого или не хотите — не зимовать же нам посреди Балтийского моря,— и переждем в ваших гаванях «суровое время года», а Россия, конечно, молчать не станет и именно по этому поводу и предъявит вам ультиматум. Так заключайте же с нами союз немедленно, войны с Россией вам все равно не избежать.

Но Оскар продолжал упорствовать.

Хотя молва приписывала (совершенно неправильно) Наполеону III авторство одной брошюры, вышедшей в Париже в 1854 г. («Revision de la carte de l'Europe»), в которой требовалось отнятие у России Финляндии и говорилось, что «голова колосса — близ Гельсингфорса», но на самом деле Наполеон III вовсе не интересовался этим вопросом. Когда герцог Эрнест Саксен-Кобургский посетил Париж и в разговоре с императором (6 марта 1854 г.) коснулся вопроса о желательности передачи Финляндии шведскому королю, то Наполеон III только усмехнулся и иронически заметил, что, очевидно, герцог очень уж не любит Россию. Как и все, что могло на севере слишком ослабить русские позиции и тем самым чрезмерно усилить положение Англии,— отторжение Финляндии вовсе не входило в истинные планы французского императора.

Оскар настаивал на провозглашении нейтралитета. В марте, апреле, мае, июне 1854 г. торговые круги и их пресса, либеральная интеллигенция да и значительная часть консерваторов выражали некоторое нетерпение и неудовольствие и находили, что правительство поторопилось. Главное, не очень верили

даже в возможность сохранить нейтралитет. Что если вдруг англичане усилят давление, что если они объявят, например, что сохранение мира на севере несовместимо с дальнейшим пребыванием Аландских островов в руках России и что мир на севере не обеспечен, пока Швеция находится под русской угрозой? «Хотел бы я видеть, что в подобном случае предпримет шведское правительство!»,—иронически заявляет известный тогда публицист Борг в письме от 14 марта 1854 г. к своему другу Ларсу Иоганну Хиерта, представителю деловых и торговых сфер Стокгольма, занимавшемуся тоже публицистикой [61].

Оскар I был человеком, очень ревниво относившимся к своей власти и зорко оберегавшим свои прерогативы от всяких покушений со стороны ли министров, или придворной аристократии, или буржуазно-либеральной оппозиции, и знавший его хорошо царедворец Дардель говорит, что король даже с умыслом старался окружить себя посредственностями (omgifvit sig med mindre betydande rådgifvare) [62]. Аристократия больше склонялась к нейтралитету. Либеральная оппозиция, сплошь враждебная Николаю по той самой причине, по которой большинству аристократов он был симпатичен, сочувствовала в душе заключению союза с Англией, но значительная часть ее боялась войны, в которой Швеция рисковала своим самостоятельным существованием. Наконец, сами эти «советники (rådgifvare)» короля Оскара колебались, один день раздражали Дашкова, русского посланника, на другой день грубили французскому представителю Лобстейну или сухо беседовали с английским посланником Лайоносом, но войны с Россией страшились не меньше, чем сам король. Сын и наследник Оскара, кронпринц Карл, в вопросах внутренней политики считался скорее консерватором, но ненавидел Николая, всецело сочувствовал союзникам, и хотя говорил очень громко и неосторожно уже в 1854 г., но только впоследствии, осенью 1855 г., после падения Севастополя, стал серьезно настаивать перед королем на необходимости выйти из состояния нейтралитета. Вообще же и у либералов и у консерваторов в разной степени замечалось и явное и скрытое стремление упорно останавливаться на мыслях о тех или иных территориальных приобретениях, которые можно при умелой политике сделать, пользуясь трудным положением России. Разногласие было лишь в том, возможно ли как-нибудь поживиться путем дипломатических переговоров, например, получая от России что-либо за свой нейтралитет, или необходимо будет для этого вступить в войну. Оптимистов, которые верили в возможность приобретения, например, Финляндии путем дипломатическим, было исчезающее меньшинство. А таких, которые вполне убеждены были в возможности приобретения

Финляндии военным путем, тоже было не очень много в 1854 г. Даже те органы прессы, которые были наиболее враждебны России, останавливались в раздумье и нерешительности и старались избегать положительных призывов к вступлению в войну.

Кронпринц Карл, «глава военной партии», как его слишком пышно иногда именовали иностранные представители в своей переписке (потому что никакой «военной партии» не существовало в Швеции), был в декабре 1853 г., после Синопа, еще решительнее и воинственнее настроен, чем в 1854 г., во время плавания Чарльза Непира по заливам Балтики. Это только на первый взгляд может показаться странным: перед вступлением Англии и Франции в войну в Швеции могли еще возникать преувеличенные надежды на близкий разгром России и т. п., а в 1854 г., когда стало ясно, в каких недостаточных размерах союзники намерены развивать свои военные действия на севере, надежды пылкого кронпринца стали несколько тускнеть. Еще в начале Балтийской кампании Непира, в июне 1854 г., кронпринц пугал миролюбивого датского посланника графа Шеель-Плессена своими антирусскими выходками [63].

Но с каждым месяцем словоохотливый и пылкий кронпринц, мечтавший стать новым Карлом XII и взять реванш за Полтаву [64], становился все молчаливее. Только в 1855 г., как увидим в дальнейшем изложении, он снова воспрянул духом. Конечно, Оскар не меньше сына хотел бы вернуть Финляндию, но смотрел на возможный разрыв с Россией с несравненно бо́льшими опасениями. Он хорошо помнил, что его отец, наполеоновский маршал Бернадотт, стал королем Швеции Карлом XIV единственно потому, что вовремя изменил Наполеону и перешел на сторону Александра I. Он знал также очень хорошо, что его отец, основатель династии Бернадоттов, решительно отказался от мысли получить обратно Финляндию, что ему обещал Наполеон, и предпочел получить Норвегию, которую ему обещал Александр. Теперь Оскару предлагали радикально изменить всю эту бернадоттовскую традицию и поссориться с грозным соседом, который сегодня может быть слаб, а завтра может оказаться безмерно сильным. Да и так ли уж он слаб и сегодня? Оскар не очень верил английским и французским газетам и шведским статьям о безвыходном положении России. Нужно, впрочем, отметить, что шведская пресса отличалась несравненно более сдержанным и благородным тоном, чем газеты Пальмерстона и журналисты Наполеона III.

По шведской версии разговора короля с Непиром выходит, что «простецкая» адмиральская, а не дипломатическая

откровенность Непира (которой адмирал весьма гордился) только укрепила Оскара I в его решимости не торопиться и оставаться в нейтралитете. Во-первых, адмирал заявил, что война решится не на юге, а на севере и что помощь Швеции при этом совершенно необходима; а во-вторых, честно заявил, что никаких решающих действий до прибытия французских десантных войск не предпримет против Аландских островов, а значит, и подавно ни против Свеаборга, ни против Кронштадта. Оскар видел, что его зовут на страшнейший риск, не давая ему никаких гарантий. Король не прочь был получить также твердое обещание субсидий. В шведской печати его слова, сказанные Непиру, передавались так: «Швеция богата железом и храбрыми людьми, но не золотом и серебром (Sverige är rikt på järn och tappra män, ej på guld och silver)». Но адмирал Непир сначала было размахнулся очень широко, обещав, что Англия даст королю все, что угодно, «все что король захочет», а потом вдруг прибавил оговорку, сводившую его великодушные обещания к нулю: он сказал, что никем не уполномочен говорить с шведским монархом о субсидиях.

Министр иностранных дел Швеции был гораздо осторожнее короля. Он утверждал, что еще нужно доказать, желает ли сама Финляндия вновь воссоединиться с Швецией. Но вот в конце апреля в Стокгольм пришли вести, что 20 апреля подписано соглашение Пруссии и Австрии о согласованных действиях обеих держав в восточном вопросе. Английское посольство в Стокгольме поспешило уверить Оскара, что это равносильно присоединению обеих германских держав или уж по меньшей мере одной Австрии к Англии и Франции, и 3 мая король сделал смелый шаг: он обратился в Вену с просьбой объяснить истинные намерения Австрии. Кронпринц шведский Карл, бывший под сильным влиянием английского поверенного в делах Грея, очень стоял за выступление Швеции, но тоже ждал с напряжением объявления войны России со стороны венского правительства. Грей снова и снова настаивал перед королем на необходимости нарушить нейтралитет и выступить против России. Оскар сказал Грею во время одного из этих объяснений в мае 1854 г.: «Я смотрю на теперешний кризис как на последний протест Европы против возрастающего могущества России... (Europas sista protest mot Ryslands tillväxande makt)». «Размышляло ли ваше правительство о том, что когда царь Петр I вступил на престол в 1689 г., Россия насчитывала всего 16 000 000 жителей и имела одну гавань, замерзающую в течение значительной части года, Архангельск?» А теперь, добавил король, Россия имеет 60 миллионов жителей и в ее руках половина побережья Балтий-

ского и Черного морей. Оскар в этот момент близок был к решению, но хотел получить более крупную награду. Союзники сулят Аландские острова. Но разве может Швеция их удержать, если Финляндия останется за Россией? Мгновенно Грей (даже вопреки этикету прервав речь короля) заявил, что Англия, не колеблясь, отдаст Финляндию шведам. Все это было бы хорошо, но Оскара опять стали одолевать сомнения: во-первых, из Вены граф Буоль сообщил, что он душевно рад действовать заодно с Швецией, но воевать с Россией Австрия еще не намеревается. А во-вторых, становилось ясно, что англичане, в сущности, хотя и не говорят этого прямо, собственно предлагают шведам и французам отвоевать Финляндию у России, а эскадра Непира будет в этом участвовать лишь по мере сил, в остальном же Англия обещает, правда, свое искреннее и горячее сочувствие, но не более того. Но чем меньше реальной помощи собирались англичане оказать Швеции, тем более нетерпеливо и даже раздраженно взывали они к мужеству и национальной чести шведского народа, приглашая его, по временам, чуть ли не к революции против короля Оскара, не настоящего шведа.

«Либеральная», т. е. *пальмерстоновская*, «Daily News» с конца апреля 1854 г. прямо грозила Оскару революцией, если он и дальше будет противиться желанию шведского народа. «Шведский король — не швед, и его симпатии — на стороне России. Настоящие шведы — сердцем и душой с нами (the genuine Swedes are heart and soul with us)». И дальше следовал грозный и призывающий шведов к восстанию вопрос: «чего же сто́ят их (т. е. шведов—*Е. Т.*) симпатии?», вопрос, который не мог не произвести большого впечатления в тот острый момент в Стокгольме [65].

Далеко не только одна эта газета занималась провоцированием недовольства и даже восстания против короля Оскара. Иногда говорилось, что все надежды шведского народа должны перенестись на молодого и воинственного кронпринца Карла; иногда подчеркивалось, что Бернадотты — самая молодая, а потому и самая непрочная династия в Европе; нередко разрабатывалась тема о каких-то таинственных обязательствах перед Россией, принятых не только за себя, но и за всю династию до окончания века маршалом Бернадоттом (королем Карлом XIV, отцом Оскара). И вдруг угрозы сменились сердечнейшим дружелюбием и лаской: понимает ли Оскар, что он может стать авангардным бойцом западной цивилизации против варварства? Ясно ли он видит, что он может приобрести разом и бессмертную славу и Финляндию?

Полное, месяцами длившееся бездействие английской эскадры расхолаживало короля Оскара и те круги, которые еще в

апреле полны были воинственных намерений и только спорили о подробностях: в какой форме Финляндия будет аннексирована, дать ли ей устройство, вроде норвежского, или она будет присоединена к Швеции на иных началах, чем Норвегия, и т. д.

Французский агент Бланшар разъезжал между Стокгольмом, где он доказывал, что Вена не сегодня-завтра выступит против России, и Веной, где он уверял Буоля, что у Оскара уже готова армия в 70 000, которая только ждет выступления Австрии, чтобы двинуться на Финляндию. Но король уже мало верил в тот момент союзникам и не очень верил в военное выступление Австрии. И сколько бы ни убеждали его Грей и Бланшар, что Франц-Иосиф непременно примкнет к союзникам и уже ультимативно требует от русских ухода из княжеств, Оскар и Шернфельд вполне логично возражали, что это еще вовсе не война: русские уйдут из княжеств и освободят себе руки для войны против Швеции. Король продолжает твердить, что требует формальных обязательств и открытых военных действий Австрии против России. Между тем уход русских войск из княжеств большинством шведских газет был истолкован как признак полной слабости России, и в июле и августе поднялась бурная агитация в пользу войны. Даже осторожные люди вроде Крузенстольпе и епископа Агорда выступили с воинственными заявлениями. О войне против России говорили как о борьбе против деспотизма.

Но эти воинственные стремления продолжали встречать жестокий отпор. Действительно ли это война за гуманность и цивилизацию? — спрашивал редактор «Свенска тиднинген» Иоганн Хацелиус: «ведь это лишь вывеска, вывешенная затем, чтобы прикрыть самые материальные интересы Англии». Хацелиус указывает, что и французский император борется тоже по своекорыстным мотивам, во имя упрочения своей власти, и шведский публицист язвительно намекает, что Наполеон III такой же великий друг цивилизации и свободы, как и сам Николай. Швеция не подготовлена: войско не обучено, не привыкло к войне, нет инженерных войск, не организована материальная часть, нет финансов, воевать Швеция не может[66].

Потери англичан при бомарзундской операции были таковы: трое убитых; один «опасно (dangerously) ранен»; трое «тяжело (severely) ранено»; четверо легко ранено; двое контужено; один «слегка обожжен (burnt slightly)».

В Англии воинствующие патриоты были несколько смущены этими цифрами, ясно показавшими всю незначительность английского участия в этом и самом по себе очень сомнительном бомарзундском подвиге, и адмирал Беркли с горечью говорил: «не было достаточно кровопролития, чтобы доставить

удовольствие английскому народу». Зато «правительство было в высшей степени довольно» этим обстоятельством.

Но все случившееся под Бомарзундом произвело не весьма благоприятное впечатление и в той стране, на которую союзникам в тот момент желательнее всего было повлиять. Конечно, в Швеции были довольны результатом, т. е. уничтожением этой маленькой крепостцы, выдвинутой как некая русская угроза против близкого шведского берега. Однако весеннее настроение, еще бывшее налицо в Стокгольме в марте и апреле, в августе не вернулось. «Завоеватели» Бомарзунда, в согласии с предварительными инструкциями из Лондона и Парижа, формально предложили шведскому правительству немедленно занять Бомарзунд и всю Аландскую островную группу. Это казалось наилучшим и наискорейшим способом втянуть Швецию в войну против России. Поэтому уже 17 августа Непир написал Артуру Мэдженнису, британскому посланнику в Стокгольме, предлагая ему сообщить королю Оскару об этом предложении. Но Оскар, взвесив дело, отказался. Непир, четыре месяца ничего не делавший в Балтийском море, признающий неприступность России на севере, бывший со своей эскадрой фактически почти только зрителем, наблюдавшим, как французы берут Бомарзунд, теперь великодушно предлагает Швеции ввязаться в войну с Россией, которая подождет три месяца, а когда станет лед, пошлет из Финляндии на Аландские острова три-четыре полка и без особых затруднений сметет там шведов с лица земли. Французам король и его министры доверяли больше, но шли упорные слухи, что Наполеон III вскоре отзовет обратно Барагэ д'Илье.

Поговорив с Оскаром, Артур Мэдженнис написал Непиру, что считает, что «его величеству невозможно дать окончательный ответ при настоящем состоянии переговоров». То есть это не Мэдженнис «считал», а именно сам его величество, но Мэдженнис сделал вид, будто он и не спрашивал еще короля. К числу даров, в которых природа отказала сэру Чарльзу Непиру, принадлежала также способность к быстрому улавливанию дипломатических тонкостей. Адмирал решил взять настойчивостью. Он снова написал Мэдженнису, заявляя, что «шведскому королю времени терять нельзя» и что если шведы не займут Бомарзунда, то крепость будет разрушена, а союзники покинут Аландские острова, и что «приказы французского правительства в этом отношении категоричны (imperative)». Тогда уже Оскар совсем перестал колебаться, по крайней мере в этом вопросе об Аландских островах. Он отказался категорически, резонно заявив, что Швеция вовсе еще не в союзе с западными державами и не в состоянии войны с Россией.

В обществе решающих сдвигов в сторону увлечения военными авантюрами тоже не произошло.

18 августа утром в Стокгольме распространились первые известия о взятии Бомарзунда. Ликование в кругах, стоявших за войну, было очень велико. Тотчас же стали организовываться поездки с целью осмотра Аландских островов и развалин Бомарзунда.

Но прошло не более одной недели, как стало известно, во-первых, что Наполеон III приказал генералу Барагэ д'Илье срыть Бомарзунд и, не оставляя на островах ни одного человека, возвращаться во Францию; во-вторых, что адмирал Непир тоже предпочитает уйти на зиму из Балтики и уж во всяком случае ни одного матроса на Аландском архипелаге не оставит, и в-третьих, что, пока Финляндия не отвоевана у русских, король Оскар ни в коем случае посылать на Аландские острова шведских солдат не желает.

А когда прошло еще три недели и когда окончательно выяснилось, что Балтийская кампания окончена, то от мимолетного радостного возбуждения 18 августа в Стокгольме почти и следа не осталось.

Решено было ждать, что скажут весна и лето следующего, 1855, года.

Курьезнейший проект в это время возник в кое-каких не очень глубокомысленных молодых головах среди аристократической части польской эмиграции в Париже. Там, в окружении Чарторыйских и графа Ксаверия Браницкого, в течение всей Крымской войны был вообще силен дух необычайной, чисто теоретической предприимчивости с очень своеобразным уклоном. Сам старый князь Адам, так же как Замойский и Браницкий, был чужд этим фантазиям. Не говорю уже об умном, сдержанном, благородном демократе Станиславе Ворцеле. Речь идет о людях, своей необузданной болтовней так вредивших польскому делу. Если можно так выразиться, это был какой-то романтизм приобретательства, мечты уже не только об освобождении Польши (это считалось в молодой части эмиграции делом почти решенным), но и о том, какие именно чужие территории хорошо бы присоединить к этой будущей самостоятельной Польше. Так, некоторые парижские поляки еще до Бомарзунда нашли очень, по их мнению, удачный выход из затруднительного положения, которое создалось для союзников вследствие упорного нежелания Оскара завоевывать Финляндию шведскими силами и даже брать ее от союзников, если после ее завоевания Францией и Англией обе эти державы не дадут реальных гарантий. Так вот: почему бы не отдать Финляндию будущей Польше? Французы знали очень хорошо об этих польских мечтах, никогда серьезно

к этому не относились, но не прочь были воспользоваться этой (поистине бредовой) идеей, чтобы усилить давление на Оскара. «Можно ли допустить, за отсутствием содействия со стороны Швеции, проект или Финляндии независимой или *Финляндии, присоединенной к новой Польше?* Вот некоторые из важных вопросов, которые порождаются колебаниями Швеции (les incertitudes de la Suède) и разрешить которые мы не беремся»,— так внушительно писал наиболее читавшийся и авторитетный, самый «солидный» из французских журналов «Revue des deux mondes» тотчас после взятия Бомарзунда [67]. Этот журнал к описываемому времени совсем утратил свою бледно-либеральную орлеанистскую окраску, которую еще тщился робко сохранить в первое время после переворота 2 декабря, и теперь верой и правдой служил Наполеону III, а по своему шовинизму и курьезнейшим преувеличениям в описании военных французских успехов не уступал ни одному из тогдашних официальных бонапартистских листков. Тут самое характерное заключается именно в том, что серьезнейший, наиболее во всей Европе читавшийся французский журнал пускает в ход и считает одним из «важных вопросов» и подлежащих серьезному обсуждению «проектов» фантазию, которую настоящие, компетентные, признанные вожди польской эмиграции никогда и не думали включать в свою программу.

Но и подобные курьезные запугивания (об отдаче Финляндии полякам) ни малейшего действия, по всей видимости, ни на короля Оскара, ни на его министров не произвели, даже если бы были пущены в ход при официальных переговорах.

Французский представитель Лобстейн снова пробовал уговаривать Оскара, но снова король отказал. Мысль шведского кабинета прекрасно выразил шведский министр барон Шернельд тогда же, в конце августа 1854 г., и именно по поводу навязываемых шведам Аландских островов. «Ведь король (Оскар — *Е. Т.*) сам от себя никогда и не выдвигал никакой идеи завоевания, но это сами западные державы обратились к нему и заявили о своем желании ослабить преобладание России на Балтийском море» [68].

Лобстейн понял, что лучше, чтобы вконец не поссориться, перестать пререкаться, так как нельзя в самом деле уговаривать шведов рисковать так страшно, одновременно заявляя, что императору Наполеону III благоугодно приказать генералу Барагэ д'Илье срыть бомарзундские укрепления и тотчас по окончании этих работ возвращаться со всеми войсками во Францию. А он знал, что такой приказ уже получен на эскадре Парсеваля, стоящей у Аландских шхер. Только неискушенный в дипломатии Непир мог думать, что при подобных условиях можно чего-нибудь добиться настойчивым писанием

одних и тех же писем и повторением одних и тех же предложений. Французы прервали переговоры, но сделали это в мягких тонах, заявляя, что считают дело о союзе с Швецией не погребенным, а только отложенным на будущее время. Они могли бы уточнить — до будущей навигации.

Раздувание в прессе ничтожного успеха у Бомарзунда в большую победу над будто бы первоклассной русской крепостью делалось для обывателя, для бульваров, для доверчивой большой публики. Дипломаты западных держав хорошо знали, что бомарзундское дело, выигранное в военном отношении, совершенно провалилось в плане дипломатическом: Швеция не верила в серьезность их намерений и реальную значительность их сил, пока они не осмеливались тронуть ни Свеаборга, ни Кронштадта.

Для того, кто хочет в самом деле углубиться в понимание приемов и принципов британской политики и стратегии вообще, а в годы Крымской войны в частности, документы британской эскадры представляют ничем не заменимый материал, который хочется читать и перечитывать. Не поссорься впоследствии Непир с правительством и адмиралтейством, не захоти он разом и отомстить и оправдаться, никогда бы этим документам не видеть белого света. Недаром английская историография так старательно их замалчивает.

Вот, прежде всего, Непир получает (сейчас же после Бомарзунда) письмо от первого лорда адмиралтейства, другими словами, от британского правительства. Сэр Джемс Грэхем пишет 25 августа в ответ на извещение о взятии крепости. Он сверх меры доволен тем, что Непир ничем из английских сил не пожертвовал, а предоставил исключительно французам всю неприятную сторону дела: никогда не следует обращать внимание на крикунов, вопящих, будто постыдно стоять в стороне, когда другой делает нужное тебе дело. Напротив: «Было бы жалким отсутствием твердости, *если бы вы уступили воплям* и рискнули бы вашими кораблями и пожертвовали многими драгоценными жизнями в попытке морскими силами разрушить укрепления, которые непременно должны были пасть при нападении с суши». Итак, Непир поступил превосходно и когда четыре месяца ничего не предпринимал, дожидаясь французов, и когда, дождавшись их, продолжал и пятый месяц ничего не делать и лишь с сочувствием наблюдать, как прибывшие французы берут Бомарзунд. Но как же быть теперь? Как повлиять все-таки на Швецию? Сэр Джемс Грэхем находит, что хорошо бы теперь взять, например, еще Або или Ревель. И Непир тоже находит, что это всего более удобно сделать теперь же, пока еще генерал Барагэ д'Илье со своими французами не уехал во Францию. Но в Ревеле большой гарнизон, нападение на Або — легче. Первый лорд адмиралтей-

ства настойчиво всегда рекомендовал (в ряде писем) Непиру соблюдать *величайшую сердечность* (the greatest cordiality) в его отношениях с адмиралом французской эскадры Парсевалем и генералом Барагэ д'Илье. И вот, Непир с величайшей сердечностью предлагает Барагэ д'Илье взять город Або. Но французскому генералу и Бомарзунда было совершенно достаточно. «Адмирал (пишет о себе Непир — *Е. Т.*) считал возможным напасть на Або и предложил эту экспедицию своим французским коллегам, которые не одобрили ее. Генерал Барагэ д'Илье не был расположен рисковать своими войсками в это время года». И Непир сообщил сэру Джемсу Грэхему, что на этот раз — не вышло, француз не хочет. А что касается тревожных напоминаний первого лорда адмиралтейства о необходимости быть как можно любезнее с союзниками, то Непир с некоторой досадой ответил раз навсегда: «не беспокойтесь относительно моих французских коллег. Я прекрасно знаю опасность каких бы то ни было несогласий (the danger of any disagreement)». Никаких несогласий насчет Або и не могло дальше проявиться: Непир ведь сам-то вовсе и не предлагал серьезно атаковать Або. Он ограничился бомбардировкой гавани и укреплений.

Согласно приказу Наполеона III французские войска, докончив разрушение взятых бомарзундских укреплений, отбыли на транспортных судах во Францию 4 сентября; вся остальная французская эскадра стала постепенно возвращаться в Шербург, начиная с 17 сентября.

Вскоре затем началось постепенное возвращение и английских судов. Часть ушла в Англию, часть в Нарген и в Киль. Балтийская кампания 1854 г. кончилась.

Не могу удержаться, чтобы не привести здесь следующий факт, любезно сообщенный мне знатоком русской военно-морской истории капитаном 1-го ранга и профессором военно-морской академии С. Ф. Юрьевым. Как известно, в ночь с 17 на 18 августа 1919 г. восемь торпедных катеров произвели на гавани Кронштадта торпедную атаку, окончившуюся, при всей ее тактической лихости и смелости, бесславным результатом, о котором горестно поведал выловленный из воды английский лейтенант, оказавшийся внуком адмирала Непира. «Я оказался таким же неудачником, как и мой дед, мы оба так Кронштадта и не увидели»,— заявил лейтенант.

Итак, к осени англичане и французы ушли из Балтики.

Но в сентябре 1854 г. никто уже ни в Англии, ни во Франции, ни в России не думал о Балтике и не только потому, что союзные эскадры ушли из русских вод и что надвигалась зима: начиналась грандиозная историческая трагедия на южном берегу Крыма, и она сразу все собой заслонила и для России и для Европы.

Но раньше, чем обратимся к этому южному театру войны, подведем некоторые итоги тому, что в основном выясняет нам документация, касающаяся первой Балтийской кампании союзников.

Конечно, по существу Чарльз Непир совершенно прав, когда говорит, что если союзникам угодно было нанести России в самом деле серьезный, сокрушающий удар, то необходимо было сделать главным театром военных действий не Черное море, а Балтийское, послать «великолепную эскадру» с «прекрасным» экипажем не к Севастополю, а к Свеаборгу и Кронштадту, угрожать Петербургу. Если же это не было сделано, то зачем было посылать его, Непира, с небольшой флотилией, где матросы были набраны с бору да с сосенки, не было обученных мичманов (а это душа экипажа), были неопытные офицеры, не было первоклассной артиллерии, не было ни одной мортиры?

Свеаборг и Кронштадт были абсолютно недоступны для покушений со стороны английской эскадры в тот момент, и это твердо знал не только Непир, но и первый лорд адмиралтейства Джемс Грэхем, т. е., другими словами, знал и премьер Эбердин, знали и Пальмерстон, министр внутренних дел, и Кларендон, министр иностранных дел кабинета лорда Эбердина.

Дело обстояло сложнее, чем это казалось Непиру и тогда, когда он бесцельно плавал весной и летом взад и вперед по Финскому и Ботническому заливам, ловя финские лайбы с рыбой, и тогда, когда смотрел, как французы бомбардируют Бомарзунд, и даже тогда, когда, пылая против адмиралтейства и кабинета местью и обидой, печатал в 1857 г. свои документы. Он не доводит своих рассуждений до логического конца. Да, англичанам важно было разрушить Свеаборг и Кронштадт, бомбардировать Петербург, пустить ко дну Балтийский русский флот, который был гораздо сильнее русского Черноморского флота. Но сделать это можно было бы при наличии не только сильнейших английских эскадр, но и при непременном участии огромной сухопутной армии. А дать таковую мог только Наполеон III, который ее имел, *но не хотел* пустить в ход в Прибалтике. В том-то была слабая сторона могущественной коалиции, что союзники имели разные цели, не вполне доверяли друг другу и не переставали одним глазком внимательно поглядывать друг на друга в течение всей войны.

То, что произошло при окончательной развязке, в дни парижских мирных конференций в феврале и марте 1856 г., не свалилось с неба неожиданно, а подготовлялось в течение всей этой долгой войны. Не везде отношения между союзниками приобретали такой характер, как в Константинополе в конце 1853 г. и в первые месяцы 1854 г., когда Наполеон III сказал английскому послу лорду Каули, что мы с вами в Париже в

союзе, а в Константинополе — воюем, но линия поведения французской дипломатии в очень многих местах не совпадала с английской линией. Пальмерстон, вдохновлявший министра иностранных дел Кларендона, мечтал об отторжении Финляндии от России, об оккупации Прибалтики, о срытии кронштадских укреплений,— а Наполеон III ни о чем подобном не думал, так как это нужно было вовсе не ему, а именно только англичанам. Длительное ослабление России вовсе не входило в число основных целей французского императора *именно* потому, почему это входило в цели Пальмерстона и находившейся под его влиянием части эбердиновского кабинета. Каково с Пальмерстоном иметь дело в тех случаях, если его не сдерживает страх перед Россией, это французская дипломатия знала очень хорошо на основании долгого опыта 30-х и 40-х годов. И с того момента, когда англичане вошли в конце марта в Балтийское море и не только не застали там французской армады с готовым большим десантом, но затем месяцы тщетно поджидали французов, было ясно, что Балтийская кампания 1854 г. проиграна еще даже до начала самой игры. Так как для французских успехов в готовящейся Крымской экспедиции было очень важно отвлечь русские силы с юга или, точнее, не позволить Николаю перебросить в Крым огромную армию, охранявшую прибалтийские берега и столицу, то французский штаб счел целесообразным нанести короткий удар на севере, напугать русских выступлением Швеции, и генералу Барагэ д'Илье было велено съездить в Балтийское море, произвести наиболее быстро и легко осуществимый эффект и вернуться сейчас же обратно. Да и отправлен он был только в июле, когда Наполеон III убедился, что англичане даже и такого сравнительно несложного дела ни за что сами не сделают, а будут еще хоть целый год праздно качаться на балтийских волнах и неустанно жаловаться на предосудительное обилие шхер, мешающее флоту ее величества проявить свою удаль.

Не забудем, что Наполеон III был отлично осведомлен также о том, что наименее популярны во Франции именно такие операции французских войск и флотов, которые явно диктуются только английскими интересами. А к таким именно операциям и могла быть отнесена всякая попытка большой войны в Прибалтике с неизбежными обширными военными предприятиями на суше, где заведомо англичане могут подать лишь минимальную, «символическую» помощь. В самой Франции печать была скована цензурой, но уже неподалеку, например в Брюсселе, выходили написанные французами брошюры, где Наполеон III мог прочесть, например, следующее: «Вот племянник победителя под Пирамидами и под Абукиром, превращенный в наемника на жалованье у Англии! Будут денежные награды французским генералам, которые наилучше будут защищать

британские интересы. Манчестерский ситец покажет свою признательность. Итак, вперед, солдаты! И да охранит господь бог белье, выделываемое в Великобритании, и ее товары!» [69]

Мы видели, что коротенькое, строго ограниченное в своей цели поручение, возложенное на адмирала Парсеваля и на генерала Барагэ д'Илье, они быстро и успешно выполнили, но что Швеция все-таки и после Бомарзунда не пожелала выступить. Значит ли это, что и та общая стратегическая цель, которая была поставлена Наполеоном III, нисколько не была достигнута? Нет, не значит. У нас есть достоверные свидетельства, что взятие Бомарзунда произвело в Петербурге очень сильное и болезненное впечатление, совсем несоразмерное с ничтожнейшим военным и политическим значением этого затерянного в далеких шхерах укрепленного «за́мка», по выражению Виктора Васильчикова.

В своих записках, появившихся лишь в 1891 г. в «Русском архиве», этот герой Севастопольской обороны и один из любимцев Нахимова, князь Виктор Илларионович Васильчиков, признавая чуть ли не главной причиной военных неудач в Крыму распыленность и разбросанность русских военных сил по границам империи, с горечью говорил: «В Балтике неизвестно для какой цели существовал укрепленный замок на Аландских островах, известный под названием Бомарзунда. Замок этот никому не мог преградить вход в Балтийский залив, не защищал берегов Финляндии и даже не доставлял действительной обороны запертому в нем без всякой надобности гарнизону». В этом Васильчиков прав, так же как и в категорическом утверждении, что гарнизон *«не в силах обороняться»* и что Бомарзунд достался союзникам *«без всякого пожертвования»*. Но он далеко не так прав, когда не хочет признать серьезных оснований у тех, кто считал безусловно необходимым снабдить очень сильной охраной и всю северо-западную и юго-восточную границы империи. Дело было в губительнейших дипломатических ошибках, создавших ситуацию 1854 г., а не в тех военных мероприятиях, которые были совершенно неизбежны, раз уже эта ситуация была налицо.

Относительная близость этого театра войны к Петербургу, непривычные для русского уха слова о сдаче — все это вселяло беспокойство и горечь. Послушаем Д. А. Милютина, бывшего в то время начальником канцелярии военного министра: «Из всех неудач, какие до сих пор мы испытали на разных театрах войны, ни одна не произвела у нас такого тяжелого впечатления, как потеря Бомарзунда. Как-то особенно казалась прискорбною *сдача в плен* гарнизона крепости, хотя в сущности и не было тут ничего позорного для чести нашего оружия: войска держались, пока было возможно, и отдали неприятелю одни развалины. Под-

робности катастрофы сделались нам известны по рассказам жителей окрестных деревень и показаниям двух лиц, которые одни избегли плена: священника и провиантского чиновника.

После разрушения Бомарзунда и неудачной попытки союзников (напасть — *Е. Т.*) на Або не получалось никаких известий о действиях или намерениях неприятельского флота в Балтийском море»[70].

В Петербурге, уже начиная с марта, когда английская эскадра вошла в Балтийское море, старались не показывать малодушия, были в ходу патриотические статьи, патриотические заявления, патриотический стихотворный лубок распространялся в народе («А тебя, вампир, адмирал Непир, ждет у нас не пир»), но смущение было налицо немалое и непреходящее, и Погодин восклицал с волнением, что в 50 верстах от царского обиталища заряжается неприятельская пушка. Полная неизвестность относительно ближайших намерений союзников не позволяла отныне и думать о подкреплении армии Меншикова сколько-нибудь значительной частью за счет лучших русских войск, стоявших вокруг столицы, в Прибалтике и в Финляндии. Искусственно раздуваемое в английских и французских газетах ликование по поводу взятия Бомарзунда тоже способствовало усилению беспокойства и нервности в Петербурге.

Легко было рассуждать Васильчикову, когда уже все было окончено, и без труда можно понять, с какой горечью и досадой он думал о 200 000 солдат, охранявших Финляндию, Петербург, Ревель, Ригу, Либаву, на которые никто не покушается, о безмолвных мортирах и тяжелых орудиях, оберегающих Кронштадт, когда в 1854 и 1855 гг. в Севастополе, у Альмы, под Инкерманом, под Евпаторией, в кровавый день штурма Камчатского люнета и Селенгинского и Волынского редутов при побоище на Федюхиных горах, лишние три десятка тысяч могли дать другой оборот событиям. Но если попытаться вникнуть в психологию людей 1853—1854 гг., то вопрос окажется гораздо сложнее и труднее. Да и сам Васильчиков тогда не сказал бы того, что у него вырвалось, когда он доживал свой век на покое, спустя десятки лет после событий. Совершенно верно, «неизвестно для какой цели укрепленный замок Бомарзунд» сам по себе был тогда ненужен, и его потеря по своему значению для русской обороны была равна нулю. Но взятие Бомарзунда могло тогда казаться началом обширных и грозных операций. К Непиру мог подойти флот, находившийся еще в Ламанше и в Северном море, т. е. в полном составе, и *оставшийся «Home-fleet» и остаток* «Channel-fleet», да еще часть Атлантического флота. Ведь только часть и даже небольшая часть британских военных сил была отправлена в Черное море, и удвоить, даже утроить эскадру, данную Чарльзу Непиру, было очень возможно. И подавно не-

известно было, прикажет ли Наполеон III генералу Бараге д'Илье немедленно после Бомбарзунда вернуться к французским берегам или, напротив, пошлет в Балтику не 10 000, а 140 000 человек, у него было в тот момент во Франции и близком Алжире гораздо больше 140 000 готовой армии. Неизвестно было и вообще, не решат ли союзники, в полном согласии с точкой зрения того же Непира, что главный удар должен быть направлен на Петербург, а вовсе не на Севастополь.

Так не случилось, но так могло случиться, и опасность на севере была не выдуманной, а возможной опасностью и, следовательно, подлежала очень реальному учету. Никто не мог тогда даже и приблизительно знать всего того, что постепенно стало выясняться впоследствии. А опасность могла оказаться для России по сути дела гораздо большей, чем та, которая грозила русским войскам от союзной и австрийской армий в Дунайских княжествах.

И Петербург это чувствовал. Прохожие видели, как видела это А. Панаева, как вспоминали и другие мемуаристы, знакомый экипаж и знакомых рысаков на их долгом пробеге от взморья и Петергофа до Зимнего дворца, наблюдали выпрямившуюся фигуру, мрачное, потемневшее, осунувшееся лицо под медной каской, неподвижно глядящие и невидящие глаза, и не спрашивали, куда все ездит и откуда возвращается почти ежедневно этот человек, зачем он переехал в Петергоф, где не отходит от подзорной трубы, зачем так беспокойно мечется между Петергофским взморьем и Зимним дворцом. Еле видные в морской дали и в тумане высокие контуры английских судов, то пропадающие вовсе, то снова приближающиеся, зловеще маячили перед взором северной столицы в течение всего лета 1854 г., как ни старались ее обитатели не показывать признаков тревоги или смущения.

«Прилетай Непирова бомба,— ты, верно, по закону Немезиды, упадешь в министерство иностранных дел!.. Сожги своим жгучим огнем, что засветили англичане в аду, сожги все наши ноты с венскою включительно, все протоколы, декларации, конфиденциальные отношения, конвенции, инструкции, рапорты и все наши политические сношения с Европою! Гори все огнем! Мы оставим в Петербурге *Медного Всадника* стеречь устье Невы!.. Или нет — он соскучится один и, нахмурив брови, верно поворотит своего коня к Золотому Рогу... Все зовет Россию в Константинополь: история, обстоятельства, долг, честь, нужда, безопасность, предания... наука, поэзия, родство...» Так восклицал очень близкий в это время к славянофилам М. П. Погодин [71]. Писал он это (и подобное) в конце лета и ранней осенью 1854 г.

Конечно, говорилось это в письме, усиленно тогда распространявшемся.

Тут характерно (и не случайно вставлено), что во имя *безопасности* нужно покинуть Петербург и перенести центр тяжести на юг. «Непирова бомба» не прилетела в Петербург, а спустя два месяца после этого воззвания о переселении в Константинополь состоялась высадка англичан, французов и турок близ Евпатории...

5

Задерживаться больше в Финском заливе становилось для союзников совершенно бесполезным, а вследствие приближения холодного времени года — и не очень удобным.

12 сентября состоялось окончательное совещание двух адмиралов — Непира и Парсеваля, на котором решено было покинуть воды Финского и Ботнического заливов и возвратиться домой. Но лишь 27 сентября корабли стали постепенно отплывать в Киль, а оттуда в Англию.

Возмущение и Непиром и адмиралтейством в Англии было очень велико и выражалось как в прессе, так и в высказываниях парламентских деятелей. В конце концов, спасая себя, первый лорд адмиралтейства Джемс Грэхем предал Непира и свалил на него одного всю вину за ничтожные непосредственные результаты скитаний британской эскадры по двум заливам Балтийского моря весной и летом 1854 г. От Непира отвернулось и правительство, хотя он был в состоянии документально доказать, во-первых, что все его распоряжения систематически одобрялись адмиралтейством и, во-вторых, что у него было слишком мало сил, и прибавлял впоследствии, что если в 1855 г. адмирал Дондас не мог взять ни Свеаборга, ни Кронштадта, имея эскадру в *сто девять* кораблей, то громить его, Непира, за то, что он не сделал этого в 1854 г. *с тридцатью одним* кораблем, по меньшей мере несправедливо. У русских — могучие крепости, громадная сухопутная армия на побережье, прекрасно обученные канониры на береговых батареях,— не переставал твердить жестоко уязвленный адмирал.

Затравленный и почти всеми покинутый, даже теми, кого считал близкими друзьями, Непир прибыл 18 декабря в Лондон, где и явился к первому лорду адмиралтейства Джемсу Грэхему и высказал первому лорду то, что было на душе, не очень затрудняя себя в выборе выражений. Из Лондона он хотел вернуться на свой флагманский корабль, но последствия слишком воодушевленного разговора с Грэхемом сказались быстрее, чем он предполагал. Выйдя на перрон вокзала в Портсмуте 22 декабря 1854 г., он получил уже поджидавший его пакет из адмиралтейства: «Так как Балтийский флот, по возвращении в порт, ныне разбросан по разным гаваням Великобритании и некото-

рые суда, которые составляли этот флот, ныне предназначены к службе на Черном и Средиземном морях, то вам предлагается и указывается спустить ваш флаг и оставаться на берегу».

Так кончилась карьера, а вскоре и жизнь Чарльза Непира. В немногие годы, которые он еще прожил после отставки, он не переставал делать все зависящее, чтобы смыть незаслуженное пятно со своего имени. В марте 1856 г. он принял личное участие в прениях, развернувшихся в палате общин при рассмотрении результатов парламентского следствия о неудачной кампании 1854 г., но тут против него шло сомкнутым строем все адмиралтейство, и реабилитации он не добился. Тогда он в 1857 г. опубликовал документы, касающиеся этой кампании (через посредство фиктивного издателя Ирпа, о чем я уже упомянул), те документы, на которых и основаны многие страницы этой главы моей работы.

Чтобы утешить Непира (так говорили министры) или чтобы заткнуть ему рот (так говорили его друзья), ему дали совсем неожиданно высокий орден — большой крест ордена Бани (grand Cross of Bath). Но эта попытка умиротворить обиженного адмирала привела к обратному результату, так как Непир решился пойти на очень большой политический скандал: он отказался от ордена, заявив, что, пока с него не снят позор, он не может получать компенсацию за несправедливые нападки на его репутацию, «остающиеся пятном на его щите». Обильная документация, опубликованная отчасти при его жизни и по его инициативе («издателем» Ирпом), отчасти после его смерти генерал-майором Эллерсом Непиром, доказывает неопровержимо, что провал Балтийской кампании 1854 г. объясняется вовсе не ошибками и не бездарностью Непира, а совсем другими причинами. Чарльз Непир, как флотоводец, не был, конечно, звездой первой величины вроде Нельсона или Джервиза или в более позднюю пору — нашего Нахимова, но был опытным, сведущим и дельным моряком, имевшим за собой долгую и почетно проведенную трудовую службу.

Дело было, во-первых, в преувеличенном самомнении и полном пренебрежении английского кабинета и английского адмиралтейства к мощи русских укреплений и русских морских сил; во-вторых, в сознательном расчете нанести России наиболее тяжкий удар, главным образом на суше, в Финляндии и в Прибалтике на петербургском направлении и сделать это исключительно при помощи французских десантных войск, причем этот расчет не оправдался вследствие нежелания Наполеона III тратить здесь свою армию; в-третьих, вследствие очень небрежно, наскоро, непродуманно поведенной дипломатической игры, направленной ко включению Швеции

в антирусскую коалицию, причем эта ставка быстро провалилась и не могла не провалиться в условиях, в каких протекала вся эта кампания. Когда все эти капитальные ошибки и просчеты привели к немедленному оставлению только что неизвестно зачем взятого и совсем бесполезного Бомарзунда и к уходу английской эскадры из Балтийского моря, понадобилась жертва, которую и бросили на съедение прессе, парламенту и обывательскому общественному мнению. Эта роль выпала в 1854 г. на долю Чарльза Непира. И напрасны поэтому были его гневные и отчаянные вопли к Пальмерстону с просьбой о защите и поддержке, напрасно он писал Пальмерстону: «Я долго служил вам, и служил на различных местах, и я знаю, что всегда я проводил ваши взгляды и что никогда вы не жалели, что я нахожусь под вашим начальством. Я прошу ваше сиятельство затребовать бумаги и представить их кабинету. Ведь, наверно, в этой свободной стране человек, который имел в руках верховное командование над балтийским флотом, не может же быть выброшен вон с позором и стыдом» [72].

Напрасно Непир с горечью напоминал о знаменитом банкете в начале марта 1854 г. в честь отплывающего в Балтику адмирала, о банкете, на котором председательствовал и так ласково и сердечно говорил Пальмерстон [73]. Маститый вождь вигов, истинную моральную подоплеку которого гораздо тоньше всяких вигов и ториев понял Карл Маркс в своей замечательной характеристике, никогда за всю долгую жизнь не допускал таких сентиментальностей, как поддержка уже не нужного ему, ослабевшего и погибающего человека, все равно, друг ли он или недруг, прав ли он или виноват.

Генерал-майор Эллерс Непир, опубликовавший столько важных материалов, утверждает, будто моральное положение отставленного Чарльза Непира должно было улучшиться в 1855 г., т. е. спустя год после Бомарзунда. «Ни Севастополь, ни Свеаборг еще не были ни взяты, ни разрушены, и британское общество начало, наконец, смутно допускать мысль, что русские крепости слишком крепко построены, чтобы им разрушаться при одном только виде наших солдат или наших кораблей, и ввиду очень скудных результатов Балтийской кампании 1855 года на сэра Чарльза Непира начали смотреть как на обиженного человека».

Но все же и это мало помогло старому адмиралу. Английские правящие круги не прощали Непиру собственных своих ошибок и провала собственных неоправдавшихся и необоснованных надежд, и Балтийская кампания 1854 г. навсегда осталась возбуждающей споры и критику далеко не славной страницей в летописях британского флота.

Кончалось лето 1854 г. Взоры России и Европы обратились от Балтийского моря к черноморским берегам.

Глава III

АЛЬМА

1

Нахимов и с ним весь Черноморский флот следили с напряженным вниманием за первым актом начинающейся трагедии, за Парижем и Лондоном, за вступлением русских войск в Молдавию и Валахию, за войной на Дунае, за первым торжеством русского наступления и за последующими неудачами на Дунае. Они пока еще были зрителями и с беспокойством думали о сцене, на которой им суждено было выступить в качестве главных действующих лиц.

Много черных дум было некоторыми из них передумано и отчасти высказано и после Синопа, и после прохода союзных эскадр через Босфор и Черное море в январе 1854 г., и после зловещей последней переписки Наполеона III и Николая I в январе-феврале 1854 г., и после бомбардировки Одессы в апреле, и после снятия осады с Силистрии в июне. С каждым днем нарастала грозная туча именно над Севастополем, с каждым месяцем становилось все более ясно, что именно на юге Крыма, а не в каком-либо другом месте произойдет решающая схватка между Россией и враждебной ей коалицией Франции, Англии, Турции.

Утром 1 (13) сентября 1854 г. телеграф сообщил Меншикову, что огромный флот направляется непосредственно к Севастополю.

Нахимов с вышки морской библиотеки увидел в отдалении несметную массу судов, медленно приближавшихся. Сосчитать их издали в точности было невозможно. В действительности их оказалось, не считая мелких, около 360 вымпелов.

Это были как военные суда (парусные и паровые), так и транспорты с армией, артиллерией и обозом. Вся эта темная огромная масса была окутана туманом и дымом. Она шла к Евпатории. Нахимов и Корнилов долго глядели на эту медленно двигающуюся, еле видную, далекую, темнеющую в тумане

громаду в подзорные трубы. Им обоим она несла славу и гибель.

Историческая роль матросов и солдат и многих из рядового офицерства и тех единичных личностей в командном составе, какими явились Корнилов, Нахимов, Истомин, Тотлебен, Хрулев, А. Хрущов, Васильчиков, была исключительной. Эти люди были брошены в полном смысле слова на произвол судьбы — сначала без верховного руководства вовсе, потом при таком руководстве, которое делало одну за другой грубейшие ошибки. Мало того, у них не только не было искусного верховного командования, но не было ни достаточного и правильного снабжения боеприпасами, ни сколько-нибудь честно, нормально и, главное, организованно поставленной доставки пищевых продуктов, ни обеспеченности лекарствами и медицинской помощью. Ведь и Пирогов, и Гюббенет, и самоотверженные сестры милосердия так же точно зависели во многом и самом важном от тыла, как — в своей области — Нахимов, Корнилов и Тотлебен. Тыл же одинаково мало был способен помочь севастопольским защитникам и на бастионах и в лазаретах.

И все же эти люди, поставленные в такое истинно отчаянное положение, создали вместе со своими матросами и солдатами великую севастопольскую эпопею, затмившую все до тех пор бывшие исторические осады. Они создали то своего рода историческое чудо, которое даже во враждебной печати стали именовать (уже после окончания войны) «русской Троей», вспоминая эпическую осаду, воспетую гомеровской «Илиадой». Тот, кто пытается дать сколько-нибудь реальное представление об этих людях,— даже самым строгим образом ограничивая свою задачу,— непременно должен напомнить и о совсем других деятелях, стоявших на самой вершине военной иерархии. Ограничимся самыми краткими словами хотя бы о двух из них, от которых *непосредственно* зависела судьба Севастополя со всеми его Нахимовыми, Корниловыми и Тотлебенами,— о главнокомандующем Крымской армией и Черноморским флотом князе Меншикове и военном министре князе В. А. Долгорукове, который долгое время перед тем был помощником военного министра А. И. Чернышева. Об императоре Николае, о наследнике, о Нессельроде, о Паскевиче речь будет идти в других частях работы о Крымской войне.

Меншиков был взыскан всеми милостями, пользовался неизменным благоволением Николая, обладал колоссальным богатством и занимал в придворной и государственной жизни совсем особое место. Он был очень образованным человеком, и не только по сравнению с придворными и сановниками Николая,

но и безотносительно. Читал он книги на разных языках, обладал громадной библиотекой в 3000 томов на всех европейских языках. Он был умен и злоречив. По своему положению он, примерно с сорокалетнего возраста, ни в ком не нуждался, кроме, конечно, самого царя. Метил он в своих карьеристских помыслах так далеко, что, когда ему однажды предложили быть русским посланником в Саксонии, он возмутился таким, по его мнению, унизительным для него предложением и вышел временно в отставку. Личной храбростью он, бесспорно, обладал и на войне 1828—1829 гг. был тяжко ранен. В 1829 г. Николай, буквально ни с того ни с сего, сделал его начальником Главного морского штаба, хотя князь Александр Сергеевич никогда не плавал и лишь чисто любительски интересовался морским делом. Из начальника штаба он превратился, и очень скоро фактически, если не по титулу, в морского министра, *одновременно* став еще и финляндским генерал-губернатором, хотя Финляндию знал еще меньше, если это только возможно, чем морское дело.

В 1853 г. своим вызывающим поведением в качестве чрезвычайного посла в Константинополе он сыграл, не ведая и не желая того, в руку Пальмерстону и Стрэтфорду-Рэдклифу и ускорил взрыв войны с Турцией. А вернувшись из Константинополя, был назначен главнокомандующим Крымской армией и Черноморским флотом с оставлением во всех прежних должностях, вплоть до финляндского генерал-губернатора. Он без колебаний и сомнений проходил свой блестящий жизненный путь, принимая все должности, которые ему предлагались,— конечно, если эти должности принадлежали к числу наивысших и почетнейших в государстве.

Он был циник и скептик, откровенно презирал своих коллег по правительству и не давал себе никакого труда скрывать это. Меншиков издевался над ничтожным министром финансов Вронченко, понятия не имевшим о финансах вообще и о русских финансах в частности, хотя сам он был точь-в-точь так же подготовлен к управлению морским министерством, Финляндией, армиями, флотами, как Вронченко к руководству финансами Российской империи. Меншиков остерегался лишь затрагивать царя, делавшего подобные назначения, но тем более беспощадно издевался над его креатурами, над их холопством, казнокрадством, тщеславием, тупостью, бесчестностью. О министре путей сообщения Клейнмихеле он говорил, что тот совсем уже сговорился продать свою душу черту, но сделка, к огорчению обеих договаривающихся сторон, расстроилась, ибо никакой души у Клейнмихеля вообще не оказалось. Киселева, министра государственных имуществ, Меншиков предложил послать на Кавказ, где нужно было разорять «враждебные» чеченские аулы,

потому-де, что никто не умеет так дочиста разорять деревни и села, как Киселев.

Иностранные дипломаты очень прислушивались к этим остротам и выходкам князя [1]. Военный министр Александр Иванович Чернышев, долгие годы вместе со своим помощником, а потом преемником, Василием Долгоруковым разрушавший боеспособность русской армии, ненавидел Меншикова за то, что на вопрос княгини Чернышевой: «Не помните ли, как называется город, который взял Александр?», Меншиков быстро ответил: «Вавилон!», притворяясь, будто он думает, что его спрашивают не об Александре Чернышеве, но об Александре Македонском, хотя знал отлично, что жена Чернышева желала, чтобы вспомнили о городе Касселе, куда Чернышев вошел в условиях полнейшей безопасности в 1813 г., во время похода русской армии в Германию. Этого Вавилона Чернышев не простил Меншикову до гробовой доски.

Меншикову справедливо казались смешными претензии Чернышева на полководческие лавры, но ему нисколько не показалось смешным, что сам-то он внезапно попал, не имея на это ни малейших прав по своим данным, в верховные вожди русских сухопутных и морских сил, да еще в один из самых грозных моментов в истории русского народа, и именно в наиболее угрожаемом пункте империи. Впрочем, это и в самом деле было вовсе не смешно: это было трагично.

Еще до нападения союзников на Севастополь в Петербурге ни для кого, кроме царя, не было тайной, что́ такое Меншиков как морской министр.

«Рассказывают, будто бы ваша светлость своим управлением погубили Балтийский флот, и что если и делается что-либо хорошее в Черном море, то сим обязаны Лазареву, а в настоящее время Корнилову и Нахимову. Сии клеветы, одобряемые управляющим министерством, довольно сильно распущены в публике. В числе главных деятелей по этой части находится Матюшкин» [2]. Адмирал Матюшкин, благороднейший человек, один из любимейших лицейских товарищей Пушкина, тот, кому посвящены такие сердечные две строфы в бессмертном «19 октября» 1825 г., разумеется, не мог не быть принципиальным врагом Меншикова, не мог не возмущаться и этим лукавым царедворцем, и его клевретами и прихлебателями, и всеми методами его хозяйничанья во флоте.

Мы уже видели, как безучастен был Меншиков в октябре-ноябре 1853 г., когда Нахимов следил в море за турецким флотом. Теперь, в конце лета 1854 г., гроза уже шла прямо на Севастополь. Как же Меншиков готовился встретить ее?

Уже с того дня, как союзный флот вошел 3 января 1854 г. в Черное море, Одесса, Севастополь, Николаев — все форты

восточного берега Черного моря оказались под угрозой не только прямого нападения, но и немедленной гибели, потому что решительно ничто не было готово к обороне. Бомбардировка Одессы в апреле 1854 г. тоже ничуть не заставила взяться за дело.

Если севастопольская драма началась не в марте, а только в сентябре 1854 г., то это произошло прежде всего потому, что союзники задержались из-за турецкой армии на Дунае. Но вот, под давлением нараставшей угрозы со стороны Австрии, Николай дал свое принципиальное согласие на снятие осады с Силистрии, и Паскевич, получив письмо императора, мгновенно этим согласием воспользовался. Русская армия ушла за Дунай.

С этого момента руки у французов и англичан были развязаны. Уже можно было думать не о защите Турции от России, но о прямом нападении на русскую территорию. И мы уже видели, как была решена и проведена высадка союзников близ Евпатории.

2

«Спешу тебя уведомить, любезный Меншиков, что со всех сторон подтверждается, что скоро тебе предстоит ожидать сильной атаки на Крым... что будто о том послано решительное приказание адмиралам. Как эта атака последует, вовсе не знаю, вероятно высадкой у Феодосии...»,— экстренно сообщил Николай Меншикову 18 (30) июня 1854 г.[3] Русский посланник в Брюсселе граф Хрептович сообщал царю вполне категорически о готовящейся высадке еще 7 (19) июня[4].

Любопытно отметить, что в середине лета главнокомандующий и сам уже предвидел грозящие ему испытания. 29 июня (11 июля) 1854 г. Меншиков доносил Николаю, что среди опасностей, угрожающих Крыму, он считает также и «покушение на Севастополь» и уничтожение Черноморского флота. Он предполагал, что неприятель может высадить до 60 000 человек, не считая турецких войск. А для обороны у Меншикова было 22 700 человек пехоты, 1128 человек кавалерии и 36 легких орудий, да еще он мог бы собрать с кордонов 500 или 600 казаков. Вывод князя был очень пессимистичен: «Против внезапного нападения Севастополь, конечно, обеспечен достаточно временными своими укреплениями. Но противу правильной осады многочисленного врага и противу бомбардирования с берега средства нашей защиты далеко не соразмерны будут с средствами осаждающего... Мы положим животы свои в отчаянной борьбе за защиту святой Руси и правого ее дела».

В том же духе писал тогда Меншиков и на Дунай Горчакову 30 июня 1854 г.:

«Любезный князь, из Петербурга, Варшавы и Вены меня извещают, что главные силы англо-французов направляются против Севастополя, как к главной цели войны, состоящей в намерении истребить здешнее адмиралтейство и уничтожить Черноморский флот. И приказание и долг повелевают мне защищать их до последней капли крови, но вместе с тем предвижу, что буду раздавлен, и без успеха, если неприятель высадится в числе 50 или 60 тысяч человек, не включая сюда турок и тунисцев» [5].

У Меншикова в конце зимы и весной 1854 г. чередовались настроения: то он проявлял полное равнодушие и беспечность, то вдруг обнаруживал заботу и беспокойство. Некоторое время он мечтал получить подводные мины, над которыми в Кронштадте работал академик Якоби. Меншиков писал из Севастополя 18 февраля 1854 г. управляющему морским министерством Константину: «Подводные фугасы могли бы значительно усилить оборону Севастопольского рейда, и ежели ваше императорское высочество разделяете таковое мнение, то не соизволите ли приказать командировать сюда одного из офицеров, обучавшихся делопроизводству подводных мин со всеми нужными аппаратами, которых в этом крае приобресть невозможно» [6].

За дело принялись с рвением, и уже 26 февраля в Петербурге состоялось совещание контр-адмирала Глазенапа с академиком Якоби, в результате которого выяснилось следующее:

«1. В распоряжение князя Меншикова может быть отправлен находящийся уже несколько лет при гальванической команде, корпуса Морской артиллерии поручик Чечель и при нем два кондуктора корпуса Морской артиллерии, совершенно и во всей подробности знающий дело подводных мин и кроме того образованный и хороший офицер, в чем я, личным знакомством с ним, имел возможность убедиться.

2. Аппараты, кои необходимо отправить отсюда, заключаются в соединительных приборах, проволочных проводниках, гальванических батареях и запалах.

3. Минные бочки, как наружные деревянные, так и внутренние металлические, лекальный чугунный баласт и прочие потребности могут быть сделаны в Черноморских портах.

Но для определения количества необходимых аппаратов требуется иметь верный план защищаемой минами местности, с промером.

4. По словам Академика Якоби, все необходимое для Кронштатских (sic) мин делается со всевозможною поспешностью. О потребном количестве пороху ваше императорское высочество изволите получить от ученого комитета представление, вместе с проектом отношения г. Военному министру, об отпуске

с Охтенского порохового завода некоторого количества наилучшего охотничьего пороху.

Г. Якоби полагает необходимым окончить изготовление мин так рано, чтоб успеть погрузить их еще пока лед не разошелся, что весьма бы облегчило дело» [7].

Но из этой попытки снабдить севастопольскую оборону подводными минами, к сожалению, ничего не вышло даже и в тех размерах, в которых это удалось сделать для Кронштадта. Слишком много времени было упущено и для должных опытов и для установочных работ.

Вот что узнаем мы из заключительного доклада Меншикова от 20 марта 1854 г., когда неприятель уже крейсировал у берегов Крыма:

«Для осуществления мысли усилить оборону Севастополя между прочим и заложением подводных мин вашему императорскому высочеству благоугодно было исполнить мою просьбу и прислать сюда поручика кор[пуса] Морской артиллерии Чечеля с сведениями о минах, изобретенных Академиком Якоби.

Усматривая из письменных объяснений г. Якоби и словесных поручика Чечеля, что, несмотря на деятельную поспешность приготовления предлагаемых мин, которое здесь совсем невозможно, доставка их из Петербурга потребует много времени, и может быть еще доставятся они не совершенно в исправном виде; притом, соображая, что в настоящее время мы должны, так сказать, ежеминутно ожидать неприятельские флоты, так что минная оборона к должному времени поспеть не может, сверх же этого всего, имея в виду значительность сопряженных с сим издержек — слишком 27 тысяч рублей серебром, между тем как из письма г. Якоби узнаю, что успех разрушительного действия сих мин на суда большого размера еще фактически не доказан, ибо количество 8-и и 9-и пуд. пороха, принятое для мины, определено, как выражается сам г. Якоби, *весьма поверхностно* и что только один *действительный опыт* над неприятельскими судами может ясно показать точную потребность этого количества, я думаю уже, по всем сим соображениям, принятие подводных мин, в теперешних наших обстоятельствах, отложить» [8].

3

Паскевич не переставал уже с весны предварять Меншикова, чтобы он не надеялся на Дунайский театр военных действий, а ждал нашествия на Крым. И вот что писал Меншикову фельдмаршал 23 апреля 1854 г.: «В продолжение целого года, почтеннейший князь Александр Сергеевич, я с живым участием следил за нашими делами, и вы, конечно, уверены в том

сочувствии, которое возбуждало во мне ваше положение в разные эпохи этого неимоверно запутанного восточного вопроса. Наконец, когда объяснилось, что против нас не одни турки, но с ними англичане и французы,— надобно было ожидать, что вы прежде всех встретитесь с ними на море или в Крыму. Англичане, верно, всего более грызут зубы на наш Черноморский флот; но вы не дадите его в обиду, а десанты теперь, когда придет к вам бригада 17-й дивизии, как мне писал о том государь император, едва ли вам что сделают серьезное.

К несчастью, в настоящую минуту против нас вооружились не только морские державы, но и Австрия, которую поддерживает, кажется, и Пруссия.— Без сомнения, Англия не пожалела и денег, чтобы иметь на своей стороне Австрию, ибо без Германии они ничего нам не сделают. По газетам я вижу какую-то цифру 6 миллионов фунтов стерлингов, которые, кажется, назначаются на этот предмет. Вы, верно, знаете уже, почтеннейший князь, о последнем протоколе, заключенном четырьмя державами с целью заставить нас оставить княжества. Действительно, когда будет против нас вся Европа, то не на Дунае нам надобно ожидать ее...» [9]

В фонде Воронцовых-Дашковых (№ 10) в Симферопольском архиве, в рукописи, называющейся «Отрывок из истории Крымской войны 1854 года», мы находим намеренно противоречивые ответы на вопрос, понимал ли Меншиков в июле, в августе, даже в начале сентября 1854 г., какая страшная опасность нависла над Севастополем, или не понимал.

«Верил ли кн. Меншиков в сбыточность высадки союзных войск? Допускал ли возможность потерять Севастополь и флот? И верил, и не верил. *Верил,* потому что еще в первых числах июля он находил себя слабым в Крыму и прислал сына своего в главную квартиру Южной армии для представления этой слабости кн. Горчакову, вследствие чего была отправлена в Крым 16-я пехотная дивизия. *Не верил,* потому что за два дня до высадки союзных войск в Крыму он писал ген.-ад. Анненкову: „Предположения мои совершенно оправдались, неприятель никогда не мог осмелиться сделать высадку, а по настоящему позднему времени высадка невозможна“» [10].

И, к сожалению, именно этот роковой, легкомысленный оптимизм вдруг овладел Меншиковым как раз перед катастрофой, перед десантом и Альмой. Достаточно вспомнить наглый, небрежный прием прибывшего спешно с Дуная в Севастополь Тотлебена, которого Меншиков спросил, зачем, собственно, он сюда пожаловал. Достаточно также прочесть в той же симферопольской рукописи о том, что когда Корнилов хотел показать Меншикову список офицеров и жителей Севастополя, давших добровольные пожертвования из личных средств на пред-

стоящую оборону города, то Меншиков, отрицавший возможность высадки и осады, ответил: «Я не хочу видеть списка трусов...»

«Князь Меншиков во все время командования в Крыму изволил подшучивать над союзниками и над действиями наших войск в Турции и на Кавказе» [11], потому что он был и генерал-адъютантом его величества, и адмиралом, и морским министром, и одновременно главнокомандующим крымскими сухопутными и морскими силами, и кавалером разнообразнейших орденов, но никогда не был ни настоящим моряком, ни настоящим армейским военным. Он подшучивал всю свою жизнь над кем угодно и над чем угодно, но только не над собственной недогадливостью, исключительной несообразительностью, не над своим губительным умственным сибаритством, мешавшим ему до последней минуты думать о тревожном и неприятном, не над своей полнейшей неспособностью понять свою малую компетентность в военном деле. И чем более приближалась опасность, тем большее ослепление овладевало князем Меншиковым.

Но не только Меншиков проявлял в эти наступающие катастрофические дни полную беспечность. О Крыме и Севастополе как-то забыли и в Петербурге. «Наступило как будто затишье. Почему-то успокоились и у нас в Петергофе и в самом Севастополе, несмотря на то, что из-за границы продолжали приходить сведения о приготовлениях союзников к большой морской экспедиции, о многочисленных транспортных судах, собранных у Варны и Бальчика» [12],—читаем в воспоминаниях Д. А. Милютина.

Личный знакомый князя Меншикова, местный булганакский помещик незадолго до начала осады Севастополя явился к князю с вопросом: не лучше ли будет заблаговременно с семьей уехать?— и получил в ответ, что «предпринять нашим неприятелям высадку менее сорока тысяч человек невозможно, а сорока тысяч им поднять не на чем!» [13]

Совершенно согласуется с этими показаниями и история первого появления в Севастополе Эдуарда Ивановича Тотлебена, так лживо, замечу кстати, изложенная в воспоминаниях панегириста Меншикова, А. А. Панаева [14].

Михаил Горчаков, командовавший в 1854 г. русской армией на Дунае, человек, сыгравший впоследствии почти такую же роковую роль в Севастопольской эпопее, как и Меншиков, неожиданно оказал колоссальную услугу в самом начале обороны Севастополя: он прислал Тотлебена. Вот как это случилось.

В самом конце июля (ст. ст.) Горчаков призвал к себе подполковника Тотлебена и сказал ему: «Я получил верные сведе-

ния о намерении наших неприятелей сделать высадку на берега Крыма, а потому поезжайте сегодняшний же день в Севастополь и осмотрите, в каком он находится положении. Вот вам письмо к князю Меншикову, в котором я отзываюсь о вас как о знающем и опытном инженере... Но предупреждаю вас, что князь очень щекотлив к посторонним услугам, которые предлагаются ему помимо его желания, а потому будьте осторожны, не напрашивайтесь ни па какое командование...» [15]

Тотлебен никогда не мог забыть той встречи, которая была ему оказана Меншиковым. Приведем лишь одно (из многих) документальное показание:

«10 (22) августа вечером я встретил на Графской пристани только что приехавшего из Дунайской армии давно знакомого мне саперного подполковника Тотлебена. Поздоровавшись с ним, я спрашиваю его, по какому случаю он пожаловал к нам в Севастополь. Тотлебен ответил мне, что приехал по поручению от князя Горчакова и что, может быть, он останется у нас в Севастополе. Поговоривши еще кое о чем, Тотлебен отправился к князю Меншикову. Чрез четверть часа Тотлебен возвратился на пристань. Смотрю: он что-то невесел. Тотлебен, подойдя ко мне, передал следующее: Когда я представился князю Меншикову, он спросил меня, с какими вестями я приехал в Севастополь. Я подал ему письмо от князя Горчакова... Князь (Меншиков — *Е. Т.*) прочитал письмо и сказал: „Князь (Горчаков — *Е. Т.*) по рассеянности своей, верно, забыл, что у меня находится саперный батальон“. Потом, обратившись ко мне, добавил: „Отдохнувши после дороги вы можете отправиться обратно к своему князю на Дунай“» [16].

Таков был служебный дебют Тотлебена в городе, который именно ему суждено было спасти от скорой капитуляции. Несмотря на этот прием, Тотлебену удалось все-таки остаться в Севастополе. При первом же осмотре он убедился, что с северной (сухопутной) стороны укрепления города находятся в самом безобразном состоянии.

Велика оказалась роль Тотлебена в истории севастопольской обороны. Справедливость требует заметить, что Тотлебен вовсе не был явлением, возникшим на совсем нетронутой девственной почве. Уже с 1839 г. начали выходить труды по фортификации, прославившие в мировой военной науке имя замечательного русского инженера Аркадия Захарьевича Теляковского. Он был автором капитальных книг по фортификации, новые методы и полная оригинальность которых были признаны даже французами (см. «Spectateur militaire» за 1850 г.), склонными недооценивать русскую науку. Его труды были переведены уже в 40-х годах почти на все европейские языки. Теляковский не только заслужил законное, неоспоримое право

называться самым ранним основоположником русской фортификационной науки, но он был именно тем предшественником Тотлебена, руководящие научные принципы которого Тотлебен так удачно осуществлял при защите Севастополя. Заметим, что заслуга Тотлебена в данной связи тем значительнее, что ведь и французские саперы под Севастополем, против которых боролся Тотлебен, следовали принципам того же Теляковского, классические работы которого задолго до Крымской войны были приняты как руководство в Сен-Сирской военной школе. Любопытно, что в 1852 г., когда Наполеон III еще считал, до поры, до времени, целесообразным любезничать с Николаем I,— он послал царю в подарок к празднику пасхи переведенную на французский язык книгу Теляковского о фортификации в специально сделанном роскошном переплете, как посылал творения классиков [17].

В самые последние дни августа (ст. ст.) состоящий при князе Меншикове Комовский, «заливаясь смехом», вышучивал забавное известие, полученное Меншиковым из Дунайской армии, будто бы союзники сажают свои войска на суда и предполагают плыть к берегам Крыма.

. Веселое расположение духа овладело не только Меншиковым и его приближенными, но почти всеми штабными. «Если бы не надоедавший всем своими опасениями подполковник Тотлебен, то о войне и вовсе бы позабыли» [18]. «Продолжительное бездействие союзников объяснилось впоследствии бедственным положением войск под Варной от свирепствовавшей эпидемии, пожаром, истребившим значительную часть складов, а также и разными встреченными затруднениями для устройства громадной материальной части предположенной морской экспедиции. Но князь Меншиков смотрел иначе на бездействие союзников. Он был убежден, что они не решатся предпринять что-либо серьезное в позднее время года, и в таком смысле писал военному министру. Только подобным самообольщением можно объяснить то равнодушие, с которым князь Александр Сергеевич относился в это время к мерам обороны Севастополя».

«Через приезжих из Крыма и по частным письмам доходили до Петергофа разные нарекания на кн. Меншикова, упрекали его в апатии и беззаботности, недоверии ко всем подчиненным, в невнимательности к войскам»,— говорит Д. А. Милютин в своих воспоминаниях [19]. В Петербурге недоумевали, почему Меншиков даже не потрудился устроить правильно организованный штаб, чем объяснялся полный хаос в делопроизводстве и постоянный беспорядок в управлении армии, вверенной ему. Недоумевали — и не гнали его вон из армии, которую он губил, и только писали ему «из Петергофа»

ласковые, ободряющие записочки. Со всеми этими показаниями о Меншикове вполне гармонирует и абсолютно непререкаемое свидетельство Тотлебена в его письме к генералу Герсеванову в 1868 г., когда еще жив был Меншиков и когда Тотлебен вообще считался с «крайне неловким положением — относительно высокопочитаемого князя Александра Сергеевича», в которое могла бы поставить его, Тотлебена, статья Герсеванова, излагающая, как было дело. Вот что пишет, однако, Тотлебен в этом частном письме, не предназначаемом для печати: «Князь Александр Сергеевич действительно не предвидел высадки в Крым неприятельской армии. Это неопровержимо доказывается как документами и свидетельствами очевидцев, так и самым образом действий князя до высадки. Утверждать противное — значит стремиться к искажению истины» [20].

4

Первой неудачей, постигшей русскую армию в Крыму, была именно быстро проведенная маршалом Сент-Арно высадка 2 (14) сентября 1854 г. Десантные операции всегда считались и считаются одними из самых сложных и опасных военных предприятий. Меншиков, до последних дней баюкавший себя иллюзиями, узнал о совершающемся событии, когда уже почти ничего не мог поделать. Он, впрочем, и вообще не думал трогаться с места, где стояла его армия, т. е. от реки Альмы. Офицеры просто понять не могли этой инертности: «...с 2-го сентября началась (*1 нрзб. — Е. Т.*) высадка неприятелей без всякой помехи с нашей стороны! Два, три полка с артиллерией могли бы порядочно поколотить высаживавшегося — закачанного на море — неприятеля!.. Но наши равнодушно смотрели на эту высадку, даже не сделали никакого распоряжения о прекращении перевозки товаров по Крыму! Зато неприятель на другой же день после высадки отбил 400 пар волов, везших в Севастополь муку и спирт!.. 7-го сентября было маленькое артиллерийское дело, ничем, впрочем, не окончившееся, но неприятель уже успел подойти к нам верст на 10 или даже ближе, потому что вечером и ночью лагерь его был виден с нашей позиции» [21]. В сентябрьские дни союзники высадили, как сказано, по самым скромным подсчетам, не меньше 61 000 человек. Русских же войск в *непосредственном* распоряжении у Меншикова было 37 500, да в восточной части Крыма у генерала Хомутова около 13 000. Было, правда, еще около 20 000 в составе флотских экипажей, но из них пока лишь около 5000 находилось в Севастополе на берегу [22]. При этом почти вся союзная армия, вступившая в бой под Альмой, была вооружена штуцерами, а у нас под Альмой оказалось

лишь 1660 человек штуцерников, т. е. $^{1}/_{22}$ часть всех бывших под Альмой войск.

В разговорах полковника Циммермана с французскими и английскими генералами во время перемирия в 1856 г. его собеседники сообщили ему кое-что весьма ценное, а кое в чем явно лукавили и сознательно путали. Например, некоторые настаивали, что при Альме союзных войск было всего 42—45 000, а принимали реальное участие в бою 30 000 [23]. Это опровергается позднейшими показаниями. У одних только французов под Альмой было 27 600 человек и 62 орудия, у англичан — 21 000 человек и 50 орудий, у турок — около 6000 человек. В общем союзники располагали в этот день 55 000 человек и 112 орудиями. Таковы официальные показания из дневника осады французского саперного генерала Ниеля, к свидетельствам которого придется еще неоднократно обращаться [24].

Если бы,— после внезапного отступления из Силистрии, за несколько часов до безусловной возможности взятия крепости русскими войсками, и после ухода нашей армии из Дунайских княжеств,— по крайней мере немедленно была переброшена в Крым вся армия М. Д. Горчакова, то Меншикову было бы с кем встретить десант. Но ведь этого не было сделано — и 20 сентября, в день Альмы, у русских было самое большее 35 000 человек, а у Сент-Арно — 57 000 [25].

Михаил Дмитриевич Горчаков жестоко тревожился за армию Меншикова, за Севастополь, за флот. Он еще понятия не имел о ближайших целях отплывших из Варны союзных войск и некоторое время предполагал, так же как и многие в Петербурге, что союзники ограничатся более или менее кратковременным налетом на Крым,— правда, очень опасным для русской армии и флота,— но что долго в Крыму не задержатся. «Я смотрю на ваше положение, как на очень трудное, но у меня есть надежда, что Хомутов прибыл к вам со значительным подкреплением. Умоляю, уведомьте меня об общей численности ваших войск, хотя бы только затем, чтобы избавить меня от смертельной тревоги, в которой я нахожусь,— так писал М. Д. Горчаков Меншикову 10(22) сентября 1854 г. из Кишинева, еще ничего не зная, конечно, о происшедшем 8(20) сентября сражении под Альмой.— Если даже подкрепления, которые я вам посылаю, прибудут слишком поздно, чтобы воспрепятствовать сожжению севастопольского флота, я надеюсь, что они явятся вовремя для того, чтобы облегчить успех ваших операций в момент, когда неприятель пожелает сесть на суда для обратного пути, и я думаю, что, если вам будет невозможно разбить неприятеля до потери нашего флота,— вы возьмете славный реванш в тот момент, когда неприятель захочет покинуть Крым» [26]. 7 (19) сентября Меншиков

занял на реке Альме оборонительную позицию. У него в тот момент было 42 батальона пехоты, 16 эскадронов кавалерии и 84 орудия.

В полдень 8(20) сентября 1854 г. французы начали бой. Они были на правом атакующем крыле, а на левом находились англичане. Русский левый фланг должен был выдержать нападение французов, и в то же время его громила с моря близко подошедшая к берегу эскадра неприятеля. Самая позиция, на которой стали русские войска, не была даже осмотрена предварительно [27].

Уже с начала боя обнаружилось полное отсутствие сколько-нибудь разработанного плана у князя Меншикова. Вот показание участника дела, дравшегося на левом русском фланге и описывающего события, которые происходили как раз в то время, когда левый фланг, занимавший прибрежные высоты у моря, был обойден генералом Боске.

«8-го числа неприятель с страшным флотом и с огромным войском стал приближаться к нам. У каждого из нас дрогнуло сердце при виде стройно движущейся бесконечной массы войска. Однако артиллерия наша успела занять выгодную позицию и приготовилась встретить неприятеля, но начала стрелять слишком рано, так что ядра не долетали до неприятеля и только понапрасну были истрачены заряды!.. Наши зажгли было около моря сад и деревню Бурлюк. Дым прямо на нас, предзнаменование дурное!.. Это нужно бы сделать прежде, как говорят опытные, чтобы не дать неприятелю укрыться за строением и стрелять по нашим без всякой потери с своей стороны!.. Но эти ошибки не последние!.. Неприятель все ближе и ближе подходил к нам, так что уж ядра наши стали понемногу долетать до них и вырывать из их рядов жертвы, но вот, лишь только подошли они на пушечный выстрел, наша артиллерия уже целыми рядами стала истреблять их, а они все-таки шли вперед, как бы не замечая и не заботясь о своих убитых собратьях!.. Наконец, они подошли к нам почти уж на ружейный выстрел, как на сцену явились их убийственные штуцера, а с моря посыпались тучи ядер, которые в несколько минут уничтожили Минский полк, поставленный близ моря под *неприятельские выстрелы* бог знает для чего и для какой пользы... Я говорю *убийственные* штуцера потому, что каждая пуля долетала по назначению. Тут-то и ранено много офицеров, штаб-офицеров и особенно генералов, одним словом всех тех, которые были верхом на лошадях. Но это все было бы ничего: артиллерия наша дивно громила неприятеля, ряды их редели приметно, и что же? Недостало зарядов!.. Стыд и позор!.. Прекрасно распорядились!.. По два зарядных ящика от каждого орудия поставили вне выстрелов, т. е. версты за две...

боясь взрыва их!.. И артиллерийское дело, так блестяще начатое, должно было прекратиться в самом разгаре!.. Пошли в штыки, но картечи неприятельские целыми рядами клали наших. Несмотря на это, не только поработали вдоволь штыки, но и приклады русские!.. Однако наши должны были уступить неприятелю свою позицию, не видя никакого распоряжения поумнее, не получая ниоткуда помощи и боясь быть обойденными неприятелем и отрезанными от своих»[28]. К удивлению французов, им удалось перейти через реку Альму без всяких препятствий. Но еще более приятный и уже совсем неожиданный сюрприз ждал их далее. Перед ними находились возвышенности, кое-где совсем отвесные. Участник и летописец битвы под Альмой Базанкур говорит, что Меншиков «совершил непоправимую ошибку», не сделав абсолютно непроходимой эту крутизну, для чего потребовалась бы лишь «работа нескольких часов», и даже не сделав непроходимой ту тропинку, по которой взобралась французская артиллерия[29]. Генерал Боске, командовавший правым флангом французской армии, приказал бригаде взять высоты. И тут обнаружилось, что не только крутизна нисколько не укреплена, но что ее никто и не защищает. Когда сначала зуавы, а потом линейная пехота, карабкаясь с большими трудностями на высоты, оказались на вершине, они нашли там с полсотни казаков, которые, отстреливаясь, ускакали с места при виде неприятеля в такой массе. Сейчас же Боске велел втащить первые две батареи, которые немедленно после того, как оказались наверху, открыли огонь.

Темный, невежественный, абсолютно лишенный каких бы то ни было военных (или невоенных) дарований, редко бывавший в совершенно трезвом состоянии генерал Кирьяков получил от Меншикова перед битвой 20 сентября самое трудное и ответственное поручение: стоять на левом фланге, у подъема с моря, и встретить неприятеля батальным огнем, когда неприятельский авангард начнет восходить на высоту. «Генерал Кирьяков, получивший тут же приказания о расположении вверенных ему войск, первый отозвался, что он на подъеме с моря с одним батальоном „*шапками забросает неприятеля*“». Вот кто первый пустил в оборот в Крымскую войну это памятное выражение. Но начальник меншиковской канцелярии (штабом это учреждение кн. Васильчиков решительно отказывался называть) генерал Вунш, с укоризной вспоминая об этих словах Кирьякова и уличая дальше Кирьякова в безобразном ведении дела, забывает о преступном легкомыслии своего шефа Меншикова, *знавшего,* что̀ такое Кирьяков, и решившегося дать ему чуть ли не центральную роль в первом боевом столкновении с армией союзников[30].

К общему изумлению, Кирьяков покинул свою позицию слева от Севастопольской дороги и высоты, господствовавшие над этой дорогой. «Французские стрелки *беспрепятственно* взбирались уже на оставленную *генералом Кирьяковым* позицию и открыли по нас штуцерный огонь,— пишет Вунш.— Проскакав еще некоторое пространство, мы встретили генерала Кирьякова в лощине, пешего», и на вопрос, где же его войска, он ровно ничего не мог ответить, кроме обличавших не совсем нормальное его состояние и не относящихся к вопросу слов, что «под ним убита лошадь»! Больше ничего от него нельзя было добиться. Сейчас же французы выдвинули на брошенные без всякой борьбы Кирьяковым позиции свою мощную артиллерию и стали оттуда громить уже правое русское крыло.

В тот момент, когда Кирьяков совершил свой необъяснимый поступок, даром уступив французам свои позиции, у моста через Альму кипел ожесточенный бой, и русские вовсе не думали уступать напиравшему на них неприятелю. Но когда, совсем для русских неожиданно, с тех высот, где, по их мнению, должен был стоять Кирьяков со своей 2-й бригадой (17-й дивизии) и резервными батальонами (13-й дивизии), в русские части, дравшиеся у моста, полетели ядра, бомбы, картечь французской артиллерии,— они держаться больше у моста не могли и подались назад.

Писавший это участник боя еще не знал, что именно Кирьяков дал бессмысленное распоряжение оставить высоты для неприятельской артиллерии.

«И вот вторая наша линия (по чьему-то премудрому распоряжению) начала ретироваться, в то время когда первая пошла в штыки, как бы обреченная в жертву неприятелю, для спасения (бегства) остальной армии!.. Утомленные, изнуренные, просто разбитые должны были не уступить, но покинуть высоты, бежать с них!..

Бежали, куда?..— и сами не знали... Потому что, по гордости ли или по недальновидности и неопытности светлейшего, не было даже назначено и пункта в случае отступления!.. Впрочем, все и всё по какому-то инстинкту бежало (как после оказалось) по дороге к Севастополю. Штуцера же и артиллерия неприятельские производили в это время страшное опустошение в толпах бегущих. Сколько офицеров, сколько солдат было ранено и убито в это время!..

Не более 10 000 наших удерживали за собою позицию часов семь. Артиллерия наша большое пространство уложила неприятельскими телами, и будь хоть какое-нибудь распоряжение светлейшего поумнее, вероятно наши не уступили бы своей позиции. А удержать за собою поле битвы — выгод слишком много!

Но бог еще милостив был к нам: не потеряли ни одного знамени, только 3 подбитых орудия достались неприятелю»[31].

По одним показаниям, союзники потеряли в день Альмы 4300, по другим — 4500 человек. По позднейшим подсчетам, наши войска потеряли в битве на Альме 145 офицеров и 5600 нижних чинов. На месте русскими было оставлено несколько орудий и зарядных ящиков и несколько фургонов, в том числе фургон Меншикова, где находился портфель с бумагами главнокомандующего. Участников боя больше всего раздражало упрямство Меншикова, твердившего о «неприступности» позиции левого фланга, который и страшно потерпел от вражеской артиллерии и был обойден зуавами, бывшими под начальством генерала Боске.

Участник сражения, состоявший в штабе Раглана, Кинглэк с уважением отмечает большую стойкость и храбрость (a great fortitude) русских солдат при отходе, согласно приказу Кирьякова, с высот. Их громила французская артиллерия, «страшно избивая их», а они не могли отвечать ни единым выстрелом. И при этих отчаянных условиях «порядок был сохранен, и колонна, с минуты на минуту истребляемая все больше, шла величаво (the column marched grandly)»[32]. Это показание врага говорит само за себя. В своих показаниях очевидца англичанин Кинглэк дает много материала для опровержения необузданного французского хвастовства и отрицает, будто французы «делали чудеса» в этот день. Вместе с тем, подводя итоги своему долгому рассказу об Альме, он настойчиво говорит: «Я стремился признать храбрость и стойкость русской пехоты (the valour and steadiness of the russian infantry)»[33]. У союзников при Альме была армия, даже по их признанию почти вдвое превышавшая численностью русскую армию; у них была прекрасная артиллерия и штуцера против русских гладкостволок (штуцера в русской армии были редкостью). У союзников, наконец, был флот, поддерживавший своим огнем все их действия. И при всем том Сент-Арно и Раглан не осмелились преследовать отступающую русскую армию. Мало того: они не только не довершили своей победы общим преследованием в конце сражения, но не решились даже разгромить окончательно батальоны Кирьякова, когда те очистили высоты. Французы громили их артиллерией, но не двинулись с места, не пустили в ход ни пехоту, ни артиллерию, чтобы покончить с этими батальонами.

Укоряя Сент-Арно в том, что маршал не решился на преследование, Кинглэк с хвалой отзывается о своем начальнике лорде Раглане, сделавшем точь-в-точь то же самое. Раглан не только не думал о преследовании русских, но даже не позволил английской армии спуститься с холмов, на которых они

находились, в долину к реке. Солдатам трудно было носить воду наверх, но лорд Раглан был тверд. Сделал он это, как явствует из дальнейших его распоряжений, просто потому, что, когда спустилась ночная темнота, английский главнокомандующий считал возможным внезапное нападение со стороны русских [34].

В центре и на правом русском фланге русская армия билась против англичан. Командовавший тут генерал Петр Дмитриевич Горчаков (брат главнокомандующего Дунайской армией) был почти таким же плохим тактиком, как Кирьяков. Долго русские войска здесь выбивались артиллерией, а особенно штуцерами англичан. Бородинский полк тем не менее отбросил англичан за Бурлюк и, только потеряв половину состава, отступил.

Блистательная атака четырех батальонов Владимирского полка опрокинула английских гвардейцев, поддержав Казанский полк, начавший атаку, но подоспевшая французская помощь замедлила русский натиск. Не менее упорный бой выдерживали русские в виноградниках у берега реки, где засели крупные французские силы, значительно превосходившие два полка (Брестский и Белостокский), на которые пала вся тяжесть боя. Французы не подпускали к себе русскую пехоту, поражая ее из-за кустов метким штуцерным огнем, а издали артиллерией.

Когда перед вечером Меншиков велел всей армии отступить, возможность продолжать бой еще была. Но надежда на конечную победу исчезла совершенно: артиллерийская дуэль, к которой свели бы дело занявшие все высоты союзники, была слишком явно невыгодна для русской армии.

Бой окончился лишь в шестом часу вечера. Несмотря на полное отсутствие руководства, на совершеннейшее отсутствие даже просто толковой и понятной, имеющей хоть тень смысла команды, не говоря уже о плане сражения,— офицеры и солдаты сражались с обычным мужеством и держались долго в самых невозможных условиях. Расстреливая один из русских полков с самого близкого расстояния жестоким огнем своих батарей, генерал Боске с любопытством наблюдал, как русский офицер скакал на лошади вдоль рядов, одушевляя своих погибающих солдат. «Храбрый офицер! Если бы я находился сейчас возле него, я бы его расцеловал!» — вскричал Боске [35].

Безобразное поведение Кирьякова, без борьбы отдавшего лучшие позиции, непоправимо погубило все. Нужно сказать, что французы и англичане сами были так ослаблены и утомлены, что не использовали свою победу до конца. «Но неприятель, прогнавши нас с высот, занял нашу позицию и удоволь-

ствовался только тем, что стрелял по бегущим с места, и на этих высотах двое суток пропраздновал победу над русским авангардом, как он полагал!.. Эта-то ошибка и спасла как нашу армию от конечного истребления, так и Севастополь от занятия его неприятелем! И в самом деле, кто бы мог поверить, что у русских для защиты Крыма, для сохранения Черноморского флота оставлена только горсть войска, когда привыкли считать нашу армию в миллион? А кто виноват? Ну, если бы не эта грубая ошибка неприятеля?.. Я уж и не знаю, что бы тогда было!.. Страшно только подумать!.. Но, как бы то ни было, разбитая армия наша едва-едва 9-го числа достигла до Севастополя, где в целые трое суток едва успела перевести дух, едва успела образумиться, опомниться и увериться, что это не сон, а горькая действительность!»

Самое убийственное было в том, что Боске, заняв отданные ему Кирьяковым высоты, покрывал своей дальнобойной артиллерией очень большое пространство и вполне безопасно расстреливал отступающих. «Первый перевязочный пункт был назначен версты за две от Бурлюка, между горами. Но лишь стали отнимать руку одному раненому, как ядра с моря стали долетать и до нас, тогда пункт отнесен был далее; но и тут оставались мы недолго, потому что неприятель, занявши нашу позицию на высотах, стал стрелять слишком далеко и метко... Перевязавши человек 80 разных полков офицеров и солдат, я с своими фургонами позади всех едва догнал бегущих близ реки Качи часов в 8 вечера. Картина в это время была страшная!.. Сотни раненых, только что оставивших поле битвы и отставших от своих бегущих полков, с умоляющими жестами и раздирающим душу стоном, с воплями отчаяния и страданий просят взять их в фургоны, битком уже набитые!.. И что я мог для них сделать!.. Одно только: сказать в утешение, что сзади едут фургоны вашего полка и заберут вас!.. Один едва плетется без руки и с простреленным животом, у другого оторвало ногу и разбило челюсть, у того вырвало язык и изранило все тело, и несчастный только минами может показывать, чтоб ему дали глоток воды... А где ее взять?.. Верст на 15 от реки Качи до Альмы — ни одного ручейка!.. Сколько стонов, сколько жалоб на судьбу... сколько молений о смерти пришлось мне выслушать тогда!.. Иной с отчаяния напрягает последние силы... чтоб только не достаться в руки неприятеля, у которого, быть может, нашел бы гораздо более спокойствия!..»[36]

5

Впечатление, произведенное в России битвой при Альме, было огромным, ни с чем не сравнимым. Ни Инкерман, ни Чер-

ная речка, ни даже, может быть, роковой конечный штурм,— хотя эти события с чисто военной стороны имели гораздо большее значение, чем Альма,— не произвели такого гнетущего действия. После Альмы стали ждать всего наихудшего и уже были ко всему готовы. До Альмы, в сущности, все неудачи приписывались (да и на самом деле в значительнейшей степени объяснялись) и ошибкам русской дипломатии, не создавшей необходимой международно-политической обстановки, и грубым промахам командования, отказавшегося, в сущности, и при Ольтенице, и при Четати, и в день готовившегося взятия Силистрии от почти уже достигнутого успеха. Альма была первой в эту войну боевой встречей с французами. Великая победа двенадцатого года еще стояла перед глазами, о ней говорил Николай и в манифесте и в письме к Наполеону III, о ней постоянно вспоминали и в народе и в светском обществе, о ней писали публицисты, ее воспевали поэты — и лубочные и настоящие,— и все ставили вопрос: неужели племяннику, «маленькому Наполеону», может удаться то, что не удалось его великому дяде? «Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон поражает Русь на карте указательным перстом! Вдохновлен его отвагой и француз за ним туда ж, машет дядюшкиной шпагой и кричит: „Allons, courage!“». Эти вирши неизвестного стихотворца были даже положены на музыку. «А ты, Луи-Наполеон, тебе пример — покойный дядя! Поберегись и будь умен, на тот пример великий глядя!» — писала графиня Растопчина. Князь Петр Андреевич Вяземский, лично участвовавший в Бородинском бою, тоже предостерегал «племянника» напоминанием о его дяде, о том герое, «кем полна была *земля, кто взлетел на пирамиды, кто низвергнут был с Кремля, не стерпевшего обиды!»*.

В течение целых полутора лет, со времени отъезда Меншикова из Константинополя до самой битвы при Альме, и в окружении самого Меншикова и в петербургском высшем свете оптимизм был на очереди дня. Если не хотели войны, то подчеркивали, что не хотят только из чувства гуманности, но в победе нисколько не сомневаются.

Многие при дворе в 1853 г. и в первую половину 1854 г. повторяли о войне то, что уловил великосветский вестовщик, по преимуществу занимавшийся собиранием слухов, князь Голицин.

Все лето 1853 г. князь Михаил Павлович Голицин провел в Петербурге. Он разъезжал по всем местам, где бывал двор, побывал и в Павловске, и в Гатчине, и в Петергофе, всюду реял около царя, прислушивался, ко всему присматривался, ловил разговоры, регистрировал слухи — и был недоволен. Но чем недоволен? Уже в конце лета, 17 августа 1853 г., он пи-

шет Меншикову доклад, в котором принужден огорчить своего патрона: «Люди — немецкая партия, т. е., другими словами, круги, близкие к австрийскому и прусскому посольствам, берут верх, отклоняют царя от войны, спекулируют на чувствах гуманности, а эти чувства всегда говорят против войны. Это — несчастье, что никто не хочет войны и не верит в войну, и это в то время, когда Россия нуждается в войне» [37].

Голицин, как и Меншиков, был вполне убежден в быстрой и безусловно обеспеченной победе над Турцией. И это убеждение держалось еще в великосветском обществе в течение всей первой половины 1854 г., несмотря даже на уход из Дунайских княжеств, несмотря на слухи о пессимистическом настроении Паскевича, о неудаче миссии графа Орлова в Вене, о тревоге царя. «Россия нуждается в войне»,— писал Голицин своему шефу Меншикову, а графиня А. Д. Блудова, постоянная гостья Зимнего дворца, уверяла еще летом 1854 г., что не только Россия нуждается в войне, а очень жаль будет, если Австрия не осмелится начать войны против России: по крайней мере мы уже разом со всеми супостатами справимся без лишних отлагательств! И с Францией, и с Англией, и с Турцией, и с Австрией!

Сам Николай, как и те немногие, знавшие многое такое, о чем публика и не подозревала, давно ждал вестей с большой тревогой и считал, что Севастополь в серьезной опасности. Уже 12 (24) сентября 1854 г., т. е. когда в Петербург только что пришли известия о десанте союзников около Евпатории и еще до получения сведений об Альме, Николай приказал принять меры, чтобы наказной атаман Войска Донского спешил на помощь «остаткам корпуса князя Меншикова», в случае «если бы неприятель, чего боже сохрани, овладел Севастополем». И даже фельдъегеря с этим повелением военный министр уже боится отправлять на Перекоп («опасаясь, что сим путем проезд будет уже наблагонадежен») [38]. А на самом деле Севастополь пал как раз *через год* (без 15 дней) после того, как в Гатчине этого сообщения ждали царь и его военный министр... Известие об Альме Николай получил в самом неприкрашенном виде. Вот как это случилось. Беспорядочное отступление в день Альмы, кое-где переходящее в бегство, допустили лишь некоторые отряды русской армии, и именно только там, где находился непосредственно сам главнокомандующий. Сражение шло уже к концу, когда князь Меншиков подозвал своего адъютанта Грейга и приказал ему ехать с донесением к государю. На вопрос Грейга, о чем донести, Меншиков указал на бегущие отряды и сказал: «Донесите о том, что вы сами видите». Грейг буквально исполнил приказание. Когда государь выслушал Грейга, слезы у него полились ручьем. Он схватил Грейга за плечи, и,

потрясая его довольно сильно, повторял только: «Да ты понимаешь ли, что́ говоришь?»[39]

В рукописных воспоминаниях Д. А. Милютина, состоявшего тогда при военном министре, живо описано прибытие Грейга.

«15 сентября был день невыразимо печальный для гатчинского общества. Приехал курьером от князя Меншикова адъютант его ротмистр Грейг с прискорбным известием о неудачном исходе сражения, происходившего 8 сентября на р. Альме. Привезенное им весьма краткое донесение не заключало в себе никаких сведений о самом ходе боя. Кн. Меншиков предоставил своему адъютанту, как очевидцу, дополнить донесение устным рассказом. Понятно, что государь и потом все лица гатчинского общества жаждали услышать от прибывшего вестника подробности первой боевой встречи наших войск с англо-французами. Но впечатлительный адъютант был до такой степени потрясен картиной боя, в котором случилось ему впервые участвовать, что даже после семидневной курьерской скачки, а быть может именно под влиянием этой продолжительной тряски на перекладной, не мог отделаться от испытанного им впечатления и рассказал виденное сражение в таком неприглядном, обидном для наших войск освещении, что государь рассердился, выбранил его и послал проспаться»[40]. «Я в совершенно лихорадочном расположении от всего происходящего: покоряюсь воле божией и готовлюсь ко всему худшему»,— писал государь Паскевичу после получения подробных дополнительных известий об Альме[41].

Конечно, официальная ложь задержала на несколько дней распространение роковой вести в столице. «Папа позволил говорить, что после канонады Меншиков принужден был перед превосходной силой отступить к самому Севастополю, и только» — пишет 16 (28) сентября вел. кн. Михаил Николаевич своему брату Константину. Еще 20 сентября об Альме почти никто не знал. «До нас дошли уже известия об приходе огромного неприятельского флота и о высадке десанта у Евпатории. Вы не можете себе представить того тревожного чувства, которое овладело почти всем Петербургом; даже и те люди, кои не отличаются особенной любовью к вашей светлости, приумолкли и, понимая всю важность предстоящей борьбы на жизнь и смерть, желают вам полного успеха»,— так писал Краббе из Петербурга Меншикову 12 сентября, под первым впечатлением зловещей новости о десанте и еще ничего не зная об Альме[42].

Меншиков, желая снять с себя и со своих генералов вину, инсинуировал, что войска сражались плохо, и этой сознательной клевете (которую потом категорически отвергал начальник

меншиковского штаба Вунш) на первых порах поверили. Поверил даже Константин, не терпевший Меншикова. «Сделай одолжение, молчи,— пишет он Головнину и прибавляет:— что будет, это одному богу известно, но можно ожидать самого ужасного» [43].

Курьерам от Меншикова велено было выходить из вагона в Колпине и отправляться к царю экстренным поездом в Гатчину, без остановки в Петербурге. Но долго скрывать истину было нельзя.

Предвестием несчастья была зловещая новость о высадке союзников. Из всех общественных группировок с наиболее страстным чувством ловили в эти дни известия славянофилы. «Все наше участие и внимание обращено теперь к берегам Крыма. Нет, холера не помешала французам, англичанам и туркам произвесть страшную высадку, о которой ты уже знаешь из газет. Теперь решается, а может быть и решена судьба Крыма и вся кампания нынешнего года. Без сомнения, войска неприятеля устроены лучше наших, оружие и все снаряды превосходнее наших, им помогает огромный флот, который обстреливает берега из бомбических орудий с лишком на две версты; но зато мы дома, и к нам могут подходить беспрестанно свежие силы; первая буря заставит флот уйти от берегов, и неприятель может быть отрезан. Никто не знает, сколько у нас войск в Крыму: если много, то есть тысяч сто, то неприятель может быть истреблен. Севастополь укреплен с сухого пути. Распоряжениями Меншикова все приведены в восторг, и я сам много на него надеюсь: такой умный человек и хороший офицер не должен пропустить случая составить себе бессмертное имя в истории или погибнуть со славою. Он написал ободрительное и веселое письмо в Москву» [44]. Веселые письма писать и веселые разговоры вести князь Александр Сергеевич всегда умел и после высадки союзников и последовавших за ней событий нисколько не разучился.

Когда пришли первые вести об Альме, Сергей Аксаков начал понимать: «Наше общественное положение так важно, так страшно, что всякая частность и личность исчезают перед ним. Коротенькое известие от Меншикова о высадке англо-французов, о нашем отступлении вечером за реку и о том, что на другой день мы уже были перед Севастополем, так красноречиво, что прибавлять ничего не нужно: в одну ночь мы отступили или, лучше сказать, ушли несколько десятков верст. Я понимаю, как действует такое отступление на дух войска и чего можно ожидать от армии, которая так несчастно начала свои военные действия. Очевидно, что у нас мало войск в Крыму и что мы не были готовы встретить неприятеля. По моим соображениям, мы должны потерять Севастополь, а

вследствие того и флот. Но это бы все ничего: Крым отобьем и флот построим лучше прежнего. Меня сокрушают наши дипломатические действия. Вся Россия признает Нессельроде заклятым своим врагом, и весьма многие называют его изменником. Я не разделяю последнего мнения, но скажу, что его дипломатические ноты до такой степени опозорили, осрамили нашу народную честь, что надобно много времени и много славных дел, чтобы восстановить ее. Последняя его нота, в которой государь отвергает известные четыре условия, предложенные Австрией и Пруссией, написана таким подлейшим тоном, с таким унижением, что я до сих пор не могу опомниться. Мне стыдно, что я русский! И для кого же все это делается? Для Австрии! Для этой вероломной, гнусной, отвратительной Австрии, так недавно спасенной нами. С Кавказа также дурные вести, и даже с Балтийского моря... Да, Константин прав: бог отступился от нас, потому что мы отступились от святого дела веры и братства» [45].

Не только Сергей Аксаков, но и другие идейные вожаки славянофилов были весьма удручены: «Я получил сегодня такое письмо от Самарина, какого и не ожидал: общественное, политическое положение наше привело его в отчаяние... Положение наше отчаянное: Крым должен быть потерян если не навсегда, то на время. Унижение наше достигло высшей степени... Поганая Австрия торжествует и готовится занять Боснию и Герцеговину. Говорят, что Погодин убит нравственно» [46].

Любопытно, что именно славянофилы раньше всех пали духом и даже в армии могли бы сеять уныние, если бы армия сколько-нибудь им поддавалась. Уже с первых дней осады они со дня на день ждали падения Севастополя. «Друг твой Лобанов-Ростовский нагородил чушь, как видно; неделя уже прошла, а Севастополь еще не взят и так легко, кажись, не дастся. Ох, эти мне славянофилы! — писал Васильчиков полковнику Менькову, поспешая с подкреплениями к Севастополю.— Солдатики прут и шагают так, что чудо, и отваливают переход за переходом и устали не знают; если бы не артиллерия, можно бы по 50 верст в день делать. Всё идет и старается, все молча помышляют о том, как бы нам поспеть» [47]. Солдаты спешили изо всех сил, чтобы выручить осажденную крепость, спешили на смерть, под французские штуцера и английские бомбы. А славянофилы, так много восклицавшие и в хорошей прозе и в плохих стихах об освобождении славян и об обращении мечети Ая-София в православную церковь, потеряли присутствие духа очень уж скоро — и сразу перешли от восторженных восклицаний к плачу на реках вавилонских.

Они даже и отдаленно не догадывались, что Альма вовсе не конец, а только еще начало дела и что неприятель еще

прольет потоки своей крови и схоронит целые армии раньше, чем он приблизится к осуществлению своей цели. И уж никто не предвидел вечером 8 (20) сентября во вражеском лагере, что битва под Альмой, только что кончившаяся, дает лишь бледное представление о тех страданиях и потерях, которые обрушатся на вторгшихся, и о тех побоищах, которые еще впереди. «Вспоминая теперь о том, что мы говорили после Альмы, ожидая конца войны через три недели, нам следовало бы смеяться над собой, но под Малаховым курганом мы разучились очень громко смеяться»,— писал своей семье один (потом убитый) французский офицер.

Глава IV

КОРНИЛОВ И НАЧАЛО ОСАДЫ СЕВАСТОПОЛЯ

1

Тотчас после отступления русской армии от Альмы встал грозный вопрос об участи Севастополя. Неприятель, сам очень потерпевший в некоторых частях, от немедленного преследования отступающих принужден был воздержаться, но что он двинется через два-три дня прямо к городу, сомнений никаких не было. Начальник штаба Черноморского флота и войск Северной стороны, а вскоре фактический начальник всех войск, находившихся в Севастополе, адмирал и генерал-адъютант Владимир Алексеевич Корнилов в эти первые дни после Альмы так же естественно и просто выдвинулся на первое историческое место в предстоявших событиях, как это бывало часто с людьми его нравственного и умственного роста при подобных обстоятельствах. Никого из тех, кто его знал, это не удивило.

Для анализа деятельности Корнилова в прославивший его навсегда последний месяц его жизни, когда он вместе с Нахимовым и Тотлебеном спас Севастополь от сдачи, у нас есть два основных источника: «Материалы для истории обороны Севастополя и для биографии В. А. Корнилова», собранные и изданные флаг-офицером Корнилова капитан-лейтенантом А. Жандром в 1859 г., и рукописные письма и дневник Корнилова, начинающийся 3 сентября 1854 г. и кончающийся строками донесения, писанного 5 октября, в 9 часов утра, т. е. за несколько часов до смерти адмирала. Эта рукопись, тоже частично напечатанная А. Жандром, хранится в Центральном Государственном историческом архиве в Москве (ЦГИАМ) и дает некоторые ценные детали, которые Жандр не мог обнародовать. Эти источники дополняются некоторыми документами, не попавшими ни в «Материалы», ни в названную рукопись ЦГИАМ.

Корнилов, так же как и Нахимов, был учеником Лазарева, человеком нового типа, совсем не похожим на николаевских адмиралов и генералов. Он был гуманным человеком, матросы его любили, но все же не было между ними и Корниловым той сердечной близости, переходившей прямо в какое-то обожание, той «влюбленности», как говорили наблюдавшие, какая была в отношениях черноморского экипажа к Нахимову. Нахимов был совсем свой — и начальник, и любимый товарищ «Нахименко-бесшабашный», адмирал-герой, и, вместе с тем, такой, что можно было к нему пойти за советом по своему семейному делу или рассказать о последней интересной новости из матросской казармы или с корабельной палубы. Корнилов же был начальник прежде всего, барин, как все начальники, хоть и хороший, добрый, благородный барин. Корнилов имел более широкое специальное образование, чем Нахимов, хоть и не проявил себя таким блистательным флотоводцем, как Нахимов. Административных способностей для управления большим флотом, для правильной организации хозяйства флота и порта у Корнилова было больше, чем у Нахимова,— и, как сейчас увидим, Нахимов это вполне сознавал, и хотя имел служебное старшинство, но без малейших колебаний потребовал в роковые сентябрьские дни в Севастополе, чтобы начальствовал не он, а Корнилов.

Как и Нахимов, Корнилов был горячим патриотом в лучшем значении слова. Как и Нахимов, Корнилов считал оборону Севастополя делом личной чести. Наконец, как и Нахимов, Корнилов совсем не верил, что светлейший князь Меншиков и по своему характеру, и по своим способностям, и по всем иным своим качествам способен сколько-нибудь добросовестно и успешно выполнять функции главнокомандующего армией и флотом в надвинувшуюся грозную годину.

Корнилов был из тех, кто настаивал уже давно, особенно с 1852 г., на необходимости заводить паровые (и именно винтовые) военные суда, настаивал на необходимости укреплять в самом спешном порядке совсем беззащитный Севастополь. Меншиков даже в первые месяцы 1854 г. пропускал мимо ушей все эти предупреждения и напоминания.

За шесть месяцев до высадки союзников в Крыму Корнилов представил Меншикову проект укреплений, которые должно было немедленно возвести в Севастополе. Так как известно было, что Меншиков не хочет этого делать, то под проектом были подписи «офицеров Черноморского флота и некоторых жителей г. Севастополя», которые предлагали на собственный счет, «по подписке», возвести эти укрепления. «Князь Александр Сергеевич (Меншиков — *Е. Т.*) с негодованием отверг предложение генерал-адъютанта Корнилова» [1]. Но Кор-

нилов упорствовал, прекрасно видя, что главнокомандующий совершенно не понимает страшной опасности положения, а только «изволит подшучивать над союзным врагом и весьма остро подсмеиваться над действиями наших войск в Турции и на Кавказе». Корнилов настоял на том, чтобы подрядчику Волохову было «разрешено выстроить на собственный его счет» (!) башню для защиты рейда со стороны моря. Эту башню Волохов закончил за два дня до высадки союзников,— а в первый день бомбардировки именно эта башня спасла рейд от подхода вплотную неприятельского флота к берегу [2].

Можно проследить все перипетии начала севастопольской драмы по смене настроений Корнилова, как она рисуется в наших документах.

До Альмы Корнилов бодр, хотя лучше других знает безобразное состояние севастопольских укреплений. Под 4 (16) сентября Корнилов записал в дневнике: «По слухам из лагеря, неприятель высадил свежие войска и готовится атаковать наших. Позиция, избранная князем, чрезвычайно сильна, и потому мы совершенно спокойны... Наш Севастополь готовится к обороне, многие выезжают, но есть такие, которые приезжают... Пошли (работы — *Е. Т.*) с большим успехом: не только рабочий, но и мужик с охотой работают» [3]. 5 (17) сентября Корнилов пишет жене, жившей в Николаеве: «У нас в Севастополе все благополучно, все спокойно и даже одушевлено. На укреплениях работают без устали, и они идут с большим успехом. Надеемся, что князь Меншиков обойдется без них». Другими словами, Корнилов надеется, что десант, высаженный маршалом Сент-Арно 2 (14) сентября и уже двинувшийся берегом моря на юг, к Севастополю, будет разбит в открытом бою войсками Меншикова и не начнет осады. 6 (18) сентября Корнилов совсем было приободрился. Меншиков заразил на миг даже его своим беспечным оптимизмом: «Со светом пустился в наш лагерь, расположенный на реке Альме. Нашел там все как нельзя в лучшем духе. Князь спокоен и даже весел. Шатер его раскинут на такой высоте, что кругом видно на 30 верст. Телескоп огромной величины наведен на неприятельский лагерь и флот. Войска много, и подходят свежие». Правда, на другой день (уже канун Альмы) есть и такая наводящая на размышления фраза: «Бог не оставит правых, и потому ожидаем развязки со спокойствием и терпением. В 1812 году Россия была в худшем положении и отстояла свое величие, даже умножила его...»

Но вот наступило роковое 8 сентября. Во втором часу дня Корнилову доложили об отдаленной пальбе, слышной за городом, и он поскакал в лагерь. «Можно себе представить, какое чувство волновало меня: на Лукуле или на Альме разыгры-

валась участь Европы». И, подъезжая к лагерю, он натолкнулся уже на первые отступающие от Альмы отряды: «Я вскоре увидел наших в ретираде, но ретирующимися в порядке. Тяжела была такая картина, но воля божия для нас неисповедима. Неприятель после кровавой сшибки оттеснил нас, обойдя левый фланг при помощи превосходной артиллерии, но по уступлении позиции не преследовал». Корнилов и его товарищи уже с этого момента увидели, что отныне им следует рассчитывать на самих себя — и ни на кого больше.

Что́ такое Меншиков, как он устраивает армию и руководит ею, это Корнилову стало совершенно ясно, уже когда севастопольцы увидели, в каком состоянии пришли к ним отступавшие от Альмы войска: «Ни госпиталей, ни перевязочных пунктов, ни даже достаточного количества носилок для раненых не было, и этим объясняется огромное количество раненых, оставленных на поле сражения... Вместо интенданта был в армии подрядчик, и не знал солдат, где его каша» [4]. Вели себя русские войска превосходно. Владимирский пехотный полк, потерявший бо́льшую часть своего состава, трижды ходил в атаку, трижды отбрасывал англичан и отбил свои захваченные было неприятелем знамена, но не мог подобрать раненых. Да и в Севастополе ничего не было приготовлено для потерпевших в бою.

После битвы раненые оказались в отчаянном положении. Более двух тысяч из них валялись на полу, на земле, без всякой медицинской помощи и даже без тюфяков. Барятинский рассказал об этом Нахимову. «Нахимов вдруг, как бы вспомнив о чем-то, с радостью бросился на меня и сказал: поезжайте сейчас в казармы 41-го экипажа (которым он долго командовал) — скажите, что я приказал выдать сейчас же все тюфяки, имеющиеся там налицо и которые я велел когда-то сшить для своих матросов; их должно быть 800 или более, тащите их в казармы армейским раненым».

2

9 (21) и 10 (22) сентября Меншиков с армией пребывал в Севастополе. 11-го он велел армии выступить из города по направлению к Мекензиевой даче, а 12-го он и сам выехал из Севастополя. Судьбы города перешли в руки Корнилова и Нахимова. Нахимов, Корнилов, Тотлебен, узнав о печальных результатах битвы при Альме и учитывая последовавшее за нею движение главнокомандующего Меншикова прочь от Севастополя, ждали немедленного нападения союзников на беззащитный с северной стороны город.

Перед высадкой союзников стоявший на севастопольском рейде флот состоял из 14 кораблей, 7 фрегатов, 1 корвета, 2 бригов, а, кроме всех этих парусных судов, налицо было 11 пароходов. Этот флот обладал хорошей артиллерией, которая оказала бы жестокое сопротивление всякому нападению на Севастополь с моря. А кроме этой артиллерии, Севастополь с моря был защищен 13 батареями, на которых находилось 611 орудий [5]. Северная же сторона была фактически почти беззащитна. Была там лишь выстроенная в свое время «тоненькая стенка в три обтесанных кирпичика», как ее ядовито называли моряки, прибавляя, что если эта стенка была тоненькая, то уже зато в собственных домах инженеров, строивших эту «стенку», стены, выстроенные на экономию от этой «стенки», были очень толстые.

Укрепления Северной стороны были расположены так неумело и нелепо, что окрестные возвышенности господствовали над некоторыми из них, сводя тем самым их значение к нулю. Орудий, предназначенных защищать Северную сторону, было всего 198, причем сколько-нибудь крупных было очень мало. Распределение артиллерийских средств в Севастополе было сделано вообще нецелесообразно; достаточно сказать, что на Малаховом кургане, центре позиции, ключе к Севастополю, в тот момент, когда Корнилов, Нахимов, Истомин и Тотлебен взяли в свои руки дело спасения города, находилось всего пять орудий; все пять — среднего калибра (18-фунтовые). Мало того: башня, на которой эти пять пушек стояли, не была защищена, так как «гласис, долженствовавший защищать стены башни, и вообще земляные работы около нее еще не начинались» [6].

Совсем неожиданная, чреватая неисчислимыми последствиями ошибка союзного командования предупредила неминуемую катастрофу.

Корнилов, Нахимов, Тотлебен дивились этой «ошибке», но следует все-таки заметить, что Сент-Арно после Альмы мог учитывать, что храбрость русских войск даже и при недостаточности укреплений может явиться серьезным препятствием.

Утром в понедельник 10 (22) сентября, спустя два дня после Альмы, когда во французской и английской армиях многие убеждены были в неминуемости немедленного победоносного нападения на Северную сторону, сэр Джон Бэргойн, английский генерал, явился к главнокомандующему английской армией лорду Раглану и подал совет воздержаться от нападения на Северную сторону, а двинуться к Южной стороне. Раглан сам не решил ничего, а послал Бэргойна к французскому главнокомандующему маршалу Сент-Арно, в руки

которого, таким образом, и перешла в этот момент судьба Севастополя. Многие французские генералы советовали немедленно напасть на Северную сторону. Но тяжко больной, распростертый на кушетке Сент-Арно (ему осталось жить еще ровно семь дней), выслушав сэра Джона Бэргойна, сказал: «Сэр Джон прав: обойдя Севастополь и напав на него с юга, мы будем иметь все наши средства в нашем распоряжении при посредстве гаваней, которые находятся в этой части Крыма и которых у нас нет с этой (Северной — *Е. Т.*) стороны». Жребий был брошен, английские, французские, турецкие батальоны, эскадроны, батареи бесконечной лентой потянулись от лежавшей перед ними совсем беззащитной Северной стороны к югу. Генерал Канробер, фактически уже сменивший Сент-Арно спустя четыре дня после этого решения, лишь впоследствии узнал, как судили русские, вспоминая это фланговое движение. «Впоследствии я услышал из уст самого генерала Тотлебена, с которым я часто встречался, что, если бы мы произвели тогда внезапную атаку на Северную сторону,—мы бы взяли город»,—говорил уже к концу жизни Канробер [7].

В Севастополе оставался ничтожный гарнизон, и «если бы неприятель,— писал Остен-Сакен,— действовал решительно, то и всей армии было бы недостаточно для защиты Севастополя, вовсе не приготовленного к принятию осады. Севастополь мог надеяться: сперва на помощь божию, а потом — на неустрашимого Корнилова» [8].

Вот что писал и Корнилов в своем интимном, не предназначавшемся для показа начальству дневнике: «Должно быть, бог не оставил еще России. Конечно, если бы неприятель прямо после Альминской битвы пошел на Севастополь, то легко бы завладел им» [9].

И другие защитники Севастополя не переставали дивиться этой грубой ошибке французского и английского верховного командования и благодарить судьбу за эту совершенно нежданно-негаданную милость. «Знаете? Первая просьба моя к государю по окончании войны — это отпуск за границу: так вот-с, поеду и назову публично ослами и Раглана и Канробера»,— так сказал Нахимов, вспоминая в разговоре с генералом Красовским, уже спустя несколько месяцев, об этих грозных днях, наступивших сейчас же после отступления русских войск от альминских позиций [10]. Когда еще жив был Сент-Арно, Канробер играл лишь подчиненную роль. Нахимов имел, очевидно, в виду не только первые один-два дня после Альмы, но даже и несколько более поздний период, когда, после отъезда из армии смертельно больного маршала Сент-Арно, Канробер стал уже главнокомандующим.

Штурма и взятия Севастополя сейчас же после Альмы ожидали буквально с часу на час. Некоторые севастопольские жительницы составили письменное обращение к генералу Сент-Арно с просьбой отвезти их из Севастополя в Одессу на французском пароходе ввиду ужасов, грозивших женщинам, если город будет взят штурмом.

Это письмо было показано Корнилову, который только сказал: «Подождите, еще рано», но вовсе не счел содержание письма нелепым.

Меншиков не мог понять, куда клонится маневрирование французов и англичан после Альмы. 12 (24) сентября он остановился на предположении, что неприятель хочет отрезать Севастополь и весь Крым от Перекопа, т. е. от России. Он решил во что бы то ни стало помешать этому.

Главнокомандующий распорядился оставить в Севастополе совсем слабый гарнизон (восемь резервных батальонов и небольшое количество матросов), а сам со всей армией вышел из города, где пробыл три дня (с 9 (21) до 12 (24) сентября), и 13 (25) пошел к Бельбеку. Адмирал Нахимов не одобрил этого движения и назвал его «игрой в жмурки». Уже 13 (25) вечером Меншиков получил неприятное известие о том, что неприятель захватил один артиллерийский парк, отставший от русской армии. 14 (26) Меншиков стал на реке Каче.

Итак, отброшенная от Альмы русская армия отступала к Бельбеку. Князь Меншиков немедленно приказал Корнилову командовать на Северной части города, а Нахимову — на Южной. Положение казалось отчаянным. Севастополь мог быть взят в ближайшие дни. Нахимов заявил главнокомандующему, что он не колеблясь умрет, защищая Севастополь, но вовсе не считает себя, адмирала, способным к самостоятельному командованию на сухом пути и с готовностью подчинится кому-либо более подходящему, кого Меншиков назначит командовать на Южной стороне города. Однако Меншиков подтвердил свое решение и приказал Нахимову принять назначение.

Нахимов повиновался. Но как только союзная армия неожиданно для русского командования отошла от Северной стороны и обложила Южную, Нахимов упросил Корнилова взять на себя командование, а сам сделался его помощником.

Собственно, когда отступавшая русская армия была уведена Меншиковым в долину Бельбека, Севастополь был брошен буквально на произвол судьбы. Когда Меншиков, как сказано, перед своим отъездом из Севастополя призвал Корнилова и объявил ему, что назначает его командиром войск Северной стороны, а Нахимова командиром Южной, Корнилов возразил, что если армия уводится прочь, то ведь Севастополь не может держаться горстью моряков. Но Меншиков был непреклонен.

Он мотивировал свое решение двумя аргументами: во-первых, отступая к Бельбеку, он сохранит сообщение с Россией, во-вторых, воспрепятствует полному обложению Севастополя, так как вся масса уводимой им армии будет фланговой угрозой висеть над союзниками.

Участник и английский историк Крымской войны Кинглэк замечает, что второй аргумент оказался чисто словесным, нереальным. Меншиков так далеко стал от союзников, что не он давал знать осажденному городу об их передвижениях, а, напротив, Корнилов и Нахимов извещали обо всем главнокомандующего, хотя Меншиков увел с собой всю кавалерию и разведки были для севастопольцев очень трудны. Спасли Севастополь в этот момент от непосредственной гибели, во-первых, грубые ошибки союзного верховного командования, не решившегося на немедленную атаку, и, во-вторых, три человека: Корнилов, Тотлебен, Нахимов.

3

Меншиков, уходя и уводя прочь армию, сделал, в сущности, такое дело, которое могло бы подкосить оборону в корне, если бы Корнилов и Нахимов не были Корниловым и Нахимовым, а были бы средними адмиралами или генералами, которые затеяли бы ссоры и пререкания: ведь оба они были оставлены с равными правами, и старшим над ними Меншиков не назначил, собственно, никого. Старшим по чину, правда, был Моллер, командующий войсками в Севастополе, но мы увидим сейчас, как Нахимов с ним распорядился.

Тут дело решилось быстро: как только обнаружилось, что неприятель двинулся вовсе не на Северную сторону, а на Южную, Нахимов заявил, что он хоть и старше годами и службой, но подчинится Корнилову. Это сохранило полное единство командования в городе, брошенном на произвол судьбы в самый опасный момент. Нужно тут же сказать, что в эти первые дни — от Альмы до 14 сентября, когда Нахимов приказал потопить часть русского флота, который был ему дороже жизни, он был в самом мрачном состоянии духа. Об этом говорят нам все источники [11]. Он глядел вечерами из окон дома, где жил Корнилов, на Мекензиеву гору и видел то бесчисленные огни английских и французских частей, то медленное движение вражеских масс, все идущих и идущих с Мекензиевой горы в долину Черной речки.

Нахимов уже тогда не верил в возможность спасти Севастополь. Он и позже в это не верил, как ни пытался скрыть это чувство, чтобы не обескуражить бойцов. Но и тогда и потом, вывод для себя лично, по-видимому, он делал один и тот же:

он, Нахимов, не желает пережить Севастополь. Окружающие чутьем понимали, что либо Нахимов и Севастополь погибнут в один день, либо Нахимов погибнет перед гибелью Севастополя. Следовательно, делая все зависящее, чтобы отсрочить падение крепости, он тем самым боролся за продление своего существования. Пока еще рядом был его друг Корнилов, которого он открыто ставил выше себя, Нахимов редко-редко позволял себе в совсем ограниченном и близком кругу проявлять овладевавшее им в эти сентябрьские дни чувство, близкое к отчаянию, как это было, например, в тот вечер, о котором рассказывает в своих воспоминаниях Лихачев. Но когда Корнилова не стало, никому уже не пришлось наблюдать Нахимова в таком ужасном состоянии. Он знал, что после кровавого дня 5 октября у матросов и солдат, защищающих Севастополь, не осталось никого, кроме него и Тотлебена,— может быть, еще впоследствии Истомина, С. Хрулева, А. Хрущова, Васильчикова,— кому они сколько-нибудь верили бы среди высшего командного состава, потому что многочисленные герои из рядовых, герои из низших офицеров известны лишь своим ротам, своим бастионам, своим ложементам, и не в их руках власть над всей обороной, не в их руках жизнь и смерть тысяч, не в их руках участь осажденного города. Доверие именно к начальнику — это такая моральная сила, которую ничто решительно на войне заменить не может.

После гибели Корнилова Тотлебен окончательно дал обороне Севастополя материальную оболочку, а Нахимов вдохнул в нее душу,— так говорили потом уцелевшие севастопольцы. Тот, кто стал на место павшего Корнилова и должен был его заменить всецело, уже не считал себя в праве поддаваться даже минутной слабости. В эти 27 дней Корнилов и его три товарища показали, как можно выйти из невозможного положения, а начиная с 5 октября Нахимов сделал для всех ясным, что Корнилов оставил по себе наследника.

Работа Корнилова, Тотлебена, Нахимова, Истомина после ухода Меншикова с армией была самой кипучей. Неизвестно было, когда спали, когда ели эти люди. Чрезвычайно трудны были условия, в которых им приходилось работать. Приведу наудачу лишь один пример. В сентябре 1854 г. в Севастополе были и саперные батальоны, и гениальный Тотлебен, и самоотверженные рабочие-землекопы, работавшие при самых отчаянных условиях. Но не было еще одного необходимого блага, без которого никакой Тотлебен не мог бы помочь: в осажденном городе не оказалось железных лопат и кирок. Как это случилось, т. е. кто именно систематически, *годами* расхищал суммы, отпускаемые на шанцевый инструмент,— этого мы в документах не нашли. Но это и не существенно. Итак, нужно было

откуда угодно достать лопаты. Бросились в Одессу, но оказалось, что «кирок здесь вовсе нет в продаже, лопат же отыскано у торговцев, за исключением брака, 4246 штук, весом в 404 пуда 15 фунтов». Эти железные лопаты отправлены были из Одессы 3 октября «на 12 конных подводах», а прибыли в Севастополь 17 октября [12]. До той поры рабочие копали землю, поправляя ежедневно и еженощно вновь и вновь разрушаемые неприятелем брустверы, при помощи деревянных лопат, так трудно бравших каменистый грунт. Тотлебен возводил свои гениальные сооружения. Корнилов сооружал бастионы. Нахимов ставил моряков на сухопутную службу. Нужно было затопить часть флота, чтобы он не достался неприятелю и чтобы загромоздить прибрежное дно бухты.

Корнилов, Нахимов, Тотлебен, Истомин перестали в эти дни считаться с ушедшим и уведшим свою армию главнокомандующим. По желанию Нахимова, высшую власть по обороне города в эти дни они решили вручить Корнилову, который и созвал совещание. Положение диктовалось обстоятельствами, хотя и не очень гармонировало с воинской дисциплиной.

«Но неужели после алминского сражения власть главнокомандующего поколебалась до того, что приказания его, по важности своей не терпящие отлагательства, не считались уже для его подчиненных обязательными, а им позволительно было совещаться, следует или нет приводить их в исполнение?» — вопрошает по поводу этого созванного Корниловым совещания П. Ф. Хомутов в своих рукописных воспоминаниях о Крымской войне [13].

Документы ясно говорят нам, что и в самом деле в эти дни, от 9 (21) сентября, когда Меншиков увел армию от Альмы на Мекензиеву гору и дальше на Бельбек, и вплоть до вечера 18 (30) сентября, когда он явился в Севастополь и уведомил Корнилова, что все же, так и быть, усилит севастопольский гарнизон, престиж главнокомандующего был в глазах Корнилова и Нахимова равен нулю.

Положение становилось отчаянным, и Меншиков решительно не знал, как избегнуть близкой и, казалось, неминуемой катастрофы. «Что делать с флотом?» — спросил Корнилов. «Положите его себе в карман»,— отвечал Меншиков. Корнилов, как и все жители Севастополя, узнал об уходе Меншикова с армией к Бахчисараю только после того, как это событие совершилось. Корнилов настойчиво требовал приказаний насчет флота, и приказание было Меншиковым отдано: «вход в бухту загородить, корабли просверлить и изготовить их к затоплению, морские орудия снять, а моряков отправить на защиту Севастополя».

Что было делать? На совете, который 9 сентября, на другой день после Альмы, Корнилов собрал в Севастополе, он предло-

жил флоту выйти в море и атаковать неприятельские суда. Гибель была почти неизбежна, но, погибая, русский флот все же нанес бы серьезный вред неприятелю «и уже во всяком случае избег бы постыдного плена». Он указал при этом на большой видимый беспорядок в диспозиции неприятельских судов. Этот отважный план одними из присутствующих был одобрен, другими отвергнут. Большинство было против предложения Корнилова.

Тотчас после заседания Корнилов поехал к Меншикову и заявил, что все-таки выйдет в море и нападет на неприятеля. Меншиков категорически запретил это, раздражился, видя, что Корнилов стоит на своем, и снова приказал затопить суда. И только когда он объявил Корнилову, что если тот не намерен повиноваться, то он приказывает ему немедленно ехать на службу в Николаев, Корнилов вскричал: «Остановитесь. Это самоубийство... К чему вы меня принуждаете... Но чтобы я оставил Севастополь, окруженный неприятелем,— невозможно! Я готов повиноваться вам!» [14]

С рассветом 11 сентября началось потопление судов. Было затоплено пять кораблей. Корнилов обратился к матросам в приказе от этого же числа с такими словами: «Товарищи! Войска наши, после кровавой битвы с превосходным неприятелем, отошли к Севастополю, чтобы грудью защищать его. Вы пробовали неприятельские пароходы и видели корабли его, не нуждающиеся в парусах? Он привел двойное количество таких, чтобы наступать на нас с моря. Нам надо отказаться от любимой мысли — разразить врага на воде! К тому же мы нужны для защиты города, где наши дома и у многих семейства. Главнокомандующий решил затопить пять старых кораблей на фарватере: они временно преградят вход на рейд, и вместе с тем... усилят войска. Грустно уничтожить свой труд! Много было употреблено нами усилий, чтобы держать корабли, обреченные жертве, в завидном свету порядке. Но надо покориться необходимости! Москва горела, а Русь от этого не погибла!..» [15]

Было затоплено, собственно, не пять, а семь судов. Очевидно, Корнилов имел в виду лишь более крупные корабли, когда говорил о пяти [16].

14 сентября Нахимов подписал свой знаменитый приказ: «Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизона; я в необходимости нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры и оставшиеся на них команды с абордажным оружием присоединить к гарнизону. Я уверен в командирах, офицерах и командах, что каждый из них будет драться, как герой; нас соберется до трех тысяч, сборный пункт на Театральной площади».

Потопление оставшихся судов было приостановлено, как

только появилась слабая надежда на то, что неприятель по какой-то непонятной причине отказывается от мысли немедленно штурмовать Севастополь.

Следует сказать, что хотя большинство писавших об этом военных критиков и во флоте и в армии впоследствии приходило к заключению, что потопление флота было вполне рациональным поступком, но существовало и прямо противоположное суждение, которое как раз в более близкую к нам эпоху стало выдвигаться особенно настойчиво.

Военный теоретик полковник В. А. Мошнин в своем известном специальном труде об «Обороне побережья», вышедшем в 1901 г. в Петербурге, говорит о затоплении Черноморского флота по приказу Меншикова в сентябре 1854 г.: «История не знает другого подобного примера безумного, бессмысленного уничтожения своих собственных средств... Такому поступку нет оправдания. Фаррагут в американскую войну шел с деревянными судами против броненосцов и победил; между тем ему следовало бы, исходя из вышеизложенного поступка наших моряков, уничтожить свои деревянные суда». И Мошнин приравнивает сентябрьское затопление русских судов к тому, как бы, например, кавалеристы, вооруженные саблями, встретились с противником, вооруженным пиками,— и на этом основании взяли бы да и закололи всех своих лошадей.

Покойный А. Зайончковский полемизировал против Мошнина и настаивал на целесообразности затопления. Нужно сказать, что и до Мошнина и Зайончковского долго в специальной военной литературе велись споры о том, следовало или не следовало предпринимать затопление русского флота в сентябре 1854 г. Вот вывод, к которому пришел в 1902 г. известный военный писатель Д. Лихачев в результате своего исследования: «Совокупность изложенных выше фактов привела нас к заключению, что заграждение входа на севастопольский рейд затопленными судами Черноморского флота имеет, в тактическом и стратегическом отношениях, значение безусловно отрицательное. То, что обыкновенно считается прямым и весьма важным результатом затопления судов,— помощь, оказанная флотом сухопутной обороне людьми и орудиями большого калибра,— могло быть сделано и не прибегая к этой крайней мере; во всех же других отношениях ее влияние на ход обороны оказалось скорее вредным, чем полезным» [17]. Но сам Лихачев признает, что по целому ряду обстоятельств Черноморский флот не мог выйти в море и с надеждой на успех сразиться с неприятелем; у неприятеля было 89 военных судов, из них 50 колесных и винтовых пароходов, а у нас 45 военных судов — и из них всего 11 колесных пароходов (и ни одного винтового). Да и эта цифра (45) может быть установлена с натяжками, как

включающая корветы и бриги. А кроме того, русский флот не имел, за вычетом Севастополя, никакой морской базы. И тем не менее Лихачев считает, что если бы не поспешное решение о потоплении, русский Черноморский флот «был бы постоянной угрозой неприятельскому флоту, которому предстояло во все продолжение кампании содержать тесную блокаду порта для обеспечения своей операционной базы и своих сообщений». Затопление же «лишило Черноморский флот и этого второстепенного влияния на ход обороны»[18].

Но, конечно, даже и признавая отрицательное значение затопления флота, Лихачев и другие приверженцы его убеждения признают, что не эта «ошибка» сыграла главную роль в роковых неудачах кампании, если даже и признать затопление ошибкой. Главное было в численной слабости русских сил — не только морских, но и сухопутных. Может быть, Суворов решился бы напасть на Сент-Арно в самый момент десанта даже с теми силами, какие были у Меншикова, потому что признал бы капитальное, решающее значение этой операции: ее удачи, с точки зрения союзников, и поэтому ее провала, с нашей точки зрения. Суворов на своем веку и не такие дела делал. Но Меншиков не был Суворов, и враги князя говорили, что едва ли Суворов взял бы его к себе даже в качестве унтерофицера, ибо великий вождь зорко следил за тем, чтобы его солдат не портило дурное товарищество. Из новейших авторов капитан 3-го ранга Зюзенков считает затопление мерой, безусловно оправдываемой обстоятельствами[19].

Прибавлю, что вопрос о затоплении Черноморского флота в сентябре 1854 г. был предметом полемики и в западноевропейской литературе. За границей военные историки и писатели по морским вопросам тоже с давних пор выражали совсем различные, глубоко несогласные мнения о потоплении русских судов. Английский историк и участник Крымской войны Кинглэк одобряет это решение, а французский военный историк Блерзи решительно порицает его, критикуя книгу Кинглэка. «События, повидимому, доказали бесполезность такой меры, как потопление части кораблей с целью преградить неприятелю доступ на рейд, потому что защищавшие вход в бухту форты со своими тремя ярусами батарей с успехом боролись еще шесть недель спустя в течение целого дня против всех соединенных флотов: французского, английского и турецкого. А если это (потопление — *Е. Т.*) было бесполезно, то не было ли также неуместным (maladroit), чтобы не сказать больше, предоставить без боя союзникам владычество над Черным морем на все время войны?»[20]

Нахимов считал, что корабли должно было потопить,— другого выхода не было.

4

Корнилов и Нахимов отказывались понять образ действий Меншикова после Альмы.

«Корнилов распустил по городу слух, главный смысл которого заключался в том, что светлейший будто бы бежал со своими войсками из Севастополя, оставляя его в жертву неприятелю, и что теперь гарнизону предстоит изыскивать самому средства отстаивать родной город»,— пишет адъютант Меншикова, делавший при нем карьеру, А. А. Панаев. Он все хочет внушить доверчивому читателю, что уход Меншикова с армией прочь от Севастополя был совершен вполне безукоризненно. На самом же деле и армия и Севастополь не подверглись разгрому и гибели сейчас после Альмы только вследствие грубых ошибок и просчетов французского и английского командования. Ведь сам Панаев описывает, какой дикий беспорядок царил в армии и как 12 сентября фланговое движение Меншикова задержалось на двенадцать часов по оплошности и невежеству в военном деле генерала Кирьякова и как одно необыкновенное уменье князя Меншикова владеть собой удерживало его от выражений отчаяния [21].

Когда капитан Лебедев, посланный Меншиковым с Мекензиевой горы в Севастополь, прибыл туда 13 (25) сентября, Корнилов допустил его в заседавший в то время военный совет. Корнилов так сформулировал вопрос, который он предложил совету: «Что предпринять по случаю брошенного на произвол судьбы князем Меншиковым Севастополя?» Можно легко поверить, что Корнилов в самом деле «умышленно невнимательно» обращался при этом с посланцем Меншикова. Нахимов был мягче и расспрашивал Лебедева об армии, уведенной Меншиковым, но кончил вполне в нахимовском стиле: «Лебедев, по окончании вопросов, спросил Нахимова, в свою очередь, что же ему доложить светлейшему о действиях в Севастополе? ,,А вот скажите, что мы собрали совет и что здесь присутствует наш военный начальник, старейший из нас всех в чине, генерал-лейтенант Моллер, которого я охотно променял бы вот на этого мичмана‘‘,— и Нахимов указал на входившего Костырева. Генерал Моллер, услыхав, что речь идет о нем, приподнявшись, обратился к Павлу Степановичу, но, узнав о предмете разговора... опять сел» [22]. И не только «опять сел», но заявил, что добровольно подчинится младшему в чине Корнилову. Да и как, после подобных комплиментов Нахимова, мог бы он поступить иначе? Кстати скажем, что вытесненный Нахимовым из Савастополя за полной ненадобностью Моллер в конце концов был сбыт с рук Меньшиковым, который тоже хорошенько не мог уяснить себе, что ему делать с этим гене-

ралом. «Не знаю, как быть с Моллером: он самый старший из генерал-лейтенантов. Не можете ли вы, чтобы скрыть намеренное удаление, потребовать его у меня?..» — просил Меншиков командующего Дунайской армией Горчакова [23].

Корнилов не только убежден был, подобно Тотлебену — да и подобно подавляющему большинству русских командиров,— что союзники легко могли овладеть Севастополем сейчас же после сражения при Альме, но он вплоть до 18 (30) сентября считал немедленную гибель города очень вероятной, поскольку Меншиков не прислал подкреплений. 13 (25) Корнилов пишет: «О князе (Меншикове — *Е. Т.*) самые сбивчивые слухи. Что будет, то будет, а надо брать меры. Если князь отрезан и к нам опоздает?..» 14 (26) тот же мотив: «Целый день занимался укреплением города и распределением моряков... Итого у нас наберется 500 резервов Аслановича и 10 000 морских разного оружия, даже с пиками. Хорош гарнизон для защиты каменного лагеря, разбросанного на протяжении многих верст и перерезанного балками так, что сообщения прямо нет!»

Того же 14 (26) сентября Корнилов узнал о занятии Балаклавы неприятелем: «...что будет — то будет,— читаем в рукописи его дневника,— положили стоять; слава будет, если устоим; если же нет, то князя Меншикова можно назвать изменником и подлецом; впрочем, я все не верю, чтоб он предал. По укреплениям работа кипит, даже усердствуют.

Войско кипит отвагой, но все это может только увеличить резню, но не воспрепятствовать входу неприятеля.

О князе ни слуху, ни духу».

Конечно, никому Меншиков не продавался и изменником вовсе не был. Просто, ему было все равно. И если от его действий происходит такой вред, как будто бы это были сознательно изменнические действия,— все равно. И если его считают изменником, хотя он вовсе не изменник,— тоже все равно. И если Корнилов волнуется и сумасшествует, не получая целыми днями никаких известий от ушедшей к Бахчисараю армии,— тоже все равно. Поволнуется и перестанет. Князь Меншиков, правда, мог бы хоть записку в Севастополь переслать — сообщение вовсе не было отрезано. Это он признал. Ну, что же, забыл как-то. Но и это все равно. Ни Васильчиков и никто вообще не мог вывести князя Александра Сергеевича из состояния полнейшего равнодушия и апатии. Он вяло шутил, иронизировал над своими тупыми и пьяными генералами (которыми сам окружил себя) — и готовил царя к сдаче Севастополя.

15 (27) сентября: «О князе ни слуху, ни духу... Укрепляемся сколько можем, но чего ожидать, кроме позора, с таким

клочком войска, разбитого по огромной местности при укреплениях, созданных в двухнедельное время...».

Дальше мы находим в рукописи, хранящейся в архиве (ЦГИАМ), слова Корнилова, которые, конечно, не могли попасть в печатный текст «Материалов» Жандра:

«Князь должен дать отчет России в отдаче города. Если бы он не ушел бог весть куда, то мы бы отстояли. Если бы я знал, что он способен на такой изменнический поступок, то, конечно, никогда бы не согласился затопить корабли, а лучше бы вышел дать сражение двойному числом врагу». И далее: «Хотим биться донельзя, вряд ли поможет это делу. Корабли и все суда готовы к затоплению: пускай достаются развалины. Вечер — в черных мечтах о будущем России».

В нашей рукописи, в конце этой записки от 15 сентября, есть и еще фраза, тоже не попавшая в печатные «Материалы»: «Неужели все войска похожи на армию князя Меншикова, а Меншиков состоит в числе лучших генералов!» [24] Еще 18 (30) сентября при известии, что Меншиков «предоставляет Севастополь своим средствам», Корнилов замечает: «Если это будет,— то прощай Севастополь: если только союзники решатся на что-нибудь смелое, то нас задавят» [25].

Тотлебен, как мы уже знаем из показаний Канробера, смотрел в эти дни на положение вещей так же мрачно, как Корнилов и Нахимов. «Наше положение в Севастополе было критическое; ежеминутно готовились мы встретить штурм вдесятеро сильнейшего неприятеля и по крайней мере умереть с честью, как храбрые воины... Севастополь... с сухопутной стороны не был почти совсем укреплен, так что совершенно был открыт для превосходных сил неприятельской армии. Начертание укреплений и расположение войск поручено мне ген.-ад. Корниловым. Нам помогает также храбрый адмирал Нахимов, и все идет хорошо... Случались дни, когда мы теряли всякую надежду спасти Севастополь; я обрекал себя уже смерти, сердце у меня разрывалось...» [26]

Но именно с 18 сентября, когда он писал это письмо, положение уже кажется ему лучше, чем было до сих пор; появилась первая надежда, что Меншиков усилит севастопольский гарнизон и пришлет подмогу.

5

18 сентября Меншиков, наконец, приблизив свою армию к Севастополю, побывал в городе, виделся с Корниловым и «предупреждал его, чтобы впредь он не беспокоился, если действующему отряду потребуется сделать еще какую-нибудь

диверсию затем, чтобы отвлечь внимание неприятеля от Севастополя». Но Корнилов плохо верил в стратегию главнокомандующего и настаивал на необходимости усилить гарнизон, и князь «снисходя на односторонний взгляд еще не опытного в военном деле адмирала, уважая лихорадочную его заботливость о сосредоточении себе под руку всех средств к обороне Севастополя, главное же — сознавая, как важно ободрить столь незаменимого своего сподвижника»,— согласился. Другими словами, Меншиков в это время не очень уверенно себя чувствовал и не решился спорить с Корниловым, который, по-видимому, не весьма и стеснялся с его сиятельством в этот момент. «...Корнилов не сочувствовал никаким диверсиям, не оценил по достоинству стратегических соображений светлейшего и смотрел на него, как на возвратившегося из бегов»,— с грустью констатирует адъютант и поклонник Меншикова А. А. Панаев [27].

Тотчас же из команд, снятых с кораблей, стали формироваться батальоны под начальством корабельных командиров для действий на берегу.

Нахимов все эти дни — 12, 13, 14 сентября и дальше — непрерывно перевозил орудия с кораблей на береговые бастионы, формировал и осматривал команды, следил за вооружением батарей Северной стороны.

2 октября Нахимов вывел оставшийся пока русский флот из Южной бухты и расставил суда так умело и счастливо, что до последнего дня своего существования они могли оказывать максимально возможную помощь обороне Севастополя.

Артиллерийская перестрелка между Севастополем и неприятелем стала усиливаться. Русские старались мешать работе англичан и французов по устройству насыпей в их параллелях, французы и англичане прощупывали слабые места оборонительной линии и стремились помешать кипучей деятельности Тотлебена и его рабочих, которые проявляли совсем неслыханную энергию и спокойствие духа, когда им приходилось местами работать под неприятельским огнем. Этот огонь то замирал, то усиливался. Выпадали сравнительно даже спокойные дни. Приготовления с обеих сторон принимали все больший размах. Близилось страшное 5 октября. Меншиков хотел было усилить артиллерию, но из его добрых намерений мало что выходило.

Ведь и в данном случае подготовке севастопольской обороны вредила полная неизвестность относительно ближайших шагов союзного флота и армий. Учитывалась и до, и после высадки союзников в Крыму возможность следующего десанта англичан и французов где-нибудь между Одессой и Днестровским лиманом, и Горчаков, находившийся в середине сентяб-

ря (ст. ст.) в Кишиневе, предписывал поэтому Хрулеву устроить ряд прикрытий и эполементов для орудий, которыми придется обстреливать неприятельский десант, в тех местах, где возможно его ожидать с наибольшей вероятностью. Хрулеву велено было ехать в Одессу и получить там от генерал-губернатора Анненкова нужные топографические сведения. Ему приказано было действовать «с величайшей поспешностью» и не только ставить местных обывателей на нужные земляные работы близ Одессы и дальше по берегу моря, но и обревизовать уже имеющиеся на этом побережье батареи, которые Горчаков считал неудовлетворительными [28]. Замечу, что Одесса, совершенно беспомощная в апреле 1854 г., в момент нападения на нее была защищена в сентябре значительной артиллерией: тяжелых осадных орудий там было 69. Но все это уже не понадобилось, а Севастополю нанесло тяжелый ущерб, потому что там таких орудий было мало.

Накануне бомбардировки 5 октября (и своей смерти) Корнилов доносил Меншикову: «Не можем сладить с мортирами, Карташевский поставил вчера на бастионе № 4 мортиру, в которую не лезет бомба, равно как бомбовые 3-пудовые орудия не выдерживают пальбы. Только что поставили таковую на бастионе № 6, как отскочил винград...

Казаки просят и сапог. Я решил им выдать, они все претендуют, что им не выдавали за две трети жалованья» [29].

Все усиливалась и грандиозно развивалась в самых разнообразных направлениях неутомимая деятельность Нахимова по обороне. Они с Корниловым соперничали, выказывая неслыханную отвагу (этим в Севастополе было трудно удивить, но оба все-таки удивляли и матросов и солдат), а также проявляли быструю находчивость и распорядительность. Тотлебен уже начал свое дело,— и Корнилов с Нахимовым мечтали об одном: чтобы штурм последовал как можно позже, когда Тотлебен успеет произвести хоть часть своих работ.

«На 5-м бастионе мы нашли Павла Степановича Нахимова, который распоряжался на батареях, как на корабле». Множились угрожающие признаки. Пароход за пароходом подходили к Балаклаве, где стояли англичане, к Камышевой бухте, где были французские склады, и выгружали новые и новые грузы. «Надо полагать, что между прочим были и осадные орудия»,— пишет Корнилов. В лагере осаждающих заметны были какие-то непрерывные и все усиливающиеся движения. Лагерь неприятеля был громаден: он шел от высот против Килен-балки до старой дороги на Балаклаву. «Князь (Меншиков — *Е. Т.*) выехал к войску на Бельбекских высотах и заставил нас отдуваться»,— пишет Корнилов своей жене 20 сентября (2 октября).

Корнилов и Нахимов ждали бомбардировки, но не думали, что неприятель решится на штурм. Кроме трех полков, которые Меншиков отправил в Севастополь еще 18 (30) сентября после свидания с Корниловым (Тарутинского, Бородинского и Московского), прибыли еще два батальона черноморцев, на которые оба адмирала больше всего полагались. Тотлебен времени не терял. «Наши укрепления принимают более и более грозный вид, на некоторые вытащили бомбические 68-фунтовые пушки... мы можем надеяться отстоять сокровище, которого русская беспечность чуть было не утратила»,— так писал Корнилов 21 сентября (3 октября).

Корнилов и Нахимов очень довольны были духом моряков и солдат на бастионах. Подошел еще Бутырский полк. Происходила уже перестрелка с неприятелем. Но движение грузовых и транспортных судов неприятеля все усиливалось. Корнилов устраивал небольшие разведочные экспедиции.

Вот картина самых последних дней перед бомбардировкой, рисуемая в письме И. М. Дебу:

«Неприятель стоит на прежнем месте; ночью строит батареи, а днем наши пушки разбивают их... Иногда... наши охотники подползают к англо-французским батареям. Не далее как вчера смотрел я на эти проделки. Шесть охотников вызвалось посмотреть, есть ли за неприятельскими батареями войско. Отправились; сперва бегом спустились с горы и исчезли. Чтоб добраться до неприятеля, им должно было подняться на другую гору. Охотники рассыпались, и вот, то в одной, то в другой стороне, увидишь — приподнимается голова, вот обрисовался весь человек, сделал вперед пять или шесть больших шагов и пропал, сел за камень или в яму, и таким маневром наши штуцерники добрались до их батареи и высмотрели, что там делается; а высмотрев, то бегом, то ползком отправились они назад. Тогда показались неприятельские штуцерники. Едва веришь, как далеко берут штуцерные пули... Такие проделки были бы очень забавны, ежели бы не стоили жизни нескольким людям. Далее все пленные единогласно показывают, что в их войске большая смертность, продовольствие скудно и что С.-Арно умер... Наконец, у неприятеля отбили 1700 или 1800 быков, кроме баранов и телят; это достоверно, ибо князь роздал войску отбитых животных» [30].

Росли работы французов против 4 и 5-го бастионов и англичан — далеко против Малахова кургана. К 28 сентября севастопольский гарнизон был уже равен 35 000, тотлебеновские укрепления все увеличивались в числе и размерах. О недавних днях страха за Севастополь Корнилов уже вспоминал как о минувшей опасности: «Должно быть, бог не оставил еще России; конечно, если бы неприятель прямо после Аль-

минской битвы пошел на Севастополь, то легко бы завладел им».

С 29 сентября работы осаждающих приняли очень крупные размеры. Неприятель «посыпал батареи». Севастопольский гарнизон стрелял, мешая этим работать, но уже приходилось «экономничать в снарядах» (так писал Корнилов в дневнике 30 сентября). Партии русских «охотников» (из Бутырского полка) даже бросились 1 октября в штыки и отогнали работавших англичан. 1-го, 2-го и 3-го русская артиллерия разгромила некоторые из французских работ. «День прошел спокойно,— писал Корнилов жене 4 (16) октября,— но это не мешает и их и нашей работе, всё укрепляемся и укрепляемся. Бог да хранит вас. Благословляю вас, весь ваш».

Это было последнее письмо, которое она получила. На другой день, 5 (17) октября 1854 г., на рассвете, неприятель открыл первую бомбардировку Севастополя.

Глава V

ПЕРВАЯ БОМБАРДИРОВКА

1

Время великих надежд и быстро наступивших разочарований — так характеризует один из французских офицеров, убитый впоследствии на Камчатском люнете, те четыре недели, которые прошли между сражением при Альме и первой бомбардировкой Севастополя.

Уже победа при Альме выглядела не радостно. Транспорт за транспортом, битком набитые тяжело раненными, искалеченными людьми, отходили в Константинополь от морского берега у Альмы, от Камышевой бухты, где была база французов, от Балаклавы — базы англичан — в Константинополь и в Скутари, где были наскоро устроены большие военные госпитали. Одновременно внезапно обострилась холерная эпидемия, которая, то ослабевая, то усиливаясь, не прекращалась ни во время пути от Варны до Евпатории, ни после высадки, ни после Альмы.

Вот показание одного английского хирурга, бывшего при Альме: «Эти два дня я решительно купался в крови. Никакое описание не может передать всех ужасов этого поля сражения; мертвые, умирающие, лошади, ружья, лафеты, тела без голов, туловища без ног, раны такие, что у меня кровь стынет в жилах при одном воспоминании о них... Право, я ни с чем не могу лучше сравнить поле битвы в эти два дня, как с бойнею... В редутах мертвые и раненые лежали одни на других целыми грудами. Когда я проходил между ранеными, мольбы их разрывали мне сердце, и пока я занимался одним из них, двадцать других с отчаянием призывали меня к себе». Врачей у англичан и у французов оказалось так же мало, как и в русской армии. На корабле «Вулкан», перевозившем англичан из Альмы в Константинополь (а перевозились туда лишь очень тяжело раненные и искалеченные), было 300 раненых и 170

холерных, «и на всех этих больных только четыре врача». А на других таких кораблях даже и четырех врачей не было. На судне «Коломбо» было 553 человека израненных и искалеченных. Они лежали вповалку на палубе, «которая в два дня превратилась в гниющую массу. Раны... не обмытые и не перевязанные, породили червей, которые ползали повсюду». Другие корабли были ничуть не в лучшем состоянии. «Многие раненые были осмотрены не ранее, как через 6 дней после сражения» [1].

В воспоминаниях Уильяма Гоуарда Росселя о Крымской войне, вышедших в свет спустя сорок лет (в 1895 г.) и потому гораздо более правдивых, чем его же корреспонденции, писанные для газеты «Таймс» в 1854 г., автор говорит, что тотчас же после Альмы он посетил отплывавший в Скутари госпитальный корабль «Кенгуру», битком набитый ранеными и изувеченными в сражении англичанами. Эти страдальцы были в таком состоянии, что Россель был охвачен «жалостью, ужасом и гневом» [2].

«Все поле стонало»,— пишет Россель; то же пишут и другие, вспоминая об Альме. Раненые, искалеченные люди вопили от боли, и их долгими часами, а некоторых даже днями, не успевали перевязать и подать им какую-либо помощь. Операции делались без анестезирующих средств, а средств обеззараживающих еще не было, и операции приводили сплошь и рядом к смерти после нечеловеческих и совершенно напрасных терзаний.

Если, считая с пропавшими без вести, русский урон был равен 5709 человекам, то и потери неприятеля при Альме, по позднейшим, более полным сведениям, исчислялись цифрой около 5000 человек [3].

Участвовавший в битве герцог Кембриджский, на глазах у которого 36 русских орудий расстреляли картечью первую бригаду легкой дивизии, пытавшуюся занять виноградники близ Бурлюка, выразился о сражении под Альмой в том смысле, что если англичанам суждено одержать еще одну такую победу в Крыму, то они останутся с двумя победами, но без войска.

И французы и англичане убедились, что при самых неблагоприятных условиях, сражаясь против почти вдвое сильнейшего неприятеля, русские солдаты поддерживают свою славную репутацию. Большинство русских пленных под Альмой оказалось тяжко раненными.

Лейтенант английской армии Джордж Пирд, участник битвы под Альмой, говорит в своем дневнике, что раненым русским англичане предлагали воду, бисквиты и даже одалживали им свои трубки. «Иногда, однако, эти любезности были предлагаемы людям, которые, хотя и находились в смертных

муках, отказывались от предлагаемого, мрачно качая отрицательно головой,— это были опасные люди» [4].

10 (22) сентября союзники, наконец, покинули место Альминского побоища, откуда они не могли до тех пор двинуться, убирая раненых и приводя в порядок расстроенные боем и измученные усталостью части.

Они двинулись к реке Бельбеку и вечером того же 10-го числа увидали, уже с правого берега Бельбека, Севастополь. Перед ними была Северная сторона.

Ночью и на рассвете 13 (25) сентября армия Меншикова перешла через Сапун-гору, затем через Черную речку, прошла к Мекензиевой горе и двинулась к Бахчисараю. В пути, как раз когда русские покидали Мекензиеву гору, они вдруг увидели позади и в стороне от своего арьергарда длинную колонну французов и англичан. Столкновения удалось избегнуть, только пришлось лишиться нескольких повозок артиллерийского парка. Но русские понять не могли: откуда появились союзники и зачем они тут, куда они направляются? Удивление их имело основание: вечером 13-го числа окружение Меншикова с минуты на минуту ждало рокового известия, что союзники, находившиеся уже с вечера 10 сентября между Бельбеком и Северной стороной Севастополя, пойдут штурмом на слабые укрепления и возьмут город.

Разведка и у союзников и у Меншикова была одинаково неудовлетворительной. Если был удивлен русский арьергард, неожиданно повстречав на пути от Мекензиевой горы к Бахчисараю неприятельскую армию, то и союзники ровно ничего не знали об уходе Меншикова из Севастополя. «Эта непредвиденная встреча»,— так выражается Остин Лэйард, при ней присутствовавший, могла бы окончиться, если бы не счастливые случайности (т. е., другими словами, если бы Меншиков не упустил случая напасть на растянувшуюся союзную армию, шедшую к Балаклаве), «полным уничтожением» этой союзной армии [5]. Это мнение Лэйарда не одиноко в английской военной литературе.

А с другой стороны, и союзники ничуть не сумели воспользоваться этой оплошностью и неосведомленностью Меншикова, потому что, если бы они не удовольствовались отбитием нескольких фургонов, а бросились бы на русских, то могли бы забрать чуть ли не всю артиллерию [6].

Когда в 9 часов вечера 12 (24) сентября на Бельбеке в ставке Сент-Арно окончилось совещание лорда Раглана с маршалом Сент-Арно, армия союзников узнала, что ее ведут в Балаклаву, и на другой день утром 13 (25) сентября она выступила. Этот переход от Бельбека к Балаклаве был очень труден, войска тяжко страдали от жажды, воды не было вовсе.

Вечером 13 (25) сентября англичане подошли к Балаклаве, куда проникли к 7 часам утра 14 (26) сентября, после перестрелки с оставшейся в городе одной ротой греческого батальона (110 чел.). Эти греческие добровольцы считали своим долгом отстреливаться, пока хватило снарядов. Сорок человек из них было перебито.

После тяжкого перехода от Бельбека к Черной речке маршал Сент-Арно почувствовал, что жить ему осталось не более нескольких дней, и тут же из бивуака на Черной речке 14 (26) сентября написал военному министру Вальяну, что к его хронической болезни прибавилось холерное заболевание и он сдает верховное командование генералу Канроберу, командиру дивизии. Утром 15 (27) сентября его с трудом перевезли с Черной речки в Балаклаву, уже занятую англичанами, и там его перенесли на корабль «Бертолле». Сент-Арно скончался на этом корабле в море, по дороге в Константинополь, 17 (29) сентября 1854 г.

Канробер приказал французской армии расположиться лагерем между Стрелецкой и Камышевой бухтами. Англичане стали в Балаклаве и окрестностях. В Балаклаву и Камышевую бухту подходили одни за другими пароходы и парусные суда, выгружая боеприпасы и осадные орудия. Следовало на что-нибудь немедленно решиться.

Но если в умиравшем Сент-Арно в эти критические шесть дней после Альмы потухла боевая энергия и померкла его стратегическая зоркость, то в генерале Канробере, хоть он и находился в совершеннейшем здравии, никогда этих качеств и не было. Это был добрый, честный, прямой человек, но этим и ограничивались его качества. Ничего в нем не было от смелого кондотьера, от быстрого на решения, бесстрашного головореза в генеральских эполетах и орденских звездах, от политического авантюриста большого масштаба,— словом, ничем он покойного Сент-Арно не напоминал.

Роковой ошибки Сент-Арно и Раглана, отказавшихся от нападения на Северную сторону, он тогда не сознавал,— он ее понял лишь несколько позже.

Знал он, как и начальник его штаба генерал Мортанпре, лишь одно: Альма очень сильно потрепала не только русских, но и союзников. Это во-первых, а во-вторых — нужно же было отдать отчет (себе самим, конечно, а не императору Наполеону III,— Канробер всегда боялся волновать его величество), что и в сражении под Альмой были крайне неприятные моменты. Ведь не только участник и автор наиболее детальной истории Альмы, Кинглэк, но и все командиры обеих армий задавали себе вопрос о непонятном поведении русского командования, которое имело полную возможность разгро-

мить английский центр, потому что русские войска уже начали это дело, уже добились успеха,— и вдруг, без тени смысла, остановились. Это было именно тогда, когда Владимирский полк у большого редута блистательной штыковой атакой обратил в бегство (и даже в беспорядочное бегство) англичан, бывших под начальством Кодрингтона. «Какое наваждение (the spell) связало царских командиров? И почему они отбросили от себя прочь те дары, которые военное счастье им принесло?» — с недоумением спрашивает Кинглэк. Ведь англичане после атаки, произведенной Владимирским полком, превратились в бегущую хаотическую толпу, сброшенную русскими штыками с холма. Кинглэк при всем своем патриотизме так и называет эту бегущую массу «толпой (a crowd), уничтожаемой картечью и пулями». «Как же случилось, что врагу внезапно вздумалось остановить истребление (англичан — *Е. Т.*) и оголить свой большой редут? Когда остатки нашей штурмующей колонны бежали, как стадо, с холма (flocking back down the hill),— почему неприятель не уничтожил их, почему он остановил победоносную колонну владимирцев?» [7] Обо всем этом не следовало писать в газетах, но сами-то Раглан и Канробер отлично это знали, потому что своими глазами почти все видели. А всегда ли можно полагаться на бездарность русских командиров, лишающих своих солдат уже достигнутых успехов,— этого союзные главнокомандующие заранее знать не могли. Итак, немедленный штурм невозможен. Решено было: укреплять лагерь, отрыть параллели, установить орудия и попробовать бомбардировкой либо добиться сдачи, либо подготовить будущий штурм. Это затягивало все предприятие, но что же делать?

Писать бойкие и радостные патриотические статьи в парижских газетах было нетрудно. Но вовсе не такое настроение царило после всего пережитого при Альме и после Альмы в союзной армии. Главный герой битвы при Альме генерал Боске в первые же дни осады считал положение союзной армии положительно опасным и настойчиво просил Канробера написать в Париж и требовать немедленной присылки подкреплений. Он пошел к Канроберу и спросил, написано ли в Париж, как обещал Канробер. «Боске! Мой дорогой Боске! Нет, я не написал. Подумайте об огорчении, какое я причиню моему государю, о беспокойстве, которое в нем возникнет! Уверяю вас, он подумает о том, чтобы прислать нам людей, но как же мне причинить ему это беспокойство!» — «Генерал,— ответил Боске,— тогда я ему причиню эту заботу, потому что во имя вашей чести, во имя армии я считаю своим долгом уведомить императора об истинном нашем положении. И если вы не обещаете мне, что ваше письмо отправится с завтрашним курье-

ром, я возвращаюсь к себе в лагерь и пишу письмо!» Тогда лишь Канробер написал Наполеону III просьбу о подкреплениях [8].

Во всяком случае к середине октября нового стиля все приготовления к первой бомбардировке были у союзников закончены. Начало канонады было назначено на утро 17 октября.

2

Поздно вечером 4 (16) октября Корнилов, выслушав доклад капитан-лейтенанта Попова, возложил на него ряд обязанностей по снабжению бастионов снарядами. Прощаясь с ним, адмирал сказал: «Завтра будет жаркий день, англичане употребят все средства, чтобы произвести полный эффект, я опасаюсь за большую потерю от непривычки, впрочем, наши молодцы скоро устроятся; без урока же сделать ничего нельзя, а жаль, многие из нас завтра слягут». Попов напомнил Корнилову приказание Николая, чтобы он берег себя. «Не время теперь думать о безопасности; если завтра меня где-нибудь не увидят, то что обо мне подумают?» [9] Корнилов хорошо знал, какое впечатление произвели на войска его недавние слова. Гарнизон помнил его появление перед войсками 15 сентября, которое нам так живо описывают свидетели: «Явился генерал-адъютант Корнилов, и все с благоговейным любопытством смотрели на любимца Лазарева, создавшего Черноморский флот. Настала мертвая тишина, когда раздался голос Корнилова: „Товарищи!.. на нас лежит честь защиты Севастополя, защиты родного нам флота! Будем драться до последнего! Отступать нам некуда, сзади нас море. Всем начальникам частей я запрещаю бить отбой, барабанщики должны забыть этот бой! Если кто из начальников прикажет бить отбой, заколите, братцы, такого начальника, заколите и барабанщика, который осмелится бить позорный отбой! Товарищи, если бы я приказал ударить отбой, не слушайте, и тот из вас будет подлец, кто не убьет меня!..“ Порывом восторга отвечали моряки на речь начальника, и стоило взглянуть на эти лица, чтобы убедиться, что меж ними не было малодушных»,— говорит очевидец [10].

Когда в половине седьмого утра 5(17) октября 1854 г. раздался грохот с французских батарей, то под первый огонь попал именно этот четвертый бастион, которому суждено было получить такую великую славу в дальнейшем. Корнилов сейчас же, во всю прыть своего коня, помчался туда, свита еле поспевала за ним. «Когда мы взошли на банкет левого фаса бастиона, канонада была уже в полном разгаре,— пишет

стоявший рядом с Корниловым на насыпи бастиона капитан Жандр,— воздух сгустился, сквозь дым солнце казалось бледным месяцем, и Севастополь был опоясан двумя огненными линиями: одну составляли наши укрепления, другая посылала нам смерть. На четвертом бастионе французские ядра и бомбы встречались с английскими». Неприятелю отвечал не только четвертый бастион, но и две русские батареи, расположенные позади него, так что русские бомбы с этих батарей перелетали через бастион и били по траншеям французов. Корнилов проходил по бастиону от орудия к орудию, ободряя солдат и матросов. Его наблюдал в эти последние часы его жизни *И. Ф. Лихачев: «Спокойно и строго было выражение его* лица; легкая улыбка едва заметно играла на его устах; глаза, эти удивительные, умные и проницательные глаза светились ярче обыкновенного, щеки пылали. Высоко держал он голову, сухощавый и несколько согнутый стан его выпрямился, он весь как будто сделался выше ростом. Я никогда не видел человека прекраснее его в эти минуты». Предстояло затем замысловатое дело: выехать с четвертого бастиона и попасть к Нахимову на пятый. Но пока Корнилов оставался на четвертом бастионе, французы стали усиленно обстреливать крутой холм, по которому нужно было спуститься. Лошадь Корнилова не шла, испуганная оглушительным грохотом, сверканием выстрелов, разрывающимися ежесекундно бомбами. Корнилов усмехнулся и сказал своей лошади: «Не люблю, когда меня не слушают». «Вот молодец, так молодец!» — громко говорили солдаты четвертого бастиона, глядя на спуск Корнилова с холма. Наконец, удалось заставить лошадь слушаться поводьев и попасть на пятый бастион. Там действовал Нахимов. Корнилов подошел к Нахимову, и оба стали руководить наведением орудий и прицелом. Артиллерийскую прислугу русских батарей нещадно било и бомбами и картечью.

Было 9 часов утра, когда Корнилов наскоро набросал, в самом разгаре канонады, свой последний рапорт:

«Его светлости князю Александру Сергеевичу Меншикову. 5 октября, 9 часов. Со светом открылась взаимная канонада 4 и 5 №, более всех терпят 4. Анфилируется англичанами и французами. Покуда наши артиллеристы стоят хорошо, но разрушено порядочно. Войска укрыты. К несчастью, штиль и дым стоит кругом. Боюсь штурма. Впрочем, меры все взяты. Остальное в руках божиих. Приехал домой посмотреть с высоты и ничего не видать. Насчет сикурсировки одной стороны Южной бухты не вижу возможности. Полагал бы полезным иметь по полку лишнему и на той и на другой стороне.

В. Корнилов.

(Приписано после подписи — *Е. Т.*). Неприятельский огонь направлен, как я сказал, на батареи, но много бомб падет и в город.

(Еще приписка — *Е. Т.*) Это донесение было лично вручено Корниловым»[11]. Не сказано, кому именно.

Вот картина, рисуемая очевидцем. «На пятом бастионе мы нашли Павла Степановича Нахимова, который распоряжался на батареях, как на корабле: здесь, как и там, он был в сюртуке с эполетами, отличавшими его от других во время осады,— пишет сопровождавший Корнилова Жандр.— Разговаривая с Павлом Степановичем, Корнилов взошел на банкет у исходящего угла бастиона, и оттуда они долго следили за повреждениями, наносимыми врагам нашей артиллерией. Ядра свистели около, обдавая нас землей и кровью убитых; бомбы лопались вокруг, поражая прислугу орудий». Один из офицеров пятого бастиона решился, наконец, указать Корнилову на отчаянную опасность и на то, что его подчиненные, т. е. все защитники бастионов, даже обижены тем, что он лично явился сюда и этим показывает свое недоверие к ним, исполняющим свой долг. «Долг? А зачем же вы хотите мне мешать исполнить мой долг?» — спросил Корнилов.

Бомбардировка усиливалась с каждым получасом.

Выбравшись с пятого бастиона, Корнилов, забрызганный кровью и глиной, поехал на шестой бастион. Оттуда вернулся на минуту домой отдать приказы и выслушать донесения с других мест. Выходя из дому, он вдруг, вынув из кармана золотые часы, сказал, отдавая их уезжавшему в Николаев капитану Христофорову: «Передайте, пожалуйста, жене; они должны принадлежать старшему сыну; боюсь, чтобы здесь их не разбить...» Сам же он опять сел на лошадь и объявил, что теперь снова поедет на Малахов курган. Тогда флаг-офицер Крюднер, только что побывавший на кургане, подошел к Корнилову и передал, что командующий на Малаховом кургане Истомин просит его не приезжать туда ни в коем случае. Рассылая во все стороны приказы о доставлении питьевой воды на бастионы, о доставлении снарядов, об эвакуации раненых с бастионов, Корнилов медленно ехал снова на четвертый бастион. Он выразил мнение, что адский огонь, направленный больше всего именно на четвертый бастион, показывает, что французы хотят, по-видимому, повести штурм на него. Желая как-нибудь задержать новое появление Корнилова на четвертом бастионе, флаг-офицер Жандр постарался отвлечь его внимание к третьему бастиону, который обстреливался англичанами, еще не успевшими пока в утренние часы развить такой сильный огонь, как французы против четвертого бастиона. Оглушительный грохот стоял над городом. Приказав Попову принимать все меры по

части снабжения батарей снарядами, Корнилов прибавил: «Я боюсь, что никаких средств недостанет для такой канонады».

Дым от страшной канонады до такой степени был густ, что батальоны не были видны, пока к ним не подъезжали вплотную. Огонь усиливался с каждой четвертью часа все больше и больше. Корнилову, объезжавшему батареи, доложили, что на третьем номере уже в третий раз меняют перебитую в полном составе артиллерийскую прислугу. Он поспешил на редут номер третий. В его свите был Тотлебен. «Ребята,— обратился Корнилов к солдатам,— товарищи ваши заставили замолчать французскую батарею, постарайтесь сделать то же». Тотлебен вышел вперед и поднялся на бруствер, осыпаемый градом французских ядер. Он заметил неправильность в прицеле и приказал прекратить на минуту стрельбу. «Не надо торопиться, стреляйте реже, но чтобы всякий выстрел был действителен»,— сказал он артиллеристам [12].

Осмотрев третий бастион, Корнилов вдруг снова заявил, что желает проехать сейчас на Малахов курган, о котором, казалось, он уже не думал после переданных ему слов Истомина, что там все в порядке и что Истомин очень просит его не приезжать на курган. Офицеры третьего бастиона смутились и, провожая его, выразили свои опасения и сожаления. Они знали, как может отразиться на духе солдат, и особенно матросов, потеря главного начальника в разгаре боя, да еще такого начальника, как Корнилов. Особенно изумились они, когда узнали, что Корнилов намерен ехать туда вдоль траншеи, а не по более безопасной все же дороге через Госпитальную слободу. Корнилов, усмехнувшись, ответил, что от ядра не уедешь никуда. Французские бомбы, специально для него и его двух провожатых назначенные, били по этой пустынной дороге сзади него, впереди него. Около 11 часов утра Корнилов верхом стал подыматься от оврага на Малахов курган. Впереди, на кургане, выстроился во фронт 44-й флотский экипаж. Моряки закричали «ура», увидя подходившего к ним адмирала. Он остановил их. «Будем кричать „ура“ тогда... когда собьем английские батареи»,— сказал он, обращаясь к фронту. И, показав на прекратившие огонь французские батареи, прибавил: «а теперь покамест только эти замолчали». Сойдя с лошади, Корнилов пошел к башне. Первый этаж был уже полон ранеными. Когда он хотел подняться наверх, командовавший на кургане адмирал Истомин нашел предлог его туда не пустить, хотя сам он весь этот страшный день находился под огнем. Корнилов подошел к ретраншементу, прикрывавшему центр обороны кургана — Малахову башню. В этот момент против башни, ежеминутно усиливая огонь, действовали три англий-

ские батареи. Истомин, тут командовавший, доложил приехавшему против его воли начальнику, что верхняя часть Малаховой башни уже разрушена англичанами, все артиллеристы там перебиты и что решительно незачем Корнилову туда идти, потому что там уже никого нет. Тогда Корнилов стал торопиться проехать к Ушаковой балке, чтобы осмотреть стоявшие там Бутырский и Бородинский полки. Канонада со стороны английских батарей усиливалась с минуты на минуту. Бомбы рвались непрерывно у подножия башни и разбивали «земляные батареи», устроенные Истоминым.

Флаг-офицер Жандр подошел к Корнилову и стал убеждать его возвратиться, наконец, домой. «Постойте, поедем еще к тем полкам, а уж потом домой».— «Ну, пойдем». И он направился к своей лошади, стоявшей за бруствером. Но только он сделал пять-шесть шагов, как несколько ядер перелетело через его голову, а одно ударило его в нижнюю часть живота и в верхнюю часть ноги и раздробило ногу. «Отстаивайте же Севастополь!»,— сказал он подбежавшим поднимать его. «Ни крика, ни стона его никто не слыхал» [13]. Он потерял сознание, только успев произнести эти слова. На перевязочном пункте в госпитале он пришел в себя. Капитан Попов вбежал в комнату. «Не плачьте, Попов. Скажите всем, как приятно умирать, когда совесть спокойна». Он начал как будто о чем-то думать. Но мучения стали совсем нестерпимыми, и Корнилов время от времени вскрикивал. Когда прибежал Истомин и стал говорить, что рана, может быть, не смертельна, Корнилов сказал: «Нет, туда, туда, к Михаилу Петровичу». Это он поминал их общего начальника и учителя Лазарева. Истомин разрыдался, поцеловал умирающего и побежал обратно на Малахов курган. Канонада все свирепела, и нельзя было дозволить себе роскоши побыть хоть несколько минут у одра смерти товарища. «Неужели вы меня не знаете?— сказал умирающий Попову.— Смерть для меня не страшна; я не из тех людей, от которых надо скрывать ее. Передайте мое благословение жене и детям. Кланяйтесь князю и скажите генерал-адмиралу, что у меня остаются дети» [14]. Медицинскую помощь он отклонил. «Напрасно вы это делаете, доктор,— сказал он врачу Павловскому.— Я не ребенок и не боюсь смерти; говорите прямо, что́ надо делать, чтобы провести несколько спокойных минут». Присутствовавшим Попову, доктору Павловскому и двум матросам (гребцам его гички) показалось, что Корнилов задремал. Но вдруг за дверью послышался шум. Адмирал открыл глаза и спросил, что там такое. Ему ответили, что пришел лейтенант Львов с известием, что английские батареи сбиты и всего только два орудия у англичан обстреливают Малахов. Выслушав

это, Корнилов, собрав последние силы, дважды прошептал: «Ура, ура». Через несколько мгновений его не стало.

Нахимов узнал роковую весть не скоро и отлучиться с бастиона не мог, пока шла канонада. Капитан Асланбеков рассказывает, как, поехав вечером поклониться праху убитого, он, войдя в комнату, увидел Нахимова, который плакал и целовал мертвого товарища.

3

Когда в 12-м часу дня погиб Корнилов, сражение было в полном разгаре.

Корнилов эти короткие, последние часы остававшейся жизни мог с удовлетворением констатировать, что его труды и труды Нахимова, Тотлебена и Истомина и руководимой ими солдатской и матросской массы даром не пропали.

В самом деле, уже до полудня союзные главнокомандующие могли удостовериться, что они очень серьезно просчитались и что Севастополь этой бомбардировкой одолеть ни в коем случае не удастся. Неожиданность за неожиданностью поражала осаждающих. Откуда-то выросшие за три-четыре недели укрепления, дальнобойные орудия, меткая стрельба, доходящая до дерзости смелость гарнизона — все это обнаружилось явственно к вечеру, но уже и утром особенно радостных впечатлений ни у Канробера, ни у лорда Раглана не было.

Уже в $8^1/_2$ часов французские батареи на правом фланге союзников были сильно подавлены русским огнем. Когда в 8 часов 40 минут взлетел на воздух французский пороховой склад, с русской батареи раздалось «ура» и русские принялись (говорит корреспондент «Таймса») стрелять с такой силой, что «заставили совершенно замолчать французский огонь, так что французы могли делать выстрелы только время от времени, через значительные промежутки, а в 10 часов почти совсем замолкли на этой стороне». В 11 часов огонь ослабел, но вскоре возобновился с необычайной силой. В 12 часов 45 минут в дело вступил французский флот.

«Картина была поразительна. Русские сильно отвечали на нападения с суши и с моря». В 1 час 25 минут взорвало другой пороховой склад у французов, а в четвертом часу такая же участь постигла и английский пороховой склад [15]. С 4 до $5^1/_2$ часов дня усилилась бомбардировка и со стороны английского флота. Но русские отвечали, ничуть не ослабляя огня и с прежней меткостью.

Когда смерклось, союзники прекратили канонаду. Русские смолкли лишь после союзников.

За время бомбардировки русским огнем были взорваны два пороховых склада у французов и один у англичан. По признанию даже французских подцензурных газет, от убийственного огня русских батарей пострадало пять французских линейных кораблей и фрегатов, у англичан — два серьезно и третий — легко (все-таки он загорелся, но огонь был быстро потушен). Значительный вред, испытанный французским флотом 5 (17) октября, французы приписывали тому, что «английские корабли поздно явились на поле боя», и кстати вспоминали, что «англичане выказали такую же медлительность во время высадки на берега Крыма и в деле при Альме» [16].

После бомбардировки 5 (17) октября французские офицеры писали, что «русские далеко превзошли то понятие, которое о них было составлено. Их огонь был убийствен и меток, их пушки бьют на большое расстояние, и если русские принуждены были на минуту прекратить огонь под градом метательных снарядов, осыпавших их амбразуры, то они тотчас же возвращались опять на свои места и возобновляли бой с удвоенным жаром. Неутомимость и упорное сопротивление русских доказали, что восторжествовать над ними не так легко, как предсказывали нам некоторые газетчики» [17]. Нечего и говорить, что эти строки могли появиться в свет не во французской, а в бельгийской прессе.

Русский огонь ничуть не уступал неприятельскому. Еще часа за два до гибели Корнилова русская бомба попала в пороховой склад и в запас снарядов французской батареи. Страшный взрыв разметал людей и орудия и временно внес полное смятение в ряды атакующих. Мечты о том, чтобы закончить этот день штурмом, пришлось оставить. Корабли французского и английского флотов, громившие Севастополь в этот день с моря, получили от русского ответного огня довольно тяжкие повреждения и потеряли убитыми и ранеными несколько сот человек. Около английских кораблей «Альбион» и «Аретуза» русские ядра перебили все буксировавшие их пароходы — и как раз тогда, когда русские направили на них интенсивный огонь, «Альбион» трижды загорался и уже начал тонуть, когда его вывели из огня. Его пришлось отправить в Константинополь, так же как и «Аретузу». Были и еще потери. Пострадал и французский флот. Русская бомба ударила в каюту командира фрегата «Виль де Пари», перебила свиту Гамлэна, фрегат получил еще несколько попаданий и в полуразрушенном виде отошел к концу боя от города. Пострадали довольно тяжко и некоторые другие суда.

«Нужно согласиться,— пишет очень патриотически настроенный французский автор Блерзи,— что Тотлебен, по врожденному ли таланту или вследствие знания местности,

показал себя более искусным инженером, чем его противники, и что он расположил свои батареи так, что они причиняли союзникам больше ущерба, чем батареи союзников — защитникам города»[18].

Вот непосредственно записанные впечатления участника боя севастопольца Славони об этом дне: «В час пополудни подвинулся к укреплениям и неприятельский флот и открыл по ним страшную пальбу. Закипел бой ужасный: застонала земля, задрожали окрестные горы, заклокотало море; вообразите только, что из тысячи орудий с неприятельских кораблей, пароходов и с сухопутных батарей, а в то же время и с наших батарей разразился адский огонь. Неприятельские корабли и пароходы стреляли в наши батареи залпами; бомбы, каленые ядра, картечи, брандскугели и конгревовы ракеты сыпались градом; треск и взрывы были повсеместны; все это сливалось в страшный и дикий гул; нельзя было различить выстрелов, было слышно одно только дикое и ужасающее клокотание; земля, казалось, шаталась под тяжестью сражающихся. И я видел это неимоверно жестокое сражение; ничего подобного в жизнь свою я и не думал видеть, ни о чем подобном не слыхал, и едва ли когда-нибудь читывал. И этот свирепый бой не умолкал ни на минуту, продолжался ровно 12 часов и прекратился тогда лишь, когда совершенно смерклось. Мужество наших артиллеристов было невыразимо. Они, видимо, не дорожили жизнью»[19].

«Таймс» посвятил довольно пессимистическую статью этой первой бомбардировке. Русские необычайно быстро и успешно исправляют все повреждения, наносимые их веркам; отстреливаются очень хорошо; из поврежденных союзниками фортов русские почему-то «стреляют сильнее, чем когда-либо. Севастополь гораздо более сильная крепость, чем думали. Запас орудий (у русских — *Е. Т.*) кажется неистощим». Севастопольские укрепления огромны, и совсем уж необычайно, что «калибр русских орудий по крайней мере равен калибру наших (английских — *Е. Т.*)». Снарядов в Севастополе сколько угодно, «сотни пушек продолжают извергать ядра без перерыва, без замедления. Сила их гарнизона не менее удивительна»[20].

Участник бомбардировки 5 (17) октября и летописец Крымской войны барон де Базанкур при всем своем казенном французском оптимизме подводит такой итог военным результатам бомбардировки:

«День 17 октября вследствие ряда непредвиденных событий не оправдал надежд, которые на него возлагались. Устремившись в неведомое, торопились помешать прогрессирующему развитию обороны. Этот день разрушил много иллюзий... Этот день 17-го числа показал, что мы имели дело с неприятелем

решительным, умным и что не без серьезной, убийственной борьбы, достойной нашего оружия, Франция и Англия водрузят свои соединенные знамена на стенах Севастополя» [21].

Союзники, которые до первой бомбардировки имели в виду продолжать ее в течение нескольких дней и этим принудить город к сдаче или во всяком случае подготовить штурм, после 5 (17) октября должны были отказаться от своего намерения.

Вот что помешало: «18 октября, 5 часов пополудни. Огонь открылся сегодня поутру вскоре после рассвета. Французы были еще не в состоянии помогать нам (англичанам — *Е. Т.*). Их крайняя левая сторона до сих пор хранит молчание. Они не будут готовы ранее 19 или 20-го: такой сильный вред нанес им русский огонь. В продолжение ночи русские исправили повреждения и втащили новые пушки... В настоящую минуту (3 часа пополудни 6(18) октября — *Е. Т.*) русские теснят нас сильно, возвращая три выстрела на наши два» [22].

4

Канонада, перемежаясь с долгими и короткими паузами, грохотала целыми неделями и после 5 (17) октября, то днем, то ночью, то круглые сутки. 24 октября 1854 г. вице-адмирал Новосильский доложил по начальству, что приказ о том, чтобы нижним чинам была предоставлена возможность сменяться и отдыхать, не выполняется: его матросы не желают уходить от своих пушек.

«Вследствие распоряжения вашего превосходительства, для отдохновения нижних чинов, днем и ночью действующих на батареях вверенной мне дистанции, из флотских экипажей, им назначена была смена; но прислуга изъявила единодушное желание остаться при своих орудиях, изъявляя готовность защищаться и умереть на своих местах» [23].

Это произошло на четвертом бастионе — на том бастионе, о котором офицеры говорили, что вернуться оттуда живым гораздо труднее, чем взять первый лотерейный приз, и куда начальство отряжало офицеров на дежурство — по жребию. В этот самый день, когда Новосильский доносил о решении своих матросов не уходить на отдых и отказаться от смены, 24 октября Г. Славони писал из Севастополя: «Сегодня уже двадцатый день, как неприятель громит нас день и ночь, бросает в город бомбы, каленые ядра и конгревовы ракеты... мы существуем, хотя англо-французы и употребляют все свои силы и все возможные средства нас уничтожить» [24]. Вот пример, почему всегда будет искусственным сосредоточивать все свое внимание на матросе Кошке и на других прославившихся

отдельных матросах и солдатах: чем же не равны матросу Кошке все полтораста — двести матросов Новосильского, не пожелавших никому уступить своей первой очереди — быть в полном составе перебитыми на четвертом бастионе? А ни одного имени этих людей не дошло до истории.

С 5 (17) октября Севастополь был днем и ночью буквально под дождем бомб и ядер. «... в городе, который страшно бомбардируют шестой день, бомбардируют с 6 часов утра до 6 вечера, а ночью с разных пунктов каждые четверть часа посылают в город бомбы...» [25]

«Вид (города — *Е. Т.*) нагоняет тоску, да и вообще в продолжение двадцати одного дня беспрерывно слышать выстрелы — есть от чего с ума сойти. Конечно, неприятель не возьмет Севастополь, но долго, долго еще продолжится дело; как по всему должно полагать, придется нам штурмом брать каждую высоту» [26].

Ядра и гранаты в 68 фунтов весом, чиненные пулями по 130 штук в каждой,— все это было еще внове для русских защитников Севастополя в эти первые дни осады [27].

Вообще после первой бомбардировки установился какой-то новый порядок в городе, новый «быт», как бы новое мироощущение у защитников Севастополя. Каждый день можно было ждать новой бомбардировки, а весьма вероятно и штурма. Каждый день возникали и планы организации разведок. Уже в первые недели осады образовалась та привычка к ежеминутному ожиданию насильственной смерти, которая наложила на севастопольцев не заметный им самим, но очень заметный вновь приезжающим людям, особый отпечаток. В первые же 10 дней изменился и внешний вид Севастополя. «Есть новые батареи внутри города, баррикады на улицах, бойницы для ружейной обороны в окнах домов. Из батарей наших, береговых и сухопутных, ни одна не сбита неприятелем; его же батареи часто сбивают, но на утро он устраивает новые. Сильно действует неприятель против батареи, поставленной между бульваром и бараками; довольно близко подошел к ней, траншею вырыл в 180 саженях от нее, где сидят его штуцерники. Вчера наши войска, в числе около 3 батальонов, ходили от Черной речки к английским батареям и к вечеру возвратились, заклепав несколько орудий. В то же время с 5-го бастиона два батальона ходили против одной из французских батарей, заклепали орудия и вернулись... Кровавые частности, вроде того, что у саперного барабанщика бомбой оторвало голову и куски ее находили в ста саженях от тела,— пропускаю» [28].

Есть и еще детали нового быта, бегло отмечаемые в письмах и дневниках севастопольцев: «Ядра и бомбы не щадят

никого; много детей приносят на перевязочные пункты,— кому ногу отнимут, кому руку, кому обе ноги» [29].

Но на эти подробности скоро перестали обращать внимание вследствие их однообразия и ежедневной повторяемости.

Мрачную тень наводила в самые первые дни главным образом смерть Корнилова. Если бы не это, бомбардировку 5 (17) октября принимали бы скорее как русскую победу. «За час до смерти он проезжал мимо нас верхом, и каким молодцом проскакал! Героем... Да, жаль его. Вот и все письмо, мысли расстроены, скверное время, да и о будущем не хочется подумать. Прогоним неприятеля — радостно будет»,— писал Дебу [30].

В более оптимистическом духе высказывались люди более пылкие и увлекающиеся, чем И. М. Дебу. Вот что писал командир «Владимира» Г. И. Бутаков своей матери спустя две недели после первой бомбардировки:

«Вот и 14 дней прошло благополучно!.. Кто поверит, что город держится, несмотря на то, что его 14 дней бомбардируют! Конечно, теперь не та бомбардировка, что 5 октября, но все-таки хорошо! Сильнее прочих были дни: 10-е октября и сегодняшний, но далеко от 5-го. Войска больше ничего не предпринимают после дела Липранди, который истребил 3 кавалерийских полка и взял 4 редута и 11 орудий. ...насчет штурма мы очень сомневаемся: мы не смеем даже думать о такой их наглости. Это не бомбардировка. Отведают они тогда и русской картечи и штыков!.. Намерений их и наших мы вовсе не знаем и конца покамест не видим, по крайней мере срока, хотя и уверены в результате том, что им придется просить пардону. Держаться мы там можем хоть 14 лет» [31].

Оптимизм Бутакова, впрочем, в эти октябрьские дни объяснялся еще и новым событием: битвой под Балаклавой, которую он и имеет в виду в своем письме, говоря о «деле Липранди». К этой битве, разразившейся спустя восемь дней после первой бомбардировки Севастополя, мы и должны теперь обратиться.

Глава VI

БАЛАКЛАВА

1

После бомбардировки 5 (17) октября 1854 г. союзники некоторое время были в нерешительности. Они, правда, продолжали, как уже сказано, не щадя снарядов, упорно бомбардировать Севастополь, но было ясно, что это делается без точной, непосредственно поставленной военной цели и что ждать штурма, который можно было предполагать после первой бомбардировки, не приходится. А с другой стороны, присылаемые с моря транспорты с подкреплениями приходили больше к французам в Камышевую бухту, но не к англичанам.

Канробер знал, конечно, что терять дней не приходится и что на носу зима, когда по Черному морю транспортам плавать будет не очень легко и когда ночевать в парусиновых палатках не так полезно для здоровья армии. Но как кончить?

В свое время, сейчас же после высадки, 6 (18) сентября маршал Сент-Арно, обозленный английской медлительностью, писал, играя словами, своей жене: «Господа англичане нисколько не стесняются, но меня очень стесняют». Теперь это мог повторить и Канробер. С таким же правом этот преемник Сент-Арно мог бы повторить и другие слова покойного маршала, написанные еще тогда, когда он находился в Варне: «Вы в Париже говорите: нужно сделать что-то... Все эти проекты прекрасны и легко осуществимы в воображении и когда сидишь в Париже за чаем или за шампанским».

Недостатка в таких советах и советчиках не было и теперь, в октябре, после первой бомбардировки, но разница была в том, что Канробер терялся и не смел так не считаться с этими советами, как не считался его предшественник. Канробер не решался ни готовиться к штурму Севастополя, ни напасть на армию Меншикова; он даже повадился в Балаклаву ездить, чтобы раздобыться планом, инициативой, идеей у лорда Раглана. Уже одна эта надежда показывает, в каком затруднении

находился в средних числах октября французский главнокомандующий. Но лорд Раглан сам привык ждать из французского штаба действующей армии указаний.

Так прошло восемь дней — и вдруг толчок воспоследовал. Дело в том, что Меншиков и до и после Альмы, и до и после первой бомбардировки нисколько не верил в успех завязавшейся гигантской борьбы. Но из Петербурга ему не давали покоя, и он считал нужным решиться на какую-то видимость активных военных выступлений. Милютин хорошо понял умонастроение главнокомандующего: «Из рассказов приезжавших из Севастополя, так же как из писем самого князя Меншикова, ясно было видно, что последний смотрел на положение дел с крайним пессимизмом и отчаивался в возможности отстоять Севастополь. Но государь не допускал и мысли о сдаче Севастополя. Во всех своих письмах к кн. Меншикову император ободрял его, поручал ему благодарить войска и моряков, высказывал в самых теплых выражениях свое доверие к молодецкой их стойкости, высказывал сожаление о том, что сам не с ними...» [1] Меншиков решил напасть на турок, охранявших подступы к Балаклаве, на английский лагерь у Балаклавы.

2

Положение в Балаклаве к утру 13 (25) октября было такое. На невысоких буграх, окружающих Балаклаву, союзники устроили еще в середине сентября, тотчас после занятия города, четыре больших редута — впереди линии от села Чоргун к Балаклаве — и один поменьше. Но вооружены артиллерией были из них только три больших. Эти редуты прикрывали линию Чоргун — Балаклава и были расположены впереди, на линии от Сапун-горы к селу Кадыкиой, и заняты турками. Английское командование усвоило себе правильное, по существу, воззрение, что турки отсиживаются от русских за укреплениями гораздо успешнее, чем выдерживают их натиск в открытом поле. Но лорд Раглан упустил из виду, что ведь Омер-паша отпустил с союзниками в Крым не наилучших, а наихудших из своей армии, потому что хорошие были ему самому нужны на Дунае, где он остался. Эти поистине несчастные турки, превращенные в Камышевой бухте французами в вьючных животных, англичанами, напротив, были обращены в передовых, так сказать, бойцов и посажены на редуты, чтобы защищать своей грудью английский лагерь и склады в Балаклаве. Турок принято было кормить очень скудно, бить смертным боем за провинности, к общению не допускать, даже офицеров турецких за стол с собой не сажать. И вообще если в это самое время в Константинополе

султан Абдул-Меджид буквально не знал, куда ему спрятаться от великодушного покровителя и спасителя Оттоманской державы лорда Стрэтфорда-Рэдклифа, то подданные султана, страдавшие в Балаклаве, еще меньше чаяли найти себе где-нибудь спасение от хлыстов и палок своих английских союзников. Их посадили на редуты перед городом Балаклавой. На каждом из четырех редутов было по 250 человек турок и по одному английскому артиллеристу[2]. Смирно сидели турки на этих редутах в течение нескольких недель, как вдруг в 6 часов утра 13 (25) сентября 1854 г., к неописуемому своему ужасу, они увидели, что на них направлен артиллерийский обстрел, после чего на все четыре редута помчалась в атаку кавалерия, а за ней и пехота.

С первого редута турки не успели даже вовремя бежать, и около двух третей их было перебито ворвавшимися русскими войсками, но со второго, третьего и четвертого редутов турки бежали с предельной быстротой, побросав орудия, которые не успели заклепать и покинув все, что на редутах находилось. Русская кавалерия преследовала и избивала их во время этого панического бегства еще на некотором расстоянии за редутами. Уцелевшие турки были безжалостно перебиты и изранены англичанами, когда им удалось добежать до города. Об этом рассказывает английский офицер в довольно безмятежном тоне: «Неприятности для турок тут (т. е. в Балаклаве — *Е. Т.*) не окончились, так как наша стража приняла их острием штыка и не позволила им войти, зная, как трусливо они себя повели»[3]. Генерал Липранди занял высоты Кадыкиоя. Но это было лишь началом дела. За четырьмя редутами, которыми овладели русские при этой первой атаке, находился второй ряд выстроенных англичанами укреплений, начинавшихся от села Кадыкиой, но позади первого редута параллельные линии редутов шли до отрогов Сапун-горы. За этими укреплениями стояла бригада легкой кавалерии под начальством лорда Кардигана, а за ней бригада тяжелой кавалерии под начальством бригадного генерала Скэрлетта. Та и другая находились в этот день под начальством лорда Лекэна. Отдельно от лорда Лекэна действовал 93-й шотландский полк, пытавшийся, хотя и безуспешно, остановить бегство турок из четырех передовых редутов. Этот полк состоял под начальством баронета Коллина Кемпбелла. Кемпбеллу удалось остановить русских кавалеристов, преследовавших турок, и кое-кого из турок включить в свой отряд. Затем бригада Скэрлетта произвела атаку на гусарский полк и казаков и отбросила их к Чоргуну. Липранди безуспешно пытался опрокинуть шотландский полк Кемпбелла, стоявший в долине Кадыкиоя. Хотя гусары шестой легкой кавалерийской

дивизии помяли стоявшие перед ними части, но уже со всех сторон на выручку англичанам спешили к Балаклаве и к Кадыкиою новые и новые части союзников. Дело в том, что уже в 8 часов утра оба главнокомандующих — лорд Раглан и генерал Канробер — примчались на место боя. Конечно, в данном случае главная роль должна была принадлежать Раглану, потому что русское нападение было направлено на английские укрепления и войска. Это обстоятельство сыграло губительную для англичан роль. Уже генерал Рыжов, который произвел нападение на Коллина Кемпбелла, отступил, теснимый драгунской бригадой начальствовавшего в этот день над всей тяжелой кавалерией Скэрлетта, когда Скэрлетт, не заметив, что Рыжов с умыслом норовит пройти между двумя отнятыми утром у турок редутами, завлекает англичан в опаснейшее положение. Неожиданно грянули справа и слева в колонну Скэрлетта русские пушки, уже появившиеся около двух редутов (второго и третьего). Английские драгуны, потеряв убитыми и ранеными несколько десятков человек, бросились назад. Тут-то и произошло трагическое для англичан событие, о котором было столько страстных споров и в течение всей Крымской войны и долго после нее,— то событие, которое в английской историографии и публицистике дало Кадыкиою название «долины смерти». Наиболее правдоподобные показания рисуют дело так. Лорд Раглан сначала передал начальнику всей кавалерии лорду Лекэну приказ идти вперед и, при поддержке пехоты, овладеть высотами, где находились русские, чтобы воспрепятствовать им увезти пушки со взятых утром редутов. Лекэн и ждал пехоты, но она все не появлялась. Потом Раглан из этого создал целое обвинение против Лекэна, будто бы упустившего удобный момент (и эта лживая версия почему-то была без критики принята даже в некоторых русских военно-политических работах). Без поддержки пехоты Лекэн даже, согласно приказу, и не должен был и не мог двигаться, не подвергая страшному риску свои бригады (как Скэрлетта, так и Кардигана). Но этим дело не окончилось.

Русские, как это было видно в подзорные трубы издали с того места, где стояли окруженные свитой лорд Раглан и генерал Канробер, начали стаскивать пушки со взятых ими редутов. Сражение в тот момент казалось на этот день законченным, никаких новых атак с русской стороны не предвиделось. Лорд Раглан, указывая Канроберу на русских, с видимой досадой сказал, что жаль все-таки отдавать им эти трофеи. Канробер ответил: «Зачем идти самим на русских? Предоставим им идти на нас: мы на превосходной позиции, не будем отсюда трогаться (ne bougeons pas)!» [4]

Если бы на месте Канробера был Сент-Арно, то, во-первых, он бы запротестовал энергичнее, а, во-вторых, Раглан его вообще послушался бы скорее. Но Канробер не имел ни авторитета, ни характера Сент-Арно. Раглан подозвал к себе генерала Эйри и продиктовал ему несколько строк. Все видевшие это утверждали потом, что им в голову не могло прийти, что́ именно продиктовал Раглан генералу... Затем Эйри подозвал одного из находившихся тут же своих кавалеристов, капитана Нолэна, и вручил ему бумажку. Нолэн помчался к легкой кавалерии и, подскакав к начальнику ее, лорду Лекэну, передал ему бумажку. Вот что прочел Лекэн в этом новом приказе:

«Лорд Раглан желает, чтобы кавалерия быстро пошла во фронтовую атаку и попыталась воспрепятствовать неприятелю увезти прочь орудия. Отряд конной артиллерии может сопровождать. Французская кавалерия у вас находится с левой стороны. Немедленно». Этим словом «immediate» кончался приказ [5].

Впереди русские стояли углубленной «подковой». Один конец ее был у Кадыкиоя, около взятых утром редутов, второй — у подножия Федюхиных гор. Лекэн с полной ясностью, как показывал потом, понял все безумие того приказа, который он держал в руках. Он обратился к Нолэну с вопросом, понимает ли он, что требуется. Английская кавалерия, углубившись между двумя концами «подковы», попав в глубину русского расположения, неминуемо окажется между двух огней и погибнет под двойным, перекрестным огнем русских батарей, стоящих, с одной стороны, у Кадыкиоя, а с другой — у Федюхиных гор. Нолэн мог лишь подтвердить то, что ему велено было передать. Впоследствии Раглан и те, кто силился его оправдать, пытались утверждать, будто капитан Нолэн преступно забыл прибавить устно, что ему было приказано: «если возможно (if possible)». Сваливать вину на Нолэна было тем удобнее, что капитан был убит через несколько минут после передачи приказа. Лорд Лекэн выражал потом готовность под присягой засвидетельствовать, что этих слов («если возможно») Нолэн ему не показал. Лорд Лекэн, дивизионный генерал, начальник всей кавалерии, оказался в таком положении, когда военному человеку долго размышлять не приходится: у него в руках была бумажка с приказом главнокомандующего.

Лорд Лекэн подъехал к лорду Кардигану, командиру драгунского полка, и передал ему приказ Раглана для немедленного исполнения. Кардиган, как и его дивизионный начальник, сейчас же понял, что его посылают делать поистине сумасшедшее дело. «Позвольте мне заметить, сэр, что у русских батарея в равнине прямо перед нашим фронтом и батареи и ружейные

стрелки с обоих флангов». Но Кардигану незачем было доказывать своему дивизионному начальнику то, в чем лорд Лекэн сам был убежден. Лекэн «пожал плечами и сказал: „Тут нет выбора — должно только повиноваться (there was no choice but to obey)“». Кардигану, кроме драгунского полка, были даны для атаки еще некоторые части стоящей здесь легкой кавалерии. Затем Кардиган скомандовал: «В атаку!»

Это были отборные части, поражавшие красотой и великолепием конного состава. Кавалерия понеслась во весь опор прямо на русское расположение.

Сам Раглан, никогда не бывший боевым генералом, не имевший понятия о том, что́ такое ответственность вождя,— потому что потерять руку в поручичьем чине сорок лет назад еще не значит приобресть способности полководца,— глядел с видимым удовольствием на великолепное зрелище несущейся на русских в стройном порядке отборной кавалерии. Но настоящие военные, вроде Канробера и его свиты, сначала, по их позднейшему признанию, даже не поняли, что́ такое перед ними происходит. Лорд Кардиган со своими кавалеристами мчался прямо в углубление русского расположения, под картечь справа, слева и в лоб. Русские выждали, когда мчавшаяся во весь опор английская кавалерия влетела в ту воронку, которой была долина между Федюхиными горами и взятыми утром русскими войсками редутами. Загремела русская артиллерия, поражая англичан с обоих флангов и с фронта. Одним из первых был убит капитан Нолэн, офицерский состав в несколько минут был наполовину перебит и изранен. Одесский полк и казачьи полки, несколько подавшиеся назад к Чоргуну под первым натиском, почти тотчас же вернулись на прежние позиции. Русская кавалерия, стоявшая в глубине долины, бросилась на англичан, рубя людей и лошадей. С фланга, со стороны Федюхиных гор, шестью уланскими эскадронами под командой генерала Еропкина ударили на англичан. Несомненно, англичане были бы тут истреблены до последнего человека, если бы не подоспела помощь. Французский штаб, окружавший Канробера, вполне осмыслил, что́ творится, лишь тогда, когда русская кавалерия, а за ней пехота бросились после артиллерийского обстрела избивать англичан. «Это великолепно, но это не война! Это сумасшествие!» — крикнул английским штабным возмущенный и прямо растерявшийся от полной неожиданности генерал Боске, один из лучших боевых генералов французской армии. Немедленно были приняты меры к спасению того, что еще оставалось от английской легкой кавалерии. Сейчас же последовал приказ Канробера, и два эскадрона французских егерей первыми, а за ними другие французские части помчались на выручку Кардигану

и его кавалеристам, уже повернувшим лошадей и убегавшим от русского преследования.

С трудом остатки кавалерии вернулись в лагерь. Русское командование не решилось продолжать преследование. Сражение окончилось. Оно не было довершенной русской победой, но уж, конечно, ни в малейшей степени не было победой союзников, и говорить о русском «поражении» под Балаклавой можно, только разве имея в виду занятие города 16 сентября после Альмы, когда Балаклаву, в сущности, и не защищали (если не считать ничтожной перестрелки),— но ни в каком случае нельзя называть так дело 13 (25) октября, хотя взятые редуты и пришлось покинуть.

Напротив, и взятие этих редутов в начале боя и истребление легкой английской кавалерии в конце его были, бесспорно, успехом для русской армии, хоть и не имевшим никаких выгодных стратегических последствий.

День Балаклавы (точнее было бы сказать — Кадыкиоя, но и у нас, начиная с Тотлебена и Липранди, и у союзников более принято было называть этот бой сражением при Балаклаве) — 13 (25) октября 1854 г. навсегда остался траурной датой в военной истории Англии.

Только 6 ноября (нов. ст.), т. е. через 12 дней, в Лондон пришло посланное из Константинополя Стрэтфордом-Рэдклифом известие о роковом событии. Эта легкая кавалерия, легшая под Балаклавой, числила в своем составе представителей самых аристократических фамилий. Впечатление в Англии от этого известия было потрясающее [6].

Долгие годы (вплоть до начала войны 1914 г.) из Англии прибывали временами паломники со специальной целью посещения «долины смерти», где погибла английская кавалерия.

3

Хотя под Балаклавой не удалось развить и использовать успех, но и в Севастополе и во всей армии Меншикова известие о происшедшем 13 (25) октября вызвало большой подъем духа. Много говорили о взятых трофеях — знамени и значке, 11 чугунных орудиях, из которых три были взяты с боя, 16 ящиках с ружейными патронами, ружьях, шанцевых инструментах, о 500 английских кавалеристах, легших в долине, прежде чем их товарищи обратились в бегство. Передавались многочисленные случаи, доказывавшие необычайное одушевление, с которым в этот день дралась русская армия. Ординарец генерала Жабокритского, казак и урядник Донского полка втроем обратили в бегство несколько неприятель-

ских всадников, уже окруживших Жабокритского. Стрелковый (4-й) батальон «доказал неприятелю,— по словам Липранди,— что мы не отстали от него в действии штуцерников» [7]. Урядник казачьего батальона Шульча, контуженный ядром, остался во фронте, как остались и многие другие раненые. Рядовой Днепровского пехотного полка Клим Ефимов был в цепи штуцерников при взятии Коморы и получил ранение осколком гранаты в лицо, но как только доктор сделал ему перевязку, «просил доктора отпустить его на место сражения» и отпросившись, наконец, явился к своей роте, где и пробыл до конца боя. Рядовому 5-й егерской роты Дементию Комиссарову оторвало осколком гранаты два пальца на руке. «Долго не бросал он своего штуцера,— читаем в рапорте генерал-лейтенанта Липранди Меншикову,— старался еще зарядить штуцер, но льющаяся кровь мочила и патрон и верное его оружие. Не стало терпения Дементию Комиссарову, и он обратился к офицеру: „Позвольте мне сбегать завязать руку, и не угодно ли пострелять пока из моего штуцера,— знатно попадает! А я сейчас же ворочусь“. И действительно, через несколько минут молодец Дементий Комиссаров явился опять между стрелками и, хоть с перевязанной рукой, не переставал стрелять из своего любимого штуцера до конца сражения» [8].

Тяжело раненный в ногу рядовой 4-й карабинерной роты Цветковский лежал на земле, «когда неприятельская кавалерия, разбитая на голову, в беспорядке и во весь дух мчалась назад». Его не успели снести на перевязку. «Увидев скачущего впереди на лихой лошади англичанина, Цветковский сказал: „Ах, батюшки, не дайте ему выскочить! Он славно напирал, пусть же хоть на отъезде попробует русского свинца!“ С этим он повернулся на брюхе, приподнялся, прицелился, и английский наездник свалился с коня. „Теперь хоть и на перевязку!“ — сказал Цветковский» [9].

Слишком долго было бы перечислять случаи, когда тяжко раненные отказывались отправляться на перевязку и, оставаясь в строю, погибали иногда через несколько минут от потери крови. Вот что писал Липранди, донося о поведении своих войск в день битвы под Балаклавой: «Все войска, отряды, понимая высокое назначение свое: защищать родной свой край, горели нетерпением сразиться с неприятелем. Все сражение можно назвать одним геройским подвигом, и вообще весьма трудно отдать кому-либо особое преимущество перед другими. Соревнование было общее как между каждым родом войск, так и между всеми чинами вообще» [10].

Итак, на левом берегу Черной речки удалось утвердиться, и всего два с небольшим километра отделяли Балаклаву от

русских войск. Липранди стоял у Чоргуна и ждал от Меншикова подкреплений, ждал артиллерии, чтобы довершить начатое и взять Балаклаву, но подкрепления, которые, в самом деле, стали подходить, были употреблены, как увидим, совсем на другое дело.

Союзники, явно очень уклоняясь от истины, показывали в официальных донесениях, будто они потеряли всего 600 человек. У нас было показано убитыми и ранеными 617 человек. По позднейшим данным, потери союзников были около тысячи человек, а есть подсчеты, доводящие эти потери даже до полутора тысяч. Самое важное заключалось в том, что в моральном отношении у русских от этого балаклавского боя было ощущение победы, а у англичан — ощущение (и притом очень болезненное) поражения, сознание совершенно бессмысленно загубленных жизней, потерь, вызванных бездарностью и военным невежеством главного командования. Раглан всю вину постарался свалить на Лекэна и Кардигана, будто бы не понявших его. Правительство и пресса его поддержали, чтобы не подрывать престижа.

«„Балаклава“ — это слово будет передано потомству в анналах Франции и Англии, как название места, памятного деяниями героизма и происшедшим там бедствием, до тех пор непревзойденными в истории», — читаем мы в одной из английских брошюр времени Крымской войны, посвященных гибели легкой кавалерии [11].

Воображение поражала вовсе не цифра погибших (такие ли гекатомбы видел Крым в эти годы!), но непростительное, ничем не извиняемое легкомыслие, вызвавшее катастрофу.



Глава VII

ИНКЕРМАН

1

После битвы под Альмой и начала осады Севастополя, после ряда фантастических, тотчас же опровергаемых слухов о падении крепости — в Англии и Франции наступило некоторое разочарование.

Во Франции императорская цензура еще усиленно поддерживала казенный оптимизм, но лондонская пресса уже не скрывала своего нетерпения и даже неудовольствия. А тут еще в конце октября пришли в Лондон и Париж известия о Балаклаве, о «победе», которая имела какой-то сомнительный вид и до странности походила на поражение, так как привела к ужасающему избиению английской легкой кавалерии. От французского главнокомандующего Канробера, от английского — лорда Раглана требовали поскорее приступить к подготовке общего штурма.

Но и с русской стороны готовились к решительным действиям.

Результатом стремления русского командования предупредить штурм Севастополя внезапным нападением на союзников и явилось инкерманское кровопролитие. Если бы это сражение удалось выиграть, то русская победа заставила бы, вероятно, союзников снять осаду с Севастополя; как увидим дальше, они сами в этом признавались. На карту ставилась судьба всей Крымской войны.

Следует сказать, что Балаклава необычайно приободрила даже таких сдержанных людей, как Тотлебен. Русские еще не знали тогда, что лорд Раглан, очень смущенный после боя 13(25) октября 1854 г., серьезно подумывал о перенесении английской базы из Балаклавы в другое место, потому что боялся нового нападения со стороны Липранди. Но и не имея этих сведений, русские войска сильно повеселели. И в Севастополе и в лагере Меншикова с увлечением рассказывалось, как англий-

ская кавалерия, прорвавшись сквозь ружейный и картечный огонь, опрокинула было гусар и казаков и отбросила их до Чоргунского ущелья; как тут русские полки остановились, пришли в себя от внезапного натиска и перешли в контратаку; как уцелевшие английские кавалеристы хоть и успели умчаться прочь, спасенные французами, но это им стоило страшнейших потерь. Несколько эскадронов были истреблены вконец, после чего казаки переловили лошадей этой «сумасшедшей кавалерии», тогда же так названной, и продавали их по 15—20 рублей, а купившие потом перепродавали этих дорогих кровных рысаков по 300—400 рублей. «Сумасшедшими» назвали английских кавалеристов русские участники дела [1].

К Меншикову как раз во второй половине октября 1854 г. подошли значительные подкрепления: 10-я и 11-я пехотные дивизии. Настроение войск и вообще успехи балаклавского дня заставили князя Меншикова подумать о большой наступательной операции. У него оказалось, *не считая моряков,* около 107 000 человек как в Севастополе, так и вне его (не говоря уже о 20 000, находившихся на севере Таврического полуострова под командой генерала Хомутова).

На такую наступательную операцию усиленно толкал Меншикова царь.

Неспокойно смотрел на это заведовавший канцелярией военного министра и состоявший при нем по особым поручениям Дмитрий Алексеевич Милютин. Он знал и о том, что царь подталкивает Меншикова к наступлению в широком масштабе, и о том, что Меншиков провалит дело, если около него не будет настоящего военного человека, и о том, что он не потерпит при себе никого, кто мог бы выдвинуться и затмить его в глазах государя. Меншиков сознавал свою беспомощность и хотел, чтобы около него был компетентный человек, но уже наперед завидовал тому и ненавидел того, кто в самом деле будет компетентнее его. О том, что из всего этого вышло,— как раз перед роковым сражением при Инкермане,— повествует нам в своих записках тот же умный, дельный Милютин, конечно, не смевший и думать, что его строки попадут в печать:

«Кн. Меншиков не обладал ни дарованиями, ни опытностью полководца и не имел при себе ни одного доверенного лица, кто мог бы его именем вести дело с умением и энергией. Выше было уже замечено, что кн. Меншиков не хотел или не умел составить себе хороший штаб... Эпизод с штаб-офицером, полковником А. Е. Поповым, вполне характеризует кн. Меншикова. Попов, считавшийся одним из способнейших офицеров гвардейского генерального штаба, исправлял должность начальника штаба гвардейского резервного корпуса, составлявшего в описываемое время гарнизон Петербурга. Таким видным служебным положе-

нием он был вполне удовлетворен, и службу его ценило гвардейское начальство; но вследствие просьбы самого кн. Меншикова, привезенной флигель-адъютантом Альбединским (19 сентября — *Е. Т.*), последовало 30-го сентября (1854 — *Е. Т.*) назначение полковника Попова исправляющим должность начальника штаба войск, в Крыму расположенных. При отправлении его к новому месту службы государь обошелся с ним очень благосклонно, как с офицером, лично известным его вел-ву, дал ему некоторые наставления и, подав руку, пожелал счастливого пути. Этого было достаточно для того, чтобы кн. Меншиков, по прибытии Попова в Севастополь, принял его весьма нелюбезно и даже не допустил его вступить в должность, на которую он был назначен высочайшим приказом. Устраненный от всякого участия в делах штаба, Попов состоял то при одном из корпусных командиров, кн. П. Д. Горчакове, то при начальнике Севастопольского гарнизона ген.-л. Моллере, то исполнял разные случайные поручения, а потому формально был отчислен от должности и, наконец, отправлен обратно в Петербург» [2].

Неблагополучно было с боеприпасами.

Уже в самом начале осады Меншиков и царь жестоко тревожились по поводу недостатка пороха в Севастополе. «Грустно было мне читать твое донесение от 3 ноября, любезный Меншиков! Неужели должны мы лишиться Севастополя, флота и со всеми ужасными последствиями за недостатком пороха! Неужели, имея под ружьем более 70 тысяч отличного войска против 50 тысяч полуголодных и прозябших союзников, не предстоит более никакого способа извлечь пользу из геройской обороны, более месяца продолжающейся и стоившей нам столько горьких жертв! Это ужасно подумать...» Так писал царь, ответственный и за преступную неподготовленность к войне, и за разгул безнаказанного воровства, лишившего героев Севастополя пороха, и за назначение Меншикова, которому все это писал и который, кроме вреда, ничего для обороны не сделал и не мог сделать [3].

Не желая давать сражения, зная твердо, что не может положиться на себя, Меншиков тем не менее с каждым днем все более чувствовал полную невозможность уклониться от большого боя. Ведь подкрепления получал и ждал не он один, их ждали также Канробер и Раглан. У союзников в первые дни после Балаклавы было около 71 000 человек (41 800 французов, 24 500 англичан, около 5000 турок), а у него, Меншикова, с прибытием 10-й и 11-й дивизий, с лишком 107 000, т. е. на 30—35% больше. Артиллерии было тоже больше, чем у союзников. Меншиков знал также, что после получения больших подкреплений, которых они ждут, союзники непременно предпримут новую бомбардировку и штурм Севастополя. Необходимо было воспользоваться скоропреходящим моментом перевеса в силах и

нанести предупредительный тяжкий удар по ближайшему расположению союзников. Слухи о готовящемся штурме Севастополя окончательно побудили Меншикова решиться на наступательную операцию.

Эта мысль была тем соблазнительнее, что нападение могло быть в первую очередь направлено на английские, а не на французские силы, всегда казавшиеся более грозными. На скатах Сапун-горы, идущих к верховьям Килен-балки, стояла 2-я английская дивизия Лэси Ивэнса (Lacy Evans), т. е. всего 3400 человек, а ближайшая к ней дивизия Кэткарта состояла без малого из 4000 человек. Им-то и предстояло выдержать тяжкий удар двух русских отрядов, действующих с двух сторон: один (Соймонова) — от Севастополя, другой (Павлова) — от развалин Инкермана. Правда, подальше Кэткарта стояла еще и 3-я дивизия (генерала Инглэнда — тоже в 4000 человек), но она могла уже запоздать к решающей минуте. Еще с бóльшим правом можно было рассчитывать, что запоздают прийти на помощь французы.

Прибытие к армии еще некоторых частей 4-го пехотного корпуса с генералом Даннепбергом окончательно заставило князя решиться на атаку.

Откровенно отрицая в себе дарования тактика, князь Меншиков отнюдь не делал отсюда вывода, что он никак не может быть главнокомандующим. Он только открыто самоустранялся всякий раз, когда считал необходимым, во имя избавления себя от надоедливых приставаний царя, затеять сражение. Так было и теперь, когда начиная с 21 октября (2 ноября) нужно было уже вплотную приступить к подготовке большого нападения на союзников. Свои верховные функции главнокомандующего на предстоящий день князь решил фактически уступить генералу Данненбергу, хотя диспозицию сражения составил самолично. Почему Данненбергу? А не все ли равно? — отвечал обыкновенно впоследствии князь Александр Сергеевич. Он не верил ни в одного из окружавших его генералов, и мы дальше увидим, как он о них всех вместе однажды выразился, когда получил отставку.

Ему нужно было, конечно, иметь человека, на которого возможно было бы свалить ответственность в случае неудачи. Диспозиция сама по себе могла быть и хороша, но, как известно, выигрывает сражение не тот, кто составил диспозицию, а тот, кто взял на себя ответственность за ее выполнение и кто на самом деле ее осуществил в бою своими распоряжениями.

Впоследствии между немногими защитниками и многочисленными обвинителями Данненберга возгорелся спор о степени виновности этого генерала в том, что случилось при Инкермане. Данненберг настаивал, будто положение его было очень неопределенным, будто он, состоя при отряде Павлова, вовсе не

был настоящим верховным распорядителем битвы, и т. д. Но Меншиков утверждал, что он безусловно доверил в этот день Данненбергу все, с момента соединения отрядов Павлова и Соймонова. Конечно, в данном случае Меншиков не лгал. Но в течение всего этого кровавого дня сам Меншиков находился с только что прибывшими в Севастополь великими князьями Николаем и Михаилом у верховьев Георгиевской балки, очень далеко от поля сражения, и даже из этого прекрасного далека ничем не распоряжался. Вот что писал уже после побоища Николай Николаевич своему брату, наследнику престола: «Дело началось в $^1/_2$ 7-го утра, а князь выехал только тогда из дома, так что мы у Инкерманского моста его ждали, а первую позицию уже наши брали, а мы оттуда все время смотрели... Мы все время с князем оставались на правом фланге, и ни разу ни один из генералов не присылал донесения князю о ходе дела, так что князь, сделав распоряжение для укрепления нашей позиции ретраншементами для орудий и стрелков, поехал посмотреть, что делается на левом фланге, но на половине дороги он встретил Данненберга, который объявил князю, что он приказал войскам отступать, ибо огонь неприятельский усилился и бил ужасно артиллерийскую прислугу. После этого князь совсем потерялся»[4]. Прибавлять к этому показанию нечего. Итак, главнокомандующим должен был быть в этот день тот самый злосчастный Петр Андреевич Данненберг, который ровно за год перед тем, 23 октября 1853 г., проиграл на Дунае битву при Ольтенице. Что Меншиков терпеть не может Данненберга и пользуется в этом смысле полной взаимностью,— это все знали. Вот что великий князь Николай Николаевич в том же письме к наследнику, которое я только что цитировал, пишет (на своем собственном «русском» языке): «Любезный Саша... ты сам знаешь, что Меншиков и Данненберг себя (!) терпеть не могут». Назначив Данненберга и передав ему набросок составленной им диспозиции, Меншиков устранился. По диспозиции, предназначенная к нападению на расположение союзников русская армия была разделена на два больших отряда: Соймонов должен был напасть на англичан, перейдя через Килен-балку и взобравшись на высоты, где они стояли, а генерал Павлов должен был двинуться от развалин Инкермана на Килен-балочное плато, которое, соединившись с Соймоновым, они и должны были взять. Оба генерала после соединения должны были подчиниться Данненбергу.

Эти генералы совершенно справедливо ставили себя выше Данненберга, которого каприз иронического князя Александра Сергеевича сделал их начальником, хотя сам князь и писал както по этому поводу: «Тогда начальство должно перейти в руки Данненберга, но это было бы истинное несчастье»[5]. Какое тяжкое, ничем не искупаемое преступление перед русским народом

он делает, держась такого мнения о Данненберге и все-таки вручая ему судьбу русской армии,— такая мысль князю Меншикову даже и случайно не могла забрести в голову. «Я не тактик, не мое дело вести в бой. Генералов нет!» — повторял и до и после Инкермана Меншиков [6].

Данненберг местности не знал, хотя и говорил, что знает, а карты порядочной ни Сапун-горы с ее отрогами, ни Киленбалки, ни Чоргуна, ни всей долины Черной речки, ни переходов от инкерманских развалин к тем склонам Сапун-горы, которые были обращены к Севастополю, в штабе у Меншикова не оказалось,— впрочем, и самого штаба в реальном значении этого слова у него тогда тоже не было. Военный министр князь Долгоруков отказался прислать из Петербурга нужную карту, потому что она «единственная». В конце концов карту прислали; но она пришла на *другой день* после сражения, когда была уже не нужна.

Защитники Севастополя, державшиеся о Данненберге приблизительно такого же мнения, как и сам назначивший его князь, не ждали от такого назначения ничего доброго.

Узнав, что М. Д. Горчаков, отправляя в Крым на помощь Севастополю две дивизии, поставил во главе их Данненберга, Меншиков в спешном порядке просил его избавить от этого генерала. Но Горчакову слишком уж хотелось самому избавиться от Данненберга, и вот что он ответил Меншикову 19 октября 1854 г.: «Мне невозможно избавить вас (vous délivrer) от Данненберга. Принимая от меня благодеяние, именно войска, которые я вам посылаю, примите же и тяготы (les charges), с этим сопряженные. Впрочем, он не совершил ничего настолько компрометирующего, чтобы отнять у него командование его армейским корпусом, но будет полезно не терять из вида, что его способности не таковы, чтобы можно было с успехом доверить ему отдельное командование» [7].

Для солдат Данненберг, только за несколько дней до этого прибывший из Дунайской армии, был совсем неизвестным человеком, а солдатам своего корпуса он был даже слишком известен — как начальник, сведший к нулю успех русских войск при Ольтенице. Известно им было и то, что в 5-м корпусе, где подвизался Данненберг, нижних чинов очень плохо кормили и особенно усердно обкрадывали [8].

Таковы были взаимоотношения между начальниками и моральное положение человека, который должен был руководить сражением.

Генерал Данненберг встретился накануне Инкерманского сражения с Нахимовым и сказал адмиралу: «Извините, что я еще не был у вас с визитом». Нахимов ответил: «Помилуйте, ваше превосходительство, вы лучше сделали бы визит Сапун-горе» [9].

Но этим дело не кончилось. У нас есть свидетельство, что Данненберг все-таки не понял Нахимова, приняв, вероятно, его слова за безобидную шутку. Объехав, как всегда, севастопольские бастионы, Нахимов в этот канун рокового Инкермана вернулся к себе, в каюту пришвартованного к берегу корабля. И вдруг ему докладывают о визитере: генерал Данненберг. Тут уже Нахимов решил говорить яснее: «Ваше превосходительство, говорят, что к завтрашнему дню у вас назначено большое сражение?» Данненберг подтвердил. «Как же это вы накануне сражения теряете время на бесполезные визиты? — сказал тогда адмирал своему гостю.— Неужели вам не предстоит никакого распоряжения, не нужно ничего сообразить?»

Нахимов сейчас же повез своего гостя к Истомину, на обстреливаемый как раз очень жестоко Малахов курган, что, по-видимому, не предусматривалось вовсе программой визита, потому что Данненберг предпочел там уже не задерживаться и круто сократил время посещения [10].

Соймонов, храбрый боевой генерал, должен был, по диспозиции, ранним утром напасть на англичан, перейдя через Килен-балку. Для этого он должен был выступить от Севастополя, быть у Килен-балки в 6 часов утра — и очутиться перед неприятелем. Ему были даны: три полка 10-й пехотной дивизии, три полка 16-й дивизии и Бутырский полк, а также артиллерия из 22 батарейных орудий и 16 легких.

Одновременно генерал Павлов, стоявший на Инкерманской горе, должен был «быстро следовать» на соединение с отрядом Соймонова. Для того чтобы оказаться в Инкерманской долине, Павлов со своими войсками должен был сняться с лагеря на час позже Соймонова. Павлову были даны: 11-я пехотная дивизия с ее артиллерией, Бородинский и Тарутинский егерские полки и одна батарея, взятая из 17-й артиллерийской бригады. В общей сложности у Соймонова и у Павлова, которые, подойдя с двух разных сторон, должны были отнять у англичан и французов Килен-балочное плато, было в распоряжении 34 835 человек. Правда, фактически участвовало в бою значительно меньше. В первый (и в последний) раз за всю войну русские вступили в бой, имея вначале некоторое численное преимущество над союзниками. Если бы в разгаре боя русские войска получили подмогу от Данненберга, имевшего в резерве 12 000 человек, и от Петра Горчакова, у которого было около Чоргуна 22 000, то перевес русских стал бы подавляющим и сражение безусловно было бы выиграно, несмотря на прекрасные позиции союзников и на их значительное превосходство в вооружении. У Меншикова в распоряжении было 134 орудия, а если бы снять несколько севастопольских бастионных (что считали возможным), то было

бы больше 140. Но Соймонову и Павлову он дал в общей сложности меньше шестидесяти. Данненберг не спорил...

Двоевластие в Инкерманском бою, установленное на этот роковой день Меншиковым, произвело с самого начала дела жестокую путаницу. Первоначальная диспозиция, составленная Меншиковым, поручала генералу Соймонову начать наступление на английские позиции от Килен-балки в 6 часов утра. И тогда же генерал-лейтенант Павлов (тоже в 6 часов утра) должен был, восстановив инкерманский мост, «быстро следовать на соединение с отрядом ген.-лейт. Соймонова». Во исполнение этой, быть может, даже разумной и логично составленной диспозиции генералы Соймонов и Павлов выработали каждый для своего отряда план действий.

Но оказалось, что «между тем генерал-от-инфантерии Данненберг составил у себя в штабе диспозицию для отрядов Соймонова и Павлова». И эта диспозиция шла вразрез с уже полученной обоими начальниками отрядов диспозицией Меншикова. Сбитый с толку Соймонов увидел себя вынужденным повиноваться Данненбергу, который, впрочем, вовсе и не предоставил ему право выбора: «Вслед за тем генерал Данненберг нашел необходимым изменить как распоряжения генералов Соймонова и Павлова, так и некоторые предположения главнокомандующего»,— читаем мы у Тотлебена [11]. Как настоящий военный человек, Тотлебен понимает, конечно, что главнокомандующий на войне — это «царь и бог» и отдает *приказы*, а вовсе не делится «*предположениями*» со своими подчиненными. Но он с умыслом употребляет здесь это слово, потому что знает прекрасно, что и Данненберг не посмел бы даже помыслить менять диспозицию Меншикова, если бы Меншиков не позволил в самом деле ему дискреционно вмешаться в это и фактически быть руководителем сражения.

Изменив диспозицию Меншикова, Данненберг отменил все уже отданные генералом Павловым распоряжения, составленные было для выполнения диспозиции Меншикова. Точно так же «было совершенно изменено первоначальное предположение генерала Соймонова», который, как и Павлов, выработал уже план выполнения диспозиции главнокомандующего. Данненберг приказал Соймонову двинуться от Килен-балки на англичан не в 6, а в 5 часов утра, а кроме того, совсем менялась роль резервов Соймонова. Данненберг считал, что «левый фланг» Соймонова будет «совершенно обеспечен оврагом Килен-балки»; словом, Соймонову преподносилось нечто совсем новое. Соймонов должен был бы повиноваться, *если бы* Данненберг просто *приказал* ему выбросить вон прежнюю диспозицию и действовать по новой. Но в том-то и дело, что если Меншиков хитрил с Данненбергом, желая возложить на него всю ответ-

ственность, то и Даннеберг хитрил с Соймоновым, желая переложить ответственность на Соймонова. И если Меншиков, верховный вождь, не желал *приказывать* Даннебергу, а лишь излагал свои *предположения,* то и Данненберг, совершенно изменив диспозицию Меншикова, «не высказал положительно, что он отменяет диспозицию главнокомандующего», а ограничился одним только «неясным намеком» [12]. Совершенно резонно говорит Тотлебен: «Соймонову естественно было ждать новую диспозицию с ясным и точным указанием причин такой перемены», а вовсе не руководиться «неясными намеками». Получив предписание, «которое по смыслу было прямо противоположно его диспозиции, но которое в то же время ограничивается одним только намеком на то, что отряд его не должен переходить Килен-балку, и *вовсе не разъясняет*, что распоряжение это делается *в отмену* прежней диспозиции», Соймонов, «как лицо ответственное и до известной степени самостоятельное, предпочел лучше привести в исполнение свою диспозицию, составленную на основании ясно понятой мысли главнокомандующего и не отвергнутой положительно ни князем Меншиковым самим, ни генералом Данненбергом, нежели действовать на основании предписания, неясно выражавшего намерения генерала Данненберга»,— говорит Тотлебен. Чувство справедливости последнего возмущалось позднейшими поползновениями истинных виновников инкерманской неудачи свалить ответственность на «ошибку» Соймонова, что было очень удобно сделать, так как Соймонов был убит в бою.

К вечеру 23 октября (4 ноября) приготовления были закончены, но обоим отрядам не удалось как следует отдохнуть перед трудным днем. Чтобы к шестому часу уже быть на подъеме, ведущем к занятому англичанами плато, Соймонов должен был начать движение задолго до рассвета ноябрьского дня, а Павлов лишь немногим позже.

2

Едва рассвело, отряд Соймонова стал подниматься по крутой саперной дороге. Впереди шли батальоны Томского и Колыванского полков, сзади — резервные батальоны и 22 орудия. Густой туман, висевший с рассвета над Севастополем, долго не рассеивался. Англичане были застигнуты врасплох. Первая атака русских войск направлена была на 2-ю английскую дивизию Лэси Ивэнса; командовал ею в этот день генерал Пеннифасер, один из не очень многочисленных талантливых военачальников. Навстречу взбиравшейся на холм русской колонне Пеннифасер выдвинул полки 2-й дивизии, вооруженные превосходными карабинами системы Минье, которых в русской армии совсем не знали.

Но русские штурмом ринулись против этих полков, поражавших их убийственным огнем, и отбросили их. В это же время загремели первые залпы русской сухопутной и морской артиллерии. Русские бомбы и ядра поражали не только дивизию Пеннифасера, но, перелетая через нее, били в палатки и склады английского лагеря и избивали лошадей кавалерии. Пеннифасер сразу оказался в отчаянном положении: ему донесли, что новая русская колонна вышла на дорогу, идущую от Инкерманской долины, и угрожает его флангу и тылу.

Окруженные русскими, английские части сражались стойко, но падали ряд за рядом под русским огнем. Желая выручить их из тяжелого положения, генерал Джорж Кэткарт решился на отчаянное дело: «Не желая слушать живейших представлений, которые ему делались, именно что русские заняли уже противоположные высоты, он, во главе нескольких рот 68-го полка, с неукротимым пылом бросился на маленькую тропинку справа от батареи, но едва он по ней спустился, как увидел русских над собой на вершине холмов. Было слишком поздно,— он оказался окруженным. Пытаясь спасти своих людей, он пал, смертельно раненный». Рядом с генералом был убит его адъютант, сын бывшего британского посла в Петербурге, Чарльз Сеймур. Отряд почти весь был истреблен немедленно. Спешно была вызвана на помощь почти вся армия, находившаяся в этой части английского расположения. «Неприятельские (т. е. русские — *Е. Т.*) колонны, непоколебимые под огнем англичан, снова бросились со страшными криками на холм, стремясь обойти правый фланг гвардейцев»,— пишет очевидец и участник боя, известный английский ориенталист и путешественник Остин Лэйард, оставивший очень интересное описание Инкерманской битвы [13]. Лэйард настроен сверхпатриотически. Его музыкальному слуху даже не нравятся (и он это трижды ставит русской армии на вид) «дикие крики», «свирепые вопли», с которыми русские, бросившись в штыки, прогнали с холма дивизию Пеннифасера. Тем ценнее его показание о массовом героизме русских солдат в этот день.

Английские стрелки открыли по русской артиллерии (главным образом по 38 орудиям, стоявшим на Казачьей горе) убийственный огонь и быстро выбивали артиллерийскую прислугу, ежеминутно сменявшуюся. Русские стрелки пользовались и густыми зарослями Сапун-горы, и англичане тоже очень страдали от их огня, но ружья англичан были несравненно лучше русских.

Бой продолжался на холме, где еще пытались задержаться англичане. Русские теснили их в лоб, а с фланга, из густых кустов склона холма, их поражали очень метким огнем русские егеря, там засевшие. У англичан истощились боеприпасы, и они некоторое время отбивались, бросая камнями в наступав-

шую русскую колонну. В конце концов эти остатки 2-й дивизии и помогавших ей частей были совсем сломлены — англичане бросились бежать. На помощь очень пострадавшей дивизии Пеннифасера были вызваны тогда части 4-й английской дивизии, доставившие новые запасы снарядов. «Но русские продолжали их теснить своей бесчисленной массой. Вскоре эти храбрецы (т. е. 2-я и 4-я дивизии — *Е. Т.*) снова оказались без снарядов, а их ряды опустошались непрерывным огнем неприятеля, которому удалось, наконец, их окружить под прикрытием кустарников и неровностей почвы» [14]. «Тогда под прикрытием хорошо направленного и непрерывного огня своей артиллерии русские двинулись вперед с новым чувством веры в свои силы, тесня наши отступавшие полки и удваивая свои дикие крики. Четыре наших орудия уже были в их власти, и им почти удалось дойти до палаток второй дивизии. Одно мгновение исход битвы казался сомнительным. Самые твердые сердца были охвачены чувством сомнения и ужаса».

Французы, увидя, что английская армия близка уже к повальному бегству, поспешили на выручку, и генерал Боске с двумя батальонами пехоты бросился навстречу русским. Но Боске не мог в этот момент взять больше войск, так как в долине Черной речки Липранди завязал как раз перестрелку с зуавами, охранявшими подступы к Балаклаве. Это была очень разумная и нужная русским диверсия, и Боске должен был опасаться внезапного нападения на Балаклаву; союзники жили под опасением нового нападения на Балаклаву с самого дня 13 (25) октября. Боске вернулся в долину реки, а русская артиллерия под прикрытием тумана подъехала совсем близко к лагерю, и русские, учитывая у англичан отсутствие французской подмоги, с необычайной энергией и меткостью принялись обстреливать англичан. «В то же время свежие (русские — *Е. Т.*) войска явились на вершине холма и в оврагах. Наши (английские — *Е. Т.*) полки, бессильные оказывать со своими разбитыми рядами дальнейшее сопротивление этому неисчерпаемому людскому потоку, дрогнули на всех пунктах и отступили *среди полного беспорядка*» [15]. Англичане бросились бежать, и это бегство было гораздо хуже, хаотичнее, чем то, которое было приостановлено первым появлением французов. Вот тут-то и наступил тот момент, о котором впоследствии, уже во время зимнего перемирия 1856 г., начальник французского штаба генерал де Мортанпре с полным убеждением, откровенно говорил русскому полковнику Циммерману. По признанию французских военачальников, русские войска сражались в день Инкермана превосходно, несмотря на безобразные, хаотические, путаные распоряжения начальства, которые только и спасли союзников в этот день от разгрома. Вот точные слова французского генерала Мортанпре,

начальника штаба французской армии, и полковника Вобер де Жанлис, первого адъютанта Канробера, а потом Пелисье: «...главное дело на Инкермане было бы вами (русскими — *Е. Т.*) выиграно,— английская армия была уже на волоске, едва держалась, несмотря на то, что ваши войска медленно шли вперед и пропустили первый момент. *День этот все-таки кончился бы совершенным поражением англичан, следствием которого было бы снятие осады»*. Так Данненберг с Меншиковым и Петром Горчаковым спасли в этот день союзников. «Мы избежали тогда великой катастрофы»,— настаивали Мортанпре и Вобер де Жанлис, вспоминая об Инкермане в начале 1856 г. [16] Данненберг — не двинул 12 000 человек, бездействовавших в резерве; Петр Горчаков — не пожелал привести хоть часть своего отряда, бесполезно простоявшего весь день у Чоргуна; Меншиков — ни единым словом не попытался вывести Данненберга и Горчакова из их инерции. Приказ же об отступлении, окончательно оставивший победу за союзниками, явился со стороны Данненберга логическим последствием как его собственного поведения, так и поступка Петра Горчакова. Так втроем они и погубили все блестяще начатое дело.

3

У Чоргуна стоял князь Петр Дмитриевич Горчаков со своим войском. Он слышал гром пушек с Килен-балки. Появись он со своими полками,— и половина английской армии была бы разгромлена. Но он не пожелал явиться. В архиве бывшего правителя канцелярии Меншикова А. Д. Крылова мы находим следующую характеристику князя Петра Горчакова: «Трудно объяснить, какое гибельное влияние имел этот человек на ход кампании. Из лиц второстепенных он наделал более всех вреда, и невозможно объяснить, как с такими качествами мог он достигнуть такого высокого звания. Глуп, трус, бестолков, самолюбив, раздражителен и в высшей степени беспокойный — вот его отрицательные качества». Эта характеристика не точна. Петр Дмитриевич Горчаков никогда трусом не был, это явная неправда. Под Альмой именно он водил в атаку против англичан Владимирский полк. Ненавидящий его А. Д. Крылов отделывается от этого общеизвестного в военных кругах факта ничего не значащими словами: «вспышка храбрости под Альмой». Таких вспышек было немало в биографии Петра Горчакова. И вовсе не в трусости было дело. Петр Горчаков был абсолютно не способен к сколько-нибудь самостоятельной роли,— и когда, к несчастью для русской армии, из-за нелепого случая он оказался в день Инкермана человеком, от ума и военной проницательности которого зависел выигрыш сражения, то сражение не могло не

быть проиграно, потому что означенных качеств в Петре Дмитриевиче никогда не было и в помине. Если бы он, в качестве начальника Чоргунского отряда, ударил на неприятеля в критический момент Инкерманской битвы, то союзная армия (именно английская ее часть) подверглась бы полному разгрому. Находясь со своим отрядом на Чоргуне, прикрытый от Балаклавы стоявшей впереди от него на $2^1/_2$ версты дивизией Липранди, обеспеченный вполне от всякого неожиданного нападения, Петр Горчаков в недели затишья бессмысленно и безжалостно мучил людей: «Он беспрестанно выводил войска в ружье, держал кавалерию *оседланной, артиллерию запряженной — и в короткое* время довел отряд до последней степени изнурения... Он тревожил *войска беспрестанно*» [17]. П. П. Липранди рассказывал, как часто без тени оснований Горчаков бил тревогу, приказывал вылить кашу, за которую уже усаживались его солдаты, отправлял в тыл обозы, ставил своих голодных людей под ружье. А единственный раз, когда он понадобился со своими войсками — в решающий момент кровавой битвы при Инкермане, он не явился и не привел свой отряд. Меншиков отлично знал, что Петр Горчаков для ответственных постов не годится, но, во-первых, к Горчакову благоволил сам Николай, во-вторых, он был старшим братом главнокомандующего Дунайской армии князя Михаила Дмитриевича, от которого так много зависело, который посылал Меншикову подкрепления, и вот «Меншиков не любил, не доверял Петру Горчакову, но по вышеизложенным причинам нередко соглашался с ним»,— говорит очевидец [18]. Он разбросал без всякого смысла свою армию от Чоргуна до редутов, взятых русскими в бою 13 (25) числа, и простоял почти в полном бездействии до вечера, не приняв никакого участия в бою, участь которого решило бы одно его появление. Отряд Горчакова был очень силен. Точная цифра тех сил, которыми он располагал в день Инкермана, установима с трудом, потому что источники, как водится, дают разные показания. Самые детальные и, по-видимому, достоверные сведения приведены Тотлебеном, который подробно перечисляет все части, бывшие в распоряжении Горчакова 24 октября 1854 г. Тотлебен утверждает, что у П. Д. Горчакова было 22 444 человека в составе: 16 батальонов пехоты, 52 эскадронов кавалерии, 10 казачьих сотен и 88 орудий с прислугой [19].

Если принять в соображение, что хотя у Соймонова было вообще всего около 19 000 человек, а у Павлова 15 000, но в эти первые часы в атаку на англичан они в общей сложности повели всего 15 141 человека, то для нас будет вполне ясно, какое действие произвело бы на разбитые уже английские дивизии появление такой массы свежих русских войск. Ведь у Соймонова и Павлова в эти первые часы битвы был не очень уж значи-

тельный перевес над англичанами, которые боролись против их натиска, имея две с половиной дивизии, т. е. пять бригад, в общем 11 585 человек. Русские карабкались на крутые, иногда почти отвесные отроги Сапун-горы, англичане же бились в укрепленных ими местах, в двух шагах от своего лагеря и занимали выгодные возвышенные позиции. Если при этих условиях полки Соймонова, в сущности, уже одержали сокрушительную победу над английскими дивизиями, перед ними стоявшими, то более чем вероятно, что громадные силы Горчакова решили бы дело окончательно и французская помощь опоздала бы. Для глубокого обхода англичан соединенных отрядов Соймонова и Павлова не хватило, а во фронтальной атаке, к которой и свелось, в сущности, все сражение при Инкермане, больше 15 000, по условиям местности, и нельзя было пустить в ход. Да и та огромная скученность русских войск делала их положение крайне тяжелым: бомбы, ядра, пули ружей системы Минье, пробивающие по нескольку человек, без промаха попадали в густую массу. Скученность произошла вследствие путаницы в диспозиции, из-за которой Соймонов напал на то самое правое крыло англичан, на которое должен был напасть Павлов. Хрущов в своих записках приписывает этой путанице гибельное значение.

Уже после полутора часов боя потери в отряде Соймонова были очень значительны, и притом выбито было около половины командного состава. Офицер английской армии Дуф, участвовавший в Инкерманском сражении, рассказывал потом графу М. Д. Бутурлину, что «сердце содрогалось смотреть, какое опустошение производили в рядах русских колонн выстрелы карабинов системы Минье, тогда как пули отстреливающихся русских солдат не долетали до половины расстояния от напиравшего неприятеля» [20]. Когда пал смертельно раненный сам генерал Соймонов, его войска уже дрались плечом к плечу с подошедшими к ним батальонами Тарутинского и Бородинского полков из отряда Павлова. На подмогу русским вскоре прибыли новые полки из стоявших в резерве: Охотский, Якутский и Селенгинский. Охотский полк после отчаянного рукопашного ожесточеннейшего боя взял английскую позицию, перебив несколько сотен защищавших ее, и захватил девять орудий. Но едва охотцы успели часть их заклепать, а несколько из них сбросить в овраг, как на них напал новый большой отряд англичан и отбросил их. Но Охотский полк снова отнял позицию — и снова был вытеснен. Тогда в дело вступили Якутский и Селенгинский полки, которые после кровопролитного боя опять отняли позицию у англичан. Еще дважды позиция переходила из рук в руки. Англичане успели прорваться сквозь окружавшие их русские ряды после тяжких потерь. Они отступили, не успев захватить тело павшего в этот момент генерала Кэткарта.

4

Было уже больше 11 часов утра, когда в изнемогавших английских рядах раздались бурные радостные крики, и русские увидели компактные массы французов, беглым шагом спешившие на выручку англичанам. А русские напрасно оглядывались и высматривали, не идет ли помощь Вместо помощи в тот момент, когда французская артиллерия начала громить русские полки, вдруг пронеслась весть, что генерал Данненберг приказал начать общее отступление. Якутский и Охотский полки бросились было на французов, и Селенгинский полк вслед за ними поддержал атаку, хотя силы оказались неравными,— но велено было начинать отступление. Русские полки, отстреливаясь, медленно отходили под губительным артиллерийским огнем, теряя именно тут гораздо больше людей, чем в самые критические минуты своего утреннего победоносного натиска. Французская картечь расстреливала их в упор. Люди, не евшие с 2 часов ночи, девять часов бывшие на ногах, несколько часов — начиная с 7 утра — не выходившие из-под огня, по нескольку раз ходившие в атаку, и не думали жаловаться на голод и усталость и ничуть не дрогнули даже тогда, когда прибытие французов дало явный перевес неприятелю.

За час с небольшим до того, как Данненберг приказал армии отступать, последовала вылазка из Севастополя генерала Тимофеева. Это предприятие могло бы, по утверждению некоторых участников и аналитиков боя (вроде, например, Андриянова в его книге «Инкерманский бой и оборона Севастополя»), изменить весь результат дня, если бы Тимофееву даны были силы более значительные, чем четыре батальона Минского полка и четыре легких орудия. Но и этим батальонам удалось очень много: они так внезапно и так бурно атаковали французов, что Канроберу пришлось спешно бросить против Тимофеева три бригады «последовательно»,— так скромно выражается французский главнокомандующий в своих позднейших диктатах Жермену Базсту, забывая прибавить, что одна за другой эти бригады жестоко потерпели от русского огня и отводились в тыл[21]. Отбросив, наконец, Тимофеева, французы увлеклись преследованием и, близко подойдя к севастопольским веркам, были в свою очередь отброшены, понеся жестокие потери. Тут-то и был убит генерал Лурмель, один из лучших военачальников французской армии, и перебито много офицеров. Вылазка Тимофеева стоила больших жертв и русским и французам, которые именно тут, сначала на своих батареях на Рудольфовой горе, а потом у Шемякиной батареи, потеряли около тысячи человек. Эта вылазка очень облегчила положение отступавшей русской армии, так как

вызвала *тревогу, и Канробер не посмел* организовать достаточно сильной преследующей колонны.

В разгаре боя с войсками Тимофеева генералу Боске вдруг доложили, что на Балаклаву как будто готовится не «ложная», а настоящая атака, *другими словами — что Чоргунский отряд* Петра Горчакова все-таки явится на место или самостоятельно нападет всеми силами на Балаклаву, а это вынудило бы французов мчаться спасать английскую базу и предоставить русским победу на Инкерманском плато. Положение было критическое: каждый истекающий час, казалось, делал его все более серьезным, ибо «русские в этот же момент покрывали вершину Инкерманского плато, и их массы становились все более страшными»,— пишет Базанкур и именно здесь приводит знаменитый, во многих русских и французских (но не английских!) описаниях Инкерманского боя цитируемый разговор между обоими главнокомандующими: «Лорд Раглан покачал головой и со спокойствием, никогда его не покидавшим, холодно сказал: „Я думаю, что мы... очень больны (je crois que nous sommes... très malades)“.— „Все же не очень, милорд, следует надеяться“,— ответил Канробер» [22]. Замечу тут же, что Базанкур недаром ставит три точки перед словами: «очень больны». На самом деле Канробер впоследствии привел в точности слово, которое употребил лорд Раглан, обратившись к нему: «Nous sommes... nous sommes, vous avez un mot d'argot qui exprime bien ce que je veux dire. Nous sommes foutus», т. е.: «Мы... мы... у вас есть в простонародном жаргоне слово, которое хорошо выражает то, что я хочу сказать: nous sommes foutus». Это непереводимое и нецензурное слово выражает мысль: «мы совсем пропали» (с оттенком презрительной насмешки). Так сообщил сам Канробер записавшему его воспоминания Жермену Бапсту [23]. Это по существу несравненно сильнее, чем «мы больны».

Конечно, обоих главнокомандующих слух о движении Чоргунского отряда от Балаклавского направления беспокоил несравненно больше, чем вылазка Тимофеева. Сейчас же Канробер послал офицеров за точными справками и сейчас же получил самые успокоительные сведения: «Что касается до атаки на Балаклаву, она не изменила своего характера и не возбуждала никакого серьезного беспокойства». Петр Горчаков по-прежнему оставался инертным...

5

У лорда Раглана был в этот день, уже после сражения, и другой разговор, но только не с мягким и любезным Канробером, а с генералом Боске, который очень хорошо, по-видимому, знал цену старому милорду. «Генерал, вы не кажетесь удовлетворен-

ным, и, однако, сегодня никто не может быть сияющим (radieux) в большей степени, чем вы!» — «Милорд,— возразил Боске,— я не сияю, потому что это скорее удавшаяся битва, чем победа. Было потеряно три часа на приказания, контрприказания, разные *оценки положения,— и всегда так должно быть,* пока верховное командование будет находиться в нескольких руках и пока единое решение не будет иметь решающего веса». Милорд, выслушав, тотчас же отъехал от желчного француза на своей великолепной вороной лошади, на которой был под Инкерманом; никакой реплики с его стороны не последовало. Приведя этот разговор Раглана с Боске, сэр Эдуард Колбрук, бывший в курсе генеральских пререканий в лагере союзников, выражает принципиальное согласие с мыслью французского генерала и прибавляет, что в день Инкермана французская помощь *едва не пришла слишком поздно* (their assistance was almost too late). Эти слова — полное подтверждение того очевидного факта, что была минута, когда русская победа в день Инкермана являлась уже почти совершившимся фактом...[24]

Колбрук не единственный англичанин, определяющий удельный вес союзных военачальников совершенно независимо от национальных пристрастий. «Прибытие французов изменило исход сражения. После того как Кэткарт был опрокинут при своей храброй, стоившей ему жизни попытке создать диверсию, правая сторона Инкерманской высоты была абсолютно беззащитна и быстро была занята, а затем удержана русскими. Французский полк напал на них и освободил позицию. Что после этого делали и чего не сделали наши союзники, этого я не знаю. Их обвиняют в том, что они упустили золотые возможности, и в том, что они пренебрегли мудрыми советами английского генерала, который никогда не слышал выстрела с тех пор, как потерял руку при Ватерлоо, и который никогда в своей жизни не командовал батальоном. Но Боске и Канробер были опытными солдатами, недавно прибывшими с иных полей»[25]. Так писал бывший при Инкермане Уильям Гоуард Россел, через много лет после событий,— во время войны «Таймс», конечно, подобных антипатриотических ересей ни за что не напечатал бы. Любопытно отметить, что сами английские высшие начальники не только сознавали, от какой страшнейшей и совсем близкой опасности они ускользнули при Инкермане лишь игрой случая, но даже *после* Инкермана некоторые из них все-таки считали наилучшим снять осаду. Например, сам начальник дивизии, сэр Лэси Ивэнс, больной и лично в бою не участвовавший, как выше упомянуто, сказал Росселу вечером после инкерманского дня: «Я ожидал этого! Я предупреждал их (Раглана — *Е. Т.*) снова и снова! Но нет! они ничего не желали сделать и теперь еще милость (a mercy), что мы не сброшены в море! Опасность не про-

шла!» — «Но, сэр Лэси, мы победили, русские отступают!» — возразил Россел, думая, что генерал Ивэнс еще не знает приказа Данненберга об отступлении и исходе боя.— «Да, они отступают. Но предположите, что они пойдут на нас с большими силами, в то время как мы страдаем от этой потери. Я говорю вам, сэр, но вы этого не пишите в своей корреспонденции и не цитируйте меня. *Мы не можем тут оставаться* (we cannot remain here), даже если бы мы могли доверять французам или туркам, а я не верю ни тем, ни другим» [26]. Английский генерал сказал это в те минуты, когда французские ядра били по отступающей русской армии.

Русские солдаты шли в порядке, и англичанину-доктору казалось, будто они не обращают внимания на снаряды, то врывавшиеся в центр отступавших полков, то ложившиеся по сторонам, то перелетавшие через головы; они шли, отстреливаясь, нисколько не ускоряя шаг, не обращая внимания на погонявшую и перегонявшую их смерть, неотступно провожавшую их до конца Килен-балки и до бастионов Севастополя. Приказ Данненберга был для них полной неожиданностью...

В эти трудные часы отступления — от 12 часов дня до 4—5 вечера — русские пароходы «Владимир» и «Херсонес» спасли отступавшие русские батареи, которым угрожала французская артиллерия, когда они уже проходили через длинный инкерманский мост. Очень меткой и частой стрельбой русские пароходы заставили генерала Боске снять свою артиллерию с высоты, где она было расположилась. Во время движения русской артиллерии, отступавшей по саперной дороге, Тотлебен, случайно оказавшийся поблизости, умелыми и быстрыми распоряжениями организовал активнейшую защиту отступавших батарей, противопоставив французским штуцерникам, засевшим в кустах и оттуда *расстреливавшим русских,* Бутырский полк и роту Углицкого полка [27].

Сражение окончилось. Англичанин, корреспондент «Morning chronicle», приравнял отступление русских под Инкерманом к отступлению раненого льва, по-прежнему бесстрашного, нисколько не сломленного бедой. Эти слова тогда же попали в русскую печать и часто с тех пор приводились. Подобных признаний было вообще немало, хотя делались они неохотно и не сейчас же после сражения, а по большей части много позже, когда необходимость в официальном приукрашении уже не ощущалась так остро ни в Англии, ни во Франции.

Леон Герэн, по горячим следам собиравший показания и использовавший очень большие материалы рукописных свидетельств, которые деликатно обошел молчанием связанный своим официальным положением Базанкур, говорит об Инкермане: «Что кажется достоверным, это — что вечером после Инкерман-

ского сражения генералы союзников не очень твердо были уверены в том, что они одержали победу,— и они очень страшились (ils redoutaient fort), чтобы русские не возобновили нападения на другой день» [28]. И, считаясь, все-таки, с императорской французской цензурой, Леон Герэн прибавляет следующую дипломатическую фразу: «Известие об Инкерманской победе пришло во Францию, а особенно в Англию таким *окровавленным*, оно окончательно уничтожило столько иллюзий, порожденных победой при Альме и особенно (ложной — *Е. Т.*) вестью о взятии Севастополя, что общественное мнение было почти несправедливо к тем, кто выиграл эту большую битву» [29].

Явно очень преуменьшенные и заведомо неправильные французские и английские показания сводятся к тому, будто в Инкерманском сражении со стороны союзников участвовало «немного больше 20 000 человек»: 5787 французов и 14 588 англичан. Английские потери были равны 2543 человекам, французские — 793. Отдельно подсчитана у союзников потеря при борьбе против вылазки генерала Тимофеева из Севастополя, произведенной с целью диверсии в разгаре Инкерманского сражения: генерал Лурмель, отразивший эту вылазку, потерял выбывшими из строя 954 человека и сам был убит. Русские в этой вылазке потеряли 1094 человека, из них убитыми — 433 [30].

Следует заметить, что, например, Герэн, очень усердно собиравший показания участников войны, совсем не верит точности официальных подсчетов. Они всегда стремились представить дело так, что под Инкерманом несколько тысяч англичан победоносно сдерживали натиск русской армии чуть ли не в 50 000 человек. Против этой, совсем уж ни с чем не сообразной лжи протестовал также с большой иронией в своей специальной работе об Инкермане Сен-При, герцог д'Альмазан.

Этот французский военный критик, давший обстоятельный анализ Инкерманского боя, опровергает доклад лорда Раглана военному министру герцогу Ньюкэстлю и признает, что сражение безусловно было бы выиграно русскими, если бы не ряд ошибок, совершаемых их генералами: во-первых, если бы русским войскам дали место, где развернуться и где бы они могли маневрировать, а не стоять сплошной, густой, сбившейся толпой, и, во-вторых, если бы не убийственная инертность Петра Горчакова. Когда русские войска завладели английским лагерем и высотами, то, наконец, они получили нужное пространство, где могли бы действовать и где могли бы окончательно разгромить английскую армию новые, свежие русские резервы, если бы таковые явились... «Как бы ни казалась обеспечена (русская — *Е. Т.*) победа, она все-таки зависела от успеха диверсии со стороны Горчакова. Но этот последний элемент русской комбинации также провалился. Князь Горчаков со своими 20 батальона-

ми, своими 58 эскадронами, своей сотней орудий не сумел ничего сделать»[31].

Герцог д'Альмазан при своих исчислениях имеет в виду, очевидно, не только отряд Горчакова, но и некоторую часть резервов, которые зависели в этот день непосредственно от Данненберга, как облеченного дискреционной властью самим Меншиковым,— и эти резервы также не были призваны. Вместо этого Данненберг велел отступать... Кстати тут будет напомнить, что в вышеприведенном разговоре Мортанпре и его товарищей с полковником Циммерманом ничего не было сказано о русских резервах, следовательно, подчеркивается мысль, что *непосредственно* именно русское отступление и спасло в Инкерманском бою англичан. Данненберг повторил здесь то, что он же ровно за год сделал в разгаре боя под Ольтеницей, приказав отступать, когда турки уже явно считали бой проигранным. Но, конечно, поспешил он с приказом об общем отступлении, уже не надеясь на приход подкреплений.

Лишь в половине девятого вечера русские батареи прошли, наконец, оборонительную севастопольскую линию и оказались в безопасности.

Весь вечер бродили по оставшимся за неприятелем местам побоища лица медицинского персонала с носилками, подбирая раненых. От утреннего тумана давно уже не осталось и следа; прекратился и дождь, часами в этот день поливавший сражавшихся. Ночь наступила лунная: было светло, как днем, по словам очевидцев. Склоны и возвышенности Сапун-горы были покрыты телами людей и лошадей; израненные, искалеченные люди, с перебитыми руками и ногами, с выбитыми глазами, с вывалившимися внутренностями, лежали долгими часами без всякой помощи, потому что их было слишком много. И докторам, и военным фельдшерам, и солдатам, несшим носилки, представлялось, как они потом рассказывали, что неумолкаемым хором стонет вся земля, сколько ее охватывал глаз и сколько мог уловить слух.

6

31 октября (12 ноября) 1854 г., на седьмой день после события, курьер вручил царю первое донесение Меншикова об Инкерманском сражении. «Печальное известие об этой неудаче, привезенное в Гатчину 31 октября, произвело на двор самое тяжелое впечатление»,— сообщает Д. А. Милютин в своих записках. Николай держал себя в руках и не хотел обнаруживать слабость, хотя люди повнимательнее видели, до какой степени он угнетен.

Вот что написал он Меншикову в самый день получения ро-

ковой вести: «Не унывать, любезный Меншиков, начальствуя Севастопольскими героями, имея в своем распоряжении 80 000 отличного войска, вновь доказавшего, что нет ему невозможного, лишь бы вели его как следует и куда должно: с такими молодцами было бы стыдно и думать об конечной неудаче. Скажи вновь всем, что я ими доволен и благодарю за прямой русский дух, который, надеюсь, никогда в них не изменится. Ежели удачи досель не было, как мы могли ожидать, то, бог милостив, она быть еще может. Милосердие божие велико для тех, которые неизменно на него уповают! Бросить же Севастополь, покуда еще есть 80 000, в нем и под ним стоящих, еще живых, было бы постыдно и помышлять, значило бы забыть долг, забыть стыд и не быть русскими, потому этого и быть не может, и я не допускаю сего даже и в мыслях. Пасть с честью, но не сдавать и не бросать. Больше не пишу, ибо не знаю, что и писать; твой Биллебрант на словах прочее передаст. Я счастлив, что бог сохранил моих двух рекрут и что они себя показали, как и долг и звание требовали. Кончаю, чем начал, не унывать ради бога! Никому, а тебе, *вождю*, менее всякого другого, ибо на тебя все глядят и твой пример других должен увлекать к исполнению долга до последней крайности» [32]. Под «рекрутами» он понимал двух своих сыновей, Николая и Михаила.

Но Меншиков совсем растерялся и уже не скрывал от военного министра князя Долгорукова, что Севастополю после инкерманского поражения не устоять. Он предсказывал уже не только гибель Севастополя, но и потерю Крыма. Долгоруков считал нужным подготовить царя к этой катастрофе. Николай силился вдохнуть в главнокомандующего ту бодрость духа, которая и в нем-то самом давно исчезла. Спустя два дня после первого своего письма царь пишет ему новое: «Ежели донесение твое, любезный Меншиков, об отличном духе войск, их молодецкой бодрости и готовности, несмотря на неудачу и ужасную потерю, много порадовало, то твое письмо к кн. Долгорукову, с твоими горькими, черными предсказаниями, меня глубоко опечалило. Зачем же столько геройства, столько горьких потерь, ежели исход дел должен быть столь гибельным? Как этому поверить, когда рядом с этим знаю, что́ за молодецкий дух в войсках, которые сие на деле доказали и доказывают, и что грешно не признавать. Неужели и враги наши не пострадали и весь перевес в их пользу? Воля твоя, этому я поверить не могу. Не унывай, говорю я, и не вселяй уныния в других; это было бы постыдно. Соображая, что быть может, думаю, что, отбив штурм с помощью божиею, надо готовиться сейчас же всеми силами атаковать из города осадные работы и их уничтожить или в них ложироваться. Но надо, чтоб тогда же была диверсия от стороны Чоргуна, и сильная. Чего всего более опасаюсь — было бы

новый десант в тылу у Евпатории, для угрожения твоим сообщениям. Не было б ли осторожнее отрядить туда драгун, которым, кажется, большой роли у Чоргуна не предстоит, и поручить тогда Врангелю всю кавалерию, т. е. и резервную уланскую дивизию, чтобы по крайней мере тыл твой был свободен и в надежных руках. Пекись о раненых, ради бога, и призри их сколько можно... Ободряй войска, говори с ними моим именем, благодари их, чтоб знали, что ты уважаешь их заслуги и доводишь до меня их подвиги. Представляй скорей к наградам отличившихся. Авось бог милосердный сподобит тебя обрадовать меня доброй вестью. Обнимаю, навсегда твой доброжелательный. Н.» [33]

Но со всех сторон приходили самые невеселые вести об Инкермане, и прежде всего о поведении Меншикова, Данненберга, Петра Горчакова, сведших к нулю все жертвы и все плоды самоотверженной боевой работы своих войск. В цитированном уже мной письме вел. кн. Николая Николаевича к брату, наследнику престола, мы находим, между прочим, полное опровержение гнусной клеветы на солдат, на которых Меншиков хотел свалить вину, обвиняя их в том, что они плохо дерутся. «Только что я услышал от него, я поскакал к полку; он стоял в порядке, я с ним говорил» (а их осталось уже на 3 батальона 8 офицеров и по 9 рядовых во взводах). «Это оттого, что полк был в течение 4 часов в первой линии и потерял много ранеными... все, кто видел в деле этот полк, говорили, что они славно дрались... Я говорил с людьми, и они нисколько не потеряли духа, и все громко говорили, что готовы лечь до последнего... Этот полк брали с правого на левый фланг, там он дрался и потом опять на правый, так что люди выбились из сил... Все это доказывает, что был *беспорядок в распоряжениях* и не было единства».

И несмотря на то, что никто ими не руководил, вот какую картину (вполне согласную с впечатлениями, вынесенными неприятелем о поведении русских солдат при Инкермане) рисует великий князь: «Но несмотря на то, что полки смешались, они все лезли вперед и гнали все, что было перед ними, взяли два ряда завалов и только тогда остановились и тихо начали отступать, когда на них пошли 4 большие неприятельские колонны. Тут были войска всех трех наций, англичане, французы и турки, и перед колоннами густая штуцерная цепь из 4000 человек, которая открыла ужасный и губительный огонь; несмотря на то, что наши медленно отступали и ни один человек не бежал, все успели отступить чрез дефилеи. Причина беспорядков еще та, что превосходство оружия союзников ужасно велико, особенно штуцерные англичан, ибо у них пехота, вместо обыкновенных ружей, имеет ружья Минье и, кроме их, еще штуцера, которые дьявольски далеко берут: далеко дальше, чем орудия, и потом орудия неприятеля стреляют дальше, гораздо дальше,

чем наши батарейные орудия. Все войска до одного дрались героями,— это мне несколько раз говорил сам Данненберг. лезли вперед, несмотря на губительный огонь. Твой полк и Тарутинский были на батареях, заклепали орудия, но не было возможности удержаться ради штуцерного огня. После дела, когда вернулись из Севастополя, мы зашли к князю, и он был опять ужасно упавши духом и опять повторил, что войско не дралось; тогда я осмелился сказать князю: „Ваша светлость, вы с войском сегодня не говорили, а мы ходили по батальонам и с ними разговаривали, так весело было их слышать, в каком были духе". Точно, они не были, а сделались зверями после штыковой работы, и я видел в знаменных взводах Екатеринбургского полка, 1-го батальона, множество штыков в крови, и все навесились английскою амунициею, а офицеры взяли их штуцера и патроны и ими сами действовали» [34]. Беспорядок, в котором находились все дела у Меншикова, поразителен, штаба у него нет, а есть три человека, которые «работают эту должность... так что, если что узнать хочешь,— не знаешь, у кого спросить». В своей клевете на солдат Меншиков раскаялся, точнее — сообразил, что все равно никто из очевидцев ему не поверит, а всякий поверит собственным глазам: «Вчера (т. е., значит, 25 октября — *Е. Т.*) князь ездил в первый раз по войскам и благодарил их за сражение и воротившись сказал мне: точно, не упали духом, а молодцы, даже Владимирский полк (который он именно накануне и оклеветал — *Е. Т.*); поют все и *просят идти в дело*, по нам это теперь невозможно, ибо много потерь». И великий князь приводит ряд изумивших его примеров солдатского геройства под Инкерманом.

Начальники отдельных русских частей не могли нахвалиться поведением солдат в день Инкермана. Люди падали шеренгами, но полки не уступали ни пяди, бросались в атаку, их отбрасывали, но они через несколько минут снова устремлялись на врага. «Как очевидец этого дела, я сохраню во всю жизнь мою впечатление, вынесенное мною в те страшные минуты... Между нами не мало нашлось лиц, у которых шинели стали истинным подобием решета... Кто не вспомнит... потрясающий подвиг стрелка (2-го батальона Екатеринбургского полка — *Е. Т.*) рядового Поленова, который, истощив в борьбе с неприятелем последние силы, *чтобы не отдаться в плен, бросился с крутой скалы и разбился»* [35]. Настроение у солдат было такое, что этот рядовой Поленов в день Инкермана вовсе не был исключением.

Но тем более остро и болезненно ощущалась потеря сражения, которое было бы выиграно при мало-мальски дельном и добросовестном верховном руководстве. Очень негодовали на Петра Горчакова, не двинувшегося от Чоргуна на помощь в решающий момент боя.

Кое-кто утешал себя (хоть и очень плохое это было утешение), как генерал Александр Хрущов, один из немногих дельных и способных военачальников того времени, который говорит в своих записках: «Впрочем, помощь Чоргунского отряда навряд ли принесла бы существенную пользу, ибо главная атака ведена была бестолково, и наши войска на Инкерманских высотах действовали так несознательно, от нераспорядительности главного начальника, что не могли воспользоваться этою помощью для решительного удара по англичанам» [36].

Большинство разделяло это мнение Данненберга, но все-таки резко порицало именно Петра Горчакова и с горечью отзывалось о всем поведении Меншикова.

Вот коротенькая запись об Инкерманском деле человека, очень близко стоявшего к верхам армии, полковника (потом генерала) Менькова, видевшего, слышавшего, знавшего очень много (с ним Меншиков советовался, вместе с ним придумывал и вместе свершил кровавую катастрофу 24 октября): «24 октября Меншиков поручил генералу Данненбергу с 10-й и 11-й пехотными дивизиями атаковать правый фланг позиций, занимаемых англичанами. Для усиления войск, назначенных для атаки, в распоряжение генерала Данненберга были приданы егери из 16-й и 17-й пехотных дивизий. Повторилась история Альмы. Никто не знал ни цели атаки, ни порядка, в каком должны были атаковать войска. Колонны путались, артиллерия одной колонны присоединилась к другой. Пехота без артиллерии лихо брала завалы и теряла тысячи, уступая неприятелю в превосходстве. Мы не воспользовались преимуществами ни в полевой артиллерии, ни в кавалерии, которой вовсе не было в деле. Масса артиллерии, столпившись на площадке, теряла лошадей и прислугу... Потеря наша, как говорят, была до 12 тысяч... Грустно! из строя выбыли почти все полковые, батальонные командиры и старшие офицеры. И все это без всякого результата». Во время боя ни Данненберг ничем сколько-нибудь толково не распоряжался, ни Меншиков ничего не делал. «Я не тактик!..» «...князь Александр Сергеевич забыл, что он не тактик, а *русский* главнокомандующий»,— с негодованием замечает этот участник войны [37].

Явно преуменьшенные цифры потерь союзников, согласно их официальным бюллетеням, были равны: 4027 солдат, 271 офицер и 9 генералов. Русские потери, тоже несколько преуменьшенные в первых официальных показаниях, доходили, по-видимому, до 11 000. Тотлебен дает такие цифры выбывших из строя в день Инкермана: 6 генералов, 256 офицеров и 10 467 нижних чинов. Есть показания, доводящие цифру потерь до 12 000. Но не только в этой тяжкой потере было дело, да сначала даже и не знали, насколько она велика,— думали, что из строя

выбыло 7000—8000. Но больше всего отмечали общее тяжелое впечатление.

«Громадны были последствия этой катастрофы, и не столько в материальном, сколько в нравственном отношении. Семь или восемь тысяч, выбывших из строя бесполезно, конечно, несчастие великое; но все еще беда поправимая, а непоправимо было то, что на Инкерманских высотах подорвано было доверие масс к тем, кто должен был этими массами руководить. Войска не упали духом, потому что в свои собственные, действительно громадные, силы веры не утратили, но, не доверяя более разумному их направлению, перестали ждать успехов и рассчитывали на одни неудачи. Недоверие это желчно высказывалось при каждом удобном случае. Тысячи анекдотов и рассказов, распространившихся в армии после Инкерманского сражения, могут служить подтверждением этого. В каждом из этих анекдотов слышна была беспощадная насмешка над всеми нашими намерениями и планами и какое-то злорадное самоосуждение... Наконец, всем известно, как наша полумиллионная армия едва насчитывала три-четыре имени, которым верила и которые действительно были популярны. Вот это-то настроение армии, при тогдашнем несчастном положении дел, действительно было непоправимо, а потому и имело громадную важность» [38].

Таково показание очевидца, и это особое, роковое значение Инкермана для морального состояния армии подтверждается и другими свидетельствами.

Ликвидация осады, которая могла бы произойти в случае победы под Инкерманом, не удалась. Значит, угасла и надежда на возобновление оборванной в июне 1854 г. войны на Дунае, потому что, пока неприятель стоял в Крыму, конечно, и речи не могло быть о возобновлении наступательных действий в Молдавии и Валахии.

Безобразное поведение Меншикова и назначенного им бездарного немецкого карьериста Данненберга, вдвоем проигравших кровавое Инкерманское сражение, возмутило до глубины души князя Виктора Илларионовича Васильчикова, начальника штаба при начальнике (в тот момент) севастопольского гарнизона бароне Остен-Сакене. Васильчиков, патриот и друг Нахимова, давно уже ненавидел Меншикова и в одном частном письме отзывался так, что все обстоит благополучно, только есть два недостатка в обороне Севастополя: пороха мало и князь Меншиков изменник. Это была не только злая ирония. Он в самом деле считал Меншикова вреднейшим губителем Севастополя. Он решился на рискованный поступок и 10 декабря 1854 г. написал непосредственно Меншикову, на что он не имел никакого служебного права, письмо, содержание которого сводилось к следующему. Севастополь не может держаться против усилий француз-

ской армии, если не будет принято никаких мер для снятия осады и если неприятелю удастся овладеть северной частью бухты. Поэтому Васильчиков предлагает, во-первых, сосредоточить «в одно целое» все войска, вне города находящиеся, и, во-вторых, создать новые полевые укрепления на Северной стороне и свезти туда «массу батарейных орудий».

Ни того, ни другого Меншиков не делал, и уже этот решительный и непрошенный совет подчиненного, конечно, раздражил Меншикова. Но Васильчиков в своем письме не только как бы укорял главнокомандующего в апатии и полном бездействии: он еще разоблачал бездарную дислокацию войск, допущенную Меншиковым. Отряд Михаила Горчакова «подвержен опасности быть отрезанным от главных сил в минуту решительного боя», и стоять ему там, где он стоит, вообще совсем напрасно, так как неприятель пойдет не в Байдарскую долину, которая союзникам не нужна и которую призван защищать Горчаков, а союзники пойдут на Мекензиеву гору и возьмут ее, так как гору охраняет всего один батальон. Другие же войска во время боя уже не успеют придти на помощь. Наконец, и главные силы не будут в состоянии держаться и «оставят Севастополь на произвол союзников». Укрепления «надобно строить усиленно; лучше сегодня, чем завтра, и стараться выгадать утраченное время».

Это письмо было своего рода обвинительным актом, направленным против преступной халатности, инертности, бездарности главнокомандующего. «Вот, в. с., мое мнение, которое разделяют многие благонамеренные люди. Если вы с ним не согласны, то дай бог, чтобы *оно было ошибочно*; если же последствия докажут, что я был прав, то пусть же Россия узнает, что я не молчал и сделал, что мог, чтобы избавить ее от напрасной скорби и несчастья».

Меншиков раздражился. Окруженный льстецами, клевретами, прихлебателями, карьеристами, он вовсе не привык к таким укорам. Васильчикову он ответил на другой же день, 11 декабря, коротеньким ироническим письмом. Все меры, желаемые Васильчиковым, уже принимаются, так что пусть Васильчиков «успокоится». А оглашать эти советы «так, чтобы знала о них Россия», в военное время нельзя. Принять крутые меры Меншиков не решился. Во-первых, он не мог не знать, что на стороне Васильчикова Нахимов и все понимающие дело люди, а во-вторых, Рюрикович, знатная особа со связями, князь Виктор Илларионович мог наделать неприятностей. Негодование в Петербурге по поводу Инкерманского поражения было Меншикову известно через его корреспондентов.

Но оставался келейный и безопасный способ: секретный донос военному министру на Васильчикова, который доказал своим дерзостным письмом, что ищет популярности: «предостав-

ляю вам,— пишет Меншиков министру,— определить меру того взыскания, какую обрести может стяжание князя Васильчикова к народности (популярности — *Е. Т.*) в государстве самодержавном и, по своему положению, военном, положению, не допускающему разрушить дисциплину, вызовя старшего на суд своих подчиненных».

Князь Меншиков, очень образованный человек, безукоризненно писал по-французски, но по-русски почему-то излагал свои мысли очень тугим, суконным языком и не весьма грамотно. Но тут вполне понятно, чего он домогается: он в письме говорит о «недозволительных по дисциплине формах», в какие Васильчиков облек свое письмо «под влиянием постороннего внушения», о «требованиях», которые будто бы Васильчиков ставит ему, и т. д. Письмо имеет вид черновика и, по-видимому (в этом, по крайней мере, виде), не было отослано по адресу [39].

Никаких реальных последствий письмо Васильчикова не имело. Севастополь оставался в прежнем убийственном положении.

7

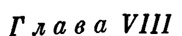
Только после Альмы в высших сферах стали догадываться о страшном просчете,— и только после Инкермана начали понимать всю непоправимость этого просчета. «Мы думали, что Луи Бонапарт не может двадцати тысяч войска выслать из Франции, а он выслал сто, приготовляет еще сто, а слух пошел уже о полумиллионе. Мы не воображали, чтобы в Крым могло когда-нибудь попасть иностранное войско, которое всегда, де, можем закидать шапками, потому оставили сухопутную сторону Севастополя без внимания, а там явилось сто тысяч, которых мы не можем выжить из лагерей, укрепленных ими в короткое время до неприступности. Мы не могли представить себе высадки без величайших затруднений, а их семьдесят тысяч сошло на берег, как один человек через лужу по дощечке переходит. Кто мог прежде поверить, чтоб легче было подвозить запасы в Крым из Лондона, чем нам из-под боку, или чтоб можно было строить в Париже казармы для Балаклавского лагеря?» [40]

Это писал Погодин — и обращался к царю в своем рукописном послании со словами, которых Николай никогда в своей жизни не слышал: «Восстань, русский царь! Верный народ твой тебя призывает! Терпение его истощается! Он не привык к такому унижению, бесчестию, сраму! Ему стыдно своих предков, ему стыдно своей истории... Ложь тлетворную отгони далече от своего престола и призови суровую, грубую истину. От безбожной лести отврати твое ухо и выслушай горькую правду...»

Было тут и о Нессельроде: «Иноплеменники тебя обманывают! Какое им дело до нашей чести?.. Ведь они не знают нашего языка, с которым соединена наша жизнь, наша слава, наша радость... Так могут ли они, без веры, без языка, без истории, судить о русских делах, как бы ни были они умны, честны, благородны и лично преданы тебе или твоему жалованью?» [41]

Читать это и не сметь, не иметь моральной возможности призвать против автора дерзких строк все III отделение, терпеть это ему, Николаю, выше, могущественнее, грознее которого не было никого на земной планете после Наполеона I, выслушивать бичующие порицания не от революционера, а от консерватора, монархиста, былого обожающего поклонника,— по-видимому, это оказалось свыше сил Николая, и близкому окружению это становилось яснее и яснее с каждым днем. Все угрюмее делался царь и все старательнее избегал людей. Ездил без всякой нужды один в Петергоф, в Гатчину, возвращался в Зимний дворец, одиноко бродил ночью по улице, опять уезжал в Гатчину, которую никогда не любил, которая напоминала ему о задушенном отце, проведшем там свою безрадостную молодость, а теперь вдруг стала его притягивать...

«13 ноября 1854 г.— читаем мы в „Литературных воспоминаниях" А. М. Скабичевского,— возвращаясь домой с родными из театра, я обратил внимание на высокую фигуру, медленно двигавшуюся по Дворцовой набережной в полном одиночестве. Лодочник, перевозивший нас через Неву, сообщил нам, что это — царь, что каждую ночь он по целым часам ходит взад и вперед один по набережной».



Глава VIII

БЕЛОЕ МОРЕ И ТИХИЙ ОКЕАН

НЕУДАЧА АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОГО ФЛОТА У ПЕТРОПАВЛОВСКА-НА-КАМЧАТКЕ

1

Почти одновременно с вестью об Инкермане в России, во Франции и Англии стала распространяться неожиданная для всего света новость, которая сначала принята была даже с известной недоверчивостью, но оказалась совершенно верной и в России явилась лучом солнца, вдруг прорвавшегося сквозь мрачные тучи, а в Париже и особенно в Лондоне вызвала ничуть не скрываемые раздражение и огорчение: союзный флот напал на Петропавловск-на-Камчатке и, потерпев урон, удалился, не достигнув ни одной из поставленных себе целей.

Но раньше чем обратиться к этому крупному событию на далеком Тихом океане, напомним о двух не имевших ни малейших последствий английских морских атаках, которые произошли на Белом и Баренцовом морях и имели сначала объектом Соловецкий монастырь, а потом уездный город Архангельской губернии — Колу. Уже 26 июня (8 июля) епископ Варлаам Успенский, живший в Архангельске, получил известие от настоятеля Никольского монастыря, что в заливе и в устье реки Мольгуры появился неприятельский фрегат; сделав промеры глубины и осмотрев берега, фрегат ушел.

Но прошло всего десять дней — и неприятель показался в Белом море снова, на этот раз у Соловецкого монастыря.

В Соловках учитывали возможность появления английского флота, и монастырские ценности были уже за несколько недель до того вывезены в Архангельск.

Согласно позднейшим данным, установленным военным министерством, в монастыре оказалось «20 пудов пороху, копья и множество бердышей и секир времен Федора Иоанновича». На берегу Соловецкого острова соорудили батарею с двумя трехфунтовыми орудиями [1], а по стенам и башням расставили еще восемь малых орудий. Был налицо ничтожный

отряд инвалидной команды. 6 (18) июля в 8 часов утра к острову стали приближаться два английских военных судна. Это были, как оказалось, два паровых 60-пушечных фрегата «Бриск» и «Миранда». Став на якорь, они немедленно, не вступая в переговоры, дали выстрел в монастырские ворота и сразу их уничтожили. Затем бомбардировка по монастырским зданиям продолжалась. Фейерверкер Друшлевский отвечал выстрелами с береговой батареи, и «Миранда», ближе стоявшая к берегу, получила пробоину. После трех десятков выстрелов канонада умолкла.

На другой день, 7 (19) июля, к берегу подошло английское гребное судно под парламентерским белым флагом и передало письмо, адресованное на английском и русском языках в таких несколько странных выражениях: «По делам ее великобританского величества. Его высокоблагородию главному офицеру по военной части Соловецкой». В письме говорилось: «6 числа была пальба по английскому флагу. За такую обиду комендант гарнизона через три часа с получения сего обязан лично отдать свою шпагу». Далее требовалась безусловная сдача «всего гарнизона». В случае отказа следовала угроза бомбардирования монастыря. Письмо было отнесено архимандриту Александру. Архимандрит ответил опровержением лжи относительно вины в стрельбе по английскому флагу, так как русские начали отстреливаться только после третьего ядра, пущенного в них. В сдаче архимандрит отказал. Затем началась канонада, продолжавшаяся девять часов с лишком. Стрельба бомбами и ядрами произвела в зданиях монастыря разрушения, но гораздо меньшие, чем можно было опасаться. Десанта англичане не сделали, хотя первоначально, по-видимому, эта мысль у них была: по крайней мере богомольцу, посланному к капитану Оммонэю с ответным письмом от архимандрита, было заявлено, будто на фрегатах есть русские пленные, которых нужно высадить. Никаких русских пленных не было — и «военная хитрость» была разгадана. Последовал отказ одновременно с отказом в сдаче монастыря. Бомбардировка при всей своей интенсивности и продолжительности не разрушила всего монастыря, хотя крышу всю пробило ядрами и пострадали стены. Человеческих жертв не было. К вечеру 7-го бомбардировка утихла, а на следующий день, 8 (20) июля «Бриск» и «Миранда» ушли и более не возвращались. Монахи, богомольцы и население острова обнаружили большую стойкость и присутствие духа и уцелели совершенно случайно — они не прятались, а оставались в монастыре и даже ходили 7 (19) июля крестным ходом по монастырской стене.

Ханжеские, крайне к тому же бездарные вирши С. П. Шевырева о спасении монастыря угодниками Зосимой и Савва-

тием и нелепая, прикидывающаяся простодушной статья М. П. Погодина в «Московских ведомостях» о таинственном чудотворном спасении,— не имеющая даже достоинства шевыревской искренности, ибо Погодин явно не верил в тот вздор, который писал,— затушевывали перед читателями реальный человеческий героизм, который проявили и архимандрит Александр и все население острова, без всяких колебаний отказавшиеся сдаться и рисковавшие жизнью, предпочитая скорее потерять ее при абсолютной невозможности защищаться, чем добровольно допустить врага на русскую землю.

Это внезапное, бесцельное и безрезультатное нападение на Соловки возбудило в Англии некоторое недоумение. Еще больше недоумений могло бы породить последовавшее полтора месяца спустя уничтожение на Баренцовом море города Колы. Кола была уничтожена, и это давало видимость «победы», благо в Лондоне вплоть до конца войны понятия не имели о том, что реально происходит около заброшенного у полярного моря города.

2

Еще в начале весны (2 марта) 1854 г. кольский городничий Шишелев секретным рапортом просил архангельского военного губернатора принять меры к защите города Колы от возможного нападения со стороны неприятеля. Городничий напомнил о разорении жителей города от нападения «иноземных крейсеров» 11 и 12 мая 1809 г. во время русско-шведской войны и обращал внимание начальства на то, что теперь город Кола тоже «может... не ускользнуть из его (неприятеля — *Е. Т.*) внимания легкостью взятия и к распространению в Европе эха победы» [2].

Защищаться в подобном случае город не может, «ибо к сопротивлению — ни орудия, ни вóйска, кроме местной инвалидной команды в самом малом числе, при одних ружьях, из коих к цельной стрельбе могут быть годными только сорок, при самом незначительном числе боевых патронов,— пушек вовсе не имеется». Городничий просил о присылке роты егерей, военных орудий и т. д.

Архангельский губернатор обещал доставить порох и орудия. Но он, очевидно, сам не очень верил в возможность исполнения этого обещания, потому что ограничивается неутешительными, по существу дела, словами и довольно фантастическими советами: «Мне известно, что кольские жители — народ отважный и смышленый, а потому я надеюсь, что, и в случае недоставки по коим-либо причинам орудий в гор. Колу, они не допустят в свой город неприятеля, которого с крутых бере-

гов и из-за кустов легко могут уничтожить меткими выстрелами. Пусть сами жители подумают хорошенько, какие к ним могут притти суда и как можно, чтобы они не справились с пришедшими. Одна только трусость жителей и нераспорядительность городничего может понудить сдать город, чего никак не ожидаю от кольских удальцов и их градоначальника. Да поможет вам бог нанести стыд тому, кто покусится на вас напасть» [3].

Еще до получения ответа от архангельского губернатора «жители города Колы» собрались в городской ратуше, выслушали указ об объявлении Поморского края на военном положении, выразили готовность бороться с врагами России. Затем, заявляют они, «все мы с половины этого марта месяца имеем нужды отлучиться на морские рыбные промыслы к берегам Северного океана, от коих зависит все наше благосостояние и средства нашего существования». Они поэтому очень просят прислать войско с орудиями, а им дозволить все же отлучиться на промысел, причем обязуются вернуться в Колу по первому требованию. Подписали это 43 человека, из них двое купцов, один купеческий сын, остальные — мещане [4].

Получив копию постановления этого собрания, архангельский губернатор предписал кольскому городничему объявить жителям города, «чтобы все они нисколько не унывали, занимались своими промыслами и с тем вместе как верные и добрые сыны отечества всегда были готовы защищать родной край свой». Затем губернатор объявил, что отправляет в Колу сто ружей, два пуда пороха, шесть пудов свинца и 22 дести бумаги на патроны, собственно для раздачи жителям Колы. Но ни пушек, ни команды «не представляется возможности отправить на г. Колу». Но зато посылает им в предводители капитана Пушкарева, и губернатор уверен, что с таким молодцом, «как капитан Пушкарев, кольские горожане сделают чудеса и непременно разугомонят (sic! — *Е. Т.*) неприятеля» [5].

Защищать Колу при этих условиях, конечно, было немыслимо. Все, что можно было сделать, это не сдавать город, а предоставить врагам его уничтожить.

Весна и бóльшая часть лета прошли для Колы спокойно. Затем произошло событие, которого и ждали уже с начала марта. О нападении англичан на Колу скудные официальные сведения сводились к следующему: 10 (22) августа 1854 г. английский винтовой корвет «Миранда», вооруженный 16 орудиями (двумя пушками, стрелявшими 40-фунтовыми снарядами, и 14-ю — 36-фунтовыми разрывными бомбами), подошел к городу Коле и потребовал немедленной сдачи. Маленьким гарнизоном города Колы командовал адъютант архангельского губернатора Бруннер [6]. Он располагал инвалидной командой

в 70 человек и несколькими сотнями добровольцев. Он ответил англичанам, согласно единодушному желанию своего отряда, категорическим отказом. Жители Колы объявили ему, что они пожертвуют всем имуществом и своей жизнью, но ни в каком случае сдаваться не желают. В третьем часу ночи с 10 на 11 августа английский корвет начал бомбардировку Колы и громил город без перерыва четыре с половиной часа бомбами, гранатами, раскаленными ядрами и пулями с зажигательным составом. Город загорелся со всех концов и сгорел почти весь. Но высадки неприятель не произвел и, уничтожив город, удалился [7]. Бомбардировка была ожесточенная и продолжалась $28^1/_2$ часов (с $2^1/_2$ часов утра 11 (23) до 7 часов утра 12 (24) августа).

Вот что было донесено с места действия в Петербург: «Шефу жандармов, господину генерал-адъютанту и кавалеру графу Орлову. Сейчас получено донесение Архангельским военным губернатором из г. Колы что 11-го числа сего месяца подошел к г. Коле английский пароход Миранда и требовал здачи города, но находившийся там в это время и принявший команду адъютант Архангельского военного губернатора лейтенант Бруннер решительно отказал неприятелю в этом требовании, тогда с парохода был открыт огонь по городу калеными ядрами, бомбами и гранатами, кроме того, неприятель несколько раз покушался сделать высадку, посылая к берегу барказы с вооруженными людьми, но всякий раз был отражаем лейтенантом Бруннером с 50-ю человеками Кольской инвалидной команды, при помощи вооруженных жителей. Во время боя, возобновившегося 12-го числа усиленным неприятельским огнем сожжено около 110-ти домов, 2 церкви, из коих одна каменная, хлебный и соляной магазины, и теперь в г. Коле осталось только 18-ть домов и для продовольствия жителей хлеба на 2-ва месяца; убитых и раненых с нашей стороны не было, а контужен один и ушиблено 2-ва человека. О чем имею честь вашему сиятельству донести. Подполковник Соколов» [8].

Город Кола временно перестал существовать. Больше английские суда не появлялись. Трудно понять, зачем все это было проделано англичанами, т. е. зачем было грозить (как они это сделали, посылая парламентера) полным уничтожением города в случае отказа в немедленной сдаче, а главное — зачем нужно было с такой беспощадностью осуществить эту угрозу и смести с лица земли никакого значения, ни стратегического, ни экономического, не имевший заброшенный городок. О победе над «русским портом Колой» поговорили в Лондоне с тем бóльшим удовольствием и жаром, что лето началось и, кроме Бомарзунда, никаких лавров

северная английская эскадра не приобрела,— да и бомарзундские лавры больше принадлежали французам. Известия о городе Коле явились отраднейшим занимательным чтением для обывателя. Но гораздо серьезнее были замыслы союзников не на Ледовитом, а на Тихом океане.

3

События на Тихом океане развернулись так широко, что ни малейшего сравнения между тем, о чем только что была речь, т. е. нападениями на Соловки и Колу, и той драматической борьбой, которая разыгралась у берегов Камчатки, нет и быть не может. Проследим за этой драмой сначала в первом ее фазисе, обращаясь для этой цели не к русским, а к французским и английским источникам, потому что инициатива принадлежала тут, разумеется, союзному флоту. Одним из ценнейших документов являются воспоминания французского участника экспедиции, направленной против Петропавловска, Эдмонда де Айи (de Hailly). Эти воспоминания необычайно важны и прямо незаменимы вследствие правдивости и беспристрастия автора: никаких признаков обычного у французских офицеров-мемуаристов хвастовства, самопревозношения и клеветнических измышлений против неприятеля [9].

26 апреля 1854 г. близ перуанской гавани на Тихом океане Кальяо внезапно снялся с якоря и ушел по неизвестному направлению русский фрегат «Аврора», который за несколько дней до того пришел сюда. В бухте Кальяо находились в это время военные суда союзников, видевшие маневры «Авроры» перед выходом из бухты. Они еще не знали тогда, что случилось в Европе. Только 7 мая узнали они, что еще 23 марта Наполеон III и королева Виктория официально объявили России войну. Что было делать? Погнаться за «Авророй»? Но времени было упущено слишком много. «Началась эта долгая серия откладываний и проявлений нерешительности, которая должна была спустя несколько месяцев иметь такой гибельный исход»,— пишет де Айи. Только 17 мая два фрегата (один английский, другой французский), сопровождаемые двумя пароходами, вышли в Тихий океан с довольно слабой уже надеждой настигнуть и потопить «Аврору». Конечно, они ее не настигли, постояли у Маркизовых островов, а затем перешли к Сандвичевым островам, где и узнали, что за 18 дней до их прибытия тут побывал другой русский фрегат, «Двина». Догнать и потопить «Двину»? Опять не решились немедленно действовать, и только 25 июля покинули Сандвичевы острова и пошли к Камчатке. Задание было такое: захватить русские, как военные, так и торговые суда, причем

союзники льстили себя надеждой, что у Камчатки они овладеют большими торговыми кораблями Русско-американской компании. Эскадра направилась к городу Петропавловску; когда союзники уже подходили к этой гавани, у них были следующие силы: французские фрегаты «Форт» с 60 орудиями, «Эвридика» с 30 орудиями, «Облигадо» с 12 орудиями; у англичан: «Президент» с 50 орудиями, «Пик» с 46 орудиями, «Вираго» — пароход с 6 орудиями. Французской флотилией командовал адмирал Депуант, английской — адмирал Прайс. Так как адмирал Прайс имел старшинство по чину перед Депуантом, то он являлся главнокомандующим всей союзной эскадры, как только она окончательно конституировалась.

К месту назначения эскадра подходила при неблагоприятной погоде и очень медленно. Вперед, на разведку, был послан пароход «Вираго». Командир его доложил адмиралу Прайсу, что он, прикрывшись флагом Соединенных Штатов, прошел в Авачинскую бухту, видел там несколько судов, а также батареи на берегу и заметил, что вход в узкий пролив, соединяющий океан с этой бухтой, ничем не защищен, хотя ясно было, что русские спешно начали что-то делать, но, очевидно, слишком поздно хватились. Самый город Петропавловск находится на восточной стороне большой Авачинской бухты — в глубине губы, соединяющейся с Авачинской бухтой «горлом». Разведка показала также, что в этой губе стоят и фрегат «Аврора» с 44 пушками и «Двина» с 12 пушками. Гавань защищена тремя батареями, имеющими 3, 11 и 5 орудий. Таковы были первые сведения, полученные союзниками. Уже из этого стало ясно, что внезапным нападением тут ничего не сделаешь. Русские очень скоро заметили «Вираго» и выслали судно,— и командир «Вираго», не очень полагаясь на свой фальшивый американский флаг, поспешно развел пары и ушел. Следовательно, русские уже узнали о появлении неприятеля около их берегов и, значит, нужно было готовиться к борьбе.

4

Адмирал Василий Степанович Завойко, с 1849 г. бывший камчатским военным губернатором и командиром порта Петропавловска, на самом деле ничуть не был обманут командиром «Вираго», и ему вовсе не нужно было дожидаться визита этого «американского» парохода и его поспешного бегства, чтобы понять, что враг пришел. Неприятельскую эскадру на Камчатке ждали давно.

Уже в марте 1854 г. на Камчатке знали о близящемся разрыве — и закипела работа, воздвигались батареи. 2 июля

пришла «Аврора», ушедшая из Кальяо «на всякий случай», еще не зная об объявлении войны. Но вот пришел транспорт «Двина», который привез объявление войны и 300 солдат. «Вскоре после прихода „Двины“ были собраны в одно праздничное утро на площадь все команды. Прочитали им объявление войны, потом... приказ губернатора, который сам после этого увещевал всех сражаться до последней крайности; если же вражеская сила будет неодолима, то умереть, не думая об отступлении. Все выразили готовность скорее умереть, чем отступить» [10], пишет жена губернатора в своих воспоминаниях.

Приход «Двины» более чем удвоил силы обороны, потому что перед этим в распоряжении губернатора Завойко было всего 283 человека. Но 24 июля (5 августа) в порт, к величайшей радости гарнизона, прибыл вновь назначенный командующим военного губернаторства Камчатки капитан А. П. Арбузов с 400 солдат, присланных в подкрепление. Таким образом, у Завойко оказалось 983 солдата и еще 30 вооруженных лиц гражданской службы — в общем 1013 человек. Таковы показания Арбузова. Но в копии рукописного письма мичмана Николая Фесуна, посланного из Петропавловска 30 августа 1854 г., мы находим другую, гораздо меньшую цифру: «с небольшим 800 человек» [11]. Мичман Фесун ссылается при этом на копию строевого рапорта. По-видимому, приводимая им цифра точнее той, которую дает Арбузов, включивший, вероятно, в нее и часть вооруженных камчадалов.

Вечером 16 (28) августа с дальних маяков губернатору было дано знать, что на горизонте появилась эскадра. Затем 17 (29), после появления и внезапного бегства таинственного парохода под американским флагом, все сомнения рассеялись.

17 (29) августа неприятельская эскадра приблизилась к порту и открыла было огонь, но скоро умолкла. Атаки ждали на другой день, но совсем непредвиденное событие заставило отложить предприятие на день. Русские защитники Петропавловска не знали тогда, что вызвало эту задержку. Вот что случилось.

Командир союзной эскадры адмирал Прайс самолично ходил на «Вираго» осматривать губу и русские батареи. Осмотр произвел на него угнетающее впечатление. Окружающие впоследствии говорили, что он уже в пути от Маркизовых островов был сильно расстроен тем, что упустил «Аврору». Это огорчение еще увеличилось, когда на Сандвичевых островах он узнал, что упустил и «Двину». Теперь же, увидев и фрегат «Аврору» и транспорт «Двину» в полном вооружении, готовыми к бою в Петропавловской губе, он особенно тяжко переживал и сознавал последствия оплошности, в которой его могло обвинить адмиралтейство. Помимо этого обстоятель-

ства, после разведки адмирал Прайс удостоверился в том, что Петропавловск вооружен и защищен несравненно лучше, чем можно было ожидать.

Уже около 4 часов дня 17 (29) августа началась перестрелка между эскадрой, подошедшей к Петропавловску, и русскими батареями. Но наступали сумерки, решено было начать бомбардировку на другой день. Вечером собрался военный совет под председательством Прайса. Присутствовал французский адмирал Депуант и командиры всех судов союзной эскадры. Была выработана диспозиция.

На другой день, 18 (30) августа, в 11 часов утра, перед самым началом действий адмиралу Депуанту вдруг доложили, что произошло неожиданное несчастье: адмирал Прайс спокойно (как казалось) прогуливался утром по палубе с капитаном Бэрриджем, говоря о предстоящем сейчас сражении, затем пошел в каюту, и Берридж видел, как он вынул из ящика пистолет, приложил дуло к сердцу и выстрелил. Смерть последовала через несколько секунд. Это самоубийство, конечно, не могло не произвести самого удручающего впечатления и на английский и на французский экипажи. Было ясно, что Прайс покончил с собой, отчаявшись в надежде взять Петропавловск и захватить «Аврору» и «Двину», что только и могло загладить упомянутую оплошность. Так было истолковано многими матросами это трагическое происшествие. Высшее командование за смертью Прайса перешло к французскому адмиралу Депуанту. Диспозиция осталась в силе — и с утра 19 (31) Депуант приказал открыть огонь против русских батарей. Об этом дне есть свидетельство капитана Арбузова, того самого, который, как сказано, прибыл незадолго до событий на Камчатку, назначенный помощником губернатора, генерал-майора Завойко.

Арбузов, рассорившийся сначала с губернатором Завойко и отрешенный им от должности 18 (30) августа, поступил в тот же день волонтером на фрегат «Аврору» к капитану фрегата Изыльметьеву. В интереснейшем своем свидетельстве, во многом опровергающем первоначальный официальный отчет, Арбузов говорит, что неприятель начал обстрел двух батарей (№ 1 и № 2) и одновременно послал на гребных судах десант, который и занял батарею № 4, самую далекую от порта. Мичман Попов, командовавший на этой батарее, заклепал орудия и ушел, забрав порох и снаряды. Неприятель, недолго побыв на батарее, вернулся на свою эскадру. Русские батареи отстреливались и нанесли повреждения фрегату «Президент». Бомбардировка возобновилась с большой силой 20 августа (1 сентября), и русские батареи отвечали, тоже усиливая огонь. Арбузов, помирившись с

Завойко и опять получив команду, собрал своих людей и сказал им: «Теперь, друзья, я с вами, и клянусь Георгием, которого честно ношу четырнадцать лет, не осрамлю имени командира! Если же вы увидите во мне труса, то заколите меня штыком, а на убитого — плюйте!»

5

Обстоятельнее и лучше всего описан день 20 августа (1 сентября) не Арбузовым, действовавшим на берегу, а мичманом Николаем Фесуном, находившимся на фрегате «Аврора». Вот что рассказывает он в своем письме, посланном из Петропавловска спустя несколько дней после событий [12].

«Всю ночь неприятель приготовлялся к какому-то движению, жег множество огней, фалшфеер, пускал ракеты; шлюпки ходили от судна к судну, делали промер, так что у нас тоже было не совсем спокойно и несколько раз становились по орудиям. Наконец наступил день 20 августа, день нашего первого сражения, а следовательно, достопамятный в жизни каждого из нас. В 6 часов заметили на эскадре приготовления к съемке с якоря, в 8 пароход взял с каждой из сторон по адмиральскому фрегату, а третий сзади побуксировал их по направлению к Сигнальной батарее. Маневр этот увеличил веселость наших матросов, которые, смеясь и выражаясь по-своему, говорили, что англичанин (пароход — *Е. Т.*) на французский манер кадриль выплясывает, и в самом деле, масса 4-х судов, сплоченных вместе, была презанимательна. В 9 часов, приблизясь к Сигнальной батарее на пушечный выстрел, пароход отдал буксир, и фрегаты стали на ширине, в кильватере один другого; в 5 минут 10-го началось сражение выстрелом с батареи № 4. Все неприятельские суда отвечали ядрами и бомбами, производя огонь весьма быстро. Батареи № 1, 2, 3 и 4 действовали не торопясь и рассчитанно меткими выстрелами. Батарея № 1, находившаяся на Сигнальном мысу и ближайшая к неприятелю, выдерживала самое жестокое нападение; на ней находился губернатор, и каждый из ее выстрелов шел в дело: ни одно ядро не пролетало мимо. Батарея Красного Яра, имеющая всего 3 орудия, в продолжение $1^1/_2$ часов выдерживала непрерывный огонь фрегата и отвечала на него так, что все мы были в восхищении. Самые жаркие, самые усиленные действия были ведены против этих 2-х батарей, так что не ошибаясь можно сказать, что целые полтора часа 8 орудий выдерживали огонь 80, представляемых левыми бортами 3-х фрегатов, батарее на коих хотя и доставалось в это время, но по положению своему она была едва на расстоянии дальнего пушечного выстрела. Как и должно было предвидеть, все это не могло долго длиться, несмотря на геро-

ические усилия команд, несмотря на примеры бесстрашия, являемые командирами (так, лейтенант Гаврилов, раненный в голову и в ногу, не оставлял своего места и продолжал ободрять людей). Несмотря на все это, должно было оставить орудия. Платформы были засыпаны землей выше колес; станки, тали и брони перебиты. Ворочать и действовать в таком положении не было возможности, тем более что неприятель уже свозил десант по направлению к Красному Яру: командир батареи на этом месте при 30 человеках прислуги и при повреждении всех орудий, не находя возможным защищать вверенный ему пост против 600 человек неприятельского десанта, следуя приказанию, отданному на этот случай, заклепал орудия и отступил к 1-й стрелковой партии мичмана Михайлова, с которой и примкнул к батарее № 2. Между тем занимательная сцена готовилась впереди. Французы, вскочив первыми на Красный Яр, битком наполнили батарею и при восторженных кликах подняли французский флаг; только что он развился, как бомба с английского парохода, ударясь в самую середину массы, произвела в ней страшное замешательство. Прежде чем бедные французы успели опомниться от счастливой для нас ошибки своих милых союзников, транспорт («Двина» — *Е. Т.*) и фрегат («Аврора» — *Е. Т.*) открыли по ним меткий батальный огонь. Все это, соединенное с движением подоспевших с фрегата партий и мичмана Фесуна и от Порта 2-й стрелковой партии, поручика Губарева, которые, соединившись с партиями мичманов Михайлова и Попова, при криках „ура" стремительно бросились вперед,— все это сделало то, что, несмотря на свою многочисленность, несмотря на то, что он был по крайней мере вчетверо сильнее всех наших соединенных партий, неприятель начал отступление бегом и с такою быстротою, что, прежде чем мы подоспели к занятой им батарее, он уже был в шлюпках и вне выстрела, так что, несмотря на самое пламенное желание, в этот раз не удалось его попотчевать даже ружейными выстрелами. Крики „ура" всего гарнизона были наградой за наше стремительное наступление, общий привет и благодарность губернатора встретили нас при входе в город, а между тем и неприятель не зевал, а, подавшись вперед... открыл по Кошке такой огонь, что в продолжение получаса делал более нежели 250 выстрелов. Командир этой батареи — лейтенант князь Дмитрий Петрович Максутов был изумительно хладнокровен. Так как неприятель, имея на каждой из сторон своих фрегатов по две 2-пудовые бомбинские пушки, стрелял большею частью из них, то его ядра все долетали до батареи и, ударяясь в фашины, не причиняли слишком большого вреда; у нас же на батарее пушки были 36-фунтовые, следовательно, стрелять из них можно было только тогда, когда неприятель

увлекаясь подтягивался, чтобы действовать всеми орудиями батальным огнем. Князь пользовался этим как нельзя лучше, не горячился, не тратил даром пороха, а стрелял только тогда, когда по расстоянию мог судить, что его ядра не потеряны. Прекрасную картину представляла батарея № 2. Долго останется она в памяти у всех бывших в сражении 20 августа. 3 огромных фрегата, построившись в линию с левым бортом, обращенные к Кошке, но таким образом, что из-за Сигнального мыса ядра нашего фрегата не могли вредить им, эти три фрегата производят неумолкаемый огонь, ядра бороздят бруствер во всех направлениях, бомбы разрываются над батареей, но защитники его холодны и молчаливы; куря спокойно трубки, весело балагуря, они не обращают внимания на сотни смертей, носящихся над их головами, они выжидают своего времени. Но вот раздается звонкий голос командира: вторая, третья; взвился дымок, и можно быть уверенным, что ядра не пролетели мимо. Не обходилось и без потерь; от времени до времени появлялись окровавленные носилки, все творили знамение креста, несли храброго воина, верно исполнившего свой долг. В 1/2 12-го пароход, желая попытать счастья, высунулся из-за мыса, но, встреченный батальным огнем фрегата и Кошечной батареи, ту же минуту задним ходом пошел назад; в 12, взяв несколько десантных шлюпок, он побуксировал их к озеру, корвет сделал движение по тому же направлению. На перешейке не зевали, и лейтенант Ангудинов с прапорщиком Можайским (за отсутствием князя Александра Максутова [13], отделившегося в стрелки), находившиеся на батарее, начали действовать так удачно, что ядро попало в пароход, а другое потопило шлюпку невдалеке от корвета. Пароход и корвет удовольствовались этим и отошли из-под выстрелов. Между тем неприятельские фрегаты делали свое дело, и огонь по батарее № 2 не умолкал, но становился жарче и жарче. В 1/2 4-го капитан, думая, что командир ее имеет недостаток в порохе, приказал мне на катере перевезти к нему назначенное число картузов; приказание было исполнено, порох принят на батарее, хотя оказалось, что она еще не совсем обеднела, а имеет по 40 зарядов на орудие. Пальба прекратилась около 6 часов, так что, смело можно сказать, Кошечная батарея в продолжение 9 часов выдерживала огонь с лишком 80 орудий. Редкий пример в истории войн прошедших, редкий тем более, что, несмотря на весь этот ураган ядер, батарея устояла и, исправившись в ночь, в следующее утро снова готова была вступить в бой. Командир батареи лейтенант князь Дмитрий Максутов до того приучил своих людей к хладнокровию, что, когда неприятель действовал только бомбами и нашим из 36-фунтовых нельзя было отвечать, кантонисты-мальчики, от 12 до 14 лет, служившие картузниками, чтобы убить

время, спускали кораблики. И это делалось под бомбами... осколками которых было засыпано все прибрежье. Одному из этих мальчиков-воинов оторвало руку; когда его принесли на перевязочное место и начали резать обрывки мяса, он немного сморщился, но на вопрос доктора — „Что, очень больно?“ — отвечал сквозь слезы: „Нет, это за царя“. Ему, благодаря бога, теперь лучше, и, говорят, он будет жив. К вечеру пароход попытался еще раз выйти из-за мыса, но возбудил только смех фрегатских комендоров, которые, ободряемые примером своих батарейных командиров, ожидали его появления с какою-то особенною радостью, говоря: „Иди, иди, дружок, авось удовольствуешься так, что больше не захочешь“. И действительно, только что показался нос жданного гостя, раздался батальный огонь фрегата, засвистели ядра, и в ту же минуту все кончилось, и пароход полным ходом уходил назад. В ¼ 7-го сражение было прекращено, неприятель отошел вне выстрела, у нас ударили отбой, люди получили время отдыха, а мы — мы стали готовиться к завтрему, рассчитывая, что, бомбардируя целый день Кошку, неприятель, наконец, доберется и до нас и что завтра ему всего удобнее сделать это при повреждениях батарей Сигнальной и Красного Яра. В 7 часов губернатор, приехав на фрегат, объявил нам, что, по его мнению, теперь должно ожидать решительного нападения на „Аврору“, что он надеется на то, что мы постоим за себя, на что получил единодушный ответ: умрем, а не сдадимся!»

6

21 августа (2 сентября) было затишье; в Тарьинской губе англичане и французы хоронили адмирала Прайса. Здесь они встретили двух американских матросов с судна, заходившего в Петропавловск. Матросы рубили здесь дрова. Эти-то американцы и указали англичанам на существование тропинки, по которой можно провести десант к Петропавловску [14].

22 и 23 августа неприятельские орудия молчали. Шла какая-то работа на союзной эскадре, исправляли повреждения. Но 23-го (4 сентября) началось большое оживление у неприятеля, и «все заставляло предполагать, что назавтра неприятель предпримет что-нибудь решительное»,— пишет Николай Фесун, который в цитированной уже нами рукописи дает прекрасное описание также и заключительного, решающего сражения, происшедшего 24 августа (5 сентября) 1854 г.

«С своей стороны мы были совершенно готовы и, решив раз навсегда умирать, а не отступить ни шагу, ждали сражения как средства покончить дело разом. Вечер 23-го числа был прекрасен — такой, как редко бывает в Камчатке. Офицеры провели его в разговорах об отечестве, воспоминаниях о далеком

Петербурге, о родных, о близких. Стрелковые партии чистили ружья и учились драться на штыках; все же вообще были спокойны, так спокойны, что, видя эти веселые физиономии, этих видных, полных здоровья и силы людей, трудно было верить, что многие из них готовятся завтра на смерть, трудно было верить, что многие, многие из них проводят свой последний вечер.

Рассветало. Сквозь туман серого камчатского утра можно было видеть, что пароход начал движение; в 5 часов у нас ударили тревогу, в 1/2 7-го туман прочистился, и пароход, взяв 2 адмиральских фрегата на буксир, повел их по направлению к перешеечной батарее, состоящей под командою лейтенанта князя Александра Петровича Максутова и на которой, как я уже говорил, было всего 5 орудий. Подойдя на пушечный выстрел, французский 60-пушечный фрегат La Forte отдал буксир и став на шпринг, в расстоянии не больше 4 1/2 кабельтовых, открыл жестокий батальный огонь, такой огонь, что весь перешеек совершенно изрыт, изрыт до того, что не было аршина земли, куда не попало бы ядро. Князь отвечал сначала с успехом, второе ядро его перебило гафель, третье фок-рею, следующие крюйс-стеньгу, фоковые ванты и еще много других повреждений, не говоря о корпусе судна, куда всякое попавшее ядро делало страшный вред. Но батарея была земляная, открытая, имела всего 5 орудий и вот уже более получаса выдерживала огонь 30 пушек калибра, ее превосходящего. Станки перебиты, платформы засыпаны землей, обломками; одно орудие с оторванным дулом, три других не могут действовать; более половины прислуги ранены и убиты; остается одно — одна пушка, слабый остаток всей батареи; ее наводит сам князь, стреляет, и большой катер с неприятельским десантом идет ко дну; крики отчаяния несутся с судов. Французский фрегат, мстя за своих, палит целым бортом; ураган ядер и бомб носится над батареей, она вся в дыму и обломках, но ее геройский защитник не теряет присутствия духа. Сам заряжает орудие, сам наводит его, но здесь, здесь судьба положила конец его подвигам, и при повторных криках Vivat с неприятельских судов он падает с оторванной рукой. Секунда общего онемения. Но вот унесли князя, и капитан с фрегата посылает меня заменить его. Подхожу к оставшемуся орудию, прислуга его идет за мной, но и неприятель не зевал, он делает залп за залпом, в несколько секунд оно подбито, некоторые ранены обломками, и все мы в полном смысле слова осыпаны землей. Между тем английский фрегат, под флагом адмирала, стал против батареи капитана-лейтенанта Королева и, пользуясь всем преимуществом своей артиллерии, начал громить ее неумолкаемым огнем. Пароход помогал фрегату, и шлюпки с десантом со всей эскадры спешили

к нему. Но вот и эта батарея приведена в неспособность действовать и 22 неприятельские шлюпки, полные народом, устремились к берегу. Пароход, подойдя на картечный выстрел, очищает его, стреляя картечью через голову своих. 2-я стрелковая партия занимает гору; 1-я — мичмана Михайлова — сосредоточивается у порохового погреба при Озерной батарее, на помощь к ней спешит 2-я стрелковая партия с фрегата под командой лейтенанта Ангудинова, в ней всего 31 человек. Ваше превосходительство были в Камчатке, а следовательно, знаете Никольского гору: имея большую высоту, все тропинки на нее чрезвычайно круты, в особенности же спуски к озеру. Командир 2-й стрелковой портовой партии, поручик Губарев, как уже говорил я, занимал возвышенность. Видя, что неприятель, выскочив на берег и бросившись по низменной дороге, начал строиться на возвышении против батареи на озере, он, Губарев, спустился с высот, рассчитывая, что его помощь необходима при малочисленности наших отрядов, и не замечая, что с другой стороны вторая половина неприятельского десанта, несмотря на крутизну тропинок, бросилась в гору. Положение губернатора было более нежели критическое. Зашед в гору, неприятель рассыпался по всему ее протяжению до перешеечной батареи. Другая часть его уже выстраивалась против батареи на озере и осыпала всю лощину градом пуль и ручных гранат. Отдав лейтенанту Ангудинову и мичману Михайлову решительное приказание „сбить англичан с горы", генерал-майор Завойко послал на „Аврору" с просьбой к капитану отрядить еще 2 партии для прорвания неприятельской цепи, распространившейся по возвышенностям. Оставив при себе всего 30 человек резерва, он двинул 3-й портовый отряд на высоты с тою же самою целью, и так как строившийся против Озерной батареи неприятель представлял довольно большие массы, то командиру этой батареи и отдано приказание стрелять картечью. Исполнение этого вместе с действием конной пушки произвело смешение в неприятельских рядах и отбросило его в гору, с другой стороны которой бесстрашные исполнители смелой воли лейтенант Ангудинов и мичман Михайлов, рассыпав свои отряды цепью и соблюдая равнение в парах, как на ученье, подымались наверх, несмотря на неумолкаемый ружейный огонь засевшего там неприятеля. Капитан еще до получения приказания, слыша на горе выстрелы, велел свезти на берег 30 человек 1-й стрелковой партии фрегата, которую и дал мне в командование с поручением — взобравшись на гору, ударить на десант с тылу в штыки. Подойдя к неприятелю на ружейный выстрел, я рассыпал отряд в стрелки и начал действовать; но поднявшись выше в гору, слыша у себя на правом фланге „ура" партии прапорщика Жилкина, заметив значительное скопление фран-

цузов в лощинке, наконец желая покончить дело разом, я скомандовал „вперед в штыки“, что, будучи исполнено с быстротою и стремительностью, обратило неприятеля в бегство. Между тем и в это же время наши отряды торжествовали на всех пунктах, и лейтенант Жилкин с 3-й стрелковой партиею и лейтенант Скандролов с 4-й гнали по гребню ту часть, которая была у меня на левом фланге, и стреляли по фрегату. Бегство врагов — самое беспорядочное, и, гонимые каким-то особенным паническим страхом, везде преследуемые штыками наших лихих матросов, они бросались с обрывов сажень 60 или 70, бросались целыми толпами, так что изуродованные трупы их едва поспевали уносить в шлюпки. Окончательное действие сражения по всему протяжению горы было дело на штыках. Лейтенант Ангудинов, мичман Михайлов, поручик Губарев и вообще все начальники стрелковых партий получили благодарность губернатора за то, что, по его словам, совершили беспримерное дело — отражение французско-английского десанта, вчетверо сильнейшего. И в самом деле, всякому военному покажется невероятным, что маленькие отряды в 30 и 40 человек, поднимаясь на высоты под самым жестоким ружейным огнем, осыпаемые ручными гранатами, успели сбить, сбросить и окончательно поразить тех англичан и французов, которые так славились своим умением делать высадки. Нужно было видеть маневры лейтенанта Ангудинова, нужно было видеть мичмана Михайлова, нужно было видеть, как они вели свою горсть людей, чтобы понять ту степень бесстрашия, до которого может достигнуть русский офицер, одушевленный прямым исполнением своего долга. Проходя со своею партией мимо князя Александра Максутова, которого несли в лазарет, лейтенант Ангудинов, считая его убитым, обращаясь к своим, сказал: „Ребята, смотрите как нужно умирать герою“. И эти люди, идущие на смерть, приветствовали примерную смерть другого восторженными оглушительными „ура“, надеясь, так как и он, заслужить венец воина, павшего за отечество. Энтузиазму, одушевлению всех вообще не было пределов; один кидался на четверых, и все держали себя так, что поведение их превосходит похвалы. Но обращаюсь к рассказу. Сбросив неприятеля с горы, все стрелковые партии, усевшись на обрывах, поражали его ружейным огнем, когда он садился в шлюпки, так что, несмотря на 5 гребных судов, шедших на помощь с корвета, все было кончено, и нападение не повторилось. Заметив, что стрелки наши раскинуты на высотах, бриг подошел к берегу на расстоянии 2-х кабельтовых и стал стрелять по нас ядрами и картечью, но последние не долетая, а первые перелетая не причинили людям никакого вреда. Мы уже не оставались в бездействии и при выгодах своего положения могли бить неприятеля на выбор,

пока он садился и даже когда он уже сидел в шлюпках. Страшное зрелище было перед глазами: по грудь, по подбородок в воде французы и англичане спешили к своим катерам и баркасам, таща на плечах раненых и убитых; пули свистали градом, означая свои следы новыми жертвами, так что мы видели английский баркас сначала битком набитый народом, а отваливший с 8 гребцами; все остальное переранено, перебито и лежало грудами, издавая страшные, раздирающие душу стоны. Французский 14-весельный катер был еще несчастнее и погреб назад всего при 5 гребцах. Но при всем этом и при всей беспорядочности отступления удивительно упрямство, с каким эти люди старались уносить убитых. Убьют одного — двое являются взять его; их убьют — являются еще четверо; просто непостижимо. Наконец, все кончилось, и провожаемые повторными ружейными залпами все суда отвалили от берега и, пристав к пароходу, на буксире его были отведены вне выстрелов; фрегаты и бриг последовали этому движению, так что в $^1/_2$ 1-го ни один из них не был ближе 15 кабельтовых расстояния.

В час ударили отбой, и, спустясь с гор, все мы собрались к пороховому погребу, где, опустясь на колени вместе с губернатором, благодарили бога за дарованную им славную победу, принесли убитых и раненых — наших и врагов, и что же: между убитыми неприятельскими офицерами найден начальник всего десанта,— так по крайней мере должно полагать по оказавшимся при нем бумагам. Сведения, заимствованные из бумаг этих, показывают число десанта в 676 человек, не считая гребцов в шлюпках и подкреплений, с которыми всех на берегу было с лишком 900 человек. Все наши стрелковые партии, бывшие в деле, в соединении не представляли более 300, так что победу должно приписать особенной милости божией и тому увлечению, той примерной храбрости, с которою наша лихая команда действовала в сражении на штыках. Трофеями был английский флаг, 7 офицерских сабель и множество ружей и холодного оружия. Много было оказано подвигов личной, примерной храбрости, многое заслуживает быть сказанным, но пределы письма и время, оставшееся до отъезда курьера, не дозволяют мне этого, и я заключаю свои описания, сказав, что неприятель, исправив повреждения, 27 августа к 8 часам снялся с якоря и, поставив все паруса, ушел в море. Признаться, нам долго не хотелось верить: мы боялись, не обманывают ли нас глаза наши, но это было так. Порт освобожден от блокады, город спасен, бог помог нам, и мы победили».

7

Известие о победе русского оружия на берегах Тихого океана пришло в Петербург (и оттуда распространилось в России)

лишь 30 ноября. Вот в каком виде Дмитрий Милютин передает это сообщение: «Около того же времени, т. е. в конце ноября, получено донесение от камчатского военного губернатора, генерал-майора Завойко, о попытках наших врагов нанести нам удар и на Дальнем Востоке. Известие о разрыве с западными державами дошло до Камчатки только в половине июля, а 17-го августа уже появилась в Авачинской губе англо-французская эскадра из шести судов. На другой день неприятельские суда открыли огонь по городу Петропавловску и по двум стоявшим в порту военным судам. Наскоро построенные для защиты города батареи наши, вооруженные частью морскими орудиями, отвечали с успехом. 20-го числа неприятель пытался произвести высадку на берег и даже успел овладеть одной из батарей, но нападение это было отбито, и неприятельские суда отошли от берега. Через три дня, 24-го августа, бой возобновился с бо́льшим еще упорством, но все нападения союзников были отражены малочисленною горстью моряков и местною военною командой. Неприятель понес чувствительную потерю, и некоторые из его судов потерпели повреждения. С нашей стороны число убитых и раненых простиралось до 115 человек. Этим неудачным нападением ограничились предприятия союзников в Тихом океане. Известие, полученное в Гатчине 30 ноября, об успешном отражении неприятеля на самой отдаленной окраине империи, на пункте, считавшемся почти беззащитным, было как бы мгновенным слабым проблеском на тогдашнем мрачном горизонте» [15].

Впечатление в Лондоне и Париже от этого Петропавловского дела было убийственное. «У нас было слишком много жертв: третья часть наших людей пострадала, а цифра убитых уж больше 50, в ближайшие дни должна была еще увеличиться,— с горечью говорит участник боев у Петропавловска офицер де Айи.— Пусть нам простят, что мы так настаиваем на этих деталях. Молчание, которое до сих пор (а пишет он в 1858 г.— *Е. Т.*) хранят обо всем, что касается этого печального дня 4 сентября 1854 г., является более чем незаслуженным забвением,— это поистине несправедливость, потому что общественное мнение, всегда торопящееся преувеличивать то, чего оно не знает, имело тенденцию обращать в разгром, позорный для чести флага, то, что было лишь поражением, которое явилось результатом невыгодных условий, так неосторожно принятых. Офицеры и матросы достаточно дорого заплатили своей кровью за право ждать, чтобы их не третировали с этой непростительной суровостью...» [16]

Во Франции император был недоволен. К потерям (несравненно более тяжелым) в этой войне против России французский император и его министры привыкли. Но к пораже-

ниям не привыкли, и успех, хотя бы минимальный, выкупал все. А тут налицо было самое настоящее поражение, которое можно было велеть замалчивать (и это было сделано, конечно), но отрицать его было бы абсурдом. Еще хуже было положение командиров английских фрегатов. Недаром адмирал Прайс предпочел уйти в могилу на берегу Тарьинской губы, лишь бы не объясняться с лордами адмиралтейства, перед ареопагом которых он должен был бы предстать. И как ни плохо было французским офицерам (не говоря уже об адмирале Депуанте), но английским приходилось хуже. «Мы умеем извинять неудачу и помнить обстоятельства, которые ее вызвали,— говорит де Айи, забывая то, что сам только что говорил,— тогда как у наших союзников потерпеть неудачу — это не несчастье, это пятно, которое желательно изгладить из книги истории; это даже больше того, это вина, я даже скажу — почти преступление, ответственность за которое несправедливо ложится без разбора на всех».

В Англии, в самом деле, не только чернили память покончившего с собой адмирала Прайса, но лишили каких бы то ни было знаков отличия за эту тяжелую камчатскую кампанию всех офицеров, в ней участвовавших. В прессе о Петропавловском деле или не говорили вовсе, или говорили с плохо скрываемым раздражением или ничем не прикрытым пренебрежением. Английскую прессу раздражало даже это показание де Айи, единственное обстоятельное свидетельство участника экспедиции: она постаралась его по мере сил замолчать. Но у нас нет причин это делать,— и только отсутствием должного интереса к выдающимся событиям русской истории можно объяснить, что небольшое, но незаменимое показание де Айи осталось совсем вне поля зрения историографии. Этот враг желал быть справедливым к тем, кто оказался победителем в неравной борьбе,— и мы закончим эту главу несколькими словами, взятыми с последней страницы его воспоминаний: «Правда, русские могли все потерять в завязавшейся борьбе, а это чувство необыкновенно усиливает активность отдельного человека. Но как восхитительно их уменье пользоваться временем! От Кронштадта до Камчатки — и едва несколько дней отдыха: экипаж прибывает, наполовину уменьшенный вследствие цынги и по причине усталости от этого пробега через пространство двух океанов. Ничего не значит, „Аврора" не в открытом море может надеяться нам противустоять, и вот принимаются за работу, чтобы защитить порт, где она укрылась, оборонительными укреплениями, забытыми в долгие годы мира. С конца июля она уже готова нас принять...» Де Айи говорит о Нельсоне, который умел так прекрасно ценить время и значение времени для успеха, особенно на море, и прибав-

ляет, назвав Нельсона: «Может показаться странным рядом с этими славными воспоминаниями приводить неизвестные имена адмирала Завойко и командира „Авроры" капитана Изыльметьева. Все относительно». Автор вспоминает, как еще недавно существует русский флот, и думает, что именно это обстоятельство объясняет сравнительную немногочисленность, как он почему-то думает, деяний этого флота, и кончает, снова напоминая о Завойко и Изыльметьеве: «Ожидая союзную эскадру на самых далеких пределах Сибири, сопротивляясь ее атакам на этом берегу, где никогда еще не гремела европейская пушка, эти два офицера, которых мы только что назвали, доказали, что русские экипажи умеют сражаться — и сражаться счастливо. Они имеют право ждать, что их имена будут сохранены в летописях их флота».

8

По подсчетам Фесуна (в его критическом разборе статьи Айи, фамилию которого он пишет «Гайльи», помещенной в № 1 «Морского сборника» за 1860 г.), с русской стороны в обороне участвовало 57 орудий и гарнизон из 921 человека.

Полемизируя с Фесуном, Арбузов настаивает, что в гарнизоне было 400, а не 300 солдат.

Капитан Арбузов полагает, что неприятель был введен в заблуждение китоловами, которых встретил на Сандвичевых островах; эти китоловы, зимовавшие в Петропавловске, когда весь гарнизон состоял всего из 250 человек, и сообщили эту цифру адмиралу Прайсу, который, подходя к Камчатке, не знал, что встретит там отпор со стороны гарнизона, очень усиленного, да еще от экипажей «Авроры» и «Двины» [17]. Адмирал Депуант впоследствии утверждал, что он предвидел полнейшую неудачу высадки и боя на берегу 24 августа, но — согласился. Здесь он и погиб. Участник событий, оставивший, как сказано, наиболее полную картину их, мичман (впоследствии лейтенант) Фесун справедливо пишет о Депуанте: «Тут опять в полном свете является слабость характера французского главнокомандующего. Прослужив десятки лет на море, обладая несомненной опытностью в морском деле и будучи вполне убежденным в неблагоразумии атаки, основанной на показаниях двух неизвестных бродяг, адмирал в военном совете ясно излагает все это, пересчитывает все неудобства десанта и потом, когда, наконец, ему приходится сказать свое последнее слово, он вдруг увлекается большинством, дает согласие на нападение, в неудаче которого не сомневается, и таким образом принимает на себя тяжелую ответственность! Весь неуспех дела 24 августа приписывается

ему как главному начальнику, обвинения и упреки сыплются на него градом, впереди, по возвращении в отечество, перед ним является мрачная перспектива военного суда, общественное мнение и там клеймит позором его имя, и конечно бедный старик, уже ослабевший в борьбе с многочисленными препятствиями, не выдерживает новых и жестоких ударов, через несколько месяцев... он оканчивает жизнь — не самоубийством, как его товарищ Прайс,— нет, он умирает ужасной и медленной смертью от истощения физических и душевных сил, умирает, прислушиваясь к ропоту ближайших подчиненных, не видя перед собой ничего лучшего, и уже на пути к Франции, к той Франции, которой он служил десятки лет, и до похода на Камчатку вполне безукоризненно... Нельзя не согласиться, что странное стечение обстоятельств преследовало все действия союзников на Восточном океане. Один адмирал застреливается... другой умирает, подавленный упреками собственной совести, и не вынеся мысли о последствиях своих ошибок»[18].

Больше в эту войну Петропавловску-на-Камчатке не суждено было играть какой бы то ни было военной роли.

Решено было не ждать появления в предстоящем 1855 г. неприятельской эскадры и эвакуировать население в глубь страны, а также разоружить батареи на берегу.

«В начале марта (1855 г.— *Е. Т.*) прибыли две почты, и с ними мы получили русские и иностранные газеты, из которых увидели, что отбитое нападение англо-французов на Петропавловский порт общественное мнение Англии и Франции расценивало как оскорбление и требовало, чтобы обе эти державы приняли энергичные меры для уничтожения Петропавловска, а главное, наших судов, находящихся в Восточном океане»,— читаем в посмертных записках адмирала Невельского[19].

«Как ни блестящи были подвиги защитников Петропавловска, но за недостатком продовольствия их положение в случае войны на Камчатке представлялось безвыходным»[20]. Это мнение Невельского было признано безусловно правильным. Тогда же решено было эвакуировать город, снять батареи и уходить в глубь страны: можно было ждать нового появления неприятеля в 1855 г.

Эвакуация города и полное разоружение батарей было проведено весной. Часть населения отбыла в Николаевск; часть расположилась в поселках в глубине полуострова. Еще 29 декабря 1854 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев «весьма серьезным» отношением за № 95 приказал камчатскому военному губернатору оставить Петропавловск и перенести свою материальную часть, а также перевести всю морскую команду и сухопутный гарнизон в Николаевск-на-Амуре. Это предписание было получено в Петропавловске

3 марта 1855 г. и уже к 28 марта было приведено в исполнение. 5 апреля 1855 г. фрегат «Аврора», корвет «Оливуца» и четыре транспорта, забрав грузы, команды и часть жителей, вышли в море и прибыли 1 мая в де-Кастри, откуда и отправились впоследствии дальше, в Николаевск [21].

15 (27) мая 1855 г. неприятельская эскадра в самом деле вошла в залив де-Кастри и обстреляла берег. 19 (31) мая в Авачинскую бухту вошло 12 больших военных судов. Они убедились в том, что в городе Петропавловске и на батареях никого нет, на всякий случай бомбардировали и город без жителей, и батареи без пушек и вскоре ушли [22].

Но никакого военного значения это происшествие в 1855 г. уже не имело, конечно, и прошло как в России, так и в Европе совершенно незамеченным.

Скажем в заключение, что в английской, германской и французской исторической литературе никогда не было разногласий по вопросу о нападении союзников в 1854 г. на Петропавловск, и, начиная с первой обстоятельной книги (Равенстейна) о русских на Амуре, считается признанным фактом, что все шансы на победу были на стороне союзников, а победу одержали русские [23].



Глава IX

ВЕРХОВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ И ЗАЩИТНИКИ СЕВАСТОПОЛЯ. МОРЯКИ И СОЛДАТЫ НА ВЫЛАЗКАХ

(Зима 1854/55 г.)

1

Приближалась зима... И союзники и русские не собирались после Инкермана вновь померяться силами в ближайшем будущем. В осажденном городе постепенно устанавливался «спокойный» быт, поскольку можно употреблять это выражение, не очень точно и не очень кстати, говоря о положении Севастополя. «В Севастополе эти дни тихо и покойно; купцы отворили магазины, приехали сюда некоторые из жен флотских и армейских офицеров. А солдатских жен сколько приходит! Увидятся с мужьями и опять назад идут. Меня трогает эта привязанность в простолюдинах,— ведь бог знает, откуда тащатся пешком»,— так писал севастопольский офицер спустя две недели с лишком после Инкермана [1]. Главнокомандующий, очень пессимистично смотревший на конечную участь Севастополя, все-таки не решался еще признать *непосредственную* опасность. «Севастополь держится, мой дорогой князь, и будет держаться, пока неприятель не утвердится прочно на бастионе № 4... *и пока у нас будет порох»,*— писал Меншиков князю Долгорукову 3 (15) ноября 1854 г., подчеркивая последние слова. Положение критическое: «Мы почти израсходовали все, что к нам было доставлено до настоящего времени, и нам остается только получить 1200 пудов (пороха — *Е. Т.*) из Новочеркасска, которые будут здесь только через восемь дней, и четыре тысячи пудов из Киева, которые *могут прибыть слишком поздно».* Другими словами, князь Меншиков подумывает уже о сдаче Севастополя, так как подчеркивает и эти слова. «Я не имею в виду никакой другой присылки». Меншиков в большом затруднении. Он явно побаивается матросов. Как им сказать о готовящейся сдаче города? «В Севастополе я не могу сделать никакого распоряжения об уничтожении материала до последней минуты, потому что сейчас же обнаружится упадок духа среди

матросов, которые в защите этой крепости усматривают защиту своего рода их собственности и собственности флота» [2]. Дух среди матросов не падал, хотя об их одежде на зиму никто в интендантстве вовремя не позаботился, а погода стояла на редкость для Крыма холодная. «Замечено, что некоторые французские войска уже ходят в полушубках, а между тем у наших молодцов ни у кого нет. Погода же стоит ненастная и довольно прохладная, только изредка бывают солнечные дни. Князь Меншиков поговаривал о полушубках, но между тем ничего еще не решено. Казалось бы, они необходимы, тем более что поносы здесь весьма часты, хотя холера, благодаря бога, не сильна»,— пишет Николаю Михаил Николаевич 12 ноября 1854 г. [3] «Между нами будь сказано: и хлебушка подчас — так, в обрез, а может и хуже. Чур, об этом никому. Но солдатики — чудо. Умолчу о некоторых старших, бог им судья»,— пишет 16 (28) декабря генерал Семякин с бивуака на Северной стороне Севастополя. В том же письме он поясняет, каково вели себя эти «старшие»,— и прежде всего, конечно, Меншиков. Укрепления строились не так, как строятся крепостные шанцы и бастионы, а так, как строятся баррикады при внезапных выступлениях: «...в Севастополе 8 бастионов, и какие лихие, построены под ядрами и чуть ли не из молодецких русских, богатырских *грудей*... и неприятельских ядер. Все тут употреблено, и мешок, и куль, и боченок от пороха, и тур, и корабельная цистерна, и фашина, и бог знает каких снадобьев не отыщешь — а дело слажено, сделано и стоит грозно» [4]. Дождливая крымская осень казалась союзникам чуть ли не полярной стужей. У них свирепствовали болезни, лазареты были переполнены. «Пленные и беглые говорят, что их кормят довольно хорошо, но что они терпят от холода и болезней; дожди у нас беспрерывные, поэтому в траншеях должна быть ужасная грязь, и работы весьма трудны; этим (sic! — *Е. Т.*) главное жалуются пленные»,— пишет 21 ноября 1854 г. вел. кн. Михаил вел. княгине Екатерине Михайловне [5]. Хуже всего в союзном лагере приходилось, конечно, туркам. Турки были послушными, безропотными людьми, вооружение их было плохо (лучшие войска остались на Дунае), и, главное, командиры никуда не годились. Поэтому турок использовали, навьючивая их тяжелой кладью, бомбами и ядрами, которыми они и снабжали днем и ночью батареи союзников, и провиантом и всякими материалами, которые они на собственной спине переносили из Камышевой бухты во французский лагерь, из Балаклавы в английский лагерь, с кораблей, приходивших к берегу Крыма из Англии и Франции. Зимой, на снегу, эти бесконечные, непрерывные вереницы навьюченных турок казались на снежном фоне «длинной черной змеей», говорят нам очевидцы [6].

Камышевая бухта и Балаклава снабжали французов и англичан не только всем, что посылали в Крым оба правительства и что выгружалось с казенных транспортов. Около обеих бухт, в наскоро выстроенных избах и шалашах, вскоре завелись лавки купцов из Марселя, из Константинополя, из Варны и возникли целые торговые поселки. Купцы делали золотые дела во время этой осады. Физический труд был нипочем, даровой, потому что все тяжелые работы и по лагерю и по выгрузке товаров и т. д. лежали на турецких солдатах. «Турок употребляют как вьючных мулов и для зарытия падали»,— показывали пленные французы. Били турок и арабов палками за малейшую вину. «Бельназем Абделла из Алжира... оборван, без белья, без обуви, ноги и руки опухли от холода. Повторяет то, на что жалуются все до сих пор перебежавшие арабы: работать заставляют до изнурения, а палок раздают больше, чем хлеба» [7]. Случайное обстоятельство внесло в это время большую сумятицу в лагерь осаждающих и очень приободрило русских как в Севастополе, так и в лагере полевой армии. 2 (14) ноября над южным берегом Крыма пронесся ураган совершенно исключительной силы, который, по мнению некоторых, по своим последствиям был для союзников почти равносилен неудачному сражению. Неслыханная буря повалила палатки, снесла крышу, а вскоре и вовсе разрушила обширный амбулаторный госпиталь, расположенный позади французского лагеря, тяжко переранив лежавших там больных и искалеченных людей [8]. Буря свирепела все больше и больше уже с рассвета, и в 8 часов утра английские и некоторые французские суда были сорваны с якорей и брошены одно на другое; иные прибились к берегу и сели на мель. В Качинской бухте, в Балаклавской бухте разбилось и затонуло несколько транспортов и торговых судов, в том числе погибло семь английских больших транспортов, как раз накануне подошедших к берегу с громадными запасами теплых вещей на зиму для всей английской армии, с колоссальными запасами пищевых продуктов, боеприпасов, обуви. Они не успели накануне даже начать разгрузку и потонули со всем грузом и почти со всем экипажем. С других транспортов спаслось вплавь лишь сорок человек. Огромный пароход «Черный принц», привезший не только одежду и припасы, но и новые артиллерийские орудия, потонул со всем грузом и со всем экипажем. Немало судов было выброшено на берег и тут же сожжено спасшейся частью экипажа, чтобы не досталось в руки русским.

Уоллинг, автор примечаний к недавно им же найденному и опубликованному дневнику Джона Брайта, говорит об этой ноябрьской крымской буре: «Страшный шторм 14 ноября начал ту повесть о бедствиях и страданиях, которой суждено было

сделать несколько ближайших месяцев одним из самых мрачных в английской истории»[9]. Эти слова очень характерны: в английской национальной традиции как Балаклава, так и три зимних месяца 1854/55 г. навсегда остались наиболее мрачными воспоминаниями Крымской войны.

Громадный французский корабль «Генрих IV» был сорван со всех якорей и разбился у берегов Евпатории. Суда помельче гибли одно за другим, буря не ослабевала ничуть до позднего вечера. Морозы, очень для Крыма ранние, наступили почти сейчас же после этой страшной бури, и холода длились всю вторую половину ноября и первые дни декабря. Потом наступило некоторое потепление, но полили упорные дожди, заливавшие палатки, и некуда было укрыться от сырости. По роковой для союзников случайности буря 14 ноября как раз и потопила почти все транспорты, привезшие им зимние шинели, сапоги, теплое белье,— и приходилось несколько недель ждать новых присылок. Холера в ноябре была сильнее, чем в октябре, а в декабре сильнее, чем в ноябре. С буйными зимними ветрами тоже никак нельзя было сколько-нибудь успешно бороться. «Видите ли вы через отверстия в палатке снег, мелкий и льдисто-холодный, который загоняет в палатку ветер? Снег понемногу покрывает людей, распростертых на земле и просящих у ночи, чтобы она дала им немного успокоения от усталости и волнения дня. Скоро эти люди начнут стыть от холода, и их промокшая насквозь одежда покроет их тела смертельной влажностью. Что им делать, чтобы спастись? Извне они найдут холод, ветер и крутящийся снег; внутри палаток им будет не лучше. Конечно, выйдя из палатки, у них будет средство ходить, чтобы согреться, но будет ли у них достаточно силы, чтобы двигаться? В течение двадцати четырех часов они были заняты тяжелой работой в траншее, копаньем земли или переносом снарядов под непрерывным огнем из крепости... А если в этих палатках, осыпаемых снегом, находятся не только люди здоровые, но и больные грудью, мучимые лихорадкой и дизентерией или терзаемые глубокими ранами, или лишенные какого-либо члена туловища, который пришлось ампутировать, чтобы остановить гангрену,— насколько тогда положение является еще более отчаянным!» Так писал в частном письме, попавшем в руки Герэна, Дамас, один из полковых священников французской армии[10]. Такие правдивые строки о тяжкой для союзников зиме напрасно стали бы мы искать в казенной и полуказенной французской ежедневной печати того времени.

Прусский историк осады Севастополя капитан Вейгельт выяснил, что с 12 ноября н. с., т. е. ровно через неделю после Инкермана, английские батареи должны были «ограничить огонь», а с 20 ноября почти вовсе прекратить его. С 24 ноября

«артиллерия замолчала совершенно: не было более снарядов! Чтобы несколько помочь беде, начали собирать русские подходившие калибром снаряды, за которые платили по три червонца за каждый» [11]. Произошло это вследствие «бесконечных трудов» по доставке боеприпасов из Балаклавы в английские лагери на Килен-балке и Сапун-горе. Для перевозки одной пушки средней величины требовалось 24 лошади и день работы; для перевозки большой мортиры — 30—40 лошадей и дневная работа. За день доставляли зимой из Балаклавы не более 90—100 13-дюймовых бомб. У французов дело обстояло легче. И дорога была не такой длинной из Камышевой бухты, где была их материальная база, до лагеря и осадных пунктов, и турецкую армию они быстро приспособили для перенесения тяжестей. Конечно, на турках нельзя было перевозить пушки, но снаряды турки носили.

Вот как рисуется зимний быт союзной армии под Севастополем по одному письму, случайно попавшему в руки русских. Письмо послано 18 января 1855 г. из Константинополя и передает сведения о том, какие вести доходят до турецкой столицы и союзных лагерных стоянок. «Севастопольские новости очень печальны. До выпадения снега насчитывалось от трехсот до четырехсот больных в день. Лошади и вьючные животные умирали в больших количествах». В константинопольском французском лазарете «ждут 300 французских солдат с отмороженными ногами, позавчера принято 800 англичан с отмороженными частями тела. Там (у Севастополя — *Е. Т.*) англичане в дурном положении, потому что они напиваются и умирают в снегу; перед Севастополем у них уже не более 6000 человек под ружьем... Они покинули свои батареи и свои позиции, которые теперь заняты французами. Английские солдаты громко ропщут против лорда Раглана, который сидит в теплом помещении и не показывается своим солдатам, как это делает генерал Канробер. Несколько французских солдат и офицеров, под влиянием тоски по родине (pris de nostalgie), пустили себе пулю в лоб. В госпиталях здесь (в Константинополе — *Е. Т.*) десять тысяч английских солдат, из них умирает до сорока человек в день. Что в Крыму причиняет больше всего страданий,— это недостаток топлива; англичане, говорят, для варки пищи сожгли бараки, присланные из Лондона, чтобы им было где приютиться. Русские тоже страшно страдают, но они — у себя, и они более привыкли к холоду. Турки страдают больше, чем все; ими пользуются, как вьючным скотом (on les emploie comme les bêtes de somme)» [12].

После некоторого потепления, длившегося с месяц,— вскоре после Нового года,— холода стали усиливаться. В ночь с 4 на 5 января н. с. было 6° ниже нуля. При этом стояла очень вет-

ренная погода и часто выпадал снег, так что подымались метели. Несколько человек замерзло. «Эта ужасная погода длилась пятнадцать дней без перерыва, и в это время много людей, в большей или меньшей степени пострадавших от мороза, поступило в госпитали»,— говорит Герэн со слов главного медицинского инспектора французской экспедиционной армии доктора Боданса [13].

В самом конце ноября Наполеон III, не очень довольный инкерманской «полупобедой», раздраженный колебаниями Австрии, стал очень часто осведомляться у своего военного министра о том, что намерен предпринять Канробер в Крыму. Во французском лагере зашевелились. В Севастополе это сейчас же заметили, и князь Васильчиков очень встревожился: «Ничего хорошего быть не может. Вот наше положение: неприятель стоит сосредоточенным на... плоскости между Балаклавой, инкерманскими развалинами и херсонесским маяком. Цель его, конечно, Севастополь; туда обращено все его внимание. От Балаклавы мимо селения Кадыкиой, вдоль по Сапун-горе, к Черной речке у него выведены укрепления большой профили на весьма выгодных местах, которые обеспечивают его от всякого с нашей стороны наступления». А главное: после Инкерманского боя неприятель так укрепил эти занятые им высоты батареями и редутами, что новая попытка отнять их у врага русским штаб-офицерам казалась уже просто невозможной,— «если бы Данненберг вздумал [вести] войска еще раз на убой» [14]. Солдаты и моряки, «все недобитки несчастных моряков», стоя в холодной грязи весь ноябрь, ждали со дня на день штурма. Были признаки, что Канробер готовит новую бомбардировку и приступ. Дезертиры подтверждали эти слухи. «Наши дела скверны; нам нужны войска, и мне кажется, что лучше потерять Бессарабию, чем Севастополь с Черноморским флотом, что неминуемо произойдет, если не дадут двух дивизий»,— так пессимистично продолжал писать из Севастополя князь Васильчиков своему приятелю полковнику (потом генералу) Менькову, состоявшему в Дунайской армии при Горчакове [15]. Понимающие положение и другие военные люди вполне разделяли пессимизм Васильчикова: «Помогите. Пока дело шло об осаде, я уверен был, что кончится благополучно. Но теперь настает новый период войны. Не справимся с врагом». Ноябрь прошел сравнительно тихо, но с начала декабря бомбардировки не прерывались. Что делать? В штыковом бою русские ничуть не уступали врагу. Но ружья у наших войск никуда не годились сравнительно с усовершенствованными штуцерами неприятеля. У русских штуцера были лишь в виде исключения, и счастливцам, их получившим, «штуцерникам», завидовали остальные солдаты. «В траншеях бой был ровен, в поле не устоим, штуце-

ра одолеют. Альма и Инкерман тому порукой» [16]. Севастопольцы настойчивее и настойчивее требуют помощи и недовольны безголовьем тыла: «Нам нужна пехота,— прислали кавалерию, которая объела край; нам нужны штуцера,— а прислали сестер милосердия» [17]. Дороги на юге зимой были в убийственном состоянии. Больные, тяжко раненные солдаты отправлялись в город и местечки, имевшие лазареты, со скоростью «не больше 10—15 верст в день» [18]. С такой же «скоростью» доходили до Севастополя боеприпасы и провиант.

2

После Инкермана офицерство совсем перестало верить Меншикову. О солдатах же нельзя этого сказать только потому, что они ему и до Инкермана ничуть не верили. «24 октября показало, чего мы можем *надеяться* (подчеркнуто в тексте — *Е. Т.*) от наших генералов. При свидании многое придется порассказать, писать всего неловко. Конечно, Севастополь не возьмут союзники, но ежели наши будут действовать с прежней удачей, еще долго они помучают нас. Все гадко и гадко идет; одно утешение, что Севастополь, при всех даже промахах с нашей стороны, весьма и весьма трудно взять» [19].

По-прежнему Меншиков не думал о подготовке к всегда возможному со стороны неприятеля, даже и зимой, возобновлению военных действий. Вот выписка из одного письма от 14 декабря (1854 г.): «...ты спрашиваешь, есть ли какие укрепления на Каче и Бельбеке? Ровно никаких. Устройство их кажется напрасным только с батареи № 4 на Северной стороне, где живет кн. Меншиков со своим причтом в каком-то состоянии полузабытья. Бог им судья!» [20]

Бедственно обстояло дело с доставкой пороха. Сначала, как мы видели, его вообще не присылали. Потом стали присылать, но порох доходил беспрепятственно только до Симферополя. А дальше — ни с места. «Никто не берется за доставку даже по повышенным, я бы сказал даже, сказочным ценам»,— жалуется Меншиков в самом конце декабря Долгорукову [21]. Приходилось экономить порох и снаряды, вяло и скупо отстреливаться при бомбардировках со стороны неприятеля. Бомбардировки бывали пока редкие и слабые, но город страдал в общем от них довольно сильно. Уже после первых полутора месяцев осады многие здания представляли собой «чистое решето», а в Ушаковой балке и на городском бульваре нет «ни одного цельного дерева» [22]. В январе бомбардирование города и бастионов ослабело. Только четвертый бастион по-прежнему упорно обстреливался штуцерным огнем. Русские производили постоянные ночные поиски группами в несколько человек. Несмотря на страшную

опасность таких внезапных молодецких налетов, люди шли на такие приключения с величайшей охотой, наперерыв вызываясь и напрашиваясь в самые опасные места. «В ночь с субботы на воскресенье наш секрет на рассвете, когда неприятель отвел свою цепь, напал на траншеи англичан. Несколько последних заколоты на месте, несколько ранены, несколько взяты в плен. Я видел двух из них, когда их вели на гауптвахту. Один — сухой и пожилой мужчина, другой — безбородый юноша. Первый шел молча и угрюмо, второй под руку со взявшим его в плен матросом. Пленник и пленивший поменялись шапками и дружески разговаривали между собой. Один говорил по-английски, а другой — по-русски; как они понимали один другого...— не знаю» [23]. Такие картины с натуры — не редкость в наших документах. Бывали и такие случаи. Восемь казаков так внезапно налетели на делавшего рекогносцировку лорда Дункана, что сорок человек английского отряда бросились врассыпную, а Дункан был взят в плен. «Я был взят в плен, не успев вынуть руки из карманов, чтобы схватить поводья моей лошади, но я не предполагал, чтобы сорок человек моего конвоя разбежались от восьми казаков»,— заявил лорд Дункан, когда его доставили в Севастополь. Рукопашный бой при тех постоянных, небольшими партиями, вылазках, которые делали осажденные, бывал всегда очень свирепым. «В дворянском собрании (где был один из госпиталей — *Е. Т.*) я насчитал сорок пять раненых в этом деле, в том числе с десять французов. Есть раны от ружья, штыка, приклада, камней...». Речь идет об одной совсем небольшой вылазке четвертого бастиона 29 ноября (11 декабря) 1854 г. [24]

К концу ноября и началу декабря 1854 г. в Петербург с разных сторон стали приходить известия о состоянии сил противников в Крыму. И все эти известия говорили о том, что война будет продолжаться и зимой. По сведениям, шедшим из Берлина, в конце ноября в Крыму было не больше 10 000 англичан и 30 000 французов. Но к 10 декабря должны были прибыть подкрепления в количестве 10 000 человек, а с 10 по 20 декабря — очень значительные новые подкрепления в 22 000 человек. А кроме того, к середине января 1855 г. в Севастополь ожидали еще две дивизии французских линейных войск [25].

В Тулоне готовили отправку 12 землечерпательных машин и новоизобретенных полковником Рэмбо (Raimbault) машин для подведения мин. «Все эти изобретения и эти приготовления доказывают, что император (Наполеон III — *Е. Т.*) желает усилить военные действия против России с бешеным пылом». Таков был вывод русского осведомителя [26]. Как относилось к этой перспективе русское верховное командование?

Чем больше подробностей узнавалось об Инкермане, тем безотраднее становилось настроение независимо мыслящих лю-

дей. Блистательная храбрость русских войск, неиспользованный успех, выигранная солдатами и проигранная тотчас же генералами битва — все это ожесточило против правительства не одного Ивана Аксакова, писавшего: «Неумолима логика вещей, безжалостно правосудие истории! Наш позор, наши потери, все это должно было быть и иначе быть не может, и сотворилась бы величайшая несправедливость, если бы было иначе. Теперь пожинаются плоды того, что сеяли» [27]. Да и его корреспондентка Смирнова находила еще нужным тогда либеральничать и водиться со славянофильскими «оппозиционерами».

Те настроения в высших кругах бюрократии, которые широко в ней распространялись после падения Севастополя и которые только зародились после Альмы, теперь, после Инкермана, очень окрепли. Валуев уже зимой 1854/55 г., так же как и многие другие в его среде, с горечью повторял те вопросы, которые вскоре затем и сформулировал: «Зачем надеялись на Австрию и слишком мало опасались англо-французов? Зачем все наши дипломатические и военные распоряжения с самого начала борьбы были только вынужденными последствиями действий наших противников?.. Не скажет ли когда-нибудь потомство, не скажут ли летописи, те правдивые летописи, против которых цензура бессильна, что даже славная оборона Севастополя была не что иное, как светлый ряд усилий со стороны повиновавшихся к исправлению ошибок со стороны начальствовавших?» [28] Так писал Валуев, еще не вполне зараженный чиновничьим карьеризмом и царедворческим прихлебательством (хотя уже и тогда он подавал в этом смысле большие надежды).

Достаточно ознакомиться с хранящимися в Военно-историческом архиве (в Москве) письмами Меншикова к министру Долгорукову, чтобы вполне удостовериться, что Севастополь был на волосок от сдачи не только сейчас же после Альмы, но и в октябре и ноябре 1854 г. «Если Севастополь падет, по крайней мере Крым не может быть у нас отнят»,— успокаивает Меншиков Долгорукова 11 октября 1854 г. [29] Но военного министра, впрочем, незачем было успокаивать: он и сам не очень беспокоился. Он все только грустил, что севастопольские артиллеристы, отстреливаясь, тратят много пороха. Он, министр, пороха не подсылает и даже не надеется вовремя подослать, но зато уповает на помощь всевышнего бога, о каковом своем уповании уведомляет Меншикова [30]. Преждевременно одряхлевший и опустившийся царедворец, каким являлся в эту пору своей жизни князь Василий Долгоруков, и усталый, себялюбивый, ничем решительно душевно не интересующийся, скептик и циник Меншиков, совсем готовый сдать Севастополь и вполне

спокойно и равнодушно предвидящий в ближайшем будущем этот случай,— вот каких людей мы видим как бы воочию, читая эту переписку. В «постскриптуме»,— очевидно, за более интересным материалом не хватило раньше места в письме или просто вылетело из памяти, так как всех «мелочей» не упомнишь,— Долгоруков пишет Меншикову 23 октября из Петербурга: «Если Севастополь еще не взят, как мы надеемся,— не найдете ли вы уместным приступить, как только это станет возможным, к комбинации для усиления его защиты?» [31] Эта нелепая, пустопорожняя фраза, вполне достойная таких же ответных пустейших записочек Меншикова, была написана военным министром Российской империи как раз тогда, когда защитники Севастополя уже считали, что самый страшный момент прошел и что можно и должно еще держаться.

Конечно, при своем уме, тонкости и подозрительности Меншиков понимал то, что навсегда осталось тайной, например, для того же придворного карьериста и маститого соглядатая, изжившего свой век исключительно на подсниживаньях, подкарауливаниях и интригах,— князя Василия Долгорукова.

Меншиков знал, что и Корнилов, до самой смерти, и Нахимов, и матросы, обороняющие город, относились и относятся к судьбе Севастополя не так, как он и его корреспондент, а совсем по-другому. Поэтому, когда из Петербурга подсказывали Меншикову, что ввиду скорой сдачи Севастополя следовало бы приказать уничтожить в городе все, что нельзя вывезти, Меншиков отказывался это сделать, попросту не решаясь переслать такого рода приказ Нахимову и его матросам.

Меншиков понимал, что одно дело — по-французски переписываться с Долгоруковым о сдаче Севастополя, а другое — отдать на русском языке Нахимову и его матросам, Тотлебену и его саперам и землекопам-рабочим приказ о передаче города французам и англичанам. Он знал, конечно, о тех настроениях, о которых повествовал впоследствии Ухтомский, говоря, что «между моряками прямо обвиняли (начальника штаба — *Е. Т.*) в равнодушии к делу и чуть ли не в измене» [32]. И он, ни на что не решаясь, продолжал из своего прекрасного далека — сначала из Бельбека, потом с Северной стороны, которую он из любезности к военному министру Долгорукову, не очень твердому в русском языке, называет «Sévernaya»,— наблюдать за тем, как Нахимов, Тотлебен, Истомин, Хрулев и их матросы и солдаты бьются и погибают на севастопольских редутах.

3

Корнилов, Нахимов, Тотлебен были всецело предоставлены после Альмы не только своим ничтожным материальным си-

лам, но и исключительно собственному разумению и собственной ответственности.

В Севастополе негодование по поводу полнейшего безучастия и совершенной негодности военного министра Долгорукова было всеобщим [33]. Пороха не хватало, снаряды «опаздывали», в бастионах царил полуголодный режим; воровство военного интендантства, при подозрительнейшем попустительстве Петербурга и кое-кого из генералов в самом Крыму, дошло до каких-то буйных, гомерических размеров, которых даже русская интендантская история не знала со времени кампании 1806—1807 гг. в Восточной Пруссии, а Долгоруков продолжал и в 1855 г. писать французские интимные записочки Меншикову в таком, например, стиле: «мы все в постоянной лихорадке от того, что делается в Крыму... нельзя достаточно восхищаться героизмом войск... Да благословит бог их энергию и да спасет он наш прекрасный полуостров... Когда же союзники истощат запас своих снарядов?.. Одиннадцать дней непрерывной бомбардировки — это ужасно... Ах, дорогой князь, когда же мы с вами будем иметь хоть немного покоя? Вы не можете себе представить, что я иногда испытываю. В жизни своей я не думал, что буду доведен до моральных страданий, подобных тем, которые испытываю. Какая разница между годами 53, 54 и 55-м — и теми годами, которые им предшествовали. Наша жизнь так приятно протекала тогда (nous coulions si agréablement notre vie alors!)» [34]

Такой лирикой занимались люди, в руках которых была участь армии, участь Севастополя, безопасность России, военная честь русского имени. «Моральные страдания» ничуть не мешали военному министру настойчиво покровительствовать крупнейшим ворам в эполетах и без эполет, сидевшим, конечно, не в Севастополе, а в более безопасных местах. Ничто не препятствовало ему также успокаивать себя отрадными размышлениями о солдатах, героизм которых, следует надеяться, может заменить им мясо, и кашу, и подметки, и порох, и снаряды.

Окончательно князь Василий Андреевич исцелился от одолевавших его деликатных «моральных страданий», когда вскоре после падения Севастополя он благополучно и с повышением в чине перешел на несравненно более спокойную должность шефа жандармов и главного начальника III отделения. В этой должности, как известно, он успешно организовал в свое время, между многим прочим, судебное убийство Чернышевского и не покладая рук, не щадя уж на этот раз в самом деле своих сил, боролся против освобождения крестьян, став вместе с графом Шуваловым во главе крепостнической партии.

Меншиков был умнее и если не чище, то брезгливее Долгорукова, но, конечно, и военный министр и все те «мы», жизнь которых «протекала так приятно» в окрестностях Зимнего дворца до 1853 г., были своими, родными, близкими для Меншикова. А «боцман», «матрос» Нахимов, нищий инженер Тотлебен, худородные Корнилов или Истомин были ему совершенно чужды и определенно неприятны. Общего языка с ними он не только не нашел, но и не искал. Эти чуждые ему люди сливались с той серой массой грязных и голодных матросов и солдат, с которой Меншиков уже окончательно ровно ничего общего не имел и не хотел иметь.

Лично честный человек, Меншиков прекрасно знал, какая вакханалия воровства происходит вокруг войны, знал, что солдаты либо часто недоедают, либо отравляются заведомо негодными припасами. Знал и грабителей, даже изредка называл их по фамилии, но не все ли равно? Грабителей так много, что не стоит и возиться. «Из доставленных нам сухарей одна партия положительно никуда не годится; но так как между счетчиками магазина, с одной стороны, и полковыми, с другой, произошла стачка, то мне пришлось бросить розыски»,— писал он осенью 1854 г. Матросы и солдаты всегда интересовали Меншикова так мало, что он по своей инициативе почти никогда и не осведомлялся, что̀ они едят и вообще едят ли они.

Всячески силящийся оправдать Меншикова его адъютант, панегирист Панаев приводит единственный случай, когда Меншиков хотел было позаняться этим любопытным вопросом,— и вот что из этого вышло.

«Возвращаясь по линии резервов, мы застали в последнем резерве ужинавших солдат: они черпали из манерок какую-то жидкость, похожую на кофе, вылавливая в ней кусочки, черные, как угольки. Эта похлебка обратила на себя внимание князя; он приветствовал людей обычным пожеланием „хлеба-соли“, пристально посмотрел на кушанье и проехал мимо, приказав мне слезть с лошади и попробовать пищу.

Я исполнил приказание князя и крайне удивился, когда отведав увидел, что это был не кофе, а вода, окрашенная сухарями последней приемки. Определить вкус этой жидкости было невозможно, она пахла гнилью и драла горло. Догнав главнокомандующего, я доложил ему о том, чем питаются солдаты. Его как бы передернуло, и он почти вскрикнул: „Ах, это, верно, из Южной армии нам прислали те самые сухари, которые во множестве были забракованы войсками Горчакова. Интендантство сбыло их ко мне, и то, что мы давеча видели с тобой, был не тютюн... а те же несчастные сухари“».

«Стиснув зубы, Меншиков погнал лошадь через кусты в рытвины напрямки домой». Меншиков отправил Панаева к ге-

нералу Липранди: «Поезжай к Липранди и попроси его научить меня, что мне делать с этими негодными сухарями? Липранди — человек практичный и бывалый: авось что-нибудь придумает, а я растерялся. Как, целая армия должна есть гнилушки!»

Этого Павла Петровича Липранди не следует смешивать с Иваном Петровичем, исполнявшим шпионско-провокаторские функции при министерстве внутренних дел Перовского и «открывшим» дело Петрашевского. Павел Петрович был из числа немногих дельных генералов и притом не только был лично честен, но даже в 1844 г. был награжден «за особую заботливость об улучшении солдатского быта и за составление правил, относящихся до продовольствия нижних чинов».

И вот что Липранди ответил: «Видел... я эти сухари: съедят! Скажите князю, чтоб он не беспокоился и, главное, не примечал бы их, да не подымал истории. Других нет: на нет и суда нет! Солдаты видят, чего стоило и эти-то сухари привезти: они не жалуются. Не надо показывать и виду, что вы их жалеете. Ну, как-нибудь подправим; в ротах это сделают... И я вам скажу: чем солдат голоднее, тем он злее; нам того и нужно: лучше будет драться...»

Когда эти речи были доложены Меншикову, князь мигом успокоился и сказал «с грустной улыбкой»: «Липранди прав, истории затевать не надо. Заменить этого провианта нечем, поневоле приходится его есть. Но какую же штуку сыграло со мной интендантство Южной армии: ловко же оно воспользовалось нашей крайностью!» [35]

Так этой «грустной улыбкой» светлейшего князя дело и кончилось. Совесть не подсказала Меншикову, что интендантская «ловкость» ведь именно в том и заключалась, чтобы подсунуть ему, плотно окруженному ворами и взяточниками, ту совсем уже зловонную гниль, которую отказался принять командовавший Южной (Дунайской) армией Горчаков, все же не так возмутительно потакавший грабителям.

Деньги, отпускавшиеся миллионами, разворовывались по дороге, и то, что доходило до роты, получалось с огромным опозданием. Между интендантами и полковым начальством, пишет очевидец, «установился невысказанный, но всеми понятый договор: не требовать от интендантства фуража в натуре и за это пользоваться выгодами от ненормально возвышаемых цен, кто как умеет и у кого насколько хватит совести. Но и эта паллиативная мера принесла только зло и никакой пользы. Командиры действительно не требовали более от интендантства фуража в натуре, но зато и лошадей почти вовсе перестали кормить» [36].

Полнейшая, абсолютная безнаказанность была при князе Меншикове гарантирована всем ворам, взяточникам, казнокрадам. Вот в разгар войны, в ноябре, с опаснейшей позиции, из стоящей под Сапун-горой бригады, где уже давно мрут от голода люди, которых вообще предпочитают не кормить, и дохнут лошади, которых кормят древесными опилками и стружками, приезжает офицер и является в интендантство за деньгами. Предоставим ему слово (пишет и печатает все это он через 15 лет после Крымской войны, когда еще здравствовали почти все заинтересованные).

«— Вы г. управляющий?

— Точно так. Что вам угодно?

— Могу ли я получить деньги для бригады по этим требованиям?

— Деньги вы получить можете... но это будет зависеть от вас самих,— добавил он глубокомысленно...

— Может быть, деньги сейчас получить можно? Не задерживайте меня, пожалуйста.

Управляющий вздохнул, потер лоб, как будто о чем-то размышляя, наконец, проницательно взглянул на меня, хладнокровно спросил:

— А вы сколько даете процентов?

Я... не мог даже допустить такой патриархальной бесцеремонности и не вдруг понял вопрос управляющего.

— Какие проценты? С чего?.. Объяснитесь, пожалуйста,— проговорил я, немного сконфузившись.

— Я спрашиваю вас, молодой человек,— начал управляющий наставительным тоном,— сколько вы мне заплатите за те деньги, которые я прикажу отпустить для батареи вашей бригады? Мне обыкновенно платят по восьми процентов и более, но вы, артиллеристы, народ упрямый и любите торговаться. Ну, с вас можно взять и подешевле... Однако предупреждаю: менее шести процентов ни за что не возьму, нельзя...

Такой бесстыдный и хладнокровный грабеж вывел меня из терпения».

Офицер стал грозить, что донесет высшим властям. А тот твердил:

«— Эх, молодой человек! Горячки-то в вас много, а толку мало!.. Что же я буду за дурак,— продолжал он, вдруг воодушевившись и встав с кресел,— если я буду раздавать эти деньги зря? Нужны деньги — бери, да заплати! Ведь я не с нищего пользуюсь: ваши командиры не шесть процентов, а чуть не рубль за рубль получают!

Все это он излагал при многих офицерах, бывших в моей комнате. Я был тогда очень молод, очень неопытен и такое нахальное бесстыдство не мог переварить.

— Господа офицеры,— заговорил я, едва сдерживая себя,— прошу засвидетельствовать, что говорит г. управляющий...

Пехотные промолчали, а гусар, улыбаясь и вежливо поклонившись, ответил:

— Извините, мы в семейные дела не мешаемся» [37].

На том и окончилось. Офицер отъехал ни с чем и стал предъявлять свои бригадные «требования» в других местах, почти с таким же успехом...

Меншиков даже и не пробовал обратить внимание Николая на оргию грабительства, от которой прямо погибала армия.

О «тридцатилетней привычке сообщать только приятное», образовавшейся у приближенных Николая за все его царствование, говорит (как раз по поводу А. С. Меншикова) и такой консерватор и убежденный монархист, как князь Щербатов, приписывающий проигрыш Крымской войны прежде всего тому, что всё («запасы хлеба, сена, овса, рабочий скот, лошади, телеги, все, что могло дать население») было направлено на бумаге к услугам армии, а на деле было разворовано до такой степени, что «армия терпела постоянный недостаток в продовольствии; кавалерия, парки не могли двигаться... К этим результатам привела вся система тогдашнего режима» [38]. И матросы и солдаты чувствовали упорное, решительное нерасположение и даже прямое недоверие к Меншикову, готовы были поверить любому слуху, чернящему главнокомандующего.

«Матросы называли князя Меншикова „анафемой", а войска называли его князем Изменщиковым» [39].

Правда, лично самого Меншикова не обвиняли в хищениях, во взяточничестве, в кормлении солдат и матросов сгнившими сухарями, в продаже корпии и лечебных припасов англичанам. В этом — из высших чинов — обвиняли иной раз князя В. А. Долгорукова, военного министра. Но и относительно Долгорукова лично это обвинение не подтверждается никакими документами и сколько-нибудь серьезными показаниями: преступление Долгорукова, как и его предшественника и бывшего начальника Чернышева, заключалось в полнейшей дезорганизации всего управления армии и снабжения ее, в безнадежном хаосе, безобразном беспорядке, до которого была доведена армия.

Князь Д. А. Оболенский рассказывал, что уже после Крымской войны бывший военный министр князь В. А. Долгоруков встретился в Биаррице с Наполеоном III и «довольно наивно рассказывал про нашу военную организацию времени кампании 1854—1855 гг. После одного разговора Наполеон III вскочил и, не утерпев, воскликнул: „Знай я это, я бы Сент-Арно повесил!"»

Интереснее всего тут именно то, что сам Василий Долгоруков, русский военный министр, ответственный в первую голову

за страшную разруху в русской военной организации, юмористически объяснял изумленному французскому императору, до какой степени ровно ничего не было российским правительством сделано для обороны Севастополя и как французский главнокомандующий опростоволосился после Альмы, не решившись без всяких околичностей сразу же идти прямо на совершенно беззащитный город и занять его.

Такой военный министр, как Василий Долгоруков, был совершенно подстать такому верховному главнокомандующему, как князь Меншиков.

Еще когда Меншиков весной 1853 г. отправился в Турцию, в свое роковое посольство, которому суждено было так приблизить войну, все сколько-нибудь знавшие его смотрели с большой тревогой и на эту странную импровизацию Николая I, вдруг произведшего Меншикова в дипломаты.

При отъезде князя Меншикова из Петербурга в Константинополь князь Варшавский (Паскевич) в небольшом своем кругу выразился так: «От посольства князя Меншикова я не жду добра. Человек, который в продолжение тридцати лет занимался только каламбурами и остротами, к делу непригоден».

Но каламбуры оказались очень неудовлетворительной подготовкой и к занятию поста главнокомандующего армией и флотом в войне России разом с тремя державами как на суше, так и на море.

И все, кто был поумнее в армии, это отлично знали. «Одного нет у царя могучего: нет у него вождей для войска. Повывелся и поизрасходовался этот народ... Знает про то царь-батюшка и творит он генералов: что праздник — то дюжина, но уж, знать, беда такая: выходят все генералы праздничные да дюжинные»,— читаем мы в рукописи полковника Менькова.

Сказывалась система, принципиально изгонявшая науку из военного обихода, посадившая безграмотного Сухозанета в начальники Военной академии со специальным поручением сократить науку и в этом учреждении, свести ее, по возможности, к нулю.

Довольно неуместной признавалась наука, даже военная наука, для военного человека.

«Наука в военном деле — не более, как пуговица к мундиру: мундир без пуговицы нельзя надеть, но пуговица не составляет всего мундира». Это глубокомысленное изречение президента Военной академии генерала Сухозанета, приведенное мной в I главе первой части моей работы, было положено в основу всего военного преподавания при Николае. Воспоминание о декабристах, самом образованном, самом культурном поколении командного состава за всю историю императорской России, продолжало действовать и пугать царя. Основная цель—

резкое понижение умственных запросов и всего духовного уровня офицерства и генералитета — была достигнута. Генералы, читавшие почти по складам и не умевшие писать без грубейших грамматических ошибок, стали довольно частым явлением к концу царствования Николая. Из Военной академии выпускались офицеры, не только не имевшие серьезных и сколько-нибудь точных представлений об истории военного искусства, но просто лишенные тех элементарнейших познаний в стратегии и тактике, без которых сколько-нибудь полезная служба в штабе невозможна. И дорого пришлось заплатить русской армии, собственной кровью, за фактическое уничтожение высшего военного образования при Николае. Дезорганизация, невежественность и полная пассивность штабов производили прямо удручающее впечатление на всех сколько-нибудь вдумчивых наблюдателей.

Результаты такого рода постановки военных наук в Военной академии сказались в Крымскую войну самым наглядным образом. Вот нелицеприятный и обильно подтверждаемый другими источниками приговор: «Не я один убедился в том; в последнюю войну бо́льшая часть офицеров генерального штаба были неопытны, и трудно даже поверить, что многие из них не умели вести аванпостных журналов и тем менее быть полезными при отдельных отрядах; а между тем офицеры эти получили образование в Академии и слушали курсы высшей тактики, стратегии и военной истории. У нас как-то не удаются эти специальности: их обратили в средство к достижению скорейшего повышения в чинах за поверхностные сведения» [40].

Решительно лишенный какого бы то ни было военного образования, Меншиков был вполне подстать прочим. Но, кроме того, у него не было и ни малейших чисто практических военных навыков, которые все-таки были у других.

Моряки не хотели всерьез верить, что князь Меншиков — адмирал над всеми адмиралами; армейские военные не понимали, почему он генерал над всеми генералами; ни те, ни другие не могли главным образом взять в толк, почему он главнокомандующий. И напрасно его панегиристы старались впоследствии приписать его непопулярность чьим-то интригам и уж совсем неосновательно усматривали со стороны Меншикова какие-то «старания» заслужить любовь армии. Ни интриг не было, ни «стараний» не проявлялось.

«Старания князя были мало успешны: моряки постоянно его дичились. В этом был много виноват Корнилов. Человек развитой, умный, много работавший с князем, хорошо знавший его намерения, мысли, предположения,— от него светлейший ничего не скрывал,— Корнилов мог содействовать его сближению с моряками, но, к сожалению, он этого не только не делал,

а еще колебал к нему доверенность как моряков, так и сухопутных войск».

Так пишет почтительный адъютант Меншикова А. А. Панаев [41]. Он не понимает, что оттого-то Корнилов и не терпел Меншикова, что видел его насквозь. Панаев грустит, что моряки никак не чувствуют себя польщенными, если «из одиннадцати мундиров, право носить которые было ему предоставлено, князь избрал и предпочитал морской».

Нахимов и Корнилов ведь очень хорошо понимали, что по всем своим одиннадцати должностям, по которым Меншиков пользуется доходом и мундиром, он ровно ничего не делает, но что губительнее всего его пребывание именно на посту главнокомандующего Черноморским флотом.

«Прекрасные, братец, есть ребята между моряками... меня они не любят,— что делать? не угодил!» Так снисходительно и развязно отзывался этот развлекавшийся то дипломатией, то войной петербургский знатный барин о людях, которым суждено было все же прославить Россию, несмотря на то, что царь наградил их таким верховным командиром. Солдатам он тоже «не угодил», точь-в-точь как морякам.

Вот картина с натуры, зарисованная таким правдивым свидетелем, как герой обороны, полковник, потом генерал Виктор Илларионович Васильчиков. Он прибыл тотчас же после Альмы в армию Меншикова из Бельбека. «Два дня прошлялся я в лагере, ожидая отправления и конечно многого рассмотреть не мог в это время. Видел всеобщее уныние и грусть; видел, что между войсками и их главнокомандующим не было никакого общения; видел, как начальник проезжал перед войсками, никогда с ними не здороваясь; видел, как люди сурово и молча посматривали на этого начальника, и удивлялся! Видел, наконец, совершенную бестолковщину в администрации полковника Вунша, исправлявшего чуть ли не с двумя писарями должности и начальника штаба и интенданта армии, и удивлялся тому, что умный человек, каким был князь Меншиков, мог дойти до такой бессмыслицы».

Совсем не тот дух царил в оставленном армией Севастополе: «Под вечер я удостоился увидеть еще раз адмирала Корнилова, который принял меня очень любезно, дал мне лошадь и сам провел по главнейшим частям оборонительной линии. Отрадно было видеть тот контраст, какой существовал между настроением защитников Севастополя и унылыми обитателями Бельбекского лагеря. Здесь (в Севастополе — *Е. Т.*) все кипело, все надеялось, если не победить, то заслужить в предстоящем решительном бою одобрение и признательность России; там все поникло головою и как бы страшилось приговора отечества и современников» [42].

4

К концу 1854 г. Меншиков совсем махнул рукой на оборону Севастополя. «Севастополь падет в обоих случаях: если неприятель, усилив свои средства, успеет занять бастион № 4 и также если он продлит осаду, заставляя нас издерживать порох. Пороху у нас хватит только на несколько дней, и, если не привезут свежего, придется вывести гарнизон»,— таковы были перспективы Меншикова в начале ноября 1854 г.

О военном министре, князе Василии Долгорукове, с которым Меншиков так ласково переписывался, он выражался в том смысле, что «князь Долгоруков имеет тройное отношение к пороху: он пороху не нюхал, пороху не выдумал и пороху не посылает в Севастополь» [43]. Но дальше этой выходки Меншиков не пошел и больше ничего против Долгорукова не предпринял.

Пороху князь Долгоруков не мог доставлять в Севастополь ни осенью, ни зимой, ни весной в сколько-нибудь достаточном количестве. Вот бесхитростное показание молодого тогда М. Г. Черняева (получившего за свою восьмимесячную службу на Малаховом кургане золотую саблю): «Когда начались бомбардировки на св. неделе, пороху у нас почти не было, и потому мы не могли отвечать неприятелю. Он же замечательно наловчился попадать в свою цель... В это самое время... приехал к нам кн. Горчаков и мы *по случаю праздника* выпросили у него 150 выстрелов» [44].

Это *выпрашивание* «по случаю праздника» безоружными, в упор расстреливаемыми людьми пороху на 150 выстрелов, чтобы хоть изредка отвечать вражеским батареям, так красноречиво, что не нуждается в комментариях.

«Грустную картину представляли транспорты с порохом, бомбами и ядрами, двигавшиеся на волах... От недостатка в порохе, бомб, ядер, гранат и проч. было сделано секретное распоряжение, чтобы на 50 выстрелов неприятеля отвечали пятью. По степи валялась масса трупов, лошадиных и воловьих; мы, приближаясь к Крыму, более и более встречали раненых, которых везли как телят на убой; их головы бились о телеги, солнце пекло, они глотали пыль, из телег торчали их руки и ноги, шинели бывали сверху донизу в крови»,— такова зарисовка с натуры, сделанная писателем и художником Л. А. Жемчужниковым [45].

К этому прибавилось и отсутствие подвоза продовольствия, т. е. полуголодное существование солдат. «Плут» такой-то задержал транспорт сухарей, чтобы сбыть негодные сухари, «сгнившие до того, что даже при недобросовестной сортировке их нельзя употребить в дело»,— пишет Меншиков 7 декабря

1854 г., а спустя две недели стало еще хуже: «Дороги из Симферополя сюда (в Севастополь — *Е. Т.*) в такой степени разбиты, недостаток в фураже таков, что никто, ни возчики, ни кулаки, даже за баснословные цены не решаются взять на себя перевозку сюда чего-либо» [46].

Так судили в ставке главнокомандующего в безопасном Бельбеке.

В Севастополе, под ядрами, его защитники работали с прежним упорством и гнали от себя всякую мысль о сдаче города.

С первого дня бомбардировки Нахимов и Тотлебен ежедневно бывали на четвертом бастионе, но Тотлебен, занятый постройкой и восстановлением укреплений, должен был несколько разредить свои посещения, а Нахимов занялся бастионом специально, и занялся вплотную. Положение было таково: сейчас же после первой грандиозной общей бомбардировки 5 октября 1854 г. французы направили главные свои силы на этот ближе всех выдвинутый к ним бастион. Послушаем командира этого бастиона, капитана 1-го ранга Реймерса:

«От начала бомбардирования и, можно сказать, до конца его, четвертый бастион находился более всех под выстрелами неприятеля, и не проходило дня в продолжение всей моей восьмимесячной службы, который бы оставался без пальбы. В большие же праздники французы на свои места сажали турок и этим не давали нам ни минуты покоя. Случались дни и ночи, в которые на наш бастион падало до двух тысяч бомб и действовало несколько сот орудий...»

Уже после первых дней осады и бомбардировки бастион, собственно, был ямой, где защитники без всякого прикрытия, если не считать жалких брустверов, истреблялись систематическим огнем французских батарей. Нахимов в полном смысле слова стал создавать бастион и создал его. «В первые два месяца на четвертом бастионе не было блиндажей для команды и офицеров, все мы помещались в старых казармах; но когда неприятель об этом разведал, то направил на них выстрелы и срыл их. Вообще внутренность бастиона представляла тогда ужасный беспорядок. Снаряды неприятельские в большом количестве валялись по всему бастиону; земля для исправления брустверов, для большей поспешности бралась тут же около орудий, а потому вся кругом была изрыта и представляла неудобства даже для ходьбы».

Нахимов решил, что без блиндажей — бастиону конец. «Адмирал Нахимов, приходя ко мне, каждый раз выговаривал обратить внимание на приведение бастиона в порядок и устройство блиндажей. Но мне казалась эта работа тогда невозможною, так как под сильным огнем и беспрерывным разорением брустверов нам едва хватало времени поспевать ис-

правлением к утру повреждений брустверов». И при этих невероятных условиях блиндажи были созданы, и люди получили хоть какое-нибудь прикрытие.

Бастион был занят в значительной мере матросами, для которых величайшей наградой были слова, сказанные Нахимовым после постройки блиндажей и приведения бастиона в порядок: «Теперь я вижу-с, что для черноморца невозможного ничего нет-с».

Нахимов приносил на бастион георгиевские кресты, которые и раздавал особенно отличившимся за последние несколько суток.

«Нахимов, приходя первое время к нам на бастион, подсмеивался над тем, кто при пролете штуцерной пули невольно приседал, говоря: „Что вы мне кланяетесь?“» Нахимовские порядки, заведенные им во флоте, были им теперь заведены и на бастионах Севастополя, и это не очень нравилось армейскому командному составу: «...армейские офицеры удивлялись тому, что наши матросики, не снимая шапки, так свободно говорят с нами и что вообще у нас слаба дисциплина. Но на самом деле они впоследствии убедились в противном, видя, как моментально, по первому приказанию, те же матросы бросались исполнять самые опасные работы; солдаты их, поступившие к орудиям, делались совершенно другими людьми, видя отважные выходки матросов». Таковы точные и правдивые показания командира четвертого бастиона Реймерса, сделанные им перед тем, как осколок бомбы вывел его из строя[47].

Отношения, заведенные Нахимовым во флоте, сохранялись всецело на севастопольских бастионах, и если можно назвать «бытом» ежедневное и еженощное пребывание под французскими и английскими бомбами, ядрами, ракетами и штуцерными пулями, то нахимовский «быт» оставался прежним. Предоставим слово очевидцу. «Особенною популярностью у севастопольцев пользовалось бессмертное имя Павла Степановича (Нахимова — *Е. Т.*), так как у моряков не принято было величать своих начальников и офицеров по чинам. Ни ваше благородие, ни превосходительство вовсе не употреблялось в объяснениях, а звали начальство просто по имени и отчеству, иногда не помня даже фамилии своего офицера... Как сейчас, вижу этот незабвенный тип: верхом на казацкой лошади, с нагайкою в правой руке, всегда при шпаге и адмиральских эполетах на флотском сюртуке, с шапкою, надетою почти на затылок, следует он бывало до бастиона верхом в сопровождении казака. Панталоны без штрипок вечно собьются у него у коленей, так что из-под них выглядывают голенища и белье; ему и горя мало, на подобные мелочи он не обращал внимания. Останавливаясь у подошвы нашего бастионного кургана, Павел

Степанович по обыкновению слезал с лошади, оправлял панталоны и шествовал по бастиону пешком. „Павел Степанович! Павел Степанович!“ — зашумят, бывало, радостно матросы: и все флотское как будто охорашивается, растет, желая показаться молодцеватее своему знаменитому адмиралу, герою Синопа. „Здравия желаем, Павел Степанович! — отзовется какой-либо смельчак из группы матросов, приветствуя своего любимого командира: — Всё ли здоровы?“ — „Здоров, Грядка! Как видишь“,— добродушно ответит Павел Степанович, следуя далее.— „А что, Синоп забыл?“ — спрашивает он другого.— „Как можно! Помилуйте, Павел Степанович, небось и теперь почесывается турок“,— усмехается матрос.— „Молодец!“ — заметит Нахимов; либо, потрепав иного молодца по плечу, сам завязывает... разговор, расспрашивая о французах» [48].

В своих черновых заметках, так и не увидевших света в полном виде, Ухтомский настойчиво отмечает все громадное превосходство моряков, воспитанных школой Лазарева, Нахимова, Корнилова, Истомина, над армейскими солдатами, сражавшимися рядом с матросами на севастопольских бастионах.

Героев было много и среди солдат: они тоже умирали, бестрепетно и безропотно, не хуже матросов. Но губительная система, которая, начиная с Павла, продолжая Александром и Аракчеевым и кончая Николаем и Михаилом, Сухозанетом и Клейнмихелем, Чернышевым и Долгоруковым, развращала и ослабляла русскую сухопутную армию, сказывалась к концу николаевского царствования в полной силе, и люди поумнее, вроде того же всех презиравшего и ровно ничего не делавшего старого циника Меншикова, очень хорошо это сознавали. В своих черновых заметках, конечно не надеясь, что они когда-нибудь увидят свет, Ухтомский писал: «Солдаты, превращенные в машины, знали только один фронт. Князь А. С. Меншиков в своем дневнике, незадолго до высадки неприятеля в Крыму, писал: „Увы, какие генералы и какие штаб-офицеры! Ни малейшего не заметно понятия о военных действиях и расположении войск на местности, об употреблении стрелков и артиллерии. Не дай бог настоящего дела в поле“».

Приведя эти слова Меншикова, Ухтомский продолжает: «Сознание, что адский замысел врагов стереть с лица земли Севастополь не только был парализован, но им еще нанесен был жестокий удар посрамления, возбуждало в них (защитниках Севастополя — *Е. Т.*) полную самоуверенность в своем превосходстве над пришельцами. Такое убеждение, сложившееся в крещение первого дня жестокого бомбардирования, осталось неизменным до конца осады и создало ту мощную оборону, о которую разбились все усилия врагов...» [49]

Ухтомский приводит убийственные факты в доказательство того, что, во-первых, боевая ценность моряков, пересаженных с кораблей на бастионы, оказывалась выше боевой ценности солдат (хоть они и не уступали морякам в личном бесстрашии) и что чем выше был чин военного начальника в армейских войсках, тем менее обыкновенно начальник годился для командования в бою: «...фронтовое учение и шагистика совсем убили самостоятельность в русской армии. Во время обороны матросы ни во что ставили солдат. Бывало, сигнальный кричит: „Бомба! Разорвало благополучно, только двух армейских убило!..“ На вылазках, где командовали обер-офицеры, можно было всегда рассчитывать на успех, но чуть вылазкой распоряжался штаб-офицер или полковник,— верная неудача: такие же были и генералы... Еще к этому надо добавить, что во время командования Меншикова, когда можно было многое наладить по укреплению Севастополя, от военного министра Долгорукова не видно было никакого содействия».

Ухтомский не знал, конечно, той переписки между Меншиковым и Долгоруковым, которая хранится в Военно-историческом архиве в Москве и выдержки из которой мы только что частично приводили. Но, как видим, он совершенно правильно уловил, до какой степени нечего был севастопольцам ждать ни материальной, ни моральной поддержки от высших властей. И меньше всего можно было ждать ее от главнокомандующего армией и флотом князя Меншикова. Меншиков жаловался на своих генералов и сваливал вину за многие свои неудачи на их бездарность и невежество.

«Кто были помощниками мне? Назовите мне хоть одного генерала,— жаловался князь Меншиков в доверительной беседе с полковником Меньковым.— Князь Петр Дмитриевич [Горчаков, брат преемника Меншикова, князя М. Д. Горчакова], старый суета в кардинальской шапке? Или всегда пьяный Кирьяков и двусмысленной преданности к России Жабокритский, или, наконец, бестолковый Моллер... Остальные, мало-мальски к чему-либо пригодные, все помешаны на интриге! Полагаю, что, будучи далек от солдата, я не сумел заставить его полюбить себя; думаю, что и в этом „помогли“ мне мои помощники!» [50]

Так откровенно разговорился князь Меншиков в первых числах марта 1855 г., только что получив отставку и встретив по пути, в Николаеве, полковника генерального штаба Менькова, направлявшегося в Крым.

Возмутительнее всего, что он клеветал на своих солдат, обвиняя их иногда в недостатке стойкости.

К русским матросам и солдатам и к тем людям, которые являлись их настоящими вождями в этой кровавой и ярост-

ной борьбе, неприятель был гораздо справедливее. Французский главнокомандующий, сам храбрый и стойкий солдат, маршал Канробер до конца жизни в беседах с близкими с восторгом вспоминал о тех, кого так мало ценил русский главнокомандующий Меншиков. «С какими противниками имели мы дело?» Маршал Канробер, рассказывает его друг, даже сорок лет спустя при этом вопросе поднимался с кресла и, глядя на вас своими огненными глазами, восклицал: «Чтобы понять, что такое были наши противники, вспомните о шестнадцати тысячах моряков, которые плача уничтожали свои суда с целью загородить проход и которые заперлись в казематах бастионов со своими пушками, под командой своих адмиралов Корнилова, Нахимова, Истомина! К концу осады от них осталось восемьсот человек, а остальные и все три адмирала погибли у своих пушек...» [51]

Канробер особенно отмечает севастопольских рабочих: «Генерал Тотлебен для выполнения своей технической задачи нашел в населении Севастополя, сплошь состоявшем из рабочих или служащих в морском ведомстве и в арсеналах, абсолютную преданность делу. Женщины и дети, как и мужчины, принялись рыть землю днем и ночью, под огнем неприятеля, никогда не уклоняясь. А наряду с этими рабочими и моряками солдат — особенно пехотинец — снова оказался таким, каким мы его узнали в битвах при Эйлау и под Москвой» [52].

Чтобы найти достойное сравнение, Канробер, знаток военной истории, называет именно эти два кровопролитнейших сражения наполеоновской эпопеи, в которых храбрость и стойкость русской пехоты изумила Наполеона I и его маршалов.

Черствый, раздражительный, знавший и свою непопулярность и обожание, которым был окружен в матросской и солдатской среде Нахимов, завистливый и насмешливый Меншиков все-таки должен был в первые месяцы осады считаться с очевидностью: с тем, что после смерти Корнилова Севастополь держится (если не говорить об упорстве и героизме, проявляемых подавляющим большинством защитников — матросов, солдат и рабочих) на Тотлебене, Нахимове и Истомине.

5

Среди бездарных начальников, среди звезд генералитета, прославившихся чем угодно, но только не военными заслугами, эти три человека, дружно и согласно действовавших, представляли собой могучую силу. Меншиков отлично знал (при его бесспорном уме и огромной опытности он не мог этого не знать), что талантливый, одаренный самостоятельным мышлением человек может при николаевской системе иной раз выйти в ге-

нералы,— если ему повезет и если он не попадется в недобрый час на глаза и на замечание у царя, или у великого князя Михаила Павловича, или у Чернышева, или у Василия Долгорукова. Но чтобы человек с такими качествами попал на командующий, в самом деле руководящий пост,— это было в обыкновенное время абсолютно невозможно. Кому же и было это понимать, как не князю Меншикову? Мало ли он сам сбыл с рук таких неудобных адмиралов и генералов! Ему ли было не знать «вырубленный лес», с которым великий поэт, воспевший подвиг «Русских женщин», сравнил двор и окружение Николая после 14 декабря 1825 года?

Но вот в стороне от большого света, где-то на задворках империи, на Черном море, Михаил Петрович Лазарев создал какие-то свои, несколько подозрительные традиции, воспитал этих Корниловых, Нахимовых, Истоминых, как-то вовсе не подходящих к образцу. Вдруг грянула грозная война, и оказалось, к прискорбию князя Меншикова, что в *ненормальные* времена общеустановленный *нормальный* образец никуда не годится. Что же делать? Меншиков, скрепя сердце, и решил использовать этот странный, ни на что не похожий ненормальный выводок лазаревских адмиралов, которые,— как выразился товарищ Пирогова, профессор хирургии, севастополец Гюббенет, говоря о Нахимове,— «не считали достойным хвалить все существующее и скрывать недостатки, а находили пользу в изобличении последних и в неусыпном стремлении к улучшению».

Следует заметить, что Нахимов вообще не считал роль флота законченной. В конце ноября 1854 г. союзники, к полной для них неожиданности, убедились на опыте, что русский флот сохранил способность к самостоятельной инициативе. Вот что читаем в рапорте Нахимова князю Меншикову от 27 ноября (9 декабря) 1854 г.:

«Вследствие разрешения вашей светлости, сего дня, в один час пополудни, я отделил от вверенной мне эскадры пароходы „Владимир“ и „Херсонес“. Поручив их в ведение командира первого из них, капитана 2-го ранга Бутакова, я предписал ему атаковать железный винтовой пароход, стоявший на фарватере против Песочной бухты для наблюдения за движениями наших судов на рейде. Капитан 2-го ранга Бутаков взял на себя атаку этого парохода, предоставив командиру парохода „Херсонес“ капитан-лейтенанту Рудневу наблюдение и действие по Стрелецкой бухте, где в глубине залива стояли на швартовых два неприятельских парохода. Выбежав из-за бонов, „Владимир“ полным ходом следовал к своему противнику, на пути приветствовав несколькими меткими выстрелами неприятельский лагерь, расположенный по восточному склону Стрелецкой бухты, и пароходы, в ней находившиеся.

Заметив намерение „Владимира“, винтовой пароход сделал сигнал флоту и спешил поднять пары; бросив несколько неудачных ядер по „Владимиру“, он выпустил цепь, торопясь укрыться под выстрелами кораблей, расположенных у Камышевой бухты. „Владимир“ преследовал его за Песочную бухту, действуя по нему двумя носовыми орудиями. Видя безуспешность погони и уже почти под выстрелами кораблей, он положил лево руля и продолжал огонь по бежавшему всеми орудиями левого борта, до тех пор покуда выстрелы его были действительны; тогда, поворотив к Стрелецкой бухте, „Владимир“ присоединился к „Херсонесу“, с живостью бросавшему бомбы по лагерю и пароходам. Чтобы не помешать выстрелам „Владимира“, идя контргалсом, „Херсонес“ также поворотил и продолжал действие с правой стороны так же, как и первый. Быстрый и меткий огонь двух пароходов произвел большое смятение как на берегу, так и в бухте, отчего выстрелы неприятельских пароходов и нескольких полевых орудий, выдвинутых ими к берегу, были недействительны; на одном из первых показавшийся из-под палубы в большом количестве пар дает право заключать, что у него был пробит паровой котел.

Между тем, еще по первому сигналу винтового беглеца, все паровые суда флота, не исключая даже кораблей, задымились; бывшие же незадолго перед тем в движении два английских парохода, а за ними и один французский под вице-адмиральским флагом вскоре стали приближаться к нашим пароходам. В то же время пароход, находившийся у р. Качи для работ у выброшенных судов, снялся с якоря; а потому, чтобы не быть атакованными превосходным неприятелем, пароходы наши начали подвигаться к Севастополю. Передовой английский пароход приблизясь открыл огонь; ядра его, ложась между нашими пароходами, не причиняли никакого вреда. „Владимир“ следуя в кильватере „Херсонеса“, отстреливался из кормовых орудий».

Свое донесение о «вылазке» русских судов Нахимов кончает так: «Убитых и раненых на наших пароходах нет; на „Владимире“ неприятельское ядро попало в фок-мачту, отбив $^1/_6$ диаметра мачты, причем перебило несколько снастей. Присутствие английской эскадры у Качи, а французской у Камышевой бухты вселило уверенность о безнаказанности позиции винтового парохода в виду нашего разоруженного флота. Молодецкая вылазка наших пароходов напомнила неприятелю, что суда наши хотя разоружены, но по первому приказу закипят жизнью; что, метко стреляя на бастионах, мы не отвыкли от стрельбы на качке; что, составляя стройные батальоны для защиты Севастополя, мы ждем только случая показать, как твердо помним уроки покойного адмирала Лазарева»[53].

Меншиков в декабре 1854 г. представил царю доклад о необходимости наградить Нахимова, о котором злобно говорил в своей компании, что ему бы канаты смолить, а не адмиралом быть. Молодой великий князь Константин Николаевич, находившийся тогда в самой весне своего «либерализма», не только исходатайствовал Нахимову орден Белого Орла, но и писал ему в рескрипте 13 января 1855 г.: «Вменяю себе в удовольствие выразить вам ныне личные чувства мои и флота. Мы уважаем вас за ваше доблестное служение; мы гордимся вами и вашей славой, как украшением нашего флота; мы любим вас, как почетного товарища, который сдружился с морем и который в моряках видит друзей своих. История флота скажет о ваших подвигах детям нашим, но она скажет также, что моряки-современники вполне ценили и понимали вас».

Но Нахимова награды и приветствия занимали мало. С того самого дня, когда французское ядро убило на Малаховом кургане Корнилова, окружающие Нахимова стали замечать в нем твердое, безмолвное решение, смысл которого был им понятен. С каждым месяцем им становилось все яснее, что этот человек не может и не хочет пережить Севастополь.

Могли ли его, если так, интересовать восторги Константина Николаевича, или фальшивые любезности не терпящего его Меншикова, или даже царские милости?

Нахимов решительно ни с кем уже не церемонился. Вот сцена, обнаружившая, что ни малейших способностей к придворному обхождению этот моряк не имел и не считал нужным ими обзаводиться. Царь, в восхищении от изумительной деятельности и геройской храбрости Нахимова, послал в Севастополь своего флигель-адъютанта Альбединского и поручил ему передать «поцелуй и поклон» Нахимову [54]. Спустя неделю после этого Нахимов, с окровавленным лицом, после обхода батареи возвращался домой — и вдруг ему навстречу новый флигель-адъютант с новым поклоном от императора Николая. «Милостивый государь! — воскликнул Нахимов,— вы опять с поклоном-с? Благодарю вас покорно-с! Я и от первого поклона был целый день болен-с!» Опешивший флигель-адъютант едва ли сразу пришел в себя и от дальнейших слов Нахимова, давно раздраженного беспорядком во всей организации тыла, от которого зависела участь Севастополя: «Не надобно-с нам поклонов-с! Попросите нам плеть-с! Плеть пожалуйте, милостивый государь, у нас порядка нет-с!» — кричал Нахимов. «Вы ранены?» — спросил тут кто-то.— «Неправда-с!» — отвечал Нахимов, но тут, заметив все-таки на своем лице кровь, прибавил: «Слишком мало-с! Слишком мало-с!»

Больше Николай ни поцелуев, ни поклонов Нахимову уже не посылал.

6

За Альмой — Инкерман, за Инкерманом — Евпатория. Армия Меншикова вне Севастополя терпела поражение за поражением, несмотря на все упорство и храбрость войск.

А в осажденном Севастополе Нахимов, Тотлебен, Истомин и их матросы и солдаты продолжали изумлять врага своей невероятной, на первый взгляд, и, однако, все крепнущей обороной.

Петербург почти не присылал, несмотря на все мольбы, пороха и сухарей, но снабдил Нахимова новым непосредственным начальством — Остен-Сакеном, а Крымскую армию и Севастополь новым главнокомандующим — князем Михаилом Дмитриевичем Горчаковым, переведенным сюда из Дунайской армии, которой он так неудачно до тех пор командовал.

Некоторые свидетельства (не все) ставят эти два назначения в причинную связь с приездом в Крымскую армию двух великих князей.

Николаю показалось почему-то необходимым отправить в Севастополь двух своих младших (и самых бесцветных и малоодаренных) сыновей: Николая и Михаила. Неловким представлялось, что во французской осаждающей армии присутствует двоюродный брат Наполеона III, в английской — родственник королевы герцог Кембриджский, а в русской никого не было из царствующего дома. Правда, и от наличия этих иностранных августейших родственников ни во французской, ни в английской армии ни малейшей пользы не ощущалось.

Льстивая статья о великом князе Николае Николаевиче в «Русском биографическом словаре» (СПб., 1914), полная фантастических утверждений (например, будто поездка его и Михаила Николаевича «вызвала взрыв патриотического восторга»), любопытна только (взятым из ставших доступными этому автору источников) констатированием двух фактов: 1) что благодаря стараниям великих князей начальником севастопольского гарнизона был назначен барон Остен-Сакен и 2) что Николай Николаевич, по собственной инициативе, написал государю о необходимости заменить князя Меншикова князем Горчаковым, что и было исполнено 16 февраля 1855 г. Автор казенного панегирика, очевидно, считает оба назначения необыкновенно умным и счастливым достижением. Эти великие князья приезжали дважды и путались без малейшего толку под ногами защитников Севастополя от 23 октября до 3 декабря 1854 г. и от 15 января до 21 февраля 1855 г., когда благополучно отбыли снова, и уже безвозвратно, в Петербург к большому облегчению Тотлебена и Нахимова.

Вследствие назначения (28 ноября 1854 г.) Остен-Сакена начальником гарнизона адмирал Нахимов оказался подчиненным Остен-Сакена, что, конечно, не могло не стеснять свободу действий адмирала. Нечего и говорить, что присутствие великих князей, по сути дела, совершенно непроизводительно отнимало у Нахимова время. Приводя любопытное известие, что неприятельская пуля «ранила флигель-адъютанта Альбединского, за что *великие князья* получили Георгия», Вера Сергеевна Аксакова прибавляет в своем дневнике: «Да бог с ними, пусть получают и двадцать Георгиев, да только пусть не мешают нашим войскам в сражениях. Лучше бы, если б они оттуда уехали: конечно, их должны там оберегать и пожертвуют для спасения их тысячами людей».

Но великие князья в Севастополе были неудобством скоропреходящим. А Остен-Сакен и Горчаков остались надолго и благополучно пережили Нахимова, хотя по возрасту были старше. Но оба они несравненно осторожнее, чем Нахимов, вели себя среди свирепствовавшей в Севастополе «травматической эпидемии», как хирурги уже тогда стали называть войну.

После Инкермана всякое доверие к высшему командованию исчезло бы в Севастополе, если бы оно было в наличности раньше.

«Все очень хорошо, все идет порядочно, только пороху не бог весть сколько и князь Меншиков изменник»,— пишет саркастически и с раздражением полковник Виктор Васильчиков своему другу. Но и он, скептик и желчный наблюдатель, не может нахвалиться солдатами и офицерами, и прежде всего героем Нахимовым, которого матросы, обожавшие своего адмирала, уже успели переименовать и называли за его совсем отчаянную храбрость «Нахименкой-бесшабашным», чтобы больше походило на матросскую фамилию [55]. Им хотелось, чтобы он уже был совсем их собственный.

«Нахименко-бесшабашный» проделывал такие вещи, что просто заражал своим настроением и офицеров, особенно молодых прапорщиков, и солдат, и матросов. Прапорщик Демидов с отрядом штуцерников поместился в дальнем завале, прямо против англичан. «Чтобы придать своим солдатам куражу и доказать им, что англичане штуцерные дурно стреляют, он вышел из завала и прошел мимо всех неприятельских траншей с левого на правый фланг. Затем он сделал себе папироску, стал ее курить, потом пошел назад под прикрытие завала». Но солдаты даже и не нуждались в таких примерах. Не сговариваясь и не размышляя, «часто целые партии предпочитали мучительную смерть — плену».

Нужно заметить, что Нахимов, сам беспечно подставляя свою голову при всяком удобном случае, категорически воспре-

щал своим подчиненным какое бы то ни было бесполезное молодечество. У нас есть несколько тому свидетельств.

Наиболее дельными и нужными людьми оказались, как и следовало ожидать, именно те морские и армейские офицеры, которые протестовали против хвастовства и самохвальства. «А знаете, кто у нас из инженеров заслужил всеобщее уважение? Ватовский, тот, который всегда кричал против войны и говорил, что шапками не закидаешь неприятеля, а что долго с ним повозишься. Он распорядителен и лично храбр. ...*Нахимов* сказал ему в первый день бомбардирования: господин офицер, я вас должен буду отправить на гауптвахту; мы нуждаемся в инженерных офицерах, зачем же вы под ядрами стоите и сами пушку наводите?» [56]

7

Моряки, распределенные Нахимовым по бастионам, играли очень существенную, часто ведущую роль при постоянных вылазках, которыми гарнизон по ночам постоянно тревожил неприятеля.

Вылазки продолжались всю осень и зиму 1854/55 г. «Мы продолжаем делать ночные вылазки, которые вообще удаются. Одна только вылазка, произведенная Тобольским полком, вследствие данного ей Баумгартеном направления вышла неудачно»,— писал 3 января 1855 г. князь Меншиков Горчакову.

Но он совершенно неосновательно, замечу кстати, обвинял Баумгартена (героя битвы при Четати). Из своего прекрасного далека, т. е. из Бельбекского лагеря, Меншиков не весьма хорошо уяснял себе, чтó такое вообще эти ночные вылазки и как они производятся. После его смерти письмо его к Горчакову попало в печать, и вот что написал по этому поводу облыжно обвиненный генерал Баумгартен: «Вылазки из Севастополя делались с целью тревожить неприятеля и заставить его, в ненастное и холодное время, держать как можно более войск наготове в траншеях, дабы таким образом изнурять неприятельские войска, а когда удастся застать его врасплох, то и наносить им поражение. Для производства подобных вылазок назначались обыкновенно от 2 до 3 рот, и редко более одного батальона. А потому никакого особого направления не приходилось, да и нельзя было, давать этим отрядам: они просто и прямо шли к неприятельским траншеям, а для указания пути и выходов из наших укреплений назначались обыкновенно моряки. Успех вылазок зависел поэтому вовсе не от их направления, а от быстроты и внезапности нападения и главное от степени бдительности противника. Вот почему почти все вылазки, произведенные с 3-го бастиона против англичан, стоявших оплошно, были удачны и обходились без значительной для нас потери; тогда как

вылазки, направленные против французов, соблюдавших несравненно более осторожности, были менее удачны и стоили нам дороже. Из сказанного видно, что я лично не давал и не мог давать направления ротам Тобольского полка» [57].

Самое любопытное тут еще и то, что Меншиков не только совершенно голословно обвинял Баумгартена в неудаче вылазки, но выдумал самую «неудачу». Вот что пишет как раз об этой самой вылазке Тотлебен, бывший на месте, т. е. в Севастополе, на русской оборонительной линии: «Несмотря на ружейный огонь, тобольцы вскочили в траншеи и вступили с неприятелем в рукопашный бой, но, заметив прибывающие к неприятелю резервы, отступили на бастионы с потерей 7 убитых, 9 раненых и 6 контуженных».

Эти постоянные вылазки, где матросы Кошка и другие легендарные храбрецы были не исключением, а правилом, это ни на день не покидающее моряков и армейских одушевление необычайно подбодряли и помогали переносить все тяготы трудной зимы. Союзники страшились этих внезапных нападений,— и имели полное основание страшиться их: «Из землянок их вытаскивают арканами, три офицера английских были при этом случае задушены. С нашей стороны убито два офицера, 8 нижних чинов и 30 человек солдат ранено. Тобольский полк до того отважен, что сам Меншиков назвал их чертями, а не людьми. Пленные же говорят, что в этой вылазке было не пять рот, а три тысячи человек. Так их тобольцы отуманили. Дезертиров англичан и арабов очень много. Недавно вся передняя цепь около Черной речки с офицером передалась нам. Голод их притиснул на порядках. Говорили, что у них есть железная дорога от Балаклавы до Севастополя,— это вздор. Они уже не думают о нападении, а укрепляются для обороны около Балаклавы. Севастополь так укреплен, что и подумать о штурме было бы дерзостью. Все улицы перерезаны баррикадами, из которых каждая вооружена двумя чугунными пушками. По этому можете судить, что в Севастополе нет никакой опасности» [58]. Конечно, такой оптимизм был неоснователен; предстояла еще долгая борьба, и не мало молодых, рвавшихся в бой защитников Севастополя, вроде писавшего приведенные строки офицера, сложило свои головы в ближайшие месяцы.

«25-го (ноября 1854 г.— *Е. Т.*). Четверг.

...На днях была молодецкая выходка черноморских казаков. В ночь с 24-го на 25-е охотники 8-го батальона с одним эсаулом отправились через Килен-балку высматривать неприятеля и, отчаянные, забрались так далеко, что перехватили английский патруль из 6 человек на Сапун-горе, шедший из нижнего редута в верхний. Казаки их вмиг связали и потащили с собой; между тем у англичан поднялась тревога, и погнались за ними.

Тогда казаки бросились в овраг и по нему спустились к рейду, почти против нижнего маяка, где кликнули с парохода лодку и на ней благополучно вернулись в город со всею добычею. Князь пожаловал 2 креста, а остальным денежное награждение.

Сегодня ночью был первый мороз, градуса полтора, но день был чудный, на солнце очень тепло и, к несчастью, совершенный штиль. Васильчиков прекрасно исправляет свою должность в крепости, завел гораздо более порядка и единства в распоряжениях...» [59]

«Сегодня ночью молодец лейтенант Бирюлев сделал прекрасную вылазку. Цель ее была следующая. В прошлую ночь французы выбили наших 12 человек штуцерных, занимавших завалы на мысу, образуемом двумя балками против левого фаса 4-го бастиона. Подкрепления близко держать было невозможно, ибо этот резерв был бы подвержен сильному неприятельскому огню. Поэтому штуцерные наши принуждены были отступить, а французы успели до утра ложироваться в этих завалах и в течение вчерашнего дня довольно вредили батареям левее 4-го бастиона и грибка; поэтому необходимо было их выбить оттуда, что Бирюлев и прекрасно исполнил, хотя с чувствительною потерею, ибо бой был весьма упорный и длился час с четвертью. Его отряд состоял из охотников следующих частей: 75 человек Охотского полка, 75 человек Волынского, 75 Волынского резервного батальона, 45 матросов и 80 человек рабочих; от каждой части было по одному офицеру. Молодцы наши спустились с правой части 3-го бастиона, вмиг выбили французов из завалов, и рабочие тотчас же приступили к переделке завалов для себя, пользуясь неприятельскими турами, но французы открыли сильный ружейный огонь из своих траншей. Тогда Бирюлев, чтобы дать возможность продолжать работу, бросился со своим отрядом в траншею, где пошла страшная рукопашная схватка, и наши дошли до второго зигзага, но, опасаясь быть обойденным, Бирюлев приказал отступить из траншей до наших рабочих. Тут было несколько минут спокойствия, покуда французы не возвратились в свою передовую траншею и опять открыли батальный огонь. Тогда Бирюлев снова бросился в траншею, и снова гнал неприятеля до третьего зигзага, после чего возвратился к рабочим. Этот необходимый маневр продолжался до тех пор, покуда завалы не были окончены; всего наши 6 раз бросались в траншею и потом вернулись на бастион, оставив в завалах 12 человек штуцерных, которые просидели в них до рассвета. В это время, пользуясь мелким снежком, человек 50 французов стали к ним подкрадываться; разумеется, нашим нельзя было далее оставаться,— они дали залп и потом быстро отступили. Вслед за тем с наших батарей открыли сильный картечный огонь, которым тотчас же заставили французов отсту-

нить: таким образом, эти спорные завалы остались в течение всего сегодняшнего дня незанятыми, а с сумерками штуцерные наши должны были в них вернуться,— резерв будет готов для подкрепления в случае надобности. Весь этот подробный рассказ — со слов самого лихого Бирюлева. Он не может довольно нахвалиться примерною храбростью своего отряда, как моряков, так и сухопутных; они все лезли вперед, и он принужден был беспрестанно их останавливать. Он крайне сожалеет об убитом прапорщике Волынского полка; кроме него у нас убито 5 и ранено 34, бо́льшая часть легко, в том числе известный удалец — матрос 35-го экипажа, про которого мы тебе рассказывали,— Кошка,— штыком в желудок. Мы его видели уже сидячим на кровати, и вечером хочет назад идти на бастион. Товарищ его — храбрец, подобный ему, пал сегодня превосходною смертью. Бирюлев мне говорил, как это было. Он видел, как один француз в него уже прицелился, и сам хотел выстрелить из пистолета; в этот самый момент кто-то его толкнул по руке, и он увидал между собою и французом этого матроса; в ту же минуту раздался выстрел, и несчастный матрос упал к его ногам, успел только перекреститься и испустил дух. Героическая смерть! Вечная ему память! Пуля пронизала ему грудь насквозь и ударилась о шинель Бирюлева. В плен взяли двух тяжело раненых офицеров и 4 солдат — и 2 солдат целыми»[60].

8

Непосредственным начальником севастопольского гарнизона, как сказано, с 28 ноября 1854 г. состоял Остен-Сакен, а Нахимов долго был лишь его «помощником» и должен был с ним считаться.

Остен-Сакен, в полную противоположность Меншикову, все же был справедлив и никогда не сомневался в героизме защитников Севастополя. Он только выражал свой восторг удивительно нелепой риторикой: «Кровавая драма приближается к развязке. Провидение, очевидно, хранит нас. Идеальные войска наши исполнены изумительного терпения, усердия и самоотвержения. Это — гладиаторы храбростью, с той разницей, что гладиаторы-идолопоклонники жаждали рукоплесканий весталок и других зрителей, а наши, подвизаясь за веру, царя и отечество, ожидают царствия небесного». Что-то такое некогда запало в эту тугую голову о гладиаторах и весталках, а тут внезапно и вынырнуло. Но во всяком случае ясно, что генерал очень хотел похвалить матросов и солдат. Зато об их начальстве Остен-Сакен пишет совсем другое: «Генералы наши, исключая единицы, не соответствуют офицерам и солдатам»[61]. И в этом он тоже вполне прав, хотя себя самого, конечно, причисляет

к этим «единицам», составляющим отрадное исключение (в чем он решительно заблуждался).

Вот показание одного из защитников Севастополя об Остен-Сакене. Оно дает довольно отчетливое представление об этом человеке, в руках которого, кстати будь сказано, была и верховная военная власть над Севастополем с момента отъезда Меншикова, т. е. от 16 февраля, до 10 марта 1855 г.— до приезда Горчакова[62]. «Не давай Сакен рецептов в полки и на бастионы, как делать шипучий квас, и не снабжай всех „верными" средствами противу холеры, никто и не подозревал бы его существования в Севастополе. Он жил в четырех стенах прекрасной квартиры в Ник[олаевской] батарее, своды над которой ежедневно *посыпали* [страха ради] *бомбами*; на бастионы показывался не более четырех раз во все время, и то в менее опасные места, а внутренняя его жизнь заключалась в чтении акафистов, в слушании обеден и в беседах с попами»[63].

Вот кому должны были повиноваться и Нахимов, и Тотлебен, и Александр Хрущов, и Степан Хрулев (которому завидовал и которого ненавидел Остен-Сакен), и адмирал Истомин, который с таким гневом говорил о верховном «руководстве» обороной. Матросы и солдаты мало знали и не любили Меншикова, еще меньше знали и тоже не любили Горчакова; Остен-Сакена они не могли ни любить, ни ненавидеть: они просто не имели никакого представления о самом факте его бытия на свете.

«Все понимают, что можно молиться богу, но тем не менее должно исполнять и другие обязанности — служебные, например»,— говорит ежедневно наблюдавший Остен-Сакена полковник Меньков. А именно служебных-то обязанностей набожный Дмитрий Ерофеевич и не исполнял, *ничего в войне не понимал*, останавливался «на тех мелочах и вздорах, которые никогда и в голову не придут человеку, истинно занятому делом»[64].

«Не крепок стал Ерофеич, выдохся»,— говорил о нем князь Меншиков, неутомимый в вышучивании своих генералов.

Николай после Инкермана уже совсем мало надеялся на Меншикова. Поведение князя во время битвы и особенно после нее стало ему тотчас известно, и он прямо растерялся. К кому обратиться? Царь уже тогда, по-видимому, думал о замене Меншикова Михаилом Горчаковым. Вот что говорит нам милютинская рукопись об этих ноябрьских тревогах Николая. «В то же время государь, сообщая генерал-адъютанту князю Горчакову свои опасения за настроение духа князя Меншикова, выразился так: „Признаюсь, такое направление мыслей его меня ужасает за последствия. Неужели мы должны лишиться Севастополя после такой крепкой защиты... и с падением Севастополя дожить до всех тех последствий, которые легко предвидеть

можно от подобного события. Страшно и подумать"». Государь спрашивал мнения князя Горчакова насчет дальнейшего ведения дел в случае несчастного исхода обороны Севастополя. Умный, внимательный, компетентнейший свидетель, бывший в центре событий Д. А. Милютин, зорко наблюдая царя эти последние четыре месяца его жизни, видел ясно, что Николай уже никому, кроме себя самого, не доверяет, но вместе с тем Милютин не усматривал от этого личного вмешательства государя никакой пользы: «В описываемую эпоху, более чем когда-либо, Николай принимал на себя лично инициативу всех военных распоряжений. Почти каждый вечер из кабинета государя присылались к военному министру целые тетради мелко исписанных собственноручно его величеством листов, которые сейчас же разбирались (не без труда — *Е. Т.*) в состоявшей при князе Долгорукове маленькой канцелярии; поспешно снимались копии, делались выписки для передачи в подлежащие департаменты к исполнению и т. д. Собственноручные эти записки императора заключали в себе самые подробные указания относительно формирования войск, снабжения их, распределения и т. д. Государь с необыкновенной отчетливостью следил за распоряжениями местных начальников, за передвижением каждого батальона и часто в своих записках входил в такие подробности, которые только связывали руки начальников и затрудняли их, тем более что при тогдашних средствах связи повеления государя доходили поздно до отдаленных местностей, когда по изменившимся обстоятельствам полученные высочайшие указания оказывались уже совершенно несвоевременными» [65].

19 января Меншиков получил в отправленном еще 7 января из Петербурга письме верного своего клеврета и осведомителя Краббе крайне неутешительные вести о решительном негодовании, которое во многих влиятельных лицах (вроде генерал-адмирала вел. кн. Костантина Николаевича и других) возбуждают как действия, так и бездействие Александра Сергеевича в Крыму. Вот что прочел главнокомандующий: «...пользуюсь настоящим случаем, чтобы написать к вашей светлости... Перед началом письма я попрошу у вас извинения в том, что, может быть, каждая строка будет вас оскорблять и сердить, но я решился (передать — *Е. Т.*) вашей светлости несправедливые наветы старших и почти общий говор публики собственно для ваших соображений и из глубокой и безотчетной любви и преданности к вам. Здесь по-прежнему существует и растет лютая партия ваших противников, из которых главные суть: Нессельроде, Киселев, Ливен и пр.; к ним пристал военный министр. Все они пользуются разными неправдами, чтобы поддерживать неудовольствие на вас государя, дошедшее в настоящее время до крайних пределов, так что он

дозволяет себе следующее выражение: что подло со стороны Меншикова сваливать свою бездарность на войска, превосходные во всех отношениях, тогда как перед ним неприятель находится в полуголодном и полузамерзшем положении. Почти все приезжающие сюда из Севастополя подделываются под лад, рассказывают бог знает что и, в том числе, ваше неверие в бога и решительное неумение обращаться с войсками; что же касается до некоторых, как, например, Ден и Попов, то ихним площадным ругательствам нет ни меры, ни конца, и все это почти одобряется свыше. К этому прибавить нужно, что петербургские гости со свитою тоже не отстают от других, и это дошло до того, что Н. Н. в дамском обществе рассказывал, что *они* поправили ваше сердце и сделали вашу светлость лучше, чем вы были доселе, ибо наговорили вам таких вещей и такой правды, от коих вы заплакали. Приезд Шеншина произвел здесь неожиданное волнение, и его словесное объявление об отречении вашем от командования войсками породило новые неудовольствия, по поводу которых фельдмаршал Паскевич, в коего к несчастью продолжают веровать, настаивал даже, чтобы нарядили генеральную комиссию судить вас за ваши действия. Но что всего досаднее, так это то, что Орлов и даже генерал-адмирал, который до некоторой степени держал вашу сторону, поддались общему ослеплению и также негодуют на действия вашей светлости. Вот какими манерами и исключительным содействием стараются помогать человеку, которого сами же связали во всех действиях и которому не давали в свое время почти никаких средств, но который между тем с честью и гениально вышел из почти безвыходного положения. Публика, как стадо баранов, следует по направлению, указываемому вашими врагами. Здесь все распоряжения правительства делаются в дамском кругу, которые все новости, полученные с театра войны, и политические передают сейчас же Мюнстеру [66]. Бог знает, чем все это кончится, но будущее для России вовсе неутешительное» [67].

Если бы еще нужно было толкать Меншикова к решительному шагу, то это письмо могло бы сыграть такую роль.

9

При петербургском дворе невеселая зима 1854/55 г., начавшаяся запоздалыми (искусственно задерживаемыми) известиями об Инкермане и кончившаяся Евпаторией и смертью царя, прошла в пересудах о жестокой, хоть и вполголоса высказываемой критике. «Что это за дело 25 октября (sic! вместо 24 октября — *Е. Т.*)! Соймонов был храбрым из храбрых, и его дивизия была самой лучшей в армии. Говорят, что Горча-

ков (М. Д.— *Е. Т.*) плакал, узнав о бесполезном истреблении людей», пишет своему брату П. К. Мейендорф из Петербурга 27 ноября 1854 г. Он возмущается тем, что у Меншикова нет даже штаба, и приписывает это доходящему до нелепости оригинальничанью князя (il pousse l'originalité jusqu'à la déraison). «Генералов не предупреждают об операциях, которые им предстоит выполнить», и во время боя главнокомандующий остается пассивным зрителем бесполезной бойни. Петр Казимирович Мейендорф не верит в близость мира: «Если Луи-Наполеон хочет мира, мы будем его иметь, если нет — нет. Вот авантюрист, сделавшийся самым грозным человеком на свете, человеком, которого все боятся... В Англии, несмотря на недостаток людей, будут продолжать войну, лишь бы не возбудить неудовольствия Луи-Наполеона, скорее дадут ему субсидию в десять миллионов фунтов стерлингов. В Вене боятся Франции, в Берлине — Англии, нас же никто больше не боится... И тут (при дворе — *Е. Т.*) есть люди, настолько слепые, что не видят этого». Паскевич теперь уже не скрывал всегдашних своих мнений, как он это так долго делал: «Фельдмаршал громко говорит, что абсурдно желать воевать со всей Европой и защищать границу, которая простирается от Баязета до Торнео. Много людей того же мнения. Но мало таких, которые столь же откровенно осмеливаются его высказывать: другие говорят, что он трус и сумасшедший. Ты знаешь этих людей, которые никогда ничего не делали и присваивают себе право судить обо всем безапелляционно. Наглость, помноженная на невежество. Грустно об этом думать» [68].

За два дня до своей смерти Николай I сменил, наконец, Меншикова и назначил главнокомандующим князя М. Д. Горчакова. Вплоть до приезда Горчакова Остен-Сакен был вершителем судеб, да и потом продолжал влиять на дела.

«Сакен оказался дрянь. О Горчакове в Севастополе еще ничего нельзя сказать, но Хлебников, бывший при нем два года, не слишком хвалит его. Говорит, что, может быть, мы Меншикова пожалеем» [69],— таково было мнение, широко распространенное об Остен-Сакене в офицерской массе.

И в качестве помощника начальника севастопольского гарнизона Остен-Сакена и затем, со 2 марта 1855 г., в качестве начальника порта и военного губернатора Нахимов и днем и ночью мелькал на бастионах именно в самых опасных, самых слабых пунктах, распоряжаясь всегда умно, с глубоким знанием дела, отдавая приказы, контролируя лично их исполнение.

И в местное свое начальство и в петербургское он совсем не верил. «Переписки он терпеть не мог, а запросов министерства просто боялся. В это время Павла Степановича можно было

назвать душой обороны — он постоянно объезжал бастионы, справлялся, кому что надо, кому снаряды, кому артиллерийскую прислугу и прочее. И постоянно надо было торопиться, чтобы за ночь исправить то, что разрушил неприятель» [70].

Ночевал он где придется, спал не раздеваясь, потому что собственную свою квартиру отвел под лазарет для раненых, а «личные деньги адмирала шли на помощь отъезжающим семействам моряков». Для матросов и солдат было нравственной опорой и радостью каждое появление Нахимова на их бастионе.

Техническая оснащенность неприятеля значительно превосходила нашу,— это сказывалось на каждом шагу, и с этим ничего нельзя было поделать.

Нахимов доносил Меншикову 16 февраля 1855 г.: «В последние дни, после заката солнца, когда в Севастополе наступает совершенная тишина в воздухе, из траншей, раскинутых за бастионом Корнилова, неприятель бросает к нам конгревовы ракеты; вчера он выпустил до 60 и, как казалось, с трех станков... Донося о сем вашей светлости, имею честь присовокупить, что ракеты, бросаемые неприятелем, преимущественно разрывные, с сильным зажигательным составом, а дальность полета простирается до двух тысяч сажен». Одна из этих ракет, пролетев 5 верст, упала в Северную сторону и врылась в землю на $3^1/_2$ фута [71]. По другому официальному свидетельству (Константинова, состоявшего при штабе Горчакова), «ракеты, пускаемые неприятелем в Севастополь, представляют изумительную силу действия: с пятиверстного расстояния всякий раз попадают почти в одно и то же место, близко желанной цели» [72].

По французским данным, эти ракеты били дальше: на 7 километров. А у нас «наибольшие дальности мортир сухопутной артиллерии при полных зарядах составляли от 997 до 1085 сажен», т. е. немногим более двух верст... [73]

Нахимов на военных советах настойчиво высказывался о необходимости вести оборону, пока жив хоть один моряк, в то время как Горчаков, старик, выживший из ума, чуждый флоту, только чиновник, вступив в управление армией и видя большую потерю людей в Севастополе, задался целью на свой страх бросить Севастополь. «Отсюда трагизм осажденных»,— пишет в своих проникнутых горечью черновых заметках участник обороны Ухтомский. Истомин был вне себя от гнева, испытывая постоянные отказы и задержки в ответ на требования средств на оборону. Но беспокойные люди вроде Истомина или Нахимова скоро умолкли, так как долго на свете не заживались — в прямую противоположность хотя бы тому же Д. Е. Остен-Сакену, который родился в год начала французской револю-

ции — 1789, прослужил на военной службе сряду 76 лет, сподобился умереть в 1881 г. 92 лет от роду и ни разу не был ни ранен, ни даже контужен, так как смолоду «умел беречь себя для отечества» (по глубокомысленной догадке пораженного этим отрадным фактом автора одной некрологической заметки о Дмитрии Ерофеевиче).

В этом отношении Остен-Сакенам и Меншиковым вообще везло, а Нахимовым — нисколько. Впоследствии, отмечу кстати, льстец и карьерист Комовский, делавший карьеру при Меншикове и очень хорошо знавший, как относился Нахимов к князю и его клевретам, не мог скрыть своей радости по поводу гибели Нахимова. Сообщая о смертельной ране Нахимова, Комовский делится с Меншиковым своим счастливым мистико-религиозным открытием: оказывается, само небо аккуратно убирает прочь тех адмиралов, которые непочтительно относятся к князю Александру Сергеевичу! «Странное дело: очереди его (Нахимова — *Е. Т.*) я ждал, хотя поистине считал большой утратой его потерю... Но ожидал потому, что по наблюдению заметил, что все пессимисты и порицатели вашей светлости как-то не сберегались судьбой» [74]. Вот почему после Истомина Комовский и стал поджидать гибели Нахимова. Он мог бы привести еще и Корнилова для полноты доказательств в пользу своего интересного «открытия», не говоря уже о десятках тысяч погибших в Севастополе матросов и солдат, тоже порицавших его светлость.

2 марта 1855 г. Нахимов, бывший до сих пор помощником начальника гарнизона, был назначен командиром Севастопольского порта и военным губернатором города Севастополя,— а через пять дней его и защищаемый им город постиг тяжелый удар: 7 марта, когда начальник Корниловского бастиона на Малаховом кургане адмирал Владимир Иванович Истомин шел от Камчатского люнета к себе на Малахов курган, у него ядром оторвало голову.

Вот как Остен-Сакен писал об этом военному министру: «Сегодня Севастопольский гарнизон имел несчастие лишиться начальника 4-го отделения оборонительной линии, контр-адмирала Истомина. Потеря этого блистательно-храброго, распорядительного, исполненного рвения молодого генерала, подававшего прекрасные надежды, чувствительна для флота и Севастопольского гарнизона, о чем с грустью в душе имею честь донести вашему сиятельству. В 10 часов утра контр-адмирал Истомин после осмотра работ в строящемся Камчатском редуте, возвращаясь на Корниловский бастион, поражен был в голову ядром, направленным на помянутый редут. Вице-адмирал Нахимов приготовил для себя место в соборе св. Владимира близ вице-адмирала Корнилова, но как Истомин перешел в вечность прежде его, то первый уступил ему место» [75]

«Неприятель настойчиво, не жалея людей, усиливает осаду; несколько уже ночей сряду происходит кровопролитный рукопашный бой, и благословением божиим русский штык одолевает, и неприятель отбрасывается и преследуется по пятам в его траншеи. Усердие и бдительность главных начальников и офицеров и самоотвержение войск изумительны»,— доносил в тот же день 7 (19) марта 1855 г. Остен-Сакен в Петербург [76].

Смерть Истомина была тяжким ударом для обороны Севастополя, и Нахимов, снова вторя своей тайной мысли, которая, впрочем, для окружающих его уже перестала быть тайной, говорил о могиле, которую «берег для себя», но уступает теперь Истомину. Он не желал пережить Севастополь и не верил, что Севастополь устоит. И место возле Лазарева и Корнилова было единственной «собственностью», которой он дорожил. Вот письмо, которым он извещал Константина Истомина о смерти его брата:

«Общий наш друг Владимир Истомин убит неприятельским ядром. Вы знали наши дружеские с ним отношения, и потому я не стану говорить о своих чувствах, о своей глубокой скорби при вести о его смерти. Спешу вам только передать об общем участии, которое возбудила во всех потеря товарища и начальника, всеми любимого. Оборона Севастополя потеряла в нем одного из своих главных деятелей, воодушевленного постоянно благородною энергиею и геройской решительностью: даже враги наши удивляются грозным сооружениям Корнилова бастиона и всей четвертой дистанции, на которую был избран покойный, как на пост, самый важный и вместе самый слабый.

По единодушному желанию всех нас, бывших его сослуживцев, мы погребли тело его в почетной и священной могиле для черноморских моряков, в том склепе, где лежит прах незабвенного адмирала Михаила Петровича (Лазарева — *Е. Т.*) и первая, вместе высокая жертва защиты Севастополя — покойный Владимир Алексеевич (Корнилов — *Е. Т.*). Я берег это место для себя, но решил уступить ему.

Извещая вас, любезный друг, об этом горестном для всех нас событии, я надеюсь, что для вас будет отрадной мыслью знать наше участие и любовь к покойному Владимиру Ивановичу, который жил и умер завидною смертию героя. Три праха в склепе Владимирского собора будут служить святынею для всех настоящих и будущих моряков Черноморского флота. Посылаю вам кусок георгиевской ленты, бывшей на шее у покойного в день его смерти; самый же крест разбит на мелкие части. Подробный отчет о его деньгах и вещах я не замедлю переслать к вам» [77].

«Четверка», которая в первое же время бомбардирования 5 октября 1854 г. превратилась в тройку, теперь уменьшилась

еще на одну единицу. За Корниловым пал Истомин. И так же как никто со стороны не заменил Корнилова, не оказалось равноценной замены и Истомину. Нахимову и Тотлебену пришлось лишь взять на себя добавочную нагрузку.

10

Хрулев, Хрущов, Васильчиков, а главное, самое важное, матросы, солдаты, землекопы — рабочие в своей массе — вот на кого, как и прежде, возлагали свои надежды Нахимов и Тотлебен. Надежды на что? Нахимов надеялся главным образом на максимальное продление обороны и на свою смерть под развалинами Севастополя, хоть и подбадривал своих моряков и искусно скрывал от них свои мрачные мысли. На таланты же нового главнокомандующего, князя Горчакова, ни он, ни Тотлебен никаких упований не возлагали.

Вот что говорил о князе Михаиле Дмитриевиче умный, дельный и очень наблюдательный Николай Васильевич Берг, близко присматривавшийся к нему и в Севастополе, и позднее, в Польше: «Горчаков питал слабость к аристократам всех наций потому, что сам был аристократ, потому что с самых ранних лет наслушался от отца и матери, от всех тетушек, дядюшек, бабушек и дедушек, что аристократы — особые люди земного шара, белая кость, создаются из другого, лучшего и благороднейшего материала, чем плебеи; а плебеи — это... как бы даже и не люди, а что-то низшее в иерархии животных, род орангутангов или шимпанзе» [78].

Другие отзывы были еще выразительнее:

«Ветхий, рассеянный, путающийся в словах и в мыслях старец, носивший это громкое название, был менее всего похож на главнокомандующего. Зрение его было тогда до такой степени слабо, что он не узнал третьего от себя лица за обедом... Слух или, точнее сказать: весь организм... был сильно временами расстроен...» Хуже всего было то, что он и в самом деле не умел говорить по-русски так, чтобы его можно было понять: «Случалось, что казак, не расслышав хорошо, что пробормотал ему своим невыразительным языком главнокомандующий и не смея переспрашивать, приводил его вовсе не туда, куда было приказано, а к кому-нибудь другому... Точно так же носило его иногда по севастопольским батареям, бог ведает зачем: кого он там воодушевлял, этот непопулярный, никому из солдат и матросов неизвестный генерал?.. А уезжая, он мурлыкал обыкновенно про себя какую-нибудь французскую песню, чаще всего слыхали: „Je suis soldat français“ („Я французский солдат“). Немудрено, что в Севастополе очень скоро стали говорить: „А все-таки у нас нет главнокомандующего!“» [79]

«Могла ли армия относиться надлежащим образом к начальнику, над которым все поминутно смеялись?» — вопрошает очевидец [80].

Правда, «вещи познаются путем сравнения», и на взгляд многих Горчаков производил все же лучшее впечатление, чем его предшественник,— так судил о нем Пирогов.

«Горчаков скуп, как старая мумия Меншиков, но не такой резкий и мрачный эгоист, как тот... Бывало, Меншиков сидел скрытный, молчаливый, таинственный, как могила, наблюдал только погоду и в течение полугода искал спасения для русской армии только в стихиях; холодный и немилосердный к страждущим, он только насмешливо улыбался, если ему жаловались на их нужды и лишения, и отвечал, что „прежде еще хуже бывало“»,— так писал Пирогов доктору Зейдлицу, с которым был откровенен. Это большое письмо помечено тремя днями: 16, 17 и 19 марта 1855 г. [81]

Показание его очень характерно. В своих записках и в письмах к другим лицам великий хирург был обыкновенно не так откровенен.

Говоря о Пирогове, нельзя не упомянуть о самоотверженных женщинах, помогавших ему в Севастополе. Как высоко ценили Пирогова и сестер милосердия Нахимов и его матросы и солдаты, которых он так часто навещал в лазаретах!

Сестры милосердия, организованные и присланные Еленой Павловной, работали усердно и самоотверженно. Но что они могли поделать и что мог существенно изменить их шеф Пирогов, когда суммы, отпущенные на госпитали, невозбранно разворовывались и интендантами, и заправилами медицинской части, и большими хозяйственниками-генералами, и скромными смотрителями госпиталей? Вот что писали очевидцы: «Если великая княгиня пришлет спросить, то скажи, что ее сестры до сих пор оказались так ревностны, как только можно требовать: день и ночь в госпитале; двое занемогли. Они поставили госпитали вверх дном, заботятся о пище, питье — просто чудо; раздают чай, вино, которое я им дал. Если так пойдет, если их ревность не остынет, то наши госпитали будут похожи на дело. Несмотря на все это, худое начало не исправляется легко. В Симферополе лежат еще больные в непокое: соломы для тюфяков нет, и старая, полусгнившая солома слегка по́том высушивается и снова употребляется для тюфяков; соломы здесь уже совсем нет (в Севастополе — *Е. Т.*), пуд сена стоит 1 руб. 75 коп. В открытых телегах, без тулупов, везут больных в течение 7 дней из Симферополя в Перекоп; они остаются без ночлега, на чистом поле или в нетопленных татарских избах, остаются иногда дня по 3 без еды и привара, а если будет еще новое дело, то бог знает, что сделается с ранеными... Корпии и пере-

вязочных средств никогда не будет довольно для раненых. Бинты едва моются и мокрые накладываются»[82]. Меншиков знал, как чудовищно почти все вокруг него обворовывают не только госпитали, но и казну вообще, не только раненых, но и здоровых, и просто терялся, сознавая свою полную беспомощность. Когда Горчаков из Южной армии согласился послать Меншикову интенданта, о котором носился изумительнейший слух, что он не ворует, то князь Александр Сергеевич был просто вне себя от счастья, и вот в каких *абсолютно* ему не свойственных выражениях этот гордый, небрежно и высокомерно ко всем относившийся вельможа благодарил М. Д. Горчакова: «Я бросаюсь к ногам вашим, дорогой и превосходный друг, за посылку вашего славного интенданта, которого я жду как мессию!»[83]

Нечего и прибавлять, что прибытие интендантского мессии не внесло уследимых перемен ни в дело снабжения Крымской армии, ни в быт госпиталей.

В своих эпически спокойных, ни в малейшей степени не обличительных по тону и замыслу записках проделавший всю кампанию доктор Генрици, между прочим, рассказывает, как складывался «быт» лазаретов вне Севастополя. В конце апреля 1855 г. Генрици был назначен дивизионным врачом в 17-ю дивизию. Он нашел *две тысячи* раненых, лежавших либо на соломе, либо на солдатских вещах. Вот эти две тысячи больных людей «могли рассчитывать на помощь от одного доктора Смирнова, жившего в конюшне на антресолях, с которых не легко было слезать, а еще труднее было на них взбираться». У этого *единственного* доктора в распоряжении был *единственный* инструмент: «изломанный ланцет, но и тот составлял собственность одного фельдшера». «О продовольственной части не стоит много говорить»,— лаконично добавлял Генрици[84].

Доктора, фельдшера, сестры милосердия работали, в большинстве, с упорством и самоотвержением и гибли от болезней и бомб и в Севастополе и вне его. Вот одна из обыденных зарисовок:

«Умелая и опытная сестра милосердия Крестовоздвиженской общины показывала своей молодой сотруднице из вновь прибывших практические приемы перевязки. Внимательно слушала молодая женщина делаемые ей указания; с благодарностью глядел на них раненый солдат, страдания которого были облегчены ловко сделанной перевязкой. Его нога находилась еще в руках сестры, но раздался зловещий крик: бомба! и не успели присутствовавшие оглянуться, как она упала посреди их, а от обеих сестер и от раненого солдата остались разорванные на клочья трупы»[85]. Так сложился быт медицинского персонала в послед-

ние месяцы осады, когда буквально ни одного места, сколько-нибудь безопасного, во всем Севастополе уже не оставалось.

Но и медицинский персонал, как и весь гарнизон, старался «равняться по Павлу Степановичу», как принято было выражаться в осажденном городе.

11

Горчаков знал, как не терпели солдаты и матросы его предшественника, и ему хотелось быть приветливее, ободрять людей на бастионах и в поле. Но он не знал, как это делается и как превозмочь при этом одну досадную трудность.

Дело в том, что по-французски князь Горчаков объяснялся ничуть не хуже, например, маршала Пелисье или Наполеона III, но уж зато как раз именно русский язык ему не давался — хоть брось, несмотря на искреннее и давнишнее желание князя Михаила Дмитриевича одолеть этот, правда, несколько трудный, но безусловно полезный для русского главнокомандующего язык.

«Я спросил, на каком языке князь Горчаков говорил свои нежные приветствия (войскам — *Е. Т.*), ибо на природном даже не каждый его понимает», так отозвался старый Ермолов, когда при нем заметили, что Горчаков более приветлив с войсками, чем Меншиков [86].

Главнокомандующий князь Горчаков почти не появлялся на бастионах, а когда и бывал, то, «проходя быстро, благодарил солдат, но говорил при этом так тихо, что не был расслышан», и солдаты, по-видимому, недоумевали, кто это такой и что ему от них нужно. Да и вообще он вел себя в эти неприятные и редчайшие для него секунды скорее как любознательный путешественник. «На исходящем углу бастиона Горчаков посмотрел через амбразуру и спросил меня: „Что это за мешки впереди бастиона?“ — „Французские окопы“.— „Так близко?“ — „Около тридцати шагов от траншей за воронками“». По-видимому, этим ответом любопытство князя Горчакова было настолько полно удовлетворено, что он отбыл без дальнейшей потери времени и на этом бастионе больше уже не удосужился побывать. Но зато «вечером прибыл адмирал Нахимов; мы беззаботно прохаживались с ним по батарее под градом пуль и бомб,— последних одних насчитывали до двухсот» [87].

Этот страшный четвертый бастион, центр второго отделения оборонительной линии Севастополя, был для Нахимова местом почти ежедневной «прогулки», и обреченные почти на неизбежную гибель солдаты и матросы-артиллеристы сияли, когда видели своего любимца, и не только потому, что «через него все требования удовлетворялись без всякого промедления», как свидетельствует командир бастиона, но прежде всего потому, что их просто как бы гипнотизировала та невероятная беспечность,

полнейшая беззаботность, самое вызывающее презрение к смертельной *опасности*, которые Нахимов всегда выказывал на глазах у всех. Он не позволял солдатам и матросам показываться из блиндажей, а сам гулял на ничем не прикрытом месте,— и это на том бастионе, который находился в нескольких десятках саженей от французских стрелков, бивших ядрами, бомбами, штуцерными пулями по этому укреплению.

27 марта 1855 г. Нахимов был произведен в полные адмиралы. В своем приказе по Севастопольскому порту от 12 апреля Нахимов писал: «Матросы! Мне ли говорить вам о ваших подвигах на защиту родного нам Севастополя и флота? Я с юных лет был постоянным свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию. Мы сдружились давно, я горжусь вами с детства...»

Нахимова любили все, даже те, на кого он часто кричал и топал ногами за лень, за оплошность, нерадение или опоздание. Но даже очень любившие адмирала иногда укоряли его в том, что он не умел в полной мере воспользоваться колоссальным авторитетом, который он приобрел. С гневом и презрением наблюдал он за гнуснейшим, необъятным воровством интендантов и провиантмейстеров, но был бессилен заставить Меншикова, а потом лично честных Горчакова, Семякина, Остен-Сакена, Коцебу круто и беспощадно расправиться хоть с кем-нибудь из этих воров, подтачивавших оборону Севастополя в помощь французским и английским бомбам. Точно так же он делал все возможное и невозможное, чтобы поправить ошибки бездарного начальства, но оказывался не в силах воспрепятствовать этим ошибкам. Он умно и глубоко продуманно организовал систематическую защиту Камчатского люнета и лично, как увидим, чуть не погиб 26 мая 1855 г. при падении этого люнета,— но он не мог заставить верховное командование отказаться от самой мысли о сооружении, например, некоторых ложементов перед первым редутом. Генерал Александр Петрович Хрущов, которому было велено защищать эти ложементы, знал, что ему дают приказ, который кончится гибелью массы людей и безусловной и скорой потерей ложементов [88]. Он выполнил приказ, не скрыв от передававшего этот приказ Остен-Сакена, что крайне трудно будет отстоять эти ложементы.

После кровавой борьбы и тяжелых русских потерь эти новые, наиболее близкие к неприятелю ложементы, просуществовавшие в законченном виде девять дней, были в ночь на 20 апреля взяты французами. Хрущов не посмел настоять на своем — удержать Горчакова и Остен-Сакена. А мог ли сделать это несравненно более авторитетный, увенчанный громкой славой Нахимов, который был для гарнизона, по всем показаниям, «царь и бог»? Одни севастопольцы думали, что в подобных слу-

чаях мог; другие — что не мог и что его бы все равно не послушали, несмотря на его могучий моральный и военный авторитет.

«Значение этого лица в севастопольской обороне было первостепенное. Нахимов... был одним из тех умов, которые понимают медленно, но, поняв, охватывают предмет со всех сторон, проникают его до малейших подробностей и усваивают в совершенстве. При своей простоте и открытости он был честен, бескорыстен, деятелен и имел самое неограниченное влияние на матросов». Он был душой обороны, «могучей физической силой обороны, которой мог двигать по произволу и которая в его руках могла творить чудеса». Нахимов распоряжался, как никто. «По званию главы Черноморского флота он был истинный хозяин Севастополя. Постоянно на укреплениях, вникая во все подробности их нужд и недостатков, он всегда устранял последние, а своим прямодушным вмешательством в ссоры генералов он настойчиво прекращал их»,— так пишет о Нахимове человек, который явно не предназначал свою рукопись к печати, потому что он тут же называет главнокомандующего Меншикова придворным шутом, а Николая — «восточным падишахом», который «покоился в сладкой уверенности своего всемогущества». Желчный, раздражительный, никому не верящий автор правдиво оценивал Нахимова и его историческую роль [89]. Но он совсем неосновательно приписывает Нахимову «медленность» понимания,— напротив, работа его мысли была необычайно быстра.

«То была колоссальная личность, гордость Черноморского флота! — говорит о Нахимове наблюдавший его ежедневно в последние месяцы его жизни полковник Меньков.— Необыкновенное самоотвержение, непонятное презрение к опасности, постоянная деятельность и готовность выше сил сделать все для спасения родного Севастополя и флота — были отличительные черты Павла Степановича!.. Упрямый, как бо́льшая часть моряков, во всех вопросах, где море и суша сходились на одних интересах, случись это хоть на Малаховом кургане, Павел Степанович всегда брал сторону своих». При том обожании, каким его всегда окружали матросы, он знал, чем их наказывать: «Одно его слово, сердитый, недовольный взгляд были выше всех строгостей для морской вольницы». И Меньков тоже настаивает, как и все источники, на том поведении Нахимова, которое особенно стало бросаться в глаза в последние месяцы его существования: «Начнут ли где стрелять сильнее обыкновенного, Павел Степанович тотчас настороже,— смотришь, на коне и несется к опасному месту. Раз встретил его барон Остен-Сакен и начал говорить: «Не бережете вы себя, Павел Степанович, жизнь ваша нужна России...» Павел Степанович внимательно слушал, махнул рукой, да в ответ ему: «Эх, ваше сиятельство, не то говорите

вы! Севастополь беречь следует, а убьют меня или вас — беда не велика-с! Вот беда, как убьют князя Васильчикова или Тотлебена. Вот это беда-с» [90]. Это Нахимов говорил о начальнике штаба гарнизона Викторе Васильчикове, умном, талантливом, храбрейшем генерале, которого Горчаков послал было к Меншикову после Альмы, но Меншиков встретил его «по своему неприветливому обычаю» (слова Менькова — *Е. Т.*) и выжил из армии, а тот прибыл после Инкермана вновь — и уж остался до конца. Но его должность, как и должность самого Нахимова, была подчиненная: Васильчиков был начальником штаба только гарнизона, а начальником штаба главнокомандующего был Коцебу, который заменил на этом посту Семякина.

Нахимову, Тотлебену, как и погибшим до Нахимова Корнилову и Истомину, как и Васильчикову, С. Хрулеву или А. Хрущову, никогда не пришлось достигнуть той иерархической вершины, на которой стояли Меншиков, Остен-Сакен, Михаил Горчаков.

Вот что писал весной 1855 г. о Нахимове и его роли в непрерывно бомбардируемом Севастополе человек, ежедневно наблюдавший адмирала: «О городе уже и говорить нечего: каким образом там есть еще целые дома и люди, в особенности каким образом остается невредимым наш неоцененный Павел Степанович Нахимов,— это решительно необъяснимо. Смело могу уверить вас, что надобно близко пожить от этого человека, чтобы оценить его вполне и узнать, до какой степени он человек необыкновенный и замечательный. Немного суровая оболочка, в которую, кажется, намеренно облекается его характер, обманывала и до сих пор обманывает весьма многих, даже самых умных и проницательных людей. Поэтому я вполне убежден, что он далеко не разгадан; мне кажется, что Павлу Степановичу можно даже сделать упрек в том, что он сам не хочет дать свободы всему объекту своих способностей,— он как-то упорно ограничивает себя ролью безусловного и даже иногда безмолвного исполнителя, будто бы умеющего только стоять и умирать, и постоянно отрицает в себе право судить о чем-либо другом, кроме морского дела. Между тем, в разговорах со своими, к числу коих я горжусь быть причисленным, он становится иногда другим человеком: являются проблески столь быстрой, строго логической оценки обстоятельств совершенно разнородных, иногда столь остроумные и иронические замечания, что невольно ожидаешь полного выражения невысказанного еще мнения, но иногда так же скоро снова является обычная оболочка, так что часто начатая мысль окончательно высказывается в последующем разговоре. Нахимова нельзя судить не только с первого раза, но даже с десятого, если какое-либо особенно удачное обстоятельство не выставит характера его в настоящем свете.

В особенности теперь,— при беспрестанных, не умолкающих ни днем, ни ночью тревогах и беспокойствах,— нельзя иметь верного понятия о том, как Павел Степанович умеет быть умен и мил, когда того захочет и когда не стесняют его отношения к тому лицу, которое с ним говорит. Надобно иметь в виду, что Нахимов не имел и не имеет другой семьи, кроме своего Черноморского флота, что он все остальное считает для себя если не чуждым, то по крайней мере неинтересным и недоступным, так что нельзя и ожидать, чтобы все не-моряки ценили его так, как должно и можно. К тому же он слишком мало льстит всякого рода основательным и неосновательным самолюбиям и, по-видимому, столь же мало дорожит посторонними для него мнениями. Вследствие сего, сколько мне кажется, только огромная его слава и невыразимо великое к нему доверие всех неискусников и нижних чинов всякого оружия освобождает его от всякого рода критик и порицаний. Я уже имел случай неоднократно высказывать, как меня удивляли собственно административные распоряжения Павла Степановича. Я удивлялся, пока не понял, что не вполне оценивал человека,— теперь же удивляюсь только свежести, быстроте и логичности его распоряжений, когда вспоминаю, в какие тревожные и озабоченные минуты выпрашиваются у него различного рода подписи и разрешения. Правда, что Павел Степанович мне беспрестанно, смеясь, говорит, что всякий день готовит материалы для предания его после войны строгому суду за бесчисленные отступления от форм и разные превышения власти, что он уже предоставил все свое имущество на съедение ревизионных комиссий и разных бухгалтерий и контролей. Почти наверное П. С. прав, и вы сами это знаете, что иначе и быть не может, но дело в том, что все идет, движется и удовлетворяется — и все исключительно через Нахимова и его собственное управление. Говоря об этом, не могу опять не упомянуть о том, какого деятеля и неутомимого помощника нашел П. С. в капитане 2 ранга Воеводском, дежурном штаб-офицере его штаба и командире 30-го флотского экипажа: с таким человеком приятно дело иметь. Вообще любопытно видеть вблизи и на самом деле стройность и полноту нашей морской администрации, несмотря на все ее недостатки. У моряков решительно нет ничего невозможного, и все здесь так явно и сильно воодушевляется душою и волею Нахимова, что невозможно не сознать вполне, что он действительно олицетворяет настоящую Севастопольскую эпоху,— ни я, ни все наши товарищи по морскому ведомству не понимают, что было и могло бы быть без него. О чем ни заговорите, о тех обстоятельствах, где вопрос идет о настоящем деле,— Нахимов везде, где нужна энергия воина, где может явиться сочувствующая душа и заботливость сердца, везде и всегда он первый — и часто единственный. Я уверен, что

когда-нибудь вполне оценят заслуги и высоконравственные достоинства этого редкого человека... сколько раз я слышал, что Нахимов может быть только homme d'action (человек действия). Прочтите его приказы, им самим писанные,— вы увидите, что он одушевляет перо точно так же, как и батареи. Трудно себе представить, какой радостный эффект сделало здесь между всеми производство П. С. в адмиралы; в особенности матросы и все нижние чины ликовали, как о собственной великой награде. У вас, вероятно, есть приказ, отданный Нахимовым по флоту к этому случаю. Его везде встречали толпами, несмотря на все его приказания людям не выходить из блиндажей; никакие запрещения и усилия тут не действовали. Я столь много распространился о Нахимове потому, что нельзя говорить о Севастополе, не имея нашего блистательного адмирала перед глазами на первом плане, и что теперь только я понимаю, через какие испытания и душевные волнения П. С. прошел со времени начатия Севастопольской осады» [91].

Могучее влияние Нахимова на гарнизон в эти последние месяцы его жизни казалось беспредельным. Матросов давно называли «нахимовскими львами», но и солдаты, которые только понаслышке знали о Нахимове, пока не попали на севастопольские бастионы, очень скоро стали на него смотреть так же, как рядом с ними сражавшиеся матросы.

«К концу обороны Севастополя не много моряков уцелело на батареях, но зато весело было смотреть на эти дивные обломки Черноморского флота. Уцелевшие на батареях моряки по преимуществу были комендоры при орудиях... Белая рубашка... Георгиевский крест на груди... Отвага, доблесть и удаль, соединенные с гордым сознанием собственного дела и совершенным презрением смерти, бесспорно давали им первое место в ряду славных защитников Севастополя». Так вспоминает о них полковник Меньков, бывший в Севастополе при штабе М. Д. Горчакова с середины марта до конца осады и имеющий поручение вести официальный дневник (журнал) военных операций.

Об этом нахимовском поколении моряков, почти полностью погибшем в Севастополе, не могли забыть и постоянно вспоминали и русские товарищи по обороне и неприятельские военачальники.

Глава X

БОРЬБА ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ АВСТРИЙСКОЙ ИМПЕРИИ К ЗАПАДНЫМ ДЕРЖАВАМ И ДОГОВОР 2 ДЕКАБРЯ 1854 г.

1

Сражение под Инкерманом произвело в лондонском и парижском кабинетах впечатление, не очень похожее на то, которое оба правительства старались через посредство своей прессы распространить в публике и внушить нейтральной Европе. Наступившее после Инкермана временное затишье в военных операциях ничуть не внесло успокоения, в котором оба союзных правительства очень нуждались после Инкермана. Во-первых, как раз подоспело, правда, очень издалека и с неизбежно большим опозданием, известие о неудачном (впоследствии газеты порадикальное писали даже «постыдном») предприятии союзного флота под Петропавловском-на-Камчатке,— и эта запоздавшая новость была крайне некстати и очень смутила общественное мнение в Англии и Франции. Во-вторых, неслыханная буря 14 ноября по тем бедам, которые она натворила у крымских берегов, по тем тяжким потерям, какие она причинила союзному флоту и транспортам с припасами, приравнивалась чуть ли не к проигранной морской битве. В-третьих, союзные войска, особенно английские, жестоко страдали и от холода, и от дождя и снегопада, постоянно сменявших друг друга в эту непривычно для Крыма суровую зиму. В-четвертых, сопротивление русских под Севастополем нисколько не ослабевало, и это доказывалось не только тем весьма элементарным и общепонятным фактом, не поддающимся никаким ухищренным истолкованиям, что союзники ровно никакими успехами в своих осадных работах похвалиться не могли, но и постоянными вылазками, на которые отваживался гарнизон. В-пятых, ни одного дня осажденный город не был отрезан от остальной России по той простой причине, что для плотного и прочного обложения его у союзников войск в Крыму было слишком недостаточно.

Все эти условия заставили английскую и французскую дипломатию с особенной энергией приступить к Францу-Иосифу с открытыми просьбами, завуалированными угрозами, и с не очень определенными, но очень заманчивыми обещаниями; присоединение Австрии, а за ней и возможное совместное присоединение всего Германского союза к борющейся против России коалиции могло бы очень сильно повлиять на ускорение хода военных действий и на достижение победы над страшным противником.

На другой день после сражения под Инкерманом, 6 ноября 1854 г., по курьезному совпадению именно в тот самый день, который союзники задолго (не зная, что их ждет 5-го числа) наметили как дату для общего штурма Севастополя, собрался экстренный военный совет союзных генералов. С французской стороны присутствовали: главнокомандующий Канробер и генералы Боске, Форе, Бизо, Мортанпре, полковник Трошю и вице-адмирал Брюа. С английской стороны — главнокомандующий лорд Раглан, генералы Бергойн, Ингланд, Эйри, Роз и вице-адмирал Лайонс.

Прежде всего должно было решить вопрос о штурме. Единогласно штурм был признан невозможным ни, конечно, в этот самый день 6 ноября, когда его было наметили, ни в ближайшем будущем вообще.

Итак, значит, предстояла долгая зима перед Севастополем с мрачной перспективой холодов, против которых не было настоящих убежищ, русских вылазок, русского ответного огня, наконец, холеры, которую решено было не замечать и о которой не принято было говорить, но которая не прекращалась, хотя и известна была в обоих лагерях, как французском, так и английском, под названием «дизентерии» и под другими псевдонимами.

Венгерский генерал Клапка, один из наиболее талантливых, энергичных вождей венгерской революции, случайно спасшийся в 1849 г. от плена и виселицы, внимательно анализировал и критиковал военные действия русских и союзников в период Крымской войны. Он высказал после Инкермана мнение, возбудившее против него некоторую полемику даже со стороны умеренного, старающегося быть беспристрастным, собирателя документов о войне и историка Герэна, патриотизм которого все же оказался задетым [1].

Генерал Клапка был убежден, что сейчас же после Инкермана «если союзные армии не были уничтожены, то не вследствие мудрости их правительств и их начальников, но исключительно вследствие неактивности русских. Чем больше союзники имели потребности в отдыхе после сражения под Инкерманом, тем более в интересах русских было не оставлять их в покое и как можно скорее нанести второй и решительный

удар. Несмотря на свои значительные потери, русские располагали еще достаточными силами, чтобы попытаться это сделать. Князь Меншиков непременно должен был считать, что зима предоставляла ему самые благоприятные шансы против союзников. И если он предоставил им возможность ускользнуть, то приписать это должно отсутствию у него правильного суждения и решительности или же особым соображениям, вытекающим из факта военных совещаний, и перспективами мира, естественно с ними связанными».

Приведя эти слова генерала Клапки, Герэн с ними не соглашается и бездействие русских приписывает тому обстоятельству, что они тоже были истощены и ослабели после Инкермана. Однако внимательные читатели английских и французских газет могли иной раз между строк вычитать мысли, очень близко соприкасающиеся с мнениями генерала Клапки.

Да и держатели французских и английских биржевых ценных бумаг вскоре весьма недвусмысленно почувствовали, что биржа не очень рассчитывает на близкую и легкую победу. Миновали незабвенные дни сентябрьского головокружительного подъема, вызванного известиями об Альме, об отступлении Меншикова, о начале осады! Биржа весьма здраво учла, что Инкерман не имеет с Альмой почти никакого сходства.

С ноября 1854 г. обнаружилось длительное и довольно последовательное падение всех французских ценностей на парижской бирже. Трехпроцентная, основная французская государственная облигация за какой-нибудь месяц упала с 74 до 66½ франков. А ведь по этой бумаге равнялись все другие ценности на фондовой бирже, это был главный показатель (l'étalon des autres valeurs), как правильно доносит канцлеру Нессельроде финансовый агент и корреспондент русского правительства Эбелинг [2]. Это было показателем весьма серьезным, и Эбелинг, знаток парижской биржи, с убеждением отмечает, что даже дипломатическое присоединение Австрии к Франции и Англии по договору 2 декабря 1854 г. (о чем речь дальше) лишь на несколько дней приостановило, но в общем вовсе не прекратило падения ценностей.

Наполеон III этого очень не любил. Золотая валюта в течение всего его царствования держалась твердо. Устойчивости экономического положения, прочности имперских финансов «великие банки», и с ними как парижская, так и лондонская биржи, особенно в эти годы, очень верили. Приступы биржевой паники если при Наполеоне III и случались, то бывали обыкновенно просто не имевшими никакого политического значения проделками тех или иных групп биржевых маклеров и спекулянтов и нисколько могучего кредита императорского правительства не затрагивали. А тут дело было явственно серьезнее.

Государственная рента понижалась не вследствие каких-либо специфических биржевых махинаций, а потому, что если еще ноябрь прошел в ожидании, если газетная шумиха внушала надежду, что за Инкерманом последует не сегодня-завтра штурм и падение Севастополя, то уже в декабре даже самый доверчивый обыватель перестал на это рассчитывать.

Повелительно требовалось пустить в ход все усилия дипломатии, чтобы заставить Австрию решиться, наконец, на определенное и вполне недвусмысленное присоединение к союзникам.

Эта дипломатическая «борьба за Австрию» шла между западными державами и Россией уже давно. Рассмотрим теперь систематически, в хронологической последовательности, какую картину рисуют нам дипломатические документы, относящиеся ко второй половине 1854 г., потому что декабрьский договор готовился задолго до Инкермана, еще с летних месяцев.

2

Позиция Австрии со времени начала эвакуации русскими войсками Дунайских княжеств менялась несколько раз, в теснейшей зависимости от хода военных действий.

Проследим эти видоизменения, отмечая лишь самое существенное из того, что нам дает дипломатическая документация.

Мы уже видели, что позиция Австрии в период времени, начиная с неудачной миссии Орлова в Вене в самом конце января и начале февраля 1854 г. и кончая решением Николая снять осаду с Силистрии и эвакуировать Молдавию и Валахию, была определенно неприязненной относительно России,— и после ухода русских австрийские войска по договору Австрии с Турцией заняли княжества. И все-таки в окружении Франца-Иосифа полного единства взглядов по вопросу об отношениях с Николаем не существовало. Страх за будущее, когда грозный сосед сможет при удобном случае отомстить за «предательство» и опасение остаться без поддержки в случае новых революционных напряжений требовали соблюдения некоторой осторожности.

Бывший русский посол при английском дворе барон Бруннов после разрыва отношений между Англией и Россией побывал в начале 1854 г. в Брюсселе и здесь имел долгий разговор с бельгийским королем Леопольдом, который, по-видимому, по предварительному соглашению с Австрией, очень просил Николая «не сердиться» на Австрию и Пруссию за то, что они проявили склонность выступить с дипломатической поддержкой политики западных держав против России. «В самом деле,— сказал король Бруннову,— Австрия и Пруссия не могут иметь никакого желания нанести ущерб моральному могуществу России. Напротив, их жизненный интерес требует, чтобы русское

влияние сохранилось в полной целости». Николай отчеркнул карандашом это место в докладе, подчеркнул слово «Австрия» и поставил на полях три вопросительных знака. Король Леопольд при этом, сохраняя самый дружеский и сердечный вид, явно хотел обеспокоить Николая, доводя до его сведения, что союзники уже открыто говорят о кампании будущего 1855 года, а Друэн де Люис, министр иностранных дел, полагал, что война будет длиться семь лет [3].

Франц-Иосиф в это время, т. е. в июне 1854 г., добившись пока еще не официального, но фактически довольно ясного обещания русского правительства увести войска из Молдавии и Валахии, вовсе не желал углублять и обострять отношения с Николаем. Он неспроста старался в это время как-нибудь смягчить раздраженного царя. Финансовое положение Австрии было самым неутешительным. Вот что сообщал царю из Вены посол Мейендорф спустя несколько дней после доклада Бруннова о беседе с бельгийским королем. Финансовое положение Австрии дошло до пределов расстройства; правительство принуждено прибегать к принудительному займу, к обременению земельной собственности новыми налогами; содержание армии поглощает 20 миллионов франков в месяц, «то есть почти весь предполагаемый доход государства. В армии недовольство, войны против России никто не хочет». Царь сделал пометку на этом донесении: «Эта депеша — из самых замечательных. Какое будущее развертывается для этой страны с подобными элементами. Нужно быть сумасшедшим, чтобы довести дела до подобного состояния» [4].

Вообще в это время, летом 1854 г., царь еще не покидал окончательно мысли о будущем возвращении русской армии в княжества и даже *о будущей удачной войне против Австрии*. Вот что писал он М. Д. Горчакову после отступления от Силистрии:

«Вчера вечером получил я наконец твои донесения от 9 (21) июня и пробыв таким образом почти две недели в совершенной безызвестности о том, что у вас происходило.

Сколько мне грустно и больно, любезный Горчаков, что мне надо было согласиться на постоянные доводы к[нязя] И[вана] Федоровича [5] об опасности, угрожающей армии, об вероломстве (нрзб.— *Е. Т.*) ...Австрии и, сняв осаду Силистрии, возвратиться за Дунай, истоща тщетно столько трудов и потеряв бесплодно столько храбрых, все это мне тебе описывать незачем, суди об этом по себе. Но как мне не согласиться с к. И. Федоровичем, когда стоит взглянуть на карту, чтоб убедиться в справедливости нам угрожавшего.

Ныне эта опасность меньше, ибо ты расположен так, что дерзость австрийцев ты можешь жестоко наказать, где бы они

ни сунулись, и даже ежели б пришлось на время уйти за Серет. Не этого опасаюсь; боюсь только, чтоб это отступление не уронило дух в войсках, ежели не поддержать его, сделав каждому ясным, что нам выгоднее на время отступить, чтобы тем вернее потом пойти вперед, как было и в 1812 году. Скажи всем, что я их усердием, храбростию и терпением вполне доволен и что уверен, что строгим сохранением порядка будут опять готовы на славу когда время настанет. Когда это время настанет, один бог знает! Ответ Австрии послан, и посылается и тебе; будет ли им Австрия довольна, не знаю и даже не думаю, разве король прусский скажет им решительно, что ежели они и этим не довольны, то их бросит.

Тогда с помощию божьей дело за нами, тогда накажем неблагодарных австрийцев жестоко. Покуда надо все привесть в порядок, порты, склады, госпитали и проч. Пойдут ли за тобой союзники с турками, сомневаюсь; скорее думаю, что все их усилия обратятся на десанты, в Крым или Анапу, и это не меньше из всех тяжелых последствий нашего теперешнего положения. Очень было бы важно войти тебе сейчас в условные сношения с сербами, чтоб на случай, ежели австрийцы нас атакуют, они бы не оставались праздными, обещав тогда при первой возможности им помочь. Полагал бы до времени волонтеров не распускать, с тем чтоб их употребить тоже против австрийцев в виде партизанов и, быть может, для содействия тем православным, кои при первом выстреле между Австрией и нас, быть может, примутся за оружие против них, у них же в тылу... Но чтоб был успех, нужно не дробиться чересчур и нужно единоначалие. К. И. Федорович сдал тебе команду; итак, действуй сам, решительно и с полной развязкой и ответственностью.

Мое доверие к тебе, как и всегда было, полное. Тебе, быть может, суждено провидением положить начало торжеству России. Бог нам помощь, защита и утешение, не будем унывать» [6].

3

5 июля 1854 г. в Вену прибыл заменявший Мейендорфа новый русский представитель — Александр Михайлович Горчаков. Только на 56-м году жизни князь Александр Михайлович получил, таким образом, достойно широкое поприще для проявления своих дипломатических дарований. Это был умный, даровитый, нравственно чистоплотный человек. «Ты, Горчаков, счастливец с первых дней, хвала тебе — фортуны блеск холодный не изменил души твоей свободной: все тот же ты для чести и друзей»,— писал о нем его лицейский товарищ Пушкин в 1825 г. под свежим впечатлением встречи с Горчаковым в период

ссылки опального поэта в село Михайловское. Эта некоторая независимость характера и чувство собственного достоинства очень мешали Горчакову в его карьере, и Нессельроде долго держал его на второстепенных ролях. Может быть, мешала ему и некоторая неосторожность и невоздержанность в отзывах, странным образом проявлявшаяся в нем иногда наряду с царедворческой ловкостью. Был в нем смолоду и как бы некоторый легкий налет лицейского свободомыслия. «Приятный льстец, язвительный болтун, попрежнему остряк небогомольный, попрежнему философ и шалун» — так определяет его Пушкин в одном из стихотворных своих посланий к Александру Михайловичу, в бумагах которого, кстати напомню, была уже в наше время найдена шутливая поэма «Монах», написанная Пушкиным в лицее. Нессельроде князя Горчакова не любил, и этим объясняется, что Горчаков при своих огромных связях и аристократическом родстве, при бесспорных способностях и живом уме только на шестом десятке попал в Вену на большой дипломатический пост. Горчаков был очень самолюбив и отличался большим самомнением, что ему не всегда удавалось скрывать. Впоследствии Бисмарк злобно бранил и вышучивал Горчакова, прежде всего, конечно, за то, что Горчаков разгадал его раньше других и предостерегал Александра II от излишней доверчивости к германскому канцлеру. С возрастом, к концу жизни, князь Александр Михайлович очень одряхлел и переменился, и, например, когда в 80-летнем возрасте он поехал на Берлинский конгресс, то уже ничего полезного для России ему там сделать не удалось. Но в 1854 г., попав в Вену, Горчаков, бывший тогда в полном расцвете своих умственных сил, с честью, достоинством и уменьем старался парировать вражеские удары и бороться с обступавшими его со всех сторон неимоверными трудностями.

Уже на другой день после появления своего в Вене Горчаков имел долгую беседу с министром иностранных дел Буолем, главным противником России при венском дворе[7]. Горчаков уловил полную солидарность Буоля с западными державами в вопросе о том, чтобы заменить единоличное покровительство России православной церкви в Турции общим покровительством всех пяти великих держав всем христианским подданным Турции вообще. Это было вовсе не то, что на самом деле занимало и даже поглощало Буоля. Карл-Фердинанд Буоль фон Шауэнштейн, несмотря на свои 57 лет, увлекался в 1854 г. так, как если бы он был неопытным юношей и за ним не было долгой дипломатической службы. Ему давно уже, с начала военных действий между Россией и Турцией, но в особенности со дня снятия осады с Силистрии, стал казаться бесспорным следующий план действий: Австрия должна перейти на сторону

западных держав и за это она получит Молдавию и Валахию, т. е. богатую житницу и огромное приращение территории и могущества. Это избавит ее от вечной угрозы со стороны России, так как очень усилит стратегически. Победа союзников предрешена. Из этой аксиомы Буоль торопился сделать все выводы. Человек он был довольно посредственный и по способностям, и по уму, и по образованию; был лишь дельным и усердным чиновником. Никогда не знал он меры в своем низкопоклонстве перед силой,— сначала перед Николаем I, особенно когда побывал австрийским послом в Петербурге в 1848—1850 гг., потом перед Наполеоном III,— и никогда не умел держать себя в руках, когда им овладевала уверенность в своем положении и хотелось показать это противнику, которого он считал в данный момент слабым. Свита графа Орлова во время Парижского конгресса 1856 г., наблюдая поведение Буоля на конгрессе, его оскорбительные выходки против России, склонна была определять его слишком уж лаконично словом «хам». Но сам граф Буоль держался всегда отраднейшего о себе мнения и очень серьезно считал и старался внушить другим, что именно он руководит всей австрийской политикой. На самом же деле никогда он не имел на Франца-Иосифа, даже и в отдаленной степени, того влияния, которое имел до него Шварценберг, а после него, например, Бейст, или Андраши, или даже Кальноки. Из австрийских дипломатов царствования Франца-Иосифа больше всего походит Буоль на графа Эренталя — не умом, потому что Эренталь был много умнее, и не дипломатическими дарованиями, потому что Эренталь был гораздо тоньше и талантливее, а той, может быть, излишней в дипломате, живостью, юркостью, любовью к внезапным сюрпризам, тем стремлением к шумихе, к эффектным выступлениям, какие и Эренталю были свойственны. Когда в 1859 г. на Австрию обрушилась тяжелая военная катастрофа, Буоля обвинили в том, что он своей политикой в годы Крымской войны подготовил этот провал, и Франц-Иосиф поторопился тогда, в мае 1859 г., прогнать его прочь как раз накануне открытия военных действий. Это было несправедливо: Буоль делал в 1854—1856 гг. то, чего желал Франц-Иосиф, но, правда, делал это горячо, азартно, бестактно, обостряя противоречия, слепо веря в сегодняшний успех и совсем не думая о возможной завтрашней расстановке сил.

А. М. Горчаков довольно скоро начал понимать, что мотивы австрийской дипломатии сложнее, чем это могло бы показаться с первого взгляда. Кроме страха за Ломбардо-Венецианскую область, которую Наполеон III может отнять, если очень ему перечить, кроме боязни внедрения России в Дунайские княжества и опасений за судьбу Турции, граф Буоль и его

повелитель руководствуются еще одним мотивом: желанием заполучить в австрийское владение как Молдавию, так и Валахию.

Наполеон III с обычной своей ловкостью вовремя внушил эту соблазнительную мысль австрийскому кабинету, и «Австрия пошла на эту удочку (c'est l'hameçon, auquel a mordu l'Autriche)». Сообщая, что сам Буоль проговорился об этом в частном разговоре с прусским представителем Альвенслебеном, Горчаков советует канцлеру Нессельроде обратить на это внимание [8].

Вообще в борьбе за австрийский нейтралитет и летом и осенью 1854 г. опорой для русской дипломатии являлась не только Пруссия, но и весь почти Германский союз. Метавшийся между двумя лагерями король Фридрих-Вильгельм IV хоть и заключил с Австрией договор 20 апреля 1854 г., но решительно отказался дать этому договору такое истолкование, которое могло бы обязать Пруссию при каких бы то ни было обстоятельствах поднять оружие против русского императора. Усиливать Австрию и воевать против Николая не желала не только Пруссия: наиболее влиятельные из второстепенных государств Германского союза были вполне с ней солидарны.

В начале июня закончилась происходившая в городе Бамберге конференция представителей второстепенных держав Германского союза: Баварии, Саксонии, Бадена, Гессена, Нассау, Кургессена и Вюртемберга. Обсудив вопрос об отношении к австро-прусскому соглашению от 20 апреля 1854 г., конференция отказалась примкнуть к какому бы то ни было обязательству принять участие в военных действиях против России, даже если Россия откажется эвакуировать Молдавию и Валахию. «Дух» конференции был «решительно антианглийский»,— доносил Бруннов из Дармштадта [9]. «Зачем нам война, которая уж во всяком случае будет водой на никогда не останавливающуюся, никогда не находящуюся в покое мельницу красных?» — вопрошал Макс Баварский своего дядю, короля прусского Фридриха-Вильгельма. Кроме этого резона, был и другой: эти державы вовсе не желали рисковать войной ради австрийских интересов на Балканах, нисколько Германского союза не касавшихся [10]. Франц-Иосиф и Буоль знали об этих настроениях и с нетерпением и тревогой к ним относились. Они понимали, как все это учитывается в Петербурге.

Франц-Иосиф, убедившись, что в случае войны с Россией Германский союз не поддержит его военными силами, поспешил пригласить Горчакова, очень ласково его принял и просил не обижаться на то, что австрийские войска вошли в Валахию. «Верьте, что никакой враждебной по отношению к вам мыслью не было продиктовано это мероприятие,— заявил Франц-Иосиф;— я был удивлен поспешностью вашего ухода, я боялся

анархии и вторжения турок, бедственного для населения, и я считал долгом гуманности помешать этому двойному несчастью присутствием части моих войск. Но раз ваши войска покидают Валахию лишь частично,— вопрос меняется, и вы можете быть уверены, что не успеете вы вернуться домой, как уже будет послан приказ моим генералам не двигаться дальше и держаться вдали от Валахии, пока ваша армия там будет находиться» [11].

Но Франц-Иосиф лукавил. Он решительно ни одному слову Горчакова не верил и не был спокоен за безопасность Галиции.

Теперь, летом 1854 г., Николай проницательнее судил об истинных намерениях Франца-Иосифа. Горчаков писал 12 июля 1854 г., явно принимая желательное за действительно существующее: «Мне кажется, что император [Франц-Иосиф] начинает осваиваться с мыслью отделиться от западных держав, то есть что он видит возможность, когда и как это сделать (la possibilité du quand et du comment), но хватается за мысль об этом шансе, как люди принимают подкрепляющее средство, чтобы успокоить свой дух». Николай на полях поставил три вопросительных знака и написал карандашом: «неверно». Дальше царь подчеркнул фразу Горчакова: «Граф Буоль не так дурен, как мы это думаем», и на полях опять написал: «неверно», и снова поставил три вопросительных знака и один восклицательный [12]. От былых иллюзий насчет Австрии царь излечился, хоть и поздно, но радикально. В особенности не верил он в то, будто бы Австрия и Пруссия всерьез исполнят свое намерение обратиться к западным державам с предложением на почетных для России условиях заключить мир.

Это австро-прусское посредничество граф Буоль понимал довольно своеобразно. Совещаясь о терминах и формулировках общей ноты, которую Австрия и Пруссия должны были послать в Лондон и Париж, Буоль в то же время не переставал подбивать Пруссию на решительное выступление против России. Вот что доносил А. М. Горчаков 12 июля 1854 г. в Петербург: «Граф Альвенслебен (прусский посол в Вене — *Е. Т.*) сказал мне, что при его разговоре с графом Буолем этот последний в сотый раз вернулся к мысли об уместности военной демонстрации со стороны Пруссии, но что граф Альвенслебен дал ему на это тот же отрицательный ответ, какой он давал ему на предыдущие ходатайства». Царь отчеркнул эти строки и написал на полях: «каналья (canaille)» [13].

Конечно, перспектива военного союза Австрии с западными державами могла очень сильно повлиять на позицию второстепенных держав Германского союза, рисковавших оказаться между двух огней — между войсками Франции и Австрии. Из Дармштадта и других столиц второстепенных государств Гер-

манского союза уже с первых дней августа начали поступать известия о том, что венский двор агитирует в пользу мобилизации части войск государств союза, именно в размере 60 000 человек. План этот сразу не встретил особого сочувствия, но, конечно, царю необходимо было отныне считаться с возможностью, хотя бы в более или менее отдаленном будущем, появления на западной границе империи новой враждебной силы [14].

4

Раздражение и беспокойство австрийского правительства поддерживалось тем, что Николай, как будто согласившийся на эвакуацию, все-таки не хотел никаким торжественным актом оповестить о своем намерении. Да и войска русские все еще окончательно не покидали оккупированной территории. «Княжества не эвакуированы; Россия нам ничего не уступила»,— такими словами встретил граф Буоль полковника барона Мантейфеля, прибывшего в Вену из Берлина в качестве особого посланца от короля Фридриха-Вильгельма IV. Буоль хотел, чтобы в Вене собралась конференция представителей Англии, Франции, Австрии и Пруссии и в той или иной форме предъявила России требование окончательно и немедленно эвакуировать княжества [15]. Горчаков изо всех сил противился этому, но, когда Буоль стал грозить Пруссии, что при ее отказе участвовать в конференции три державы соберутся без нее, русский представитель усомнился: стоит ли при таких условиях удерживать Пруссию от участия в конференции? И не окончится ли дело военным союзом Австрии с Англией и Францией, если Пруссия уже не будет на конференции противовесом враждебным России силам?

Французский посол в Вене Буркнэ и английский — лорд Уэстморлэнд все усиливали энергию и настойчивость в своих переговорах с австрийским правительством.

В июле и начале августа 1854 г. Буркнэ и Уэстморлэнд не переставали настаивать перед Буолем, чтобы поскорее в Вене собралась конференция четырех держав — Англии, Франции, Австрии и Пруссии — для выработки условий мира. Ни о каком мире ни Наполеон III, ни лорд Эбердин, остававшийся главой британского правительства, конечно, не думали. Наполеон III, как мы знаем, в это самое время торопил маршала Сент-Арно с подготовкой экспедиции из Варны в Крым, а о лорде Эбердине, так долго и так успешно вводившем барона Бруннова в заблуждение своим мнимым русофильством, мы читаем в дневнике Гревиля, этого правдивого летописца английских настроений: «Кларендон сказал, что Эбердин не менее горячо, чем кто бы то ни был, стоял за крымскую экспедицию». Это записано

под 4 сентября (н. ст.) 1854 г., т. е. когда союзное войско уже плыло в Крым [16]. Но если так, то зачем Наполеону III и Англии так хотелось в течение всего лета и начала осени созыва этой «мирной» конференции в Вене? Да именно потому, что никакого мира эта конференция не принесла бы, но могла бы ускорить присоединение Австрии к англо-французской коалиции. «Что более важно, это упорство Буркнэ в стремлении добиться конференции и упорство Буоля в стремлении привлечь к этому Пруссию»,— пишет Александр Михайлович Горчаков канцлеру Нессельроде 18 июля (н. ст.) 1854 г. Без Пруссии австрийская дипломатия все-таки еще не решалась выступить. В Вене знали, что за невмешательство в войну против России стоит пока не только Пруссия, но, как показало бамбергское совещание, и весь Германский союз. Что если после войны Николай I круто переменит свою германскую политику и начнет помогать не Австрии, а именно Пруссии в ее стремлении к объединению германских государств? А. М. Горчаков пытался узнать точно, как мыслит прусский посол в Вене Альвенслебен. Но тот хитрил: Пруссии хотелось разом и участвовать в конференции, чтобы своим отказом не раздражать Наполеона III, и вместе с тем устроить так, чтобы ее участие в конференции не обозлило Николая. Поэтому Альвенслебен пустился в глубокомысленные объяснения с Горчаковым: Пруссия может согласиться на участие в конференции, но только затем, чтобы тормозить злокозненные действия на этой конференции трех остальных держав: Англии, Франции, Австрии. Себя самого прусский посол Альвенслебен и предлагал на роль такого тормоза (eine Hemmschuh) [17]. Горчакова, впрочем, прусский дипломат не обманул нисколько. «В общем, каким бы корректным и прекрасным ни был Альвенслебен, он боится многих вещей»,— пишет канцлеру русский представитель [18].

Ждали ответа из Лондона и Парижа на австрийскую ноту об условиях перемирия. Горчаков склонен был считать самую посылку ноты комедией, наперед условленной между Буолем и послами Франции и Англии — Буркнэ и Уэстморлэндом. Для России наступает опасный момент (un moment suprême). Речь идет о скором полном присоединении Австрии к враждебной коалиции. И Горчаков шлет царю (через формальное, как всегда, посредство канцлера) письмо, являющееся, по его словам, «криком его совести» [19]. Он хочет образумить Петербург, который явно не понимает грозящих России опасностей. Освобождать славян — хорошо, и делать это нужно непременно под нашим знаменем,— все это так, все это превосходно,— но не сейчас! Сейчас ничего не выйдет! «Час Турции еще не пробил, и поэтому мы еще осуждены сосуществовать (coexister) с

Портой...» «Это будет ненадолго, но в настоящий момент это неизбежно. Мир будет заключен, и [по этому миру] Турция не исчезнет с карты Европы; мир будет менее выгодным, чем те, которые до сих пор мы заключали», он будет необходимой передышкой, перемирием, «trêve obligée». Венский кабинет не остановится перед войной по вопросу об эвакуации, хотя Франц-Иосиф и очень по этому поводу страдает душевно и считает это «несчастием». Горчаков очень хотел бы, чтобы Россия немедленно, особым актом, обращенным к Австрии и Пруссии, обязалась эвакуировать полностью Дунайские княжества, что она пока сделала лишь фактически, да и то не закончила эвакуации. Желая повлиять на Николая, Горчаков приводит даже такой аргумент: в австрийских владениях, в случае войны с Россией, может вспыхнуть революция. Так неужели же царь захочет вместе с революцией сражаться против австрийского правительства? [20]

5

3 августа (н. ст.) Горчаков подает очень тревожный сигнал в Петербург: он узнал «самым секретным путем», что французский министр Друэн де Люис предлагает создать формальный наступательный и оборонительный союз между Францией, Англией, Австрией и Турцией и что Буоль этому плану сочувствует. Этот союз, по мнению Горчакова, имеет целью терроризовать Пруссию, заставить ее примкнуть к этой комбинации и пропустить через свои владения французские войска в Россию, а если она откажется, то «занять военной силой Берлин» [21]. В тот же день 3 августа, когда Горчаков узнал о готовящемся союзе Австрии с Францией, Англией и Турцией, он узнал к концу дня и о том, на каких условиях Франция и Англия согласятся на перемирие и начало переговоров с Россией.

Для этого обе державы требуют *предварительного* изъявления со стороны царя согласия на принятие всех тех же, выдвинутых еще весной четырех пунктов: во-первых, пересмотра трактата 1841 г. о проливах; во-вторых, замены русского протектората над княжествами общеевропейской «гарантией»; в-третьих, свободного плавания всех судов по Дунаю; в-четвертых, уничтожения права покровительства отдельных держав своим единоверцам и замены его коллективной гарантией прав всех христианских вероисповеданий в Турции со стороны всех великих держав сообща. Первым сообщил об этом Горчакову прусский посол Альвенслебен, и он же поделился своим впечатлением: Франция в случае принятия этих условий готова идти тотчас на перемирие, но Англия лишь нехотя и колеблясь последует за своей союзницей [22]. Сами по себе все «знаменитые эти четыре пункта» были, с точки зрения Горчакова, приемлемы

для царя. Пересмотр трактата 1841 г. о проливах? Но ведь этот трактат «не есть предмет большой нашей нежности», и ведь неизвестно, чем он будет заменен. Свобода плавания по Дунаю? Это тоже для России уступка очень легкая. Общее покровительство всех держав над Молдавией и Валахией вместо исключительно русского? Тоже ничего особенно вредного для России в этом нет. Наконец, общее покровительство всех держав всем христианам? Все-таки не помешает православным обращаться всегда именно к русскому представителю, а не к другим, не к католику французу или австрийцу и не к протестанту-англичанину. Так в чем же дело? Почему и самому Горчакову кажется трудным для царя принять пункты? Потому, во-первых, что Молдавия и Валахия могут попасть во владение Австрии, которая за свое «предательство» получит такую награду, а во-вторых,— потому, что влияние России в Турции и на всем Востоке вообще будет совсем подорвано. Горчаков не говорит еще о третьем подразумеваемом моменте: царь должен будет распроститься со всякой мечтой о проливах...

И все-таки Горчаков явно предпочел бы принять *четыре пункта* — и окончить войну.

Буоль, с согласия Франца-Иосифа, поспешил особой нотой уведомить Францию и Англию, что Австрия вполне принимает все четыре пункта. Мало того: если ей придется вступить в войну против России, то она обязуется не начинать переговоров иначе, как на основании этих же четырех пунктов.

Король Фридрих-Вильгельм поддался панике, и Нессельроде принужден был 12 (24) августа доложить царю: «Пруссия, находя, что четыре пункта предложения таковы, что могут служить основанием для начала переговоров, рекомендует нам принять их». Царь положил резолюцию на этом докладе: «Жалкий язык Пруссии меня не удивляет; я ожидал этого, как новой подлости с ее стороны. Обращать на это внимание было бы ниже меня. Я не меняю ничего из того, насчет чего мы согласились, и вы можете изготовить соответствующие ответы». Итак, царь решил ответить отказом. Он согласился только подписать протокол, согласно которому принимает четыре пункта лишь как тему для дискуссии, как базис для начала переговоров (следовательно, *не предрешая, что принимает уже теперь эти пункты* по существу) [23]. 5 августа русский представитель пишет новое письмо о необходимости поскорее принять четыре пункта. Перед Горчаковым мелькнула надежда на прекращение войны. В самом деле, не только Альвенслебен от имени Пруссии уверял русского посла, что в случае принятия четырех пунктов Пруссия безусловно будет поддерживать Россию, но даже сам Буоль, под очевидным влиянием Франца-Иосифа, заявил, что и Австрия отделится от Франции и Англии. Но нужно, чтобы царь

принял эти пункты и, по возможности, без всяких изменений и требований, дополнительных объяснений и т. д., потому что Англия этим воспользуется, чтобы сорвать все дело и взять назад нехотя данное ею согласие на перемирие. «Ведь уже войти в переговоры обозначает ослабить коалицию»,— и Горчаков торопит канцлера с ответом [24].

8 августа 1854 г. нота, ставящая предварительным условием начала мирных переговоров безоговорочное принятие царем четырех пунктов, была подписана представителями Англии, Франции, Австрии и Пруссии.

9 августа (н. ст.) французский посол Буркнэ был принят Францем-Иосифом и вручил ему собственноручное письмо Наполеона III. Но Францем-Иосифом, после ставшего уже ему известным отказа Николая принять четыре пункта, овладело беспокойство, и он противился Наполеону III, желавшему поскорее вовлечь его в войну. Уже 15 августа до Горчакова дошли слова, сказанные Францем-Иосифом о французском императоре и его письме: «Лисица, кажется, ничего хорошего не имеет в виду. Он хочет подстрекнуть меня против России, я не иду на это (Der Fuchs scheint nichts gutes im Sinne zu haben. Er sucht mich gegen Russland zu hetzen. Ich gebe mich dazu nicht her)». Император сказал еще, что он хотел бы уладить вопрос с Николаем [25]. И вместе с тем тотчас после визита Буркнэ Франц-Иосиф приказал ускорить пополнение главного штаба новыми офицерами, чтобы каждый момент быть готовым к выступлению (um jeden Augenblick losschlagen zu können).

Николай, следя внимательнейшим образом за Веной, был полон негодования и жаждал мести: «Ничего доброго не ожидаю от Австрии, тем более что скоро наступит время, где нам необходимо будет требовать от них ответа в их коварстве. Потому мы должны быть так готовы, чтоб требуемый отчет в их мерзостях упирался на грозную армию, готовую их наказать. Пройдут сентябрь и октябрь в отдыхе и справке и комплектовке. В ноябре мы должны быть готовы во всем» [26].

14 (26) августа Нессельроде переслал А. М. Горчакову в Вену официальный ответ на австрийское предложение о четырех пунктах. Ответ был, конечно, очень решительный. Русский канцлер настаивал, что в свое время, объявив об эвакуации Молдавии и Валахии, русский двор делал уступку Австрии и Германскому союзу, хотя это решение и было для России опасно, потому что давало неприятельской коалиции свободу действий и подвергало риску нападения русское Черноморское побережье. Но больше на новые жертвы Россия не пойдет. Русские войска, единственно по мотивам стратегическим, перешли через Прут и вернулись в русские пределы, где и будут ждать неприятеля, «решительно защищая нашу тер-

риторию от нападений со стороны иностранцев, с какой бы стороны эти нападения ни последовали»[27].

Еще 31 августа н. ст., как раз перед получением известия о решительном отказе Николая принять четыре пункта, в Вене происходили колебания. «Политика здесь делается час за часом, в зависимости от страха, который внушаем мы, или от давления, которое оказывает Запад»,— писал А. М. Горчаков канцлеру Нессельроде[28]. Франц-Иосиф явно не ожидал отказа,— именно потому поступок Николая не мог не смутить его, правда, на короткий срок.

6

1 сентября Франц-Иосиф получил точные сведения об отказе Николая. Он сразу же заявил, что не хочет разрыва с Россией, и, по-видимому, между ним и Буолем произошла неприятная сцена[29]. Растерянность Франца-Иосифа и решительное его нежелание в тот момент воевать с Россией выразились тотчас в крутом изменении поведения Буоля, который стал уверять, что он о войне не думал и считает себя удовлетворенным успехом своей политики.

Николай на полях донесения Горчакова пишет по адресу Буоля: «негодяй (gredin)». «Впечатление от нашего ответа — потрясающее»,— телеграфировал А. М. Горчаков в Берлин Будбергу 3 сентября[30].

Франц-Иосиф был в самом деле в смятении. Отказ царя ставил его в необходимость немедленно решать вопрос о войне с Россией. Он на это не решился.

Прочтя донесение Александра Горчакова, что в Вене царит «лихорадочная нерешимость и большая растерянность», Николай написал на полях: «Вот оно и доказательство, что мы хорошо поступили». Одновременно командующему войсками на Пруте князю Михаилу Горчакову послан был приказ, в случае нападения на него со стороны союзников, преследовать их, перейдя снова через реку Прут, невзирая на присутствие там австрийцев.

Франц-Иосиф до того был напуган, что уже стал помышлять о «сближении» и о том, чтобы как-нибудь затеялась в целях этого сближения переписка между генерал-квартирмейстером австрийской армии и Михаилом Горчаковым.

Три дня подряд — 3, 4 и 5 сентября (н. ст.) происходили совещания между Буолем и А. М. Горчаковым. Буоль был очень смущен и явно встревожен полным отказом Николая от принятия четырех пунктов и перспективой войны Австрии с Россией. Он взял назад свои недавние, довольно прозрачные

угрозы, заявив, что «глубоко сожалеет» о неправильном якобы истолковании в Петербурге роли Австрии, и выразил от имени Франца-Иосифа «живую скорбь» по поводу царского неудовольствия, решительно опровергая приписываемое ему намерение «запугать» Николая. «Запугать русского императора? Да кто мог бы возыметь такое абсурдное намерение?»,— воскликнул Буоль. «Вы!»,— ответил Горчаков, с умыслом очень высокомерно державшийся во время этих бесед [31].

Тотчас после этих бесед с Буолем, явно отступившим по всей линии, князь А. М. Горчаков намечает линию поведения на всю предстоящую зиму («Наша дипломатическая задача в эту зиму будет состоять в том, чтобы помешать включению Пруссии и остальной Германии в орбиту Австрии»), потому что он правильно предвидит, что именно в эту сторону граф Буоль направит теперь все свои усилия [32].

Следует заметить, что австрийская дипломатия в этот момент, очень смущенная резким отказом Николая принять четыре пункта, нисколько не приободрилась и не была успокоена приготовлениями союзников к переправе войск из Варны в Крым. Напротив! Увозя войска с Дунайского театра военных действий в далекий Крым, маршал Сент-Арно и лорд Раглан оставляли австрийцев, уже вошедших в княжества, лицом к лицу с русской армией, стоявшей у реки Прута. Это соседство, сулившее дуэль один-на-один, нисколько не нравилось Францу-Иосифу: главным положительным качеством из всех, которыми одарила его природа, была осторожность. Правда, в этой возможной дуэли у австрийцев был «секундант» Омер-паша со своим войском, но генерал-квартирмейстер Гесс и начальник оккупационной австрийской армии генерал Коронини и другие австрийские генералы были твердо убеждены, что турки, прекрасно обороняющиеся в крепостях, не смогут устоять против русских в открытом поле. Намерения Николая никому известны в тот момент не были — и меньше всего были известны австрийскому двору. Что если царь пожелает, чтобы Крым был второстепенным театром войны, где даже и неудачи не могут иметь решающего значения, а первостепенным театром наступательных военных действий станут снова берега Дуная? Что если иронический тон и высокомерная язвительность, которые начиная с 1 сентября проявляются во всех объяснениях с Буолем со стороны Александра Михайловича Горчакова в Вене, служат лишь как бы дипломатическим вступлением и предисловием к предстоящим военным действиям князя Михаила Дмитриевича Горчакова сначала на Пруте, потом на Дунае, потом в Галиции?

В первых числах сентября приехал в Вену для короткого прощального визита отозванный (уже в июне его пост вре-

менно замещался А. М. Горчаковым) бывший русский посол Петр Мейендорф.

Франц-Иосиф и в разговоре с ним подчеркнул, как он сожалеет, что навлек на себя неудовольствие царя. Буоль тоже повел «медовые речи и ведет себя ягненком», сообщает А. М. Горчаков в донесении от 6 сентября, а Николай, отчеркнув весь абзац о Буоле, пишет карандашом на полях: «негодяй» [33]. Но вместе с тем Австрия вела двойную игру, стараясь всеми мерами обеспечить за собой поддержку Пруссии и милостивое расположение Наполеона III. А. М. Горчаков твердо решил отказаться даже вступать в разговор и объяснения с Буолем относительно четырех пунктов и вообще нисколько не поддаваться этим внезапным дружеским речам Франца-Иосифа и Буоля. Ведь все-таки факты оставались прежними: письменные обязательства, связывающие Австрию с западными державами, соглашение с Турцией о временной оккупации Молдавии и Валахии, пребывание австрийских войск в княжествах, т. е. военная антирусская демонстрация и заполучение в свои руки такого залога, на который давно зарилась Габсбургская держава. Ввиду этих фактов Горчаков отказывался верить пустым словам, вызванным очередным припадком страха.

Николай не только подчеркнул эти слова, но еще надписал на донесении приказ канцлеру Нессельроде: «Телеграфируйте Горчакову, что я вполне одобряю» [34].

Ближайшей целью усилий Горчакова стало следующее: «Существенным пунктом мне продолжает казаться (необходимым — *Е. Т.*) заставить венский кабинет высказаться так, чтобы в его нынешних интимных отношениях с Западом оказалась трещина (une fissure), которая с течением времени расширилась бы и сделала бы возвращение к прежним блужданиям (errements) более трудным». Граф Буоль очень скоро, конечно, заметил это стремление Горчакова и всячески старался не попасть в западню. Горчаков настаивал, чтобы Буоль свое «раскаяние» изобразил как-нибудь на бумаге; но австрийский министр, понимая, что эта бумага каким-нибудь способом непременно будет доведена до высочайшего благовоззрения Наполеона III, изо всех сил старался ускользнуть и извернуться и никаких письменных признаний в любви к Николаю на бумаге решил не делать, а довольствоваться лишь устными излияниями. Когда граф Буоль попросил Горчакова сообщить в Петербург о «примирительных комментариях (commentaires conciliants)», которые он, Буоль, делает по поводу своей политики в деле о предъявлении царю четырех пунктов, то Горчаков рекомендовал ему самому написать об этом в Петербург через посредство тамошнего австрийского посла Эстергази. Но русский посол тоже успел уже подметить, что Буоль сообразил,

в чем дело, и что напрасны все усилия подтолкнуть Буоля на посылку подобной ноты: «Он ничего этого не сделает, и я это знал; но это укрепит его в убеждении, что с их стороны требуется акт, чтобы исправить то зло, которое они сделали»[35].

7

Фридрих-Вильгельм IV в любопытном письме от 18 августа 1854 г. (оставшемся не известным Шиману и, насколько я знаю, никому из историков) горячо рекомендовал своему петербургскому шурину принять четыре пункта, доказывая, что все эти пункты совсем безобидны для царя и, напротив, принятие их будто бы крайне выгодно, потому что выбьет оружие из рук Наполеона III и Англии. И «превосходный Францци» (l'xcellent Frantzi), как нежно называет Франца-Иосифа прусский король, совсем теперь счастлив, что русские уходят из Дунайских княжеств, и если бы не подлый Буоль, который под давлением французского посла в Вене Буркнэ заставил «превосходного Францци» подписать договор с Англией и Наполеоном III, то все было бы совсем хорошо. Но, впрочем, даже и теперь все тоже очень хорошо! Письмо было подписано: «Ваш всецело преданный, всецело привязанный, всецело верный брат и друг Фриц».

К этому письму на другой день, 19 августа, король сделал такую приписку: «P. S. Известие об усилении революционного духа во всей Европе становится со дня на день все более серьезным. Оно чувствуется даже в Пруссии и особенно в Берлине, хотя Пруссия еще пользуется более крепким „здоровьем“ (кавычки подлинника — *Е. Т.*), чем другие страны. Думаю, что я не ошибаюсь, что страшные опасности от возрождающейся революции могут быть побеждены только сотрудничеством России с Австрией и Пруссией. Эти соображения, возлюбленный Никс, сообщают советам, какие я осмелился вам дать в этом письме, характер особенно горячей настойчивости и, льщу себя мыслью, больше веса, больше интереса в ваших глазах, драгоценнейший друг. Лорд Эбердин своим присутствием в Сент-Джемском кабинете удерживает своих товарищей от враждебных мероприятий против Пруссии и Неаполя и пока еще мешает лорду Пальмерстону занять его место и открыть в Европе все шлюзы, которые еще сдерживают революционные воды». Король говорит дальше об «общем пожаре» революции, готовом вспыхнуть, если не восстановится, и притом в скором времени, мир. «Рассмотрите, дорогой друг, то, что я только что написал; рассмотрите, перед лицом бога, во имя которого я вас заклинаю: не тушите вашим отказом проблеска надежды, которая возникла вследствие ваших последних мероприятий! Опасность европей-

ских революций (увы! слишком основательная) — один из самых благородных или самых достойных вас предлогов. Говорите об опасности! Это поймут, особенно в Вене и в Париже!»[36]

Но ни запугивание революционным пожаром, ни заступничество за «превосходного Франтци» не имели в Зимнем дворце успеха. Революции царь в тот момент не боялся, а «превосходного Франтци» считал большим подлецом и предателем, не очень отличающимся по существу от графа Буоля.

Проживая в мирном Дармштадте, бывший русский посол в Англии барон Бруннов стал склонен к безмятежному мировосприятию и во всем происходящем стал усматривать утешительные симптомы, о чем и писал время от времени в Петербург. То он убеждает Нессельроде, что Буоль вовсе не так злопыхательствует по отношению России, как это кажется, а вся его беда в том, что он человек «посредственный»[37], то вдруг 1 (13) сентября, т. е. за неделю до Альмы, он сообщает канцлеру самые утешительные новости, которые он только что узнал: благодаря мудрости его величества императора Франца-Иосифа Австрия обнаруживает признаки своего исправления, произошел спасительный перелом в пользу России, и т. п. Царь пишет на восторженном докладе: «Я ничуть этому не верю»[38].

Буоль хотел бы, может быть, войны, но одного желания мало. Может ли Австрия сейчас воевать?

Избежать зимой австрийского военного выступления удастся, полагал Горчаков, уж потому, что денег в австрийской казне нет. Генерал-квартирмейстер Гесс представил счет расходов по армии за август (1854 г.) 26 миллионов гульденов, а министр финансов их в наличности не имел, и пришлось прибегать к сложным операциям, чтобы эту сумму покрыть. Ввиду всех этих обстоятельств Франц-Иосиф и его министр простерли свое внезапное дружелюбие до того, что предложили Николаю забрать хоть всю русскую армию, стоящую у реки Прута, и перебросить ее в Крым для успешной обороны Севастополя, осада которого должна была начаться в середине сентября. Но А. М. Горчаков не доверял Австрии и отнюдь не советовал этому любезному приглашению последовать[39].

Так шло до конца сентября. В самые последние дни сентября (н. ст.) в Вене стали распространяться сначала краткие, а затем изобилующие самыми фантастическими деталями известия о битве под Альмой, 20 сентября 1854 г.— об отступлении Меншикова, о начале осады Севастополя, а в первую неделю октября заговорили о необычайных усилиях союзников покончить дело очень быстро штурмом, после чего французская и английская армии двинутся к Перекопу, прочно займут его, и Крым будет для России потерян.

Французский посол Буркнэ был душой усилившейся агитации при австрийском дворе и в окружении Франца-Иосифа, а французское посольство — центром, откуда особенно усиленно распространялись слухи о предстоящем быстром окончании дела. Австрийский штаб считал себя вправе теперь сделать прямой логический вывод, что после овладения Перекопом союзные войска, оставив у перешейка заслон и укрепив позиции, перейдут на другой театр войны, т. е. могут частично вернуться через Варну на покинутый ими Дунай.

Следовательно, у австрийцев в тылу явится могучая подмога, и прочное овладение Молдавией и Валахией вполне будет обеспечено. Но чтобы эта временная оккупация превратилась в политическую аннексию Молдавии и Валахии к Габсбургской державе или хотя бы в признанный Европой австрийский протекторат, нужно теперь же, не теряя времени, исполнить давнишнее требование Наполеона III и определенно примкнуть к союзникам.

Граф Буоль опять круто изменил свое поведение, и во всем окружении Франца-Иосифа исчезло то настроение, какое так бросилось в глаза Горчакову в первые дни сентября. Даже испытанные друзья Николая, вроде Виндишгреца, не говоря уже о несколько всегда колебавшемся Гессе, приумолкли.

Для Буоля этот новый поворот был не только простым возвращением к политике, проводившейся им до конца августа и прерванной всего на один приблизительно месяц: теперь австрийский министр иностранных дел почти победил колебания и сомнения Франца-Иосифа и свои собственные и получил временно полную свободу действий.

«Я держусь самого дурного мнения о намерениях венского кабинета относительно нас»,— доносит А. М. Горчаков 7 октября 1854 г. в Петербург. Буоль перестал стесняться, вызывающе держит себя относительно Пруссии и Германского союза и дает понять, что Австрия совсем не нуждается в их содействии и помощи.

«Это содействие в последний раз повелительно *требуют*, а уже не стараются снискать и объявляют себя готовыми заменить его интимным союзом с западными дворами». Николай подчеркнул эти зловещие слова в донесении Горчакова.

«Большое пространство прошел венский кабинет со времени отправления моего последнего курьера».

«Зложелательность венского кабинета по отношению к нам даже не прикрывается уже внешними формами...»

Между тем в самой Австрии ничего не изменилось, финансовые затруднения остались прежние, «никаких новых элементов силы» в Австрии не усматривается. Чем же объяснить этот «феномен», как выражается Горчаков?

«Преувеличение первых успехов союзников в Крыму, может быть, этому посодействовало, но конечный исход этой борьбы еще слишком неверен даже в глазах лиц, наиболее предубежденных против нас, чтобы одно это обстоятельство могло объяснить поворот». Но самый поворот обличает, что Франц-Иосиф вполне теперь поддерживает Буоля. А между тем «всего три недели назад император говорил князю Виндишгрецу, что, занимая княжества, он оказывает России косвенную услугу, потому что отныне России достаточно будет там одного часового, чтобы охранять свои границы».

Но за эти три недели пришли известия об Альме, об отступлении Меншикова... Горчаков решительно советует канцлеру Нессельроде ожидать отныне от Австрии *лишь самого худшего*. Вопрос лишь о времени, когда именно Австрия совсем присоединится к союзникам. «События в Крыму определят этот момент; но ваше превосходительство должны теперь принять за верное, что страх войны против нас уже не существует и что австрийское правительство далеко от желания ее избежать и с удовлетворением примет известие, что мы принимаем на себя инициативу войны». Николай подчеркнул все эти многозначительные строки своего посла.

Тон Буоля в беседах с Горчаковым был уже так дерзок, что становилось ясно, что он сжег свои корабли. Когда в Вене распространился слух, облетевший всю Европу, будто Севастополь взят, то министр внутренних дел Бах, из всех австрийских советников наиболее близкий к Францу-Иосифу, «говорил направо и налево (à tout venant): вы видите, как мы были правы, что предпочли западный союз — союзу с этим сгнившим зданием (morsches Gebäude)» [40]. Николай подчеркнул эти строки и отчеркнул все это место на полях. Горчаков — решительно в тревоге и уже берет назад высказанное им в начале сентября предположение, что за предстоящую зиму войны с Австрией не будет: «Если союзники будут иметь решительный успех в Крыму, Австрия сделает все, чего они от нее ни потребуют. Если они испытают неудачи и потребуют от Австрии, чтобы она активно высказалась против нас, я ничуть не уверен, что она с таким же послушанием не подчинится давлению с их стороны». Таким образом, Горчаков рекомендует отныне «угадывать линию поведения Австрии по намерениям западных держав». Все это сулит мало радостного для России, но «было бы преступно стараться ослабить нюансы нынешнего положения» [41]. Мы видим, что А. М. Горчаков в данном случае придерживается иной тактики в редактировании своих донесений, чем в 1853 г. и начале 1854 г. барон Бруннов в Лондоне и Н. Д. Киселев в Париже: он не пробует по-придворному успокаивать его величество.

Горчаков теперь уже не славословит царя, как в конце августа, за то, что он так гордо и гневно отверг четыре пункта. Посол явно считает, что необходимо теперь, после высадки союзных войск, Альмы и начала осады Севастополя, сделать это, пока Австрия не совершила своего рокового шага и не примкнула к вражеской коалиции. В Вену, между тем, в самом начале ноября прибыл фон дер Пфордтен, первый министр Баварского королевства. Явился он сюда прямо из Берлина, куда ездил, чтобы иметь право говорить в Вене не только от имени Германского союза, в котором Бавария являлась самым крупным после Австрии и Пруссии государством, но и от имени Пруссии. Пфордтен решительно не желал выступления Австрии с оружием в руках против Николая. Он боялся, как боялся этого и король прусский Фридрих-Вильгельм IV, что поражение царя отдаст Европу в руки австро-французского союза и тогда — конец самостоятельности второстепенных германских государств.

8

Прибыв в Вену, фон дер Пфордтен явился немедленно к Францу-Иосифу. Император откровенно ему сказал, что должен считаться с опасностями, которые угрожают Австрии со стороны Наполеона III, в случае если бы австрийская дипломатия решительно воспротивилась его желаниям. Пфордтен высказался в том духе, что и Пруссия и Германский союз не могут помочь Австрии в случае ее войны с Россией, потому что не желают этой войны, а в случае нападения Наполеона III на Австрию — с готовностью помогут ей.

После этой аудиенции Франц-Иосиф призвал Буоля и три часа сряду беседовал с ним. А затем состоялась беседа Буоля с Пфордтеном — вторая и окончательная. В первой беседе Буоль решительно заявлял, что Австрия пойдет своим путем, невзирая ни на что. Во второй же беседе австрийский министр был несколько уступчивее.

Вот какого рода предрасположения и условия венского кабинета изложил Буоль Пфордтену. Венский кабинет готов заявить, что в его намерения не входит выйти за пределы требований, изложенных в четырех пунктах. Но Буоль не желает сообщить этому «намерению» характер формального обязательства: он только изложит это в письме на имя австрийского посла в Берлине Георга Эстергази. В случае, если Россия согласится начать переговоры на основе четырех пунктов, австрийский кабинет обещает в самом умеренном духе интерпретировать эти пункты во время дискуссии, и Австрия пригласит западные державы «принять участие в совещаниях и предложит перемирие».

Если западные державы откажутся, то Австрия и Германия, несмотря на это, вступят с Россией в прямые сношения, и если совещания Австрии с Россией увенчаются успехом, то Австрия объявит себя удовлетворенной и предоставит Англии и Франции без ее помощи продолжать войну. Но Россия должна при этом дать заверения, что, чем бы война с западными державами ни окончилась, Россия не возьмет назад своего согласия соблюдать условия, которые между ней и Австрией будут выработаны.

Пфордтен сообщил это Горчакову, который и передал все в Петербург.

Конечно, все эти условия были не очень ясны и уточнены. Буоль под разными предлогами «не успел» отредактировать письмо Георгу Эстергази (для прусского короля), пока Пфордтен не уехал, и Горчаков полагал, что «в этом камень преткновения», т. е. в том, что Буоль лжет с начала до конца и напишет вовсе не то и не так, как обещает. Но во всяком случае появилась слабая надежда, что при известных условиях Австрия отойдет от Англии и Франции. Так или иначе — слово было за царем.

Бах и Буоль упорно толкали Франца-Иосифа к выступлению против России. Но генерал Гесс, начальник австрийского главного штаба, и значительная часть генералитета были решительно против войны. Финансы Австрии были расшатаны. Парижский Ротшильд получил ласковое приглашение от Франца-Иосифа приехать в Ишль и полечиться вместе. Ротшильд приехал, полечился, почти с родственной лаской был принят австрийским императором, но денег не дал и даже предпочел уехать оттуда поскорее, махнув рукой на здоровье и не кончив курса лечения. Правда, переговоры с ним продолжались, но дело явно затягивалось.

А с другой стороны, Гесс и его генералы довольно демонстративно стали выражать свое несочувствие вмешательству Австрии в войну. И не только потому, что, как и все высшее дворянство, они не хотели борьбы против Николая, усмирителя венгерской революции, но и потому, что просто боялись России, несмотря на ее очень тяжелое положение. Едва ли Гесс и скрывал от Франца-Иосифа, что он сносится постоянно с Александром Горчаковым. Да и как это можно было скрыть? И очень мало вероятно, чтобы Франц-Иосиф, продолжавший очень милостиво относиться к Гессу, действительно был сердит на него за эти сношения. Да и как бы мог Гесс длительно так вести себя, если бы в самом деле император сердился! Тут явно происходила своеобразная перестраховка. Франц-Иосиф в лице генерала Гесса припасал себе того чрезвычайного посла, который поедет в Петербург передать царю радостные австрийские поздравления, в случае если, невзирая ни на что, царь неожиданно победит. Когда Россия воюет, никогда нельзя ручаться

за будущее. Император Франц-Иосиф всегда держался этого благоразумного мнения.

«Мое положение здесь странно,— доносил Александр Горчаков из Вены 8 ноября 1854 г.— Я конспирирую — это именно подходящее слово — с главнокомандующим войск, назначенных действовать против нас... Кроме обязательных визитов, которые мы сделали друг другу, я не вижу генерала Гесса, но мы условились иметь посредника, через которого часто сносимся и обмениваемся мнениями» [42].

Фон дер Пфордтен, уезжая из Вены, не скрыл, как он смотрит на будущее, в случае если Николай останется непоколебимым: «Если четыре предложения будут отвергнуты Россией, то неизбежна война между нею, с одной стороны, и Австрией и западными державами — с другой стороны, и Германия (Германский союз) неминуемо будет позже вовлечена в войну. Цель войны тогда состояла бы в реальном и длительном ослаблении русского могущества» [43]. В этом был предостерегающий совет Николаю. Еще перед своим отъездом из Вены Пфордтен повидался с Буркнэ, французским послом в Вене, и спросил его мнения: согласятся ли западные державы на перемирие при вышеизложенных предварительных условиях? Буркнэ очень уклончиво ответил, что все зависит от *интерпретации* четырех пунктов и что французы потребуют принятия их интерпретации. А что касается новых требований (кроме четырех пунктов), то Буркнэ сказал, что они возможны, но будут играть второстепенную роль.

Донесение Горчакова, отправленное 7 ноября из Вены, 15 ноября было вручено канцлеру Нессельроде в Петербурге. Только в пути курьер, мчавшийся почти без отдыха из Вены в Петербург с этим донесением, узнал об Инкермане, о чем не знал Горчаков, отправляя донесение.

9

«Большие новости из Севастополя: 5-го числа русская армия напала на английские линии и была отброшена. Часть гарнизона перед французскими позициями потерпела ту же участь. Русские потери насчитываются до десяти тысяч». В таком виде 13 ноября 1854 г. Париж, Лондон и Вена получили первые сведения об Инкерманском сражении. Не прошло еще 48 часов, как сначала в дипломатических канцеляриях, а вслед за тем и в прессе появились дополнительные сведения, пока еще очень краткие, об Инкермане. «Крымские известия... очень обескураживающие; сдача Севастополя, которую ждали с часу на час, кажется отодвинутой на неопределенный срок»,— читаем мы в дневнике решительного противника Рос-

сии графа Гюбнера, австрийского посла в Париже, под 15 ноября 1854 г. [44]

Кровавый Инкерманский бой с каждым днем вырисовывался в своей сущности. «Мы обладаем уже официальными английскими и французскими донесениями об Инкерманском сражении 5-го числа. Поражение русских подтверждается, но результат — почти нулевой (à peu près nul). В полдень пушка во Дворце инвалидов чествует эту кровавую и бесплодную победу» [45].

Чем более обстоятельно оба союзных западных правительства знакомились с деталями Инкерманского боя, тем больше озабоченности проявлялось в их действиях. Это была не растерянность, а нечто совсем другое: сознание огромных, непредвиденных трудностей и непоколебимая решимость их преодолеть.

Вот в каком виде представлялось все событие. Русские напали на англичан и много потеряли, но много и истребили из личного состава неприятельской армии. Англичане были бы уничтожены, если бы не французская подоспевшая выручка и не загадочное поведение русских военачальников, из которых один не привел резервы, а другой велел отступать. Но русские сохранили полную возможность повторить эту попытку, как только захотят это сделать. К этим немногословным тезисам сводились наиболее достоверные сообщения.

«Последнее дело 5-го числа было очень кровопролитным. Англичане очень потерпели... Потери русских убитыми и ранеными считают в 12 000 человек. Англичан осталось 11 000 вместо 30 000, которые были три месяца тому назад. У англичан 5 генералов выбыло из строя, 80 офицеров ранено и 440 убито... Без французов англичане, которые дали застать себя врасплох, у которых не было расставлено даже передовых постов, были бы уничтожены». Такого рода известия привезены были в Константинополь через неделю с небольшим после сражения. Уже и это было достаточно неутешительно, но хуже всего оказывались перспективы, пишет лицо, явно очень близкое к главному штабу французской армии. Русских — 1000 000, и к ним подходят подкрепления. Французские и английские войска утомлены и очень пострадали. Турки мало пригодны: «Что касается турок, о них не говорят; военные утверждают, что они годятся только зарывать мертвых; англо-французские войска принуждены даже кормить их. К русским присылают подкрепления, их через 15 дней будет 150 000 человек около Севастополя. Можно было бы попытаться взять Севастополь приступом, но толку не будет: русские засядут на Северной стороне и оттуда будут громить союзников, когда те войдут в город» [46].

Это — типичное письмо. Судя по деталям, письмо привезено было кем-то, близко стоявшим к возвращавшемуся во Фран-

цию и пребывавшему с 9 ноября в Константинополе принцу Наполеону. Все показания в общем сходятся с этим письмом, и, кроме казенных газетных статей, никто не считал Инкерман такой победой, которая может иметь в самом деле реальные, положительные для союзников результаты. Вот что пишет по поводу Инкермана русский посланник в Брюсселе Хрептович, зять канцлера Нессельроде, принятый при бельгийском дворе и бывший через короля бельгийского Леопольда в курсе всего, что говорилось и делалось в Париже: «Последние известия из Крыма распространили тревогу во Франции, и большинство высших военных чинов теперь порицают маршала Сент-Арно за то, что он предпринял экспедицию, с самого начала не одобряемую адмиралами Дондасом и Гамленом... Значительные потери союзников, определяемые только для французской армии в 20 000 человек с начала войны, делают необходимой быструю посылку новых подкреплений. Зимой французская армия будет доведена до 90 000 человек». Армия истощена осадными работами и нападениями русских войск, которые держат союзников в напряжении день и ночь... Пища отвратительная, войскам дают мясо по одному разу в три-четыре дня, топлива нет, питьевую воду привозят на кораблях из Турции. Палатки были очень полезны для армии, но не могли ей долго служить, когда погода наступила холодная. Французское правительство стремится насколько возможно скрыть от публики истинное положение экспедиционной армии. Хрептович передает также слух, будто запрошенный секретный военный комитет высказал мнение, что следует снять осаду с Севастополя ввиду наступающих холодов и трудностей предприятия [47]. А ведь зима еще только начиналась!

Но, конечно, несравненно более угнетающе, чем в Париже или Лондоне, известия об Инкермане, как о том уже рассказано в другом месте моей работы, должны были подействовать в Петербурге. И чем больше подробностей доходило до царя в течение ноября об общем положении дел, тем мрачнее становилось настроение в Зимнем дворце. Вот что писал царь Михаилу Дмитриевичу Горчакову, командовавшему отошедшей к Пруту Дунайской армией, 10 ноября: «Вероятно, князь Меншиков уведомляет тебя постоянно о положении дел в Крыму. Признаюсь тебе, любезный Горчаков, что оно неутешительно; неприятель не помышляет снять осады и отплывать, напротив, он все сильнее окапывается в своих позициях, и по всему должно заключить, что он твердо решился зимовать под Севастополем, ежели ему не удастся им завладеть. Слухи об посылаемых подкреплениях отовсюду подтверждаются и еще более дают вероятия, что во что бы ни стало союзники хотят остаться в Крыму. Между тем мы ничего не предпринимаем против них, и что

всего ужаснее, запас пороха до того истощается, что скоро нечем будет отстреливаться! Вот конец, который предвидеть должно Севастополю, сколь ни тяжело это высказать» [48].

Горчаков Михаил давно знал, что царь пишет ему такие грустные письма еще и потому, что сам получает от Горчакова Александра из Вены один тревожный сигнал за другим. «Слухи из Вены, что новая экспедиция от французов, будто 50 тысяч отправляется в Евпаторию; не дай бог, мудрено было б справиться!» — так писал Николай [49].

15 ноября Николаю доставили полученное только что донесение А. М. Горчакова из Вены. Нужно было немедленно выбирать: или соглашаться на четыре пункта, или рисковать войной с Австрией. То, что до высадки союзников и до Альмы возбуждало в царе только гнев и презрительный отказ, что еще накануне Инкермана молчаливо отвергалось,— теперь, после Инкермана, показалось неизбежным. Отказ от исключительного покровительства православным в Турции, от протектората над Молдавией и Валахией, от контроля над устьями Дуная,— эти три пункта, как это ни было болезнетворно для самолюбия Николая, он мог принять с меньшими колебаниями, чем четвертый: пересмотр договора между великими державами и Турцией от 11—13 июля 1841 г. Тут царь должен был наперед готовиться к самому худшему — к нарушению законных стремлений России оградить свое побережье от врагов, обезопасить свои владения от угрозы вторжения. Николай понимал, что, соглашаясь и на этот четвертый пункт, он разрушает свое собственное создание 1841 г., плод своей удачной дипломатической тактики в те годы, когда все ему удавалось и когда ему и другим казалось, что все монархи Европы трепещут от его сдвинутых бровей и ждут его милостивого слова и что так будет продолжаться всегда...

Вечером 16 ноября канцлер Нессельроде пригласил явиться в министерство австрийского посла в Петербурге графа Валентина Эстергази (брата австрийского посла в Берлине Георга Эстергази). Нессельроде заявил Валентину Эстергази, что император Николай принял четыре пункта.

10

Известие о согласии Николая на принятие четырех пунктов пришло на другой же день, 17 ноября, в столицу Австрии. Наиболее сильное впечатление оно произвело, конечно, в Вене. Буоль, узнав эту новость, бросился к Францу-Иосифу. На первых же порах он высказывался в таком духе, что решение русского императора — залог мира и т. д., и вообще казался очень

довольным, но тут же ввернул две-три двусмысленные фразы. Он «боялся», удовольствуются ли этим западные державы; сообщил, что если «Омер-паша будет так безумен, что войдет в Бессарабию», то австрийские войска получили на этот случай приказ удалиться из тех мест, через которые будут проходить турки. Подчеркнув эти слова, Николай сделал помету: «Это мне подтверждает, что мы будем одурачены вероломством Буоля; вижу, что это наступает» [50].

Царь имел в виду, что, оккупируя оставленные русскими места, австрийская армия именно брала на себя роль буфера, препятствующего столкновению.

Для Наполеона III дело теперь зашло слишком далеко, чтобы он согласился окончить войну, не взяв Севастополя, и удовольствовался бы после всех жертв и затрат дипломатической победой. Для Эбердина, а особенно для Пальмерстона и Кларендона отказаться от продолжения войны значило упустить неповторимый случай серьезно ослабить Россию.

Словом, для союзников согласиться на перемирие означало в этот момент отступить от своих политических позиций.

Но ни император французов, ни Англия не желали и думать об отступлении. А если так, то именно теперь, после Инкермана с его блестящими в газетных столбцах, но на самом деле очень скромными и купленными слишком дорого результатами, Наполеону, Эбердину, Пальмерстону казалось особенно неотложным делом заставить Франца-Иосифа объявить России войну. Так было еще до того, как Николай решил принять четыре пункта. Характерно было то, что Буоль, уже 17 ноября узнавший об этой важной новости, не спешил телеграфировать о ней в Париж — он выждал четыре дня.

«Ночью (21 ноября 1854 г.— *Е. Т.*) меня будят, чтобы вручить мне телеграфную депешу Буоля, которую я дешифрую лично. То, что я предвидел и столько раз предсказывал, случилось». Так реагировал граф Гюбнер на известие о согласии Николая принять четыре пункта [51]. Граф Гюбнер был этим очень удручен. Он еще в большей степени, чем его начальник Буоль, принадлежал к той категории австрийских государственных людей, которым, как и всей меттерниховской школе, откуда они вышли, казалось, что с «русским страшилищем» Австрия никогда не справится ни один-на-один, ни даже в союзе с германскими государствами; что редчайший счастливый случай бросил на Россию силы могущественной коалиции; что идти с этой коалицией нога в ногу означает для Австрии не только длительно обессилить страшного соседа, но и заполучить при этом две богатые территории — Молдавию и Валахию. Министры Буоль и Бах в Вене, граф Гюбнер в Париже, старый Меттерних, к которому продолжал обращаться за советами Буоль, считали, что

хотя принятия Николаем четырех пунктов было бы более чем достаточно, чтобы вполне удовлетворить Австрию еще в августе, но теперь этого мало. Если, согласно обещанию, данному через Горчакова, отступиться вовсе от солидарности с желающими продолжать войну Францией и Англией, то это может грозить Австрии катастрофическими последствиями. Во-первых, Наполеон III ни за что не простит и так или иначе изгонит австрийцев из Ломбардо-Венецианской области. Во-вторых, чем бы война ни окончилась, было достаточно ясно, что тот же Наполеон III может вступить немедленно в дружеские отношения с царем: в Вене не могли не знать, что еще 21 июля 1854 г. генерал Эдвин Мантейфель (не смешивать с прусским министром иностранных дел Отто Мантейфелем) в личном докладе королю Фридриху-Вильгельму IV о своих переговорах с царем сообщил королю, что император Николай грозит Пруссии заключить после войны союз с Наполеоном III [52]. Если Николай мог грозить этим союзом своему шурину, которого только презирал за слабость и за шатания, то чего могла ждать от подобных умонастроений царя Австрия, которая возбудила в Петербурге такую ярую ненависть своим поведением в течение всей войны? В-третьих, парижская и лондонская биржи могли без всякого труда нанести ряд серьезнейших ударов и без того находившимся в самом плачевном состоянии австрийским финансам. К самому концу ноября вот каково было расположение борющихся сил в столице Австрии по данным русского посольства в Вене.

Со дня на день готовится подписание договора о наступательном и оборонительном союзе между Австрией, Англией и Францией, но при дворе Франца-Иосифа царит нерешительность. Лицом к лицу стоят две партии, совершенно расходящиеся и в целях и в тактике: 1) партия консервативная, военно-аристократическая, стоящая за полный нейтралитет Австрии, опирающаяся на такой же нейтралитет Пруссии и Германского союза, нейтралитет, фактически дружественный Николаю, потому что развязывал царю пути в Крыму и обеспечивал его западные границы; 2) партия «министерская», во главе которой стоят граф Буоль и барон Бах и к которой все более и более склоняется сам император Франц-Иосиф. Эта партия хочет тесного союза с западными державами и не боится войны с Россией. Самые пестрые элементы ее поддерживают: высшие финансовые сферы, крупные промышленники, либералы, иезуиты, ультрамонтаны [53].

Остановимся на этом несколько странном и на первый взгляд очень уж пестром перечислении, которое единым духом высказал автор нашего документа. Он не лжет, он только слишком уж лаконичен. «Либералы» в Австрии ненавидели

Николая, как они его ненавидели под всеми широтами земного шара, и война против него среди либеральной буржуазии всегда должна была вызывать сочувствие. Финансисты и промышленники чаяли выгоднейших сделок на фондовой бирже при заключении неизбежных государственных займов, промышленники уже с 1853 г. не переставали наживаться на поставках военному министерству. Иезуиты и клерикалы («ультрамонтаны») сочувствовали будущей войне католической державы Австрии, выступающей вместе с другой католической державой — Францией против православных еретиков, ненавистных московских схизматиков, угнетающих католицизм в Польше.

Главную силу «министерская» партия черпала в сознании, что дальше колебаться Францу-Иосифу не позволят ни Наполеон III, ни Англия, которые твердо решили, что нужны новые союзники, потому что одними инкерманскими «победами» русского сопротивления не сломишь.

Не только Буоль из Вены, но и Наполеон III из Парижа в эти решающие ноябрьские дни, наступившие после получения подробных известий об Инкермане, делали все зависящее, чтобы склонить Баварию и другие державы Германского союза к поддержке австрийской политики. Фридрих-Вильгельм IV начинал ощущать одиночество, крайне его тревожившее.

Баварский премьер фон дер Пфордтен, при всех своих ласковых разговорах в Вене с Горчаковым, фактически склонялся на сторону Буоля. Тогда король прусский решился на то самое, от чего он всегда отказывался. Он послал в Вену Арнима с полномочиями подписать «дополнительную статью» (Zusatzartikel) к австро-прусскому договору от 20 апреля 1854 г. Под этим скромным названием понимались следующие новые обязательства Пруссии: во-первых, предпринять решительные шаги в Петербурге, чтобы заставить царя принять четыре пункта; во-вторых, оказать вооруженную помощь Австрии, в случае если русские войска, стоящие на берегах Прута, вздумают напасть на австрийцев, находящихся в Дунайских княжествах.

Уже 23 ноября в Вене Арним объявил Буолю, что он подпишет это австро-прусское «соглашение», в котором все получала Австрия и ровно ничего не получала Пруссия. 26 ноября 1854 г. договор был окончательно оформлен, подписан и вступил в силу. Это была последняя попытка Фридриха-Вильгельма IV предупредить пугавший его договор Австрии с западными державами, и если бы на самом деле Буоль и Франц-Иосиф были в своих поступках движимы только страхом перед Николаем, то отныне Австрия могла отказаться от союза с западными державами.

Но в действительности в этот момент речь шла совсем о другом. Предстояла трудная зима под Севастополем. И крова-

вый Инкерман мог повториться, да еще неизвестно, с каким конечным исходом; и страшная буря 2 (14) ноября — со всеми бесчисленными бедами, которые она причинила на море и на суше; и со всех сторон шли слухи о подкреплениях, идущих с севера к Меншикову. Наполеону III нужна была не мирная конференция, а победоносное окончание войны, взятие Севастополя, военное торжество. Необходимо было сломить упорство царя, обескуражить русское сопротивление. Для этого непременно следовало добиться выступления Австрии, если бы даже пришлось поставить перед ней ультиматум и прямо грозить выгнать ее вон из Северной Италии. Как мы видели, именно это и делал очень тонко, но удобопонятно для австрийцев Наполеон III в течение всей второй половины ноября.

22 ноября Горчаков имел собеседование с Буолем и удостоверился, что принятие царем четырех пунктов не достигло цели. Буоль придирался к редакционным мелочам, к формулировкам, и когда Горчаков заявил ему, что Россия в этих несущественных мелочах уступит, то все-таки Буоль увиливал от ответа, обещал поразмыслить и т. д. Горчаков видел ясно его игру и очень просил Петербург уже наперед уступить по всем этим пустым мелочам, за которые Буоль и стоявший за ним французский посол Буркнэ ухватились, лишь бы получить возможность не согласиться на мирную конференцию [54].

Каждое новое свидание с Буолем укрепляло в Горчакове правильное убеждение, что Буоль и Франц-Иосиф, соглашаясь на переговоры с Россией, просто боятся отдалить от себя западные державы и испортить свои отношения с ними и что никакие уступки с русской стороны ни в чем тут не помогут: союзники твердо решили вести войну до крайнего предела энергии (la guerre à outrance), и в Австрии они видят желательного союзника *в войне*, а вовсе не за столом дипломатических конференций [55].

11

В течение шести недель, с начала октября до середины ноября 1854 г., А. М. Горчаков намеренно не виделся с Буолем, и Буоль не изъявил желания говорить с ним. Оба жаждали встречи, но выдерживали характер. 13 ноября Горчаков, воспользовавшись предлогом, чтобы переговорить о конференции насчет телеграфного сообщения между Россией и Австрией, дал знать в 11 часов утра, что будет в министерстве иностранных дел между 1 и 2 часами дня. Немедленно об этом был уведомлен император Франц-Иосиф, который поделился этой волнующей новостью с генерал-квартирмейстером Гессом и сейчас же после ухода Горчакова самолично

явился в Государственную дворцовую канцелярию к Буолю, чтобы узнать о содержании беседы.

Содержание же ее было следующее.

Буоль сделал вид, что хочет объясниться начистоту. Он поведал Горчакову, что с молодости поражался, видя силу русского влияния на Востоке и тем, как это влияние отражается на судьбах Австрии; что он, Буоль, уже примирился с этим положением вещей, но что теперь, когда действия России стали выходить из границ и прямо угрожать существованию Австрии, он увидел средство спасения от опасности в образовавшейся западной антирусской коалиции. Три обстоятельства, по словам Буоля, особенно его всегда беспокоили: преобладающее влияние России в Константинополе, протекторат над Дунайскими княжествами, открывающий России путь в столицу Турции, и право религиозного покровительства православным.

Горчаков старался доказать Буолю неосновательность этих опасений и отвечал по всем трем пунктам. Что касается русского влияния в Турции, то оно для Австрии гораздо менее опасно и вредно, чем нынешнее (в 1854 г.) влияние там западных держав. «Вспомните хорошенько, что всюду Англия поддерживает победоносную конкуренцию всякой чужой торговли и чужой промышленности». А Франция пускает в ход революционные идеи (это Горчаков намекал на агитацию в Италии). «Сделайте же вывод, какой из двух соседей представляет для вас бо́льшую опасность» (т. е. Наполеон III или Николай I).

«Граф Буоль не оспаривал этого рассуждения,— с торжеством замечает Горчаков;— я знал, что коснулся струны, которая уже вибрировала, и что первые плоды англо-французского присутствия в этих краях довольно горьки для Австрии». Тут Горчаков не совсем неправ: мы уже в своем месте отметили, как смотрел австрийский представитель в Константинополе Брук на английскую торговую конкуренцию.

По второму пункту, о протекторате над княжествами, Горчаков заметил, что считает этот протекторат не очень драгоценным для России. Что же касается значения этих княжеств как дороги в Константинополь, то неужели Буоль думает, что какой-нибудь документальный «текст» мог бы помешать русскому государю, если б он жаждал завоеваний, пройти через княжества, «будь налицо протекторат, или не будь протектората»? Но этого не будет, потому что русский царь и благоразумная масса его подданных считают, что расширение русских границ было бы лишь ослаблением нашего могущества. Наконец, по третьему пункту, по мнению Горчакова, со сто-

роны России не будет препятствий к установлению общеевропейского покровительства всем христианам в Турции, без различия вероисповеданий, потому что все равно православные будут именно к России фактически обращаться за покровительством.

Словом, Горчакову казалось, что эта беседа успокоила Буоля, и вечером Горчаков узнал, что Франц-Иосиф «с живым чувством удовлетворения выражался о миролюбивых предрасположениях русского посла»[56].

Зная о миссии Арнима в Вену и о готовящемся новом австро-прусском соглашении (фактически уже решенном еще до его формального подписания 26 ноября), Наполеон III тотчас понял, какое подкрепление этот шаг прусского короля дает той австрийской придворной партии, которая стоит за строгий австрийский нейтралитет и за отклонение союза с западными державами.

Император французов решил парировать этот ход. 23 ноября он отправил Францу-Иосифу письмо, в котором в очень вежливых выражениях ставил перед ним альтернативу, формулируемую бывшим вполне в курсе дела австрийским послом Гюбнером так: «Немедленное подписание договора (о согласии с западными державами — *Е. Т.*) или разрыв»[57]. Значит, *может быть*, война с Николаем в случае подписания договора или наверное война с Наполеоном III и Англией в случае неподписания. Правда, в самом письме только предлагался «оборонительный» и наступательный союз, но комментарии Буркнэ в беседах с Буолем и Друэн де Люиса в беседах с Гюбнером были весьма ясны. В Париж прибыл как раз в эти дни лорд Пальмерстон, и 27 ноября граф Гюбнер устроил в его честь большой банкет в австрийском посольстве. Гюбнер боялся англичан и не любил их. Из всех англичан он больше всего боялся и окончательно терпеть не мог именно лорда Пальмерстона. Он считал, что милорд лжет не только словами, но даже глазами: «В особенности его взгляд не внушает никакого доверия». Пальмерстон имел с хозяином дома долгий разговор после обеда, но утешительного для Австрии ничего из этого собеседования Гюбнер не вынес. Пальмерстон шел дальше Наполеона III. В том, что австрийцы подпишут договор, он не сомневался. Он только наперед очень пренебрежительно высказывал, что не верит Австрии и что с ней придется по-другому поговорить! «Мы теперь подпишем с вами договор о союзе. Это будет мертворожденное дитя. Если мы (англичане — *Е. Т.*) на это соглашаемся, то против своей воли и уступая настояниям императора Наполеона. Под союзом я понимаю ваше участие в войне. Ну, никогда вы не будете воевать с Россией, и единственным результатом этого

договора будет напряженность в отношениях между вами и западными державами»[58].

Наконец, угрозы со стороны Франции стали в эти последние дни такими определенными и частыми, какими не были еще ни разу до тех пор. «В своих последних депешах Друэн де Люис не скрывает своего раздражения по поводу австрийских промедлений. По его мнению, они компрометируют положение. Он приглашает г. де Буркнэ (французского посла в Вене — *Е. Т.*) обратить внимание австрийского правительства на состояние Италии, которая находится во власти агитации, поддерживаемой значительными денежными средствами очень хорошо налаженной организации революционеров. Это движение может разразиться внезапно, в большом масштабе (sur une grande échelle), *так что Франции трудно будет сдержать его, если уже огонь загорится»*[59].

Францу-Иосифу грозили — уже не намеками, а совсем открыто — немедленно направить на Ломбардию и Венецию войска Пьемонта и поддержать нападение...

А. М. Горчаков знал о том, что творилось в эти дни вокруг Франца-Иосифа; ему доносили, что Буркнэ не выходит из кабинета Буоля, и он понимал, что хорошо было бы как можно скорее прекратить войну.

«*Я покорно прошу его величество удостоить разрешить* мне смотреть на эти детали, как на имеющие подчиненное значение сравнительно с важной целью, которую мы имеем в виду, то-есть сравнительно с задачей найти почетный выход, чтобы предупредить весной борьбу против нас всей коализированной Европы, обмануть расчеты западных держав и в то же время отнять у них разом Германию и Австрию»,— так писал Горчаков царю 23 ноября, когда была еще слабая надежда удержать Австрию от союза с Францией и Англией, или по крайней мере русскому представителю казалось, что эта надежда еще существует. Наступило 1 декабря, а Горчаков все еще надеялся. Чтобы уж не было никаких придирок со стороны Англии и Франции (chicanes occidentales — западных придирок, как выражается Горчаков), он встретился с Буолем, и они вдвоем вполне согласовали все формулировки четырех пунктов. Мало того, Буоль взялся вести предварительные переговоры о формулировке четырех пунктов с Францией и Англией, чтобы уже никаких препятствий к открытию совещания не было. На Горчакова Буоль произвел на этот раз довольно удовлетворительное впечатление. Русскому дипломату он представился человеком, который «хочет мира», но «прежде всего не хочет войны с Западом» и который «завяз в ложном положении» (embourbé dans la fausse situation), так как он должен, согласно желанию Франца-

Иосифа, стремиться к соглашению с Россией и в то же время боится враждебного разрыва (un divorce hostile) с Англией и Францией.

На Германский союз, на Пруссию Горчаков надеется очень мало: австро-прусский договор от 26 ноября разрушил надежды на то, что Россия может ждать поддержки с этой стороны[60]. Но вот в Австрии генерал-квартирмейстер Гесс — горячий друг России, Франц-Иосиф не хочет ссориться, даже сам Буоль не так плох, как все время был...

Все это переживалось и писалось Горчаковым 1 декабря. Буоль ни слова не сказал ему о том, что договор о *союзе* Австрии с Францией и Англией уже решен категорически и что не пройдет и 24 часов, как он будет подписан.

Франц-Иосиф подчинился необходимости подписать договор немедленно, и уже 29 ноября Друэн де Люис получил из Вены телеграмму от своего посла Буркнэ, который сообщал, что он виделся с императором Францем-Иосифом и Буолем и считает дело о договоре окончательно решенным. Но в самый последний момент австрийский император потребовал, чтобы Наполеон III дал ручательство, что территориальное положение Италии и общественный порядок ее не будут во все время войны нарушены. Наполеон согласился и велел Друэн де Люису изготовить особое соглашение об Италии, которое 1 декабря Друэн де Люис показал Гюбнеру, вполне согласившемуся с его текстом. И 30 ноября, и 1 декабря, и весь день 2 декабря прошли в Париже неспокойно. Друэн де Люис не скрывал «живейшей тревоги» и был полон «самых мрачных предчувствий», так как из Вены не было никаких известий.

В Тюильрийском дворце вечером «за императорским обедом царило мрачное молчание»[61]. Наполеон III ждал ответа из Вены на свой ультиматум. К концу обеда ему подали телеграмму: соглашение о союзе западных держав с Австрией было подписано в Вене в тот же день, 2 декабря 1854 г., в 1 час дня, тремя представителями договаривающихся держав: графом Буолем, французским послом Буркнэ и английским послом лордом Уэстморлэндом. Наполеон III, прочитав телеграмму вслух, с порывом, совершенно ему несвойственным, обнял императрицу и поздравил присутствующих.

12

На другой день во Франции, в Англии, во всей нейтральной Европе договор 2 декабря был единственной темой политических разговоров. Все французские и английские фонды круто поднялись вверх на бирже, правда совсем не надолго. Казалось, что война вдруг неожиданно приблизилась к своему концу. Как ни готовились в Пруссии и в России к этой

новости, все же она произвела в первый момент впечатление оглушительного удара. «Ради самого господа бога — не подписывайте!» — такую дипломатически не отредактированную телеграмму получил граф Буоль от прусского первого министра Мантейфеля 2 декабря, за несколько часов до подписания. Король Фридрих-Вильгельм IV до последней минуты не терял надежды воспрепятствовать этому делу.

Договор сводился к следующему. Австрия, Франция, Англия обязуются солидарно защищать Дунайские княжества от попыток русских войск напасть на них. Эти державы соглашаются вести переговоры с Россией только на основе предварительного принятия Россией четырех пунктов в том точном тексте и интерпретации, какие солидарно сформулированы тремя договаривающимися державами. В случае, если открывающиеся на основе принятия этих пунктов переговоры не приведут до 1 января 1855 г. к заключению мира с Россией, договаривающиеся три державы приступят к обсуждению общих мероприятий, которые обеспечили бы достижение целей, поставленных ими себе при заключении этого союза.

Спустя час после подписания в Вене договора о союзе Австрии с западными державами 2 декабря 1854 г. Буоль, согласно приказу императора Франца-Иосифа, имел свидание с князем А. М. Горчаковым. Буоль сообщил Горчакову содержание только что подписанного договора и передал, что император австрийский просит Горчакова хорошо принять случившееся. «Меня обворовали!» (Je suis volé!),— вскричал Горчаков и заявил, что потребует свои паспорта [62].

Но в своем донесении канцлеру Нессельроде Горчаков не счел нужным признаться в этом своем первом душевном движении. Он просил Буоля передать императору австрийскому выражение своего глубокого изумления: только вчера он, Горчаков, послал в Петербург письмо, передающее о таких миролюбивых намерениях Австрии,— а сегодня ему же предлагают задачу, превышающую его силы. Он не может ни понять, ни оправдать в глазах императора Николая этот договор Австрии с западными державами и будет просить Николая решить, не следует ли поручить заботу о русских интересах другому, более счастливому посреднику.

Буоль в ответ произнес длиннейшую речь, в которой доказывал, что договор, только что им подписанный, был затеян и постепенно зрел еще с той поры, когда царь отказался принять четыре пункта, т. е. с начала сентября. Он, Буоль, просто «в отчаянии», что так неловко вышло случайное хронологическое «несчастное совпадение» этого договора с нотой Горчакова от 28 ноября, принимающей австрийскую редакцию четырех пунктов. Буоль далее откровенно признался, что огромная опас-

ность разрыва с Россией заставила озаботиться более могущественной помощью, чем помощь со стороны Пруссии и Германского союза. Поэтому и пришлось Австрии заключить союз с Францией и Англией, несмотря на договор с Пруссией от 26 ноября (о прусской помощи в случае нападения России на Австрию).

Вообще же Буоль выразил убеждение, что договор 2 декабря — «шаг к миру». Горчаков выразил сомнение. Друэн де Люис хочет изменить трактат о проливах 1841 г. в таком духе, что Россия на это изменение не пойдет, и тогда проектируемые переговоры будут лишь «прелюдией к кровавой драме, преступной комедией, где в игре будет кровь народов». Николай отметил на полях: «именно так» (c'est cela).

На этом окончилось свидание двух дипломатов. Горчаков собрал задним числом некоторые закулисные сведения о том, что происходило в Вене в последние сутки перед подписанием договора 2 декабря. Накануне французский посол Буркнэ и английский — Уэстморлэнд явились к Буолю с настоятельным предложением подписать уже готовый текст. Буоль заявил, что так как русское правительство приняло четыре пункта, то можно немедленно открыть конференцию. Но послы западных держав упорствовали и заявили, что если договор не будет подписан в 24 часа, то они потребуют свои паспорта. Буоль поспешил к императору, и хотя Франц-Иосиф не хотел сначала подписывать, но Буоль представил ему, что отказ будет обозначать «немедленную войну с Западом» и что он, Буоль, выходит в отставку. Тогда Франц-Иосиф разрешил Буолю подписать договор. «Перечитывая мои донесения, мне не приходится менять ни одного факта, отказываться от какого бы то ни было соображения, изменять малейшую деталь. Я предупреждал о промедлениях, о препятствиях, происходящих от страха, но я сознаюсь, что мне не приходило в голову, ни что это чувство в течение двадцати четырех часов может иметь такое неотразимое влияние в империи, которая претендует на место первоклассной державы, ни что это чувство (страха — *Е. Т.*) так легко сообщается от графа Буоля его государю»,— пишет Горчаков [63].

Итак, совещания послов должны открыться в Вене. Австрия, Англия, Франция и Россия будут пытаться прийти к соглашению на основе четырех пунктов. Все отныне будет зависеть, предупреждает Горчаков, от Англии и Франции. Австрия будет беспрекословно им повиноваться.

Но Горчаков убедительно советует царю не отказываться от участия в начинающихся в Вене совещаниях, несмотря на тяжелое положение, в котором окажется русский представитель, лицом к лицу против трех совершенно солидарно действующих врагов. Он уверяет царя уже наперед, что, как только увидит,

что конференция предлагает оскорбительные для русского имени условия, он будет знать, что ему делать. Горчаков не обманывал ни себя, ни царя, говоря об этих предстоящих совещаниях. Ведь Наполеон III и Англия имели все логические основания сорвать начинавшиеся совещания, потому что в этом случае, в силу договора 2 декабря, Австрия с 1 января 1855 г., т. е. ровно через 29 дней, автоматически вступала в переговоры с западными державами об общих мерах *понуждения* России к принятию поставленных условий. Однако обстоятельства сложились не совсем так, как надеялись одни и боялись другие.

Договаривающиеся державы обязывались не вступать без предварительного между собой соглашения ни в какие мирные переговоры с Россией. Австрия должна была, оставляя свои войска в Дунайских княжествах, не препятствовать движению английских и французских войск по этой территории. В случае войны Австрии с Россией обе западные державы обязаны были помогать Австрии.

Автор вышедшей в 1931 г. книги «Die deutsche Frage und der Krimkrieg» Франц Экгарт старается доказать, что Австрия совсем свободно, по собственному желанию [64], без всякого понуждения со стороны западных держав, заключила с ними союз. Это, конечно, неверно, как было бы неправильным утверждать, будто Франц-Иосиф и Буоль только из страха перед западными державами приняли это решение. Было и то и другое, как явствует из документов наших архивов, оставшихся абсолютно неизвестными Францу Экгарту, и из мемуарной литературы вроде незаменимого дневника австрийского посла в Париже графа Гюбнера. А в венских официальных архивных документах Экгарт и не мог, конечно, найти ничего, указывающего на серьезную роль, которую сыграла постоянная боязнь за итальянские владения, в нежелании австрийского правительства рвать с западными державами. В официальных своих документах ведь никакое правительство в подобных мотивах, как боязнь, обыкновенно не признается, да и самые «запугивания» проводятся не в официальных нотах, а иными способами. Автор другой работы, написанной на аналогичную тему [65], гораздо реальнее и проницательнее отмечает, насколько угрожающие намеки и размышления вслух императора Наполеона III о предстоящей после войны переделке европейской карты действовали на нервы не только австрийских, но и прусских дипломатов. И чем осведомленнее был австрийский дипломат, тем больше он беспокоился: «Продолжающиеся намеки Наполеона III на переделку европейской карты и на революцию стоили Гюбнеру (австрийскому послу в Париже — *Е. Т.*) бессонных ночей» [66]. Манипулируя и ловко играя понятием «революция», Наполеон III

пугал австрийцев призраком национального итальянского восстания в Ломбардии и Венеции и французской поддержки такого восстания.

В том, что значительную (а после заключения договора 2 декабря 1854 г. даже наибольшую) роль среди мотивов австрийской политики играло стремление прочно овладеть при помощи союза с Францией и Англией Дунайскими княжествами, не может быть, конечно, ни малейшего сомнения.

Договор 2 декабря 1854 г. между Австрией и союзниками серьезно ухудшил для России политическую обстановку войны. Отныне буквально в любой момент после 1 января 1855 г. Австрия могла заявить, что, так как мир не заключен, она обязана вступить в войну. Австрийская армия, совсем не опасная для русской армии при борьбе один-на-один, теперь, когда необходимо было защищаться в Крыму, могла сыграть большую роль, если бы вторглась в русские пределы. Паскевич и царь считались уже наперед с возможностью, в случае такого вторжения, защищаться на Днестре.

Этот венский договор был логическим последствием долгой, ошибочной со всех точек зрения политики Николая относительно Габсбургской державы. Габсбурги были нужны Николаю в его борьбе против революции,— и долго он делал все от себя зависящее, чтобы их поддержать и усилить. А когда стало выясняться, что они могут стать поперек дороги к Константинополю, то сначала Николай просто хотел их игнорировать, отмахнуться от неприятной проблемы небрежной беглой фразой, сказанной в знаменитом разговоре царя с Гамильтоном Сеймуром 9 января 1853 г., что интересы Австрии идентичны будто бы интересам России, а затем царь то пытался предлагать Францу-Иосифу дележ сфер влияния, то делал поползновения идти напролом к своей цели, то, наконец, обнаруживал колебания.

Что же касается Наполеона III и Англии, то они и тут действовали с тем же расчетом и тем же успехом, что и в течение всех предшествующих полутора с лишком лет. Как только они увидели, что царь решил пойти на уступки и принял четыре пункта, они тотчас же поспешили создать договор 2 декабря 1854 г. именно затем, чтобы свести к нулю значение этой уступки со стороны царя и представить Николая в позе кающегося грешника, который уступил только под влиянием страха перед образовавшейся грозной коалицией. Расчет оправдался. Гордыня Николая жестоко страдала. «Император австрийский не перестает поворачивать нож в моем сердце»,— сказал Николай.

Царь снова обратился мыслью от дипломатических нот к оружию. Продержится ли Севастополь? Не заставит ли холодная зима союзников снять осаду? Выручат ли «генералы январь

и февраль», о которых с такой надеждой тогда говорили в Зимнем дворце?

Мысль о возможности совершить новое нападение на лагерь осаждающих, повторить Инкерман, но на этот раз уже с решительным успехом, стала овладевать императором с декабря. Из трех главных стоянок союзников под Севастополем Камышевая бухта, занятая французами, и Балаклава, занятая англичанами, были укреплены лучше, чем Евпатория, занятая преимущественно турками. Мысль царя стала сосредоточиваться именно на Евпатории. Удар по Евпатории должен был явиться ответом на договор 2 декабря,— и прежде всего повлиять на Австрию и удержать ее от военного выступления.

Но Евпатория была связана неразрывными узами не с историей победы Николая I, а с историей его кончины.

Глава XI

ЕВПАТОРИЯ. СМЕРТЬ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I

1

Еще в первых числах февраля 1855 г. царь выражал М. Д. Горчакову свое удовольствие по поводу усиления Крымской армии и предвидел борьбу у Евпатории в случае высадки там ожидаемых двух французских дивизий. Но вместе с тем он сомневался, удастся ли продержаться в Севастополе в случае прибытия и этих новых французских частей и сардинского корпуса. За две недели до смерти Николай писал главнокомандующему Южной армии: «Сегодня в обед получил твое письмо, любезный Горчаков, от 27 января. Отправив еще 12 батальонов к князю Меншикову, ты вновь доказал, что ничего не щадишь для общей цели. Это значительное усиление весьма кстати пополнит часть 6-го корпуса в самую решительную минуту, которой весьма скоро должно ожидать. Еще более кстати оно будет, ежели сбудется повещенный десант двух новых французских дивизий под командою Пелисье у Евпатории, в соединении с турками, и сардинцев с англичанами у Феодосии. Так — у Меншикова ничего лишнего не будет. Как бы желательно было, чтоб нашлась возможность отбиться под Севастополем до прихода сих новых частей! Но не вижу к сему никакой вероятности. Думаю с тобой, что по прибытии кадров 10-й и 12-й дивизий в Николаев и Херсон, где они весьма скоро должны укомплектоваться, будет там с ними и с моряками довольно войск для местной защиты. Согласен с тобою, что в случае неудачи в Крыму ближе всех будет поручить оборону Николаева князю Меншикову с остатками его армий. Дай бог, чтобы до того не дошло» [1].

Еще в начале декабря 1854 г. Михаил Горчаков, основываясь, как он пишет, на словах Меншикова, что у него нет генералов, писал князю о Хрулеве: «Это храбрый малый (un hardi compère), у которого в голове не много, но который очень храбр и очень предприимчив», артиллерист, выученик Шильдера. «Он очень смел, очень активен и сделает все, чего вы от него

потребуете, лишь бы только вы ему объяснили, чего от него надо». Так писал М. Д. Горчаков Меншикову [2].

Хрулев показал себя с самой лучшей стороны, как храбрый и распорядительный командир, еще во время Дунайской кампании 1854 г. Ему-то Меншиков и решил поручить атаку против Евпатории.

В 6 часов утра 5 (17) февраля 1855 г. нападение С. А. Хрулева на Евпаторию началось по всей линии «общей канонадой, поддерживаемой с обеих сторон огнем из штуцеров» [3]. Под прикрытием этой канонады батальон греческих добровольцев и четыре казачьи сотни, «укрываясь за стенами на кладбищах и в каменоломных ямах, подошли к укреплениям на сто шагов, где залегли и открыли с неприятелем перестрелку». На подмогу им Хрулев отправил спешенный батальон драгун. В 9 часов утра Хрулев сделал первые приготовления к штурму. Между тем канонада со стороны города все усиливалась. «Со стороны неприятеля действовало до 100 орудий, почти наполовину бомбических, и с разных мест были бросаемы конгревовы ракеты с гранатами. Дальность полета этих ракет простиралась до 3 верст. С нашей стороны отвечали с 24 батарейных и с 76 легких орудий. Действие нашей артиллерии, управляемой полковником Шейдеманом, было чрезвычайно удачно; многие из неприятельских орудий вынуждены были на время прекратить огонь, пять зарядных ящиков или погребков были взорваны, в особенности один из взрывов был значителен». Русские штуцерники, расположенные в интервалах между орудиями, развивали тоже очень меткий огонь.

Но все усиливался и ружейный огонь из города, и Хрулев стал понимать, что в Евпатории гарнизон гораздо больше, чем у нас предполагали, и что там наберется до 40 000 человек. С моря обороне города помогали 12 пароходов и 12 парусных судов, причем несколько пароходов, приблизившись к берегу, начали поражать огнем не только первые две русские линии, но и более далекие резервы.

Это очень задерживало и мешало попытке штурма, от которой все-таки Хрулев решил не отказываться. Вот как он сам описывает то, что произошло дальше:

«Около 10 час. утра вся линия наших батарей подалась к городу на 150 саж. и открыла огонь картечью. Тогда часть неприятельской пехоты и кавалерии под прикрытием штуцерных вышла со стороны карантина; движение это было сопровождаемо выстрелами с неприятельских пароходов, расположенных против нашего правого крыла. Заметив это, ген.-м. Бобылев выдвинул конно-легкую № 20 бат. на картечный выстрел от вышедших войск и построил Новоархангельский уланский полк подивизионно уступами, слева прикрыв это расположение цепью казаков. Неприятель не осмелился вести атаку и скоро

возвратился в город; тогда генерал Бобылев снова отвел бригаду улан из-под выстрелов неприятельских пароходов.

Между тем левая наша колонна подведена была к атакованной части города, со стороны озера, а 4 легкая бат. 11-й артил. бриг. и конно-легкая № 23 бат. подошли к городу на 100 саж. и открыли огонь картечью. Под прикрытием этих бат. ген.-м. Огарев двинулся с 3 и 4-м бат. Азовского пехотного полка в ротных колоннах[4]. На левом фланге этих бат. следовал греческий волонтерный бат., предводимый храбрым подполковником Панаевым и подкрепленный бат. спешенных драгун. Турки встретили наши ротные колонны сильным ружейным огнем из бойных заборов и с крыш домов, а также картечным огнем из подвезенных полевых орудий. Во время этого движения в Азовском полку командир оного ген.-м. Криднер, бывший впереди, сильно контужен в ногу, командир 3 бат. убит, а 4 бат. майор тяжело ранен, при этом бо́льшая часть офицеров убита и ранена. Но, несмотря на это, наши храбрые колонны подошли к самому рву, но нашли, что он наполнен водою и что штурмовые лестницы 2 саж. меры были коротки. Тогда войска отведены в находившиеся вблизи рва местные прикрытия. Находя, что дальнейшая настойчивость штурмовать город повлекла бы за собою значительные потери, и считая начало дела усиленной рекогносцировкою, начальник отряда ген.-лейт. Хрулев приказал начать отступление; левая колонна совершила сие движение под прикрытием 1 и 2-го бат. Азовского пехотного полка. В это время из города по дороге в Саки вышло до 3 эскадр. турецкой кавалерии, которые рысью двинулись в атаку на нашу пехоту. Оба прикрывавших бат. остановились, построились в каре. Турки, подойдя на ружейный выстрел, открыли огонь, но, видя стойкость нашей пехоты, которая не стреляла, покойно выжидая их приближения, удалились в город.

Тогда, несмотря на просьбу солдат вновь идти на штурм, начальник отряда приказал продолжать отступление, прикрыв левый фланг боевой линии дивизионом Уланского его высочества эрцгерцога австрийского Леопольда полка и 4 сот. казаков. Отступление это было произведено в примерном порядке. Войска по всей линии сохраняли равнение, как на учебном поле. Потери с нашей стороны состояли: из убитых 1 шт.-оф., 3 оф. и 105 нижних чинов, раненных и контуженных 1 генерала, 4 шт.-оф., 34 об.-оф. и 544 ниж. чин. Из числа последних 120 чел. легко ранены и по малозначительности повреждений оставались в полках.

Потери неприятеля должны быть, без всякого сомнения, очень велики, что можно полагать по сосредоточенности выстрелов и тому, что артил. действовала с дистанции 150 саж. большею частью ядрами и гранатами.

*В этом деле пехота под начальством свиты его величества ген.-м. кн. Урусова доказала мужество и храбрость, свойственные нашему солдату; артил. под управлением полков. Шейдемана действовала в полном смысле слова отлично; драгуны как в пешем, так и в конном строю и уланы под командою ген.-майора Бобылева стройными движениями удерживали намерение неприятеля атаковать наши фланги. Вообще рвение офицеров и солдат в бою истинно было примерно».

Это донесение Хрулева уточняется и дополняется некоторыми данными участника боя и одного из распорядителей его, флигель-адъютанта полковника Волкова. Оказывается, русскими было выпущено в бою под Евпаторией 5317 артиллерийских снарядов. Неприятель действовал без особого успеха конгревовыми ракетами, ядрами и гранатами всех калибров. Из числа раненых русских 160 человек *по собственному желанию,* после подания помощи, отправлены в полки и могут продолжать службу; 239 раненых отправлено в симферопольские лазареты; тяжко изувеченных было 34 человека — они были оставлены поблизости в помещичьем доме [5].

Конечно, роковая нехватка пороху давала себя знать и в сражении под Евпаторией. К сожалению, решительно ни у кого из военных историков, писавших о Евпатории, я не встретил крайне простого объяснения того странного факта, что русские пушки, дулами своими обращенные прямо вдоль широкой улицы, разделяющей Евпаторию от поля до самого моря, не стреляли в то самое время, когда неприятель шел по ней, наступая на наш левый фланг. Эта «несообразность» (как пишет полковой доктор Генрици) обратила на себя его внимание, и он наивно затеял даже по этому поводу «жаркий спор», окончившийся тем, что доктору «посоветовали поскорее убраться и не в свое дело не соваться». И только спустя три дня после сражения ему удалось получить разгадку тайны, стоившей много жизней русскому отряду, атаковавшему Евпаторию: «Я узнал..., что пороху оставалось по одному заряду в пушках, *который нельзя* было выпустить, чтобы не лишить прислугу того убеждения, что пороху еще довольно» [6].

2

9 февраля, не зная, что уже четыре дня тому назад произошло неудачное нападение на Евпаторию, Николай начал колебаться и сомневаться в успехе замышляемого предприятия. Но если не напасть на Евпаторию, куда прибыли две дивизии турок, то что же делать? Не найдется ли другой, более слабый пункт у противника? Вот что писал Николай Меншикову за десять дней до своей смерти: «Кажется, в Евпатории собрались

точно довольно значительные силы. Опасаюсь, чтобы Хрулев при своей горячности не предпринял того, что нам дорого стоить будет без ощутительной пользы, ибо продолжаю думать, что мы в городе, ежели и удастся взять, не удержимся от огня с моря. Потеря наша будет наверно большая, а пользы не много. Казалось бы, вернее ждать, чтоб Омер-паша высунулся, и тогда его атаковать во фланг или тыл; исполнить это и легче и гораздо вернее, и ежели ловко сделать, то можно будет его в конец уничтожить нашей сильной конной артиллерией и конницей, без больших потерь. Как идут укрепления Северной стороны? Пора их докончить. На-днях дошли сюда достоверные слухи, что Луи Наполеон, недовольный медленностью действий Канробера, дал знать, что ежели по 13 число не получит донесения, что был дан приступ, то отправится сам 14-го числа в Крым с женою, которая ему сопутствовать будет до Царьграда. Сегодня то же пишут из Вены. Полагать надо, что скоро все усилия будут употреблены сделать что-либо решительное; как бы хорошо было нам это предупредить! Неужели по прибытии 12-ти резервных батальонов 6-го корпуса и тогда ничего нельзя будет предпринять? Чего же нам тогда ждать, ежели и с этим ничего не сделать? Посылать войск уже совершенно неоткуда. У Горчакова едва достаточно на первую встречу с австрийцами, ежели туда ринутся; отвечать, чтоб они это не предприняли, никак нельзя; и я скорее этого ожидаю, чем что-либо другое. Переговоры не начинались, и явно, что медлят нарочно, ожидая, что́ будет под Севастополем. Кажется по всему, что англичанам крайне худо; казалось бы, что атака на них была бы легче другого. Ежели французы их везде сменили, то они очень растянулись; не найдется ли слабой точки, куда можно б было к ним вломиться? Вот покуда и все» [7].

Донесение князя Меншикова от 7 февраля о новой неудаче получено было в Петербурге 12-го числа, когда Николай уже лежал больной и не мог лично заниматься делами. «Разочарования и огорчения преследовали его до последних дней жизни. Однако же он имел еще силы проявить свою волю, решив немедленно отозвать князя Меншикова и возложить начальствование войсками в Крыму на князя Горчакова с оставлением за ним и высшего начальства над Южной армией» [8].

Хотя, как увидим, в Петербурге поспешили свалить вину за неудачу под Евпаторией на одного Меншикова, но люди, близко стоявшие к делу, прекрасно знали, что инициатором в данном случае был сам Николай. «Из всех действующих лиц кровавой севастопольской драмы самая жалкая роль выпала на долю главнокомандующего кн. Меншикова. С самого начала войны и особенно со времени высадки союзников в Крыму он возбуждал общее недоверие как в своих войсках, так и

в Петербурге. При желчном характере и болезненном расстройстве ряд испытанных неудач окончательно подорвал в нем энергию и самоуверенность. Сознавая сам свое немощное состояние, он не раз давал поручение возвращавшимся в Петербург флигель-адъютантам доложить государю о расстройстве здоровья кн. Меншикова. Но император все еще выражал в своих письмах к нему надежду на лучший оборот дел... и побуждал воспользоваться тогдашним расстройством неприятельской армии в Крыму, чтобы с прибытием новых подкреплений перейти в наступление. То же повторилось и в письмах военного министра, который вместе с тем указывал на опасность, угрожавшую Перекопу и сообщениям Крымской армии со стороны Евпатории, где находившиеся турецкие войска в последнее время значительно усилились под личным начальством Омер-паши...» [9]

Интимный «друг» Меншикова, военный министр Долгоруков, конечно, поспешил его предать и продать, как только узнал, что Меншиков отставлен. И самое интересное то, что Долгоруков, который сам с жаром поддакивал царю, а также подталкивал Меншикова к нападению на Евпаторию, поспешил немедленно отречься от своих слов и тут же, можно сказать, прямо в глаза лгать, будто он просто не понимает, как можно было предпринимать подобное дело. Отправляя главнокомандующему письмо наследника, князь Василий Андреевич не преминул и от себя ввернуть несколько фраз во французском сопроводительном письме: «С одной стороны, перспектива входа неприятельского флота в Севастопольскую бухту, а с другой вылазка Хрулева против Евпатории — все это вовсе не утешительно. О чем я, откровенно говоря, жалею,— это о том, что вы доверили столь важную экспедицию, как евпаторийская, сумасшедшему Хрулеву». Во-первых, Хрулев никогда не командовал большими массами, а во-вторых, «его голова набита проектами», и на него нельзя полагаться: «по-моему, он хороший партизан — и вот и все». Хрулев был один из немногих дельных генералов русской армии, и Долгоруков это, конечно, знал прекрасно. Но нужно было найти виновного: не винить же самого царя! [10]

15 февраля Николай велел наследнику известить Меншикова, что он отставлен. Письмо это настолько характерно, что я считаю уместным привести его полностью.

«Государь, чувствуя себя не совершенно здоровым, приказал мне, любезный князь, отвечать вам его именем на последнего вашего курьера от 7 февраля.

Е. в. крайне был огорчен неудачною попыткою, произведенною по вашему приказанию ген. Хрулевым на Евпаторию, и значительною потерею, вновь понесенною нашими храбрыми войсками *без всякого результата.* Е. в. не может не удивляться, что, *пропустив три месяца* для атаки сего пункта, когда в нем нахо-

дился самый *незначительный гарнизон, не успевший еще укрепиться,* вы выждали теперешний момент для подобного предприятия, тогда именно, когда по всем сведениям *достоверно было известно*, что туда прибыли значительные турецкие силы с самим Омер-пашой. Е. в. не может не припомнить вам, что он, к сожалению, предвидел этот грустный результат. Из журнала осадных работ под Севастополем е. в. убеждается, что союзники, продвигаясь все ближе, устраивая новые батареи как против 4-го бастиона, так и на Сапун-горе и получив значительные подкрепления, замышляют что-то решительное, что также подтверждается всеми газетными статьями. С другой стороны, усматривая из ваших неоднократных донесений, что при теперешнем числе войск вы решительно считаете *всякое наступательное действие невозможным,* е. в. видит один только выгодный исход всему делу, а именно: если неприятель покусится на штурм и бог поможет нам отбиться, то немедля перейти в наступление как из самой крепости, так и со стороны Чоргуна на Кадыкиой, назначив для сего последнего движения сколь возможно большее число свободных войск с нужною артиллериею и кавалериею, дабы угрожать центру, правому флангу и даже тылу неприятельского расположения. Если же неприятель сам предпримет наступательное движение, то е. в. не сомневается, что принятыми вами мерами, на крепкой и почти неприступной позиции, ныне вами занимаемой и столь сильно укрепляемой, вы везде встретите его и с божьей помощью остановите всякое дальнейшее покушение. Что касается до признаваемой вами необходимости нового затопления 3 линейных кораблей для замены разнесенного прежнего заграждения Севастопольского рейда, е. в., не отвергая пользы сего заграждения, не может, однако, не заметить, что мы сами уничтожаем свой флот. За сим государь поручает мне обратиться к вам, как к своему старому, усердному и верному сотруднику, и откровенно сказать вам, любезный князь, что, отдавая всегда полную справедливость вашему рвению и готовности исполнять всякое поручение, доверием е. в. на вас возлагаемое, государь, с прискорбием известившись о вашем болезненном теперешнем состоянии, о котором вы нескольким лицам поручали неоднократно словесно доводить до высочайшего его сведения, желая доставить вам средство поправить и укрепить службою расстроенное ваше здоровье, высочайше увольняет вас от командования Крымскою армиею и вверяет ее начальству генерал-адъютанта князя Горчакова, которому немедленно предписано отправиться в Севастополь. До его приезда е. в. вполне остается уверенным, что вы с прежним усердием будете продолжать исполнять должность, вами доселе занимаемую. Известясь также о болезненном состоянии сына вашего, вследствие сильной контузии,

е. в. разрешает ему возвратиться сюда и вместе с тем назначает его генерал-адъютантом.

За сим государь поручает мне, любезный князь, искренне обнять своего старого друга Меншикова и от души благодарить за его всегда усердную службу и за попечение о братьях моих» [11].

Смена главнокомандующего была последним политическим актом императора Николая.

3

Чем хуже и тревожнее были доставляемые А. М. Горчаковым сведения из Вены, тем яснее становилось в Зимнем дворце, что в более или менее близком будущем вся огромная западная граница империи может оказаться под ударом войск Австрии, Пруссии и Германского союза (или «Германии», как он тогда именовался). Перед нами лежат четыре «собственноручные записки его императорского величества»: одна, помеченная 26 декабря, другая — 30 декабря 1854 г., третья — 10 января и четвертая — 1 февраля 1855 г. [12]

Это последние в жизни Николая составленные им предначертания и сформулированные соображения о дальнейшем развертывании военных действий. Основная черта всех этих записок — ожидание близкого выступления всех германских держав, возглавляемых Австрией и Пруссией, против России.

Николай вполне определенно считается и с возможным выступлением уже не только Австрии, но и Пруссии и всего Германского союза, с опасностью, «ежели неприятелями нашими будут не одни австрийцы, но и Германия и Пруссия. Покуда заявленными нашими врагами еще одни австрийцы, прочие еще сомнительны». Ближайшей опасностью царь считает вторжение австрийцев и поэтому хочет усилить Южную армию. «Когда же Германия и Пруссия не устыдятся присоединиться к числу наших врагов, тогда положение наше будет еще тягостнее». Нужно усилить Южную армию, но ослаблять центр нельзя. И царь находит необходимым образовать «государственное подвижное ополчение в помощь действующим войскам, в силе равняющееся $^{1}/_{4}$ всей армии».

Следует отдать справедливость Николаю: он вовсе не боится этих новых возможных врагов, хотя и понимает, что опасность серьезна. Он считает, что, организовав своевременно отпор, можно отразить любое нашествие. Всю оборону он разделяет на три «отдела»: северный, средний и южный. В северный входят: Финляндия, Петербург и прибрежье Балтики до границы Пруссии; в средний — Висла и крепости в Царстве Польском, включая Брест (этот «отдел» прикрывает два пути внутри импе-

рии — на Бобруйск и на Киев); наконец, в южный отдел входят: Подолия, Волынь, Бессарабия, побережье Черного моря. Каковы же грядущие или уже наступившие опасности, грозящие этим «отделам»? Сверху угрожают англо-французские десанты и шведские войска, в случае если бы Швеция присоединилась к союзникам. Но «особой важности» — средний отдел, потому что прикрывает центральную часть России с Москвой. Правда, пока еще только нужно считаться с близким выступлением Австрии; поэтому следует так расположить войска, чтобы иметь возможность давить на левый фланг Австрии, в случае если австрийцам удалось бы проникнуть на Волынь и Подолию. Пока не выступят Пруссия и «Германия», до тех пор этот средний фронт (по существу важнейший из всех) не так непосредственно опасен, как южный.

Южный фронт защищается двумя армиями: 1) Южной, которая «обязана с сухого пути остановить вторжение турок и австрийцев с союзниками в Бессарабию», а также должна защищать Одессу, Николаев и часть побережья Черного моря в своем тылу; 2) Крымской, которая обороняет Севастополь и Крым. Этот южный фронт находится в ближайшей, непосредственной опасности. Поэтому царь полагал, что прежде всего нужно усилить Южную и Крымскую армии за счет тех, которые охраняют «средний» фронт, и в Царстве Польском оставить не более одного корпуса. В случае вторжения со стороны австрийцев — отступать, «ежели необходимо, до Бреста» и очистить также Бессарабию и, «упираясь левым флангом к Днестру, отводить свой правый фланг к Бугу». «Настало время,— пишет царь в записке от 26 декабря,— к усиленным мерам обороны, чтобы оградить государство от гибельных последствий борьбы с неравными силами противу возрастающей дерзости и коварных замыслов врагов наших». Поэтому необходимо образование государственного ополчения в помощь действующим войскам, причем это ополчение должно по численности равняться $^1/_4$ части армии.

Эта записка была послана царем Паскевичу. Но фельдмаршал не согласился с царем в самом главном, хотя выразил это столь политично и осторожно, что Николаю показалось, будто Паскевич «в главном» согласен: «Переговоря с князем Варшавским, я убедился, что в главных основаниях мысли наши сходятся. Разница ощутительная только в том, что князь Иван Федорович обращает больше важности (sic! — *Е. Т.*) на сохранение Польши, собственно в политическом отношении влиянием на Европу и в особенности на Пруссию». Но царь стоит на своем: «Не отвергая сего, я остаюсь при мнении, что, сравнивая одно с другим, сохранение Крыма и прибрежья Черного моря едва ли не гораздо важнее не только влиянием на Европу, но и на Азию, и в особенности на наши закавказские области. Однако

отнюдь не полагаю, чтоб для сохранения нашего обладания на юге следовало бросить Польшу без боя». Николай очень надеется на партизан в Волыни и Подолии и находит, что «их содействие в эту минуту будет величайшей важности в собственном нашем крае, в тылу и на флангах неприятеля». В этой (второй) записке от 30 декабря Николай снова говорит об опасном положении и снова выражает надежду отстоять границы: «Мы одушевлены правотой нашего святого дела, мы обороняем свой родимый край против дерзких и неблагодарных вероломных союзников. Эти чувства удваивают нашу нравственную силу. Нужны осторожность, решимость, деятельность, отважность и в особенности отстранение всякой личности, имея в глазах постоянно одно благо, одно спасение чести русской. Мы должны победить или умереть с честью».

Словом, царь признает положение опасным; он предвидит, что, если неприятелю повезет «в сем горестном случае, ежели бы везде потерпели неудачи, армия наша в Польше имеет путь отступления на Бобруйск, князь Горчаков — на Кременчуг, генерал Лидерс — на Николаев. Здесь же нам должно лечь, но не отступать... Мы должны победить или умереть с честью» — повторяет он [13].

Однако возражения Паскевича явно произвели свое действие. Николаю оставалось жить всего две с половиной недели, когда он составил новую записку о предстоящих военных действиях. Из этой записки мы видим, что, невзирая на дружелюбные отношения с Пруссией, царь считал центр своего государства настолько угрожаемым, что предпочитал, в случае войны с Австрией, скорее уж предоставить австрийцам богатые южные губернии, но ни в коем случае не ослаблять армейских частей, защищающих центр. Вот что мы читаем на первой же странице записки, составленной Николаем 1 февраля и пересланной Паскевичу и Михаилу Горчакову 2 февраля 1855 г.: «Необходимость защитить на огромных расстояниях важнейшие точки государства принудила нас ограничиться не только выбором весьма немногих мест, но и уделить для сего ту только часть сил, которою располагать можем. Нет сомнения, что центр сухопутной нашей границы, прикрывая путь в сердце России, требовал особенного внимания; по сей причине в состав армии, в Царстве расположенной, назначены отборнейшие войска, гренадеры и за ними гвардия, дабы качеством войск возместить несколько недостаток численности. Таким образом, обязанность прикрывать центр государства лежит на 8 пехотных и 4 кавалерийских дивизиях, кроме соответствующего числа казаков. Армия сия расположена на правом берегу Вислы, на которой мы имеем 3 крепости; на левом фланге находится еще одна, а в тылу другая, Брест, через которую пролегает главный путь во внутрь север-

ной части государства, Балта и дефиле Припяти отделяют от южной части, совершенно открытой до Днепра, вторжение неприятеля, угрожающего нам из Галиции. Оборона южной части империи, ближе к Черному морю, возлежит на обязанности Южной армии. Пространство между расположением ее по обоим берегам Днестра, до мест, занимаемых Центральною армией, весьма велико и, как выше сказано, ничем не прикрыто. По всем вероятиям, в случае войны с Австриею первый предмет неприятеля будет вторгнуться в сей промежуток, дабы пресечь всякое сообщение между нашими двумя армиями и воспользоваться всеми огромными способами богатого края, который мы оставим ему без сопротивления»[14].

Правда, Николай высказывает тут же предположение, что Пруссия займет «оборонительное положение», если французская армия попытается войти в германские земли и оттуда пройти в Польшу. Но если Пруссия и сделает это, то лишь потому, что не захочет допустить польского восстания в Познани. Царь совсем не верит, чтобы Пруссия в самом деле хотела помочь России: «Одно опасение подобного (восстания в Познани — *Е. Т.*) заставит Пруссию, *может быть и нехотя,* всеми силами противиться появлению французов у границ ее владений; таким образом, она будет действовать почти заодно с нами, хотя и не сознательно»[15].

Кончается последняя записка Николая М. Д. Горчакову так:

«Сегодня вечером по телеграфу узнали, что Джон Россель послан вторым полномочным в Вену и едет через Париж и Берлин и будто Решид-паша тоже туда назначается. Итак, кажется, будут переговоры, но толку не ожидаю, разве турки со скуки от своих теперешних покровителей не обратятся к нам, убедясь, что их мнимые враги им более добра хотят, чем друзья.

После многих споров мы с князем Варшавским покончили, наконец, и вот копия с моей последней записки ему. Он хотел, чтоб я согласился: ему оставаться у Новогеоргиевска с 2-мя корпусами, гвардию хотел поставить в Вильне, а Ридигера с двумя дивизиями отослать в Бобруйск.

Немудрено было доказать ему всю несообразность подобного расположения войск. Теперь эта мысль миновалась. Ежели дела склонятся к разрыву, я намерен отправиться сам к армии, вероятно в Брест; думаю, что присутствие мое может там быть не бесполезно.

Новых начертаний тебе мне нечего делать. Главное условлено, ход дел укажет, что изменить нужно будет.

Надеюсь, что к маю у нас за Киевом будут готовы новые 24 батальона 4-го корпуса. Позднее, то есть к концу июля, готовы быть могут еще 24 батальона 5-го корпуса. Увидим позднее, куда нужнее их придвинуть будет. Наконец, подвижное ополчение к концу мая может получить уже свое первоначальное

образование и придвинуться по прилагаемому расписанию. Вот все, чем мы располагать можем. Прощай, душевно обнимаю. Навсегда твой искренне доброжелательный — Н.».

Он думал о худшем, но с тревогой и надеждой ждал ежечасно известий о Евпатории.

4

Вечером 4 февраля 1855 г. в Зимнем дворце впервые появился слух о том, что у государя легкий грипп и что врачи настаивают на необходимости отказаться от выездов из дома. Затем грипп стал проходить, но 7 и 8 февраля снова врачи советовали царю сидеть дома. 9 февраля, хотя болезнь не проходила, Николай велел закладывать экипаж и заявил, что едет смотреть маршевые батальоны. Доктор Карелль сказал ему: «Ваше величество, в вашей армии нет ни одного медика, который позволил бы солдату выписаться из госпиталя в таком положении, в каком вы находитесь, и при таком морозе в 23 градуса». Николай, «не обращая внимания на уговоры наследника и просьбы прислуги одеться потеплее», велел подать себе, к общему изумлению, легкий плащ — и в открытых санях поехал в манеж, где было так же холодно, как на улице, долго там пробыл и оттуда отправился не домой, но заехал неожиданно еще в два места. Приехал он совсем больной и ночь провел без сна. Высокая температура держалась всю ночь, а утром 10 февраля он вдруг заявил, что намерен опять ехать смотреть маршевые батальоны. Снова уговоры испуганной семьи и докторов не помогли, и он выехал опять в открытых санях. Мороз и леденящий ветер усилились со вчерашнего дня, и вернулся Николай в очень тяжелом физическом состоянии. Он не держался на ногах и слег немедленно. Дальше официальная версия говорит о все прогрессировавшем усилении болезни, а ряд других показаний неофициально свидетельствует, что, несмотря на все эти непонятные выезды в летнем плаще, и прогулки человека с высокой температурой по 23-градусному морозу, железный организм никогда не болевшего Николая восторжествовал над болезнью и в ходе болезни стало намечаться улучшение. Эти разноречивые показания тоже немало способствовали возникновению слухов, о которых у нас сейчас будет речь и которые поползли по дворцу, по городу, по России, по Европе тотчас после развязки. А почва для таких слухов оказалась вполне подготовленной, поэтому и обнаружилась склонность им верить, несмотря на видимое отсутствие серьезных фактических доказательств.

Что с государем в последнее время творится неладное, было ясно решительно всем, кто имел доступ ко двору. Уже после снятия осады с Силистрии в нем стала постепенно совершаться перемена, которая акцентировалась все явственнее в течение

неспокойного петербургского лета 1854 г., когда Чарльз Непир крейсировал в Финском заливе. Все менее и менее владел он собой. Известие об Альме повергло его сначала в ярость, и он набросился с гневом на ни в чем неповинного посланца Меншикова, ротмистра Грейга, привезшего весть о поражении. Больше этого не повторялось, подобных гневных выходок печальные вести с юга не возбуждали, но общая подавленность становилась все тяжелее. Царь жил от курьера до курьера и ничем не мог и не хотел отвлечься от одолевавших его тревог. Ф. И. Тютчев назвал его впоследствии «лицедеем», актером. И в самом деле, Николай умел всегда маскировать свои истинные чувства и настроения, когда находил нужным это делать. Но тут, между Альмой и Инкерманом, а особенно между Инкерманом и Евпаторией, он, по-видимому, постепенно утрачивал веру даже в тех немногих людей, которым до той поры доверял. Все расползалось, все оказывалось гнилью, и все окружающие представлялись предателями. «Что ты, продать меня, что ли, хочешь?» — кричал он вне себя, примчавшись в Михайловский замок, когда узнал стороной, что комендант фон Фельдман, лично царем назначенный на этот пост, допустил каких-то, никому не известных двух людей к подробному осмотру секретной модели Севастополя. Это случилось совсем уж незадолго до конца.

«Гатчинский дворец мрачен и безмолвен. У всех вид удрученный, еле-еле смеют друг с другом разговаривать. Вид государя пронизывает сердце. За последнее время он с каждым днем делается все более и более удручен, лицо озабочено, взгляд тусклый. Его красивая и величественная фигура сгорбилась, как бы под бременем забот, тяготеющих над ним. Это дуб, сраженный вихрем, дуб, который никогда не умел гнуться и сумеет только погибнуть среди бури». Так писала в своем интимном дневнике жившая с царской семьей фрейлина Тютчева 24 ноября (6 декабря) 1854 г. [16]

Жестоко уязвленная непомерная гордость явственно убивала этого человека и в то же время не позволяла ему признать, что именно она-то его и убивает. Среди зимы он переехал из Гатчины в Петербург и здесь продолжал возбуждать в ближайшей челяди такое же боязливое любопытство, какое возбуждал в Гатчинском дворце. Ночью часами прислуга слышала тяжелую поступь царя, неустанно шагавшего взад и вперед по той узкой, всегда почему-то очень холодной комнате в нижнем этаже Зимнего дворца, где он велел поставить свою кровать.

Знавшие его натуру и русские и иностранцы впоследствии нередко говорили, что они никак не могли представить себе Николая, садящегося в качестве побежденного за дипломатический зеленый стол для переговоров с победителями. А после Инкермана надежда на возможность избежать поражения очень

потускнела. Лишнее было искать успокоения в беседе с Паскевичем, потому что царь знал, как мрачно смотрит фельдмаршал на русские перспективы. А кроме Паскевича, Николай теперь никому не верил. Конечно, он не сомневался, например, в «лояльности» Александры Федоровны или наследника: он слишком хорошо знал, что на самостоятельное суждение при нем никто не отважится. Жена наследника Мария Александровна, как и ее муж, считала губительной, непоправимой ошибкой занятие Дунайских княжеств и так именно и высказалась, но этот приступ откровенности впервые постиг ее не в 1853 и не в 1854, а в 1856 г., когда Николай уже лежал в могиле и сама она была уже не великой княгиней, а императрицей и говорила с глазу на глаз со своей доверенной фрейлиной Анной Федоровной Тютчевой.

Слабая надежда на начавшиеся в декабре венские совещания исчезала с каждым новым донесением Александра Горчакова из Вены.

Николай, как и сам Горчаков, ясно видел, что враги хотят сорвать переговоры и что отделаться от войны без крайних унижений они ему не дадут, потому что слишком уже много потратили на эту войну материальных средств и людей, и слишком уверены в торжестве. Враги ведь тоже не предвидели, как долго им еще придется ждать этого торжества и сколько жертв оно еще потребует от них и каким, в сущности, сомнительным оно окажется по своим реальным результатам. Посол Наполеона III Буркнэ, больше всех работавший в Вене, чтобы сорвать переговоры, получил с конца января полную уверенность в самой деятельной помощи со стороны своего английского коллеги лорда Уэстморлэнда. Происшедшая в Англии перемена (скорее перетасовка в недрах кабинета), уход Эбердина и назначение премьером Пальмерстона — все это были события, слишком многозначительные. Если Николай и мог еще в декабре иметь слабую надежду на заключение мира, на «розыгрыш вничью», то в феврале 1855 г. подобные ожидания оказывались совсем фантастическими: перед Николаем стояла стена.

Этот февраль и принес неожиданную развязку. В задачу автора предлагаемой работы не входит, конечно, подробный анализ скудных, не очень ясных, не очень достоверных, сбивчивых показаний об истории болезни царя, начавшейся 9-го и развившейся 12 февраля, и события последней ночи с 17 на 18 февраля, с того момента, когда доктор Мандт сменил в три часа ночи на дежурстве доктора Карелля у постели больного.

Нас тут может интересовать не вопрос об объективной правдивости официальной версии, но исключительно констатирование факта, широкое распространение в России и в Европе сомнений в правдивости этой версии, потому что эти слухи, хотя бы

и совсем неосновательные, были одним из моральных факторов, оказавших в тот момент известное влияние.

5

Так как мы заняты вовсе не биографией Николая I, то рассмотрение по существу вопроса об обстоятельствах его кончины оставляем совершенно в стороне. Нам тут важно лишь отметить, что слухи о самоубийстве, даже если они были совсем неверны, не только были широко распространены в России и Европе (и оказывали свое воздействие на умы), но что верили этим слухам иной раз люди, отнюдь не грешившие легковерием и легкомыслием,— вроде, например, публициста Н. В. Шелгунова или историка Н. К. Шильдера. Уже после революции была напечатана многозначительная помета Шильдера на полях книги, в которой в обычных тонах передавалась официальная версия «об истинно христианской, праведной» кончине императора Николая. Шильдер лаконично написал свой отзыв: «отравился». При жизни Шильдер успел опубликовать лишь два больших тома предпринятой им научной четырехтомной биографии Николая. Но им были собраны уже обширнейшие материалы и для последующих двух томов. Кроме того, по своему положению, генерал Н. К. Шильдер, сын героя Силистрии, убитого под этой крепостью в 1854 г. генерал-лейтенанта Карла Шильдера, человек, всю жизнь вращавшийся в высших военных и придворных сферах, был в состоянии собрать также и огромную неизданную, даже устную информацию. Если он, очень осторожный, объективный и скрупулезно добросовестный, весьма критически настроенный исследователь, пришел к такому категорическому умозаключению и полностью отверг казенную версию, то уже это одно показывает, что дело с этим официальным изложением обстояло очень неладно. Ошибся Шильдер в своем решительном выводе или не ошибся,— ясно одно, что официальная версия очень способна была возбудить к себе недоверие и оказалась недостаточно убедительной, чтобы рассеять слухи, сразу же возникшие у царского гроба.

Даже отвергая гипотезу самоубийства как недоказанную и недоказуемую, историк, знающий, что эти слухи сыграли свою историческую роль ранней весной 1855 г., обязан указать на некоторые свидетельства, хотя и вовсе не устанавливающие их основательность и правильность, но во всяком случае объясняющие их возникновение и довольно упорную живучесть.

Широчайшему распространению слухов об отравлении Николая способствовало и совсем уже случайное обстоятельство: вследствие неудачного бальзамирования лицо умершего необычайно изменилось и раздулось, так что его прикрыли плотной материей в первые же часы после смерти.

Слухи находили себе почву и среди почитателей и среди врагов Николая.

Почва для слухов была подготовлена несколькими обстоятельствами. В Европе, с одной стороны, считали, что падение Севастополя не за горами, несмотря даже на зимнюю задержку, а с другой стороны, чем ближе лично знали и наблюдали Николая иностранные дипломаты, тем меньше, как уже сказано, они представляли себе русского императора в позе и в роли побежденного. Гипотеза самоубийства этим самым логически подсказывалась. Другим обстоятельством была необычайная краткость предсмертной болезни: Николай заболел 12 февраля, а уже утром 18 февраля его не стало. Третьим обстоятельством, породившим указанные слухи, было всеобщее изумление, что несокрушимое, железное здоровье царя, никогда ему не изменявшее, так катастрофически быстро поддалось простуде. Это изумление еще значительно усилилось, когда из показаний некоторых свидетелей выяснилось, что первоначальная болезнь, возникшая 4 февраля и усилившаяся 11-го, совсем почти прошла уже к 16 февраля и что никаких бюллетеней о царской болезни не выпускали именно потому, что считали больного вне всякой опасности.

6

14 февраля вечером прибыл, наконец, долгожданный курьер из Севастополя и тотчас был допущен к царю. Князь Меншиков доносил о неудаче Хрулева под Евпаторией... Впечатление, произведенное на царя этим известием, было по всем показаниям самым подавляющим. Ведь он-то и был инициатором этой атаки. Курьер прибыл 14-го вечером в понедельник, а 17-го в четверг вдруг во дворце заговорили, что болезнь вступила внезапно в острый фазис. Это было тем более неожиданно, что еще 15-го царь долго занимался делами и приказал наследнику написать Меншикову о смене его, а Михаилу Горчакову о назначении главнокомандующим. Путаницу усилил сам доктор Мандт. Он говорил (17-го же числа) в успокоительном тоне, что «совершенно не считает положение больного безнадежным», а затем, в начале четвертого часа ночи, выслушав больного, сообщил будто бы ему о близкой и совсем неотвратимой смерти, которая непременно наступит через несколько часов. Утром 18 февраля 1855 г. наступила агония — и весь дворец знал, что агония была долгой и очень мучительной и что свидетельство об этом великой княгини Елены Павловны совершенно непререкаемо. Она все эти последние часы пробыла у постели умирающего, а ее правдивость и общая ее высокая моральная репутация ставили ее

показание вне всяких сомнений. А между тем официальная версия явно лжет, представляя дело так, будто кончина была совсем спокойной и безболезненной (как более подобает при воспалении легких). Масса всякой публики окружила Зимний дворец: ведь до последней минуты никаких известий о болезни не было, и понять не могли, чем вызвано это молчание, если в самом деле царь болел уже с 4 февраля.

Но вот в половине первого часа дня над дворцом внезапно взвилось черное знамя. «Густая масса народа толпилась на Дворцовой набережной. Имя доктора Мандта стало ненавистным; сам он боялся показаться на улицу, так как прошел слух, что народ собирается убить этого злополучного немца. Кучер покойного государя, выйдя к толпе, едва смог ей выяснить, от какой болезни скончался царь. Несмотря на это, рассказывали, что доктор приготовлял для больного лекарства своими руками, а не в дворцовой аптеке, принося их с собой в кармане; болтали, что будто он давал больному порошки собственного изобретения, от которых и умер государь. Было наряжено следствие по этому поводу, которое ничего не доказало. Мандта, однако, поспешили в наемной карете вывезти из дворца, где он жил; говорят, в тот же день он выехал за границу» [17]. Это последнее сведение не верно. Мандт еще некоторое (очень короткое) время прожил в столице, а потом навсегда покинул Россию. Зная, как широко и быстро расползлись слухи о самоубийстве, об искусственно вызванной простуде, о приеме яда, когда простуда стала проходить, и т. д., фрейлина баронесса Фредерикс, великая княгиня Мария Николаевна и другие лица, близкие ко двору, стали яростно обвинять Мандта не более и не менее как в убийстве царя,— а другие, в противовес этим обвинениям, стали усиленно поддерживать версию о самоубийстве.

Слухи держались тем упорнее, что им верила не только широкая народная масса, но они находили доступ (и очень легкий) в среду высокообразованных людей. Известный демократический публицист Н. В. Шелгунов говорит об этих слухах в таких выражениях: «Николай умер. Надо было жить в то время, чтобы понять ликующий восторг „новых людей“; точно небо открылось над ними, точно у каждого свалился с груди пудовый камень, куда-то потянулись вверх, вширь, захотелось летать. Причина смерти Николая не осталась тайной. Рассказывают, что, позвав своего лейб-медика Мандта, Николай велел ему прописать порошок. Мандт исполнил, Николай принял. Но когда порошок начал действовать, Николай спросил противоядие. Мандт молча поклонился и развел отрицательно руками. Рассказывают еще, что Николай покрылся своей походною шинелью и велел позвать своего внука, буду-

щего цесаревича (умер в 1865 г.), и сказал ему: „Учись умирать". Если это не анекдот, то он нисколько не противоречит общему характеру Николая. Народная молва заговорила об отравлении сейчас же после смерти Николая, и, конечно, Мандт поступил благоразумно, удрав за границу» [18].

Шелгунов дает нам и другой вариант слухов о самоубийстве, причем формой добровольной смерти является не яд, а искусственно вызванная простуда.

«Император Николай скончался совершенно неожиданно даже для Петербурга, ничего не слышавшего раньше об его болезни. Понятно, что внезапная смерть государя вызвала толки. Между прочим, рассказывали, что умирающий император велел позвать к себе внука, будущего цесаревича. Император лежал в своем кабинете, на походной кровати, под солдатской шинелью. Когда цесаревич вошел, государь будто бы сказал ему: „Учись умирать", и это были его последние слова. Но были и другие известия. Рассказывали, что император Николай, потрясенный неудачами Крымской войны, чувствовал недомогание и затем сильно простудился. Несмотря на болезнь, он назначил смотр войскам. В день парада ударил внезапный мороз, но больной государь отложить парад не нашел удобным. Когда подвели верхового коня, лейб-медик Мандт схватил его за удила и, желая предупредить императора об опасности, будто бы сказал: „Государь, что вы делаете? Это хуже, чем смерть: это — самоубийство", но император Николай, ничего не ответив, сел на коня и дал ему шпоры» [19].

В верхах медицинского мира столицы слухи о самоубийстве держались упорно. Их отголосок находим в воспоминаниях доктора А. В. Пеликана, внука директора Медицинского департамента и начальника Медико-хирургической академии, очень известного в свое время В. В. Пеликана:

«В день смерти императора Николая дед заехал по обыкновению к нам, был крайне взволнован и говорил, что император очень плох, что его кончины ждут с часу на час. Вскоре после отъезда деда явился из департамента неожиданно отец и объявил, что императора не стало. Отец был сильно взволнован, глаза его были сильно заплаканы, хотя симпатий к грозному царю, он, по складу своего ума и характера, чувствовать не мог. Почти одновременно с приходом отца площадь стала наполняться экипажами съезжавшихся во дворец вельмож и всяким народом, по преимуществу простолюдинами. Вскоре из дворца кто-то вышел и обратился к толпе с речью, смысл которой, по всем вероятиям, был такой: „Император умер, да здравствует император". Раздался какой-то стон толпы, который достиг моих ушей, несмотря на двойные зимние рамы. Что означал этот стон, я тогда оценить, само собою

разумеется, еще не мог, а потому и принял за то, за что он выдавался официальной Россией, то есть за стон безысходного народного горя и отчаяния...

Вскоре после смерти Николая Мандт исчез с петербургского горизонта. Впоследствии я не раз слышал его историю. По словам деда, Мандт дал желавшему во что бы то ни стало покончить с собою Николаю яду. Обстоятельства эти хорошо были известны деду благодаря близости к Мандту, а также и благодаря тому, что деду из-за этого пришлось перенести кое-какие служебные неприятности. Незадолго до кончины Николая I профессором анатомии в академию был приглашен из Вены прозектор знаменитого тамошнего профессора Гиртля, тоже знаменитый уже анатом Венцель Грубер. По указанию деда, который в момент смерти Николая Павловича соединял в своем лице должности директора военно-медицинского департамента и президента медико-хирургической академии, Груберу поручено было бальзамирование тела усопшего императора. Несмотря на свою большую ученость, Грубер в житейском отношении был человек весьма недалекий, наивный, не от мира сего. О вскрытии тела покойного императора он не преминул составить протокол и, найдя протокол этот интересным в судебно-медицинском отношении, отпечатал его в Германии. За это он посажен был в Петропавловскую крепость, где и содержался некоторое время, пока заступникам его не удалось установить в данном случае простоту сердечную и отсутствие всякой задней мысли. Деду, как бывшему тогда начальнику злополучного анатома, пришлось оправдываться в неосмотрительной рекомендации. К Мандту дед до конца своей жизни относился доброжелательно и всегда ставил себе в добродетель, что оставался верен ему в дружбе даже тогда, когда петербургское общество, следуя примеру двора, закрыло перед Мандтом двери. Дед один продолжал посещать и принимать Мандта. Вопрос этический... не раз во времена студенчества затрагивался нами в присутствии деда. Многие из нас порицали Мандта за уступку требованиям императора. Находили, что Мандт, как врач, обязан был скорее пожертвовать своим положением, даже своей жизнью, чем исполнить волю монарха и принести ему яду. Дед находил такие суждения слишком прямолинейными. По его словам, отказать Николаю в его требовании никто бы не осмелился. Да такой отказ привел бы еще к большему скандалу. Самовластный император достиг бы своей цели и без помощи Мандта, он нашел бы иной способ покончить с собой и, возможно, более заметный. Николаю не оставалось ничего другого, как выбирать между жребием или подписать унизительный мир (другого ему союзники не дали бы), признать свои вины

перед народом и человечеством, или же покончить самоубийством. Безгранично гордый и самолюбивый, Николай не мог колебаться и сохранить жизнь ценой позора» [20]. Слухи, таким образом, шли из дворца, шли из медицинского мира, распространялись среди литературного мира, бродили в народной массе.

Явная лживость официального сообщения о том, будто уже с самого начала болезни, с 4 февраля, и во всяком случае с 11 февраля она не переставала прогрессировать, доказывается целым рядом показаний. Так, например, в воспоминаниях очень близкой ко двору фрейлины баронессы Фредерикс читаем: «В среду 16 февраля я обедала с ее величеством... Государыня была еще довольно спокойна ввиду уверений доктора Мандта, что *опасности никакой нет в состоянии его величества»* (подчеркнуто в подлиннике). Мало того: «В четверг вечером, 17 февраля, было назначено еще маленькое собрание у ее величества, как всякий вечер». А когда это собрание было отменено (вечером 17-го) и баронесса Фредерикс и две другие фрейлины уже после 9 часов вечера «в ужасе бросились к Мандту», то этот лейб-медик сказал им: «Успокойтесь, опасности нет». Баронесса пишет по поводу этого факта: «Отчего Мандт нас обманывал в эту минуту, один бог ведает. Мы, в ужасном состоянии, видим и чувствуем, что этот страшный человек нам нагло говорит неправду... Все объяты каким-то непреодолимым ужасом... никто не решается выговорить страшных слов» [21]. Утром 18 февраля баронесса была в комнате умирающего, и тут, точь-в-точь как великая княгиня Елена Павловна, она решительно опровергает официальное сообщение о спокойной, безболезненной кончине: «Страдальцу императору делается все хуже; *агония страшная»* [22].

Все это, конечно, вовсе не доказывает еще наличности отравления, но в соединении с другими свидетельствами показание М. П. Фредерикс говорит о том, что официальная версия резко расходится с истиной в ряде существенных пунктов. Это-то явное сознательное уклонение от правды и способствовало в немалой степени распространению в России и Европе слухов о самоубийстве.

Граф Адлерберг немедленно после кончины царя вызвал старенького чиновника императорского двора и литератора еще времен Александра I, В. И. Панаева. Панаеву велено было написать статью о последних минутах царя. Он ее написал, причем в основу было положено «потребованное от доктора Мандта, который сидел в своей квартире в Зимнем дворце, не смея показаться на улице, подробное описание хода самой болезни государя». Так говорит сам В. И. Панаев. Это «описание» Мандта тотчас поступило к Панаеву, который призвал на помощь докто-

ра Енохина. «Мы проработали с ним часа три, не вставая с мест, и успели в том, так что статья Мандта появилась вслед за моею статьею». Вышло именно то, что экстренно потребовалось. Министр юстиции Виктор Панин горячо поблагодарил Панаева за его творчество: «Умы начали волноваться,— вы их успокоили»[23]. Над двумя страницами Мандта Панаев «проработал»... три часа. Но «умы» все же успокоились не сразу. По показаниям не только секретаря комиссии по похоронам Николая, В. И. Инсарского, но и других свидетелей, толпа волновалась и грозила Мандту расправой.

Для врагов николаевского режима это предполагаемое самоубийство было как бы символом полного провала всей системы беспощадного гнета, олицетворением которой являлся царь, и им хотелось верить, что в ночные часы с 17 на 18 февраля, оставшись наедине с Мандтом, виновник, создавший эту систему и приведший Россию к военной катастрофе, осознал свои исторические преступления и произнес над собой и своим режимом смертный приговор. Широкие массы в слухах о самоубийстве черпали доказательства близящегося развала строя, еще так недавно казавшегося несокрушимым.

«Обыватель, даже обыватель петербургский, в течение всего 1854 года все еще продолжал в значительном большинстве верить в прочность и конечное торжество существовавшего режима. Еще допевалась лебединая песнь полной грудью и с полной верой, а протест был еще едва внятен, как невнятное „ау" в лесу дремучем. Песня смолкла, и „ау" протеста раздалось громко и внятно лишь 18 февраля 1855 года, когда над Зимним дворцом взвился черный флаг и разнеслось по городу: „государь скончался"»[24].

Таково показание дочери архитектора Штакеншнейдера, Елены Андреевны, беспристрастной и умной наблюдательницы.

За границей слухи о самоубийстве крепли, несмотря на все меры, принятые с целью сообщить и популяризовать официальную версию о мирной, спокойной, христианской кончине. Тут следует заметить, что одна из брошюр, изданных по желанию русского двора за границей с целью борьбы против слухов о самоубийстве, не рассеяла, но, напротив, способствовала дальнейшему их распространению. Это была брошюра Поггенполя, изданная в Брюсселе в марте 1855 г.[25] Поггенполь в этой брошюре допустил фразу, явно намекающую на добровольный уход Николая из жизни и как бы укоряющую врагов, которые его до этого довели. Эта мысль на все лады повторялась тогда и в России и в Европе... «Все были поражены этой вестью, зная крепкое телосложение императора. Встречая еще недавно его, мужественного, молодца в полном смысле этого слова, никто не верил, чтобы он мог умереть так рано... Он бы и прожил еще

много лет, да Пальмерстон и Наполеон III его сгубили»,— читаем у М. М. Попова в его интереснейших заметках о Николае. писанных под свежим впечатлением событий. Конечно, даже, может быть, и не веря слухам о самоубийстве, дипломаты и в Париже и в Лондоне спешили использовать этот слух как доказательство признания покойным царем непоправимого и окончательного проигрыша войны.

В особенности этот новый прилив бодрости и уверенности в близкой победе противников России должен был сказаться на происходивших в момент смерти царя венских конференциях. Положение Александра Михайловича Горчакова сделалось еще труднее, чем было.

Правда, консервативная аристократия Австрии оплакивала Николая и выражала опасения и сожаления по поводу исчезновения такого «оплота против революции», каким был царь, но из Парижа поспешили пролить бальзам утешения.

Министр иностранных дел Французской империи Друэн де Люис заявил Францу-Иосифу тотчас почти после смерти Николая, что основной задачей всех европейских правительств должно быть теперь достижение двойного результата: наложить узду на мировую революцию, не прибегая для этого к помощи России, и наложить узду на честолюбие России, не прибегая для этого к помощи революции. В тесном союзе Наполеона III с Францем-Иосифом Друэн де Люис и усматривал единственный шанс к достижению этой двойной цели. Следует заметить, что с этой точки зрения Франц-Иосиф и австрийская консервативная реакция в самом деле могли в тот момент не беспокоиться: все внешнеполитические успехи Наполеона III в Крымскую войну шли пока на пользу самой черной всеевропейской реакции. Не только в самой Французской империи все усиливался полицейский режим, но и Пий IX в Риме и реакционные бунтовщики-карлисты в Испании как раз в это время пользовались полнейшей поддержкой французского императора. Только жестокие потери союзников в Крыму и бесконечно затянувшаяся осада Севастополя несколько ослабляли временами этот гнет клерикально-полицейских сил в Европе, делавших в те времена главную свою ставку на Наполеона III. Волей исторических судеб император французов в этом смысле с 1854—1855 гг. до известной степени занял место умершего русского царя. Так писали и говорили некоторые представители тогдашней революционной общественности в Европе.

Глава XII

ВЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСЛОВ

(Декабрь 1854 г.— апрель 1855 г.)

1

Вслед за присоединением Австрии к союзникам по договору 2 декабря 1854 г. Франц-Иосиф предложил России, Англии и Франции начать совещания в Вене с целью выработки соглашения, на основании которого можно было бы начать переговоры о мире. Конечно, Австрия должна была принять в этом совещании активное участие, хотя она еще и не вступила в войну. Встречи, разговоры, совещания послов Англии, Франции, России и австрийского министра иностранных дел Буоля начались в декабре 1854 г. и длились до весны 1855 г., когда оборвались, не приведя ни к какому результату. Собственно, провал конференции обозначился довольно ясно уже к февралю 1855 г. Смерть Николая нанесла этой мертворожденной конференции окончательный удар, как только обнаружилось, что новый русский император не намерен подчиниться всем диктуемым ему условиям.

Для союзников и речи не могло быть об отказе от победоносного окончания войны в Крыму. Для Наполеона III отступить от Севастополя можно было бы в самом крайнем случае лишь временно, для достижения больших стратегических выгод, вроде занятия Перекопа и овладения всем Крымом. Для британского кабинета снятие осады было еще менее возможно, потому что из всего Крыма Англию интересовал больше всего именно Севастополь... «Севастополь есть место опасности (the seat of danger) для Турции, так как отсюда Россия всегда в состоянии угрожать существованию Оттоманской империи, поддержать которую требует политика и решение Англии и Франции. Россия, как бы точно ни была связана трактатом, может во всякий момент, когда вознамерится, объявить войну Турции,— может, обладая Севастополем, в сорок восемь часов с могущественным флотом и многочисленной армией достигнуть Константинополя и овладеть сердцем Оттоманской империи» [1]. Такова была

точка зрения Англии в разгар войны, такова она была и до войны, и после войны неизменно.

7 декабря А. М. Горчаков был принят Францем-Иосифом. Аудиенция была продолжительной. Русский посол долго и убедительно разъяснял императору австрийскому все значение договора 2 декабря, которое Франц-Иосиф отлично понимал и без всяких разъяснений. Горчаков указывал, что этот договор заключает в себе косвенный, но весьма реальный ультиматум Австрии по адресу России. Император неоднократно горячо жал руку Горчакову, но ровно ничего утешительного ему не сказал и ничего не опроверг. Подробно излагая весь ход беседы, Горчаков приводит в заключение ровно ничего не значащие слова императора: «Я серьезно поразмыслю обо всем, что вы мне сказали... Я не смотрел на этот договор с тех точек зрения, которые вы мне указали» [2]. На этом дело и кончилось. Никакого влияния на действия Буоля Франц-Иосиф в это время оказать не пожелал по той простой причине, что никаких противоречий между императором и министром по вопросу о договоре 2 декабря не существовало.

15 декабря 1854 г. произошло продолжительное свидание между А. М. Горчаковым и графом Буолем. В этот момент усилия русской дипломатии были направлены на достижение определенной прелиминарной цели: желательно было добиться допущения Пруссии к участию в предстоящей конференции. Николай все еще не мог расстаться с иллюзией, будто Пруссия в самом деле будет на конференции активно поддерживать Россию. Эта иллюзия тем более загадочна, что ведь в это же самое время царь, составляя план дислокации, очень считался с возможностью военного выступления Пруссии на стороне Австрии против России. Из этих попыток А. М. Горчакова ничего не вышло: и Буоль, и Уэстморлэнд, и Буркнэ хоть и не очень опасались платонического «заступничества» Пруссии за Россию, но при взбалмошном характере Фридриха-Вильгельма IV и при определенном соревновании Пруссии и Австрии могли быть всякие неожиданности. А. М. Горчаков старался в этой продолжительной беседе внушить Буолю, что если конференция вздумает истолковывать четыре пункта в сколько-нибудь оскорбительном для России смысле, то ровно ничего из этих совещаний не выйдет [3].

28 декабря 1854 г. лорд Уэстморлэнд, Буркнэ, граф Буоль и А. М. Горчаков собрались на первое совещание. Это было еще не официальным заседанием конференции, а только предварительным «частным» собранием. Уже такая непомерная оттяжка (на несколько недель!) начала совещаний ясно показывала решительное нежелание союзников в самом деле ускорить заключение мира. То, что произошло на этом первом совещании,

могло только обнаружить этот факт воочию. Во-первых, Уэстморлэнд и Буркнэ начали с того, что они совсем не желают отказываться от права предъявлять России все новые и новые требования, совершенно независимые от уже принятых Николаем четырех пунктов. Горчаков протестовал, а граф Буоль сначала не говорил ни да, ни нет (une réponse embarassante qui ne disait ni oui, ni non), а потом стал поддерживать союзников. Приступили к обсуждению четырех пунктов. По первому пункту никаких затруднений не возникло. Горчаков подтвердил, что Россия согласна заменить свой протекторат над Дунайскими княжествами протекторатом пяти великих держав. По второму пункту (о свободе плавания по Дунаю и в его устьях) тоже последовало согласие А. М. Горчакова. Третий пункт (о пересмотре договора 1841 г. касательно проливов) вызвал, конечно, разногласия. Союзники потребовали, чтобы Горчаков заявил согласие на такую декларацию: конференция послов должна стремиться, во-первых, к «более прочному объединению вопроса о существовании Оттоманской империи с вопросом о европейском равновесии».

На это Горчаков согласился. Но когда Уэстморлэнд и Буркнэ потребовали, чтобы русский посол также согласился на декларацию, что труды конференции должны «положить конец преобладанию (la prépondérance)» России в Черном море, то Горчаков категорически отказался. Он тут же пояснил и причину отказа, подчеркнув, что дело идет об ограничении прав России как суверенной державы. Возник спор, который не привел ни к какому соглашению. Перешли к последнему, четвертому пункту: к вопросу о покровительстве христианским подданным султана. Этот пункт особых споров не вызвал. Горчаков подтвердил, что Николай согласен предоставить покровительство христианам коллективу всех пяти великих держав (России, Франции, Англии, Австрии и Пруссии).

Самое важное союзники приберегли к концу. Вот как описывает Горчаков конец заседания. «Мы встали. Лорд Уэстморлэнд снова повторил: „Значит, вы отвергаете наши предложения?“ Я заметил на это, что я принял несколько пунктов и возражал против других пунктов. Господин Буоль спросил меня, не желаю ли я взять двадцать четыре часа на размышление. Я ему ответил, что если этим господам угодно делать то же самое, то я ничего так не желал бы, как того, чтобы собраться на вторичное заседание. Господин Буркнэ и лорд Уэстморлэнд оба заявили мне, что они не могут отклониться от полученных ими инструкций и что непринятие без всяких оговорок мыслей их дворов равносильно отказу. В таком случае, господа, сказал я, могу только заявить вам, что я настаиваю на моих возражениях». Внезапно обозначился кризис, намеренно вызванный Буркнэ и

Уэстморлэндом, которым велено было использовать срыв конференции, чтобы заставить Австрию в силу договора 2 декабря обнажить оружие против России. Но на это Австрия еще пока не была готова идти: «Господин Буоль, видимо, был испуган оборотом, который приняло наше совещание». Сошлись на том, что Горчаков напишет в Петербург и будет ждать инструкции [4].

2

Это заседание произвело на А. М. Горчакова тягостное и тревожащее впечатление, и вслед за подробным отчетом он написал в Петербург письмо («секретное», как гласит его помета), в котором сообщал свои впечатления и соображения. Тактика врагов для него вполне понятна, и собранные им под рукой сведения не нуждаются в комментариях. Оказывается, что Буркнэ телеграфировал в Париж: «Отказано во всем (tout est refusé)», т. е. Горчаков отверг все предложения,— значит, нечего дальше разговаривать, и Наполеону III остается лишь потребовать от Австрии немедленного выступления. Что касается Уэстморлэнда, то хотя у этого лорда все-таки больше совести, чем у Буркнэ (quoique il aie la conscience différemment taillée), но и он тоже дал знать в Лондон в таком же духе о результатах совещания. Горчакову положение рисуется в таком виде: Буоль готов толкнуть Австрию к войне против России, император Франц-Иосиф пока еще противится этому, но не следует давать много времени Буолю для его наущений против России. А потом Горчаков хотел бы поскорее получить инструкции для нового заседания. Ему представляется целесообразным поставить жгучий вопрос о Черном море так: Россия соглашается на то, чтобы ее преобладание на Черном море было «уменьшено», но только такими средствами и способами, которые не затрагивали бы достоинства и суверенных прав русского императора, и прежде всего это «уменьшение преобладания» никак не должно затрагивать суверенных прав России на собственной ее территории. Все это выражено Горчаковым не очень ясно. Он хотел бы, чтобы Николай согласился на требование союзников, и вместе с тем не только понимает, что царь не хочет умаления суверенных прав России на русских берегах, но и сам с раздражением отвергает претензии союзников [5]. В то же время он считает долгом предупредить, что миролюбие Франца-Иосифа — вещь весьма ненадежная и что от тех или иных ответов из Петербурга зависит война с Австрией.

8 января 1855 г. четыре дипломата собрались снова. Горчаков сообщил о желании Николая, чтобы конференция продолжала свою работу, и о его согласии по ряду вопросов, вызвавших разногласия в предшествовавшем заседании. При этом Горча-

ков прочел выработанный им мемуар. Первым высказался лорд Уэстморлэнд, который сказал, будто «ему кажется, что он не находит в общем уследимых разногласий». Но тут Буркнэ поспешил «вскричать», что ему этот мемуар внушает опасения насчет полезности происходящего собрания. Перебирая затем одну фразу за другой, Буркнэ всячески силился, явно придираясь к словам, сорвать заседание и вообще сорвать всякие дальнейшие переговоры. Но придирки относительно первых двух пунктов (об учреждении совместного протектората всех великих держав над Дунайскими княжествами и о свободе плавания по Дунаю) были быстро ликвидированы Горчаковым потому, что по существу Россия шла тут полностью навстречу желаниям союзников. Зато третий пункт (о Черном море и проливах) снова возбудил раздражение и временами страстные прения. Буркнэ не желал, чтобы конференция уже теперь приняла оговорку, что при выработке нового статута о Черном море ни в коем случае не будут затронуты суверенные права русского императора. По мнению французского посла, незачем было, принимая подобную оговорку, уже наперед ограничивать права и возможности воюющих держав при позднейшей выработке окончательных условий мира. Но тут Горчаков был совершенно непоколебим. Ухватив чисто словесную оговорку Буркнэ, что никто из воюющих не думает посягать на суверенитет русского императора и «*не имеет намерения*» чем-либо задеть его достоинство, Горчаков решил непременно заставить высказаться упорно молчавшего Буоля: «Я сказал этим господам, что если они желают в этом предварительном собрании даже только устно *дезавуировать* это намерение, то я этим бы удовольствовался. Во всяком случае я должен предположить, что та держава, с которой мы не находимся в войне, не поколеблется высказаться от себя». Граф Буоль, по наблюдению Горчакова, явно почувствовал себя в очень затруднительном положении. Австрийский министр стал на сторону француза с оговоркой, что, по его мнению, незачем особенно настаивать на суверенитете русского императора, на который никто не покушается. Горчаков уступил, но прибавил: «Посмотрите на это, господа, как на честное предостережение с моей стороны. Теперь никто из вас не может не знать исхода мирных переговоров, если какая-либо держава наткнется на это препятствие».

Четвертый пункт (о коллективном покровительстве всех европейских держав турецким христианам) вызвал со стороны французского посла повторное требование, чтобы Россия объявила потерявшими силу соответствующие пункты Кучук-Кайнарджийского договора 1774 г. Горчаков отказал наотрез. «Не касайтесь Кучук-Кайнарджийского договора. Это — одно из прекраснейших украшений нашего дипломатического венца.

Это — право великой государыни на славу. Упоминание об этом договоре, повторяю, бесполезно по существу, потому что его постановления, касающиеся православного исповедания, найдут свое место в коллективной гарантии. Это ненужная попытка затронуть национальное чувство, и так как я признаю за всеми вами, господа, право войти в зал мирных переговоров с поднятой головой, я не могу допустить вашей претензии заставить меня войти туда, опустив голову».

Второе предварительное заседание близилось к концу, и нужно было сформулировать его результаты. Буркнэ сделал попытку свести к нулю результаты заседания, хотя сам же должен был признать, что сделан «огромный шаг» к миру. Тем не менее Буркнэ сначала требовал такой формулировки, которая констатировала бы, будто Горчаков «вполне согласился» с толкованием трех дворов (Англии, Франции и Австрии) касательно содержания всех четырех пунктов. Но в конце концов и он согласился, что теперь нужно только ждать, чтобы воюющие правительства снабдили своих представителей полномочиями для заключения мира. Этой уступчивости Буркнэ немало содействовало то, что граф Буоль заявил категорически об отсутствии теперь оснований к дальнейшей затяжке дела. Тут же было решено, что так как Горчаков уже имеет готовые верительные грамоты от русского императора, уполномочивающие его вести мирные переговоры, то теперь Буркнэ и лорд Уэстморлэнд испросят подобных же полномочий у своих правительств [6].

Казалось бы, остается только исполнить еще несколько дипломатических формальностей, получить полномочия, собраться снова, пригласив на сей раз для приличия и турецкого представителя, и подписать мир. Так казалось князю А. М. Горчакову, но едва ли это могло казаться Буркнэ, твердо знавшему, что Наполеон III ни за что на мир не пойдет, пока Севастополь не будет взят. Но и Горчаков был оптимистичен только потому, что рассчитывал без хозяина.

Его иллюзиям был уже через несколько дней нанесен жестокий удар. Описанное только что второе предварительное заседание конференции послов происходило 8 января 1855 г., и Горчаков, торопясь поскорее удалить все препятствия к началу мирных переговоров, послал 12 января шифрованную телеграмму в Петербург: «Я желал бы вовремя узнать условия, при которых мы согласились бы на перемирие». На этой телеграмме мы читаем карандашную помету Николая: «Покинуть Крым — другие (условия — *Е. Т.*) невозможны (quitter la Crimée — pas d'autres possibles)» [7]. Другими словами: пока союзники не усадят на корабли и не увезут свои войска, осадившие Севастополь и занявшие южное побережье Крыма, царь ни на какое перемирие не пойдет.

Эта резолюция делала, конечно, абсолютно невозможным перемирие, но она вовсе не отрезывала путей к началу мирных переговоров. История знает сколько угодно случаев, когда мирные переговоры происходили неделями, месяцами, а иногда и годами под продолжающийся гром пушек. Переговоры, приведшие к концу Тридцатилетней войны, начались в 1642 г., а окончились Вестфальским миром в 1648 г. Но в данном случае резолюция Николая имела, конечно, зловещий смысл и говорила о том, что не только Париж и Лондон, но и Петербург еще далеко не готовы к мысли об окончании кровопролития. Одни спрашивали себя: кончать ли войну, со стыдом отойдя от невзятого Севастополя? Царь именно в это время ставил перед собой вопрос: не исправит ли в один день нападение на Евпаторию то, что было недоделано при Балаклаве и испорчено при Инкермане? Приближенные знали, что Николай ставит этот вопрос. Горчаков в Вене в точности не мог об этом знать. Отказ царя дать перемирие во всяком случае должен был показать князю Александру Михайловичу, что гордыня Николая поддалась, что царь не гнется, а сразу будет сломлен и рухнет, это наблюдавшие его видели ясно. Они только не знали, когда он писал свою резолюцию на шифрованной телеграмме Горчакова из Вены, что развязка так близка.

С самого начала этих венских конференций, где за столом оказались друг против друга, с одной стороны, Буркнэ, Уэстморлэнд и граф Буоль, а с другой — князь Александр Горчаков, было ясно, что первые три участника сделают все от них зависящее, чтобы сорвать переговоры, и что Франция и Англия во всяком случае постараются свести результаты переговоров к нулю до 1 января, после чего, в силу договора 2 декабря 1854 г., являлась надежда на вступление Австрии в войну. Буоль вел себя еще враждебнее, чем Буркнэ и Уэстморлэнд. Первое января приближалось... Перед лицом близкой опасности Горчаков испросил личную аудиенцию у австрийского императора и был принят им в январе 1855 г. Аудиенция длилась два часа сряду.

Горчаков начал с просьбы, не может ли Франц-Иосиф объявить русскому послу, чего собственно хотят от России. Он именно этими словами и сформулировал свой вопрос. Горчаков изложил императору историю совершенно бесплодных заседаний этой открывшейся в декабре конференции послов. Буркнэ и Уэстморлэнд, по словам Горчакова, желают ввести Франца-Иосифа в обман и сорвать совещания, поэтому они облекают все свои предложения в оскорбительную форму, коварно расставляют силки и всячески провоцируют его, Горчакова, на уход с конференции. Им это нужно, чтобы вовлечь Австрию в войну. Горчаков тут прочел императору вслух свою поданную в конференцию бумагу, в которой содержался ответ на все требования

уточнений и на все редакционные придирки, которые были выдвинуты и послами обеих западных держав и Буолем с прямой целью — затруднить соглашение. Франц-Иосиф согласился с Горчаковым. Тогда Горчаков прямо поставил вопрос: пусть император австрийский скажет теперь же, какие именно интересы Австрии и в чем именно страдают от русских действий и русских прямо высказываемых намерений. И вот зачем это нужно русскому послу: «чтобы облегчить мне ответ на вопрос тех, которые спросят меня, *если я покину Вену,* почему же вспыхнула война между Россией и Австрией». И Горчаков уточняет свою жалобу и угрозу: «Уже пять месяцев, будучи действующим лицом в этой драме и зная всю эту механику (toutes les roues, в точности — все колесики), я не буду в состоянии ответить на этот вопрос, государь, иначе как сказав, что Австрия воюет с Россией потому, что такова воля Англии и Франции».

Долго еще длилась эта беседа. Горчаков систематически изложил все переговоры России с Австрией, начиная с июля, доказывая, что на всякую уступку России Австрия и западные державы выставляли новые и новые мотивы, почему они не могут считать себя удовлетворенными.

Горчаков и Франц-Иосиф одинаково понимали, что дело не только в редакционных придирках и нарочито задевающих гордость царя формулировках. «Пересмотр договора 1 (13) июля 1841 г. о Дарданеллах явно грозил выродиться в требование запрета России держать военный флот на Черном море...» [8] Разногласие было безнадежное. Обе стороны предпочитали продолжать кровавую борьбу.

3

Неделя шла за неделей, дело конференции не сдвигалось с мертвой точки. Горчаков видел, что французский посол Буркнэ продолжает считать разоружение Севастополя и запрещение России держать военный флот на Черном море непременными условиями, понимаемыми под «третьим пунктом». Было ясно и то, что Буоль вполне поддерживает француза и что лорд Уэстморлэнд подавно не противоречит. Горчаков в конце января пришел окончательно к убеждению, что Австрия желает, не воюя, но угрожая войной, достигнуть полного согласия царя на требуемые уступки. Но хуже всего было вполне ясно обозначившееся решительное нежелание Франции покончить войну на этой стадии, не взяв Севастополя. Что касается Англии, то происходивший там как раз в это время министерский кризис до известной степени лишал английскую дипломатию ее обычной активности [9]. Следовало выждать, чем окончится дело в Лондоне. Но и с этой стороны можно было в конечном счете

ожидать только ухудшения: почти бесспорным кандидатом в преемники Эбердина являлся Пальмерстон — министр внутренних дел в эбердиновском кабинете. Дело сводилось к перетасовке внутри министерства, и никаких решительно перемен во внешней политике Англии не произошло.

10 января 1855 г. Сардиния присоединилась к союзникам и объявила России войну. Это было блестящим успехом дипломатической деятельности Наполеона III: в декабре он привлек Австрию обещанием не содействовать Сардинскому королевству в его возможных поползновениях отнять Венецию и Ломбардию у Австрии, а в январе он привлек к союзу Сардинское королевство неопределенными посулами помочь со временем Сардинскому королевству отнять у Австрии Ломбардию и Венецию.

23 января 1855 г. Николаю была доложена телеграмма, отправленная ему в этот день из Вены А. М. Горчаковым. Русский посол сообщал о военных приготовлениях Австрии и о том, что «французское давление усиливается, что уже принимаются меры в предвидении прекращения работ конференции послов в Вене». Телеграмма кончалась словами: «Во всяком случае император Франц-Иосиф не перестает говорить о мире и надеяться на мир. Блестящий успех в Крыму имел бы неизмеримое значение» [10].

Эти последние слова телеграммы А. М. Горчакова говорили Николаю ясно: Франц-Иосиф колеблется, не сегодня-завтра он, теснимый Наполеоном III, объявит России войну на точном основании договора 2 декабря. Единственное, быть может, средство предупредить это катастрофическое для России событие — внезапно напасть на бездействующую зимой армию союзников в Крыму и в наиболее слабом их месте нанести им хотя бы частичный удар. Телеграмма А. М. Горчакова окончательно укрепила царя в убеждении, что Меншиков должен овладеть Евпаторией.

Шифрованные телеграммы летели в Петербург из Вены одна за другой. Буоль домогался, чтобы сейм Германского союза объявил общую мобилизацию. В случае неудачи этого плана Буоль хотел требовать мобилизации отдельных германских держав, которые захотели бы присоединиться к Австрии. Буоль открыто перешел на сторону французской дипломатии в требованиях касательно ограничений русского флота на Черном море... Обо всем этом царь прочел в телеграмме А. М. Горчакова от 26 января 1855 г. Николай сделал помету карандашом: «Вот доказательство, если оно еще требовалось, того, что нас ожидает, если мы дадим провести себя этим мерзавцам» [11].

Весной 1855 г., в марте, как раз когда Наполеон III собирался отправиться в Крым, в Европе усиленно говорили о готовящейся перекройке карты Европы, замышляемой императором

французов. Основа слухов была в том, что при дворе Наполеона III нетерпение и беспокойство по поводу отчаянного русского сопротивления возросли до крайней степени и что за немедленное военное выступление Австрии в самом деле теперь готовы были заплатить дорого. Слухи сводились к следующему. Наполеон III готов отдать Австрии все европейские владения Турции; за это Австрия, во-первых, обязуется выступить немедленно против России и, во-вторых, уступить Ломбардию и Венецию королю Сардинии Виктору Эммануилу II. Бельгия полностью присоединяется к Французской империи. А бельгийская королевская династия в лице герцога Брабантского воцаряется в Польше (которая будет отнята у России). Египет и острова Кипр и Крит отдаются Англии. Савойя и остров Сардиния отдаются Французской империи.

До русской дипломатии доходили сведения о том, что эти планы очень серьезно обсуждаются между французским министром иностранных дел Друэн де Люисом и великобританским послом в Париже лордом Каули. Эти планы подразумевали, как необходимую предпосылку, не только вступление в войну всех вооруженных сил Австрии, но и пропуск французских войск через Галицию в русскую Польшу [12].

В Европе с напряженным вниманием следили за этими венскими конференциями. То обстоятельство, что дело никак не может сдвинуться с места, не только революционная общественность, но и умереннейшие либералы приписывали неискренности западных держав, которые и сами вовсе не хотели всерьез повести войну до конца. «Не будем обманываться: война, которая сейчас еще ведется,— это война кабинетов. Европейская аристократия, которая восседает на престолах или стоит на ступенях престолов, не может довести до конца войну против России потому, что с бо́льшим или меньшим правом, во всяком случае с тайной уверенностью, она усматривает в царе покровителя и защитника (den Schutz- und Schirmherrn), который может поддержать ее интересы против интересов большинства». Таково было убеждение очень многих представителей либеральной буржуазии в Германии, и немецкая брошюрная литература времен Крымской войны часто на этой мысли останавливается [13]. В Германии об этом щекотливом предмете было возможно говорить более откровенно, чем во Франции и Англии, где и Пальмерстон и бонапартистская пресса так красноречиво разглагольствовали на тему о том, что западные державы борются с Николаем во имя свободы и демократии. Но в данном случае дело обстояло несколько сложнее. Если в Австрии, в самом деле, соображения внутренней политики заставляли значительнейшую часть дворянства противиться политике Буоля, то для Наполеона III и Пальмерстона весной 1855 г. вопрос был уже

решен, и установка на продолжение войны была взята бесповоротно.

Топтание конференции на месте продолжалось еще и в марте.

Усиленная бомбардировка Севастополя, начавшаяся 28 марта (9 апреля) и продолжавшаяся почти без перерывов до 6 (18) апреля, была как бы символическим ответом союзников всем, кто возлагал на венскую конференцию послов хоть малую надежду.

В конце марта выяснилось окончательно, что русское правительство не соглашается на принятие пункта об ограничении русских военно-морских сил на Черном море. 29 марта (10 апреля) Нессельроде сообщил об этом особой нотой А. М. Горчакову [14]. Как только фельдъегерь 4 (16) апреля вручил эту ноту Горчакову, русский посол тотчас же уведомил об этом Буоля. Конференция окончилась. Послы перестали собираться на свои ненужные совещания. Военные действия возобновились под Севастополем с удвоенной силой.

Глава XIII

БОРЬБА ЗА СЕЛЕНГИНСКИЙ И ВОЛЫНСКИЙ РЕДУТЫ И КАМЧАТСКИЙ ЛЮНЕТ

1

В Петербурге росла тревога. Вот что вычитал новый царь в докладной записке, поданной ему военным министерством в первые же дни после вступления его на престол: «Имеем ли мы действительно две такие самостоятельные армии, которые могли бы угрожать флангам и тылу дерзкого противника, вторгнувшегося из Галиции на Волынь? Южная наша армия после последних передвижений войск из Бессарабии в Крым, можно сказать, уже не существует. Кроме гарнизонов крепостей, остается на Днестре лишь наблюдательный корпус в 34 батальона, который не только не может помышлять о переходе в наступление против колонн неприятельских при вторжении их из Галиции в Подолию или на Волынь, но даже не в состоянии удержаться на Днестре при фронтальном наступлении австрийцев из Молдавии. Он должен будет со всей поспешностью отступать за Буг по направлению на Кременчуг, пока неприятель не успел еще сбить ничтожного 8-батальонного отряда в Брецлаве» [1]. Мало того: даже и поспешное отступление сопряжено с опасностями. Вот что читаем в самом конце цитируемой записки: «Третий и последний вопрос о том, в каком направлении должна отступать Южная армия: на Кременчуг или на Киев, возбужден запиской генерала Лауница. Но вопрос сей мог действительно подлежать обсуждению только тогда, когда на юге существовала у нас целая армия, которая могла меряться с неприятелем, останавливать его наступление и через то изменять по произволу направление собственного своего отступательного движения».

Такой армии на юге уже нет, слишком много из Южной армии переведено в Крым. Значит, несмотря на явно обозначившийся уже в феврале провал венской конференции, остается до поры до времени игнорировать возросшую угрозу со стороны Австрии и продолжать защиту в Крыму.

Наступила тяжкая, на редкость для Крыма суровая зима с морозами, снегами, с буйными северо-восточными ветрами. Терпел гарнизон в Севастополе, терпела русская армия на Бельбеке, но жестоко страдал и неприятель. Открылись повальные болезни среди осаждающих.

Страшная буря 2 (14) ноября разметала часть неприятельского флота, погибли некоторые суда. Снег то таял и образовывал топи и лужи, то снова все замерзало. Холера и кровавый понос опустошали ряды французской, английской, турецкой армий ничуть не меньше, чем русские войска. Среди солдат осаждающей армии стал явственно замечаться упадок духа, число дезертиров, перебежчиков возрастало.

Тотлебен воспользовался начавшим явно ощущаться ослаблением неприятеля, чтобы не только усилить постоянные оборонительные верки крепости, им же самим в сентябре-октябре созданные, но и расширить и вынести вперед оборонительную линию, устроить ложементы перед редутом Шварца и еще в некоторых местах, а также обеспечить четвертый бастион обширной системой контрмин.

Кроме того, Тотлебен получил от Нахимова указание, что необходимо немедленно устроить новые три батареи, которые должны были бы держать под своим огнем Артиллерийскую бухту: Нахимов убедился, что зимние бури размыли и растрепали то заграждение рейда, которое было устроено из потопленных в сентябре русских кораблей, и, следовательно, союзный флот получил возможность прорваться на рейд и, войдя в Артиллерийскую бухту, бомбардировать Севастополь. Тотлебен выполнил требование Нахимова.

«Служба войск на батареях... по колено в грязи и в воде, без укрытия от непогод, была весьма тягостна»,— пишет руководитель оборонительных работ Тотлебен и прибавляет в самом деле ужасающую подробность: «Притом же в продолжение целой зимы наши войска не имели вовсе теплой одежды» [2]. Теплая одежда своевременно не была изготовлена, так как были почти полностью раскрадены ассигнованные на это суммы. В небольшом количестве одежду все же изготовили — к весне, когда в ней уже проходила надобность, но прибыла она в Крым только в разгар лета, так как были в спешном порядке разворованы и средства, отпущенные на ее транспортирование в Крым. Опоздавшие на полгода полушубки, с которыми не знали, что делать, были тогда же, летом 1855 г., свалены в Бахчисарае, и так как они были сработаны из совсем гнилого материала, то в знойное лето стали быстро разлагаться и догнивать окончательно, так что заражали неслыханно острым зловонием все помещения, куда их свалили в кучу. Тем дело снабжения и окончилось.

Меньше мерзли, но зато испытывали другого рода трудности рабочие, трудившиеся под землей.

Французы вели подкоп под наши укрепления. Тотлебен отвечал им прокладыванием встречных минных галерей.

«Тотлебен провел бо́льшую часть дня в минах и удостоверился, что неприятель ведет еще один рукав, почти по капитоле (sic! — *Е. Т.*), работа же в первом рукаве слышнее, чем вчера; у нас все приготовляется для встречи неприятеля. Если же он взрывом своего усиленного горна предупредит нас, то на 4-м бастионе уже назначены охотники Тобольского полка для занятия воронки, и сейчас будет приступлено к ее увенчанью» [3]. Так писал великий князь Михаил царю 18 января 1855 г., в день удачного взрыва одной из русских мин.

В том же письме Михаил извещает Николая об этом успехе: «Вечер, половина 11-го. Сейчас приехал ординарец Тотлебена лейт. Скарятин с донесением, что тому около часа камуфлет удачно взорван. Заряд был в 12 пуд.; его воспламенили посредством гальванизма; мгновенно на поверхности земли образовалась выпуклость более аршина; не ранее как часа через три можно будет войти в галерею ради сильного дыма, но должно полагать, что неприятельская галерея разрушена значительно» [4].

Вообще Тотлебен вел зимой энергичную работу под землей, хотя на зарядку мин требовалось много пороху и его становилось все меньше и меньше. Вот что писал Николаю из Севастополя сын его Михаил: «С зарядами мы будем очень экономны до действительной надобности, ибо порох нам дорог, и хотя запасы были большие, но они начинают истощаться, несмотря на весьма умеренную пальбу с бастионов; не мудрено, ибо осада длится уже 6-й „год“. Кстати, большая радость на Северной стороне, что ты и на нее распространил твою милость об том, чтобы месяц службы зачесть за год. Уже несколько раз слышна была работа неприятельских минеров из наших галерей, а именно из рукавов 11, 13 и 17-го. Поэтому приготовлены были на оконечностях сих рукавов камуфлеты; в 11-м неприятель так был близок, что даже сквозь забивку слышна была его работа. Вчера вечером в 9 часов были взорваны заряды в рукавах 11 и 13, надо полагать удачно. Наши галереи и забивки все целы. Подробности всего этого ты найдешь в прилагаемой записке и плане. Брат ездил смотреть в город с крыши Волохова дома, я любовался с нашего балкона; взрывы самые были слабо видны, но потом по сигнальной нашей пушке был сделан залп из орудий картечью, из мортир капральствами (гранатная картечь) и из 3-х батальонов, находящихся на 4-м бастионе и прилегающих линиях. Этот страшный огонь был открыт потому, что неприятель после взрыва имеет обыкновенно привычку высовываться из траншеи.

Когда опять зарядили орудия, то в течение 5 минут из всех производили батальный огонь. Зрелище было адское, бомбы летали во множестве по всем направлениям. Вскоре неприятель стал бросать в город бомбы, но без большого вреда, а после полуночи опять пускал ракеты, из коих одна пробила крышу Сакена дома и зажгла пол в компате его спавших адъютантов. Благодаря бога никого не задела, и огонь скоро потушили» [5].

Чтобы дать читателю более живое представление об этой подземной рабсте, не сыгравшей в конце концов решающей роли в истории севастопольской осады, но очень опасной и поглощавшей немало сил, приведу запись, сделанную по свежим показаниям участников операций: «20-го февраля слышна была работа неприятельского минера киркою, в полоборота направо от дальней воронки, примерно на расстоянии около 7-ми саж.; 22-го определилась работа ясно. 23-го февраля в 12-ть часов дня произведен взрыв № 8-го из рукава, выведенного на длину одной сажени из колодца дальней воронки, вправо от капитальной галлереи под углом в 45-ть градусов; заряд 12-ть пудов пороху, л. м. с. 20-ть фут. Забивка из мешков по длине рукава 7 фут., колодец и часть воронки засыпаны землею. По заряжению каморы слышна была работа неприятельского минера вправо от галлереи, на расстоянии около $1^1/_2$ саж. Наружное действие было довольно сильное; с 4-го бастиона после взрыва замечен в передовой французской траншее дым; 23-го февраля вечером слышна была работа неприятельского минера долотом из рукава на расстоянии около 2 саж.; 24-го числа работа определилась ясно. 26-го числа, в час и 35-ть минут пополуночи, произведен взрыв № 9-ть, заряд 12-ть пудов пороху, л. м. с. 18 фут., забивка из мешков 8-ми саж.; воронка образовалась продолговатая с диаметром 4 и 5 саж., глубина воронки $3^1/_2$ фута; гребень воронки от горизонта $2^1/_2$ фута, длинная ось воронки обращена в сторону, где слышен был неприятельский минер. Забивка уцелела, при взрыве слышен был глухой гул, отдаляющийся к неприятельской ближайшей траншее, а на 4-м бастионе замечено было сильное сотрясение.

27-го февраля слышна была работа неприятельского минера из рукава V, прямо пред головою рукава, примерно на расстоянии до 6 саж.; кроме того, слышна была работа влево от предыдущей, но очень глухо. 2-го марта работа неприятельского минера определилась ясно.

3-го марта в $11^1/_2$ час. вечера произведен взрыв № 10-го, заряд 12-ть пудов пороху, л. м. с. 20 фут., забивка из мешков 8 саж. Воронка образовалась продолговатая, диаметр 3 и 2 саж., глубина воронки $1^1/_2$ фута. Поверхность земли вздулась и опять опустилась. Наружное действие чрезвычайно слабое, а внутреннее весьма сильное, забивка уцелела. При взрыве заме-

чено на 4-м бастионе сотрясение и слышен был глухой гул; работа неприятельского минера киркою до самого взрыва слышна была через желоб гальванического проводника».

Такова была реляция начальника штаба, генерал-майора Семякина [6].

Солдаты, матросы и севастопольские рабочие даже и в легкой одежде продолжали, к восторгу Тотлебена, работать суровой зимой с полным усердием и преданностью делу, несмотря на морозы, снега, дожди, новые морозы и новые оттепели. Рабочие куска не доедали и ночей не досыпали, спеша на землекопные работы у бастионов, откуда часто возвращались искалеченными, а иногда и вовсе не возвращались. Жены носили им обед на бастионы, и случалось, что их разрывало на куски вместе с мужьями. Об этом есть ряд документальных свидетельств. Самые важные из этих предпринятых зимой работ над созданием вынесенных вперед, по направлению к неприятелю, контрапрошей были устроены в феврале. Это были прежде всего два укрепленных редута, предназначенных защищать подступы к Малахову кургану, на высотах за Килен-балкой, а затем созданный спустя 15 дней люнет на небольшом холме, который высился уже непосредственно впереди Малахова кургана.

Первый редут был заложен в ночь с 9 на 10 февраля, и так как в его устройстве участвовали главным образом люди Селенгинского полка, то этот редут, отстоявший от передовой французской укрепленной параллели всего на 400 сажен, стал называться Селенгинским. Генерал Александр Петрович Хрущов, командовавший полком с приданными ему в помощь тремя батальонами Селенгинского полка, блестяще выполнил свою работу под упорным штуцерным огнем французов, заметивших, хотя и слишком поздно, смелую русскую затею. Ровно через два дня, в ночь с 11 на 12 февраля, Селенгинский полк, под начальством того же Хрущова, продолжал и устраивать и укреплять Селенгинский редут. Французы с большими силами тотчас же обрушились на этот редут, но селенгинцы и волынцы, предводимые Хрущовым, не только отбили зуавов и другие отборные французские части, но и прогнали их до французской линии. Своевременно, очень дальновидно и умело поставленные Нахимовым корабли «Чесма» и «Владимир» в разгаре боя открыли учащенную стрельбу по французским резервам. В ночь с 16 на 17 февраля, несколько левее Селенгинского и еще ближе к неприятелю (уже в трехстах всего саженях от французов), был заложен второй редут — Волынский.

Не довольствуясь этим, Тотлебен с неслыханной быстротой устроил еще линию небольших укреплений, «ложементов», перед обоими редутами [7]. Укрепившись здесь, Тотлебен обратил все внимание на третью часть общей, поставленной им себе

задачи, состоявшей в том, чтобы оградить подступы к Малахову кургану, от целости которого зависели спасение или гибель Севастополя. Эта третья часть задачи заключалась в том, чтобы укрепить холм, непосредственно стоявший перед Малаховым курганом. В ночь с 26 на 27 февраля сюда явились три батальона Якутского полка, и разбивка укрепления была успешно начата. Тотлебен признал «выгодным устроить здесь укрепление вроде отрезного редана, открытого с горжи» [8], другими словами, это был не замкнутый со всех сторон редут, вроде Селенгинского или Волынского, а *люнет*, открытый с тыловой стороны (обращенной к своей, русской оборонительной линии) и обстреливавший неприятеля с трех «фасов» — правого, среднего и левого, образовавших между собой тупые углы. В честь Якутского полка люнет стал называться Камчатским. С тех пор в течение второй половины февраля, весь март, апрель, май главные усилия французов и англичан, сначала не сумевших помешать устройству обоих редутов и люнета, а потом оказавшихся бессильными отнять их у русских повторными натисками, были направлены именно на эту цель. Без Малахова кургана им никогда не взять Севастополя, а пока Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет в руках русских, до тех пор не взять союзникам никогда Малахова кургана. Это многие из них видели ясно еще до замены Канробера генералом Пелисье.

Упорнейшая борьба закипела вокруг этих выдвинутых непосредственно против неприятеля трех укреплений. С большим трудом и потерями союзникам удалось в самом конце марта, после интенсивнейшей бомбардировки и повторных атак, ворваться в ложементы впереди пятого бастиона и редута Шварца, и после того, как русские дважды штыками выгоняли их оттуда, они в ночь с 1 на 2 апреля все-таки разрушили некоторые ложементы окончательно. Но оба редута и Камчатский люнет и в апреле оставались в руках русских, хотя снарядов у защитников Севастополя становилось мало, пороху не присылали, приходилось в разгаре боев думать об экономии и слабее, чем нужно, отстреливаться. Да и людей становилось мало, и солдаты, рядовое офицерство, матросы со своими лейтенантами лезли прямо в огонь, не щадя себя.

Нахимов вынужден был в особом приказе напомнить, что нужно быть поскупее в трате этих трех драгоценностей: крови, пороха и снарядов. 2 марта 1855 г., в день назначения своего на должность командира порта и военного губернатора, он издал приказ по гарнизону Севастополя, где напоминал «всем начальникам священную обязанность, на них лежащую, именно предварительно озаботиться, чтобы при открытии огня с неприятельских батарей не было ни одного лишнего человека не только в открытых местах и без дела, но даже прислуга у орудий и число

людей для различных работ были ограничены крайней необходимостью. Заботливый офицер, пользуясь обстоятельствами, всегда отышет средства сделать экономию в людях и тем уменьшить число подвергающихся опасности. Любопытство, свойственное отваге, одушевляющей доблестный гарнизон Севастополя, в особенности не должно быть допущено частными начальниками... Я надеюсь, что господа дистанционные и отдельные начальники войск обратят полное внимание на этот предмет и разделят своих офицеров на очереди, приказав свободным находиться под блиндажами и в закрытых местах. При этом прошу внушить им, что жизнь каждого из них принадлежит отечеству, и что не *удальство,* а только истинная храбрость приносит пользу ему и честь умеющему отличить ее в своих поступках от первого. Пользуюсь этим случаем, чтобы еще раз повторить запрещение частой пальбы. Кроме неверности выстрелов — естественного следствия торопливости, трата пороха и снарядов составляет такой важный предмет, что никакая храбрость, никакая заслуга не должны оправдать офицера, допустившего ее».

Горчаков быстро утратил тот небольшой запас бодрости, с которым прибыл в Севастополь.

«До приезда кн. Горчакова значение флота, повторяю, было чрезвычайно высоко, потому что Сакен громко и прямо отдавал всю честь и славу севастопольской защиты Нахимову и его питомцам — морякам. Когда приехал к ним хваленый, ученый и пышный штаб Южной армии, все начало принимать другую физиономию. Все они так уверены были в превосходстве своем над прежними деятелями, так верили в свое искусство, что считали успех несомненным последствием своего приезда; приводимые ими подкрепления они считали громадной армией, долженствующей нанести решительный удар неприятелю. Отсюда замечательный и многозначащий приказ князя Горчакова от 8 марта, который действительно ободрил всех до неимоверности, так что все готовы были склонить все чувства самолюбия пред вновь взошедшими звездами. Через неделю лица стали изменяться; добросовестные люди сперва, а после них все прочие стали признаваться, что не имели никакого понятия о том, что́ такое Севастополь; сомнение начало так сильно вкрадываться в душу всех, что не было возможности таить нового впечатления. Нахимов, знавший положение дел в настоящем их виде и не заблуждавшийся насчет опасности, нам предстоящей, с самого начала, сколь возможно осторожно, предостерегал от обещаний насчет успеха и постоянно, как тогда, так и теперь, убеждал в необходимости действовать наступательно, чтобы пользоваться единственною, быть может, минутою и не терять людей даром, пока они стоят сложа руки. Ему ответствовали

обещаниями и отзывом о необходимости выждать подкреплений. Пока ждали, открылась бомбардировка, и из пришедших новых войск положили почти дивизию. Тут последовала разительная перемена: бомбардировка открыла глаза,— никогда при кн. Меншикове не стали бы так отчаиваться в успехе, как теперь,— и ныне даже оптимисты не видят ничего, кроме отсрочки падения нашего чудного Севастополя. Трудно, почти невозможно винить кого-либо: ясно, как день, что никто не знал и не воображал, что́ такое Севастопольская война. Теперь вопрос делается так прост и осязателен, что и я, не военный, понимаю затруднения; да и трудно не понять, что без пороха, без снарядов и при ежедневном уменьшении войска можно только стоять, чтобы не рисковать честью и судьбою. Чем это кончится, конечно, определить нельзя: конечно, Севастополь держится очень сильно и стойко, но устоит ли он против медленной смерти, подготовляемой ему неприятелем?» [9]

Так судили внимательные очевидцы.

Упорная борьба из-за двух редутов и люнета продолжалась, но, кроме нового успеха французов на контрапрошах перед редутом Шварца 20 апреля, союзники ничем похвастать не могли. Эти занятые союзниками ложементы были устроены — одна линия в 50, а другая сзади в 75 саженях от французских батарей (т. е. в 25 саженях позади первой линии). Тотлебен довольно ясно дает понять, что как раз эти ложементы были созданы не по его инициативе, а из других источников мы знаем, что инициатива тут принадлежала самому Горчакову и его штабу, а назначенный командовать прикрытием их генерал Хрущов, один из лучших командиров Севастополя, не одобрял ложементов в этом месте и не считал возможным их долго удерживать. Некоторые из них и продержались всего неполных девять дней.

Но этим успехи союзников в апреле и ограничились. В союзном лагере стали даже подумывать о попытке большой операции с моря. Но еще с середины февраля Нахимов, считаясь с тем, что зимняя непогода сильно испортила заграждения из потопленных в сентябре пяти кораблей, затопил новую партию судов: корабли «Двенадцать апостолов», «Ростислав», «Святослав», «Гавриил» и два фрегата — «Мидия» и «Месемврия». Проход неприятеля в рейд снова стал невозможен.

2

В Париже были уже давно раздражены и обеспокоены. Неожиданное яростное сопротивление русских в Севастополе грозило совсем изменить намеченный план дальнейшего развития военных действий. К середине мая (6 (18) мая — *Е. Т.*) прибыли в Крым французские резервы; еще за несколько дней до

того, 26 апреля (8 мая) в Балаклаву привезены были 15 000 солдат Сардинского корпуса, присланные сюда на смерть Кавуром, министром Сардинского королевства, желавшим снискать этим милость Наполеона III в недалеком уже будущем, когда должен был встать вопрос об освобождении Ломбардии и Венеции от австрийского владычества.

Наполеон III не скрывал ни своего беспокойства, ни недовольства действиями Канробера. Генерал Реньо де Сен-Жан д'Анжели привез в Крым не только резервы: он привез также отставку главнокомандующего. Он высадился на берег 6 (18) мая, а на другой день, 7 (19) мая, по окончании военного совета, где были выслушаны категорические повеления Наполеона III, Канробер заявил, что он отправляет в Париж просьбу об отставке. На его место был назначен и тотчас же вступил в должность главнокомандующего генерал Пелисье, прославившийся своей долгой войной с арабами в Алжире, своими очень успешными и весьма зверскими действиями в этой постепенно завоевываемой стране. Это был очень энергичный, талантливый и во всех отношениях способный военный человек. В армии у него было прозвище «коптитель» (l'enfumeur), так как в Алжире он однажды задушил дымом загнанное в пещеру население целой деревни. В этом способе знакомить арабов с французской цивилизацией Пелисье был лишь «основоположником». Он нашел многочисленных подражателей среди своих коллег.

Ко времени назначения Пелисье Наполеон III стал смотреть на войну в Крыму гораздо оптимистичнее, чем смотрел на нее в течение всей зимы и весны 1855 г.

Вот что нужно тут вкратце напомнить.

Генерал-адъютант Ниель, саперный генерал, прибывший в январе 1855 г. в лагерь под Севастополем, через 20 дней уехал, увозя с собой твердое убеждение, что Севастополь взять штурмом не удастся. Он знал, что союзники имеют в Крыму 83 000 человек, что они ждут в близком будущем подкреплений, что вскоре Сардинское королевство (Пьемонт) вступит в войну и пришлет 15 000 человек, и все-таки предпринимать штурм Ниель считал безумием, хотя русских, по его мнению, в Крыму было (в феврале) лишь около 60 000, а в Севастополе — не больше половины этого числа.

Наполеон III получил доклад Ниеля и телеграфировал ему приказ «немедленно вернуться под стены Севастополя». Ниелю было дано при этом знать, что, может быть, сам император французов явится в Крым.

Некоторые дипломаты, жадно следившие в Париже за сменой настроений Наполеона III, начали в феврале-марте 1855 г. высказывать (конечно, в доверительных сообщениях) предположение, что император не прочь окончить войну. Это было сов-

сем неосновательным преувеличением. Наполеон III слишком связал судьбу империи и участь своей династии с русской войной, чтобы отказаться от предприятия в целом. Да и Англия на это не пошла бы. Но в императорском окружении порой могли высказываться мысли о том, что незачем дольше даром терять людей под Севастополем, когда можно перенести войну в другое место, например к Перекопу, и отрезать весь Таврический полуостров от России. Речь шла, таким образом, вовсе не о конце войны, но только о возможном прекращении осады Севастополя.

Из Англии с беспокойством следили за всеми этими настроениями в Тюильрийском дворце. 14 апреля 1855 г. Наполеон III в сопровождении императрицы Евгении и блестящей свиты явился в Лондон с официальным визитом. Он был принят при неслыханных излияниях чувств, овациях и манифестациях. Несметные массы народа приветствовали его появление оглушительными возгласами. Столица и главные города были иллюминованы. Английский двор в течение всей недели пребывания императора оказывал ему небывалые почести. Например, во время торжественной церемонии королева Виктория, низко нагнувшись, застегнула собственноручно на императорской икре золотую с бриллиантами пряжку ордена Подвязки, высшего из британских знаков отличия.

Дело в том, что очень уж боялся Пальмерстон каких-либо неожиданных сюрпризов, всегда возможных со стороны высокого гостя, который хоть и поговаривал об активизации военных действий и даже о своей поездке в Крым, но явно лишился после смерти Николая одного из стимулов своей вражды к России. Не ведет ли новый кавалер ордена Подвязки тайных переговоров с Александром Николаевичем, как о том ходили уже слухи? Правда, Наполеон в течение всех семи дней пребывания в Лондоне и Виндзоре был очень милостив и ласков. «Как я счастлива, что познакомилась с этим необыкновенным человеком. Нельзя не любить его, совсем невозможно не восхищаться им!» — писала сгоряча в своем дневнике Виктория. Но многоопытный Пальмерстон обычно больше всего и начинал бояться Наполеона III именно тогда, когда его величество становился слишком уже любезным и преувеличенно очаровательным.

Тем не менее на этот раз беспокоиться английскому премьеру было еще рано. До взятия Севастополя Наполеон III на мир идти не хотел. Он все более и более раздражался малоуспешностью военных действий в Крыму и решил активизировать осаду.

Если относительно чего-либо Нахимов совершенно сходился в мнениях с главнокомандующим князем Горчаковым, то именно относительно того, что наиболее тяжкие испытания лежат не

позади, а еще впереди. В Крыму, да и в Петербурге правильно оценили реальное значение лондонского императорского визита.

Весна ведь не принесла особого облегчения осаждающей армии,— и отставка Канробера была не только демонстрацией немилости императора к генералу, не умеющему взять Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет и сломить отчаянное сопротивление русских, но и выражением недоверия верховного властелина ко всему, что творилось во французской армии.

Болезни, холод, русские ядра и пули косили осаждающих. Энергия севастопольского гарнизона, выстроившего в самых невероятных условиях, буквально под дождем ядер и штуцерных пуль, Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет и три месяца отбивавшего все нападения на них, посеяла в осаждающих чувство растерянности, которого не было даже в тяжелом морозном январе 1855 г. Но тут на помощь неприятелю явился дипломатический шпионаж. «В мае 1855 г. в Париже отчаивались взять Севастополь и уже готовились остановиться на крайнем решении снять осаду, когда правительство императора (*Наполеона III — Е. Т.*) *неожиданно, посредством таинственных откровений*, узнало, что Россия уже истощила свои средства и что ее армии изнемогают...»

Эти таинственные откровения (les révélations mystérieuses) ничего таинственного для историка теперь уже не представляют. Прусский военный атташе в Петербурге граф Мюнстер, «в частных письмах» своему «другу» генералу фон Герлаху в Берлин, передавал все, о чем в его присутствии непозволительно и безответственно выбалтывалось при русском дворе и в аристократических салонах русской столицы, и все, что он добывал также всякими иными средствами. А французский посол в Берлине маркиз де Мустье купил копии этих «дружеских» писем у выкравшего их сыщика и переслал их в Париж Наполеону III, как раз когда русские два редута и Камчатский люнет приводили того в смущенье своей непреоборимостью. «Предвидели, что если неприятелю (т. е. русским — *Е. Т.*) удастся прочно укрепиться на некоторых отдельных пунктах, а именно перед Малаховым курганом и Корниловым бастионом, то его огонь сделается непреодолимым, его снаряды будут перелетать через гавань и будут достигать до северного берега (бухты — *Е. Т.*). *Тогда счастье улыбнулось императору* (Наполеону III — *Е. Т.*): в тот час, когда он считал уже все скомпрометированным, он узнал, что он выиграл партию» [10].

Едва в Париже были получены из Берлина эти известия о приближающемся истощении русских ресурсов, как в официальном органе французской империи «Монитер» появилась ликующая статья о близости победы, а из Тюильрийского дворца и

военного министерства полетели к генералу Пелисье настойчивые требования прежде всего немедленно покончить с войной, и покончить следующим образом: напасть на русскую армию, стоящую на Бельбеке, разгромить ее, затем окружить Севастополь также и с Северной стороны и принудить город к скорой сдаче. Но Пелисье имел уже свой план, состоявший в том, чтобы не делать ничего похожего на то, чего требовал император, а вместо этого как можно быстрее покончить с тремя русскими контрапрошами и, взяв их, овладев, в частности, Камчатским люнетом, штурмовать затем Малахов курган.

3

Тотлебен и Нахимов совсем ничего не знали об этой смене настроений в Тюильрийском дворце, о противоречиях и несогласиях между Наполеоном III и Пелисье, но зато очень твердо усвоили мысль, что французы хотят покончить с этими тремя русскими контрапрошами, и поэтому готовились к новым тяжким боям.

Ни Тотлебен, ни Нахимов, ни даже более их знающий двор и штаб Васильчиков не подозревали, до какой степени плохо охраняются именно в Петербурге самые важные севастопольские военные секреты. Николай и его преемник чувствовали себя окруженными предательством и кроющейся где-то во тьме изменой.

К самому концу жизни Николай иногда просто терялся, не зная, кому же доверять. Из русских выходят декабристы. Из военных немцев декабристов не бывает, но кто же их знает,— может быть, они по-другому неблагополучны. В Инженерном замке под десятью запорами стояла громадная, в четыре-пять квадратных саженей, детальная модель севастопольских укреплений — предмет опаснейший, государственная тайна, в самом деле, жизненного значения. И вот Николаю доносят, что генерал фон Фельдман, комендант Инженерного замка, так хорошо бережет модель, что «каких-то два господина» могли туда проникнуть и «делали заметки в своих записных книжках». Вне себя государь мчится на место преступления и бешено налетает на Фельдмана: «Как ты осмелился, старый дурак... нарушать мое строжайшее приказание о моделях? Как ты осмелился пускать туда посторонних, когда и инженерам я не доверяю эти вещи? До такой небрежности довести, что с улицы могли забраться лица, совершенно неизвестные? Для того ли я поставил тебя здесь комендантом? Что ты, продать меня, что ли, хочешь?.. Я не пощажу твоей глупой лысой головы, а отправлю туда, где солнце никогда не восходит! Если тебе я не могу довериться, то кому же, после того, мне верить?» [11]

Этот отчаянный вопрос Николай задавал не только коменданту Фельдману. Царь знал, что его продают и покупают именно те, кто ближе всех к нему стоит. История с генералом Фельдманом произошла очень незадолго (Эвальд, присутствовавший при этой сцене, утверждает, что за несколько дней) до смерти Николая. Можно полагать, что информация из Инженерного замка попала в руки Наполеона III почти одновременно с петербургскими письмами Мюнстера.

«В Севастополе по-прежнему; только не знают теперь, что делать с Камчатским редутом. Выдвинули его — и ежедневная потеря огромная, он подвержен огню с трех сторон. Неприятель из ничтожных траншей понастроил сильные батареи на Сапун-горе по покатостям к Килен-балке. Находили затруднительным взять эту высоту, когда не было ни одного орудия, теперь она вооружена очень сильно, и продолжают работы»,— пишет генерал Семякин уже отставленному Меншикову. Он пишет так, будто он совсем ни при чем в содеянных ошибках, тогда как он, в качестве начальника штаба у Меншикова, занимал одно из главных командных мест [12].

Нахимов понимал громадное значение Камчатского люнета и именно поэтому мог не сомневаться, что французское верховное командование изо всех сил будет стараться с ним покончить. Перед этим люнетом были отборные французские войска, обильно снабженные саперными силами.

В ночь с 22 на 23 марта генерал Хрулев с 11 батальонами морской пехоты напал на французские и английские траншеи, расположенные перед Камчатским люнетом и двумя редутами. Русские ворвались в неприятельские траншеи и после отчаянной борьбы разрушили часть укреплений, которые французы начали возводить против люнета. Эта вылазка оказалась очень кровопролитной. Совершив то, что имелось в виду, русские вернулись на люнет. Собственно в эту ночь отряд Хрулева выполнил не одну, а последовательно три вылазки. Русские потери в общем были равны 387 человекам убитыми и около 1000 ранеными. Общие потери французов и англичан достигали, несомненно, большей цифры, чем официально показанная (доходившая до 600 человек). Через день после этого побоища, по соглашению между Остен-Сакеном и генералом Канробером, было заключено перемирие для опознания и уборки трупов людей, павших в предшествующую кровавую ночь. Во время перемирия русские и французы очень дружески, почти ласково, беседовали друг с другом. Те и другие обменивались взаимными благодарностями за гуманное, заботливое отношение к пленным. Французы и англичане, замечу к слову, в течение всей войны и после войны не переставали с теплым чувством (иногда просто с восторгом) вспоминать, как русские относились к пленным, как

священна для русских была личность раненого, беспомощного врага, попавшего в их руки. «Трогательным и благородным, характерным для русских», как выражается Базанкур, был не только тот эпизод (забота о капитане Креспе), о котором этот французский летописец осады повествует. Такие эпизоды и в самом деле были типичными и характерными.

Пережившим время выкалывания глаз и сожжения живьем советских воинов презренными извергами подлой гитлеровской орды особенно отрадно вспомнить, как сто лет назад воевали люди, которые не забывали, что безоружный, истекающий кровью враг уже перестал быть врагом.

Нахимов ставил лучших офицеров для наблюдения за всеми попытками французов приблизиться к люнету. И офицеры и солдаты этого русского наблюдательного поста погибали быстро, один за другим.

Вот что писал Нахимов 24 марта 1855 г. отцу одного из погибших на этом опасном посту: «Доблестная военная жизнь ваша дает мне право говорить с вами откровенно, несмотря на чувствительность предмета. Согласившись на просьбу сына, вы послали его в Севастополь не для наград и отличий, движимые чувством святого долга, лежащего на каждом русском и в особенности моряке. Вы благословили его на подвиг, к которому призвали его пример и внушения, полученные им с детства от отца своего; вы свято довершили свою обязанность, он с честью выполнял свою. Почетное назначение — наблюдать за войсками, расположенными в ложементах перед Камчатским люнетом,— было возложено на него как на офицера, каких нелегко найти в Севастополе, и только вследствие его желания. Каждую ночь осыпаемый градом пуль, он ни на минуту не забывал важности своего поста и к утру с гордостью мог указывать, что бдительность была не даром: с минуты его назначения неприятель, принимаясь вести работы тихой сапой, не продвинулся ни на вершок. Несмотря на высокое самоотвержение его, ни одна пуля его не задела, а всевышнему богу угодно было, чтобы случайная граната была причиной его смерти,— в один час ночи с 22 на 23 число он убит... В Севастополе, где весть о смерти почти уже не производит впечатления, сын ваш был одним из немногих, на долю которых досталось искреннее соболезнование всех моряков и всех, знавших его; он погребен в Ушаковой балке; провожая его в могилу, я был свидетелем непритворных слез и грусти окружающих. Сообщая эту горестную весть, я прошу верить, что вместе с вами и мы, товарищи его, разделяем ваши чувства; прекрасный офицер, редких душевных достоинств человек, он был украшением и гордостью нашего общества; а смерть его мы будем вспоминать, как горькую жертву, необходимую для искупления Севастополя. Оканчивая письмо, я

осмеливаюсь просить вас доставить мне случай хотя косвенным образом быть полезным его несчастной супруге и ее семейству» [13].

Судьба люнета была предрешена: 8 (20) мая Пелисье объявил начальнику инженеров генералу Ниелю о подготовляющемся штурме на «Зеленый холм» (Камчатский люнет). «Напасть на Зеленый холм? Да можно ли об этом думать? Ведь это будет целое сражение!» — воскликнул Ниель. «Что же, это и будет целое сражение!» — ответил Пелисье. Спустя несколько дней после этого разговора наступила развязка.

Главнокомандующий французской армией генерал Пелисье с генералами Ниелем, Трошю, Фроссаром, Бере и всем своим штабом прибыл за час до начала штурма (26 мая (7 июня) — *Е. Т.*), направленного на Камчатский люнет. Сигнал к штурму был дан генералом Боске вскоре после 6 часов. «Ураган картечи» с Камчатского люнета встретил, по словам барона де Базанкура, штурмующие колонны. «Сопротивление было ужасно, русские сражаются отчаянно, ружейный огонь в упор повергает на землю первые ряды» [14]. Когда французы ворвались на люнет, полковник Брансьон, вбежавший на люнет первым, водрузил было французский флаг — и тут же был убит наповал. Как будет рассказано ниже, Нахимов с уцелевшими еще матросами и солдатами отступил к куртине у Малахова кургана — и вот что случилось далее, по словам французских участников сражения. Французы бросились преследовать отступавший из Камчатского люнета отряд и «пытались проникнуть в ров Малаховской батареи вместе с ними (отступившими русскими — *Е. Т.*)... Но внезапно бурная стрельба поражает их и в одно мгновенье устилает землю нашими (французскими — *Е. Т.*) убитыми солдатами... Вскоре наша (французская — *Е. Т.*) неосторожная колонна принуждена податься назад перед значительными силами, которые идут прямо на центр атакующих... Камчатский редут не мог еще представить никакого убежища против возвращающихся русских: внезапный взрыв загромоздил редут бревнами, досками, горящими мешками,— и этот важный пункт, так доблестно взятый нашими войсками и на котором уже развевалось знамя с французским орлом, снова был занят русскими» [15].

Это и была атака Хрулева, опрокинувшая французов и выбившая их в несколько мгновений из Камчатского люнета. Французский патриотизм заставил лишь летописца событий назвать русские силы, отобравшие снова Камчатский люнет, «значительными»,— у французов в этот момент сил было гораздо больше.

Таков короткий рассказ французского наблюдателя.

Вот что говорят русские источники, дающие гораздо больше

подробностей, но в общем не противоречащие французским и английским свидетельствам.

«В пять часов (дня 26 мая (7 июня) — *Е. Т.*) мы заметили массы неприятельских войск, стремившихся на левый наш фланг; но огонь был так силен, что дым и пыль все помрачали и не было никакой возможности следить за дальнейшими движениями. Вскоре после того по телеграфу дано знать, что неприятель завладел двумя редутами — Волынским и Селенгинским. Там завязалось страшное сражение. Много войск отправлено туда и из города. Ружейная пальба продолжалась всю ночь до утра. В 6 часов пришла весть, что и Камчатский редут тоже взят. Происшествия эти подействовали на всех хуже предсмертных известий, звук голоса у каждого заметно изменился. К счастью, сзади Камчатского редута была непрерывная линия. Не будь ее, Севастополь тогда же мог пасть» [16].

Спасли его Нахимов и Хрулев, который, замечу к слову, был сюда переведен тем же Нахимовым, понимавшим лучше всех значение этой линии и ставившим сюда самых лучших командиров, которыми только располагал. Цитируемый автор неточно называет Камчатское укрепление «редутом»; это был не редут, а люнет, так как был укреплен лишь с трех сторон, а его «горжа», четвертая сторона, повернутая к постоянным севастопольским веркам, как уже сказано, была оставлена открытой.

Этот штурм двух редутов и Камчатского люнета, нужно тут же сказать, был подготовлен начавшимся накануне, 26 мая (7 июня), новым, колоссальных размеров общим бомбардированием Севастополя и всех его укреплений, и уже с самого начала было ясно, что французской и английской артиллерией особое внимание обращено именно на Селенгинский и Волынский редуты и на Камчатский люнет. Против Камчатского люнета был сосредоточен огонь 48 неприятельских орудий. Перебита была к вечеру бо́льшая часть артиллерийской прислуги, разрушены и сбиты в кучу почти все амбразуры. Английские орудия, точно пристрелявшись, уничтожили бруствер первого фаса и подбили несколько орудий. Отстреливаться к концу дня с Камчатского люнета стало почти невозможно. Временно был приведен к молчанию и лежащий за Камчатским люнетом Малахов курган. На другой день, 26 мая, с рассвета неприятельский огонь возобновился с новой силой,— он, впрочем, и ночью ослабел не очень значительно. Подверглись на этот раз, с утра уже, страшному опустошению и Волынский, и Селенгинский редуты, и Малахов курган.

Но вот с трех часов дня вдруг все английские батареи, которые до сих пор с утра 26-го били по Малахову кургану, сразу прекратили обстрел Малахова и повернулись против Камчатского люнета, так страшно пострадавшего накануне и еще не

восстановленного, несмотря на все ночные усилия его уцелевших защитников. Тут-то и сказалось гибельное, совершенно бессмысленное распоряжение Жабокритского, с такой беспечной легкостью одобренное штабом гарнизона за четыре дня до того, 22 мая, и включенное в диспозицию. «Этой диспозицией были ослаблены до крайней степени» (слова Тотлебена) именно те части, которые должны были защищать оба редута и люнет: на Волынском и Селенгинском редутах Жабокритский оставил в общей сложности один батальон численностью в 450 человек, т. е. по 225 человек на редут. А на Камчатском люнете он поставил 350 человек. Из этих 350 человек часть была истреблена 25 и 26 мая губительной непрерывной бомбардировкой.

И вдруг, перед вечером 26 мая, по русской линии пронесся грозный слух, что французы готовят штурм обоих редутов и Камчатского люнета. Измученной уцелевшей горсточке людей, защищавших Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет,— которых, как сказано, еще до двухдневного адского огня было в общей сложности 800 человек, а теперь, к вечеру 26-го, оставалось в лучшем случае человек 600,— предстояло выдержать специально против нее направленный штурм. А силы, которые генерал Пелисье отрядил для штурма, были подавляюще огромны: минимальный подсчет их дает 35 000 человек (Тотлебен считает от 35 до 40 000). Из них специально против Камчатского люнета Пелисье направил бо́льшую часть — 21 батальон, тогда как против Селенгинского и Волынского редутов вместе — 18 батальонов. Мало того, против Камчатского люнета были направлены отборные войска. Из 21 батальона, которым было велено овладеть Камчатским люнетом, два батальона были из императорской гвардии Наполеона III.

Положение наших войск было отчаянное. Когда сигнальщики с наблюдательных постов к вечеру 26 мая заметили сбор и движение во французских траншеях и одновременно получили сведения от перебежчиков, что нужно ожидать немедленного штурма, все устремились за распоряжениями к генералу Жабокритскому, к ответственному виновнику безобразного ослабления редутов и люнета, к человеку, отдавшему их на гибель. Но, узнав о готовящемся штурме, генерал Жабокритский внезапно объявил, что ему нездоровится, и, бросив все на произвол судьбы, не сделав никаких распоряжений, уехал от назойливых вопросов, не теряя золотого времени, на другой конец города.

Ни Нахимов, ни Тотлебен не обвиняли Жабокритского в прямой измене, в чем его подозревали тогда и позже многие. Тотлебен осторожно пишет: «Но, вместо того, чтобы принять меры для усиления гарнизонов этих укреплений, генерал Жабокритский рапортовался больным и уехал на Северную сторону» [17].

Осип Петрович Жабокритский изменником не был, хотя и

воспитывался в католическом монашеском духовном училище отцов базильянов и во время польского восстания 1831 г., будучи штабс-капитаном русской армии, оказался, после одной стычки его отряда с поляками (при реке Мухавце, 29 марта 1831 г.), в плену у поляков. Все это, разумеется, нисколько не доказывает его измены и сознательной вины в гибели двух редутов и Камчатского люнета, и никаких аргументов и доказательств измены его обвинители не приводят. Дело было вовсе не в «измене», а в недомыслии, бездарности, военной невежественности, полном равнодушии к делу, моральной дряблости — словом, в типичных свойствах военного карьериста николаевского времени, свойствах, нисколько карьере не вредивших, а скорее помогавших.

Наконец, убегая на Северную сторону, Жабокритский, может быть, успокаивал свою совесть надеждой, что, авось, редуты и люнет не погибнут: остались пока вот эти Нахимовы, Хрулевы и Тотлебены, которые всюду суются, у которых еще пока не снесло ядром голову, как у Истомина, и не отбило внутренностей, как у Корнилова, и которые каким-то образом обыкновенно выручают и поправляют дело, сколько бы его ни портить. По крайней мере у Меншикова, а потом у Остен-Сакена и Горчакова подобное умонастроение можно уловить вполне явственно и в их действиях и в их переписке. Во всяком случае Жабокритский вполне одобрял перед своим собственным отбытием на Северную сторону передачу начальства над войсками угрожаемого участка (Корабельной стороны) генералу Хрулеву. Но на этот раз все было так основательно испорчено, что никакое геройство Нахимова и его матросов, Хрулева и его солдат не помогло.

В начале 7-го часа вечера 26 мая, когда французы бросились штурмовать оба редута и Камчатский люнет и штурмующие колонны, в составе двух полных бригад, после отчаянной схватки выбили прочь несколько сот защитников Селенгинского и Волынского редутов, Хрулев быстро подтянул подкрепления и остановил дальнейшее продвижение французов, нанеся неприятелю тяжкие потери, и сам страшно потерпел от ружейного и орудийного огня.

Нахимов, едва только узнав о готовящемся штурме, помчался на место действия и явился на самый опасный из всех угрожаемых пунктов — на Камчатский люнет. Не успел он соскочить с лошади и подойти к батареям, как начался штурм люнета. Нахимов поднялся на вышку и с банкета убедился, что неприятель идет штурмовать люнет в огромных силах, разом с трех сторон. Матросы встретили штыками и оружейным огнем ворвавшихся в люнет зуавов и французских гвардейцев. Как и все прочие свидетели, Тотлебен приписывает безудержную ярость совсем безнадежной с самого начала защиты Камчатского

люнета присутствию Нахимова: «Матросы, одушевляемые присутствием любимого начальника, с отчаянием защищали свои орудия» [18]. Непонятно, как в этой отчаянной свалке, где на каждого русского матроса приходилось человек десять французов, не был убит или взят в плен Нахимов. Его высокая сутулая фигура в сюртуке с золотыми эполетами, которых он и тут, отправляясь на штурм, не пожелал снять,— бросалась в глаза прежде всего атакующему неприятелю.

Но вот новая французская часть обошла Камчатский люнет с тыла. Уцелевшая кучка матросов и солдат окружила Нахимова, пробила себе дорогу отступления штыками и остановилась за куртиной, шедшей от Малахова кургана до второго бастиона. Французы решили выбить оттуда Нахимова с его кучкой. Малахов курган в это время почти не отвечал на огонь неприятеля, овладевшего и Селенгинским, и Волынским редутами, и Камчатским люнетом и уже поведшего обстрел Малахова кургана с самого близкого расстояния. Хрулев, подоспевший с быстро собранными им резервами, спас Малахов курган и отбил у французов отчаянной штыковой атакой Камчатский люнет. Но новой контратакой французы снова им овладели.

Нахимов уже перешел со своим отрядом из куртины на Малахов курган и сейчас же открыл сильный артиллерийский огонь по занятому французами вторично Камчатскому люнету.

Приведем в дополнение к уже сказанному некоторые документальные подробности и пояснения, которые могут сделать данную только что общую картину более яркой и, главное, еще более точной.

Французы громили люнет уже давно, беспрерывно и беспощадно. Каждый день уносил много жизней, но подходила новая смена. Когда наступил момент штурма, французы направили, как уже сказано, на люнет подавляющие силы. Вот что читаем в дневнике, веденном командиром люнета Тимирязевым (26 мая): «Шесть часов пополудни... Признаюсь, положение было самое незавидное того, кто должен был защищать редут: 125 человек команды и надежда на помощь божью — вот были данные, на которых я полагал защиту люнета. Но вдруг невидимо господь послал люнету Павла Степановича, который не задумался в эти критические минуты навестить тех, которым совет его был необходим. Адмиралу сопутствовал адъютант царя, лейт. Фиьгаузен. В коротких словах передал адмиралу положение своего люнета и неизбежность штурма. Но все-таки он приказал показать повреждение в артиллерии. Едва лишь прошли 15-е орудие, как доклад вахтенного офицера мичмана Харламова о наступлении неприятеля заставил меня просить адмирала удалиться и прислать подкрепления. Но, не внемля просьбе моей, адмирал, обнажая кортик, вскочил на банкет. Просьбу я повторил второй

раз, уверив его, что бесполезно его пребывание,— все, что можно будет сделать для защиты люнета, будет исполнено. Удивило меня то, что адмирал в первый раз послушал убеждений. Не раз случалось мне говорить ему при посещении люнета, когда он, взойдя на банкет, довольно долго стоял открытым до половины груди. Обыкновенно в ответ его слова были: „Сойдите сами, если хотите". Иногда он варьировал: „Я вас не держу"» [19].

Нахимов был, таким образом, на Камчатском люнете в грозные часы, когда французы пошли на приступ окончательно разрушенного предшествующими бомбардировками укрепления.

Адмирал лично убедился в абсолютной невозможности держаться далее на люнете, и когда израненный, случайно уцелевший командир люнета лейтенант Тимирязев просил потом о назначении над собой следствия, Нахимов ответил самой лестной хвалой.

Привожу здесь эту переписку, потому что всякая попытка изложения ее может только ослабить общее впечатление.

«В 6 часов его высокопревосходительство Павел Степанович посетил редут и удостоил меня и команду своей благодарностью. Лишь только я успел провести адмирала на редут, как доклад вахтенного офицера г. мичмана Харламова, что неприятель подступает, заставил меня просить адмирала удалиться и прислать подкрепление. Сам я скомандовал: „Левый фас, начинай ядром с дальней картечью", и пошел на банкет. Прикрытие на редуте состояло из неполного батальона Полтавского полка, которое разбежалось по банкетам и открыло ружейную пальбу. Между прочим французы подходили к левому фасу и к горже редута по направлению из Килен-балки; матросы били врага своего картечью довольно удачно до тех пор, пока неприятельский залп из 15 мортир и 7 орудий бомбами положил более половины достойной прислуги моряков и меня осколком контузило в левый висок. Я был в памяти еще; взявши за шнур, спустил курок 14-го орудия, и, может быть, этот выстрел в меру отомстил за нашу потерю. Но только что я поднялся на банкет, чтобы оттуда наблюдать движение неприятеля, штуцерная пуля ранила меня в правую ногу навылет, и я упал. Матросы подхватили меня под руки и, видевши, что прикрытие отступает, не выдерживая натиска неприятеля, повели меня из редута, но я успел прокомандовать: „Заклепывать орудия, бери с собой принадлежности и отступай за прикрытие!"

Г-н мичман 42 экипажа Беличев командовал людьми при отступлении, причем он был ранен. Мичман же Харламов, принимая мою команду заклепывать орудия, распоряжался оставшимися при нем несколькими матросами, которым было приказано поторопиться и отступить за армиею. Последним редут оставил 33-го флотского экипажа квартирмейстер Панкрат

Трофимов, впереди которого шел я, поддерживаемый двумя матросами; кровь из раны ручьем поливала редут и омывала срам моего отступления. Божия милость и картечь с Корнилова бастиона спасла меня от плену; меня вели до казармы, где и положили на носилки. Донесение это не есть оправдание, которое я приношу, но описание дела, как было. Покорно предаюсь воле начальства и прошу судить меня или же оправдать: честь, которой мы, моряки, пользуемся, дорога мне,— я лучше умру, чем понесу позорное нарекание».

Нахимов поспешил ответить израненному Тимирязеву одним из тех писем, которыми он умел награждать этих обреченных на гибель людей, своих лучших соратников:

«Бывши личным свидетелем разрушенного и совершенно беззащитного состояния, в котором находился редут ваш, и несмотря на это, бодрого и молодецкого духа команды и тех усилий, которые употребили вы к очищению амбразуры и приведению в возможность действовать хотя несколькими орудиями; наконец, видевши прикрытие под значительно усиленным огнем неприятеля, я не только не нахожу нужным назначение какое-либо следствия, но признаю поведение ваше в эти критические минуты в высшей степени благородным. Защищая редут до последней крайности, заклепавши орудия и взявши с собой даже принадлежности, чем отняли у неприятеля возможность вредить вам при отступлении, и, наконец, оставивши редут последним, когда были два раза ранены, вы выказали настоящий военный характер, вполне заслуживающий награды, и я не замедлю ходатайствовать об этом перед г. главнокомандующим. Адмирал Нахимов» [20].

С Камчатским люнетом пали 26 мая и два редута, созданные одновременно,— Волынский и Селенгинский.

На другой день Нахимов собрал у себя военный совет и поставил вопрос: делать ли усилия, чтобы отобрать у французов эти редуты, или оставить их в руках неприятеля? Решено было оставить неприятелю. Предвиделся новый отчаянный общий штурм Севастополя. Все знали, зачем назначен в качестве главнокомандующего французской армией, вместо уволенного Канробера, генерал Пелисье и какие ему даны инструкции от Наполеона III. Тратить силы и вконец изнурять войска на труднейшее дело обратного завоевания трех редутов Нахимов не считал нужным.

При боях у Камчатского люнета Нахимов был контужен. Он знал, что потеря этих трех контрапрошей произвела удручающее впечатление на офицеров — и он ставил им в пример никогда не унывавших матросов и солдат. «Нет-с, у нас тут нет уныния и быть не может. Я бы на месте главнокомандующего расстрелял того, кто приводит в уныние. А что они будут теперь бить наши

корабли — пускай бьют-с, не конфектами, не яблочками перебрасываемся. Вот меня сегодня самого чуть не убило осколком,— спины не могу разогнуть, да это ничего еще, слава богу не слег».

4

Наблюдавшие поведение Горчакова и его начальника штаба Коцебу в деле защиты Волынского и Селенгинского редутов и Камчатского люнета возмущались легкомыслием, с каким высшее командование путало и портило дело. «Мудрое распоряжение главного штаба Крымской армии обеспечило союзникам взятие Волынского, Селенгинского редутов и Камчатского люнета,— читаем мы в черновых заметках Ухтомского.— В ожидании их штурма отозван был командующий войсками Корабельной слободы генерал Хрулев и вместо него назначен был генерал Жабокритский, поляк, не сочувствующий войне с французами. По представлению этого генерала 22 мая гарнизоны означенных редутов были ослаблены до последней крайности. Вследствие такого распоряжения главного штаба эти редуты были отданы на жертву неприятелю, также вся левая часть обороны поставлена была в беззащитное положение. Когда с наблюдательных постов 26 мая замечена была готовность неприятеля штурмовать означенные укрепления, то, вместо того чтобы послать им помощь, Жабокритский подал рапорт больным и уехал на Северную сторону». Этих гибельных промедлений и метаний уже никакие Нахимовы и Хрулевы исправить не могли. «Назначенный снова начальником войск Корабельной слободки генерал Хрулев хотя и принял все меры к защите этих укреплений, но резервы пришли очень поздно, и дело было проиграно. Адмирал Нахимов лично вмешался в это дело и едва не попал в плен» [21].

Что чувствовали и переживали защитники Севастополя, своей кровью платившие не только за обессиливший и парализовавший Россию николаевский режим, не только за грабительство интендантов, но также и за ничтожество высшего командного состава, что они думали про себя или отваживались говорить вслух лишь в интимной компании после потери Селенгинского и Волынского редутов и Камчатского люнета, это мы узнаем из рукописных заметок Милошевича, ничего, в сущности, общего ни по тону, ни по содержанию не имеющих с той приглаженной автором, учтивой к начальству и выхолощенной цензурой тоненькой книжкой, которая была спустя несколько лет напечатана. «Признавая нелепость взводимых на Жабокрицкого (так Милошевич пишет фамилию генерала Жабокритского — *Е. Т.*) обвинений в продаже редутов, я презираю его тем не менее как бездарного и пустоголового генерала и презираю столько же

Коцебу и Сакена, потому что в этом случае очень подозрительны их равнодушие и бездействие. И тот и другой были непримиримыми врагами славы Хрулева... Вся Россия могла выставить в Севастополе только немногих генералов и истинных сынов своих — Корнилова, Истомина, Нахимова, Хрулева, Тотлебена и Васильчикова. Оставляя в покое Горчакова, который был занят думами о том, как бы в будущий вторник помог ему святой угодник, имеем право спросить: что же делал Сакен?» [22]

Ровно ничего не делал,— так что вопрос это чисто риторический. И Остен-Сакен, и Горчаков, и Коцебу решительно ничего не предприняли, чтобы воспрепятствовать убийственной нелепости, содеянной Жабокритским и погубившей Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет. Напротив, они всецело одобрили его диспозицию и вполне разделили его ответственность.

Потеря Селенгинского и Волынского редутов и Камчатского люнета, считая с той битвой, которая с переменным успехом кипела несколько часов уже после штурма этих трех укреплений, стоила русским войскам потери 5000 человек. Французы потеряли 5554 человека, англичане — 693. Русские выпустили 25—26 мая 21 091 артиллерийский снаряд, французы — около 30 000, англичане — 14 352 снаряда [23].

Нахимов и Хрулев снова могли убедиться, как высшее командование защищает Севастополь. Отчетливо понимал это и Тотлебен. Но разве могли они передать потомству все, что они передумали и перечувствовали в такие минуты, как те, которые последовали после потери редутов и люнета? Разве сам Тотлебен, замечательный инженер, создатель защиты Севастополя, великий Тотлебен, как его называют французы, автор классического «Описания обороны», этого замечательного первоисточника по истории Крымской войны, разве этот глубокий военный мыслитель, безусловно непререкаемый мировой авторитет по осадной войне, говорит полным своим голосом, когда повествует о севастопольских бедствиях? Ведь действительная мысль его совершенно ясна: Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет погибли, несмотря на весь героизм защитников, исключительно из-за нелепых распоряжений Горчакова и его штаба, с Павлом Евстафьевичем Коцебу во главе, и Жабокритского, которого Горчаков за некоторое время перед штурмом назначил ни с того, ни с сего начальником войска Корабельной стороны, без тени оснований сместив с этого поста Хрулева (к которому пришлось снова броситься за помощью вечером 26 мая, когда уже ничего спасти было нельзя).

А как выражает эту мысль Тотлебен? «Главная причина потери... заключалась в допущенном диспозицией 22 мая чрезмер-

ном ослаблении гарнизонов их... Принимая во внимание, что даже при таких слабых гарнизонах, какие имели редуты и Камчатский люнет, при позднем прибытии резервов и при неудачном для нас исходе дела, французы потеряли при штурме около 5 тысяч человек, можно полагать, что если бы они встретили на редутах с самого начала отпор со стороны восьми батальонов, то потери их были бы так значительны, что, по всей вероятности, редуты могли бы быть нами удержаны». Но этих восьми батальонов не было! Они еще были на редутах и на люнете до самых последних дней перед штурмом, но вот как раз за четыре дня до штурма Горчаков и Коцебу с Жабокритским совершенно бессмысленно их увели прочь. Тут же и в столь же деликатных выражениях Тотлебен доказывает именно полную бессмыслицу этого увода, полное отсутствие оправданий для этой губительной, непоправимой нелепости.

«Что бы вы стали делать, когда штурм 26 мая был бы отбит, а это могло случиться, если бы в редутах было более гарнизона и вообще на Корабельной более войск? — спросил русский полковник Циммерман французов, беседуя с их генералами и офицерами подолгу о войне, когда она уже закончилась, во время перемирия 1856 г., предшествовавшего заключению мира. И вот ответ, который он получил. Французы заявили Циммерману, что если бы редуты и люнет не были ими взяты, то «в таком случае положение их (союзников — *Е. Т.*) сделалось бы затруднительным, и так как в союзной армии мнение большинства было против штурма редутов, то Пелисье, как один, настаивавший на этом, упал бы в общем мнении и мог быть удален от командования» [24].

Таким образом, если Меншиков и Даненберг спасли союзников при Инкермане, то Горчаков, Коцебу и Жабокритский обеспечили их успех на Камчатском люнете и Селенгинском и Волынском редутах.

Любопытно, что биограф Тотлебена Н. К. Шильдер почему-то посвятил гибели Камчатского люнета и обоих редутов всего беглых полстраницы, где изложил вкратце предупреждение Тотлебена, адресованное Остен-Сакену, о необходимости усилить войска на обоих редутах и на люнете. И затем прибавляет:

«Но по стечению *каких-то роковых обстоятельств* (курсив мой — *Е. Т.*) указания Тотлебена не были исполнены; напротив того, гарнизоны... были ослаблены до последней крайности» [25].

Нисколько не таинственными, «роковыми обстоятельствами» тут были, конечно, и самое пребывание Дмитрия Ерофеевича Остен-Сакена в должности начальника гарнизона, и нахождение на посту главнокомандующего князя М. Д. Горчакова, и на посту начальника его штаба Павла Коцебу, и невозможность

для Тотлебена, Нахимова, Васильчикова, Хрулева, Хрущова справиться с тупостью, небрежностью, непониманием и самоуверенным невежеством их высшего начальства. Разумеется, Шильдер это отлично знает, но робеет, стесняется, скрывает свою мысль за какими-то роковыми обстоятельствами и даже воздерживается от малейшего намека: ведь жив был еще, когда он писал, долговечный Остен-Сакен, получивший графский титул (в замену баронского) за Севастополь, жива была и царская цензура. Так проглатывали нужные слова едва ли не все историки, писавшие вслед за Тотлебеном об осаде Севастополя: русские — потому, что мешала цензура, стесняли соображения личных отношений; английские и французские — потому, что лестно было внушить читателям уверенность, будто только достоинства союзных войск и мнимая «гениальность» их предводителей, а вовсе не промахи русского высшего командования, разруха, дезорганизация, до которой довел Россию весь царский строй, были причиной их успехов. Только умирающий фельдмаршал Паскевич со своего смертного одра послал Горчакову ужасающий и убийственный приговор, знаменитое письмо, где он упрекает Горчакова, между многим прочим, также и в потере редутов и Камчатского люнета: «Вы жили день за день, никогда не имели собственного мнения и соглашались с тем, кто последний давал вам советы... Задняя мысль, руководившая вами при составлении обзора ваших действий, была уверенность, что никто вам возражать не будет и по истечении некоторого времени все, что вы писали, будет признано фактом историческим».

И Паскевич оказался в общем совершенно прав: после войны ни Корнилов, ни Истомин, ни Нахимов не могли уже явиться с опровержениями лжи,— их уста сомкнула смерть,— а об опровержениях со стороны случайно уцелевших Тотлебена, Хрулева и Хрущова позаботилась цензура. Но кто больше всех был виноват в том, что систематически только бездарные и безличные люди попадали на первые места в военной иерархии, а Тотлебенам и Нахимовым доставались вторые, если не третьи,— этого до конца сам Паскевич, один из столпов николаевского режима, любимец Николая, которого царь всегда называл своим «отцом-командиром», может быть, и не продумал. Говорим «может быть» потому, что все-таки в этом его предсмертном проклятии Горчакову есть такие слова: «Признаюсь, я виноват пред отечеством, что был отчасти причиной возвышения вашего на ту ступень, на которой вы находитесь... Будучи обязан в действиях моих отдать отчет потомству, я откровенно сознаюсь в моей ошибке и прошу соотечественников моих простить мне, что я в заблуждении моем еще в 1854 году считал ваше сиятельство способным быть самостоятельным начальником» [26].

5

Итак, редуты и Камчатский люнет, эти контрапроши, так сильно защищавшие Малахов курган, оказались во власти неприятеля. Для Нахимова и Тотлебена вывод отсюда был ясен: нужно еще удвоить усилия по обороне, потому что теперь следует ждать со дня на день общего штурма Севастополя. Этот вывод радикально расходился с тем заключением, которое сделал главнокомандующий Горчаков: уже 27 мая (8 июня) 1855 г., т. е. на другой день после потери редутов и люнета, полетело в Петербург его донесение, в котором он высказывает намерение сдать Севастополь и даже заявляет, что желает тотчас же начать работы по переправе войск на Северную сторону, а Южную (т. е. город Севастополь с укреплениями) оставить неприятелю. С этого времени положение уже не менялось. Горчаков все выискивал способы, как поудобнее, с наименьшим материальным и моральным ущербом для русских войск, сдать Севастополь,— а Нахимов с его матросами и солдатами не желали об этом и слышать, и как в октябре и ноябре 1854 г. Меншиков, так теперь, весной 1855 г., Горчаков просто не осмеливался вслух заговорить о сдаче, а только делился своими предположениями с Петербургом.

13 (25) апреля происходил очень знаменательный разговор между генералами. Говорили о необходимости сделать диверсию. Генерал Крыжановский с грустью сказал, что это невозможно: мало войск. Генерал Затлер категорически возразил генералу Крыжановскому: «Помилуйте! Да у меня на продовольствии 142 000 человек.— Верно,— сказал Крыжановский,— но в строю едва ли наберется 85 000». Даже по более оптимистическим подсчетам, русская армия в этот момент была равна лишь 93 000 человек [27]. Как и Затлер, генерал Духонин полагал, что только диверсия, удар со стороны полевой армии, мог бы заставить союзников снять осаду. А диверсия оказывалась неисполнимой ни в апреле, когда происходил этот разговор, ни в мае.

М. Д. Горчаков уже не скрывал от царя, что он считает положение безнадежным. «Кроме бога помочь этому теперь ничто не может,— писал он Александру II 30 апреля (12 мая) 1855 г.— Весь гарнизон работает почти без отдыха под выстрелами неприятельских бомб. Неутомимостью, геройским духом своим люди продолжают радовать и удивлять меня; это тем более достойно похвалы, что в последнее время они лишились огромного числа самых лучших штаб- и обер-офицеров своих» [28].

13 (25) мая 1855 г. союзники совершили нападение на Керчь и овладели городом. Это событие, раздутое в Лондоне и Париже в большую «победу», согласно донесению Горчакова в Петер-

бург, подтвержденному впоследствии и частными свидетельствами, рисуется в таком виде:

«12 мая, с рассветом, на высоте Керченского пролива показалась неприятельская эскадра в числе от 70 до 80 вымпелов.

Около полудня неприятельская капонерская лодка, приблизясь на расстояние от 2500 до 3000 сажений к Павловской батарее, открыла огонь, на который батарея наша отвечала огнем из 68-фунтовых каронад, давая им угол возвышения до 28°. Одновременно с этою перепалкою, продолжавшеюся не более 1/4 часа, часть неприятельской эскадры приблизилась к мысу Камыш-бурун (к юго-западу от батареи). Неприятельские корабли, выстроившись параллельно берегу, открыли сильный огонь и, обстреляв пространство впереди, разом высадили на берег 6 батальонов пехоты, из коих один был направлен в тыл Павловской батареи.

Командир Павловской батареи, дабы не быть обойденным и отрезанным от пути отступления, согласно полученному от командующего войсками в восточной части Крыма приказанию, заклепал орудия и, взорвав пороховые погреба, с артиллерийской прислугой и 218 человеками карантинной стражи отступил на Феодосийскую дорогу к отряду генерал-лейтенанта Врангеля.

В час пополудни командиры береговых батарей Мак-Бурунской, городовой и карантинной заклепали орудия и, взорвав пороховые погреба, отступили также на присоединение к отряду генерал-лейтенанта Врангеля. Около 2 часов пополудни две неприятельские винтовые канонерские лодки направились в Керченскую бухту, из которой выходил пароход „Аргонавт“, имевший на себе начальника штаба береговой Черноморской линии и казенные суммы. Канонерские лодки открыли по пароходу огонь. Еникальская батарея несколькими выстрелами заставила замолчать лодки и отойти назад; пароход „Аргонавт“, выдвинувшись вперед, сделал по ним залп, от коего у одной из лодок повреждена машина. Шесть неприятельских пароходов выстроились в одну линию с целью запереть выход „Аргонавту“, но, встреченные огнем батареи Еникале, Чушка (на Таманской косе) и парохода „Молодец“, должны были отступить. Вслед за тем пароход „Аргонавт“ и контр-адмирал Вульф с тремя пароходами, на кои взяты люди с транспортных судов, ушли в Азовское море. Транспортные суда с грузом затоплены. Стоявшие на якоре около Адмиралтейства пароходы „Могучий“, „Донец“ и „Бердянск“, которые не могли идти в море, по снятии с оных людей были сожжены и взорваны на воздух, причем командира парохода „Могучий“ ранило в ногу, лейтенант Ушаков пропал без вести и ранены три матроса.

Бой береговых батарей с 6-ю пароходами в Керченском проливе продолжался до 9 часов вечера. Командир батареи Еникале (17-й артиллерийской бригады подпоручик Цеханович), заклепав орудия и взорвав пороховые погреба, отступил с гарнизоном батареи на присоединение к отряду генерал-адъютанта Врангеля. Суда с пшеницей, хлебом, овсом и ячменем, находившиеся в проливе и принадлежавшие частным лицам (от 12 до 15 судов), сожжены. Жители, имевшие возможность выехать, оставили Керчь: многие принуждены были остаться в городе, в том числе некоторые купцы по невозможности спасти свой товар. Исправляющий должность керченского градоначальника, подполковник Антонович и полицмейстер города, истребив имевшиеся в городе казенные и частные запасы пшеницы, муки, провианта, сена и угля, выехали из Керчи поздно вечером 12 числа. На рассвете 13 мая береговая батарея Чушка возобновила бой с неприятельскими пароходами, но при движении обходных колонн была оставлена гарнизоном и взорвана»[29].

Жить в Севастополе становилось все труднее. Бомбардировки, то замирая, то яростно усиливаясь, стали явлением хроническим. «Вы знаете, сколько Севастополь перенес в последние тяжкие три недели, но наверное не можете себе представить истинное его положение и то душевное волнение всех тех, которые хотят помыслить о будущем без страсти, без увлечения и хладнокровно. Мы подходим, кажется, к той критической минуте, когда вся физическая и нравственная сила уступит страшному везде утомлению и отсутствию надежды на помощь; чем и когда все это кончится,— то знает один бог, но невозможно, чтобы конец этот не был близок. Цифра моряков, стоящих еще на ногах, тает каждый день,— а в присутствии этих героев заключается залог существования Севастополя. Эту истину можно сказать по совести, без всякого пристрастия, потому что на это есть сотни доказательств; собственно материальные средства тают еще скорее, чем прибывают: сделайте отсюда логическую посылку и посудите, что нам угрожает. Не думаю, чтобы я смотрел на дело с печальной точки зрения... Я говорю не о моем собственном мнении; вышеизложенное есть свод мнений и впечатлений решительного и значительного большинства разумных и опытных людей,— и я выражаю свое весьма, весьма слабо. Многое заставляет всех предполагать, что в Петербурге не вполне оценивают тягости и опасности настоящего положения. Неужели не допускают, что всякие силы могут истощиться точно так же, как приходят в негодность орудия, из которых действуют далеко через меру, указываемую теорией и опытом? Неужели невозможно дать нам скоро и вовремя действительную помощь в таких размерах, которые позволили бы Крымской армии сделать наступательную попытку? — Вот вопросы, озабочивающие всех

и каждого и составляющие бессменную тему всех разговоров и рассуждений. Об опасностях, кажется, позабыли все, даже мы, невоинственные жители Северной стороны,— теперь давно уже нет уголка, которого бы не трогали ракеты, и даже ядра» [30].

Таково было положение в городе весной 1855 г. После падения двух редутов и Камчатского люнета это положение значительно ухудшилось: французские головные траншеи продвинулись к 6-му бастиону Севастополя почти на целые полкилометра, а от некоторых пунктов русской оборонительной линии неприятель оказался еще ближе.

Глава XIV

ПЕРВЫЙ ОБЩИЙ ШТУРМ СЕВАСТОПОЛЯ и РУССКАЯ ПОБЕДА 6(18) ИЮНЯ 1855 г.

1

Русскую победу 18 июня 1855 г. назвали в тогдашней английской прессе «парадоксальнейшей из побед».

В самом деле, с точки зрения осаждавшего Севастополь неприятеля исход этого сражения был совсем неожиданным. Казалось, дело идет к развязке, девятимесячная осада истощает явственно русские силы. Только что, 7 июня, после отчаянной обороны, несмотря на всю свою храбрость, подавленные огромным численным превосходством атакующего противника, русские должны были отдать Камчатский люнет и оба соседних редута — Селенгинский и Волынский. Значит, Малахов курган и вся Корабельная сторона уже совсем обнажены, и прицельному, и навесному огню открыта вся левая часть русской оборонительной линии и город, за ней лежащий. На правой стороне оборонительной линии англичане стоят перед «Большим Реданом», как они его называют, т. е. перед 3-м бастионом, с самого начала осады и, правда, ничего не могут с ним поделать, хотя уже в первую бомбардировку 5 (17) октября он был больше чем наполовину разрушен и разворочен. Но, несомненно, штурма со стороны всей английской армии он не выдержит. Да и англичане могли похвалиться трофеем в день 7 июня: они взяли каменоломни, расположенные как раз перед 3-м бастионом. Генерал Пелисье ни в малейшей степени не сомневался в победе. Следует заметить, что он вовсе не был хвастуном и самонадеянным вертопрахом, и русскую оборону расценивал очень высоко. И все-таки многим в его штабе, начиная с командира императорской гвардейской дивизии генерала Реньо Сен-Жан д'Анжели и кончая генералом д'Отмаром, начальником левой из трех французских колонн, назначенных для штурма, казалось, как и самому главнокомандующему, что штурм в несколько часов покончит с изнурительной войной.

Правда, зловеще было то, что генерал Боске, герой Альмы и Инкермана, не желал штурма; нехорошо было и то, что повторялись слова генерала Мэйрана, назначенного командовать крайней правой из штурмующих колонн, во всеуслышание сказанные им, когда он после совещания вышел из ставки главнокомандующего: «После этого остается только дать себя убить (après cela, il n'y a plus qu'à se faire tuer)». И не очень хорошо было также, что начальник центральной из этих трех колонн, предназначенных для штурма, генерал Брюне ушел от Пелисье очень расстроенный, отказался говорить о том, что ему сказал главнокомандующий, и несколько раз накануне штурма просил более близких к нему людей из своего штаба позаботиться о его детях, если он завтра будет убит. Так передает в своих воспоминаниях, записанных Жерменом Бапстом, маршал Канробер[1]. Эти настроения *двух* руководителей из трех, которые должны были вести французские колонны на штурм, могли бы несколько смутить Пелисье, если бы он способен был смущаться. Но еще перед битвой за Камчатский люнет и два редута он дошел до того состояния постоянного раздражения, когда малейшее противоречие доводило его до бешенства. Он и перед штурмом 18 июня в исступлении кричал на своих генералов и грозил им сломить их сопротивление и недоброжелательство, которые усматривал в каждом мнении, не согласном с его собственным.

В этой нетерпимости и полной самонадеянности его поддерживало настроение почти всей армии, за немногими исключениями. Парадоксом представлялась мысль, что после всего пережитого осажденным городом, при наличии того факта, что у русских истощаются боеприпасы и особенно чувствуется недостаток в порохе, Севастополь может уцелеть, если, подготовив штурм максимально бурным огнем в течение целых суток, французская и английская армии одновременно бросятся на приступ. Откуда у русских возьмется пыл сопротивления, когда в их памяти еще так живы воспоминания о потере трех укреплений, о кровопролитном бое за Камчатский люнет и два редута? А раздражен Пелисье был до такой степени, что некоторые наблюдавшие его в это время люди, вроде Кингլэка, прямо говорят, что он несколько дней подряд, и именно перед самым штурмом, дошел уже до состояния некоторой невменяемости. Это объяснялось упорной и требовавшей большой затраты нервной силы борьбой, которую главнокомандующий давно уже вел с императором Наполеоном III.

Император и его военное окружение в Париже полагали, что незачем терять дальше силы и время на осаду, не сулящую скорых успехов и истребляющую союзное войско, а необходимо обратиться против русской армии, стоящей в окрест-

постях, разбить ее наголову, занять Симферополь, обложить после этого Севастополь также и с Северной стороны — и уже тогда предпринимать решительные действия против этой крепости. Генерал Пелисье ни за что не желал ни снимать осады с Севастополя, ни даже уменьшать сколько-нибудь энергию операций против осажденного города. Подобно Сент-Арно, он был «африканским генералом», привыкшим годами действовать решительно, ни с какими приказаниями из Парижа не считаясь. Да и как бы мог он в Африке очень считаться с этими приказаниями, которые доходили до него иной раз через месяц после их отправления из столицы, а иной раз и вовсе не доходили? Он и вообще во многом напоминал Сент-Арно, и не только жестокостью и крутой энергией в ведении операций в Африке, но и военными способностями. Отличался же он от Сент-Арно тем, что все-таки более походил на генерала новейших времен, полководца цивилизованной армии, подчиняющегося дисциплине, чем на конквистадора, которого нередко напоминал Сент-Арно.

Для Пелисье Наполеон III был государь, которому должно повиноваться, если уж нельзя хитростью устроить так, чтобы приказ императора не дошел вовремя до главнокомандующего. Но именно поэтому необходимо пустить в ход все, чтобы приказы из Парижа не доходили в срок до вождя действующей армии. Пелисье давно знал, что император уже теряет надежду на скорое овладение Севастополем и требует, чтобы Пелисье разбил русскую армию, стоящую вне города.

Но Пелисье твердо решил и не нарушать дисциплины и ни в коем случае не исполнять воли императора. Его очень уж окрылило взятие Камчатского люнета и двух редутов. Его генералы хорошо запомнили, как он, уже сделав 25 мая (6 июня) все распоряжения к атаке против этих трех укреплений, вдруг, за четыре часа до начала штурма, послал в Париж телеграмму: «Я весь день ждал ответа на мою важную вчерашнюю телеграмму», и только, мол, не дождавшись ее, принужден атаковать русских. Никакой телеграммы, ни «важной», ни обыкновенной, он в Париж и не думал посылать, а все это выдумал на том основании, что если будет успех, то победителя не судят [2].

Успех тогда, 7 июня, был. Но будет ли он теперь, спустя 11 дней, когда речь идет уже о взятии Малахова кургана, и что скажет император, если убедится, что Пелисье снова поступил по произволу? Ведь повторить проделку с мнимой «важной телеграммой» уже было неловко,— в Париже никто бы этой вторичной лжи не поверил.

15 июня состоялось совещание главнокомандующих трех армий, стоявших под Севастополем: Пелисье, лорда Раглана

и Омер-паши. Было окончательно решено повести штурм на 1-й и 2-й бастионы, на Малахов курган, на батарею Жерве и на «Большой Редан» (3-й бастион) главными силами французов и англичан, выделив, однако, для довольно сильной демонстрации в направлении на Ай-Тодор турецкие и сардинские войска, а в помощь им на Черную речку был послан генерал Боске с отрядом около 20 000 человек с лишним.

Войска были так уверены в удаче штурма, что даже приписывали удаление генерала Боске на Черную речку как раз накануне штурма зависти главнокомандующего, не желающего делить лавры с талантливым тактиком, уже зарекомендовавшим себя и при Альме, и при Инкермане, и при взятии Камчатского люнета и двух редутов.

Решение трех главнокомандующих было сформулировано лишь в самых общих чертах. Условлено было начать самую бурную бомбардировку города 5 (17) июня с утра и продолжать ее до вечера, а вечером собрать новый совет, где уже окончательно уточнить план действий и распределить роли между участниками штурма.

Пелисье хорошо знал, что затеваемое дело очень легко может окончиться для него служебной катастрофой.

Пелисье решил, что Севастополь должен быть взят именно 18 июня, день в день сорок лет спустя после битвы при Ватерлоо. Кстати, совершенно неверно инициатива штурма именно в этот день многими приписывается Наполеону III. Этого не только не было, но и не могло быть по той простой причине, что император, как сказано, вовсе не хотел в это время штурмовать Севастополь вообще, а неотступно требовал, чтобы Пелисье прежде всего устремил все силы на стоявшую между Бельбеком и Бахчисараем русскую армию. А как раз сам Пелисье, твердо зная, что Наполеон III не желает штурма, решил нанести этот молниеносный удар и поставить императора перед совершившимся фактом и задобрить его, польстив известному суеверию Наполеона III касательно значения исторических дат и годовщин. Те, кто близко стоял к Пелисье, никогда и не думали совершать эту извращающую всю предысторию штурма ошибку, которую допустили многие позднейшие историки. «Следует думать, что Пелисье, зная, что Наполеон III суеверно относится к годовщинам (avait la superstition des anniversaires), стремился угодить своему государю, у которого он еще не совсем вошел в милость»,— читаем совершенно правильное изложение дела, например, в воспоминаниях Перре, участника войны, отлично знавшего, что Наполеон III ни малейшего понятия не имел о назначении штурма на 18 июня [3].

Отношения между генералом Пелисье и императором были к середине июня до такой степени обострены, что Наполеон III уже открыто грозил главнокомандующему отставкой, а Пелисье тоже отбросил все ухищрения придворной фразеологии и написал в Париж, что распоряжения его величества неисполнимы. Предпринимая штурм при таких обстоятельствах, Пелисье оказался в определенном конфликте с лучшим из своих генералов, именно с Боске, сыгравшим такую огромную роль в битве при Альме и спасшим англичан от окончательного разгрома при Инкермане. Боске, узнав, что главнокомандующий намерен сосредоточить нападение на Малаховом кургане и укреплениях Корабельной стороны (прежде всего на бастионе Корнилова и на батарее Жерве), стал возражать. Он считал, что подземные минные работы у Корабельной стороны еще недостаточно продвинуты и что со штурмом следует подождать. Но Пелисье не мог и не хотел ждать: каждую минуту телеграф мог принесть категорический приказ Наполеона III идти против армии Горчакова,— и уж тут пришлось бы повиноваться. Спор между генералами не мог окончиться добром. Оба нетерпеливые, надменные, раздражительные люди, одаренные не только большими военными способностями, но еще и склонностью очень себя переоценивать, оба крайне самонадеянные, они решительно неспособны были к уступкам. Пелисье, конечно, знал, что если он *прикажет,* то Боске обязан будет беспрекословно повиноваться, как простой солдат. Но он видел, что при таком предприятии, как штурм, очень важно, чтобы начальник главной штурмующей колонны,— а таковым должен был стать именно Боске, начальствовавший войском у Корабельной стороны,— повиновался не за страх, а за совесть и верил в успех предприятия. «Главнокомандующий разъярился (the chief became hotly enraged)»,— пишет наблюдавший все это и собиравший все сведения и слухи Кинглэк [4].

16 июня утром, совершенно неожиданно для всей армии, Пелисье вдруг сместил генерала Боске с должности начальника войск, предназначенных для начала штурма, и дал ему поручение, удалявшее его в наступающие решительные дни от Севастополя.

Зуавы, очень любившие генерала Боске, приписывали это внезапное перемещение личным мотивам со стороны главнокомандующего. «Правда заключается в том, что он (Пелисье — *Е. Т.*) завидует нашему начальнику и что он не терпит всех тех, кого любит генерал Боске. Кажется, что он недоволен, что 2-я дивизия блистала при Альме, при Инкермане и, что бы он там ни говорил, при взятии Зеленого холма (Камчатского люнета — *Е. Т.*). Вот почему, несомненно, он позавчера, надеясь на этот раз взять Малахов курган, послал нас прогу-

ливаться на берега Черной... Нужно было устроить так, чтобы мы не участвовали в деле, ни наш главный шеф (Боске — *Е. Т.*), ни его друг генерал Каму, ни полковник Сиссэ, его начальник штаба, которого он любит. Но плохо от этого пришлось, потому, что другие провалились совершенно, и мы даже слишком отомщены»,— так судил простой зуав (он так и рекомендует себя читателю: un simple zouave) Амэдэ Делорм в интимных письмах к родным [5].

Неладно все обстояло и в отношениях между Пелисье и лордом Рагланом. Пелисье совсем стал игнорировать старика. Правда, Раглан крайне мало смыслил в осадной войне, как, впрочем, и во всех остальных разновидностях войн, имеющихся в военном искусстве. Но все-таки, например, мягкий и культурный Канробер, предшественник Пелисье, старался соблюдать декорум и делал вид, что совещается всерьез с английским главнокомандующим. А Пелисье вел себя в данном отношении еще более непринужденно, чем Сент-Арно, и Раглан уже стал с теплым чувством поминать покойника, очевидно сопоставляя его с Пелисье,— до такой степени мало он был избалован хорошим обращением.

Расхождение между Пелисье и Рагланом обозначилось по очень важному вопросу. Раглан полагал, что штурм должно повести разом во многих местах, и именно там, где минные работы союзников подошли ближе к русским веркам, чем на Корабельной. А Пелисье стоял на своем: не распылять сил, ударить прежде всего на Корабельную и взять Малахов курган. Раглан, конечно, тотчас же уступил. Но дальше случилось нечто такое, что ясно указывало на недопустимую и вредную для дела небрежность Пелисье относительно английской армии и ее главнокомандующего.

Еще утром 17 июня произошло последнее перед штурмом свидание обоих главнокомандующих, и Пелисье категорически заявил, что его программа такова: сегодня, т. е. 17-го, будет происходить общая и очень интенсивная бомбардировка всей оборонительной линии русских (эта бомбардировка уже началась с рассвета 17-го, т. е. за несколько часов до свидания главнокомандующих); завтра, 18-го, на рассвете Пелисье откроет новую бомбардировку в самом грандиозном масштабе и будет продолжать ее в течение двух часов, причем он приглашает лорда Раглана приказать английским батареям, конечно, действовать одновременно с французскими. Так как в Крыму начинает рассветать в июне в четвертом часу, а бомбардировку Пелисье хотел начать даже до первого проблеска солнца, то, значит, *«в пять часов или в половине шестого»* пехота, как французская, так и английская, уже пойдет на штурм [6].

Свидание происходило в ставке лорда Раглана. Итак, все на завтрашний день казалось обусловлено, и Пелисье вернулся во французский лагерь.

Весь день 17-го шла страшная канонада. Союзники считали, что за этот день русские верки будут разрушены или полуразрушены и что ночью с 17-го на 18-е русские не успеют их восстановить, а если что-нибудь и успеют сделать за короткую летнюю ночь, то двухчасовая бомбардировка 18-го утром перед штурмом сведет к нулю всю эту ночную работу.

Официальный летописец французской армии барон Базанкур, книга которого незаменима для историка благодаря массе сырого материала, документов, которых нигде более нельзя найти, бывает весьма недостоверен в тех случаях, когда ему нужно скрыть или хотя бы завуалировать нечто, не клонящееся к восхвалению действий главнокомандующего французских вооруженных сил. Так, он повествует, будто английский саперный генерал сэр Гарри Джонс был «приглашен» присутствовать на последнем перед штурмом военном совете, созванном генералом Пелисье в 7 часов вечера 17 июня, и вечером же, после совета, будто бы новое решение Пелисье (атаковать, одновременно с началом бомбардировки, русских на рассвете) было сообщено лорду Раглану. Осторожности ради Базанкур не говорит, присутствовал ли фактически на этом совещании приглашенный Джонс, но выходит, что гармоническое согласие по этому вопросу сразу же проявилось между французским и английским штабами. Англичане же рассказывают об этом совсем в ином духе, и не только в *освещении* фактов, но даже в простой *передаче* их решительно расходятся с французской версией. Правда в данном случае всецело на стороне Раглана — позднейшие показания это твердо устанавливают. Вот как все это произошло.

Вдруг — дело было уже вечером 17-го — лорд Раглан получил коротенькое и не мотивированное ничем уведомление: генерал Пелисье переменил свое намерение. Штурм начнется не *после* двухчасовой бомбардировки, а на рассвете, т. е. *одновременно* с ее началом. Итак, никакой двухчасовой подготовки стрельбой из тяжелых осадных орудий, назначенной на утро, не будет. Пелисье не только не потрудился уведомить лично Раглана и как-нибудь объяснить внезапную перемену, но он вообще даже ничего ему не написал, а просто на словах, повстречавшись вечером с английским военным инженером (начальником инженерного парка) сэром Гарри Джонсом, сообщил ему о своем решении, но подчеркнул, что это решение *окончательное* и никаким видоизменениям и даже обсуждениям не подлежит. Раглан был не только очень оскорблен, но и просто встревожен этой полнейшей неожиданностью. Он

понять не мог, что побудило генерала Пелисье отказаться от артиллерийской подготовки и бросить пехоту прямо под огонь русских батарей. Дело было в том, что Пелисье только сделал вывод из той ложной предпосылки, в правильности которой не сомневался в тот момент и лорд Раглан. Русские ослабели, сопротивление выдохлось, они потеряли 11 дней тому назад Камчатский люнет и два редута — и точно так же потеряют завтра Малахов курган, а с ним и Севастополь. Батарей, разрушенных сегодня, 17-го, они за ночь не восстановят, и очень может быть, что, видя громадные массы пехоты, идущие на приступ, русские просто выкинут белый флаг ввиду явной бесполезности сопротивления.

А если так, то незачем откладывать штурм на два часа. Оптимизм в союзном лагере вообще в эти 11 дней между взятием Камчатского люнета и штурмом 18 июня 1855 г. не знал пределов. Взятие 3-го бастиона («Большого Редана») — это «вопрос дней!.. Наша долгая работа и претерпеваемые лишения, кажется, скоро окончатся, если только не будет заключен какой-нибудь глупый мир!» Так горячился 12 июня полковник Энтон Стерлинг. Сначала взять Редан, а потом разбить армию Горчакова у Бахчисарая, и это «даст нам (англичанам — *Е. Т.*) Крым! А потом — на Тифлис, на Грузию — и русская мощь будущим летом будет действительно сокрушена (effectually clipped the power of Russia). Словом, нужно только начать с Редана, а это дело уже решенное»[7].

2

Вот сделанные Тотлебеном подсчеты, касающиеся силы артиллерийского огня обеих сторон перед моментом начала бомбардировки 17 июня. Осадные батареи имели в своем распоряжении 587 орудий, из которых французских 421 и английских 166. При этом только 39 предназначались для отражения возможных вылазок и для действий по рейду и по Северной стороне[8], а остальные 548 должны были бомбардировать оборонительную линию, особенно сосредоточивая огонь: французы — на 1-м и 2-м бастионах, на Малаховом кургане, на батарее Жерве, англичане — на 3-м бастионе и на Пересыпи.

Из общего числа орудий своей армии (1129) русские располагали только 549 орудиями для непосредственной обороны той своей линии, на которую должна была направиться атака. Все эти 549 орудий имели ко дню 17 июня в своем распоряжении 117 000 зарядов. Но запас крупных ядер, а также пятипудовых и даже 63-фунтовых бомб был невелик, пороховой запас скуден. Недостающее по мере сил восполняли, например, бомбами с судов, даже раскапывали старый вал на Северной

стороне и добывали оттуда ядра, потому что прежде тут производилась практическая стрельба![9]

Правда, французы не очень рассчитывали на англичан. «Простой» зуав говорил позже, когда императорская цензура уже не так препятствовала высказывать правду: «Принимая во внимание деморализацию англичан, плохую организацию турок, мы могли противопоставить русским только 80 000 человек серьезных солдат (soldats sérieux)»[10]. Это он говорит о январе 1855 г. В июне положение не очень изменилось, по крайней мере в том, что касалось морали англичан и организации турок. Но цифры были иные.

Боевые живые силы русской армии под Севастополем, которые, по оптимистическим петербургским слухам, доходили то до 125, то даже до 150 000,— по точным данным Тотлебена, стоявшего в центре дела обороны Севастополя, были равны перед событиями 16—18 июня 1855 г. даже не 80—82 000, как писали впоследствии, а всего *семидесяти пяти тысячам человек*, а союзники располагали *ста семьюдесятью тремя тысячами человек* (106 000 французов, 45 000 англичан, 15 000 сардинцев, около 7000 турок). Запас снарядов на каждое русское орудие был приблизительно в три-четыре раза меньше, чем у союзников, и это еще при самом благоприятном для русских подсчете. Были русские орудия с совсем ничтожным запасом в несколько десятков снарядов, а в резерве даже с одним десятком и меньше.

Всю надежду русские возлагали на то, что французам придется пройти до Малахова кургана около 200 саженей по открытому месту, а против 2-го бастиона около 300 саженей, и штурмующая колонна должна будет идти под жестоким огнем, расстреливаемая в упор: с фронта — батареями бастионов, с правого своего фланга — батареями пароходов «Владимир», «Херсонес», «Громоносец», «Крым», «Одесса» и «Бессарабия». Точно так же англичанам, чтобы дойти до 3-го бастиона, который, по диспозиции, они должны были взять штурмом, приходилось пройти без всякого прикрытия около 140 саженей.

И все-таки положение защитников Севастополя казалось критическим. Навесный огонь более чем 150 крупных мортир, входивших в состав осадной артиллерии, должен был производить страшные разрушения и на укреплениях, и в непосредственном тылу за бастионами, и в городе. В первую очередь — это было ясно для защитников по некоторым признакам — штурм должен был направиться на 2-й бастион. Тотлебен, как сказано, считал, что французская штурмующая колонна должна была пройти до 2-го бастиона 300 саженей. Но по другим данным, французы вывели летучей сапой пятую параллель, которая от 2-го бастиона отстояла всего на 250

саженей; значит, полоса поражения огнем при движении штурмующей колонны была меньше, чем выходит по сведениям Тотлебена [11]. Точно так же не по всей линии английской атаки штурмующим колоннам приходилось пройти до верков 3-го бастиона 140 саженей, о которых говорит Тотлебен. Вейгельт, а за ним Модест Богданович утверждают, что после перестройки каменоломен перед 3-м бастионом английские траншеи в данном месте (у каменоломен) оказались всего в 115 приблизительно саженях от бастиона. Тут же напомню, что, например, от 4, 5 и 6-го бастионов неприятельские траншеи находились в несравненно более близком расстоянии,— и русское командование после штурма даже несколько недоумевало, почему, например, атака не сосредоточилась на 4-м бастионе (28 саженей от неприятеля) или на 5-м (42 сажени). Тотлебен, в своих (расходящихся с позднейшими данными, собранными Вейгельтом и другими) осторожных исчислениях, правда, считает, что французы были от 4-го бастиона не в 28, а в 35 саженях, и от 5-го не в 42, а в 50 саженях,— но ведь и эти расстояния были ничтожны сравнительно с теми, которые отделяли неприятеля от Малахова кургана, от батареи Жерве, от «Большого Редана» (3-го бастиона). Тотлебен находит, что Пелисье неправильно поставил цель 18 июня: «Не подлежит сомнению, что если бы французы избрали для штурма 4-й бастион, редут № 1 (Шварца) и 5-й бастион и направили бы против них, предварительно, такой же сильный огонь, каким они действовали против Малахова кургана, то они совершенно расстроили бы артиллерийскую оборону этих укреплений... С падением же 4-го и 5-го бастионов, дальнейшая оборона Севастополя... сделалась бы решительно невозможною» [12].

3

О том, что предстоит какое-то серьезное дело, русские стали догадываться уже 4 (16) июня, когда вдруг обнаружилось движение большого отряда пехоты, кавалерии и артиллерии через Черную речку по направлению к Шули. По русским подсчетам на глаз, у неприятеля было до 15 000 человек. На самом деле было больше — 20 000. Это и был отряд генерала Боске. Русский авангард отошел в ущелье перед селом Юкара, а неприятель стал лагерем между Шули и Чоргуном [13].

Было довольно ясно, что это демонстрация, предназначенная лишь сдерживать посылку подмоги городу, и что главное действие будет около севастопольских верков. Очень скоро

дело стало еще более очевидным. В 4 часа утра 5 (17) июня раздался сигнальный выстрел с английской батареи и одновременно загремели все французские батареи правого крыла и часть английских батарей. «С нашей стороны отвечали сильным огнем с бастионов и батарей Корабельной стороны и левой части 2-го отделения. Пароходы наши, стоявшие на рейде, принимали также участие в артиллерийском бою, обращая огонь свой на редуты за Килен-балкою. Батареи наши на Северной стороне действовали по береговым неприятельским батареям, обстреливали Волынский и Селенгинский редуты»[14], взятые неприятелем 7 июня.

Страшная канонада продолжалась два часа сряду, нисколько не ослабевая ни на минуту.

«Все неприятельские батареи стреляли почти непрерывно залпами, наши батареи отвечали усиленным огнем». Затем вдруг неприятель замолчал. А в 2 часа дня усиленная бомбардировка не только возобновилась на тех же пунктах, что и утром, но под жестокий обстрел попал и весь русский правый фланг, и «канонада сделалась общей по всей оборонительной линии и продолжалась до позднего вечера».

Обыкновенно в случаях такой дневной канонады в вечерние часы огонь ослабевал. Но на этот раз было иначе: «С наступлением темноты неприятель бросал бомбы и ракеты в город, на рейд и Северную сторону. Всю ночь усиленный огонь не прекращался. Неприятельский пароход-фрегат, отделясь от линии своих кораблей, стрелял залпами по рейду и городу; бо́льшая часть его снарядов ложилась в бухту, не нанося вреда судам нашим, стоящим на рейде. Несмотря на страшный и прицельный огонь по нашим веркам, работы по исправлению повреждений в укреплениях производились деятельно, и подбитая артиллерия заменена новою».

Вторая половина дня, примерно с половины третьего, была не лучше первой: «...все слилось в один общий гул — по всей линии Севастополя шла самая сильнейшая канонада как из орудий, так и из мортир; наступил вечер, мы думали, что утихнет,— не тут-то было: надбавили ракет, да начали подходить пароходы и задавать залпы то гранатами, то ракетами,— чего и чего мы не насмотрелись; так продолжалось целую ночь, и все были на ногах; день был удушливый, а ночь жаркая по огню и от пожаров, которые начали местами оказываться, тушить их было некому, да и невозможно, ибо союзники, лишь только заметят это, так тотчас сосредоточивают туда свои выстрелы, предполагая, что там большое скопление людей»[15].

Вечером 17 июня ликование царило и во французском и в английском лагерях. В завтрашнем успехе, по-видимому, почти

никто не сомневался. Подхватывали всякий радостный слух и верили ему. Генерал Боске пошел на Черную речку? Это затем, чтобы взять стоящих там сардинцев и идти с ними обложить город с Северной стороны, чтобы не дать завтра русской армии спастись от плена. В Севастополь, говорят, провезли много возов с соломой? Дело ясное: «русские, вероятно, собираются перед эвакуацией сжечь Севастополь, подобно тому как они сожгли Москву в 1812 году. Таково уж у них обыкновение (according to their habit)» [16].

Одним из обстоятельств, вдохнувших в союзное командование уверенность в несомненном успехе готовящегося штурма, был тот дошедший до осаждающих (и вполне бесспорный) факт, что очень уж много моряков в Севастополе перебито и что теперь, в июне, город защищают уже не столько матросы, поставленные сюда в сентябре Нахимовым, Корниловым и Истоминым, сколько армейские солдаты, у которых к тому же мало боеприпасов. Об этом прямо говорит участник осады генерал Вуд [17].

Вспоминая задним числом, с какой полной уверенностью в успехе союзники готовились к штурму 18 июня, и сопоставляя это с ужасающим поражением, которым это предприятие окончилось, многие в английской и французской армиях объясняли все событие какой-то русской хитростью, внушившей союзникам ложное представление о предстоящем легком успехе.

«В самом деле, нет более хитрой нации, чем московиты; они могут и желают напускать на себя любой вид, лишь бы осуществить свои намерения. В дипломатии они превосходят все другие народы и точно так же в ведении войны, поскольку дело касается хитрости»,— так жаловался по поводу плачевных результатов штурма преподобный Уикенден, священник, авантюрист и мемуарист, участник Крымской кампании. «Благочестивый» Уикенден, между прочим, очень хвалится в своих записках тем, как он донес в Варне (после пожара) на нескольких греков, подозревая их почему-то в поджоге. Улик не было, но всех греков, на которых он донес, повесили немедленно, на всякий случай: время было горячее. Таково отраднейшее воспоминание преподобного. Русские военные хитрости он осуждает с высоты суровой морали, приличествующей такому «истинному» христианину и смиренному служителю алтаря [18]. Но не только Уикенден, а и многие настоящие военные люди в союзной армии утверждали впоследствии, что сравнительно нечастый и несильный русский ответный огонь во время бомбардировки 17 июня сбил с толку генерала Пелисье и заставил его начать на рассвете штурм без особой двухчасовой артиллерийской подготовки, предусмотренной им

самим и назначенной было на утро 18 июня. «Орудия на Малаховом кургане к пяти часам вечера (17 июня — *Е. Т.*) были почти приведены к молчанию, так как наш огонь очень сильно преобладал над неприятельским»,— говорит военный врач полка шотландских фузилеров Фредерик Робинсон, переживший эти дни [19].

Русские работали всю ночь, не теряя буквально ни одной минуты.

Ночью канонада не прекратилась; то минутами она ослабевала, то рев орудий и грохот взрывающихся бомб и ракет усиливался. С начала 12-го часа ночи к рейду стали приближаться неприятельские паровые фрегаты, и к бомбардировке с суши прибавилась канонада с моря. Русские сосчитали десять пароходов, батареи которых четыре часа подряд осыпали бомбами и ядрами город и побережье Южной бухты. Они смолкли вдруг, к 3 часам утра,— явно уже по *новой* диспозиции Пелисье, согласно которой на рассвете должен был начаться самый штурм, а не рассчитанная на два часа предварительная канонада, о чем шла речь по утренней *(первой)* диспозиции, условленной с лордом Рагланом. В разгар этой ночной бомбардировки русские саперы и рабочие несколько часов подряд работали над исправлением повреждений, причиненных днем неприятельскими снарядами. В 2 часа ночи Тотлебен отвел рабочих в резерв, но продолжал работу на Малаховом кургане. Догадавшись, что именно тут будут сосредоточены главные усилия атакующих войск, Тотлебен решил снабдить курган четырьмя новыми барбетами, на которых можно было бы поставить орудия для усиления картечного огня по пространству, по которому должны были двинуться французы на приступ. Нужно было работать в полутьме. «Храбрые саперы и команда от Севского полка, под градом неприятельских бомб, работали с таким рвением, что к рассвету все четыре барбета были готовы, и на них были поставлены полевые орудия»,— говорит Тотлебен [20].

По показаниям очевидцев, бомбардировка 5 (17) июня, вечером и ночью, казалось, была страшнее, чем все ей предшествовавшие. «По данному сигналу одновременно со всех батарей полетели на город: ядра 36-фунтовые и 3-пудовые, бомбы 5-пудовые, гранаты, брошенные павильоном из бочонка, и ракеты; огонь был так част, что промежутков, казалось, не было никаких, и все это с визгом и шумом лопалось в воздухе и сыпалось на город, как град!.. Ужаснее картины разрушения нельзя было представить. Этот неожиданно разразившийся ад всполошил мирных жителей, которые до сего дня, вопреки приказанию и здравому рассудку — оставались в городе. При ужасном вопле женщин и детей, все,— кто в чем был, посреди ночи —

выскочили из домов и бросились к бухте... Смерть... в полном смысле пировала в эту минуту... Так продолжался этот беспримерный в истории войн ад или огонь с обеих сторон до поздней ночи, не умолкая и не ослабевая ни на минуту. Город буквально был засыпан бомбами и ракетами, но как все дома каменные, и полуразрушены, то и гореть было нечему... Одна бомба упала в мастерскую, где приготовлялись патроны и лежало до тысячи гранат. Мгновенно патроны взлетели на воздух, а гранаты рвало исподволь... и к ужасу внешнему присоединился ужас внутренний,— тушить было некому... Наступила грозная ночь на 6-е число; огонь неприятельский заметно становился чаще и сильнее; бомбы и ракеты, описывая огненные радиусы, бороздили небо; все батареи, наши и неприятельские, извергали пламя и смерть кругом себя» [21].

«Да, ночь эту я никогда не забуду. Работа была у нас ужасная; по крайней мере 2000 человек толпились на маленьком пространстве, чтоб достать несколько земли для заделывания повреждений от денной бомбардировки; а в это время буквально не проходило минуты, чтоб не раздавался выстрел... Самая жаркая и спешная работа была на моей батарее... которую разбили днем ужасно. Я не помню, чтоб все предыдущие бомбардировки были хоть мало-мальски похожи на эту; в этот раз был решительный ад. Это видно было, что они готовились к чему-то необыкновенному... Поверите ли, друзья мои, что штурм в сравнении с бомбардировкой веселое дело... все-таки лучше, чем хладнокровно смотреть, как одной бомбой вырывает несколько десятков человек. Никогда не забуду я этот случай, когда в эту бомбардировку у меня на батарее разворотило одну амбразуру; я, подойдя к ней, заставил прислугу, состоявшую из девяти человек, поскорее поправить, чтоб через самое короткое время орудие это могло действовать; они принялись за работу, и я некоторое время следил... потом пошел к другому орудию, чтоб посмотреть, хорошо ли там стреляют; не успел я отойти несколько шагов, как вдруг слышу крик; обращаюсь назад, и что же вы думаете? Всю прислугу положило... бомбой насмерть... Одним словом, в тот день я насмотрелся таких сцен, что не мудрено, если в 30 лет состаришься...» [22] Таковы типичные воспоминания о дне и ночи 5 (17) июня 1855 г. на Малаховом кургане. Постоянно попадаются и такие черточки: «У нас на кургане (Малаховом — *Е. Т.*) живет одна из сестер милосердия, зовут ее Прасковьей Ивановной, а фамилии не знаю... Бой-баба такая, каких мало!.. Солдаты с радостью дают перевязывать ей свои раны... А как странно видеть под ядрами женщину, которая их нисколько не боится...» [23]

Ночь близилась к концу. Начиналось 18 июня.

4

Тут случилось первое из роковых для союзников несчастий, которые их преследовали в этот день. Командир французской гвардии, начальник штурмующей колонны, ждавший сигнала, вдруг услышал крики «ура» и внезапно возникшую оживленнейшую перестрелку и, к ужасу своему, узнал, что генерал Мэйран уже повел свою бригаду на штурм 1 и 2-го бастионов и батарей, господствовавших над Килен-балочной бухтой. Таково было его задание согласно диспозиции Пелисье. Но почему Мэйран выступил, когда еще не было трех часов утра, и, главное, почему он решился на этот поступок, не дождавшись сигнала? На этот вопрос дается несколько ответов, но точного разъяснения уже никогда не будет, так как генерал Мэйран был убит одним из первых, спустя несколько минут после начала движения своей бригады. Пелисье утверждал (и эта версия стала официальной), что Мэйран по ошибке принял «обычную» бомбу за сигнальный выстрел. Но это объяснение несостоятельно, и едва ли сам Пелисье ему придавал значение, потому что сигналом должны были послужить три ракеты, точнее — три ослепительных световых столба, одновременно поднявшихся с Ланкастерской батареи,— никак Мэйран не мог принять обычную бомбу за подобный сигнал. Второе объяснение, к которому примкнул генерал Модест Богданович, через несколько месяцев после события писавший о нем, заключается в том, что Мэйрану доложили о столкновении его разведчиков с русским патрулем,— и он решил, что после этого нельзя терять ни минуты, иначе пропадает вся выгода от внезапности нападения [24]. Третье объяснение (точнее, догадка) формулировалось так: Мэйран, зная, что ему, действовавшему на правом фланге штурмующей массы, придется вести свою бригаду по той части Корабельной стороны, которая непременно будет обстреливаться русскими судами из Килен-бухты, внезапно решил, что для его бригады меньше риску, если она успеет промчаться по опасному месту еще до сигнала, пока русские командиры (и в том числе капитан Бутаков, командовавший в эту ночь на «Владимире») еще ничего о начале штурма не знают. Наконец, согласно показанию адъютантов Мэйрана, на свои замечания, что еще нет никакого сигнала, они получили в ответ от генерала: «Когда идут на приступ, то более почетно выступить раньше, чем опоздать» [25]. Колонна Мэйрана была встречена в упор русской картечью с фронта и бомбами с правого фланга, пущенными Бутаковым с «Владимира», а за ним и остальными русскими судами. Она подверглась страшному разгрому и не могла продержаться даже полной четверти часа. Французы отхлынули, оставив сотни убитых и раненых, прямо

к Килен-балке, откуда их повел Мэйран. «Смерть под русскими пулями избавила его от военно-полевого суда»,— говорили впоследствии в союзническом лагере.

Бригада Мэйрана в самом деле начала штурм не на рассвете, а в ночной темноте, почти за час до рассвета, и только покровом тьмы объясняется, что французы подошли уже к самому рву 1 и 2-го бастионов. Но здесь они были отброшены со страшными потерями. Атакующие сражались храбро, и дело дошло в некоторых местах до штыкового боя. Суздальский и Якутский полки штыками отбросили часть бригады Мэйрана у бруствера оборонительной стены, соединявшей 2-й бастион с Малаховым курганом. Когда затем, уже по правильному условному сигналу, данному Пелисье, дивизия Брюне бросилась на Малахов курган, а часть дивизии Отмара на батарею Жерве (находившуюся между Малаховым курганом слева и 3-м бастионом справа), было все-таки еще довольно темно; рассвело уже, когда штурмующие ворвались на батарею Жерве и перебили там тотчас же всю артиллерийскую прислугу, отбросив остальных из помещения батареи.

По русским показаниям, было без десяти минут 3 часа ночи, когда французы без сигнала бросились на штурм левой стороны оборонительной линии. «Малахов курган стоит, будто опоясанный двумя пламенными лентами; огненная река льется по всему протяжению оборонительной стены; наш ружейный огонь усиливается ежеминутно, не прерываясь ни на мгновение. Значит, наши резервы подходят вовремя... Почти темно еще... не различить предметов»,— пишет очевидец [26]. Один за другим взвились спустя некоторое время три столба ослепительно белого цвета: это были сигнальные ракеты. Неприятельская армия разом бросилась в атаку: «Огромные массы неприятеля рассыпным строем движутся к нашим батареям. Вот они уже у волчьих ям, что перед вторым нумером, вот лезут во рвы первого, Малахова кургана, 3-го бастиона. Страшен наш батальный огонь: ужасно действие картечи; губительно поражает столпившегося обезумевшего врага град пуль, посланных из пушки, для которой пули заменили картечь».

Автор воспоминаний тут ошибся. Как увидим, атака англичан на 3-м бастионе произошла несколько позже.

Французы решили пробиться через оборонительную стену, соединявшую 2-й бастион с Малаховым курганом. Но тут они натолкнулись на спешно вызванные к самому опасному месту три батальона Суздальского, Селенгинского и Якутского полков. Особенно блистательно действовали батальоны этих двух последних полков. Дело в том, что это были так называемые «застрельщичьи батальоны». Каждый такой батальон состоял из 90 приблизительно человек, вооруженных прекрасными

бельгийскими («люттиховскими») штуцерами, и из такого же количества отборных, лучших в полку стрелков с «простыми» (т. е. гладкоствольными) ружьями. Кроме того, в таком батальоне находились еще две сотни: одна с нарезными ружьями, а другая с простыми. Эти запасные сотни брали штуцера и нарезные ружья у убитых товарищей. Таким образом, французы, бравшие 2-й бастион и оборонительную стену, наткнулись на отборных стрелков. Завязалась отчаянная свалка. Французы сражались яростно, но явный перевес оказался очень скоро на стороне русских батальонов. «Вопли попавших в волчьи ямы, стоны умирающих, проклятия раненых, крик и ругательства сражающихся, оглушительный треск оружия — все смешалось в один ужасный, невыразимый рев». И все-таки «слышался и исполнялся командный крик начальника, сигнальная труба, дробь барабана». Ни за что не хотели французы отступать: «Французы во рву; несколько их удальцов офицеров и солдат — на оборонительной стене! Кипит одно мгновение сумятица рукопашного боя... Французы, опрокинутые штыками, отхлынули вновь и залегли в яминах, что покрывают пространства около волчьих ям, и из этого местного прикрытия осыпали штуцерными пулями вскочивших на гребень бруствера отважных бойцов севастопольских. „Камнями их, ребята!“ — крикнул Якутского полка майор Степанов, командовавший застрельщичьими батальонами Селенгинского и Якутского полков, и град больших камней, из которых сложена оборонительная стена, понесся в ямины... Не усидели французы, бегут опять, вновь валятся их сотни под тучей пуль, летящих из пушек и ружей... Англичане были не так упорны, и во время этой повторенной атаки французов уже отхлынули совершенно от третьего бастиона и Пересыпи... ища спасения: одни в бегстве к Камчатскому редуту и в свои ближайшие траншеи, другие по садам и домикам, покрывающим пространство пред Пересыпью» [27].

Артиллерийский офицер Ершов вскочил на бруствер 2-го бастиона сейчас же после сигнала и начала штурма. Вот что он увидел. «На всем протяжении неприятельских траншей перед Малаховым курганов быстро двигалась густая, черневшая лавина штурмующего неприятеля. Офицеры, с саблями наголо, бежали впереди. Впечатление было поразительное! Казалось, сама земля породила все эти бурные полчища, в одно мгновение густо усеявшие совершенно пустынное до того времени пространство». Русские с бастионов били в упор картечью, бомбами, ядрами, ружейным огнем: «Громада неприятелей дрогнула, взволновалась на одном месте, будто закипела на несколько мгновений, и вдруг отхлынула назад, причем огонь наш, в особенности ружейный, увеличился до невероятной

степени». Все это при оглушительном вое и грохоте орудий, как в чаду, мелькало перед защитниками. «Помню только гул и треск повсюду, волны неприятеля, несколько раз подбегавшие почти ко рву укрепления, дым и пыль направо и налево...» [28]

Бригада Мэйрана, полуразгромленная, бросилась и второй раз в атаку, и все на те же 1 и 2-й бастионы, и снова была отброшена и отхлынула к Килен-балке, поражаемая картечью. Только после этого Пелисье велел дать сигнал ракетами, и неприятельская масса устремилась на укрепленную куртину, соединяющую 2-й бастион с Малаховым курганом, на Малахов курган, а яростнее всего на батарею Жерве [29]. Но из-за рокового для атакующих поступка Мэйрана (все равно, было ли это ошибкой или сознательным ослушанием) все дальнейшие отчаянные нападения были отчасти подорваны и ослаблены. Кроме того, слух о кровавом поражении и смерти Мэйрана мгновенно распространился в рядах союзной армии и произвел тягостное моральное впечатление. Французы все-таки сражались в этот несчастный для союзной армии день с выдающейся храбростью.

5

Французское командование направило громадные силы, около 13 500 человек, в том числе лучшие батальоны зуавов, против Малахова кургана. Прежде всего необходимо было овладеть бастионом Корнилова,— это решало дело непосредственно, потому что с этим бастионом весь Малахов курган оказывался в руках неприятеля. Вторым пунктом была батарея Жерве. Взяв ее, французы могли рассчитывать обойти разом и Малахов курган и 3-й бастион с тыла. Генерал Юферов, командовавший в этот день на Корниловском бастионе, встретил французские колонны страшным картечным огнем, так что одно за другим два нападения были отражены с огромным уроном для неприятеля. Тогда с удвоенной силой неприятель повел штурм против батареи Жерве. Полтавский полк, очень сильно уже поредевший, защищал батарею и подступ к ней с фронта и прямо в лоб бил ружейным огнем. В то же время справа в штурмующих палили батареи Малахова кургана, а слева — бастион № 3 и выдвинутая несколько вперед от этого бастиона сильная батарея полковника Будищева. И все-таки зуавы, по бесчисленным трупам, давя своих падавших раненых, ворвались в батарею Жерве и отчасти перекололи, отчасти отбросили ее защитников. Вслед за зуавами в прорыв на батарею Жерве и за батарею бросились французские линейные войска. Полковник Гарнье, заняв батарею Жерве, ворвался

далее со своим отрядом на Корабельную сторону, предместье Севастополя, отделяющее западную отлогость Малахова кургана от Южной бухты. Часть изб и домиков этой стороны была уже давно в полуразрушенном состоянии, а часть уцелела. Прорвавшиеся французы засели в этих домиках и поражали убийственным огнем русских, отброшенных от потерянной батареи Жерве. Гарнье сейчас же послал одного за другим трех гонцов к генералу Отмару с требованием немедленной присылки подкреплений; в противном случае, писал он в записке, «я буду раздавлен скоро». Все три унтер-офицера, которых он послал в качестве гонцов, были перебиты. Гарнье послал четвертого,— тот добрался до генерала, но слишком поздно: батарея Жерве была взята русскими обратно. Вот как произошло это событие, собственно и предрешившее полный проигрыш всего предприятия генерала Пелисье.

Положение русских после взятия батареи Жерве казалось отчаянным. Будищев, так искусно все эти часы управлявший артиллерийским огнем своей батареи и всего 3-го бастиона, был убит штуцерной пулей. Ниоткуда подмоги не было видно. Новые и новые потоки атакующих французов, избиваемые, правда, по пути нещадно, все-таки устремлялись по той же дороге, по которой прошел Гарнье. Если бы не удалось выбить французов из домов и изб, где они засели (уже в тылу взятой ими батареи Жерве), и если бы генералу Отмару удалось провести сильные подкрепления молившему об этом Гарнье, то, почти несомненно, Севастополь был бы взят союзниками в этот день. В этот наиболее критический момент кровавого дня внезапно пришло спасение. Примчался Хрулев.

Степан Александрович Хрулев, сделавший все, что мог, для обороны Камчатского люнета с первого же момента его создания, прославился блестящей вылазкой в ночь с 10 (22) на 11 (23) марта, когда в ночном бою русский отряд под его предводительством ворвался в противоположную французскую траншею, перебив часть ее защитников, и развалил земляные укрепления. Мы упомянули уже в своем месте о том, как до последней минуты он оборонял затем Камчатский люнет и соседние два редута вплоть до того момента, когда пришлось оставить эти укрепления. Его не очень любил М. Д. Горчаков, помнивший, что Хрулев был очень близок с Карлом Шильдером и что вместе с Шильдером Хрулев всегда негодовал на умышленно вялое ведение операций против Силистрии. Севастопольские подвиги Хрулева заставили Горчакова забыть и это давнишнее свое нерасположение и февральскую неудачу Хрулева под Евпаторией. Теперь, в день общего штурма 6 (18) июня, Хрулев должен был показать себя на своем ответственном посту: ведь генерал Горчаков назначил его еще

5 (17) мая начальником двух отделений оборонительной линии — 1-го и 2-го. В распоряжении Хрулева была та моральная сила, которой не было и в помине ни у Горчакова, ни у барона Остен-Сакена, ни у всего их штаба: любовь к нему солдат всех тех полков, с которыми он побывал в деле. Конечно, это не было то чувство личной привязанности, тесно связанное с благоговейным и беспредельным доверием, которое, например, было у матросов к Нахимову, победоносному флотоводцу; не было у Хрулева и такой громкой славы, как у синопского героя. Но имя Хрулева говорило солдатам больше, чем имена даже таких храбрецов, как Виктор Васильчиков или Александр Петрович Хрущов. Манера держаться и говорить с солдатами, свойственная Хрулеву, очень сильно ему помогала. В штурм 6 (18) июня эта великая моральная сила Хрулева была им пущена в ход в самый грозный момент боя и спасла Малахов курган.

Хрулев уже с ночи объезжал всю оборонительную линию, проявляя свойственные ему энергию и распорядительность.

Подъезжая к батарее Жерве, Хрулев не только увидел, что она в руках французов, но убедился, что французы уже прорвались в тылу взятой ими батареи на Корабельную сторону и захватили жилые постройки на правом склоне Малахова кургана и что, значит, Малахову кургану, отстреливающемуся с фронта, грозит обхват с тыла. Грозная опасность момента толкнула Хрулева на отчаянный риск. Он был один, войск поблизости не было. Вдруг он увидел роту солдат, как ему показалось, человек в полтораста (на самом деле их было 138). Это были солдаты Севского полка, как раз окончившие перевозку орудий на 3-е отделение мушкетной оборонительной линии. Дальше последовало много раз описанное, в самом деле изумительное событие, которое, как и всегда, правдивее и точнее всего рассказано бывшим тут же по соседству, на Малаховом кургане, Тотлебеном: «Схватив возвращающуюся с работы 5-ю мушкетерскую роту Севского полка... под командою штабс-капитана Островского, он (Хрулев — *Е. Т.*) построил ее за ретраншементами и со словами: *„Благодетели мои! В штыки! За мною! Дивизия идет на помощь!“* двинул ее ва неприятеля. Воодушевленные любимым начальником, солдаты бросились без выстрела в штыки. Вслед за этою ротою, по приказанию генерала Хрулева, устремились на неприятеля и остатки Полтавского батальона, предводимые капитаном Горном. Французы встретили наши войска сильным ружейным огнем из дверей и окон домиков. Здесь загорелся жестокий рукопашный бой. Французы защищались с отчаянною храбростью; каждый домик приходилось брать приступом. Наши солдаты влезали на крыши, разбирали их, поражали камнями засевших в домиках французов, врывались в окна и двери и наконец выбили фран-

цузов, захватив у них в плен 1 штаб-офицера, 8 обер-офицеров и около 100 нижних чинов» [30]. Остальные были перебиты, бежать из домиков не удалось почти никому. Вслед за тем наступила и очередь батареи Жерве, где засели с отчаянной храбростью оборонявшиеся французы. На помощь ничтожной кучке пошедших за Хрулевым солдат подоспели шесть рот Якутского полка. Батарея Жерве была взята приступом. Русские, ворвавшись на батарею, вступили в яростный рукопашный бой, перебили бо́льшую часть французов, немногие уцелевшие бросились спасаться бегством. Батарея была прочно обеспечена за взявшими ее ротами. «К сожалению, победа наша на этом пункте была сопряжена с чувствительными потерями. Более других пострадала покрывшая себя славой 5-я рота Севского полка, в которой из 138 человек осталось только лишь 33» [31].

Следует сказать, что Тотлебен, соединивший Малахов курган (именно бастион Корнилова) оборонительной стенкой, а также траншеей со 2 и 3-м бастионами, скрыл после этого задние валы за этими бастионами и этим превратил их из редутов в люнеты, открытые с горжи. С. А. Хрулев, став начальником оборонительной линии, упрашивал Тотлебена сделать то же самое и с Малаховым курганом, настаивая, что если какимнибудь образом французы ворвутся на курган с фронта, то их уже оттуда не выбьешь с тыла, потому что редут отделен и защищен тоже и с тыла рвами и укреплениями. Но Тотлебен был непреклонен. И после штурма 6 (18) июня он особенно утвердился в своем мнении, указывая, что именно благодаря укреплениям с тыла французам, уже прорвавшимся через батарею Жерве в тыл Малахова, не удалось его взять, и Хрулев поэтому мог подоспеть и разгромить их. Но впоследствии, после окончательного штурма 27 августа (8 сентября), Хрулев и сторонники его мнения настаивали, что если бы Малахов курган был не редутом, а люнетом, то русские могли бы успеть прорваться через открытую горжу с тыла и штыками выбить оттуда войска Мак-Магона. Это дало право одному из защитников Севастополя сказать, что последствия «6 июня говорили в пользу Тотлебена, 27-го августа оправдывали Хрулева» [32].

Отдельные части дивизии Отмара, не желавшего примириться с потерей батареи Жерве, делали еще повторные попытки штурмовать эту позицию. Сюда подоспел Нахимов, который весь этот день появлялся, по обыкновению, в самых опасных местах. Он руководил в этот день некоторое время успешной защитой Малахова кургана. Все пространство перед бруствером батареи Жерве и Малахова кургана было так густо усеяно телами павших французов, как не было ни на каком другом участке оборонительной линии.

Генерал Ниоль, начальник бригады, к которой принадлежал

Гарнье, увидел полную невозможность отобрать обратно у Хрулева и его солдат батарею Жерве и снова направил одну за другой несколько отчаянных атак непосредственно на Корниловский бастион и на верки Малахова кургана. Но и эти повторные атаки были отбиты после ожесточенной борьбы.

6

Почти одновременно главнокомандующему французской армии доложили о двух в разные моменты боя происшедших несчастиях: генерал Мэйран убит, и его войска разгромлены; генерал Брюне убит, и его войска отброшены. «Перед всем своим горестно взволнованным главным штабом Пелисье сказал: „Если бы Мэйран и Брюне не были убиты, я бы их предал военному суду"» [33]. Капитан зуавов Перрс, передавая это, укоряет Пелисье в несправедливости. В частности, неясно, чем (кроме неудачи) провинился Брюне, ничуть не нарушивший диспозиции главнокомандующего. Впоследствии Пелисье признавал основной причиной тяжкого поражения 18 июня именно то, что Брюне и Отмар не были поддержаны ни с правого своего фланга Мэйраном, который поторопился и был уже разбит и убит, ни с левого фланга англичанами, которые опоздали со своим выступлением. Было уже около 7 часов утра, когда Пелисье, получив известие о поражении англичан у «Большого Редана», а также о блестящем подвиге Хрулева, принял окончательное решение. Он велел армии отступить и «вернуться в параллели», т. е. в свой лагерь. Русская победа в этот день была тем самым признана полностью.

Замечу, что, по русским, а отчасти и английским свидетельствам, приказ об общем отступлении был дан вовсе не в $8^1/_2$ часов, а гораздо раньше — уже в 7 часов.

Французская армия обвиняла в неудаче штурма англичан. Обратимся к их действиям в этот день.

Отношения между нижними чинами союзных армий стали очень натянутыми как раз незадолго до штурма 18 июня, и особенно остро это сказалось в частях, стоявших перед Корабельной стороной. Дело в том, что, когда шла еще бомбардировка Камчатского люнета, генерал Боске получил от английского командования просьбу дать 200 человек французов для постройки прикрытия их батареи, предназначенной обстреливать люнет. И Боске дал им «двести человек, которых англичане не могли найти в своей армии»,— ядовито поясняет адъютант генерала Боске, эскадронный командир Фай.— «Эти двести человек не преминули выразить англичанам свое удивление, что более восьмисот человек англичан могут носить из Балаклавы на плато леса для постройки бараков, которыми мы (фран-

цузы — *Е. Т.*) еще не пользуемся, и что эти же самые люди неспособны к работе пред лицом неприятеля, хотя эта работа гораздо менее утомительна, чем та, которую они в самом деле делают»[34]. Подобные разговоры не способствовали развитию товарищеских чувств.

«Русские офицеры тоже у нас спрашивали, почему всегда (только — *Е. Т.*) французы делают что-либо и почему они (русские — *Е. Т.*) не видят англичан?»[35] Такие разговоры велись постоянно во французском лагере почти после каждого свидания с русскими во время «перемирий», объявляемых борющимися сторонами для уборки трупов после сражений. Эти нарекания на англичан были не совсем справедливы. Некоторые английские части сражались храбро. Однако не только среди французских солдат, но и среди офицерства часто проглядывало раздражение против слишком инертного поведения небольшой по размерам английской армии, стоявшей под Севастополем. После провала 6 (18) июня эти нарекания значительно усилились. Ни для кого не было тайной, до какой степени раздражен Пелисье против лорда Раглана. Настроение главнокомандующего, естественно, передавалось французской армии.

«После 36 часов сильной до крайности бомбардировки (un bombardement à outrance) три дивизии пошли на штурм Малаховской башни. Три раза наши колонны достигали русских батарей, три раза наши колонны отбрасывались. Сейчас Малахов еще во власти неприятеля, который, несомненно, радуется нашему поражению. Эту неудачу приписывают англичанам, которые сначала атаковали слишком *медленно (lentement* — подчеркнуто в рукописи — *Е. Т.*) и которые вследствие своих потерь не могли выставить достаточно войска для третьей атаки. Наши потери очень значительны! Целые батальоны были сокрушены картечью. Называют большое количество генералов и высших офицеров, убитых и раненых. Генерал Пелисье только что написал командующему флотом в Камыш, чтобы сообщить ему об этом плачевном деле: „Наши потери значительны,— пишет он в конце,— *но я надеюсь вскоре снова схватить зверя за шерсть*“. Это его собственное выражение»[36]. Так писал французский офицер Пакра своим родителям на другой день после штурма.

«Англичане, которые должны были слева (от французской дивизии Отмара — *Е. Т.*) атаковать Большой Редан, подошли обычным шагом под картечью (ко рву — *Е. Т.*), нашли, что ров слишком широк, и удалились, так что дивизия Отмара оказалась одна под обстрелом всех укреплений справа, слева, спереди и со стороны русского флота,— и она должна была отойти в траншеи. Все это продолжалось с 3 часов утра до 7 часов утра среди ужаснейшей канонады»[37]. Так писал 19 июня под

свежим впечатлением штурма генерал Тума. Мы видим, что он в неудаче тоже явно винит англичан. А его настроения очень типичны в эти последние дни июня 1855 г. для всего французского лагеря.

Вот как объясняли английские участники штурма свою неудачу.

«Атака была плохо спланирована и еще хуже выполнена,— жалуется в своем дневнике на другой день после штурма генерал Уиндгэм:—...враг оказался стойким и хорошо подготовленным; его орудия были заряжены, и они развили такой картечный обстрел, что все наше дело провалилось». Генерал в своем дневнике, увидевшем свет, конечно, много лет спустя после его смерти, подтверждает то, что мы уже знаем из других вполне достоверных источников: английские солдаты в некоторых частях отказались 18 июня идти на штурм, и отчасти это объяснялось недоверием к военному искусству лорда Раглана. «Я понимаю, что наши люди повели себя нехорошо. Но, несомненно, это произошло от дурного руководства атакой (mismanagement of the attack),— и возможно, что это будет хорошим уроком для офицерства, которое, кажется, всегда думает, что британская отвага все сделала и все может сделать. Но теперь британская отвага не абсолютно универсальна. Когда эта отвага налицо, то она столь же хороша, как и всякая иная отвага, а в некоторых отношениях даже лучше, но *без головы* (*without head* — подчеркнуто в подлиннике — *Е. Т.*) отвага стоит очень мало» [38].

В очень правдивых записях одного штабного офицера английской армии, не выпущенных в продажу (даже на титульном листе обозначено: for private circulation only), мы читаем такую запись под 19 июня, сделанную на другой день после штурма: «Французская неудача повлекла за собой и нашу... мы могли видеть французскую атаку на Малахов курган — и видели землю, густо покрытую трупами, когда французы отступили. Наши (английские — *Е. Т.*) потери не были даже сколько-нибудь похожи на потери французов, которых выбыло из строя шесть тысяч человек, в том числе два генерала, но и у нас относительно большая пропорция убитых и раненых офицеров» [39].

Русский огонь в течение всех этих утренних часов был так страшен, что некоторыми английскими частями овладело смятение. «Мне очень грустно сказать, что полк плохо себя повел: люди не захотели выйти из траншей». Командир, «стоя на парапете, звал их,— и ни один человек не двинулся! Он бил их своей саблей плашмя. Конечно, был такой страшный картечный огонь, подвергать которому людей едва ли стоило». Прошло всего только еще три дня после первой записи, и англий-

ский штаб-офицер пишет, уже получив более полные сведения о штурме: «На левом фланге атакующих войск генерал Эйр проник на кладбище, где оставался весь день под ужасающим огнем. Кажется, мы там устроили ложемент,—и это все, что мы выиграли, заплатив за это потерей тысячи пятисот человек, между которыми девяносто два офицера, французы же потеряли три тысячи пятьсот человек; число офицеров мне неизвестно, но выбыло три генерала» [40].

Лорд Раглан, обидевшийся, как мы видели, на генерала Пелисье за то, что он произвольно и внезапно изменил первоначальную диспозицию и отказался от усиленной канонады перед штурмом, сам вовсе и не думал, что он обязан приказать англичанам выступить одновременно с французами. Он видел поражение дивизии Мэйрана, видел, что все атаки дивизии Брюне на Малаховом кургане отражены, что нападение части дивизии Отмара (отряда Гарнье) на батарею Жерве, после кратковременного успеха, победоносно отбито русскими, и, главное, видел, что в этих русских успехах (особенно в деле обратного отвоевания батареи Жерве) очень большую роль играет русская артиллерия, стоящая на 3-м бастионе, и, однако, в эти драгоценнейшие часы Раглан не вступал в борьбу. И только убедившись, что французы терпят тяжкий урон, он начал свою запоздавшую и уже, по существу дела, бесполезную для всего предприятия этого дня атаку против 3-го бастиона, перед которым в боевой готовности стояли его войска. Со свойственным ему простодушием лорд Раглан изложил своеобразные мотивы своего поведения в письме (частном письме, конечно отнюдь не официальном донесении), посланном английскому статс-секретарю лорду Пэнмору на другой день после битвы, когда нескончаемой вереницей, высокими перегруженными возами, отовсюду свозились трупы павших накануне французов и англичан. В этой обстановке Раглан пишет следующее: «Я всегда остерегался быть связанным с обязательством начать атаку в тот же момент, как французы,— *и я чувствовал, что мне должно иметь некоторую надежду на их успех, раньше чем я пущу в ход наши войска;* но когда я увидел, какое могучее сопротивление им оказывается (how stoutly they were opposed), то я рассудил, что мой долг был помочь им, начав самому нападение». Не довольствуясь этим, лорд Раглан вполне откровенно признается, что свою запоздавшую атаку он предпринял, собственно, не для того, чтобы употребить все усилия для взятия штурмом этого страшного 3-го бастиона, громящего французов с фланга, а только затем, чтобы избежать нареканий со стороны Пелисье: «Я совершенно уверен, что, если бы наши войска остались в своих траншеях, французы приписали бы свой неуспех нашему отказу принять участие в их операции». Это

частное письмо напечатано было Кинглэком, которому Раглан давал часто читать самые секретные и интимные свои письма перед их отсылкой в Англию [41]. Конечно, в официальных документах это письмо обнародовано не было. Любопытнее всего, что опубликовавший это письмо друг Раглана Кинглэк, не перестающий почтительно восхищаться английским главнокомандующим, *тут* же хвалит его за «лояльность» по отношению к союзникам. «Имея в готовности силы для нападения на тот самый Редан (3-й бастион — *Е. Т.*), который наносил свои удары французам, он (лорд Раглан — *Е. Т.*) лояльно не колебался вмешаться в действие» [42]. Об умышленном опоздании лояльного Раглана не поминается. Но, конечно, нельзя рассчитывать на успех штурма, когда посылаешь людей под картечь только затем, чтобы их кровью отписаться от неприятного запроса со стороны союзника, и когда командный состав это ясно видит.

Англичане вышли из траншей и двумя колоннами двинулись на 3-й бастион. Русские расстреливали их в упор, и этот «долгий, кровавый путь», о котором говорят все очевидцы, истощил боеспособность атакующей колонны еще раньше, чем она сколько-нибудь приблизилась к укреплениям бастиона. Храбрый генерал Кэмпбелл был убит в самом начале атаки. Было перебито также много людей из английского командного состава. Английские офицеры, желая показать пример и воодушевить солдат, не проявлявших никакого порыва, шли впереди и целыми группами падали от жесточайшего огня, который прямо в движущиеся ряды направлял 3-й бастион. Растерянность и нерешительность среди нижних чинов росла с каждой минутой. По показанию наблюдателей, у солдат создалось убеждение, что не только им сегодня не взять «Большой Редан», но что они потеряют три четверти состава, пока еще только доберутся до контрэскарпов. Вскоре они убедились, что даже и такой ценой они до контрэскарпов 3-го бастиона все-таки не дойдут. С тяжелыми (и совсем бесполезными) потерями англичане были отброшены убийственным русским огнем назад. Заместивший убитого Кэмпбелла лорд Уэст признал невозможным повторение атаки. И почти одновременно была отброшена в исходные позиции и другая колонна англичан, шедшая с восточной стороны к 3-му бастиону. Тут русский огонь был таков, что абсолютно не было возможности даже самым храбрым и упорным пройти то открытое пространство, которое разделяло их от бастиона. Даже известные своей храбростью люди, вроде полковника Хиббери, писали много времени спустя об этом именно моменте поражения подступавшей с востока колонны: «Огонь был так страшен, что можно было только опустить голову и бежать как можно быстрее (one could only put ones head down and run as fast as possible)». Это была какая-то

«буря картечи», говорят очевидцы, буря, буквально сметавшая прочь все, покрывавшая землю рядами трупов.

Англичане, вышедшие с штурмовыми лестницами, побросали их на землю еще при самом начале дела, когда впервые, несмотря на все усилия своих офицеров, отхлынули назад. Да и слишком уже необычным делом становился явственно для всех этот штурм «Большого Редана», слишком нелепой надежда взобраться на укрепления бастиона и штыковым боем выбить оттуда русских, когда от штурмующей колонны почти ничего не осталось бы, пока она только дошла бы до парапета.

7

А на 3-м бастионе одушевление и азарт борьбы неудержимо увлекали русских солдат. Ощущение большой победы овладело ими после подвига Хрулева и его солдат, уничтоживших французов на батарее Жерве и в занятых ими домиках на Корабельной стороне. Ведь 3-й бастион направлял свой огонь сначала всецело в сторону французов, против частей дивизий Отмара и Брюне, силившихся прорваться у Малахова кургана и у батарей Жерве, и ликовал, участвуя так деятельно в хрулевской победе и во всех русских успехах против французов на всем этом левом фланге русской оборонительной линии. Теперь, когда с нажимом французов уже почти справились, 3-й бастион мог полностью направить весь огонь своих мощных батарей на собравшихся, наконец, выступить англичан.

Второстепенная операция англичан (нападение на батареи, стоявшие на Пересыпи) была еще раньше ликвидирована батареями Охотского и Томского полков. Ни на Пересыпи, ни на 3-м бастионе дело не дошло до штыкового боя на самых укреплениях по той простой причине, что англичане отступили, гонимые огнем русских батарей, с полдороги.

Впоследствии во французской прессе раздавались жалобы, что англичане не отнеслись серьезно к делу штурма и даже не взяли с собой штурмовых лестниц и фашин. Но, во-первых, у нас есть показания, что лестницы англичанами были взяты (хотя, правда, тотчас брошены на землю при первой же неудачной попытке приблизиться к бастиону), и, во-вторых, совершенно правильны слова русского офицера П. Алабина, участника этого сражения: «Обвиняют англичан и в том, что они забыли взять с собой фашины, когда шли на штурм. Правда, на всем поле, усеянном трупами англичан, их оружием и амуницией, не видал я ни одной фашины, но какую пользу они могли бы принести англичанам, когда никто из них даже не добежал до рва 3-го бастиона и отважнейшие легли костьми не далее, как у засеки, что пред его исходящим углом» [43].

В письме к своей матери от 21 июня английский генерал сэр Даниэль Лэйсонс дает еще не полные подсчеты английских потерь в день штурма: 17 офицеров убито, 70 ранено и 1450 человек рядовых убито и ранено. Лэйсонс дает понять, как нелестно судили в эти дни в английском лагере о действиях лорда Раглана: «Всякий признает, что данная нам задача была *невозможна;* мы сделали все, что могли, и прошли через такой страшный картечный огонь, через который когда-либо только проходили войска раньше» [44]. На самом деле, как увидим дальше, английские потери были гораздо больше, чем полагал Лэйсонс.

«Мы пережили ужасный день. После двенадцатичасовой стрельбы наши инженеры вообразили (fancied), что неприятельские орудия приведены к молчанию; поэтому нам было велено штурмовать редан (3-й бастион — *Е. Т.*) и Садовые батареи (Пересыпь — Е. Т.)»,— пишет Лэйсонс уже не матери, а своей сестре вечером 18 июня. Предводительствуя одной из штурмовых колонн (в 1000 человек), Лэйсонс должен был двигаться с ней по совсем открытому месту, причем необходимо было пройти около «800 ярдов» (342 сажени приблизительно). «Мои солдаты и офицеры падали дюжинами»,— пишет генерал. Когда колонна приблизилась к брустверу, она была так ослаблена в составе, что и речи не могло быть о штурме бастиона. Подоспели еще две колонны, но и они оказались не в лучшем состоянии. «Почти все люди вокруг меня были убиты или ранены... В конце концов у меня осталось пять-шесть человек, и я тогда подумал, что время уходить. Всю дорогу русские нас обстреливали в тыл... Мы потеряли около сорока офицеров и много людей,— говорят, три тысячи, но, я думаю, это преувеличение. Русские были прекрасно подготовлены для встречи с нами; ни одно их орудие не было приведено к молчанию; они *все* исправили в течение ночи... Это — большое поражение... Я не думаю, чтобы нас опять позвали на штурм... В некоторых из наших полков осталось только по *два офицера»* [45].

Замечу, что, по показаниям других участников штурма, англичанам от их позиций до бруствера 3-го бастиона приходилось 18 июня пройти гораздо меньше — от 470 до 500 ярдов, т. е. около 200—213 саженей, а вовсе не «800 ярдов», о которых пишет генерал Лэйсонс [46]. Впрочем, речь могла идти о разных исходных пунктах английского расположения, откуда направлялись приступы.

Французы, по официальным подсчетам, потеряли 17—18 июня убитыми и выбывшими из строя 3553 человека, а англичане — 1728 человек [47]. Русские потеряли за эти два дня (во время длившейся почти сутки бомбардировки 17-го и во время штурма 18 июня) 783 убитыми, 3197 ранеными, 850 контужен-

ными. При этом нужно заметить, что русские потери 17-го были больше, чем во время штурма 18-го, а союзники, напротив, больше всего потеряли во время штурма.

Цифры, которые приводятся на основании позднейших данных отдельными участниками военных действий, всегда значительно выше официальных. Вот цифры, которые дает артиллерист, поручик 8-й батареи Милошевич для трех дней от 5 (17) по 7 (19) июня: у русских выбыло из строя 95 офицеров и 4745 нижних чинов, у неприятеля — около 7000 человек, в том числе три генерала (Мэйран, Брюне и Джон Кэмпбелл) [48]. Русские потери показаны более или менее в согласии с официальной цифрой, потери союзников — выше, чем по их официальным данным. Французские офицеры в разговорах с русскими во время большого перемирия начала 1856 г. были довольно откровенны, и русские узнали о штурме 18 июня кое-что новое. Могли узнать и новые цифры.

8

Радостное волнение овладевало постепенно русской армией; с бастиона на бастион перелетало подтверждаемое ежеминутно новыми и новыми подробностями известие о полной победе, о том, что штурм отбит на всех пунктах, что неприятелю не помогли ни страшная бомбардировка днем 17-го и в ночь с 17 на 18 июня, ни густые массы пущенных в дело штурмующих колонн, ни бесспорная храбрость французских дивизий. «По гарнизону как будто бы пробежала какая-то особая сила одушевления, уверенности, отваги. Все улыбаются, друг друга поздравляют. Солдатики поглядывают через амбразуры, смеются и острят; идут разговоры; один рассказывает, как от его выстрела в упор француз проклятый... три раза перекувыркнулся; другой — как в него уже штыком размахнулся „турок" (зуав — *Е. Т.*), да успел он увернуться и сам полоснул „турку" в брюхо. „Да, братцы,— прибавляет третий,— а небось как в ров свалился, да деться некуда, так ружье бросил, да руки протягивает, да так-то жалостно головой мотает. Что ж, хоть нехристь, а пардон дать надо, когда ружье бросил. Вытащили его на бастион, да и повеселел же как, братцы, смеется, тоже жить хочется, тоже ведь, братцы, служба!"» [49]

Эта сцена очень типична для солдатских настроений после победоносного отбития штурма 6 (18) июня. Наблюдателей поражало полнейшее отсутствие у русских солдат чего бы то ни было похожего на злобу к неприятелю. От победы русские люди не только повеселели, но и подобрели.

Русские матросы и солдаты в день победы 6 (18) июня и затем в течение всего июня и июля прямо превосходили самих

себя. Подбодренные успехом, они совсем, казалось, утратили всякое представление об опасности. Вообще для всякого, кто изучает историю этой войны, очень скоро становится ясным, что совсем не основательно выделять матроса Кошку или того или иного из прославившихся рядовых защитников Севастополя в качестве некоего исключения. Это были именно *образчики*, типовые явления. Вот, например, что мы читаем в суховатых, деловитых записках князя Виктора Илларионовича Васильчикова, начальника штаба севастопольского гарнизона. Вспомним, что он и сам с полной готовностью ежедневно подставлял свой лоб под пулю и ни к каким восторгам ни по поводу своего, ни по поводу чужого геройства не был склонен ни в малейшей степени. Да и говорит он о поступке солдат Алексопольского (31-го пехотного) полка наскоро, между прочим, потому что просто пришлось к слову, при рассказе о том, как французы сейчас после провала 6 (18) июня пытались покончить с особенно важными бастионами: «Французы обставили всю Камчатку (Камчатский люнет — *Е. Т.*) сильною артиллериею, которая громила как Малахов курган, так и несчастный 2-й бастион, который, несмотря на свое невыгодное положение, действительно геройски боролся против сильнейшего врага. Каждый день бастион этот представлял груду развалин, которые при огромных потерях исправлялись за ночь; подбитые орудия заменялись новыми, и к рассвету обновившийся бастион снова открывал огонь и боролся до ночи, разрывая лопатами засыпанные амбразуры. Чтобы дать понять о том жестоком огне, какой постоянно производился по этому направлению, расскажу я происшествие, случившееся с Алексопольским батальоном. На случай штурма, для действия по неприятельским колоннам, если б им удалось занять 2-й бастион (что было более чем вероятно), Тотлебен проектировал 3-орудийную батарею на углу оборонительной стенки 1-го бастиона. Батарея эта должна была действовать картечью по горже 2-го бастиона и поражать во фланг неприятеля, который стал бы дебушировать из-за этой горжи. Французы заметили это сооружение и старались ему помешать, что исполнялось ими так тщательно, что днем на этой батарее работать было невозможно, да и ночью надо было насыпать землю как можно скорее, не оставаясь долгое время под выстрелами. Батальон Алексопольского полка был назначен на такую ночную работу. Люди должны были насыпать мешки землею, принести их на место, высыпать на батарею и удалиться. В ту минуту, как подходил батальон к месту работы, французы усилили огонь; чтобы не подвергать батальон напрасной потере, начальник отделения приказал отвести людей назад и подождать, пока огонь утихнет. Батальон был отведен. Но люди, прождавши некоторое время, *без приказания и без офицеров*

схватили мешки и пошли высыпать их на батарею. Несмотря на непродолжительность работы, из батальона выбыло 60 человек»[50].

Есть и еще показание, что в первое время после победы 6 (18) июня матросы и солдаты неоднократно нарушали подобным же образом дисциплину и иногда совсем безумно рисковали головой, находя, что начальство слишком осторожно. В них вселилась в эти дни какая-то уверенность, что непременно удастся спасти Севастополь. Массовое геройство алексопольцев, о которых рассказал Васильчиков, или хрулевских 138 «благодетелей» Севского полка, ни секунды не теряя бросившихся за Хрулевым прямо на смерть, чтобы отбить у французов батарею Жерве, не прославило имени ни одного из них. А разве они думали о своей личной славе, отдавая свою жизнь?

Говорить о всех случаях индивидуального героизма матросов и солдат в день штурма 6 (18) июня значило бы выйти за всякие пределы и вместо главы из книги написать целую специальную книгу. Но хочется лишь подчеркнуть, что среди этих случаев встречаются и такие, которые отмечены не только самоотверженной храбростью человека, но и особым отношением к врагу, проявленным в совсем исключительных условиях. Для примера приведем только одно из соответствующих показаний наших источников. Дело идет о финале английского наступления на 3-й бастион: «Один английский офицер удерживал своих отбегавших солдат почти у самой нашей батареи, силясь водворить порядок в расстроенных рядах и еще раз попытать счастья на бруствере русского укрепления. Но усилия его были напрасны. Все бежали, и он остался сзади всех! — Ребята, — крикнул командир Охотского полка, полковник Малевский, стоя на банкете Брылкиной батареи: — смотри! Отстал ведь офицер? — Отстал, ваше высокородие! — крикнуло несколько радостных голосов... Рядовой 7-й егерской роты Гладиков бросился в амбразуру, мгновенно добежал до англичанина, вдогонку, ударил его прикладом по шее, так что тот повалился, обезоружил и потащил на бастион. Бывшие неподалеку англичане открыли по нем сильный огонь». Гладиков так передавал о своем затруднении: «Что делать? Либо от пули пропадешь, либо этот детина опомнится, да драку затеет! Хоть бы помочи где дождаться!» Недалеко был небольшой ров ложемента. «Гладиков дотащил до него англичанина, столкнул его и сам прыгнул в ровик, но в этот момент был ранен двумя пулями в ногу, а английский офицер — пулею же в голову. Не теряя времени, Гладиков показал англичанину, что надо сделать ему перевязку, снял у него с шеи платок и перевязал ему голову, *своих же ран нечем и некогда было перевязывать.* Не поднимаясь из рва, держа одною рукою англичанина, Гладиков другою давай разбирать

ложемент, чтобы перелезть на свою сторону; но едва они перелезли через полуразобранный бруствер, как ядро полевого неприятельского орудия, нарочно, по-видимому, направленное на их убежище, ударило в стену ложемента и навалило на них груду камней, сильно контузив Гладикова в плечо и руку. Наши поспешили ответить врагу несколькими ядрами, и Гладиков, между тем, притащил полуживого, измученного англичанина прямо к командиру полка: вот он, подхватил!» Англичанин был спасен, а израненный Гладиков «со слезами умолял не отсылать его в госпиталь, а позволить лечиться при полку» [51].

Женщины соперничали с мужчинами: «Во время боя жара была неимоверная и дала случай солдаткам и матроскам выказать всю силу самоотвержения и смелости русских женщин... они разносили под градом пуль сперва квас, а когда не хватило квасу — воду в самые жаркие места схватки» [52], расплачиваясь за это жизнью или увечьями.

Увлечение наших матросов и солдат победой было до такой степени сильно, что они никак не могли остановиться, несмотря на приказы начальства. Вот впечатления очевидца. Русские только что отняли у французов батарею Жерве и бросились дальше преследовать их, прямо под французские батареи, не слушая приказа остановиться. «Солдаты хохотали, в восторге от победы, сыпали каламбуры, колотили защищавшихся, гнали бегущих!.. Человек сто бросились в амбразуры за французами и преследовали их до самых траншей. Игра эта была весьма опасна. С минуты на минуту можно было ждать, что неприятель обопрется на свои резервы и с помощью их немедленно перейдет в наступление. Подполковник Навашин велел трубить сигнал... Куда тебе! Слышать не хотят!.. кричат: Бить саранчу проклятую, насмерть! Нечего отступать! — повторяют упоенные успехом солдаты. Подполковник... и другие начальники побежали и сами насилу заставили отступить» [53].

Стоит лишь вспомнить, что именно они собирались мчаться немедленно штурмовать густо уставленный пушками крупнейших калибров Камчатский люнет, бывший с 7 июня в руках французов, и вся сила неистового, наступательного порыва, обуявшая русских солдат, станет для нас ясна.

9

Растерянность и раздражение царили в лагере союзников. Сейчас же после поражения 18 июня генерал Пелисье написал письмо Раглану, который потом «открыто жаловался на несправедливость этого послания» [54]. Я не нашел этого письма ни в английской, ни во французской документации. Подавленный

сознанием того, что именно он оказывается в глазах армии чуть ли не главным виновником несчастья, Раглан слег.

Образ действия лорда Раглана подвергся жестокой критике не только во французском лагере, но и в английском. «Нет сомнения, что если бы мы взяли Редан (т. е. 3-й бастион — *Е. Т.*), то мы не могли бы удержать его, поскольку Малахов курган был во власти русских; а так как французам не удалась их атака, то мы не должны были бы производить свое нападение, кроме разве цели создать диверсию». Так судили офицеры, участвовавшие в деле, вроде Кавендиша — Тэйлора [55]. Но если уж Раглан хотел произвести диверсию, то совершенно необъяснимо, почему он сознательно и предумышленно запоздал со своим выступлением. Свита Раглана старалась смягчить ропот и критику, сообщая офицерству о том, что главнокомандующий слег в постель после несчастного дня 18 июня, что он и физически заболел и что болезнь принимает нехороший оборот. Болезнь его к 26 июня прошла, и 26-го утром он работал нормально.

Вечером 26-го он почувствовал снова недомогание, и на этот раз болезнь уже скрутила его очень быстро. 28 июня 1855 г. он скончался. Окружающие единодушно утверждали, что его убило поражение союзной армии, понесенное ею 18 июня. «Лорд Раглан умер от огорчения и подавившей его тревоги, умер как жертва неподготовленности Англии к войне»,— говорит в своих воспоминаниях генерал Вуд. Не все так мягко говорили и писали о скончавшемся английском главнокомандующем, главная вина которого была, конечно, в том, что он взял на себя такую колоссальную задачу, безмерно превышавшую его силы. Но не только он сам, а и те, кто его назначил, считали чем-то само собой разумеющимся, что если генерал принадлежит к такому аристократическому роду, как Бьюфорты — Рагланы, да еще к тому же достиг почти конца седьмого десятка лет, то он имеет по справедливости все права на первое место, и единственным его конкурентом может явиться лишь другой генерал, не менее высокого аристократического происхождения, чем Бьюфорты, и притом если, например, ему уже пошел не седьмой, а восьмой десяток. А так как такого, более счастливого кандидата не оказалось, то назначение Раглана было в свое время принято и им самим, и окружавшим его обществом, и армией, и прессой как нечто отвечающее требованиям элементарной справедливости и не подлежащее оспариванию.

Но теперь горы трупов, которых никак не успевали зарывать целые рабочие роты, безмолвно и тем более красноречиво говорили против такого способа назначения верховного вождя действующей армии.

«Сегодня утром мы услышали о смерти бедного лорда Раглана; он умер прошедшей ночью от диарреи, осложненной — это наиболее вероятно — душевной тревогой и разочарованием»,— читаем мы в письме генерала Лэйсонса к его сестре от 29 июня [56]. А спустя несколько дней с обычным своим лаконизмом он прибавляет (уже в письме к матери): «Бедного старого лорда Раглана очень жалеют. Что бы люди ни говорили о нем как о генерале, всякий его уважал и любил как человека» [57]. Даже недурно к нему относившиеся офицеры (на другой же день после его смерти) не могли заставить себя говорить о нем вполне серьезно. «Бедный старик, которого так много порицали и который так много лет обладал такой большой властью! Очень милый человек, в высшей степени аристократических тенденций. Я не сомневаюсь, что он верил в то, что весь свет, с тем, что произрастает (*на земле — Е. Т.*) и живет в воде (with leakes and fishes), был специально придуман для отпрысков семьи Бьюфортов и других знатных домов»,— читаем мы в уже цитированной, не поступившей в продажу книге воспоминаний штабного офицера (юмористически приводящего тут в сокращенном виде библейский стих). «Потеря нашего командира при нынешних обстоятельствах ставит нас в очень затруднительное положение, так как я сомневаюсь, был ли кто-нибудь, кто пользовался его *полным доверием и кто был* бы знаком со всеми его планами, если он имел таковые (if he had any)» [58].

Во французском лагере напутствия покойнику были в большинстве случаев того же характера, что и в дневнике генерала Тума: «Вот и лорд Раглан внезапно умер позавчера. Может быть, это изменит кое-что. Следовало бы воспользоваться этим обстоятельством, чтобы впредь иметь лишь *одного* главнокомандующего. Довольно странно, что мы, имеющие здесь 130 тысяч человек, находимся в зависимости от 25 тысяч англичан, которые ничего не делают» [59].

Неудача союзников во время штурма 6 (18) июня окончательно деморализовала сардинский отряд, хотя Пелисье благоразумно их на штурм совсем не повел. Необычайно любопытно читать, как севастопольские несокрушимые люди, все эти нахимовские и хрулевские львы, которых надо было раньше истребить, а уж потом взять Севастополь, изумлялись, наблюдая сардинские войска, прибывшие «помогать» союзникам. Редко когда сталкивались на поле брани такие до курьеза несхожие люди, такие, в самом деле, антиподы, как русский сподвижник Нахимова и привезенный сюда для совсем непонятной ему цели, несчастный во всех отношениях пьемонтский арендатор или шелкодел, которому приказывают взять, по возможности безотлагательно, Малахов курган. Но, впрочем, употребленное

мною слово «сталкивались» не очень точно: вовсе они с русскими и не сталкивались, а когда начальство их «сталкивало», то они обыкновенно бросались наутек, развивая предельную скорость. «К нам передается довольно много неприятелей; в том числе есть и сардинцы, которые стояли на Черной речке, и когда узнали про неудавшийся штурм, то прислали сказать главнокомандующему, чтоб он их оттуда взял, а не то они сами уйдут; потому что боятся, что русские сделают наступательное движение. Вот сволочь-то!»[60]—с удивлением добавляет русский моряк, который вообще не гнался в своих письмах за изысканностью в квалификациях.

Сардинцы, которые почти в полном своем составе стояли в эти грозные дни на Черной речке, т. е. в относительной безопасности, впали в самом деле в полнейшую панику. Они, как сказано, сначала потребовали, чтобы их увели прочь. Но так как ни их генерал Ла-Мармора, ни подавно сам Пелисье такого приказа не отдали, то сардинский корпус без всякого боя просто поворотил направо кругом и беглым маршем ушел в свой лагерь. Русские даже не сразу поняли, что это перед ними происходит. «Когда наши образумились, то неприятель был уже далеко, и доказательством того, что они торопились, служит то, что неприятель оставил на месте часть своих обозов. Через несколько дней один передавшийся сардинец говорил, что если бы наши двинулись вперед, то они непременно положили бы оружие»[61]. Эти итальянские солдаты и дальше вели себя точно так же. Страшный день штурма 6 (18) июня окончательно безнадежно лишил их всякого самообладания. Они не хотели сражаться, и это решение было, по-видимому, непоколебимо, что не помешало злополучным жертвам кавуровской дипломатии погибать сотнями и тысячами от холеры, от гнилой лихорадки, от изнурительных работ и от русских бомб и ядер, которые их находили даже в их лагере. Многие вернулись в Италию инвалидами, а слишком многие и вовсе не вернулись.

В Петербурге подъем духа после первых известий об отбитии штурма был очень большой, хотя люди, оценивающие всю обстановку войны, и предостерегали от увлечений. «Удачно отбитый 6-го числа штурм в Севастополе очень всех порадовал... Эта первая удача сильно возвысила дух гарнизона. Что за собрание героев!.. С известием об отбитии штурма приехал Аркадий Столыпин. Он говорит, что положение Севастополя, несмотря на последнюю удачу, весьма опасно. Недостаток у нас в людях и в порохе. Неприятель тоже, по-видимому, не имеет во всем полного довольства и, кроме того, так же как и мы, делает ошибки». Так писал в интимном своем дневнике князь Д. А. Оболенский[62].

10

Конечно, успех русской армии 18 июня не мог тотчас же не отразиться и на тех бесконечных дипломатических переговорах в Вене, которые как начались, да и то неофициально, в декабре 1854 г., так и не могли никак не только окончиться положительным результатом, но даже сдвинуться с мертвой точки и фактически оборвались 22 апреля 1855 г. В этих переговорах из четырех участников двое (французский посол Буркнэ и английский — Уэстморлэнд) по-прежнему определенно не желали конца войны и делали все, чтобы сорвать переговоры, потому что это заставило бы Австрию, в силу договора 2 декабря 1854 г., связывавшего ее с Англией и Францией, выступить с оружием в руках против России. Третий участник совещаний — австрийский министр иностранных дел Буоль— колебался. С одной стороны, он считал, что Австрии выгодно выступить против России, потому что тогда можно было надеяться получить в награду от западных держав разрешение произвести аннексию Молдавии и Валахии к Габсбургской державе. А с другой стороны, ничем не истребимый инстинктивный страх перед Россией затруднял все дипломатические движения Буоля. От России всего можно ожидать. Сегодня она слаба, а завтра вдруг окажется сильной! Буоль с тревогой поглядывал на Крым, досадуя на медленность в действиях союзников.

И вдруг в Вене узнали о кровопролитном штурме 18 июня и полном его провале. Тон графа Буоля по отношению к четвертому участнику венских совещаний, русскому послу князю Александру Михайловичу Горчакову, круто изменился. «Я нашел господина министра иностранных дел в особенно предупредительном настроении духа,— иронически пишет Горчаков в Петербург, куда он так часто доносил о наглом и вызывающем поведении Буоля;— его политические симпатии подвергаются *воздействию со стороны событий* (la pression des événements) и влиянию воли его государя. Граф Буоль ни слеп, ни глух, и ему невозможно не признавать очевидного факта общего ликования вокруг него и во всей стране вследствие перспектив лучших отношений между обеими империями» [63]. Не только Буоль, но и Франц-Иосиф и вся правящая верхушка в Австрии были явно смущены, а отчасти и испуганы исходом штурма 18 июня.

В Париже и Лондоне констатировали, что дух защитников Севастополя, к удивлению, ничуть не сломлен всеми ужасами, которые они перенесли от начала осады.

С фронта писали во Францию и в Англию, что русские с каждым месяцем дерутся не хуже, а лучше.

О русских защитниках крепости пишет в дневнике французский генерал Вимпфен: «Их энергичная и умная оборона

заставляет нас уважать нацию, против которой у нас никогда не было серьезных обид... Мы все теперь уважаем солдат, которые сражаются храбро и лояльно. Мы выступаем против этого врага только по приказу, без большого энтузиазма, и потому, что желаем покончить с бедствиями осады»[64].

Французское офицерство не скрывало, в частности, своего восхищения перед Тотлебеном. Эскадронный командир Фай, адъютант Боске, говорит в своих воспоминаниях: «Таким образом, русские нас опережали на всех тех пунктах, которые мы имели намерение занять. Несомненно, они были искусны, но надлежит прибавить, что они очень хорошо были обслуживаемы своими шпионами». А сам Боске еще в дни постройки Селенгинского и Волынского редутов писал: «Поистине кажется, что русский инженер день за днем дает ответ на все наши идеи, на все наши проекты, так, как если бы он сам присутствовал на наших совещаниях... Не оказывая несправедливости его уму, слишком хорошо доказанному, я думаю, особенно теперь, о шпионах...»[65] «Хитрость», «доказанный ум», «искусный шпионаж» — можно было приводить какие угодно объяснения, но факт был налицо: перед союзниками были страшные противники. А что эти противники ни во что ставили свою жизнь, когда речь шла о выполнении воинского долга,— это было фактом настолько неоспоримым, что незачем было даже трудиться выдумывать объяснения.

Англичане, очень скупые на эпитеты, когда приходится хвалить врага, заговорили о русских матросах и солдатах так, как редко о ком когда-либо говорили.

«Я не могу поверить, что какое бы то ни было большое бедствие может сломить Россию. Это великий народ (it is a great nationality); несомненно, он не в нашем вкусе, но таков факт. Никакой враг не осмелится вторгнуться на его территорию, если не считать захвата таких ничтожных кусочков, какие мы теперь заняли (beyond such small nibbles as we are now making)». Так писал в том же июне 1855 г. состоявший при генерале Коллине Кэмпбелле «майором-адъютантом» автор уже цитированной выше, не предназначенной для продажи книги о Крымской войне[66]. Писал он это в интимном письме к другу.



Глава XV

СМЕРТЬ НАХИМОВА

1

Июнь 1855 г. принес защитникам Севастополя не только радость победы, но и два несчастья. Контуженный в день штурма Тотлебен перемогался и не хотел лечь в постель. Через два дня, 8 (20) июня, осматривая батарею Жерве, он был очень тяжело ранен, и его увезли из Севастополя.

Боялись смерти Тотлебена. Но рок сохранил его и для новых блестящих достижений, для взятия Плевны в 1877 г., и для черного в его биографии года, о котором можно только повторить слова В. Г. Короленко: «В 1879—80 году в Одессе генерал-губернаторствовал знаменитый военный инженер и стратег Тотлебен. Злая русская судьба пожелала, чтобы свою блестящую репутацию воина генерал этот завершил далеко не блестящей административной деятельностью. Знаменитым генералом управлял пресловутый Панютин, по внушению которого, хотя за нравственной ответственностью самого генерала, в Одессе началась памятная оргия административных ссылок. Слишком поздно, только уезжая из Одессы, понял Тотлебен, в чьих руках он был орудием, и с отчаянием и яростью публично набросился тогда на опозорившего его седины гнусного человека...»

Но в июне 1855 г., когда тяжко раненного Тотлебена увозили из Севастополя, еще светла и ничем не запятнана была его молодая слава, и велика была скорбь защитников крепости. Их ждал в том же месяце еще более сокрушительный удар.

Во время штурма 6 (18) июня Нахимов побывал и в самом опасном месте — на Малаховом кургане, уже после Хрулева. Французы ворвались было снова на подступы к кургану, ряд командиров был переколот немедленно, солдаты сбились в кучу... Нахимов и два его адъютанта скомандовали: «В штыки!» — и выбили французов. Для присутствовавших непонятно было, как мог уцелеть Нахимов в этот день. Подвиг Нахимова произошел уже после хрулевской контратаки, и Нахимов, та-

ким образом, довершил в этот день дело спасения Малахова кургана, начатое Хрулевым.

Вообще это кровавое поражение союзников 6 (18) июня 1855 г. покрыло новой славой имя Нахимова. Малахов курган только потому и мог быть отбит и остался в руках русских, что Нахимов вовремя измыслил и осуществил устройство особого, нового моста, укрепленного на бочках, по которому в решительные часы перед штурмом и перешли спешно отправленные подкрепления из неатакованной непосредственно части на Корабельную сторону (где находится Малахов курган). Нахимов затеял постройку этого моста еще после первого бомбардирования Севастополя 5 октября, когда в щепки был разнесен большой мост, покоившийся на судах. Этот новый мост, на бочках, оказал неоценимые услуги, и поправлять его было несравненно легче и быстрее, чем прежний.

Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен, начальник севастопольского гарнизона, был в полном восторге от поведения Нахимова и до и после блестящей русской победы, каковой даже и враги считали неудачный для них штурм 6 июня. Нужно сказать, что генерал Остен-Сакен был человеком совсем другого типа, чем, например, Меншиков или Горчаков. Как военный он был, пожалуй, еще меньше взыскан дарами природы, чем оба упомянутые главнокомандующие, последовательно друг друга сменившие за время осады. У барона Остен-Сакена было, по-видимому, в самом деле нечто вроде религиозной мании, и это обстоятельство еще более подрывало скромные умственные ресурсы этого злополучного военачальника. На гарнизон, которым он командовал, он ни малейшего влияния не имел. Ни солдаты, ни, тем более, матросы, как уже сказано раньше, просто его не знали.

Офицеры, даже склонные к мистике, перед ежечасно летавшей вокруг них и над ними огненной смертью, считали все-таки, что для молитв, бдений, коленопреклонений, акафистов, ранних обеден, поздних вечерен существует протоиерей Лебединцев, а начальнику гарнизона следует заниматься вовсе не этим, но совсем другими, гораздо более трудными, сложными и опасными делами.

После падения трех контрапрошей Остен-Сакен стал гораздо больше считаться с Нахимовым и Васильчиковым.

Нахимов, Васильчиков, Тотлебен — вот кто фактически управлял защитой весной и в начале лета 1855 г. М. Д. Горчаков уже переписывался с Александром II о сдаче Севастополя и меньше проявлял активного интереса к вопросам обороны, предоставив Остен-Сакену не управление военными действиями, потому что Остен-Сакен ничем не управлял, но издание приказов и отдачу распоряжений, которые будут продиктованы теми же Нахимовым, Васильчиковым и Тотлебеном. «7 июня граф

Сакен был у меня,— читаем в дневнике одного из участников обороны,— и я просил его о некоторых разрешениях мне по разным предметам.— „Пойду домой, обдумаю это",— отвечал он,— то есть без Васильчикова и Тотлебена не может решиться разрешить сам ничего» [1].

Остен-Сакена горячо хвалили за благочестие в Москве и Петербурге, и впоследствии клубные бары не переставали задавать ему восторженные обеды и поздравительные ужины, однако в Севастополе, во время осады, офицеры считали его хотя и богобоязненным, но совершенно бесполезным мужем и называли пренебрежительно-фамильярно Ерофеичем. А как мечтали защитники Севастополя о настоящем вожде! Как они льнули душевно к Нахимову, который один у них остался после гибели Корнилова и Истомина и после ранения Тотлебена! Как разочаровались они в тех, кто повелевал всем и владычествовал и над Тотлебеном и над подчиненными адмиралами Корниловым, Истоминым, Нахимовым! Как изверились они во всех этих придворных вельможах Меншиковых, аккуратно ведущих канцелярию и корреспонденцию Горчаковых, бьющих об пол лбом пред иконой по три раза в сутки Остен-Сакенах...

Подобно тому как в свое время Меншиков не мог не понять, что ему никак не уйти от неприятной обязанности представить Нахимова к Белому Орлу, так и Остен-Сакен и Горчаков пред лицом гарнизона, который видел, что́ делает ежедневно и еженощно Нахимов и что́ сделал он в день штурма 6 (18) июня, поняли свой повелительный долг. Но надо отдать должное Остен-Сакену. Он никогда не соревновался с Нахимовым и даже не завидовал ему: слишком уж, прямо до курьеза, несоизмеримо было их моральное положение в осажденной крепости и их военное значение. И чувствуется, что и Остен-Сакен и Горчаков сами хотят греться в лучах нахимовской славы, когда мы читаем приказ по войскам, отданный после победоносного боя 6 (18) июня: «Доблестная служба помощника моего, командира поста адмирала Нахимова, одушевляющего примером самоотвержения чинов морского ведомства и столь успешно распоряжающегося снабжением обороны Севастополя, известна всей России. Но не могу не упомянуть, что подкрепления, посланные на атакованную часть Севастополя, разделенную Южной бухтою, переходили по устроенному адмиралом Нахимовым пешеходному мосту на бочках, без чего Корабельная сторона, вмещающая в себя Малахов курган — ключ позиции,— могла пасть, ибо прежний мост на судах легко (мог — *Е. Т.*) быть поврежден неприятельскими выстрелами и одиннадцатидневным бомбардированием помянутое сообщение было прервано».

Ничего нового о Нахимове севастопольскому гарнизону этот приказ не сказал. Вот случайно записанный очевидцами и слу-

чайно поэтому дошедший до нас эпизод, прямо относящийся к этому кровавому дню июньской русской победы: «Каждый из храбрых защитников, после жаркого дела, осведомлялся прежде всего, жив ли Нахимов, и многие из нижних чинов не забывали своего отца-начальника даже и в предсмертных муках. Так, во время штурма 6 июня, один из рядовых пехотного графа Дибича-Забалканского полка лежал на земле близ Малахова кургана. „Ваше благородие! А ваше благородие!" — кричал он офицеру, скакавшему в город. Офицер не остановился. „Постойте, ваше благородие! — кричал тот же раненый в предсмертных муках,— я не помощи хочу просить, а важное дело есть!" Офицер возвратился к раненому, к которому в то же время подошел моряк. „Скажите, ваше благородие, адмирал Нахимов не убит?" — „Нет".— „Ну, слава богу! Я могу теперь умереть спокойно"». Это были последние слова умиравшего [2].

Встал вопрос о новой награде Нахимову. Известно было, как бедно и скудно живет Нахимов, раздающий весь свой оклад матросам и их семьям, а особенно раненым в госпиталях. Во всяком случае решено было за день 6 июня наградить его денежно. Александр II дал ему так называемую «аренду», т. е. очень значительную ежегодную денежную выдачу, независимо от его адмиральского регулярного жалованья.

25 июня царский указ об аренде был вручен Нахимову.

«Да на что мне аренда? Лучше бы они мне бомб прислали!» — с досадой сказал Нахимов, узнав об этой награде.

Он сказал это 25 июня. Бомбы ему были нужны в особенности потому, что расход боеприпасов, произведенный 6 июня, еще не был как следует пополнен, а что генерал Пелисье готовится получить близкий реванш за отбитый штурм, в этом сомнений не было.

Вообще же мечтать о том, что́ он будет делать с только что полученной арендой, Нахимову пришлось недолго, только три дня — от 25 до 28 июня. Но мы точно знаем эти мечты. «Удостоившись по окончании последней бомбардировки Севастополя получить в награду от государя императора значительную аренду, он только и мечтал о том, как бы эти деньги употребить с наибольшей пользой для матросов или на оборону города»,— говорят нам источники [3].

Жить ему оставалось в это время лишь несколько суток. Смерть, которой он бросал так упорно вызов за вызовом, теряя счет, уже стояла за его спиной.

2

«Берегите Тотлебена, его заменить некем, а я — что-с!» «Не беда, как вас или меня убьют, а вот жаль будет, если случится что с Тотлебеном или Васильчиковым!» Это и другое, все в том

же роде Нахимов повторял настойчиво не только в разговоре с Остен-Сакеном, но всякий раз, как его убеждали не рисковать так безумно, как он стал это делать, в особенности после потери Камчатского люнета и Селенгинского и Волынского редутов. Ведь и на Камчатском люнете, в конце концов, матросы, не спрашивая, схватили его и вынесли на руках, потому что он медлил и еще несколько секунд — и он был бы или убит зуавами, или, в лучшем случае, изранен и взят в плен.

Один из храбрейших сподвижников Нахимова по защите Севастополя, князь В. И. Васильчиков, давно его пристально наблюдавший, нисколько не обманывался в тайных побуждениях адмирала: «Не подлежит сомнению, что Павел Степанович пережить падения Севастополя не желал. Оставшись один из числа сподвижников прежних доблестей флота, он искал смерти и в последнее время стал более, кем когда-либо, выставлять себя на банкетах, на вышках бастионов, привлекая внимание французских и английских стрелков многочисленной своей свитой и блеском эполет...»

Свиту он обыкновенно оставлял за бруствером, а сам выходил на банкет и долго там стоял, глядя на неприятельские батареи, «ожидая свинца», как выразился тот же Васильчиков.

Генерал-лейтенант М. И. Богданович передает слышанное им лично от адмирала П. В. Воеводского и адмирала Ф. С. Керна (бывших при Нахимове еще капитанами 1-го ранга), и их слова, так же как воспоминания Стеценко, могущественно подтверждают все, что мы знаем из других свидетельств. Нахимов в своих приказах писал, что Севастополь будет освобожден, но в действительности не имел никаких надежд. Для себя же лично он решил вопрос уже давно, и решил твердо: он погибнет вместе с Севастополем.

«Если кто-либо из моряков, утомленный тревожной жизнью на бастионах, заболев и выбившись из сил, просился хоть на время на отдых, Нахимов осыпал его упреками: „Как-с! Вы хотите-с уйти с вашего поста? Вы должны умирать здесь, вы часовой-с, вам смены нет-с и не будет! Мы все здесь умрем; помните, что вы черноморский моряк-с и что вы защищаете родной ваш город! Мы неприятелю отдадим одни наши трупы и развалины, нам отсюда уходить нельзя-с! Я уже выбрал себе могилу, моя могила уже готова-с! Я лягу подле моего начальника Михаила Петровича Лазарева, а Корнилов и Истомин уже там лежат: они свой долг исполнили, надо и нам его исполнить!“ Когда начальник одного из бастионов при посещении его части адмиралом доложил ему, что англичане заложили батарею, которая будет поражать бастион в тыл, Нахимов отвечал: „Ну, что ж такое! Не беспокойтесь, мы все здесь останемся!“»

Как прежде Меншиков, так теперь Горчаков боялся даже заговаривать при Нахимове об оставлении Севастополя.

Блестящая русская победа не уменьшила пессимистического настроения главнокомандующего. Уже на другой день после отбитого штурма 6 (18) июня Горчаков пишет царю о вариантах вывода гарнизона в случае оставления Севастополя. Правда, он оговаривается, что решится на это «только в крайности».

Вариантов же вывода войск существует два. Во-первых, возможно попытаться двинуться разом на неприятеля: из Севастополя ударить на Сапун-гору, где стоит главная масса английских и французских войск, и со стороны реки Черной, где стоит русская полевая армия,— и в случае удачи обе эти русские армии, разбив и отбросив неприятеля, соединятся. Этот вариант Горчаков решительно отвергает. Из Севастополя можно вывести 50 000, считая с моряками. Этим 50 тысячам пришлось бы брать могущественно укрепленные подступы к Сапун-горе с ее мощными батареями и редутами. Успех тут более чем сомнителен. Точно так же полевой армии, которой по этому варианту нужно броситься на неприятеля со стороны реки Черной, тоже пришлось бы бороться с очень сильными укреплениями, «делать штурмы, труднейшие, чем тот, при котором союзники были вчера отбиты», а между тем эта полевая русская армия еще слабее севастопольской, в ней меньше 40 000 человек. Следовательно, этот вариант не годится, он сулит колоссальные потери и вовсе не обещает успеха.

Остается второй вариант, который князь Горчаков и признает единственно исполнимым: «Из худшего надо выбирать менее пагубное»: просто переправить гарнизон на Северную сторону Севастополя, оставив неприятелю Южную часть. При этой переправе, конечно, не обойдется без боя и будет потеряно, вероятно, от 10 до 15 000 человек. Но это лучше, чем потерять все... «Нападение с двух сторон, в направлении к Сапун-горе, стоило бы нам весь Севастопольский гарнизон, которому *пробиться невозможно* (подчеркнуто Горчаковым — *Е. Т.*), и почти всех войск, еще в поле находящихся. Не только Севастополь, но и весь Крым был бы потерян». Пороха мало, приходится его расходовать «с крайней бережливостью» и допускать «усиленную пальбу только при совершенной необходимости». У Горчакова после отбития штурма пороха осталось всего на 100 000 выстрелов для 467 орудий главной оборонительной линии и 60 000 выстрелов для 1000 орудий прибрежных и вспомогательных батарей. Хорошо, если бомбардирование стихнет. Но если неприятель хоть на восемь дней усилит канонаду, «то защите Севастополя будет конец, ибо собственно для орудий по оборонительной линии, полагая по 60 выстрелов в день на орудие, нужно на 6 дней до 160 тысяч выстрелов» [4].

«Но сам кн. Горчаков не утешал себя... розовыми надеждами. По-прежнему озабочивала его одна мысль — как уменьшить по возможности потерю в наших войсках в случае необходимости оставить Севастополь. Признавая такой печальный конец неизбежным, он не переставал обдумывать план исполнения трудного отступления на Северную сторону. По распоряжению его заготовлялись втайне материалы для постройки гигантского пловучего моста через всю ширину большой бухты на протяжении 430 саженей. Вскоре потом приступлено было и к самой постройке моста под руководством начальника инженеров ген.-м. Бухмейера, к величайшему негодованию моряков и других истых защитников Севастополя, которые не допускали ни в каком случае возможности оставить эту святыню в руках врагов» [5].

«Узнав о намерении главнокомандующего устроить мост на рейде, Павел Степанович, опасаясь, чтобы это не поселило в гарнизоне мысли об оставлении Севастополя, сказал И. П. Комаровскому: „Видали вы подлость? Готовят мост чрез бухту — ни живым, ни мертвым отсюда не выйду-с“,— повторял он — и сдержал слово» [6].

С этим согласуется одна его заветная мечта: остаться с кучкой матросов-единомышленников где-нибудь в не взятой неприятелем укрепленной точке и, даже если город будет сдан, продолжать сражаться, пока их всех не перебьют. По своему характеру — враг полумер, он при жизни часто говаривал, что, если даже весь Севастополь будет взят, он со своими матросами продержится на Малаховом кургане еще целый месяц.

Многие странности Нахимова в последние месяцы жизни объяснились лишь потом, когда стали вспоминать и сопоставлять факты. Никто, кроме Нахимова, в Севастополе не носил эполет: французы и англичане били прежде всего в командный состав. И долго не могли понять упорства Нахимова в этом вопросе о смертельно опасных золотых адмиральских эполетах,— Нахимова, который так небрежно относился всегда к костюму и украшениям, так глубочайше равнодушен был к внешнему блеску и отличиям.

Поведение Нахимова давно уже, особенно после падения Камчатского люнета и двух редутов, обращало на себя внимание окружающих, и они не знали, как объяснить некоторые его поступки. Насколько Нахимов был прямо враждебен всякому залихватскому, показному молодечеству,— это хорошо знали все еще до того, как он особым приказом потребовал от офицеров, чтобы они не рисковали собой и своими людьми без прямой необходимости. Поэтому либо просто удивлялись, не пробуя пускаться в объяснения, либо говорили о фатализме. «При этом он (Нахимов — *Е. Т.*) был в высшей степени фаталист,— пишет

один из наблюдавших его севастопольцев;— посещая наше отделение, он всякий раз непременно ходил на банкет в различных местах, чтобы взглянуть на неприятельские батареи, но никогда в таких случаях не ходил по траншеям, а всегда по площадкам, где пули скрещивались беспрерывно. Однажды, когда он хотел пройти с левого фланга в мой блиндаж, Микрюков сказал ему: „Здесь убьют, пойдемте через траншеи“. Он отвечал: „Кому суждено...“ — „А вы — фаталист!“ — заметил я. Он промолчал и пошел все-таки по открытой площадке, т. е. прямо под прицельные французские пули, для которых неспешно шагавшая высокая фигура с блестевшими на солнце золотыми эполетами была превосходной мишенью» [7].

3

28 июня Нахимов верхом поехал с двумя адъютантами смотреть 3-й и 4-й бастионы, по дороге отдавая распоряжения обычного «бытового» характера: командиру 3-го бастиона, куда как раз ехал Нахимов, лейтенанту Викорсту, только что оторвало ногу, нужно было назначить другого и т. д. Одного из адъютантов адмирал отправил с распоряжением. «Оставшись вдвоем,— рассказал лейтенант Колтовской, его сопровождавший, лейтенанту Белавенцу,— мы поехали сперва на 3-е отделение, начиная с батареи Никонова, потом зашли в блиндаж к Панфилову, напились у него лимонаду и отправились с ним же на третий бастион». Осмотрев его и еще остальную часть 3-го отделения «под самым страшным огнем», Нахимов поехал шагом на 4-е отделение.

Бомбы, ядра, пули летели градом вслед Нахимову, который был «чрезвычайно весел» против обыкновения и все говорил адъютанту, не желавшему отъехать от него: «Как приятно ехать такими молодцами, как мы с вами! Так нужно, друг мой, ведь на все воля бога! Что бы мы тут ни делали, за что бы ни прятались, чем бы ни укрывались,— мы этим показали бы только слабость характера. Чистый душой и благородный человек будет всегда ожидать смерти спокойно и весело, а трус боится смерти, как трус». Сказав это, Нахимов вдруг задумался.

Как раз перед этим он очень взволновал окружающих. Нахимов ведь поехал на 3-й бастион именно потому, что узнал о начавшемся усиленном обстреле этого укрепления. Прибыв на бастион, Нахимов сел на скамье у блиндажа начальника, вице-адмирала Панфилова. Кругом стояло несколько флотских и пехотных офицеров, толковали о служебных делах. Вдруг раздался крик сигналиста: бомба! Все бросились в блиндажи, кроме Нахимова, который, беспрестанно твердя своим подчиненным о благоразумной осторожности и самосохранении, сам остался на скамье и не пошевельнулся при взрыве бомбы, осыпавшей

осколками, землей и камнями то место, где прежде стояли офицеры. Когда миновала опасность, все вышли из блиндажа, разговор возобновился, о бомбе и в помине не было [8].

Но вот оба всадника оказались уже на Малаховом кургане, и на том именно бастионе, где пал 5 октября Корнилов и который с тех пор назывался Корниловским.

Нахимов тут соскочил с коня, матросы и солдаты бастиона сейчас же окружили его.

«Здорово, наши молодцы! Ну, друзья, я смотрел вашу батарею, она теперь далеко не та, какой была прежде, она теперь хорошо укреплена! Ну, так неприятель не должен и думать, что здесь можно каким бы то ни было способом вторично прорваться. Смотрите же, друзья, докажите французу, что вы такие же молодцы, какими я вас знаю, а за новые работы и за то, что вы хорошо деретесь,— спасибо!» На матросов, по наблюдению окружавших, навеки запомнивших все, что случилось в роковой день, речь и уже самое появление их общего любимца произвели обычное бодрящее, радостное впечатление. Поговорив с матросами, Нахимов отдал приказание начальнику батареи и пошел по направлению к банкету, у вершины бастиона. Его догнали офицеры и всячески стали задерживать, зная, как он в последнее время ведет себя на банкетах. Начальник 4-го отделения прямо заявил Нахимову, что «все исправно» и что ему нечего беспокоиться, хотя Нахимов ни его и никого вообще ни о чем не спрашивал, а шагал все вперед и вперед.

Капитан Керн, не зная, что́ только придумать, чтобы увести Нахимова от неминуемой смерти, сказал, что идет богослужение в бастионе, так как завтра праздник Петра и Павла (именины Нахимова); так вот, не угодно ли пойти послушать? «Я вас не держу-с!» — ответил Нахимов.

Дошли до банкета. Нахимов взял подзорную трубу у сигнальщика и шагнул на банкет. Его высокая сутулая фигура в золотых адмиральских эполетах показалась на банкете одинокой, совсем близкой, бросающейся в глаза мишенью прямо перед французской батареей. Керн и адъютант сделали еще последнюю попытку предупредить несчастье и стали убеждать Нахимова хоть пониже нагнуться или зайти к ним за мешки, чтобы смотреть оттуда. Нахимов, не отвечая, стоял совершенно неподвижно и все смотрел в трубу в сторону французов. Просвистела пуля, уже явно прицельная, и ударилась около самого локтя Нахимова в мешок с землей. «Они сегодня довольно метко стреляют»,— сказал Нахимов, и в этот момент грянул новый выстрел. Адмирал без единого стона упал на землю, как подкошенный.

Штуцерная пуля ударила в лицо, пробила череп и вышла у затылка.

Он уже не приходил в сознание. Его перенесли на квартиру. Прошел день, ночь, снова наступил день. Лучшие наличные медицинские силы собрались у его постели. Он изредка открывал глаза, но смотрел неподвижно и молчал. Наступила последняя ночь, потом утро 30 июня 1855 г. Толпа молчаливо стояла около дома. Вдали грохотала бомбардировка.

Вот показание одного из допущенных к одру умирающего:

«Войдя в комнату, где лежал адмирал, я нашел у него докторов, тех же, что оставил ночью, и прусского лейб-медика, приехавшего посмотреть на действие своего лекарства. Усов и барон Крюднер снимали портрет; больной дышал и по временам открывал глаза; но около 11 часов дыхание сделалось вдруг сильнее; в комнате воцарилось молчание. Доктора подошли к кровати. „Вот наступает смерть",— громко и внятно сказал Соколов, вероятно не зная, что около меня сидел его племянник *П. В.* Воеводский... Последние минуты Павла Степановича оканчивались! Больной потянулся первый раз и дыхание сделалось реже... После нескольких вздохов он снова вытянулся и медленно вздохнул... Умирающий сделал еще конвульсивное движение, еще вздохнул три раза, и никто из присутствующих не заметил его последнего вздоха. Но прошло несколько тяжких мгновений, все взялись за часы, и, когда Соколов громко проговорил: „Скончался",— было 11 часов 7 минут... Герой Наварина, Синопа и Севастополя, этот рыцарь без страха и укоризны, окончил свое славное поприще» [9].

Матросы толпились вокруг гроба целые сутки днем и ночью, целуя руки мертвеца, сменяя друг друга, уходя снова на бастионы и возвращаясь к гробу, как только их опять отпускали. Вот письмо одной из сестер милосердия, живо восстанавливающее пред нами переживаемый момент.

«Во второй комнате стоял его гроб золотой парчи, вокруг много подушек с орденами, в головах три адмиральских флага сгруппированы, а сам он был покрыт тем простреленным и изорванным флагом, который развевался на его корабле в день Синопской битвы. По загорелым щекам моряков, которые стояли на часах, текли слезы. Да и с тех пор я не видела ни одного моряка, который бы не сказал, что с радостью лег бы за него» [10].

Похороны Нахимова навсегда запомнились очевидцами. «Никогда я не буду в силах передать тебе этого глубоко грустного впечатления. Море с грозным и многочисленным флотом наших врагов. Горы с нашими бастионами, где Нахимов бывал беспрестанно, ободряя еще более примером, чем словом. И горы с их батареями, с которых так беспощадно они громят Севастополь и с которых они и теперь могли стрелять прямо в процессию; но они были так любезны, что во все это время не было ни одного выстрела. Представь же себе этот огромный вид, и над

всем этим, а особливо над морем, мрачные, тяжелые тучи; только кой-где вверху блистало светлое облако. Заунывная музыка, грустный перезвон колоколов, печально-торжественное пение... Так хоронили моряки своего Синопского героя, так хоронил Севастополь своего неустрашимого защитника» [11].

4

Роковое для севастопольской обороны значение гибели Нахимова поняли все. «28 июня — печальный день — убит П. С. Нахимов. Число геройских защитников Севастополя редело, да и не было таких влиятельных, как покойный Нахимов, а между тем Горчаков настойчиво торопил подготовить отступление от Севастополя; и потому рвение защитников Севастополя слабело»,— читаем в черновых заметках Ухтомского.

Морской командный состав сразу же лучше всех понял грозное значение гибели Нахимова.

«Неприятели все строят новые и новые батареи, роют траншеи, и теперь нет места в городе, куда бы не попадали их ядра; даже залетают через весь город на Северную сторону, и кажется, что нам придется лишиться остальных своих кораблей, да, кстати, на них некому будет плавать, а главное — некому будет водить флот. Лучшие наши адмиралы все убиты... Вчера вечером нас постигло большое горе, Нахимов ранен пулей в голову. Потеря эта велика для всей России, а для нас необъятна. Верно мы чересчур прогневили бога, что он в самые критические минуты нас лишает таких людей, которых мы лишились в эту войну,— писал капитан Чебышев своей жене тотчас после получения известия о ране Нахимова.— Теперь Нахимов оставил нас, когда окончательно решается участь Севастополя и участь Черноморского флота, который ему обязан своей славой и всеми наградами. Он сделал больше, чем может сделать человек: кроме того, что он добросовестно работал всю жизнь, последние 2 года он умирал по 100 раз в день и умер только раз. Но главное — он не только сам, но и нас, от офицера до последнего арестанта, приучал на это смотреть не так, как на заслугу, но как на долг, на обязанность. Вот будут рады турки, французы, когда узнают, что он убит,— и ошибутся, потому что дух его не убит и надолго останется с нами... Счастливы те, которые вначале перебрались в вечность, счастливее те, которые за ранами уехали с побоища; еще счастливее будет тот, кто дождется до конца. Отстоим Севастополь и тогда с чистой совестью приедем на отдых» [12].

Мучившийся сам от своей тяжелой раны Тотлебен уже 29 июня узнал о смертельной ране Нахимова, о том, что надежды нет. «Вчера вечером Нахимов был опасно ранен в голову на

Малаховом кургане,— пишет он жене.— Прискорбное это происшествие меня ужасно потрясло. Я любил Нахимова, как отца. Этот человек оказал большие услуги: он был всеми любим и очень уважаем. Благодаря его влиянию на флот мы сделали многое то, что казалось бы невозможным... Он был искренний патриот, любивший Россию безгранично, всегда готовый всем жертвовать для чести ее, подобно некоторым благородным патриотам древнего Рима и Греции, и при всем этом какое нежное сердце, как заботился он обо всех страждущих, он всех посещал, всем помогал...» [13] «Хозяин Севастополя» исчез, и хотя в осажденном городе, ежедневно и еженощно осыпаемом разрывными и зажигательными бомбами, успели за девять месяцев, протекшие от начала осады до гибели Нахимова, более чем достаточно привыкнуть к смерти, но к этой смерти никак не могли привыкнуть и не могли примириться с ней. Приведем свидетельство, самое простое и самое правдивое.

«Вообще многомесячное, ежеминутное стояние лицом к лицу со смертью установило в отношениях наших к ней некоторую фамильярность,— пишет в своих воспоминаниях один из севастопольских героев Вязмитинов.— Трагизм смерти почти вовсе утратился». Сидят, например, Вязмитинов с ротным командиром М. около траверза. «За траверзом раздался взрыв бомбы и крик. М. послал вблизи стоящего унтер-офицера узнать, что случилось.— Ничего, ваше благородие,— отвечал тот, возвратившись,— черепком только немного у штуцера приклад откололо.— Да что штуцер! Человек-то что? — Унтер-офицер посмотрел на нас недоуменно.— Человек? Да человека, известно, убило,— отвечал он, удивляясь, что нас могут интересовать такие пустяки...» Со смертью, увечьями, ранами вполне освоились: «Только одна рана и одна смерть заставила застонать весь Севастополь,— свидетельствует Вязмитинов,— 28 июня вечером командир нашего редута получил записку и сообщил нам о смертельной ране Павла Степановича Нахимова, прося нас не объявлять пока об этом матросам и солдатам. Старались, чтобы слух об этом несчастье сколько возможно долее не дошел до матросов, зная, какое подавляющее впечатление произведет на них известие, что обожаемого ими Павла Степановича они уже не увидят. 30-го мы узнали, что самого любимого и самого популярного человека на Черноморье не стало».

Смертью Нахимова потрясена была и вся Россия.

«„Нахимов получил тяжкую рану! Нахимов скончался! Боже мой, какое несчастье!“ — эти роковые слова не сходили с уст у московских жителей в продолжение трех последних дней. Везде только и был разговор, что о Нахимове. Глубокая, сердечная горесть слышалась в беспрерывных сетованиях. Старые и молодые, военные и невоенные, мужчины и женщины показыва-

ли одинаковое участие»,— писал московский историк Погодин после получения фатального известия.

«Был же уголок в русском царстве, где собрались такие люди,— говорил Т. Н. Грановский, узнав о гибели Нахимова.— Лег и он. Что же! Такая смерть хороша; он умер в пору. Перед концом своего поприща вызвать общее сочувствие к себе и заключить его такой смертью... Чего же желать более, да и чего бы еще дождался Нахимов? Его недоставало возле могил Корнилова и Истомина. Тяжела потеря таких людей, но страшнее всего, чтобы вместе с ними не погибло в русском флоте предание о нравах и духе таких моряков, каких умел собрать вокруг себя Лазарев».

«Таков был Нахимов. Доброта ли его, скрытые ли проблески гения, который, как алмаз, таится иногда под непроницаемой корой, или, наконец, подготовленные к тому обстоятельства времени, только имя Нахимова стало для нас дорогим именем, и ни одна потеря, кроме потери самого Севастополя, не отозвалась так во всех сердцах, как смерть незабвенного адмирала, честно и добросовестно отслужившего свою службу России. Ни одни похороны не справлялись в Севастополе так, как похороны Нахимова. Он привлек сердца всех. Об нем говорили, страдали и плакали не только мы, на холмах, орошенных его кровью, но и везде, во всех отдаленных уголках бесконечной России. Вот где его Синопская победа!» [14]

Если первым явственным ударом погребального колокола по Севастополю была потеря Камчатского люнета и двух соседних редутов, то вторым было тяжелое ранение Тотлебена, а третьим, бесспорно, была гибель Нахимова. Смерть знаменитого адмирала явилась в полном смысле слова началом конца Севастополя. В России это поняли, по-видимому, все, следившие за титанической борьбой, а больше всего — принимавшие в ней прямое участие.

Твердыня, за которую Нахимов отдал жизнь, не только стоила врагам непредвиденных ими ужасающих жертв, но своим, почти год длившимся, отчаянным сопротивлением, которого решительно никто не ожидал ни в Европе, ни у нас, совсем изменила все былое умонастроение неприятельской коалиции, заставила Наполеона III немедленно после войны искать дружбы с Россией, принудила враждебных дипломатов, к величайшему их раздражению и разочарованию, отказаться от самых существенных требований и претензий, фактически свела к ничтожному минимуму русские потери при заключении мира и высоко вознесла моральный престиж русского народа. Это историческое значение Севастополя с несомненностью стало определяться уже тогда, когда Нахимов, покрытый славой, лег в могилу.



Глава XVI

ВТОРАЯ БАЛТИЙСКАЯ КАМПАНИЯ 1855 г.

1

Что первая Балтийская кампания этой войны, кампания 1854 г., потерпела полное фиаско, это хорошо понимали в высших правительственных кругах и Англии и Франции. Тут, по существу дела, лорды адмиралтейства были почти так же мало довольны ходом дела, как и сам Наполеон III. Обе стороны, разумеется, сознавали, что «взятие» Аландского «замка» (т. е. дома с флигелем) и пленение рыбачьих финских и эстонских шхун представляют собой весьма скромные «успехи» и трофеи для очень могущественной эскадры, несколько месяцев прогуливавшейся по Балтийскому морю с его Ботническим и Финским заливами. Наполеон III не скрыл своего раздражения перед английским министром иностранных дел Кларендоном, которого вызвал для серьезного раз говора в Париж ранней весной 1855 г., перед открытием навига ционного сезона на Балтике. «Император очень озабочен тем, чтобы условились относительно плана кампании на Балтике. Менее важно это для него, так как он соединит свои суда с нашими во всем, что будет предпринято; но это имеет величайшую важность для нас (англичан—*Е. Т.*), престиж которых, как владык морей, страшно подорван, по его мнению, ничтожеством наших действий на Балтике в прошлом году. Никто уже нас не боится, и это является несчастьем, о котором он искренно сожалеет» [1]. Французский император, как и его собеседник, понимал, что публику можно кормить какими угодно хвастливыми небылицами о достославных морских подвигах, но что, собственно, на самой Балтике не достигнуто почти ровно ничего: Кронштадт — цел и неприступен, русский флот цел, ни один пункт ни на Финском, ни на южном берегу Балтийского моря не занят. Конечно, стратегический и дипломатический успех союзников заключался в том, что большие русские сухопутные силы были прикованы к северу и не могли быть отправлены на помощь Севастополю, но все-таки в Париже и в Лондоне разо-

чарование первой кампанией на Балтийском море было очень велико. Но с тем большим пылом шовинистически настроенная обывательская масса в Англии и во Франции ждала новой экспедиции в Балтийское море. Презрительные слова Наполеона III о постыдной неудаче британского флота в 1854 г. заставили английский кабинет с особым старанием приняться за снаряжение экспедиции 1855 г.

Как уже сказано в конце предыдущей главы, неудачу кампании 1854 г. приписали Чарльзу Непиру. На этот раз, в 1855 г., во главе отправляемой в Балтийское море эскадры должен был стать вице-адмирал Ричард Саундерс Дондас, имевший очень лестную репутацию во флоте. В его распоряжение поступила эскадра, гораздо более могущественная, чем та, которую в предыдущем году возглавлял Чарльз Непир. Когда 16 (28) мая 1855 г. Ричард Дондас подошел к Толбухину маяку, у него было 20 больших военных судов и семь канонерских лодок. А 1 июня к нему присоединился и стал под его начальство французский адмирал Пэно, сначала лишь с тремя большими судами и одним корветом[2]. К этим основным силам союзников присоединялись затем еще новые военно-морские единицы. Прибавлю, что кабинет Пальмерстона и британское адмиралтейство не очень спокойно себя чувствовали перед лицом союзника, который явно раздражен был обозначившейся трудностью, если не прямой невозможностью взять Кронштадт и угрожать Петербургу с моря. Наполеон требовал, чтобы на этот раз дело не окончилось бесполезной прогулкой по Финскому и Ботническому заливам. Английская пресса во главе с «Таймсом» всячески старалась подбодрить Дондаса и внушить ему, как необходимо действовать поэнергичнее.

И все эти усилия и старания окончились летом 1855 г. таким же провалом, как и в 1854 г. Кронштадт взят не был, никакой грозящей столице высадки не было и не могло быть произведено, бомбардировки Свеаборга и другие военные действия никаких стоящих результатов не дали. Русская морская твердыня и русский военный флот не только уцелели, но англичане даже оказались бессильны произвести на них сколько-нибудь серьезное нападение. Напомним наиболее существенное, что произошло на море в эту вторую Балтийскую кампанию.

Еще летом 1854 г., когда английский флот уже появился в Балтике, Николай созвал в Кронштадте, на корабле «Петр I», в адмиральской каюте большой военный совет с участием всех наличных адмиралов. И уже тогда, после доклада царю о неутешительном состоянии свеаборгских и гельсингфорсских укреплений и после категорического совета адмиралов не выходить в море, царь в гневе воскликнул: «Разве флот для того существовал и содержался, чтобы в минуту, когда он действительно

будет нужен, мне сказали, что флот не готов для дела!» Так рассказывает флигель-адъютант Николай Андреевич Аркас.

Тем не менее всю осень, зиму и весну шли работы в Кронштадте и в Свеаборге с целью повышения их обороноспособности,— и результаты в общем были значительны. Так по крайней мере их оценил действовавший в 1855 г. в Балтийском море вместе с адмиралом Дондасом командир французской эскадры адмирал Пэно. Батареи Кронштадта в 1855 г. были в гораздо лучшем состоянии, чем за год до того. Флот Кронштадта тоже был усилен. Минная защита Кронштадта в 1855 г. была усилена. Более или менее удачные опыты с минами академика Якоби, о чем, кстати, сохранился интересный материал в архиве нашей Академии наук, могли бы заинтересовать, и *несомненно* заинтересовали в свое время, техников минного дела и историков военно-морской техники в России.

А что такое представляют собой на *самом деле* имевшиеся в распоряжении морского министерства мины, поставляемые заводом Нобеля, без всякого участия Якоби и погруженные в воду, в ожидании нападения союзного флота, близ Свеаборга и Выборга,— красноречивый ответ на этот вопрос дает нам следующая секретная бумага адмирала Литке военному министру князю В. А. Долгорукову от 21 ноября 1855 г., т. е. когда уже давно окончилась вторая (и последняя) Балтийская кампания: «Комитет, учрежденный в прошлом году по высочайшему повелению под председательством исправляющего должность кронштадтского военного генерал-губернатора для обсуждения вопросов, относящихся до обороны Кронштадта подводными минами, в котором я председательствовал только в отсутствие инженер-генерала Дена, закрыт в феврале текущего года. По сей причине я могу выразить только личное мое мнение по содержанию препровожденного ко мне при отношении вашего сиятельства от 16 ноября за № 843 рапорта подполковника Шернкрейца к господину командующему войсками, в Финляндии расположенными, относительно пиротехнических мин заводчика Нобеля. В Кронштадте, где несколько сот этих мин было погружено в разных местах, оказались они не лучшими, как и в Свеаборге. Бóльшая часть оных вынута из воды в таком же неисправном состоянии. По моему мнению, причина тому заключается не в одной порче металла от гальванических токов, как полагает подполковник Шернкрейц, но в общем недостатке самой системы их устройства, который не устранился бы и тогда, если бы мины были сделаны и из одного металла, частью же и от небрежного их изготовления. В настоящем их виде мины Нобеля не заслуживают никакого доверия. Если бы предвиделась необходимость употребить их в будущем году опять, то необходимо прежде всего устранить все замеченные в них недостатки.

От самого Нобеля нельзя ожидать усовершенствования его мины, ибо он не принимает ничьих советов. И сверх того, почитая эту мину как бы своею собственностью и своим секретом (без всякого, впрочем, основания) и делая из нее торговую спекуляцию, он по возможности устраняет всякий контроль со стороны правительства по этой операции, которую по сим причинам не следовало бы, кажется, на будущее время поручать господину Нобелю. Но в этом нет и надобности. Механик Яхтман, гальванической команды, состоящей под управлением академика Якоби, придумал уже пиротехническую мину, которая по производимым над нею прошедшей осенью опытам обещает удовлетворить всем условиям, от такой мины требующимся» [3].

26 января 1855 г. последовал приказ управляющего морским министерством вел. князя Константина на имя Якоби, о чем он был извещен спустя три дня: «Высочайше разрешено академику Якоби приступить немедленно к устройству мин для обороны фортов» [4]. Предположено было изготовить и погрузить у Кронштадта 300 мин [5].

Мины должны были быть расположены между кронштадтскими фортами «Павел» и «Александр» в 300 саженях от берега, в каждой из мин должен был находиться заряд в 35 фунтов пороха, а взрываться мины должны были током с гальванической батареи, помещенной на берегу близ батареи № 2 [6].

Мины у Кронштадта, как мы знаем, причинили вред крейсировавшим в этих водах судам противника. Адмирал Пэно донес французскому морскому министерству о том, что некоторые его корабли пострадали, наткнувшись на русские мины у Кронштадта.

Подводные мины, созданные Борисом Семеновичем Якоби совместно с его учениками-механиками, были изготовлены по его собственным чертежам; им же были установлены принципы заряжения, запала их и т. п.

Если на Черном море, как мы видели, их не успели построить и погрузить, то на Балтике это удалось сделать. Они были погружены у Кронштадта, у Толбухина маяка, около Свеаборга, и неприятелю пришлось с ними считаться. «Наша первая забота вечером 6 августа заключалась в том, чтобы принять меры предосторожности против взрывных машин (explosive machines), которые были недавно введены неприятелем»,— писал в первом же своем докладе лордам адмиралтейства о нападении на Свеаборг адмирал Дондас, и он принужден был послать ночью лодки с командой для вылавливания русских мин. Но выловили лишь немногие. Много и не могли выловить, потому что сколько-нибудь приблизиться к берегу англичане под Свеаборгом не отваживались [7].

Английский биограф Ричарда Дондаса даже считает одним

из двух главных дел, которыми занимался его герой на Балтике в 1855 г., «вылавливанье малых мин, погруженных в большом количестве в северном проходе к Кронштадту». Вторым делом была тесная блокада Финского залива [8].

В ожидании нападения на балтийское побережье русскому командованию пришлось сосредоточить огромную армию в 272 батальона пехоты, 145½ эскадронов кавалерии, 42 казачьих сотни и 436 орудий, в общей сложности 302 785 человек. Из них, в частности, 69 410 человек в Финляндии (отдельно подсчитан Выборг — 2400 чел.), 20 640 — в Эстляндии, 40 820 — в Курляндии (отдельно в Риге 7600 чел.), 7000 — в Динабурге, 12 380 — в Петербурге и, кроме того, 89 000 человек в качестве так называемого «подвижного корпуса» должны были передвигаться по мере надобности к угрожаемому пункту, а 20 000 человек составляли запасную дивизию 2-го пехотного корпуса и тоже входили в указанную армию, предназначенную охранять балтийские берега и Финский залив [9]. Мы видим, как ничтожно было сравнительно с этой огромной, по тем временам, армией то войско, которое было выделено для обороны Севастополя и защиты Крыма.

У нас есть и другой документ, дающий несколько меньшую, но все же огромную цифру для обозначения требуемого количества сухопутных войск в интересах защиты побережья.

«Итого в действующих войсках при Балтийском море должно быть всего до 220 тысяч чел., а с войсками местными до 275 тысяч. Цифра эта огромна. Но она определяется самою необходимостью. При меньших силах мы не можем быть спокойными, не в состоянии одержать верха над противником, и неравенством в силах неминуемо подвергнемся поражению. А понести поражение на берегах Финского залива и при устьях Невы было бы для России бедствием, еще несравненно более тяжким, чем потерять Севастополь и Крым. Но есть ли возможность собрать при Балтийском море требуемую огромную массу войск? В лето нынешнего (1854) года мы имели всего до 116 тысяч человек, считая и гвардию, ныне же части укомплектованы до 218 тысяч, а к весне вероятно будем иметь до 225 тысяч. Следовательно, если даже вся гвардия возвратится к берегам Балтийского моря,— и тогда будет еще недоставать 50 тыс. человек!» Положение критическое: «Все приведенные расчеты убеждают в том, что, при всем напряжении огромных сил России, нет возможности надежным образом защищать берега обоих морей против решительных действий обеих морских держав и в то же время иметь на сухопутной границе две армии, достаточно сильные для борьбы с западными соседями. Выдержать подобную общую войну со всей Европой Россия могла бы не иначе, как имея в поле всего до миллиона войск» [10].

2

В Англии много говорили о том, что предстоящая кампания 1855 г. в Балтийском море должна загладить воспоминание о неудачной кампании Чарльза Непира в 1854 г. Но на самом деле кампания назначенного командиром Балтийской эскадры адмирала Ричарда Дондаса [11] была, в смысле впечатления, которое она произвела в России и в Европе, еще менее удачной, чем действия Непира в 1854 г. Сил у Дондаса было несравненно больше, чем у Непира, даже если не считать французской союзной эскадры, состоявшей под командой адмирала Пэно. В общем у союзников было около 70 вымпелов, не считая мелких парусников. Если и на этот раз ничего существенного для союзников из этой второй Балтийской кампании не получилось, то виновата здесь прежде всего неопределенность поставленной британским правительством цели. Делать высадку на русских берегах не предполагалось: Наполеон III на этот раз решительно не пожелал давать на Балтику сухопутные войска, а сами англичане даже и в мыслях никогда не имели высаживать собственную армию. Серьезно бомбардировать и разрушить Кронштадт тоже не имелось в виду. Если в 1854 г. это оказалось делом трудным, то в 1855 г., когда русское командование серьезно подготовилось к встрече врагов, Кронштадт стал неприступен. Адмирал Пэно прямо доложил в Париж, что кронштадтская эскадра располагает многочисленными канонерками, которых еще не было в 1854 г., и что вообще союзному флоту нужно думать о собственной своей безопасности в Финском заливе. Таким образом, дело свелось сначала (5 июля) к бомбардировке неукрепленного города Ловизы небольшой эскадрильей капитана Эльвертона, потом к бомбардировке Транзунда (13 июля), причем русские на этот раз очень метко отстреливались. Через неделю Эльвертон бомбардировал батареи Фридрихсгаля, но русская артиллерия отогнала его суда.

После этого решено было напасть на Свеаборг и снести все его укрепления с лица земли. Но для этого Дондас отвел свой флот к Наргену, чтобы там подождать прихода французских сил и повести атаку на Свеаборг сообща.

6 августа 1855 г. Дондас подошел к Свеаборгу с 23 большими линейными судами, 16 канонерскими лодками и 16 же мортирными судами («бомбардами»). Вечером того же дня к нему подошла и французская эскадра, приведенная адмиралом Пэно, в составе четырех линейных судов, пяти мортирных судов и пяти канонерских лодок [12]. Другими словами, почти все морские силы союзников, вошедшие в Балтийское море, были собраны для нападения на крепость.

Но из всей этой эскадры, как явствует из донесения русского командования, непосредственное участие в военных действиях

приняли не все поименованные тут неприятельские суда, зато оказались, по-видимому, и какие-то не поименованные.

28 июля (9 августа) 1855 г. неприятельский флот, подошедший к Свеаборгу, действовал в составе 10 линейных кораблей, семи парусных фрегатов, семи паровых фрегатов, двух корветов, одного брига, четырех судов «особой конструкции» (как они названы в донесении), 16 бомбард, 25 канонерских лодок, двух яхт и трех транспортов.

При организации нападения на Свеаборг, писал Дондас, «наша первая забота заключалась в том, чтобы принять меры предосторожности против взрывных машин, недавно введенных врагом».

В своем докладе адмиралтейству о бомбардировании Свеаборга адмирал Дондас признает, что русские «в последние месяцы активно укрепляли оборону крепости» и усилили защиту и от нападений с моря, «возведя батареи на всех подходящих для этого местах», так что батареи препятствовали какому бы то ни было приближению к гавани [13]. Но, впрочем, при первой же большой разведке у Свеаборга, организованной Дондасом, вице-адмиралом Сеймуром и капитаном Салливаном еще в середине мая, англичане уже убедились, что русские произвели «много важных добавлений» к укреплениям Свеаборга, выдвинули батареи, «которых раньше не было», создали земляные и каменные сооружения и протянули цепь укреплений к востоку и югу [14].

Громадная эскадра, подошедшая 6 августа 1855 г. к Свеаборгу, была превосходно снабжена артиллерией. Даже канонерки получили специальное добавление: орудия «тяжелых калибров». 9 августа началась интенсивная бомбардировка. Русские отстреливались. В городе и на о. Саргон начались пожары и взрывы, в английской эскадре вышли из строя несколько канонерок. Артиллерийская дуэль продолжалась до захода солнца, после чего Дондас не решился продолжать бой и отвел несколько от крепости свои суда назад. На другой день, 10 августа, перестрелка возобновилась. Русская артиллерия («с сожалением» доносит об этом Дондас лордам адмиралтейства) взорвала мортирное судно,— и адмиралтейству донесли, что мортирные суда сильно страдают от русского огня,— и еще до наступления темноты были взорваны еще два мортирных судна. Линейный корабль «Мерлен» нарвался на подводный камень при отходе от крепости. Были и еще повреждения и несчастья, о которых Дондас говорит крайне глухо, как бы скороговоркой, так что лорды адмиралтейства, может быть, не вполне уразумели, что́, например, понимать под повторяющейся фразой: «Состояние мортир снова было доведено в течение ночи до моего сведения». Или почему Дондас прекратил бой

вечером 10 августа, так как возымел, что «нельзя было получить соответственную выгоду, продолжая на следующий день огонь с *меньшим количеством мортир* и имея меньшие цели при более широком пространстве (обстрела — *Е. Т.*)» [15]. Ясно, что русские подбили не три мортиры, а гораздо больше и что, конечно, далеко отступив от места боя, англичанам и нельзя было надеяться стрелять с бо̀льшим успехом, чем было возможно с более близкого расстояния... Пожары и разрушения, вызванные в Свеаборге английским обстрелом,— вот было все, чем могла в конце концов похвалиться могущественная эскадра, посланная брать Свеаборг и удалившаяся после двухдневного артиллерийского боя, не взяв крепости и отступив от нее явственно в несколько потрепанном виде. Таков отчет британского главнокомандующего о свеаборгском деле 9—10 августа 1855 г.

Обратимся теперь к русским показаниям, говорящим о том, о чем Дондас скромно умалчивает.

Боевая линия неприятельской флотилии оказалась в расстоянии от 3 до 4 верст от внешней линии свеаборгских укреплений. Более мелкие суда расположились несколько ближе, а крупные линейные корабли — «вне всякой досягаемости для самых дальних выстрелов» [16]. Неприятель открыл огонь в $7^1/_4$ утра. Огонь был направлен на батареи крепости, на форты Вестер-Сворт и Лонгерн и на остров Друмсэ в бухте. Стрельба шла непрерывными залпами. Неприятель с утра начал производить попытки высадки десанта на этом острове, но русские отгоняли его метким ружейным огнем; у гарнизона острова были штуцера. В 2 часа дня союзники прекратили стрельбу и отошли. Пожары в крепости начались не сразу, а лишь с 10 часов утра. Неприятельское командование, как правильно разгадал командующий русскими войсками, убедилось, что укрепления крепости не поддаются артиллерийскому огню, и решило прибегнуть к иной тактике: разгромить и сжечь самый город, т. е. те большие дома (трехэтажные в тогдашнем Свеаборге не были редкостью), которые являлись такой удобной мишенью для дальнего прицела. Русским батареям приказано было не тратить понапрасну снарядов, стреляя в линейные корабли, до которых эти снаряды не долетали, а открывать огонь только при соответствующем приближении неприятельских судов. «Приказание это было исполнено с тем достохвальным хладнокровием, которое отличает всякую хорошую артиллерию, и с таким успехом, что стоило только какому-нибудь из неприятельских судов выдвинуться вперед из занимаемой ими боевой линии, чтобы быть принужденным меткими выстрелами с наших укреплений с поспешностью отходить назад... множество обломков, плавающих в различных местах, свидетельствует о том, что каждое приближение к крепости обходилось неприяте-

лю не без потерь и повреждений для его судов». Пожары в городе все усиливались. Главные пороховые погреба отстоять удалось, но четыре запаса чиненых бомб на Густав-Сверде взлетели на воздух, так как хранились в легко пробиваемых бомбами старинных помещениях еще шведских времен. После некоторого перерыва суда неприятеля снова приблизились. Кроме бомб, они стали осыпать город зажигательными ракетами. Но русские батареи очень деятельно и успешно противились приближению неприятеля к островам Скансланде, Кунгсгоммен, а также к укреплению Лонгерн и к очень активно действовавшему русскому линейному кораблю «Иезекииль». В худшем положении оказался другой русский линейный корабль «Россия», на который было возложено труднейшее поручение: продольно обстреливать Густав-Свердский пролив, не подпуская с этой стороны к крепости неприятельские суда. Корабль по необходимости должен был стоять так, что мог действовать лишь половиной общего числа своих орудий, а сам в то же время неминуемо должен был стать целью для неприятельской артиллерии. Навесным огнем неприятеля корабль был временно выведен из строя, получив много пробоин: «бомбы разрывались внутри корабля, и одна из них дошла почти до крюиткамеры, а потому... ночью корабль был отведен из-под выстрелов»[17]. Корабль был спасен исключительно распорядительностью помощника командира Поклонского и бесстрашием команды, с риском для жизни погасившей огонь, который уже подбирался к пороховому складу после разрыва бомбы.

В ночь с 28 на 29 июля (с 9 на 10 августа) бомбардировка не смолкала, и к тем орудиям, которыми действовали корабли, прибавилась еще мортирная батарея, устроенная неприятелем на скалистом островке Лонгерн. Эта батарея и огонь с судов стали с раннего утра 29 июля упорно бить по укреплению Стураостерсвард, и там вспыхнули пожары, охватившие портовые здания со всеми постройками и складами. Одновременно страшная опасность нависла над Густав-Сверде. Предоставим слово донесению очевидца. «В 10 часу утра загорелась крыша на капонире в Густав-Сверде, где хранились бомбы и заряды. Видя близкую опасность для Цистернской батареи и всего Густав-Свердского укрепления, генерал-лейтенант Сорокин вызвал охотников. Все офицеры, находившиеся в это время у Цистернской батареи, первые подали пример готовности, а за ними последовали нижние чины, и, несмотря на огонь неприятеля, направленный в это время преимущественно на капонир, пожар был быстро потушен. Первым вскочившим на крышу для тушения огня был фейерверкер артиллерийского гарнизона Михеев». Весь день 29-го, ночь с 29-го на 30-е гремела канонада. Она утихла лишь к 5 часам утра 30 июля. 30-го огонь

ослабел. 31 июля неприятель явно начал делать приготовления к отплытию, и русские заметили, что после полудня 31-го союзники срыли свою импровизированную мортирную батарею на островке. Ночь прошла спокойно, а 1 (13) августа неприятельская эскадра отошла от крепости и скрылась в южном направлении.

Подводя итоги всему этому бомбардированию, русские военные власти находили, что с чисто военной точки зрения вред, нанесенный неприятелем Свеаборгской крепости, был ничтожен. Произошло это потому, что неприятельские суда очень далеко держались, избегая повреждений, а канонерские лодки *постоянно меняли положение*. А между тем снарядов по Свеаборгу и прилегающим к Свеаборгу береговым батареям Гельсингфорса было выпущено за эти дни до 17 000, по Сандхамну — свыше 3000, по острову Друмсэ — около тысячи, и это «по приблизительному и самому умеренному расчету». Людские потери у русских оказались крайне незначительными для нескольких дней такой бомбардировки: убитыми гарнизон потерял нижних чинов 44, ранеными 110, штаб-офицеров два, обер-офицеров три, контуженными — штаб-офицеров четыре, обер-офицеров 12, нижних чинов 18 [18]. О бомбардировании крепости Свеаборга было донесено следующее: «Шефу жандармов, командующему главною его императорского величества квартирою, господину генерал-адъютанту и кавалеру графу Орлову. Неприятельский флот 28-го сего июля в 7 часов утра, посредством находящихся при оном бомбард и канонерских лодок, в числе 37-и судов, начал бомбардировать крепость Свеаборг и прибрежные батареи Гельсингфорса на расстоянии приблизительно четырех и более верст. Бомбардирование это продолжалось двое суток и в особенности днем было чрезвычайно усиленно; большая часть крепостного строения, как казенного, так и частного, оным истреблена; сего же числа утром пальба прекратилась, но, судя по деятельности на неприятельском флоте, полагают, что она будет возобновлена, ожидание этого навело чрезвычайный страх на жителей Гельсингфорса, которые, запирая свои дома и оставляя город, поселяются по возможности в окрестных селениях» [19].

О причине, почему 30 июля (11 августа) на рассвете адмирал Дондас и контр-адмирал Пэно вдруг прекратили бомбардировку, существуют две версии. Официально английское и французское адмиралтейства дали знать, что их задача выполнена: в Свеаборге разрушено все, что нужно было разрушить. По по очень доказательной версии нейтральных, а также русских авторов, писавших об этой кампании, после более чем 45-часовой стрельбы английские и французские мортиры и бомбарды уже вышли из строя почти все. Они сделали по Свеаборгу до 20 000 выстрелов, но количество разрушений в городе, значи-

тельное само по себе, совсем не соответствовало такой колоссальной затрате артиллерийских снарядов. После редкой, случайной, несистематической стрельбы днем 30 и 31 июля (11 и 12 августа) по островам Друмсэ, Кутсгольмен и Скопланд неприятель снялся с якоря и ушел к Норгену.

После нескольких недель крейсировки, уже более не приступая к сколько-нибудь серьезным операциям, неприятельский флот покинул Балтийское море. В эти несколько недель (после Свеаборга) отдельные суда англо-французского флота подходили порой к тому или иному пункту побережья и после кратковременного обстрела прибрежных домов отходили. Покидая Балтийское море, союзники не могли похвалиться сколько-нибудь стоящими результатами.

Следует заметить, что в Петербурге на этот раз присутствие союзного флота в Балтийском море не произвело такого впечатления, как в 1854 г., а разрушение нескольких зданий в Свеаборге в 1855 г. не могло идти в этом смысле ни в какое сравнение со взятием Бомарзунда в 1854 г.

То, чего не сказал до конца Дондас в своем донесении от 13 августа, не желая, очевидно, без нужды смущать лордов адмиралтейства, он договорил своими дальнейшими действиями. «Состояние мортир таково, что не делает необходимым дальнейшее пребывание судов в этих водах в поздний период времени года» [20], — так доносил Дондас уже через 10 дней после боя у Свеаборга, а уже 27 августа он отдал приказ об отправлении мортирных судов в Англию. Он просит также адмиралтейство не посылать ему больше мортир, так как «наступает время дурной погоды...» [21] Итак, дело вторичной Балтийской экспедиции было признано и на этот раз проигранным. Возвращая в октябре и ноябре постепенно в Англию свою громадную эскадру, Дондас, лично прибывший в Англию 10 декабря 1855 г., вероятно, вспомнил крайне внушительные напутствия, которыми благословляли его на ратные подвиги Пальмерстон и газета «Таймс» в номере от 3 апреля, когда он только собирался отплыть в Балтийское море: «Новый командир адмирал Дондас... каковы бы ни были его инструкции, знает, что он должен сделать больше, чем адмирал Непир. Если же он не сделает больше, то в ноябре он получит приказ спустить свой флаг, имея мало надежды когда-либо снова его поднять. Такова миссия, которую дает королева сегодня флоту, посылая его в его роковое странствие (on its fatal errand). *Нужно больше пытаться сделать, больше подвергаться риску,* идти дальше и теснее сближаться (с неприятелем — *Е. Т.*), меньше думать о потере кораблей и людей и гораздо больше о нанесении ущерба и поражений врагу».

Другими словами: возьми Кронштадт, чего бы это ни стоило!

И вот наступил «ноябрь», и Дондас возвращается, так же точно ничего не сделав из главной своей «миссии», как и его предшественник Непир.

Оставалось утешаться мыслью, что в будущем, 1856 г. удастся послать третью экспедицию и попытаться взять Кронштадт.

Но Пальмерстон в кабинете, а Дондас в своей каюте, уже начавший на досуге вырабатывать планы новой экспедиции, рассчитали без хозяина. Наполеон III, после занятия Севастополя, не считал для себя полезным продолжать войну и этим усиливать Англию, проливая французскую кровь. Несмотря на все сопротивление Пальмерстона, французский император решительно повел намеченную им линию.

Моряки русского Балтийского флота с полным спокойствием и уверенностью ждали нового появления врага у стен своей несокрушимой твердыни. Но английскому флоту уже не пришлось тогда появиться снова под Кронштадтом и у Толбухина маяка. А когда он опять подошел с враждебными намерениями к Кронштадту, к революционному уже Кронштадту после Великой Октябрьской социалистической революции, то получил жестокий отпор и снова со стыдом отплыл восвояси.

Дипломатически эта вторая Балтийская кампания оказалась для союзников так же мало эффективной, как и первая: король Оскар по-прежнему не пожелал примкнуть к союзникам и объявить России войну. Да иначе и быть не могло: ведь на этот раз союзники вовсе и не прислали никаких сухопутных сил, а только присылка армии, и армии в несколько корпусов, могла бы поколебать короля Оскара и сдвинуть его с позиции благожелательного нейтралитета по отношению к союзникам. Наполеон III послал осенью генерала Канробера в Стокгольм. Дело происходило уже после занятия союзниками южной стороны Севастополя, поэтому Канробера принимали очень ласково. И все-таки Швеция так до конца и не выступила, ограничившись подписанием трактата, совсем никакого реального значения не имеющего, так как речь шла лишь о случае нападения России на шведские владения, т. е. о том, чего никак не могло случиться ни в 1855, ни в 1856 гг. Но уже прошли сроки, миновал момент. Какие серьезные шансы могли бы побудить Оскара и шведский риксдаг к войне против России, если в те самые недели, когда Канробер гостил в Стокгольме, его повелитель уже успел через третьих лиц дать понять Александру II, что он не прочь прекратить войну?

Вторая Балтийская кампания кончалась как раз тогда, когда наступали решающие дни в Крыму: меньше чем через неделю после бомбардирования Свеаборга разразилось сражение на Черной речке.



Глава XVII

ЧЕРНАЯ РЕЧКА 4 АВГУСТА 1855 г.

1

Александр II в первые месяцы своего царствования считал своим сыновним долгом делать вид, будто он и в дипломатии, и в вопросе о продолжении войны, и во всем вообще будет идти по стопам «незабвенного благодетеля», как он на первых порах почему-то настойчиво именовал своего покойного отца, чем, кстати, вызвал недоумение и насмешку Герцена в «Колоколе». Следуя этой усвоенной им линии поведения, он в одном из первых же официальных своих выступлений ни с того, ни с сего признал себя приверженцем Священного союза, каковым он вовсе не был (и не мог быть в тот момент, когда говорил). Будучи определенно противником программы обороны Севастополя до последней капли крови, он продолжал войну и оборону, чтобы не сказали, что он дезавуирует политику отца. А впоследствии, в 1865 г., встретившись в Лионе с маршалом Канробером, царь заявил, что вовсе не считал с военной точки зрения целесообразным защищать Севастополь. Он не верил в возможность избежать поражения и мечтал о том, чтобы как можно скорее и с наименьшими потерями выйти из войны. Бесспорный и блестящий успех русской армии при отражении штурма 6 (18) июня не очень окрылил царя, а упорно продолжавшиеся в июне и июле бомбардировки Севастополя заставили его окончательно стать на такую точку зрения: севастопольский гарнизон систематически истребляется, и пополнения не могут вполне покрывать эти потери,— сдать Севастополь все равно придется. Так не лучше ли хоть дать решительный бой, выйти в поле и попытаться сделать то, чего не удалось сделать при Инкермане, т. е. сбросить неприятеля с окрестных высот и заставить его снять осаду. Если даже эта попытка не удастся, все-таки можно будет по крайней мере сказать, что сделано было все, что в силах человеческих,— и после этого оставление Севастополя будет уже вполне оправдано. В своих письмах к Горчакову Александр

не все договаривает, но мысль его вполне ясна. Горчаков этой мысли не разделял и, тоже считая положение безнадежным, не решался предпринять очертя голову такую авантюру, как нападение на союзную армию при явно невыгодных для нападающего условиях.

Но царь требовал сражения, а князь Горчаков по натуре своей не мог спорить с царями. К тому же еще Александр II усилил давление.

Был при петербургском дворе в то время барон Павел Александрович Вревский, генерал-адъютант, один из тех блестящих придворных генералов, которые без всяких усилий и заслуг делали легкую военную карьеру в залах Зимнего дворца. Барон Вревский быстро проникся убеждением в основательности царских предположений и был послан в Крым, чтобы достодолжным образом повлиять на Горчакова. Барон Вревский повел себя в Главной квартире как ментор и высший руководитель главнокомандующего. Официально он числился командированным от военного министерства для доставления министру сведений о положении дел в Крыму, а неофициально он как бы изображал и представлял собой особу, приехавшую со специальной целью комментировать высочайшие предначертания и внушать их главнокомандующему и его штабу. Но по всему, что мы знаем о Павле Вревском, это не был карьерист чистой воды (скажем, вроде флигель-адъютанта Альбединского) и не являлся только попугаем, повторяющим царские мысли и слова (каковым оказался, например, фаворит царя Адлерберг). Вревский явно и сам был убежден в необходимости дать генеральное сражение. И когда он увидел, к чему привела его непростительная настойчивость,— он заплатил жизнью за свою ошибку.

Уже начиная с письма от 6 (18) июня настойчивость Александра становится все заметнее. Он получил из Брюсселя сведения, что французы посылают под Севастополь подкрепления в 24 000 человек, а также говорят о предположении союзников двинуться к Перекопу (и, следовательно, отрезать Крым): «Поэтому надеюсь, что до того времени вы будете довольно в силах, чтобы начать наступательные действия, о которых вы упоминаете в последнем письме вашем от 29 числа. Если бог благословит ваши намерения и вам удастся нанести неприятелю сильный удар, то дела могут разом принять вовремя другой оборот и тогда едва ли можно опасаться за Перекоп» [1]. Проходит неделя, и царь возвращается к овладевшей им мысли. «Более чем когда-либо,— пишет он 13 (25) июня главнокомандующему,— *я убежден в необходимости предпринять с нашей стороны наступление* (подчеркнуто Александром II — *Е. Т.*), ибо иначе все подкрепления, вновь к вам прибывающие, по примеру прежних, *будут частями поглощены Севастополем как без-*

донною бочкою» [2] (подчеркнуто Александром II). Царь сообщает, что, по полученным им новым сведениям, общий штурм и атака с моря будут возобновлены союзниками в начале августа: «Поэтому желательно весьма, чтобы с приходом 4 и 5-й пехотных дивизий вы не медля предприняли бы решительные действия. Они без значительной потери не обойдутся, но с божиею помощью могут также иметь важный результат...» Вместе с тем царь делает оговорку, но такую, что она нисколько не уменьшает его личной ответственности: «Вот мои мысли, которые с обычною моею откровенностью вам передаю с тем, чтобы вы привели их в исполнение, *если сочтете это возможным* теперь же или позже, т. е. по приходе ополченья».

Значит, он развязывает руки Горчакову *только* относительно срока битвы, но не по существу вопроса! Горчаков явно боится планов царя. Он уже берет назад свои предположения, *высказанные в конце июля, и объясняет царю, что он тогда не* знал еще о новых сильных подкреплениях, которые получит неприятель. Теперь же (он пишет 14 (26) июля) он многозначительно оговаривается насчет предполагаемой атаки против неприятеля: «...решусь на нее только по необходимости: когда из худого придется выбрать менее вредное и более совместное с достоинством русского оружия, ибо неудача вероятно повлечет за собою падение Севастополя. Переходя к наступлению, мы постараемся сделать все, что можно ожидать от войска — вынужденного, по обстоятельствам, от него не зависящим, к неравному бою против неприятеля, превосходного численностью и занимающего сильные позиции. Исход дела будет во власти божией, мы же исполним свой долг» [3].

Горчаков уже не в первый раз писал подобное. Но он не решался категорически отказать, а царь старался не понять и не прочесть ничего между строк. И вот, в последних числах июля Горчаков получает новое письмо царя, отправленное из Петергофа 20 июля (1 августа): «Ежедневные потери неодолимого севастопольского гарнизона, все более ослабляющие численность войск ваших, которые едва заменяются вновь прибывающими подкреплениями, приводят меня еще более к убеждению, выраженному в последнем моем письме, *о необходимости предпринять что-либо решительное, дабы положить конец сей ужасной бойне* (подчеркнуто Александром II — *Е. Т.*), могущей иметь, наконец, пагубное влияние на дух гарнизона. В столь важных обстоятельствах, дабы облегчить некоторым образом лежащую на вас ответственность, предлагаю вам собрать из достойных и опытных сотрудников ваших военный совет. Пускай жизненный вопрос этот будет в нем со всех сторон обсужден, и тогда, призвав на помощь бога, приступите *к исполнению того, что признается наивыгоднейшим»* [4].

Вопреки прекраснодушным размышлениям М. И. Семевского, полагающего, что эти оговорки совсем избавляют царя от ответственности за катастрофу 4 (16) августа, моральная вина Александра II несомненна. Приведенные нами выдержки из этой роковой переписки показывают ясно, что старый, преждевременно одряхлевший царедворец М. Д. Горчаков, привыкший всю жизнь трепетать перед Паскевичем и Николаем, не осмелился категорически отказать царю, но все-таки ласковыми, смягченными фразами явно говорил своему высочайшему корреспонденту, что затеваемое сражение — затея, более чем рискованная, грозящая ускорением гибели Севастополя. А царь, отлично зная, что такое старик Михаил Дмитриевич, продолжал все время бить и бить в одну точку, требуя сражения, и только делал осторожные, никакого значения в данном случае не имеющие оговорки. Эти оговорки (я, мол, решительно хочу сражения, но, впрочем, вы — главнокомандующий; если боитесь ответственности, собирайте военный совет), эти двусмысленные фразы именно и писались вовсе не для Горчакова, а для будущих историков, на всякий случай. Да и не только для историков, но и для современников, на тот конец, чтобы возможный проигрыш сражения не был потом поставлен в пассив его императорскому величеству.

Горчаков решил тотчас по получении письма собрать совет, как ему внушал царь. Это предложение Горчакова собрать совет, «дабы облегчить ответственность», показывает, что Александр не только прекрасно знал Горчакова, но и был недурным психологом: ведь для Горчакова самым важным делом было угодить царю и вместе с тем не брать на себя полной ответственности, а царь рекомендовал ему нужный шаг.

Но раньше чем собрать военный совет, князь решил узнать мнение начальника гарнизона Остен-Сакена.

Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен никогда орлом не был. пользы от него защитникам Севастополя было мало, его маниакальная религиозность часто раздражала, смешила и приводила в недоумение севастопольских героев. Но была у Дмитрия Ерофеевича одна черта, в которой и враги ему не отказывали: существовал известный предел, за который переходить ему мешала совесть. Очень многое он мог потерпеть вокруг себя, на очень большие компромиссы мог пойти, на многое закрыть глаза и заткнуть уши, беспечально делая свою долгую и блестящую карьеру, но совершенно сознательно повести на убой несколько тысяч человек только потому, что царь ошибочно рассчитывает на успех, Остен-Сакен был совершенно неспособен. Судя по всему, он после гибели Нахимова уже полностью утратил веру в возможность отстоять Севастополь. Конечно, он допускал еще, что возможно и продолжение отчаянной, безнадеж-

ной обороны. Но надеяться на победу над неприятелем при немедленном открытом нападении на него Остен-Сакен считал нелепым. И он не скрыл своего суждения от главнокомандующего.

Впоследствии приверженцы Горчакова пытались представить дело так, что Остен-Сакен согласился с главнокомандующим и одобрил решение князя Михаила Дмитриевича исполнить желание царя. Это неверно.

Остен-Сакен категорически опровергает свою вину в катастрофе 4 августа. Он напечатал в 1874 г. свое очень ценное показание о роковом военном совете 29 июля 1855 г. Из этого показания видно, что он решительно осуждал «несчастную мысль бесцельно брать приступом Федюхины высоты, на которых,— в случае удачи, от одних неприятельских ракет и бомб, с близкой господствующей местности, с которой, как с птичьего полета, можно было пересчитать каждого человека,— и несколько часов удержаться было невозможно» [5]. Вину, прежде всего в непростительной болтовне, выдавшей неприятелю тайну подготовлявшегося нападения, Остен-Сакен возлагает всецело на штаб Горчакова: «В Главной квартире тайны никогда не сохранялись. Полагаю, причиною тому, отчасти, всем известная чрезвычайная рассеянность князя Михаила Дмитриевича (Горчакова — *Е. Т.*)». Таким образом, «неприятель был совершенно готов к встрече приступа».

Остен-Сакен, совершенно убежденный в неминуемом проигрыше затеваемого дела, подал Горчакову об этом 26 июля особый доклад [6]. В этом докладе Остен-Сакен доказывал, что хотя, действительно, Федюхины высоты — слабое место неприятеля, но он может оттуда без труда отступить «на грозную Сапун-гору». Вообще же неприятель занимает сосредоточенное положение на господствующей местности и в продолжение десяти месяцев не переставал укреплять свои позиции. Поэтому он может по произволу бросить в любую точку почти все свои силы, так как даже при совсем слабых заслонах эти укрепленные позиции русские не смогут взять иначе, как штурмом, с огромными потерями. Остен-Сакен находил, что лучше пытаться повести наступление на Чоргун и Байдарскую долину, но никак уж не на Федюхины высоты. Горчаков мучительно колебался. Это мы знаем из целого ряда показаний, и это подтверждается свидетельством самого Остен-Сакена: «Главнокомандующий прочел записку внимательно, *сказал, что он совершенно разделяет мое мнение, обнял меня и благодарил* (подчеркнуто Остен-Сакеном — *Е. Т.*). Но скоро после того, не знаю, собственным ли убеждением или посторонним влиянием, опять обратился к любимой своей мысли — брать Федюхины высоты».

2

29 июля 1855 г. в 10 часов утра Горчаков приказал собраться на военный совет в квартире начальника гарнизона Остен-Сакена: генерал-адъютанту, начальнику гарнизона Остен-Сакену, начальнику штаба гарнизона князю Васильчикову, начальнику штаба 4-го корпуса полковнику Козлянинову и приехавшему из Петербурга, командированному самим царем генерал-адъютанту барону Вревскому. Кроме них, приказано было присутствовать генералам Липранди, Хрулеву и Семякину. Ряд генералов подали свои мнения в письменном виде.

Совет начался с прочтения вслух коротенькой записки главнокомандующего. Сена для лошадей может хватить лишь до 15 октября. Даже если число лошадей уменьшится вполовину,— сена хватит лишь до половины января. После этого несколько странного, именно по своей, так сказать, частичности и случайности, вопроса, немедленно следовала постановка общего рокового вопроса: «Итак, ныне настало время решить неотлагательно вопрос о предстоящем нам образе действий в Крыму: продолжать ли пассивную защиту Севастополя, стараясь только выигрывать время и не видя впереди никакого определенного исхода, или же немедленно, по прибытии войск 2-го корпуса и курского ополчения перейти в решительное наступление? Вопрос этот предлагаю на ваше обсуждение и в дополнение оного, если мы не должны более оставаться в пассивном положении, то 1) какое действие предпринять? 2) в какое время?»

Постановка вопроса явно говорила о том, что главнокомандующий уже решил в положительном смысле первый вопрос и желает знать мнение присутствующих лишь по второму. Остен-Сакен один только решился возразить по существу против затеваемого дела. Он повторил свои соображения, которые высказал еще до совета князю Горчакову, и представил новые. У русских как в Севастополе, так и в полевой армии (у р. Черной) есть 90 000 штыков, у неприятеля 110—120 000, и, кроме того, он ожидает подкреплений. «Очевидно, что с какой бы стороны ни предпринять наступление, с Сапун-горы или Севастополя, перевес всегда останется на стороне противников». Если даже, после тяжких потерь, русским удастся соединенными силами гарнизона Севастополя и полевой армии занять Сапун-гору, то неприятель, узнав о выходе гарнизона из города, в это же самое время займет Севастополь и во всяком случае на другой же день атакует со свежими силами и разобьет ослабленное и утомленное русское войско. Еще хуже будет, если начнет наступление не полевая армия, но гарнизон. По мнению Остен-Сакена, если даже «в счастливейшем случае» гарнизону удастся овладеть Камчатским люнетом, 24-пушечной батареей

«Викторией» и Зеленой горой, то и тогда, на другой же день, «расстроенные войска наши, утомленные боем и ночной работой, голодные, с перебитыми начальниками, имея артиллерию, может быть, наполовину, должны будут на следующий день принять общее сражение со свежими неприятельскими войсками, сосредоточенными в продолжение ночи. Не трудно предвидеть последствия. Можно даже ожидать, что неприятель внесен будет в Севастополь на плечах наших». Остен-Сакен дальше привел такой подсчет потерь от начала осады Севастополя до 29 июля 1855 г. (когда происходил военный совет): от конца сентября, когда началась осада, до 1 декабря точных подсчетов потерь гарнизона нет, но Остен-Сакен считает, что потери были до 5000 человек; с 1 декабря 1854 по 28 июля 1855 г.— 48 023 человека, в Инкерманском бою (где была и вылазка гарнизона) — около 12 000 человек. Итого «для защиты Севастополя выбыло из строя до 65 тысяч человек».

При этом не подсчитаны громадные потери при полевых сражениях (кроме Инкермана) и от болезней. Дальше будет хуже,— и Остен-Сакен находит, что вскоре не станет «ни пороха, ни снарядов, ни, еще менее, продовольствия для лошадей, а при неимении для больных и раненых зимних помещений и при испорченных временем года дорогах для их перевозки, они подвергнутся гибели». Таким образом, и оставаться в оборонительном положении тоже нельзя... Какой же вывод? Остен-Сакен решился высказать его: «Со стесненным сердцем и глубокой скорбью в душе я, по долгу совести, присяги и убеждению моему, избирая из двух зол меньшее, должен произнести: единственное средство — оставление Южной стороны Севастополя. Невыразимо больно для сердца русского решиться на крайнюю ужасную меру... она глубоко огорчит гарнизон... В продолжение многих месяцев отталкивал я эту невыносимую мысль. Но любовь к отечеству и преданность к престолу превозмогли чувство оскорбленного народного самолюбия, и я, скрепя сердце, произнес роковую меру».

Итак, начальник гарнизона советовал в прочтенной им вслух записке оставить город. «Когда я окончил чтение, то князь Михаил Дмитриевич с выражением неудовольствия сказал: „Не оставлю!“ Я возразил: „Ваше сиятельство сердитесь на меня? Но вы требовали мнения, а мнение должно быть основано на убеждении“. Князь смягчился и сказал: „Нисколько не сержусь и благодарю вас“». Остальные члены совета, кроме Хрулева, высказавшегося за наступление на неприятеля, молчали. Они представили свои мнения в письменном виде. Горчаков остался при своем решении. После окончания военного совета начальник главного штаба армии отвел в сторону Остен-Сакена и сказал: «Я восхищаюсь вашим само-

отвержением, я хотел сказать то же самое, но у меня не хватило храбрости» [7].

Можно было последовать совету Остен-Сакена и немедленно уйти на Северную сторону. Можно было отвергнуть совет Остен-Сакена и оставаться в прежнем положении. Но рискованнее всего было сделать именно то, на что решился против собственного своего убеждения князь Горчаков: предпринять общее наступление на неприятеля. Ни один из аргументов Остен-Сакена не был опровергнут, ни один факт, который позволил бы надеяться на успех в замышленном отчаянном предприятии, не был представлен ни самим Горчаковым, ни бароном Вревским. Но в кармане у Горчакова лежали царские письма, а рядом сидел царский посланец Вревский. И старый главнокомандующий не решился поступить вопреки желанию императора.

«Мнения, представленные 29 июля (10 августа) 1855 г. главнокомандующему, по поводу предполагавшихся начаться наступательных действий» напечатаны полностью М. И. Богдановичем [8]. Коцебу подал голос за наступление, Липранди и Бутурлин — также, Ушаков — против наступления, Хрулев — за наступление, Семякин — против наступления, вице-адмирал Новосильский, Бухмейер, Сержпутовский — за наступление. Интересно отметить, что некоторые, подавшие голоса за наступление, в своих записках оговариваются: они считают маловероятным полный успех, т. е. занятие русскими войсками Сапун-горы и снятие осады с Севастополя. Между строк почти во всех записках, поданных за наступление, читается беспокойство и сомнение в успехе. Вообще в Севастополе знали, что, несмотря на относительное обилие голосов, поданных за наступление, эти голоса не очень искренни.

Судя по намеренно кратким, глухим показаниям А. Н. Супонева, на роковом военном совете 29 июля 1855 г. генералы указывали, что всякое сражение в тылу неприятельской армии опасно, что Федюхины горы, которые надлежало атаковать, неприступны, что наши переправочные средства неудовлетворительны, а берега Черной речки очень топки, что дальнобойных орудий для обстрела неприятельских позиций у нас очень мало... «Но лица, стоявшие за решительные действия, взяли верх». Горчаков не нашел в себе силы воспротивиться губительным настояниям барона Вревского, прибывшего из Петербурга «с приказанием подействовать на князя Горчакова в смысле побуждения его к более решительным мерам» [9].

Итак, Горчаков решил начать нападение на неприятеля. Наиболее подходящей датой было выбрано 4 (16) августа.

Накануне сражения, вечером 3 августа, верховный вождь Крымской армии, ведущий ее завтра на кровопролитный бой,

садится за стол и пишет военному министру следующее письмо: «Я иду на неприятеля, потому что если бы я этого не сделал, то Севастополь все равно был бы через очень короткое время потерян. Неприятель действует медленно и обдуманно, он собрал сказочную массу снарядов [10],— это видно даже невооруженным глазом. Неприятельские апроши сдавливают нас все более и более, и в Севастополе уже нет ни одного непоражаемого места, пули свищут на Николаевской площади. Не следует обманываться, я иду на неприятеля в отвратительных условиях. Его позиция очень сильна, на его правом фланге почти отвесная и очень укрепленная Гасфортова гора, по правую руку Федюхины горы, перед которыми глубокий наполненный водой канал, через который можно будет перейти только по мостам, наводимым под прямым огнем неприятеля. У меня 43 тысячи человек; если неприятель здравомыслен, он противопоставит мне 60 тысяч. Если,— на что я надеюсь мало,— счастье мне будет благоприятствовать, я позабочусь извлечь пользу из своего успеха. В противном случае нужно будет подчиниться божьей воле. Я отступлю на Мекензиеву гору и постараюсь эвакуировать Севастополь с возможно меньшим уроном. Я надеюсь, что мост через бухту будет вовремя готов и что это облегчит мне задачу. Благоволите вспомнить обещание, которое вы мне дали,— оправдывать меня в нужное время в должном месте. Если дела примут худой оборот, в этом вина не моя. Я сделал все возможное. Но задача была слишком трудна с момента моего прибытия в Крым».

Горчаков лег спать с глубоким, непоколебимым, нескрываемым убеждением, что он будет на другой день разбит и что значительная часть армии, которую он завтра бросит на неприступные высоты, без всякой пользы для дела, усеет тысячами своих трупов Федюхины высоты и подножие Сапун-горы.

3

Наступила ночь с 3 на 4 августа. Собственно все понимающие военное дело генералы были твердо убеждены, что на другой день произойдет катастрофа. «Генерал (Реад — *Е. Т.*) предчувствует, что он не переживет завтрашнего дня,— передавал ординарец;— тяжело было смотреть на старика». Выслушав это, генерал Скюдери сказал: «Реада томит одинаковое предчувствие с нами. Припомните мои слова: многих, в том числе и нас с Бельгардом, не досчитаются завтра в наших рядах, недаром гложет меня тоска» [11].

Таково было настроение Бельгарда и Скюдери, т. е. командиров Украинского и Одесского полков, которые должны были начать атаку...

Вот как рисуется дело в письме М. Д. Горчакова военному министру Долгорукову, писанном на другой день после сражения. Главная роль в диспозиции предназначалась двум генералам: Реаду и Липранди. Реад должен был со своими двумя дивизиями стать около Федюхиных гор, завязать артиллерийский бой, но не атаковать эти горы без специального, особого приказания от Горчакова. А генералу Липранди было приказано овладеть высотами близ Чоргуна. Дальше Горчаков предполагал двинуть пехоту обеих реадовских дивизий на подкрепление Липранди, а против Федюхиных гор оставить артиллерию Реада, которая и должна была продолжать обстрел, но отнюдь не делать попыток овладеть Федюхиными горами.

Несчастья начались в первый же момент. В четыре часа утра Липранди и Реад с частью резерва заняли указанные позиции. «Я (Горчаков — *Е. Т.*) послал тогда моих адъютантов сказать генералам Липранди и Реаду *начинать дело*» [12]. И тут произошла очень странная история, которой суждено навсегда остаться не вполне выясненной, потому что Реад был убит в начале боя и никому не сказал перед смертью, о чем он говорил с адъютантом Горчакова. Вот как излагает дело сам Горчаков. «В тот момент, когда мой адъютант передал ему вышеупомянутый приказ, он (Реад — *Е. Т.*) спросил, желаю ли я (Горчаков — *Е. Т.), чтобы он атаковал. Адъютант ему сказал: „Главнокомандующий только отдал приказ начать сражение (commencer le combat)“, на что Реад ответил: „Хорошо, я буду бомбардировать неприятеля“». А затем вдруг, по неизвестной причине, Реад, вопреки приказу, двинул свои дивизии прямо на Федюхины горы! «С этого момента я увидел, что дело было испорчено,— пишет Горчаков,— и, смотря на дивизии Реада, которые взбирались на гору, я был поставлен в необходимость направить им в подкрепление ближайшие войска, а именно 5-ю дивизию, находившуюся в резерве, и три полка от войск Липранди. Между тем неприятель притягивал значительные подкрепления к Федюхиным горам и окрестностям их. Он развернул на различных пунктах более 50 тысяч человек, а наши войска были введены в бой частями, и атака не могла более иметь никакого успеха, потому что обе разбитые дивизии Реада были уже отброшены от гор с огромною потерею. Надо было прекратить бой».

Такова версия Горчакова, явно желающего свалить всю вину на очень храброго и толкового генерала Реада, который будто бы даже не то что не понял приказа главнокомандующего (он будто бы даже сказал адъютанту слова, подтвердившие, что он прекрасно все понял), а, напротив, поняв приказ, ни с того, ни с сего немедленно начал действовать сознательно *вопреки* приказу. Это — нечто уже совсем невероятное. Мало

того. Существует целый ряд свидетельских показаний, ясно говорящих о том, что Реад и не мог совершить этого невероятного, абсолютно немыслимого поступка и что кто-то здесь лжет: или Горчаков, или адъютант. Дело в том, что в тот момент, когда адъютант подъехал к генералу Реаду, дивизии Реада уже *обстреливали* Федюхины горы, и редакция «Русской старины», напечатавшая относящиеся сюда документы, справедливо обращает внимание на то, что Реад никак и не мог истолковать слов «начинать дело» в том смысле, что должно лишь бомбардировать Федюхины горы. Как же еще «начинать» бомбардировать, когда он *уже* их бомбардирует?

Ясно, что Реаду было сказано что-то совсем другое, заставившее его двинуть дивизии в атаку.

Жаловаться на мнимое непослушание, на мнимую ошибку Реада князь Горчаков начал лишь тогда, когда обозначилась неудача атаки на Федюхины горы. Да и в диспозиции Горчакова, врученной им Реаду перед боем, подробно были разработаны детали боя с целью занятия этих гор, и ясно, что Горчаков видел главную цель именно в этом, а совсем не в нападении Липранди на Чоргун и высоты Гасфорта. Таким образом, в письме Горчакова содержится явное несоответствие с действительностью. Свалить все на Реада было тем удобнее, что и сам Реад и его начальник штаба были убиты, и главные полковники у Реада были перебиты, так что можно было не опасаться никаких разоблачений.

Одесский полк, идя в голове своей (12-й) дивизии, первый бросился к Черной речке, овладел предмостным укреплением и уже при подъеме на вылазку был в упор расстрелян неприятельской артиллерией. «Мне сказывали потом французские офицеры, что при атаке Одесского полка наша цепь вся легла на высотах и можно было сосчитать каждую пару. Не нашлось ни одного, который бы оставил свое место»,— говорит участник боя. Сам генерал Веймарн был убит наповал вскоре после того, как, согласно приказу Реада, велел 12-й дивизии идти в атаку. Бросились к генералу Реаду, чтобы сообщить ему о гибели начальника его штаба. Еще издали видели Реада на том же месте, на котором он стоял, когда отдавал роковой приказ об атаке Веймарну. Но пока скакали к Реаду, он пал, смертельно раненный [13].

12-я и 5-я дивизии, одна за другой, были брошены в атаку на так называемый Трактирный мост. Французы были отброшены, и русские войска, перейдя через реку, устремились на высоты Федюхиных гор. Французы, получив немедленно подкрепление, после отчаянного боя отступили через Трактирный мост. На подмогу сильно потрепанным 12-й и 5-й дивизиям поспешила 17-я дивизия, но пока она приближалась к Трактир-

ному мосту, к французам явились две дивизии (генералов Левайана и Дюлака) и прибыл сам Пелисье с полками императорской гвардии [14]. Таким образом, уже сильно измотанные и потерпевшие дивизии генералов Эрбильона и Фоше вовремя получили огромный перевес на этом месте боя над русскими войсками. Все попытки русских снова и снова атаковать уже очень прочно занятые неприятелем высоты оказались тщетными.

Командир Одесского егерского полка, полковник Скюдери, погиб вместе со всем своим полком. Скюдери принесли на перевязочный пункт с тремя штыковыми, четырьмя пулевыми и двумя картечными ранами. Он скончался через несколько минут.

4

У нас есть еще показания Д. А. Столыпина, уточняющие все сказанное. Он в этот день был ординарцем при генерале Веймарне, начальнике штаба группы войск, находившихся под командой генерала Реада. Нужно сказать, что штаб Реада, начиная с Веймарна, плохо понимал, какой смысл имеет явно безнадежная затея Горчакова, и когда Столыпин попросил Веймарна объяснить ему это, Веймарн ответил, что «даже в случае успеха, если мы овладеем высотами, то к ночи все-таки должны будем отступить», а сражение, по его догадке, затевается, только чтобы «отвлечь на время внимание неприятеля от Севастополя», пока еще не достроен мост через бухту. Таково было настроение людей, посылаемых в этот роковой день на явную смерть. Нужно было отдать жизнь, чтобы занять неприступные Федюхины высоты и, в *самом лучшем случае,* через несколько часов уйти обратно и возвратить их неприятелю. У Реада было три полка 12-й дивизии, 7-я резервная в трехбатальонном составе полков, один кавалерийский полк и 62 орудия (6- и 12-фунтовых). Реад обстреливал (вполне безрезультатно), согласно диспозиции, своей артиллерией крутые уступы Федюхиных высот, когда к нему подъехали Веймарн и Столыпин. «„Генерал, нужно атаковать!“ — сказал Реад Веймарну. Веймарн, как бы недоумевая, отвечал, что наши войска не стали еще в линию, именно на правом фланге еще не было нашего кавалерийского полка»,— рассказывает Д. А. Столыпин. И тут Реад произнес слова, уличающие князя Горчакова в неправде. «Я не могу ждать. Я имею приказание от князя»,— *отвечал решительно* Реад. Так передает единственный свидетель разговора Реада с Веймарном, которые оба были убиты наповал спустя несколько часов. Столыпин так точен и добросовестен, что когда передает дальше известную нам из других показаний версию, что Реад именно так и понял слово «начи-

нать», как только возможно было понять его, то оговаривается, что сам он лично не присутствовал при передаче приказания и при ответе Реада адъютанту Горчакова: «Я понимаю, что это значит атаковать. Скажите князю, что я атакую и прошу прислать подкрепления». Тем бо́льшую цену имеет вышеприведенное его показание [15].

Так началась эта безнадежная атака Федюхиных высот. Артиллерию нельзя было переправить через речку, русские батальоны один за другим переходили через перекидные мосты, и неприятель косил их убийственным огнем, сам оставаясь за прикрытием почти невредимым. К Реаду подошел солдат, отставил ружье правой рукой и сказал: «Ваше превосходительство, дайте нам резерв! — Кто тебя прислал? — Товарищи.— Где же офицеры? — *Они убиты*». Таково было начало дела... Реад ответил солдату, что у него резервов нет, а когда подойдут, он их сейчас же пришлет. «Солдат вскинул ружье на плечо и отправился обратно к товарищам за речку» [16].

Горчаков прислал в подмогу погибавшей 12-й дивизии 5-ю дивизию. Страшный картечный и ружейный огонь встретил 5-ю дивизию, когда она в свою очередь стала подниматься на Федюхины горы. «Огонь был так силен, что над нами стоял как бы сплошной слой картечи и пуль». Батальоны на мгновение замялись, но Веймарн крикнул несколько слов ободрения, и солдаты двинулись вновь. Спустя несколько мгновений французская пуля пробила череп Веймарну. Раненный в бок Столыпин взял трех солдат, чтобы перенести тело Веймарна, но солдаты (из Костромского полка) стали проситься отпустить их к их батальону, погибавшему в этот момент под картечью. Солдаты говорили, что «их долг вернуться к батальону». Вообще надивиться нельзя было, с каким спокойным мужеством, с каким непоколебимым самоотвержением вели себя русские войска в этот роковой день, хотя они тоже не хуже офицеров, не хуже самого Реада или Веймарна понимали всю безнадежность затеянного дела. Когда пал Реад и был перебит весь его штаб, когда многие батальоны остались совсем без офицеров, солдаты не желали уходить и падали шеренга за шеренгой, устилая трупами Федюхины высоты.

Военные критики сражения при Черной речке недоумевали и возмущались не только нелепым, невозможным основным заданием — взять штурмом, в лоб, отвесные прекрасно укрепленные высоты, выбив оттуда армию, в полтора раза бо́льшую, чем силы атакующего, но они удивлялись также и образу действий Горчакова, вводившего в сражение по частям, прямо на убой, сначала 12-ю, потом 7-ю, затем 5-ю, 17-ю дивизии, бросая полк за полком в битву, не установив между ними никакой связи. Он как бы забывал о них и никакой поддержки ни разу

за все часы битвы ни одной из этих частей не оказал. Но в этом губительном *постепенном* введении в бой последовательно истребляемых неприятелем частей обвиняли не только Горчакова, но и генерала Реада.

Как это часто бывает, возмущение за бесцельно и бессмысленно погибших людей искало непосредственного виновника и нашло его в бароне Вревськом. До царя было далеко, да и июльской переписки его с М. Д. Горчаковым никто тогда еще не знал; самого М. Д. Горчакова считали слабовольным стариком, поддавшимся чужому внушению, а в генерал-адъютанте Вревском, всячески подбивавшем главнокомандующего, именно и увидели истинного виновника бесполезного, страшного побоища. Справедливость требует заметить, что, по-видимому, сам барон Вревский понял всю моральную невозможность для себя лично вернуться здравым и невредимым с поля битвы. Он побывал в самых опасных местах боя. Осколком ядра убило под ним лошадь, и он упал на землю. Сейчас же пересев на другую, он тихим шагом поехал к Горчакову, который стал убеждать его хоть на время удалиться и оправиться от ушибов. Вревский остался. Другое ядро сорвало с него фуражку движением воздуха и контузило его. Вревский не трогался с места. Третье ядро раздробило ему голову [17]. Горчаков объезжал первую линию войск, когда ему доложили о смерти барона Вревского. Князь как будто этого только и ждал: он приказал находившемуся при нем начальнику Курского ополчения отвести войска с поля битвы к Мекензиевой горе [18].

Началось общее отступление, и к трем часам дня в кровавой долине Черной речки остались лишь трупы и раненые.

По официальным данным, потери русских были таковы: 260 офицеров и 8010 нижних чинов. Но по частным сведениям, потери доходили до 10 000. Фельдмаршал Паскевич, например, считал, что русских выбыло из строя 4 (16) августа именно 10 000 человек. Потери союзников были равны, по официальным (явно преуменьшенным) французским данным, 1747 человекам, причем убитых было будто бы всего 196 человек, а раненых 1551 человек. Более достоверна общая цифра потерь союзников в 1800 человек с небольшим (из них убитыми всего 172 солдата и 19 офицеров). Позиции союзников были исключительно сильны; били они по русским войскам, сами будучи отлично прикрыты от действия нашего артиллерийского и ружейного огня.

В заключение привожу до сих пор не появлявшуюся в печати общую картину сражения, данную его участником князем Д. А. Оболенским в письме к его тестю графу С. П. Сумарокову. Письмо точно не датировано, но писано в первые же дни после события. Как читатель увидит, лживая уловка Горчакова, же-

лавшего свалить на Реада всю ответственность за несчастье, была вполне ясна его ближайшим подчиненным (Оболенский состоял при нем адъютантом) [19].

«Вам уже известно последствие дела, бывшего у нас 4-е Августа. Подробности его вам, может быть, еще не вполне известны. Я постараюсь вам их описать как знаю, основываясь на диспозиции и на том, что я видел, находясь во время дела при Главнокомандующем.

Начну с того, что несколько рекогносцировок, сделанных предварительно разными начальниками той местности, которую хотели мы атаковать, и перебежчики сделали совершенно известным неприятелю намерение наше атаковать его позицию на Черной речке. Так что они совершенно были готовы нас встретить.

Мне известно, что с сегодняшним курьером посылается диспозиция дела 4 Августа Фельдмаршалу, потому вероятно вы ее будете иметь и тогда подробно узнаете план атаки. Вкратце вот в чем план атаки состоял: Две дивизии (7-я и 12-я) под командою Ген. Реада должны были атаковать неприятельскую позицию, открыв артиллерийский огонь в 4 час. утра (но для перехода через Черную речку велено было ожидать особого приказания). Ген. Липранди с двумя другими дивизиями 6-й и 17 должен был атаковать так называемую Телеграфную гору и потом занять Гасфортову гору, у сел. Горгун находящиеся. Ген. Реад с своими дивизиями составлял правый фланг, а Ген. Липранди левый боевой линии. Две дивизии были в резерве (4-я и 5-я). Вся кавалерия (4 полка драгун и 2 улан) также находилась в резерве, а за кавалерией расположен был артиллерийский резерв.

В ночь с 3-го на 4-е Августа войска Ген. Реада и Ген. Липранди должны были спуститься с Мекензиевой горы и расположиться в долине. Все резервы оставались на горе и с рассветом должны были начать спускаться. Все было исполнено согласно диспозиции. На рассвете Главнокомандующий сам был уже в долине при войсках. Ген. Реад согласно диспозиции приказал артиллерии, выдвинутой вперед, открыть огонь по Федюхиной горе. Несмотря на приказание, отданное в диспозиции, Главнокомандующий послал своего адъютанта сказать ген. Реаду, чтобы он начал дело. Адъютант приехал и передал приказание Ген. Реаду, когда его артиллерия уже действовала. Ген. Реад думал, что это приказание значит идти вперед и атаковать пехотой Федюхину гору, и спросил адъютанта, так ли он понимает приказание Главнок[омандующего]. Адъют[ант] отвечал, что не знает, но передает слово в слово приказание Главнокомандующего „начать дело". Тогда Ген. Реад обратился к своему начал[ьнику] Штаба и спросил его, как он понимает.

Нач. Штаба сказал, что понимает так, что следует переходить речку (в диспозиции сказано было ожидать особого приказания, чтобы идти на Федюхину гору).

Ген. Реад отдал приказание своим дивизиям переходить Черную речку и взять Федюхину гору. 12-я дивизия пошла первая, а перейдя через Каменный мост и в брод левее Каменного моста речку, опрокинула цепь стрелков, взяла завалы, устроенные неприятелем на полугоре, и заставила сняться батарею, находившуюся тут. Некоторые солдаты успели даже заклепать два орудия, но встреченные потом батальным огнем наши не могли удержаться и начали отступать. Двух полков полковые командиры были убиты и многие из батальонных и ротных командиров убиты или ранены. 7-я дивизия почти одновременно перешла речку с 12-й дивизией, но правее ее, и подверглась той же участи, как и 12-я. 5-я дивизия, посланная Главнокомандующим на подкрепление 12-й и 7-й, пришла, когда уж обе дивизии в полном отступлении, и потому она поддержать их уже не могла.

Ген. Липранди взял без большого усилия Телеграфическую гору и поставил на ней батарею, которая обстреливала Гасфортову гору, но далее идти не мог, пока Федюхина гора не была нами занята. Одна бригада 17 дивизии была тоже обращена для взятия Федюхиной горы, но подверглась участи первых двух дивизий, атаковавших гору.

Войска шли с геройским самоотвержением, в особенности 12-я дивизия. Солдаты Одесского полка, несмотря на убийственный огонь, направленный против них, не хотели отступать из занятых ими траншей.

Артиллерия действовала весьма хорошо, по с невыгодных позиций, почти все батареи действовали снизу вверх, будучи расположены в долине Черной речки.— Спуск с Мекензиевой горы так затруднителен, что резерв Артиллерийской только спускался еще с горы, когда все дело было кончено (дело продолжалось не более 3-х часов). Поэтому в известный момент нельзя было усилить артиллерию. А принесло бы нам не малую пользу, ежели возможно было бы артиллерию усилить.

Отступление совершилось в порядке и неприятель не покушался нас преследовать, кавалерия прикрывала наше отступление, но в дело никакое не вступала.

Мы заняли прежнюю нашу позицию, не сделав неприятелю никакого почти вреда, а сами понесли не маловажный урон. Три генерала убиты и четыре ранены. До четырехсот штаб- и обер-офицеров убитых и раненых и до девяти тыс. нижних чинов выбыло из строя.

Грустно обо всем этом писать, но утешительно то, что дух в войсках не упал и в Севастополе по-прежнему стоят крепко

против всех покушений врагов. Начиная с 5-го августа неприятель все эти дни сильно бомбардирует наши бастионы, переходя от одного к другому.

Чем-то бог даст все это кончится? и когда?..»

5

О сражении на Черной речке с потрясающей силой писал с одра болезни умирающий князь Паскевич. Это письмо его к Горчакову, продиктованное 16 сентября 1855 г., является документом, мимо которого не может пройти ни историк, ни психолог. Вспоминаются горькие слова из тургеневских «Стихотворений в прозе» — совет укорять других в пороках, которые чувствуешь сам за собой: упреки выйдут искренними и сильными, потому что, делая их, вы можете воспользоваться укорами собственной своей совести.

Ведь в чем больше всего упрекает старый фельдмаршал князя Горчакова? Что тот не имел достаточно гражданского мужества, чтобы воспротивиться желанию царя дать абсолютно бесполезное сражение, погубившее несколько тысяч человек. В другом месте мы уже отметили, давая общую характеристику Паскевича, что защитники памяти Горчакова справедливо указывали, что сам Паскевич виновен именно в том самом, в чем он укоряет Горчакова: в отсутствии гражданского мужества, что проявилось во всем его поведении перед началом и во время Дунайской кампании, которую Паскевич одобрил против своего убеждения, не решившись противоречить Николаю. Но тут нас интересует, по существу, критика рокового сражения. Самый план Паскевич называет «делом несбыточным» и говорит, что Горчаков пошел «напролом, по-русски, на-авось атаковать позицию, которая, как вы сами (т. е. Горчаков — *Е. Т.*) говорите, сильнее севастопольских укреплений». Разбирая отчет о сражении, фельдмаршал «приходит к грустному убеждению, что оно принято без цели, без расчета и без надобности и, что хуже всего, окончательно лишило вас возможности предпринять что-либо впоследствии». Горчаков в свое время писал Паскевичу, что «наступательное движение это было в видах государя императора, и притом было необходимо для удовлетворения общего мнения России...» Тут Паскевич иронически замечает: «точно Бородинское сражение было необходимо прежде отдачи Москвы!» Паскевич выписывает еще из письма к нему Горчакова слова, что князь Михаил Дмитриевич сам «мало рассчитывал» на успех, и затем отвечает по пунктам: «1) Непростительно главнокомандующему писать, что наступательное действие это было в видах государя императора. Главнокомандующий, в известных

случаях, должен жертвовать всем для спасения армии, а не обвинять государя, находящегося в 1300 верстах. 2) Государь, пославший в Крым, за исключением гвардии и 1-го корпуса, всю свою армию, был в праве требовать от главнокомандующего, чтобы он что-нибудь да делал, но ни государь, ни Россия не могли предвидеть, что армию поведут, так сказать, на убой. 3) Никогда не поверю, чтобы государь приказал вам идти на верное поражение, зная из ваших донесений, что укрепления на Федюхиных горах сильнее севастопольских. Если бы вы даже получили такое повеление, тогда вам, как хранителю русской чести, оставалось изложить то, что совесть и долг вам указывали. А что вам указывали совесть и честь? Откровенное сознание перед государем в невозможности исполнить его волю и затем просить отозвать вас из армии, как человека, не оправдавшего доверия. Вот как вы должны были поступить, и тогда на душе вашей не лежала бы кровь десяти тысяч жертв, погибших под Черной только потому, что вы не осмелились чистосердечно изложить свое мнение!»

Переходя к более частным вопросам, Паскевич с негодованием говорит о злостной попытке Горчакова свалить всю вину за проигранное сражение на убитого Реада: «Решившись обвинять Реада, излишне было бы искать и другие причины к оправданию, ибо нет ничего удобнее, как сложить все на мертвых. Так и хочется прибавить к этому: мертвые бо сраму не имут!» Паскевич явно имеет в виду всеподданнейшее донесение Горчакова (где именно вся вина лживо свалена на Реада), когда пишет далее: «Храбрый Реад и достойный начальник его штаба Веймарн, павшие жертвами при исполнении невозможного предприятия, не могли бы вам отвечать из своих могил, и история внесла бы в свои скрижали имена Реада и Веймарна как виновников для России дня 4-го августа». В письме много говорится еще и об обстоятельствах ухода войск на Северную сторону и т. д., но нас тут интересовало лишь то, что касается сражения на Черной речке: «Вы жили день за днем, никогда не имели собственного мнения и соглашались с тем, кто последний давал вам советы. В заключение я не могу умолчать, что задняя мысль, руководившая вами при составлении обзора ваших действий, была уверенность, что никто вам возражать не будет и по истечении некоторого времени все, что вы писали, будет признано фактом историческим. Хитрости сего рода часто удаются в России» [20].

Диктуя это уничтожающее письмо, Паскевич знал, что оно не скоро сможет стать общим достоянием, но был убежден (и точными словами выразил свое убеждение), что «рано или поздно они (замечания его по поводу деятельности Горчакова — *Е. Т.*) займут место в военной истории России». И в са-

мом деле, принципиальных возражений критика Паскевича, относящаяся к сражению при Черной речке, по существу не встретила.

И русские, и французские, и английские свидетельства сражения при Черной речке в одном совершенно единодушны: русский солдат от начала боя до конца его вел себя с изумительной стойкостью и героизмом.

Скупой на слова и нисколько не склонный к лирике Д. А. Столыпин никогда не забывал впечатлений Черной речки: «Дрались войска хорошо и выносили геройски все муки и тяжести войны; выносили они, может быть, более, чем то казалось возможным ожидать от человеческой силы» [21].

А после Черной речки наступили дни, когда требовались истинно сверхчеловеческие моральные силы от русских воинов. И эти силы оказались в наличии. Уже на другой день после Черной речки, 5(17) августа, началась ужасающая по интенсивности и непрерывности огня бомбардировка Севастополя, которая уже почти не прекращалась вплоть до последнего штурма.

Глава XVIII

ШТУРМ 27 АВГУСТА (8 СЕНТЯБРЯ) 1855 г.

1

После сражения на Черной речке стало очевидным для всех, что Севастополь доживает последние дни. «Я решился не отходить на Северную часть, а продолжать защищать Южную с упорством, до того времени, пока уже не увижу невозможность отбить штурм. Конечно, мы будем между тем нести большой урон и, может быть, даже не отобьем штурма»,— так писал Горчаков Александру 14 (26) августа 1855 г. Для некоторого смягчения он, правда, прибавляет: «Может случиться, что нам удастся отбить неприятеля... и принудить (его — *Е. Т.*) ...снять осаду», но явно сам не верит в такую возможность.

Александр II тоже себя не обманывал. «Да поможет нам бог до конца выдержать тяжкое испытание, свыше нам ниспосланное. Вы поймете, чтó в душе моей происходит, когда я думаю о геройском гарнизоне Севастополя, о дорогой крови, которая ежеминутно проливается на защиту родного края. Сердце мое обливается этою кровью, тем более, что горькая чаша эта досталась мне по наследству...»

Но, готовясь уже к потере Севастополя, царь не думал, что этим кончится война, предлагал Горчакову готовиться к зимней кампании, торопил подход ополченских дружин из Средней России к Севастополю, просил о высылке кадров расформированных батальонов [1].

Тяжелая тревога царила в Зимнем дворце и обеих столицах. «После неудач нашей армии на Черной речке положение со дня на день становится все более и более отчаянным. Бомбардировка усиливается, мы теряем массу людей. Севастополь превратился в ад, день и ночь осыпаемый дождем огненных снарядов. В обществе ходят... слухи о том, что решено эвакуировать Южную сторону города. Мы провели вечер в мрачном и печальном настроении, еле-еле перекидываясь несколькими словами.

У каждого из нас на душе одна мысль, одна забота, и ни у кого нет ни желания, ни смелости говорить. Я избегала даже смотреть на императора и императрицу, чтобы не видеть глубочайшей тревоги, отражающейся на их лицах»,— записала в своем дневнике 19 августа 1855 г. фрейлина Анна Федоровна Тютчева [2].

Верки Малахова кургана стали деятельно и систематически возводиться только с конца ноября 1854 г., т. е. значительно позже, чем укрепления на правом русском фланге [3]. Но затем Тотлебен, всегда настаивавший на том, что Малахов курган — ключ к Севастополю, успел создать могучую оборонительную линию, с верками значительного профиля, тянувшимися от Малахова кургана до 6-го бастиона и защищавшими таким образом всю Корабельную сторону. Нужно заметить, что в работах по укреплению Малахова кургана в точном смысле слова Тотлебен был не так свободен, как при других своих постройках, потому что адмирал Истомин, в ведении которого находился курган, не во всем соглашался с гениальным инженером. Так обстояло дело до самой смерти Истомина в марте 1855 г.

Постройка Селенгинского и Волынского редутов и Камчатского люнета сильно защитила Малахов курган, и подступы к нему обнажились в опасной степени лишь после 26 мая (7 июня), когда все эти три укрепления были потеряны.

Генерал Пелисье именно потому и решил через каких-нибудь полторы недели после взятия этих передовых укреплений штурмовать Малахов курган и через Корабельную сторону, овладев Малаховым курганом и батареей Жерве, прорваться в Севастополь. Тяжкое поражение, которое русские войска нанесли неприятелю в день штурма 6 (18) июня, показало обоим главнокомандующим союзных армий, что «плод еще не созрел», как выразился один из французских участников штурма. Но теперь и неприятель понял, наконец, то, чего в первые месяцы осады еще не оценил в достаточной мере: все колоссальное значение господствующего положения Малахова кургана.

Слухи, доходившие и до Горчакова от лазутчиков и перебежчиков, и до Петербурга непосредственно через Берлин, Брюссель и другие нейтральные столицы, говорили о готовящемся в начале или середине августа общем штурме. Эти слухи не лишены были серьезных оснований: Пелисье непременно желал повторить штурм, не очень откладывая его, так как можно было предвидеть, что император Наполеон III может, наконец, решиться послать категорическое предписание бросить временно осаду и со всеми силами устремиться на стоявшую у Бельбека и у Черной речки полевую русскую армию. Наполеон был раздражен и тем, что Пелисье, вопреки его явно выраженной воле,

штурмовал Севастополь 18 июня, и, конечно, больше всего тем, что штурм провалился. Победителей не судят, но побежденных судят, и Пелисье в Париже судили строго. Ему нужно было торопиться,— и Александр II и Горчаков оттого и решились дать сражение 4 (16) августа, чтобы предупредить штурм.

На другой же день после русской неудачи на Черной речке Пелисье, желая не дать русской армии опомниться, начал жестокую бомбардировку города. И уже эта бомбардировка 5 (17) августа была направлена больше всего на Малахов курган и другие укрепления Корабельной стороны. Собственно, с 5(17) августа бомбардировка уже не прекращалась ни на один день вплоть до финальной катастрофы. Она только вдруг замирала на несколько часов, а иногда яростно усиливалась. Русская артиллерия по числу орудий не уступала в эти страшные три недели неприятельской. С русской стороны действовали 1200 орудий, со стороны же неприятеля 300 больших мортир и 800 других орудий [4]. Но у русских не было и одной сотни мортир, запасы разрывных снарядов были меньше неприятельских, запасы пороха совсем малы, а к концу этих трех с лишком недель велено было расходовать снаряды экономно. Трудно было проводить эту экономию, когда у нас бомбардировка выбивала от 2000 до 2500 человек ежедневно. Но что же было делать? Никто не сомневался, что после этой ужасающей по силе, продолжительности и непрерывности канонады города последует общий штурм. Для штурма и приходилось беречь последние боеприпасы.

В первые дни этой августовской бомбардировки таких огромных ежедневных потерь еще не было, но укрепления уничтожались одно за другим. «Неприятельские батареи,— говорит участник боев,— то залпами из всех орудий, то беглым артиллерийским огнем... поражали людей: щиты из троса были разбиты и пули поражали прислугу сквозь амбразуры. Мы теряли в сутки от 600 до 1500 человек, но продолжали по ночам, под картечным огнем с ближних батарей атакующего, исправлять повреждения; труд напрасный: камни и сухая земля не имели никакой связи, и каждый удар снаряда разрушал снова то, что стоило страшных усилий и жертв. Насыпи уже отказались прикрывать своих защитников, гибнувших тысячами, но с мужеством продолжавших непоколебимо стоять под губительнейшим огнем, ожидая мгновения, когда враг бросится на штурм, чтобы грудью остановить его стремление и штыками выбросить за развалины своих окопов» [5].

В ночь с 16 (28) на 17 (29) августа русская пятипудовая бомба ударила во французский пороховой склад, устроенный на бывшем Камчатском люнете, пробила каменный свод и разорвалась в погребе. В складе было в тот момент 2000 пудов пороха.

Все взлетело на воздух. Грохот был так оглушителен, что на русских бастионах спавших людей подбросило вместе с постелью [6].

Примерно с 15 (27) августа неприятельский огонь стал ослабевать, и числа с 20-го наши ежедневные потери были чуть ли не вдвое меньше, чем в первые дни после битвы на Черной речке. Но вот на рассвете 24 августа (5 сентября) канонада началась с такой страшной силой, что положительно можно было ожидать в тот же день общего штурма. Огонь, наиболее ожесточенный, был направлен на Корабельную сторону и особенно на Малахов курган, но бомбардировка велась буквально из всех орудий, которыми владел неприятель, так что не было участка на оборонительной линии, да не было уже и места в городе, куда не достигали бы снаряды. Верки, орудия, ящики со снарядами на левом русском фланге взлетали на воздух. Русские воины ожесточенно отстреливались. Весь день и всю ночь продолжался ураганный огонь. За эти сутки союзники выпустили около 70 000 ядер и около 16 000 бомб и гранат и перебили больше 2000 человек [7].

На правом фланге в ночь с 24-го на 25-е работали, поправляли полуразрушенные верки, делали насыпи, убирали трупы и подбитые орудия. Все это происходило под непрекращающимся, хотя и более слабым, чем днем, огнем неприятеля. Но на левом фланге, особенно у Малахова кургана, исправления почти не производились, потому что разрушения оказались слишком уж велики. В городе с утра 24-го вспыхнул ряд пожаров.

В эти последние севастопольские дни неприятель громил непрерывно не только всю оборонительную линию и самый город, но и бухту. 24 августа сгорел транспорт «Дунай» от попавшего в него разрывного снаряда, 25-го числа погиб фрегат «Коварна», 26-го у Николаевской пристани взлетел на воздух баркас с драгоценнейшим грузом: 140 пудами пороха, при этом силой взрыва был затоплен и другой баркас, рядом находившийся, и тоже с грузом в 140 пудов пороха [8].

С ночи на 24 августа бомбардировка неслыханно усилилась. В среднем каждые сутки погибало до 2500 и более защитников города. Отстреливаться становилось все труднее: не хватало пороху, а местами и снарядов. Город горел в нескольких местах, и пожаров уже не тушили; нельзя было пробраться к горевшим зданиям, и почти уже не было противопожарного оборудования. Ночью, за много километров от Севастополя, слышен был непрерывный грохот, а темное южное небо казалось пронизанным огненными полосами. Взрыв порохового склада на Николаевской набережной 26 августа был только самым страшным по размерам, но далеко не единственным: взлетали на воздух вместе с людьми пороховые запасы на отдельных бастионах.

Уже с 25 августа Карпов, начальник 4-го отделения, к которому принадлежали 2-й бастион и Малахов курган, известил штаб, что курган находится в тяжелом состоянии, и просил немедленно прислать рабочих для исправления повреждений и артиллеристов к орудиям. 25 августа была среда, и Карпов заявил, что если не принять указанных мер, то в пятницу (т. е. 27 августа) курган будет взят. Уже после отправления донесения, к вечеру 25-го и в ночь с 25-го на 26-е, огонь, направленный неприятелем на Малахов курган, усилился в неслыханной степени, тогда как на других участках стал (как и всегда в продолжение осады) слабее, чем был днем. Уже нельзя было ночью исправлять повреждения, как всегда удавалось до сих пор делать саперам и рабочим. «К утру 26-го курган был в худшем состоянии, чем накануне. Это было *первое* такое утро во всю осаду» [9]. Хуже всего было то, что из 63 орудий Малахова кургана уцелело всего восемь, обращенных к неприятелю, и 14, обращенных к Корабельной стороне. Бомб и ядер было очень мало. 26 августа Малахов курган мог уже очень слабо отстреливаться. К счастью, соседняя с ним батарея Жерве защищала его,— там запас бомб и ядер оказался не так истощен, как на Малаховом. Ночь с 26 на 27 августа, последняя ночь Малахова кургана, была еще ужаснее предыдущей.

Кончился день 26-го. Канонада не прекращалась.

2

Наступило 27 августа (8 сентября) 1855 г., 349-й день обороны Севастополя. Вдруг, в утренние часы 27 августа, неприятельский огонь стал слабеть и даже сделался слабее, чем был в какой бы то ни было час за последние три дня, начиная с рассвета 24-го числа, хотя и в предшествующие три дня враг всегда уменьшал огонь, начиная с 9 часов утра. Но уже с 11 часов утра русские наблюдательные посты с Инкерманских высот заметили необычное движение неприятельских резервов к передовым траншеям перед Корабельной стороной. Инкерманский телеграф в начале 12-го часа сигнализировал об этом тревожном факте в Севастополь. Тут случилась досаднейшая ошибка: телеграф вместо сигналов, обозначающих *«сильные колонны идут на Корабельную»,* дал сигналы, обозначающие *«неприятельский флот идет на Корабельную».* Как могла случиться подобная оплошность, я нигде объяснений не нашел, а Константинов, передающий самый факт, тоже оставляет его без объяснений и только прибавляет: «разумеется, сигнала не поняли и послали из города на телеграф за объяснением». Если бы ждали возвращения посланного, то, конечно, так и не узнали бы вовремя о готовящемся штурме, потому что посланный в Инкерман не мог успеть

вернуться. Но, к счастью, еще на рассвете солдаты с Малахова кургана, высланные в секреты, заметили и донесли, что неприятельские войска одеты в полную форму. Об этом «было донесено и растолковано, что в этот день быть штурму, но никак не ожидали его в полдень».

И все-таки, хоть вследствие непростительной оплошности телеграфа и не ждали штурма именно в полдень, но готовились к нему. Да и вообще уже с 24-го числа не переставали его ждать.

В полдень грянули разом три залпа из всех неприятельских орудий, и французы, внезапно выйдя из траншей, беглым шагом устремились на Малахов курган. От самых передовых траншей, откуда вышли французские густые цепи, до Малахова кургана было всего 18 саженей, и дорого бы достались эти сажени неприятелю, если бы Малахов курган мог встретить их так, как он их встретил во время штурма 6 (18) июня. Но Малахов курган на этот раз молчал... Его орудия были почти все выведены из строя, артиллерийская прислуга перебита, и штурмующий неприятель вбежал на курган. Но это было лишь началом, а не концом борьбы за Малахов. Одновременно французам удалось захватить два бастиона и оборонительную стену, шедшую от 2-го бастиона до Малахова кургана. Но тут последовала бурная русская контратака Кременчугского полка, двух батальонов Олонецкого, батальона Белозерского и знаменитого Севского полка, рота которого под начальством Хрулева обессмертила себя во время штурма 6 (18) июня, отбив тогда Малахов курган. Бросившись в штыки, защитники Севастополя выбросили вон французов из всех занятых ими только что мест, кроме Малахова кургана. Но и все то пространство перед Малаховым, которое в первый момент штурма французам, как сказано, удалось пробежать почти беспрепятственно, стало обстреливаться бомбами с пароходов «Владимир», «Херсонес» и «Одесса», которые подошли к Килен-балке. Отхлынувшие к своим траншеям французы оправились и снова устремились на штурм. И снова были отброшены штыковым ударом. Тогда неприятель решил перед третьим штурмом усилить артиллерийскую подготовку, и независимо от продолжавшейся страшнейшей общей канонады французы выдвинули рядом с Камчатским люнетом, откуда все эти дни шла ураганная стрельба, еще особую батарею в шесть орудий. Но русская батарея, быстро пристрелявшись, снесла эту новую батарею прочь в несколько минут. Французы сейчас же подвезли и выставили новую батарею,— и опять русская артиллерия ее снесла. Тогда французы, уже не отсрочивая дальше нового приступа, пошли в третий раз на штурм, все на ту же соединяющую Малахов со 2-м бастионом оборонительную стену и на 2-й бастион, которые они уже два раза брали и откуда их дважды выбивали штыками. Им удалось

на мгновение снова овладеть и стеной и 2-м бастионом, но тут последовал взрыв находившегося под стеной порохового склада,— люди, камни, земля высоко взлетели на воздух. Не дав французам прийти в себя после неожиданного взрыва, уничтожившего многих из них, русские вновь бросились в штыки и снова выбили французов.

Штурмующая колонна приблизительно в 3300 человек бросилась на Малахов курган, когда часть гарнизона обедала. Гарнизон Малахова кургана с 25 по 27 августа состоял из 880 человек, по показаниям всех командиров отдельных частей на кургане, собранным Н. В. Бергом, а вовсе не из 1400 человек, как читаем в записках Константинова. Совершенно очевидно, что Константинов ошибочно относит к Малахову общую цифру гарнизонов Малахова кургана и батареи Жерве. Эта общая цифра, действительно, доходила до 1450 человек [10].

Но и эти 880 человек, защищавших 27 августа Малахов курган, не были налицо в полной боевой готовности в полдень, в момент штурма, так как вследствие оплошности телеграфа, о которой только что было рассказано, не ожидали штурма в такой близкий уже час.

Всего шесть орудийных выстрелов встретили штурмующую колонну на Малаховом кургане. Русские были оттеснены. Ополченцы, бывшие на первой площадке, оборонялись отчаянно. Генерал Буссау, бывший с ними, когда у него было выбито оружие, стал бросать камнями во французов. Он был тут же убит. Из 60 человек, на которых обрушился первый натиск, уцелело восемь.

Бруствер был занят, но за ретраншементом еще находилось прикрытие. После отчаянной схватки французы заняли и это место. Новые колонны французов, обойдя со стороны 2-го бастиона, бросились на Корниловский бастион и окончательно овладели курганом.

Таким образом, при этом первом приступе главные силы французов, находившиеся на шестой параллели (наиболее близкой к батарее Жерве и к Малахову кургану), бросились на русские бастионы. Батарея Жерве была взята, но спустя короткое время русские перебили артиллерийским огнем с фланга (с 3-го бастиона) ворвавшегося неприятеля, спасшегося бегством с батареи. На штурм Малахова кургана была направлена 1-я бригада дивизии Мак-Магона под личным предводительством начальника дивизии... Французы ворвались на Малахов курган, полуразрушенный страшными бомбардировками последних дней. Сопротивление русских было отчаянное. Вот как со слов Мак-Магона и других участников дела описывает отчаянную схватку и резню на Малаховом официальный летописец французской армии:

«Застигнутые внезапностью нашей атаки русские едва имели время выйти из этих развалин и собраться. Резервы отдалились и маскировались позади, как и в предшествующие дни. Русские офицеры, с саблей в руке, первые примчались на парапеты. Они зовут своих солдат, возбуждают их голосом и жестом, всего только несколько метров отделяют этих храбрых офицеров от наших солдат, которые наводняют (курган — *Е. Т.*) со всех сторон.

С секунды на секунду смерть уменьшает эту героическую группу; они падают один из другим и исчезают под пулями, которые бьют их в упор,— но ни один из них не оставляет своего места. Осаждающие и осажденные в одно мгновение смешиваются в страшной свалке, где штык, сдавленный в этой борьбе грудь с грудью, уже не может проложить дорогу» [11]. Бились прикладами, камнями, заступами, деревянными обломками от блиндажей. После страшной резни Малахов остался за войсками Мак-Магона. Таков был первый, но и последний успех союзников в этот день. Этот успех, как показали последствия, побудил Горчакова осуществить свое давнишнее намерение и оставить Южную сторону Севастополя. Но в те ранние минуты штурма, когда Малахов курган был занят, ни Пелисье, ни Боске, ни Мак-Магон вовсе не думали, что этот успех окажется решающим, и даже не очень надеялись, что курган удастся удержать.

3

Дело в том, что именно после этого первого удавшегося приступа союзники и стали терпеть одну за другой кровавые неудачи буквально на всех прочих бастионах огромной русской оборонительной линии. Эти блестяще отбитые один за другим шесть новых французских и английских приступов обыкновенно крайне бегло и скупо упоминались впоследствии в официальных донесениях и в патриотической историографии Второй империи. Но совершенно непререкаемым историческим фактом является то, что к концу дня, когда Пелисье велел прекратить штурм, все севастопольские укрепления, кроме Малахова, прочно находились в руках его защитников, а земля перед ними была так густо усеяна трупами французов и англичан, как это не наблюдалось даже в день кровавого общего поражения союзников 18 июня.

Хрулев находился в каземате Павловской батареи, когда начался штурм. Он бросился с егерской бригадой 4-й дивизии к Малахову кургану, по пути послав ординарца к генералу Лысенко, командовавшему резервами, с приказом немедленно спешить туда же, к Малахову. Но вскоре Хрулев был тяжко ранен, а за ним выбыл из строя и изувеченный Лысенко.

Тотлебен в спешном порядке вел минную шахту под Малахов курган, с тем чтобы взорвать Корниловский бастион, когда

неприятель ворвется и займет его. Но к 27 августа мина еще не была заряжена: «К несчастию, союзники штурмовали Севастополь днем или двумя ранее, чем мы готовы были их встретить». Даже в самый день приступа в этих минных галереях, шедших от Малахова к французским траншеям, работало несколько сот человек [12]. После штурма они все были захвачены в плен. Но главная беда была в том, что, раз захватив курган фронтовой атакой, французы получили возможность успешно его оборонять, потому что Малахов был редутом, а не люнетом,— он был со всех сторон укреплен и огражден глубоким рвом. В штурм 6 (18) июня, как сказано в соответствующем месте, это обстоятельство спасло Малахов, потому что прорвавшиеся на Корабельную сторону и обошедшие таким образом Малахов с тыла французы не могли никак в него прорваться. А 27 августа это же именно обстоятельство погубило Малахов курган: быстро с тыла подошедших русских резервов было более чем достаточно, чтобы выбить французов, если бы тем удалось прорваться на курган. Через узкий мост, перекинутый над глубоким рвом, французам очень удобно было расстреливать убийственным огнем с занятого ими бастиона всякого, кто пытался вступить на этот мост.

Все это время — от полудня, когда начался общий штурм, до 4-го часа дня — Пелисье получал сведения о повторных штурмах англичан на 3-й бастион. Неся потери, англичане, добравшись до рва, перебросили мостики и по приставленным лестницам стали взбираться на бруствер. Сначала они оттеснили было две роты Владимирского полка, но на них бросились три свежие роты (одна Селенгинского и две Якутского полков), и после кровопролитной рукопашной схватки англичане были сброшены в ров. Отсюда они были выбиты несколькими десятками вызвавшихся на опасное дело охотников. После этого англичане с новой большой колонной устремились на 3-й бастион — и снова были отбиты. Отдохнув, в третий раз англичане храбро и стойко пошли на штурм — и опять были отброшены. Не успели окончиться эти упорные атаки на 3-й бастион, как начались одно за другим нападения на шесть батарей левого фланга (между батареей Жерве и 3-м бастионом). Но все эти шесть атак одна за другой были отбиты. В эти часы русские войска превзошли самих себя.

Атака на 5-й бастион и на находившееся рядом с ней небольшое укрепление (люнет Белкина) была поддержана колонной около 10 000 человек. Подольский полк штыками отразил это нападение. Неприятельская колонна, совсем расстроенная, с тяжкими потерями, бежала. Сейчас же после этого двум последовательным атакам со стороны французов подвергся редут Шварца — и тут штурмующие во время первой атаки были пе-

ребиты почти полностью (кроме 153, захваченных в плен), а во время второй были отброшены с очень тяжелыми потерями. И до и после этих штурмов правого фланга русской обороны укрепления этого фланга подвергались усиленной бомбардировке с моря, со стороны сначала шести, а к концу боя девяти военных судов неприятеля.

Замечательна была оборона редута Белкина, соседнего с редутом Шварца. Французы под начальством полковника (Берг ошибочно пишет: генерала) Трошю в количестве до двух тысяч собрались у обрыва перед спуском в ров редута. Между тем именно в этом месте Белкин в свое время заложил мину из четырех гнезд с 16 пудами пороха. Электрический провод соединял мину с редутом. Мина была взорвана, и французы, потеряв множество людей убитыми и ранеными, отхлынули назад. Но 200 человек все же бросились в ров и оттуда на бруствер. Поражаемые огнем редута Белкина и соседнего 5-го бастиона, французы были разгромлены: 6 офицеров и 78 нижних чинов были взяты Белкиным в плен.

Артиллеристы с других бастионов и батарей левого фланга продолжали обстреливать Малахов курган, хотя не было возможности таким путем отнять его у французов. Одним удачным попаданием русской бомбы был взорван ящик с патронами, и множество французов было перебито или переранено. Но генерал Мак-Магон (впоследствии маршал и президент Французской республики) потребовал после этого новых и новых подкреплений и продолжал непоколебимо оставаться на кургане. Знаменитая легенда говорит, будто бы Мак-Магону велено было в разгаре боя покинуть курган, и он будто бы ответил: «я тут нахожусь — я тут останусь» (j'y suis — j'y reste)». Ничего подобного не было и быть не могло: главнокомандующий Пелисье не только не давал бессмысленного приказа покинуть Малахов, но послал Мак-Магону в помощь два батальона гвардейских зуавов и один за другим несколько сильных отрядов гренадер и волонтеров императорской гвардии, а к концу дня — значительную часть бригады Вимпфена. Пелисье посылал Мак-Магону гораздо больше войск, чем тот требовал. Пелисье прекрасно понимал колоссальное значение Малахова кургана и уже отчетливо сознавал свою ошибку 6(18) июня, когда он недостаточно энергично повел атаку на Малахов. Сначала (вскоре после занятия кургана) у Мак-Магона было 5000 человек, несколько позднее — около 8 или 10 000 отборного войска с большой артиллерией.

Но Мак-Магону, прочно утвердившемуся на Малаховом, доложили о странном явлении: обнаружилось, что какие-то русские таинственным способом проникли на бастион, засели под каменной аркой и оттуда стреляют во французов. Сначала фран-

цузы даже не могли сообразить, как потом они рассказывали, откуда на них сыплются пули. Так как их обстреливали очень усиленно извне, то им и в голову не приходило, что обстрел идет еще откуда-то, с совсем близкого расстояния. Это были 30 человек из Модлинского полка с тремя офицерами — Юньевым, Данильченко и Богдзевичем и двумя кондукторами морской артиллерии — Духониным и Венецким. Но догадка французов была неправильна. Эта кучка храбрецов вовсе не проникла на курган извне,— да и как она могла бы проникнуть, когда горка была в этот день совершенно недоступна? Они просто не ушли, когда русский гарнизон был вытеснен французским натиском с кургана. Как только, уже к концу битвы, отчаявшись в возможности выбить французов, русские батареи и стрелки прекратили стрельбу,— естественно, французы сейчас же открыли этого своего таинственного «внутреннего врага», потому что кучка модлинцев, скрывшихся под аркой и за стенкой, продолжала стрелять. Зуавы бросились под арку — и были подняты на пики. Было ясно, что прямым нападением ничего не поделаешь,— так удачно эти герои устроились и такой узкий вел к ним ход. Они находились как раз над пороховым погребом. Когда Мак-Магон это узнал, он отдал приказ «обложить башню фашинником и зажечь, чтобы выкурить наших, как они выкуривают арабов» [13]. Пришлось, конечно, Мак-Магону отменить приказ, чтобы не взлететь всем вместе на воздух. Только обстрел гранатами положил конец этому фантастическому по своему героизму сопротивлению 30 человек 15-тысячному войску в недрах прочно занятого неприятелем Малахова кургана.

4

На батарею Жерве французы произвели нападение не с фронта, а отчасти с левого фланга, отчасти же с тыла. Атаковавшие шли не со стороны линии французских траншей, а с Малахова кургана, над которым уже развевалось трехцветное французское знамя. Зуавы, сбежавшие с Малахова кургана и ринувшиеся на батарею Жерве, заняли только левый фланг батареи, и никакими усилиями французам не удавалось до самого вечера выбить Казанский полк с правого фланга батареи. Французское командование послало в помощь зуавам гвардейский стрелковый батальон, но казанцы не сдвинулись ни на пядь. Мало того: поражаемые и с левого фланга Жерве и с Малахова кургана убийственным огнем, русские солдаты и офицеры стали уже переходить к штыковым атакам. Ими овладела такая горячка боя, какую можно только себе вообразить. «Часто мы рвались в штыки, бросались вперед и оттесняли передовые толпы францу-

зов,— говорит участник боя за батарею Жерве Вязмитинов.— Мы не отдавали себе отчета в цели наших атак и не спрашивали себя: был ли вероятен какой-нибудь успех. Мы рвались вперед, опьяненные пылом боя и забывая, что пытаемся овладеть тем самым местом, с которого, за полчаса перед тем сошли, по невозможности на нем держаться... Для человека, не отуманенного свалкой, была бы ясна сумасбродность наших порывов, но мы не думали о том, были ли наши действия целесообразны или бесцельны. Одно время мы даже порывались, сломив бывших против нас зуавов, ворваться на Малахов курган, и нам в голову не приходило то, что четырем- или пятистам человекам почти так же невозможно выбить оттуда несколько тысяч французов, как невозможно сшибить фуражкою Исаакиевский собор». Трупы русских и французов устилали всю землю: «Небольшое пространство между траверзом и бруствером было сплошь залито кровью. Смесь крови с пылью, толстым слоем покрывавшею землю, образовала какое-то тесто... буро-красного цвета». Солдаты удивляли даже тех, кто привык к их героическому поведению. Нужно перечитать литературу воспоминаний о 27 августе, чтобы понять, что в этот страшный день самые отважные офицеры все-таки еще казались солдатам слишком осторожными. Вот кучка офицеров толкует о своем безумном, несбыточном предприятии: не попытаться ли все-таки ворваться на Малахов курган: «В наши слова внимательно вслушивался молодой статный солдат. В его ясных, красивых глазах светилась жадная готовность следовать за нами на самое опасное и самое безрассудное предприятие» [14]. Это был Чеснович — лучший стрелок в полку. На курган не пошли, но через несколько минут Чеснович уже лежал мертвым.

«Мне случилось быть во многих сражениях, но никогда я не слышал такого полета пуль, как на последнем штурме Севастополя. Как бы густо ни летели пули, но обыкновенно слышится некоторая раздельность свиста одной из них от свиста другой. Здесь же слышалось сплошное шипение; казалось, что поток пуль как бы струится; ощущалось какое-то течение свинца. Мы не могли целить в французов, занимавших часть нашей батареи, так как ни одного из них не видно было из-за густого дыма. Мы стреляли в этот дым, стараясь только дать нашим пулям направление, параллельное земле» [15],— говорит участник боя Вязмитинов.

«Никто не ожидал и не думал, что в Севастополе загремит самая могущественная числом и калибром орудий артиллерия, подобной которой никогда не бывало при обороне крепостей»,— признавались союзники во время бесед с русскими уже по окончании военных действий, перед самым заключением мира в 1856 г. [16] И уже в самом начале осады «союзники были изумле-

ны силой верков, сооруженных Тотлебеном с столь удивительной быстротой,— и надежды их на результаты действия осадной артиллерии ослабели» [17].

Масса раненых загромождала все подступы к укреплениям. Ни при Меншикове, ни при Горчакове врачам не удалось добиться организации должного ухода за ранеными. Только к концу войны, во второй половине 1855 г., положение улучшилось вследствие настойчивых и энергичных ходатайств и глубоко продуманных мероприятий Н. И. Пирогова, ставшего во главе организации военно-санитарной части.

Вот что творилось, по свидетельству Пирогова, весной, как раз когда шла бомбардировка города и кровопролитная борьба за Селенгинский, Волынский редуты и за Камчатский люнет: «В одну ночь в апреле 1855 г. я получил приказание из штаба перевести всех раненых и ампутированных после второй большой бомбардировки города из Николаевской батареи на Северную сторону... Можно себе представить, каково было с отрезанными ногами лежать на земле по трое и по четверо вместе; матрацы почти плавали в грязи, все и под ними и около них было насквозь промочено; оставалось сухим только то место, на котором они лежали, не трогаясь, но при малейшем движении и им приходилось попасть в лужи. Больные дрожали, стуча зуб о зуб от холода и сотрясательных знобов; у многих показались последовательные кровотечения из ран; врачи и сестры могли помогать не иначе, как стоя на коленях в грязи. По 20 и более ампутированных умирало каждый день, а их было всех до 500 и немногие из них пережили две недели после этой катастрофы. Было сделано строгое расследование, больных положили на койки, положили на двойные матрацы, но прошедшего не воротить и страшная смертность продолжалась еще недели две после» [18].

И заметим, к слову, что даже при этих отчаянных условиях великому русскому хирургу и организатору удалось провести счастливое новшество — создание специальных, прежде неизвестных, летних помещений: «Мы в этом отношении опередили Европу. Только теперь мы начинаем находить себе подражателей (в берлинском госпитале и др.) [19].

5

Шесть отчаянных приступов французов и англичан буквально на всех пунктах при громадной оборонительной линии были отбиты русскими с огромными потерями для неприятеля. Генерал Риве, начальник штаба 1-го французского корпуса, был убит; генерал Бретон был убит сейчас же после Риве; знаменитый генерал Боске тяжело ранен, генерал Мароль убит кар-

течью, и его тело было не скоро разыскано под грудой трупов французских солдат; генерал Сен-Поль, сделавший отчаянную попытку снова броситься на батарею Жерве и ближайшие к Малахову кургану укрепления, пал при полном крушении своей попытки. Со всех сторон к Пелисье мчались гонцы с известиями о новых и новых потерях. Полковник Корнюлье, одна из надежд французской армии, был убит вместе со всеми почти офицерами батальона гвардейских егерей, которым он командовал. Остатки полуразгромленного батальона были отброшены нашими войсками. Генерал Понтеве, один из лучших, какими располагал Пелисье, пал под русской картечью, пытаясь собрать и привести в порядок для нового штурма свою расстроенную часть.

Англичанам по общей диспозиции штурма было поручено овладеть 3-м бастионом, тем страшным «Большим Реданом», перед которым они так долго, месяцами стояли и взять который неудачно пытались (с тяжелыми жертвами) 18 июня. Теперь им нужно было пробежать 200 метров, чтобы взобраться на парапет укрепления. Со страшными потерями (ров был просто засыпан трупами, лежавшими в несколько рядов) англичанам удалось добраться до парапета, но тут они были встречены, по единодушным показаниям, «ураганом огня», и после длившихся целый час усилий английские войска были отброшены русским огнем обратно, и их остатки спаслись в своем лагере, потеряв при отступлении много новых жертв, потому что им пришлось пробежать обратно те же 200 метров, спотыкаясь о бесчисленные трупы ранее павших товарищей.

Генерал Симпсон, английский главнокомандующий, знал, что Пелисье в эти самые часы предпринимает в целом ряде пунктов новые и новые атаки, чтобы, невзирая на первые неудачи этого дня, все-таки выбить русских. Потому ли, что французские повторные атаки решительно всюду терпели неудачу, или по иным соображениям, но Симпсон решил нового приступа сейчас не делать. Он счел за лучшее (как он писал в своем докладе военному министру в Лондон 9 сентября) отложить новую попытку овладения «Большим Реданом» на следующий день, т. е. на 8 сентября. В этот момент,— что бы ни говорили и ни писали впоследствии французские и английские историки,— не только Симпсон, но и сам генерал Пелисье вовсе еще не был уверен в конечном успехе дня. Ведь в руках штурмующих оставался пока только Малахов курган, и никто не знал, во-первых, останется ли Малахов курган до конца дня в руках Мак-Магона и его бригады или русские выбьют их оттуда, а во-вторых (это точно известно), Пелисье не был уверен в том, что Горчаков отдаст приказ об отступлении русской армии на Северную сторону, если даже Малахов останется за французами.

Доклад Симпсона военному министру — одно из многочисленных документальных доказательств, что в неприятельском лагере еще в середине дня 8 сентября считали несомненным, что сражение будет продолжаться и на другой день. Когда уже в 5-м часу дня русские орудия своим огнем взорвали французскую батарею из шести орудий, склад и снаряды этой батареи, стоявшей на куртине около Малахова кургана, то эффект от этого взрыва был колоссальный: французы не сразу удостоверились, что эта катастрофа не заставит их бросить Малахов курган. По рядам штурмующих пронесся слух, что русские сейчас взорвут минами курган. Взрыв причинил тяжелые потери дивизии Ламотружа. Сам генерал Ламотруж был найден изувеченным под трупами своих солдат и обломками батарейных орудий.

Буквально все бастионы и отдельные батареи подверглись приступу в этот день, но все атаки были отбиты. Когда русские отбили 2-й бастион, то французы потеряли при этом до полутораста человек убитыми, ранеными и пленными, в том числе 29 штаб- и обер-офицеров [20]. Новые и новые атаки принесли французам новые и тяжкие потери. На 2-м бастионе были убиты и два генерала (из лучших во французской армии) — Мароль и Понтеве. Тяжелые и бесполезные жертвы понес неприятель при повторных попытках овладеть и другими бастионами.

Но выбить французов из Малахова кургана не удавалось. Храбрец Хрулев пошел выручать курган очень скоро после того, как курган был занят. Ему и идущим за ним егерям удалось переколоть несколько сот французов на подступах к Малахову кургану. Он домчался до горжи — единственного узкого прохода в три сажени шириной на Малахов и замедлил движение: горжа почти в человеческий рост была завалена трупами русских и французов и жестоко обстреливалась со всех сторон французскими орудиями. В этот момент пуля ранила Хрулева, оторвав у него палец. Прижимая другой рукой рану, Хрулев двинулся дальше, но тотчас же упал, контуженный гранатой. Когда Хрулев выбыл из строя, команда перешла через некоторое время к генералу Юферову, который решил штурмовать горжу и прорваться на курган. Вызвали охотников: их оказалось столько, что Юферов нашел возможным разделить их на два отряда и дать им два задания для одновременного выполнения. Над одними начальство было вручено ротмистру Воейкову, над другими — капитану Ильинскому. Воейков должен был напасть на горжу с одной стороны, а Ильинский — с другой. Но не успел Ильинский доехать до места назначения, откуда должен был начать дело, как узнал, что убит генерал Юферов. А спустя несколько минут пал и Воейков. «У горжи образовался чистый бруствер из мертвых тел»,— говорит очевидец. Губить дальше солдат было абсолютно бесполезно. Генерал Лысенко, приняв-

ший команду после гибели Юферова, уже не возобновлял его попытку. Впрочем, командовать ему пришлось недолго: он упал, тяжело раненный.

Горчаков решился. Он дал приказ взорвать укрепления и склады и оставить Южную сторону Севастополя.

Уже садилось солнце, когда вдруг генерал Пелисье получил донесение с французского фрегата, наблюдавшего за Севастополем с моря: русские войска проходят через мост на Северную сторону. И очень скоро после этого сообщения один за другим начались оглушительные взрывы на всех русских укреплениях. Эти взрывы производили сами русские войска. Тогда — и только тогда — Пелисье понял, что Горчаков решил оставить город. Для французов это явилось в тот момент неожиданностью.

Не следует забывать, что у главнокомандующего французской армии почти до самого вечера и не могло быть особенно победоносного настроения. Он, правда, еще не знал тогда, что эти $4^1/_2$ часа стоили французской армии (даже по явно неверной, сильно преуменьшающей потери официальной оценке) 7550 жертв, в том числе пяти убитых и десяти раненых генералов. Но что жертвы огромны, что лучший из французских генералов Боске тяжело ранен и что самые дельные полковые командиры перебиты,— это он уже к 5 часам дня знал очень хорошо. И однако вовсе не это озабочивало и приводило в нервное состояние генерала Пелисье. Раздражен и смущен он был в эти предвечерние часы другим. Ведь когда в позднейших телеграммах говорилось, что «шесть приступов было отбито и только Малахов курган остался за французами», то читатели понимали дело так: после шести неудачных приступов французы произвели седьмой, удачный, и взяли, наконец, Малахов курган. А Пелисье к 5 часам этого дня видел пока все события совсем в ином свете: он знал, что именно только первый приступ и удался, что *все последующие* приступы были победоносно отражены русскими и что он сам и его английский коллега Симпсон прекратили битву, успокаивая себя и свои штабы тем, что завтра можно будет продолжать. Да и прочность положения Мак-Магона на Малаховом кургане представлялась весьма сомнительной. Когда произошел упомянутый выше страшный взрыв, уничтоживший французскую батарею, стоявшую около Малахова кургана, то ведь паника овладела вовсе не только рядовыми французской армии, в первый момент подумавшими, что русские взорвали Малаховский бастион: испуган был и сам Пелисье, редко в течение своей долгой боевой жизни пугавшийся. Упорно держалось в армии союзников предание, будто именно в этот момент Пелисье послал было Мак-Магону предложение эвакуировать Малахов курган и будто именно тогда Мак-Магон произнес свою историческую фразу: «я тут нахожусь — я тут останусь

(j'y suis — j'y reste)». И этому преданию все верили во Франции, хотя в официальные отчеты о событиях 3 сентября, конечно, из всех этих сомнений и колебаний ничего не попало и, как уже замечено мною в другом месте, Пелисье и не думал посылать подобный приказ.

Но вот по французским траншеям пронесся (еще до того как Пелисье получил определенное донесение) первый слух, неожиданный настолько, что ему не сразу поверили: русские переходят через длинный мост на Северную сторону.

6

Русские войска, последовательно взрывая все укрепления, шли к переправе. Они шли молча. «Трудно описать, что происходило в эти мгновения в душе защитников Севастополя... Испытываемые чувства невольно вырывались наружу, у многих навертывались на глаза слезы. Другие, в особенности старики-матросы, рыдали, как дети... Ядра и бомбы то и дело падали в воду по обе стороны переправы... Погода стояла тихая; на небе светились звезды, меркнувшие перед ярким пламенем горевших зданий и укреплений и перед не менее ярким блеском светящихся ядер, пронизывавших небесный свод по разным направлениям... Тихо, без шума и толкотни шла вся эта масса: до того сильно было впечатление переживаемого. Как много величественного и поражающего своим внутренним трагизмом было в этой картине!» [21] — вспоминает очевидец и участник.

Солдаты угрюмо и молча покидали Севастополь. А моряки кое-где выражали протесты. Тень Нахимова стояла перед ними: «Нам нельзя уходить, мы никакого распоряжения не получали; армейские могут уходить, а у нас свое, морское начальство; мы от него не получали приказания; да как же это Севастополь оставить? Разве это можно? Ведь штурм везде отбит; только на Малахове остались французы, да и оттуда их завтра прогонят; а мы здесь на своем посту!..» — «Ну, и сидите тут, пока неприятель заберет вас, ведь говорят вам, что Севастополь очищают».— «То есть, это значит — отдают неприятелю, об этом мы не слыхали. Армейское начальство этого не может разрешить, потому что у нас здесь все морское, доки, магазины, мало ли еще чего. Мы здесь должны помирать, а не уходить; что же об нас в России скажут?» [22] Штурман, сказавший это, был воспитан Нахимовым и знал, что Павел Степанович не велел уходить, и Горчаков («армейское начальство») не мог успокоить его душевного смятения...

Последние отряды переходили на Северную сторону. Начали разводить мост, и Горчакову доложили, что ему подан катер.

«Князь, подходя к пристани, видимо старался поддерживать бодрость... Но бодрость его, по мере схода по двум уступам лестницы, заметно его покидала, и, приблизившись к катеру, он взглянул на чистое ночное небо и сказал по-французски, чтобы не быть понятую присутствующими матросами „Я вижу мою несчастную звезду! (je vois mon étoile de malheur)“» [23]. Севастополь пылал. «Ужасно, генерал, ужасно!» — сказал Горчаков, схватив за руку Коцебу.

Последним ушел из Севастополя прославившийся многими подвигами генерал Хрущов в сопровождении капитана Воробьева [24]. Неприятель два дня не решался вступить в город. Только на Корабельной виднелись отдельные небольшие группы французских солдат. Лишь 29 августа (10 сентября) неприятель занял Южную сторону.

В ночь с 27 на 28 августа русские потопили шесть кораблей — «Париж», «Храбрый», «Константин», «Мария», «Чесма», «Иегудиил» и фрегат «Кулевичи». Пароходы (их было десять) были затоплены 29 августа, в их числе прославившиеся своими блестящими действиями во время осады «Владимир» и «Херсонес».

Взрывы продолжались ночью и утром 28 августа. Последней взлетела на воздух в 2 часа пополудни 28 августа Павловская батарея.

«Пожары были последствием нашествия обоих Наполеонов. Сгорела Москва, горит необъятным пламенем и многострадальный Севастополь. Зарево пожарища кроваво-красным светом отражается в тихой воде бухты и производит впечатление, как будто вода, земля и небо объяты общим огнем. Частые взрывы пороховых погребов на бастионах и батареях заставляют вздрагивать, как будто от ужаса, каменистую почву родного теперь всей России города, а оглушительный треск пороховых взрывов возвещает миру, что борьба не кончена, а возобновится вновь» [25]. Таковы были впечатления непосредственного наблюдателя в ночь после штурма.

Быстро наступала южная августовская ночь. Раненый офицер Вязмитинов попросил отстегнуть и опустить полу палатки и стал смотреть на гордую агонию, завершавшую 349-дневную борьбу. Перестрелка прекратилась. За бухтой тянулось сплошное море огня. Дым был так густ, что стоял местами непроницаемой черной стеной. «К глухому гулу взрыва пороховых погребов примешивались какие-то трещащие звуки; воздух раздирался громовым треском разрыва многих сотен бомб и гранат, лопавшихся в подожженных бомбовых складах. Не знаю, было ли то в действительности или это только так представлялось моему горячему воображению — но мне казалось, что в воздухе слышится какое-то клокотанье. Чувствовалось что-то стихийное

в том, что происходило тогда передо мною»[26]. Вязмитинову казалось тогда, что перед ним погибает древнеримская Помпея. Но впоследствии, посетив в самом деле Помпею, он убедился, что «Помпея гораздо менее разрушена». Разрушение Севастополя было полное, «потому что не было примера такой обороны, с тех пор как понятие о нападении и защите возникло в умах человеческих... Каждый квадратный дюйм севастопольской почвы был свидетелем геройского подвига и геройской смерти»[27].

Вязмитинов был прав, думая, что Севастопольская оборона затмила все, что знала *до той поры* новая история осадных войн. Но мы знаем *теперь* и другую Севастопольскую оборону, сияющую блеском еще большей славы,— оборону Севастополя в годы Великой Отечественной войны с фашистскими захватчиками.

7

Отправив вечером 27 августа царю роковую телеграмму, Горчаков на другой день уточнил ее содержание письмом: «С 24-го утра ядра и бомбы не переставали сыпаться, как град, ежедневный урон наш превышал 2500. Вчера, после адского огня, неприятель двинулся со всех сторон на приступ с огромными силами и был окончательно отбит везде, кроме Малахова бастиона. Тут местность была слишком невыгодна для выбития неприятеля и притом начальники войск генералы Хрулев и Лысенко, двинувшихся на сей конец, были оба ранены. Не оставалось ничего иного, как воспользоваться впечатлением, на неприятеля произведенным мужеством наших, для очищения западной стороны, в которой и без боя мы ежесуточно теряли более 2500 человек. Менее чем через 10 дней почти половина армии погибла бы без сражения, от одного неимоверного огня неприятеля»[28].

Старый Ермолов со свойственной ему иронией писал своему другу, кавказскому генералу Бебутову, об оставлении Севастополя: «Для нас было это происшествием внезапным и всех до того поразившим, что мы не могли понять хитрого соображения главнокомандующего и неприятель почти два дня не осмелился войти в город, боясь найти себя минированным. Совсем нет, и даже Корнилова редут, главный пункт, на который устремлены были все усилия, не нашел он нужным минировать. Жестоко обманут был неприятель, и мы отступление признаем за высокое весьма соображение военное. Я по старости лет моих многого уже не разумею»[29].

В день штурма 27 августа (8 сентября) русские потеряли, по официальным подсчетам, 12 913 человек, французы — 7561, англичане — 3440, итальянцы... 40 человек. Остальной русской

армии удалось почти без потерь (если не считать одной сотни человек) перейти на Северную сторону по мосту, переброшенному своевременно через бухту. С 7 часов вечера 27 августа до 8 часов утра 28 августа русская армия переходила через мост, угрюмая, молчаливая. «Не унывайте, а вспомните 1812-й год и уповайте на бога. Севастополь не Москва, а Крым не Россия. Два года после пожара московского победоносные войска наши были в Париже. Мы те же русские»,— писал Александр II Горчакову[30]. Собранные генералом Хрущовым показания дают несколько иную цифру русских потерь. По его данным, всего выбыло из строя в день 27 августа 11 697 нижних чинов, офицеров и генералов. Союзники считали, что они потеряли 9797 человек, из них французы — 7309, англичане — 2447, сардинцы — 40 человек. Но русские участники дела утверждают, что на самом деле потери союзников в день последнего штурма были гораздо значительнее[31].

8

Русское общество было глубоко взволновано. На славянофилов и близкие к ним круги конец Севастополя произвел самое удручающее впечатление. Сергей Аксаков предался глубокому унынию. Но представитель, так сказать, левого крыла этого направления — Иван Сергеевич Аксаков писал отцу, что он считает справедливой историческую Немезиду: режим николаевщины должен был повести к таким тяжким несчастьям.

Люди далекие и даже прямо враждебные славянофилам не менее их были потрясены громами последнего штурма.

Т. Н. Грановский (скончавшийся 4 октября 1855 г.) доживал последний месяц своей жизни под гнетом ужасающего впечатления, которое произвело на него падение Севастополя. Вся очень мучительная для такой натуры двойственность настроений человека, всей душой любящего свою родину и не менее страстно ненавидящего николаевщину и еще очень живучие николаевские традиции, вся горестная растерянность мыслящего патриота того времени сказались в его словах: «Весть о падении Севастополя заставила меня плакать... какие новые утраты и позоры готовит нам будущее! Будь я здоров — я ушел бы в милицию без желания победы России, но с желанием умереть за нее. Душа наболела в это время»[32].

Гораздо более спокойно и созерцательно воспринимавший события И. С. Тургенев тоже был удручен вестью о катастрофе 27 августа и только желал, чтобы Россия, подобно пруссакам после разгрома их Наполеоном I при Иене, извлекла из севастопольских событий полезный для себя урок.

Бессмертные страницы третьего из севастопольских рассказов Льва Толстого (о штурме 27 августа) вошли, как и пер-

30*

вые два очерка, навеки в тот золотой фонд русской литературы, где тогда уже блистало лермонтовское «Бородино» и где еще было место для «Войны и мира». Лев Толстой писал о Севастополе как современник и как непосредственный участник. Другой русский классик не был активным участником событий, но писал, еще находясь под свежим впечатлением от них. Вместе со своим коробейником он тосковал о беде, свалившейся на Россию: «Подошла война проклятая, да и больно уж лиха... Перевод свинцу да олову, да удалым молодцам... Весь народ повесил голову, стон стоит по деревням...» И уж от собственного имени он говорил о «твердыне, избранной славой». Велик был в его глазах «народ-герой», не дрогнувший до конца, и «венец терновый», *возложенный исторической судьбой на Россию* под Севастополем, был, в глазах Некрасова, выше любого «победоносного венца». У великого народного поэта севастопольская конечная катастрофа возбуждала непосредственно лишь умиление перед самоотвержением и героизмом людей, боровшихся 11 месяцев под чугунным градом, погибавших там, где и улицы и даже морское дно у берега были *вымощены* ядрами: «Там по чугунному помосту и море под стеной течет. Носили там людей к погосту, как мертвых пчел, теряя счет...»

У большинства людей тогдашних образованных слоев после первого момента острой скорби и растерянности стало быстро нарастать давно уже накапливавшееся чувство раздражения и негодования против безобразия и разгула, произвола и хищничества, против общих условий государственного и общественного быта, сделавших бесполезными великие жертвы, принесенные севастопольскими героями. Дальнейшее существование николаевщины предстало перед умственным взором сколько-нибудь вдумчивых людей как самая реальная опасность, как угроза национальной независимости. Даже все чисто дипломатические ошибки последних трех лет отошли на задний план перед этим полным и беспощадным осуждением всей внутренней политики самодержавия. Полное единство настроения царило (правда, краткий миг) между Герценом и Иваном Аксаковым, между Кавелиным и Чернышевским, между теми даже, которые были до сих пор и оказались в ближайшем будущем самыми непримиримыми противниками.

Умеренный по своим взглядам, но внимательно наблюдавший современные настроения Д. А. Милютин констатировал также наличие в то время и гораздо более радикального, чем у помянутых лиц, подхода к анализу таких событий, как русские неудачи в Крыму: «Не говорю о тех немногочисленных еще в то время пылких головах, которые, увлекаясь своей ожесточенной ненавистью к тогдашним нашим порядкам, не видели другого средства к спасению России, кроме револю-

ции, которые даже на тогдашние наши бедствия смотрели со злорадством, отзываясь о них цинически: чем хуже, тем лучше» [33]. К сожалению, Милютин в своих записках не уточняет своего интереснейшего именно для этого раннего момента свидетельства, не называет имен, не вдается в подробности.

Но последствия Крымской войны для России и Европы вообще и для революционной общественности у нас и на Западе в частности уже выходят за рамки этой работы. Нам хотелось лишь отметить наиболее характерные настроения в первый момент после получения рокового известия.

Отметим тут, кстати, с какой тревогой правительство отнеслось к немногим, единичным прокламациям революционного характера, попадавшим в его руки. Вот документ, относящийся ко времени, когда уже шли секретные совещания о мире:

«Весьма секретно. 2 января 1856 г. № 2. Господину начальнику 3-го округа корпуса жандармов. Неоднократно получаемы были мною сведения, что заграничные злоумышленники всеми мерами стараются о распространении в России возмутительных сочинений на русском языке, печатаемых в Лондоне в типографии изгнанника Герцена.

К предупреждению ввоза сих сочинений в наши пределы сделаны были надлежащие распоряжения, и старания злоумышленников не имели, по-видимому, успеха, распоряжения эти не могли однако совершенно воспрепятствовать появлению в России помянутых сочинений, и в недавнем времени оказалось здесь напечатанное в означенной типографии возмутительное воззвание, под заглавием: „Емельян Пугачев честному казачеству и всему люду Русскому шлет низкий поклон". По крайне преступному содержанию сей брошюры, тем более опасной, что способ изложения оной доступен понятиям простого народа, я, в исполнение высочайшей воли, предлагаю вашему превосходительству приказать всем офицерам вверенного вам округа разузнать строжайше, но совершенно тайно, не успели ли враги наши распространить вышесказанное воззвание в Царстве Польском, о последующем же я буду ожидать донесения вашего превосходительства.

(подп.) генерал-адъютант граф Орлов» [34].

9

Император Александр выехал в Николаев и уже 13 (25) сентября сидел там, не зная, что предпринять. Порой он принимался мечтать о революции, которая была бы так кстати, если бы она случилась (в Париже, конечно): «Из-за границы нового ничего не получал, но по разным сведениям можно ожидать

внутренних беспорядков во Франции вследствие дурного неурожая (sic! — *Е. Т.*) и возрастающего от того неудовольствия в низших классах. Прежние революции всегда почти этим начинались; итак, может быть, до общего переворота недалеко». Так мечтает царь в письме от 16 (28) октября к князю Меншикову. «В этом я вижу самый правдоподобный исход теперешней войны, ибо искреннего желания мира, с кондициями, совместными с нашими выгодами и достоинством России, я ни от Наполеона, ни от Англии не ожидаю, а покуда я буду жив,— верно других не приму» [35]. Но Горчаков не разделяет этих «революционных» надежд русского самодержца. «О перевороте во Франции давно уже говорят и нет сомнения, что народ крайне недоволен,— отвечает царю главнокомандующий,— но французы, буйные против слабых правителей и храбрые на поле сражения, весьма робки, когда имеют дело с правительством, их угнетающим. Быть может, что Наполеон их еще долго удержит в железных когтях своих. И посему нам должно готовиться на продолжительную борьбу» [36].

В сентябре, октябре, ноябре русское командование принимало меры к укомплектованию полков, к созданию продовольственных магазинов, к охране Перекопа, к пристальному наблюдению за неприятельской армией, стоявшей в Севастополе и в соседних с ним портах. Но прежняя неотвязная забота парализовала многое. Как поведет себя в ближайшее время Австрия? Не придется ли защищаться на Днестре, на Буге, на Висле, может быть, на Днепре, если Австрия при своем выступлении увлечет за собой весь Германский союз? Фельдмаршал Паскевич в конце сентября 1855 г. подал царю записку: «В 1854 г. мы остановили австрийцев только скорым отступлением за Серет и готовностью встретить их с 170 000, в 1855 г.— 200 000 армией, собранной в Польше. До какой степени сосредоточение больших сил в Царстве Польском имело влияние на поступки австрийского правительства, видно из того, что, когда послы английский и французский настаивали на вступлении австрийцев в Польшу, генерал Гесс отвечал, что он не в силах выступить против 200 000 нашего войска, собранного в Царстве. Положение наше теперь таково же, как было тогда...» [37] Как и всегда, без исключений, прусское правительство, зная, до какой степени обеспокоен Паскевич возможным выступлением Австрии и Германского союза, воспользовалось этим, чтобы шантажировать Россию. Пруссия обратилась внезапно с просьбой продать ей хлеб из военных запасов Царства Польского (по казенной, конечно, цене). Это было и невыгодно и во всех отношениях неудобно для России. Но что же делать? Паскевич согласился: «Для нас весьма важно сохранить дружественные сношения с Пруссиею; канцлер (Нессельроде —

Е. Т.) полагает, что уступка хлеба произведет для нас весьма полезное влияние. Посему я нашел возможность уступить Пруссии до 30 000 четвертей с тем, что изыщу способы пополнить наши запасы, когда будет в том нужда» [38].

14 октября очень большая соединенная англо-французская эскадра подошла к Кинбурну. Союзники решили овладеть и этим небольшим и очень слабым укреплением, чтобы разом господствовать и над Днепровским и над Бугским лиманами. В Кинбурне было около полутора тысяч солдат и офицеров; начальствовал генерал-майор Кохановнч. Крепость была старинная, еще XVIII века, выстроенная в свое время турками, и выстроенная очень плохо. 15, 16, 17 октября длился обстрел Кинбурна морской артиллерией союзников. Крепость пыталась отстреливаться, но орудия были маломощные, ядра почти совсем не долетали до неприятеля. 17 октября почти все орудия крепости были приведены к молчанию, а в Кинбурне начались огромные пожары. Со стороны союзников действовала крупная артиллерия 90 военных судов. Речи не могло быть о продолжении сопротивления. 17 октября Кинбурн был занят неприятелем. Но на продолжение действий флота, казавшееся неизбежным и угрожавшее Николаеву, союзники не решились. Русские на всякий случай тотчас же после потери Кинбурна взорвали расположенное вблизи Очакова Николаевское укрепление, защита которого представлялась невозможной. Но и союзники не решились произвести высадку в больших силах и взять город Николаев. Вообще никаких дальнейших последствий занятие Кинбурна не имело. В неприятельской прессе это маловажное событие было раздуто до курьезных размеров. Но отмечалось, что только русские при абсолютно безнадежных обстоятельствах сумели сопротивляться, пренебрегая опасностью. Кинбурн пал после короткого, но отчаянного сопротивления со стороны губернатора, и, несомненно, Кохановича все истинные московиты (all true moscovites) будут почитать достойным преемником и соперником Ростопчина. Если только губернатор не имел очень хороших оснований думать, что близка помощь, у него нет оправданий, что он вызвал столько кровопролития перед лицом подавляющих, превосходных (неприятельских — *Е. Т.*) сил на море и на суше, которые совершенно покрывали (shut) его со всех сторон. Так писал «Таймс» тотчас после события [93].

Французские газеты были гораздо менее полны самохвальства, чем это вообще было им свойственно, потому что с начала осени уже пробивался новый оттенок тона в отзывах о русских: во Франции многие проведали, что Наполеон III не склонен продолжать войну и что он относится к новому царю без малейшей вражды.

Что касается Александра II, то на первых порах после падения Севастополя это событие, с его точки зрения, нисколько не предрешало конца войны. Напротив, имелось в виду продолжать и продолжать сопротивление. Сохранилась в наших архивах «копия с собственноручной государя императора записки», которую нужно хоть частично привести, потому что она объясняет очень многое в военной и дипломатической истории последних месяцев 1855 г. «Прежнее предположение об укомплектовании Крымской армии дружинами ополчения было оставлено тогда, когда мы надеялись еще сохранить Севастополь. С тех пор обстоятельства изменились. Урон, понесенный войсками нашими в последний период бомбардирования, еще более ослабил их, и, наконец, штурм 27 августа и очищение Южной стороны Севастополя, благодаря плавучему мосту столь благополучно совершенное, освободили Крымскую армию от труднейшей ее обязанности, т. е. обороны Севастополя. Теперь дело должно идти: 1) об охранении остальной части Крыма, если оно окажется еще возможным; 2) об укомплектовании и доформировании войск наших, дабы к будущей весне иметь готовую армию для встречи врагов наших, с которой бы стороны они нам ни угрожали, и 3) об усилении войск генерал-адъютанта Лидерса для обеспечения Южного побережья от могущего быть неприятельского десанта. Удерживать долгое время Северную сторону Севастополя, если бы даже и была возможность, нет никакой цели, ибо флот Черноморский по нужде нами самими уничтожен. Не полагаю, чтобы союзники решились атаковать нас на Инкерманских высотах, где местность представляет слишком неприступную позицию. То же самое можно сказать и про Мекензиеву гору и про весь фланг занимаемых нами высот. Скорее можно полагать, что союзники будут стараться сделать диверсию на наш тыл, высадив сильный десант или у устья Качи, или у Евпатории, или около Перекопа. Поэтому, имея самостоятельный отряд у Перекопа, казалось бы выгоднее выбрать центральный пункт около Симферополя, с авангардом к стороне Бахчисарая и большой дороги на Алушту. Из сей центральной позиции Крымская армия, имея по меньшей мере около 100 тыс. чел. под ружьем (о подробностях состава сей армии будет сказано ниже) всегда в состоянии будет угрожать правому флангу высадившегося корпуса в одном из трех упомянутых выше пунктов. Нельзя полагать, чтобы союзники могли высадить разом более 40 тыс. человек, следовательно, численный перевес будет всегда на нашей стороне, и, маневрируя искусно, можно надеяться, что всякая попытка десантного корпуса на наш тыл кончится в нашу пользу» [40].

Такова наиболее важная часть этой записки.

Князь Горчаков обратился к русской армии с воззванием, в котором говорил:

«Храбрые товарищи! Грустно и тяжело оставить врагам нашим Севастополь, но вспомните, какую жертву мы принесли на алтарь отечества в 1812 году! Москва сто́ит Севастополя! Мы ее оставили после бессмертной битвы под Бородином. Триста-сорока-девятидневная оборона Севастополя превосходит Бородино. Но не Москва, а груда каменьев и пепла досталась неприятелю в роковой 1812 год. Так точно и не Севастополь оставили мы нашим врагам, а одни пылающие развалины города, собственной нашей рукой зажженного, удержав за нами часть обороны, которую дети и внучата наши с гордостью передадут отдаленному потомству!»

Горчаков настойчиво указывал, что «с падением Севастополя приобретаем подвижность и начинается новая война, полевая, свойственная духу русского солдата... где бы неприятель ни показался, мы встретим его грудью и будем отстаивать родную землю, как мы защищали ее в 1812 году!»

Русская армия в Крыму, по официальному показанию (в записке М. Д. Горчакова о положении дел в Крыму), была равна в сентябре 1855 г. 150 тысячам человек, из которых 115 тысяч находились, после оставления Южной стороны, на Северной стороне города и в окрестностях Севастополя.

Союзных войск было больше, они были гораздо лучше снабжены продовольствием и боеприпасами, и если русские могли, при желании, продолжать войну на полуострове, то подавно в состоянии были сделать это и их враги.

Но ни русские, ни союзники никаких серьезных военных действий в Крыму больше не предпринимали. Союзный флот шарил берега Черного и Азовского морей, были заняты Тамань (до основания сожженная) и Фанагория, была произведена бесцельная бомбардировка Мариуполя. Никаких серьезных попыток нападения на русскую армию неприятель не производил, дело ограничивалось небольшими стычками. Наиболее крупным сравнительно столкновением было нападение генерала д'Аллонвиля на кавалерийский отряд Корфа (17 (29) сентября). Дело кончилось потерей с русской стороны 220 человек. Никаких существенных изменений эти стычки в положение обеих сторон не вносили.

И не наступающее холодное время года было тому причиной, как писали французские и английские газеты. Да и какие же холода в Крыму в сентябре и октябре? Была другая очень существенная причина. Наполеон III после занятия Севастополя не видел особых причин продолжать далекую, труд-

ную, требующую громадных жертв войну. Цели его были достигнуты. Коалиция держав бывшего Священного союза — антифранцузская коалиция России, Австрии, Пруссии, Англии была расколота на куски, разъединена кровью, разрушена жестокой дипломатической борьбой. Реванш за 1812 и особенно за 1814 год был получен. Воевать дальше из-за Польши не хотели ни Англия, ни Австрия, да и Наполеон не очень этого добивался в течение всей войны. А воевать, чтобы разорить русские морские крепости в Прибалтике или чтобы отнять у России Кавказ,— это входило в расчеты Пальмерстона, но решительно было не нужно и даже нежелательно Наполеону III именно потому, что могло слишком усилить Англию. В самом разгаре войны французский монарх делал уже некоторые загадочные шахматные ходы, раздражавшие и беспокоившие Пальмерстона. Например, в начале марта 1855 г., когда только что телеграф известил Европу о смерти Николая, Наполеон III пригласил в Тюильри саксонского посланника в Париже фон Зеебаха, зятя русского канцлера Нессельроде, и поведал ему о своем огорчении по поводу смерти царя и о своем желании хотя бы окольным путем довести до сведения нового императора Александра II о его соболезновании. При этом Наполеон распространялся о своих неуловленных равнодушным светом сердечных симпатиях к покойнику. Зачем он все это проделал,— ни в Англии и нигде в других местах в точности понять не могли, но думали, что это, конечно, неспроста. Александр II приказал тогда канцлеру Нессельроде довести через того же фон Зеебаха до сведения Наполеона, что царь очень тронут его поступком и что, со своей стороны, тоже жалеет, что отношения между Россией и Францией прерваны и оба императора не могут сноситься официально. Но ведь это дело поправимое: «мир будет заключен в тот же день, как этого пожелает император Наполеон». Такую инструкцию получил Зеебах для разговора в Тюильри. Но Наполеон еще не пожелал. Пока Севастополь не был взят, о мире не могло быть и речи. Ясно было только одно: что император французов рассчитывает *со временем не только* мириться с Россией, но и завязать с ней какие-то близкие отношения.

Теперь, после Севастополя, нужно было еще повременить: предстояла кампания Омер-паши на Кавказе, нужно было подождать, чем кончится дело под Карсом. Но продолжать активную борьбу французской армии против русской в Крыму или где бы то ни было в другом месте Наполеон решительно не желал.

Война и в Крыму и на Балтике как бы замерла. Европа в ожидании глядела на Тюильри и на Зимний дворец. А взоры обоих императоров были устремлены на Закавказье.

Глава XIX

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ И В ЗАКАВКАЗЬЕ в 1854—1855 гг. ВЗЯТИЕ КАРСА

1

Незадолго до смерти Николай набросал несколько мыслей о предстоявшей в 1855 г. кампании на Кавказе. Царь считал, что «самой важной невыгодой» войны на Кавказе является ненадежность путей сообщения, соединяющих Закавказский край с Россией. В самом деле, сообщение с Абхазией и Редут-Кале Черным морем стало невозможным с момента появления на Черном море союзного флота. Военно-Грузинская дорога очень опасна и ненадежна как по природным условиям, так и вследствие войны с горными народами. Почти таков же и третий путь, берегом Каспийского моря: во-первых, он годится лишь для сообщения с Дагестаном, а во-вторых, он тоже под ударами горцев. Наконец, есть четвертый путь, который царь признает наиболее важным (и удобным): Каспийским морем, в Дербент, Баку и к устью Куры. Но чем важнее и незаменимее этот путь, тем внимательнее должно отнестись к обороне города Баку. Пока война идет только с турками, до той поры оборона Закавказья может проводиться успешно, тем более что у России есть близ турецкой границы «единственная крепость за Кавказом, которая заслуживает сего имени,— Александрополь». Но так как положение очень осложнилось бы, если бы пришлось потерять Тифлис, то Николаю кажется, что лучше всего было бы с «главными силами направиться на Дагестан и Баку» и здесь создать важнейший узел обороны в надежде также и на антипатию, которая существует между населением Дагестана и турками. Все это — в предположении, что Персия не выступит...[1]

Еще в 1839 г. Николаю пришлось случайно узнать правду о так называемых укрепленных постах на кавказском берегу Черного моря. Но от этой правды он отмахнулся. «Как понимаешь ты Черноморскую береговую линию? Она меня очень интересует,— спросил Николай кавказского офицера, который

ему представлялся после своего освобождения из плена у Шамиля. Тут не было свидетелей, и надо же было государю хоть раз правду узнать насчет этой пресловутой линии. «Боюсь,— отвечал я,— что береговая линия не оправдает ожиданий вашего величества. Укрепления малы, гарнизоны слабы, изнурены болезнями, едва в силах обороняться от горцев, которых не *они*, а которые *их* держат в постоянной блокаде. Кроме того, в случае европейской войны, при появлении в Босфоре любого неприятельского флота, окажется необходимым снять всю линию: в горы гарнизонам нет отступления, и ни одно укрепление не в силах выдержать бомбардировки с моря».— Государь махнул рукой. «До этого далеко, нечего и думать!»[2] Он вспомнил об этом в 1853 г., когда доложили, что «башибузуки» вырезали гарнизон форта св. Николая...

Укрепления Черноморской береговой линии были сняты еще в феврале 1854 г., как Новотроицкое, так и Тенгинское: гарнизоны и жители выселены, орудия заклепаны, порох затоплен, здания взорваны или подожжены. Но Анапу и Новороссийск решено было в спешном порядке укрепить и защищать. Однако легче было приказать доставить орудия и создать почти несуществовавшие укрепления, чем на самом деле это выполнить. Очень мало успели сделать и для защиты Анапы и для защиты Новороссийска. 8 (20) января 1855 г. союзники, на двух пароходах подойдя к Новороссийску, известили о начале блокады как Новороссийска, так и Анапы. А в последний день февраля 1855 г. произошло нападение на Новороссийск.

28 февраля (12 марта) 1855 г. два фрегата, один бриг, одна шхуна и канонерская лодка, вооруженные в общей сложности 67 орудиями крупного калибра, подошли к Новороссийску и открыли бомбардировку по городу. Канонада продолжалась весь день и всю ночь. Русская артиллерия почти не отвечала. Одновременно горцы толпами, с явно враждебными намерениями стали подходить к Новороссийску. В этом труднейшем положении командовавший гарнизоном генерал Дебу послал трех всадников с запиской к начальнику Черноморской береговой линии в Анапу, прося о поддержке. Из Анапы сейчас же вышел отряд из пяти рот пехоты, четырех сотен казаков и анапского полуэскадрона. Пока этот отряд спешно шел к Новороссийску, неприятельский флот открыл 1 (13) марта вторичную, еще более ожесточенную бомбардировку, на этот раз на более близком расстоянии. Русская артиллерия, очень слабая, деятельно отвечала. В городе пострадали госпиталь, арсенал и много других строений. Одну русскую пушку подбили, другая разорвалась, но оставшиеся орудия продолжали отстреливаться. После марша, продолжавшегося почти сутки, на рассвете 2 (14) марта вспомогательный отряд из Анапы

приблизился, наконец, к Новороссийску. Перед самым входом в город отряду пришлось пробивать себе дорогу, отбрасывая толпы горцев.

После того как отряд вступил в город, неприятельский флот снялся с якоря и удалился. Через лазутчиков (из горцев) русские узнали, что союзники решили ввиду прибытия подкрепления отказаться от немедленного десанта и занятия Новороссийска. Но они обещали в скором времени вернуться и уславливались с горцами о будущем совместном нападении на город. Анапский вспомогательный отряд, забрав 330 человек больных, семейства воинских чинов и других лиц, вернулся в Анапу, снова выдержав по пути перестрелку с горцами [3].

Защищать Новороссийск в случае нового комбинированного нападения с моря и с суши было признано невозможным, и генерал-майору Дебу, потерявшему несколько человек убитыми и ранеными из своего ничтожного гарнизона, было предписано в случае нужды «оставить Новороссийск, истребив все, что не может быть взято, и испортив орудия».

Победа русских под Новороссийском была одержана при самых недостаточных средствах артиллерийской обороны и может быть, по справедливости, причислена к славным ратным подвигам Крымской войны. Но дело этим не окончилось.

Неприятель упорно курсировал у берегов Таманского полуострова, а 12 (24) мая неприятельский флот в составе 75 судов (из коих 50 — паровых) подошел к Керчи, разгромил немногие слабо вооруженные батареи, и на другой день англичане и французы заняли город. Ясно было, что теперь уже Новороссийск и Анапу защитить не удастся никак. Оба города, по приказу генерал-адъютанта Хомутова, были оставлены гарнизонами после взрыва и сожжения укреплений и вывоза всего ценного. Войска, выведенные из Новороссийска и из Анапы, удалось спасти, хотя им грозил, казалось, неминуемый плен.

В развалинах Анапы союзники оставили «князя черкесов» Сефер-бея и турок. Создать из горцев армию Сефер-бею не удалось. Черкесы и другие горные племена (как и сам Шамиль) не доверяли, по-настоящему, ни гяурам, пришедшим сюда захватить их землю, ни туркам, которые с этими гяурами связались и, очевидно, сами находятся у гяуров в полном подчинении. И никакого Сефер-бея, именующего себя черкесским князем и приехавшего на пароходе из Константинополя, они не знали. Сколько-нибудь путной помощи горцы союзникам, к полному разочарованию последних, не оказали.

Борьба оживилась уже в самом конце войны. 12 (24) сентября была занята Фанагория, затем была эвакуирована Тамань после отчаянного сопротивления десанту со стороны пластунов. Пластунский же отряд успешно и долго оборонял от

высаживаемых десантов побережье у Темрюка и у Голубицких хуторов. Попытки Сефер-бея 19 (27) сентября переправиться на правый берег Кубани потерпели полную неудачу. Черноморские пластуны не переставали тревожить неприятеля, молодецки нападая (2 октября 1855 г.) на уже занятую им Фанагорию, колотя его отдельные отряды у Джигитинской батареи, у Варениковского укрепления, отшвыривая горские партии у Екатеринодара. Никаких стратегических или политических выгод эти высадки союзников на Черноморской береговой линии, на Черноморской кордонной линии, все эти занятия развалин небольших прибрежных городков союзникам не принесли.

Но раньше чем перейти к решающим делам Кавказской кампании 1854—1855 гг., нам показалось справедливым вспомнить о невидных, полузабытых подвигах пластунов и других героев русской армии, горсточка которых поддерживала на Кавказе борьбу против неприятеля, в несколько раз более многочисленного, и до и после падения Севастополя[4].

Но дело должно было решиться не на Черноморском побережье, а в Грузии, Гурии и под стенами Карса.

Напомним, как сложилась общая военная обстановка на Кавказе после русских побед конца 1853 г.

2

Зима 1853/54 г. прошла в бездействии, если не считать мелких набегов отдельных небольших турецких отрядов на разбросанные русские посты. Но весной до русского командования стали доходить беспокойные слухи об очень больших пополнениях, которые получила анатолийская турецкая армия. Говорили, что она доходит уже до 50—60 000 человек и весной намерена взять быстрым налетом Кутаис и Тифлис.

Наступила весна 1854 г. Верховное командование в этот момент находилось в руках генерала Реада. Ему непосредственно были подчинены Бебутов и Андроников. Князь Андроников, командовавший в Гурии, велел Эристову первому напасть на озургетский большой турецкий отряд, именно и угрожавший прежде всего Кутаису. В битве у с. Нигости, происшедшей 27 мая (8 июня), турки были разгромлены, хотя у подполковника Эристова в этот день было ровным счетом два батальона и четыре орудия (были ему даны еще не в комплекте, кроме того, две роты Белостокского пехотного полка, но они в бою фактически мало участвовали, оберегая обоз и сообщения). По данным, доставленным князю Андроникову, у турок было до 12 000 человек, по иностранным показаниям — значительно меньше этой цифры, но, безусловно, гораздо больше, чем у русских. Сейчас же после победы Эристова Андроников со

всеми силами, бывшими у него под рукой, бросился на турок. Встреча произошла на берегах реки Чолок. Со стороны Селим-паши была выставлена армия, если и не доходившая до 34 000 человек [5], то уже во всяком случае, даже по самым умеренным оценкам, раза в два с половиной превышавшая численностью десятитысячный отряд Андроникова. Правда, орудий у нас было больше (18 против трех). Сражение при Чолоке 3 (15) июля 1854 г. окончилось полнейшей, блистательной победой русских. Турки потеряли около 4000 убитыми и ранеными, бросили, при паническом бегстве в конце боя, свои орудия, весь обоз и т. п. Паника охватила их лишь к концу сражения, — вначале они сопротивлялись упорно, пользуясь малейшим прикрытием. Русские потери были (по донесению Андроникова) около 1500 человек, из них убитых 250 человек армейских и 56 милиционеров. Селим-паша еле спасся от плена. Спустя полтора месяца после этой битвы войска генерала Врангеля (действовавшего под командой и в составе отряда Бебутова) напали (17 (29) июля 1854 г.) на Чингыльских высотах, недалеко от Баязета, на турок, угрожавших в этой области Эривани и имевших именно здесь большую помощь со стороны нерегулярной курдской кавалерии. Бой продолжался ровно два часа и закончился полной победой русских.

Разгром турецких войск был завершен долгим, очень кровопролитным преследованием бежавших турок. Этот «баязетский» отряд, можно сказать, исчез без остатка, и лишь спустя некоторое время поспешно посланные из Эрзерума и Батума новые части восстановили положение.

Через два дня после боя генерал Врангель вошел в турецкий город Баязет, где захватил большие трофеи и обильные продовольственные запасы.

Но этими успехами дело не ограничилось. Самая крупная русская победа, закончившая азиатскую кампанию 1854 г. и обеспечившая на предстоящие месяцы осени, зимы и весны русское Закавказье от сколько-нибудь серьезных завоевательных поползновений со стороны турок, была одержана генералом Бебутовым.

Бебутов очень осторожно, после многочисленных разведок и поисков, двинулся по направлению к Карсу, навстречу турецкой армии, вышедшей из Карса к аулу Кюрюк-Дар. Армия турецкая была большая, хотя едва ли достигала цифры в 60 000 человек, которую дают некоторые участники кюрюк-дарского боя. Выйдя из Александрополя и перейдя границу еще 14 июня, Бебутов только 24 июля напал на турок около аула Кюрюк-Дар на турецкой территории. Турки не только не собирались бежать обратно в Карс, как думал сначала Бебутов, но, напротив, сами атаковали на рассвете русскую

позицию. Сражение было довольно упорное, с критическими для русских моментами. Если турок было и не 60 000, то во всяком случае немногим меньше, а у Бебутова в момент боя было лишь 18 000 человек и 64 орудия. Но к 11 часам утра необычайная стойкость русской армии восторжествовала. Русские перешли от обороны к нападению,— и турки обратились в бегство. Русская кавалерия под начальством генерала Багговута преследовала беглецов почти до самых стен Карса. Около 3000 трупов турки оставили на месте боя, около 1800 человек было взято в плен. Русское командование (Бебутов, Барятинский, начальник артиллерии Брюммер, начальник кавалерии Багговут) действовало несравненно искуснее Зорифа-паши, совсем не сумевшего воспользоваться своими огромными преимуществами [6]. Некоторые авторы (например, генерал Богданович), доверяя показаниям лазутчиков, считают, что турки потеряли 10 000 человек и разбежалось 12 000, но эти цифры едва ли вполне достоверны. Наши потери, по донесению Бебутова, составляли 3054 человека убитыми и ранеными. Русские захватили около 2000 пленных (Рудаков дает 1800) и 15 орудий. Во всяком случае потери турок были гораздо больше русских потерь. Но решающего значения эти победы, как и вся кампания в Закавказье и Малоазиатской Турции, не имели.

С весны 1855 г. русским пришлось считаться с возможной угрозой со стороны большой турецкой армии, стоявшей недалеко от Александрополя и опиравшейся на мощную крепость Карс. В этой анатолийской армии уже к началу лета 1855 г. турок оказалось до 50 000 человек. Она опиралась на Эрзерум и Карс и имела постоянные и удобные сообщения морем через Батум со всем турецким побережьем Черного моря и с Константинополем. Все проходы через Саганлугский горный кряж были прочно заняты турками и укреплены. При этих условиях и победы при Чолоке и Кюрюк-Даре, и временное занятие Баязета русским отрядом Врангеля, и другие частичные успехи наших войск не могли иметь решающего значения.

Кампания 1854 г. окончилась. Обе стороны остались в выжидательном положении. Русские от этого, конечно, оказались в прямом выигрыше: ведь турецких вооруженных сил было по крайней мере в три раза больше, чем наших, в эту зиму 1854/55 г. Но союзники не хотели и не могли в это время оказать туркам никакой помощи в Азии. Слишком трудное время они сами переживали в эту зиму на Крымском полуострове. И ни весна, ни лето в этом отношении не изменили создавшегося положения вещей. Когда кипела упорная борьба за Селенгинский и Волынский редуты и за Камчатский люнет — от февраля до конца мая 1855 г., когда затем французам и англичанам пришлось оправляться от тяжелого поражения, испы-

танного ими 18 июня при их неудачном штурме Севастополя, им было не до того, чтобы посылать подмогу туркам на Кавказ. Конечно, лорд Пальмерстон очень хотел бы, чтобы именно на Кавказе русским был нанесен решающий удар, но в эти планы, которые английский премьер вынашивал долго и упорно, он вносил одну поправку, а именно: ему казалось крайне желательным, чтобы на Кавказ были посланы не английские, а французские войска. И на этом сорвано было все дело: Наполеон III совсем не хотел тратить своих дивизий в кавказских горах без малейшей пользы для Франции, только затем, чтобы укрепить против России подступы к Герату и к английской Индии.

Так шел месяц за месяцем. Русские и турки в Закавказье наблюдали друг за другом и выжидали. И зима 1854/55 г. прошла в таком же, почти полном бездействии на этом театре войны, как и предшествующая 1853/54 г.

Наступило лето 1855 г.

В новейшей английской публикации, вышедшей в 1945 г.[7], мы находим любопытный документ, явно говорящий о том, что уже к середине 1855 г. турецкая армия дошла до предельной слабости. Омер-паша, зная, что непосредственно турки никакой пользы под Севастополем не приносят и принести не могут, дает союзникам благой совет попытаться в текущем 1855 г. лишь создать угрозу для сообщений русских с Грузией и этим заставить их отойти от Карса. А затем, не торопясь и аллаху помолясь, прервать все военные действия на Кавказе до весны 1856 г. ...К этому, по существу сводились все пожелания турецкого воителя в середине июля 1855 г.[8]

Основным для союзников был вопрос: удастся ли туркам, имея очень крупные силы и такие прекрасные базы, как крепость Карс и в более глубоком тылу Эрзерум, вытеснить русских из Грузии и Гурии? Главной целью русского командования было взятие Карса.

3

Всю зиму 1854/55 г. турки при деятельной помощи английских инженеров укрепляли Карс, а турецкое командование во главе с Омер-пашой настойчиво домогалось у константинопольского правительства усиленного снабжения крепости боеприпасами, сухарями, сушеным мясом и т. п. Князь Михаил Семенович Воронцов, уже несколько раз просившийся в отставку, болевший на своем восьмом десятке часто и подолгу, выпудил, наконец, царя отпустить его. Николай, по-видимому, хорошо понимал, что из очень крупных его генералов никто на себя такой обузы не возьмет, если не пообещать ему серьезного увеличения вооруженных сил в Закавказье. Он неожиданно

обратился к такому генералу, который, как можно было ожидать, непременно согласится, потому что самое звание наместника и главнокомандующего на Кавказе будет иметь для его карьеры большое значение. Как раз в это время (дело было в конце ноября 1854 г.) в Петербурге оказался командир гренадерского корпуса Николай Николаевич Муравьев. Он служил в Варшаве, у Паскевича, в Петербурге же находился лишь проездом: Николай назначил его командующим войсками в Финляндии, и Муравьев как раз собирался отбыть к новому месту службы, когда ему велено было явиться в Зимний дворец. Царь объявил ему, что желает отправить его не в Финляндию, а на Кавказ, с званием наместника и главнокомандующего. Муравьев не был так знатен, как его предшественник князь Воронцов или как его преемник князь Александр Барятинский и, подавно, как великий князь Михаил Николаевич. Он был вовсе не из той среды, откуда вербовались в XIX в. наместники Кавказа. За ним не было ни боевых подвигов, ни глубокого знания кавказских дел, как за Бебутовым или Баклановым. Словом, это назначение было для него очень значительной улыбкой фортуны и, конечно, он согласился. Но зато и царь прекрасно во всем этом разбирался, и когда новый наместник всеподданнейше заикнулся, что хорошо бы усилить кавказский корпус, его величество поспешил оборвать всякие в этом деле поползновения и заявил о «несвоевременности требования» и невозможности посылать войска на Кавказ ввиду необходимости послать их в Крым. А когда Муравьев заикнулся вторично, то Николай «наконец положительно выразился, что в тогдашних трудных обстоятельствах неизбежно было обходиться теми способами, которые найдутся на месте» [9]. Графу Орлову или Михаилу Горчакову так ответить было бы нельзя, потому что они отказались бы ехать при таких условиях, но потому-то царь и обратился не к ним, а к Муравьеву.

В самом начале марта Муравьев был уже в Тифлисе (известие о смерти Николая застало его в пути). Турецких войск по всему Черноморскому побережью от Батума до Сухум-Кале было, по соображениям Муравьева, к началу лета 1855 г. около 15 000 человек. Но в близком тылу, в Эрзеруме и вокруг Эрзерума, находилась турецкая анатолийская армия. Около 14 500 из нее было в Карсе, 1500 — в Эрзеруме, около 10—11 000 — южнее, у Евфрата. По-видимому, из этого евфратского отряда, по настояниям полковника (потом генерала) Вильямса, в Карс было переброшено несколько тысяч, так что в этой крепости к началу летней кампании было уже около 19—20 000 человек. Близ Баязета находилось около 12 000 человек под начальством Вели-паши. Кроме этих регулярных сил, анатолийская армия обладала еще несколькими тысячами башибузуков. Только про-

слышав о намерении нового русского наместника идти походом на Эрзерум, Вассиф-паша, командир карсских войск, решил было сдать крепость русским, не пытаясь оборонять ее: до такой степени никуда не годилась турецкая разведка, верившая всем слухам о будто бы имеющихся в распоряжении Муравьева громадных силах.

А между тем в начале июня, когда наместник двинулся к Карсу, в его непосредственном распоряжении для действий против крепости было всего 21 200 пехотинцев, 3000 кавалеристов (драгун) и столько же казаков, артиллерия же его состояла из 88 большей частью легких орудий. Было у Муравьева, кроме того, четыре сотни милиции.

Муравьев начал действовать с постепенного охвата Карса и систематического уничтожения всех путей сношений между Карсом и Эрзерумом.

Союзники очень беспокоились. Слишком уже тревожные вести шли из Закавказья еще с конца лета. В середине августа, например, в Константинополе распространился слух, что Карс взят, что русские будто бы вошли в Эрзерум. Во французских посольских кругах столицы Турции были недовольны: «Тут люди в затруднении. Что делать? Где войска? Контингент не готов». В турецкого главнокомандующего французы (когда они говорили «между собой», не для публики) не очень верили: «Сам Омер-паша не очень стремится компрометировать свои военные таланты в Азии, где ощущается во всем недостаток». Где остановится Муравьев,— не ясно (cette pointe où Mouravioff pourrait donc ne pas s'arrêter là). Турецкое правительство обратилось к Садык-паше (Чайковскому) с предложением ехать в Трапезунд, но Садык-паша этим не весьма доволен. Кроме того, турки недовольны англичанами и дезертирствуют,— целая тысяча дезертировала. Англичанин Лонгуорс, получив миссию привлечь черкесов на сторону союзников, провалился совершенно, черкесы его от себя отправили. «Черкесы не шевелятся». Есть даже слухи, будто Шамиль заключил соглашение с Россией. Как истый француз, пишущий это донесение посольский чиновник не может не напутать, говоря о русских. Признавая, что Муравьев «застал врасплох (pris au dépourvu)» турок, он объясняет это тем, что Муравьев — армянин (sic) и поэтому «хорошо знает тамошние дела и людей». Произведя столь неожиданно Николая Николаевича в армянина, автор письма уже не удивляется тому, что «15 или 20 тысяч турок будут взяты в Крыму и с Дуная и отправлены в Батум, куда проедет Омер-паша» [10].

4

Как известно, правило «победителей не судят» применяется особенно усердно именно в военной истории [11]. Конечная победа

над Карсом покрыла славой имя Николая Николаевича Муравьева-«Карсского», и бесспорно правы те современники, которые, подобно М. П. Щербинину, считают, что «падение грозной твердыни, почитавшейся нашими врагами несокрушимой, имело громадное влияние на условия парижской конференции о мире» [12]. Но не менее справедливо будет признать, что ошибки Муравьева, во-первых, отсрочили победу на несколько месяцев, а во-вторых, стоили русской армии напрасных жертв. Муравьев был «генерал не без таланта», как о нем снисходительно выражается в своих воспоминаниях преображенский генерал Колокольцев. Другие, близко его наблюдавшие, склонны были еще сдержаннее говорить о его стратегических способностях, но были у него и почитатели. Солдаты относились к нему, по-видимому, неплохо. Николай Николаевич по своим свойствам и навыкам не был похож ни на благородного своего брата декабриста Александра, ни на другого своего брата Михаила Николаевича, позднейшего виленского усмирителя. Таким образом, если вспомнить классическое по-своему словцо именно этого виленского Муравьева-вешателя, Николай Николаевич не принадлежал ни к тем Муравьевым, которых вешают, ни к тем, которые вешают. Очень неглупый, упрямый, раздражительный Муравьев попал в преемники Воронцова по капризу Николая I, и ехал он в Тифлис, уже наперед зная, что его считают незаслуженно превознесенным. Знал он также, что есть два генерала на Кавказе, которых единогласно признают несравненно больше его понимающими войну с горцами и турками: генерал Бебутов, герой Башкадыклара, и казачий любимец, генерал Яков Петрович Бакланов, богатырь и телом и отвагой, в конце шестого десятка лазивший со своим вестовым или двумя-тремя пластунами ночью по оврагам и через кустарники под ногами у неприятельских часовых. «Если струсишь,— видишь вот этот мой кулак? Так я тебя этим самым кулаком и размозжу!» — говорил он казакам, которые его обожали и восторгались, что ни разу он никого под суд не отдал.

Новый главнокомандующий не любил Бакланова, уже заранее мог ждать от него дерзостей, но обойтись без него не мог никак.

Предстояло брать сильнейшую крепость Карс, прекрасно укрепленную англичанами.

Первые месяцы совместной службы на Кавказе старого казака с важным гвардейским генералом прошли благополучно, без обид и столкновений, хотя Николай Николаевич очень любил приказывать, а Яков Петрович не имел никакой склонности повиноваться. Все шло ладно до поры до времени.

Из всех генералов своей армии Муравьев больше всего надеялся на Бакланова не только вследствие давней и гром-

кой военной репутации его, но и потому, что Бакланов знал Карс и его окрестности, как никто. Этот начальник иррегулярной конницы, знаменитый на Кавказе казачий генерал Яков Петрович Бакланов еще в конце мая 1855 г. перешел турецкую границу двумя колоннами и сосредоточил свой отряд в Аджан-Кале, севернее Карса. Начались рекогносцировки. После давшей очень важные результаты рекогносцировки 14 (26) июня Бакланов посоветовал Муравьеву приказать штурмовать крепость, предупреждая, что если пропустить эту благоприятную минуту, то она не так скоро вернется. Но Муравьев не решился. Он объяснил причину своей нерешительности в письме к военному министру: в случае неудачи войска отступят, а население Закавказского края «будет готовиться к восстанию», да и со стороны Персии в этом случае следует ждать неожиданностей. Сил у Муравьева было не много. Если бы у него было еще хоть 15 000 человек, пишет он министру, тогда можно было бы, «заблокировав Карс» и не задерживаясь около него, идти прямо на Эрзерум. Но при том положении, какое на самом деле было, оставалось приступить к тесному обложению города и к захвату провианта, который на арбах подвозился к городу из Саганлуга, Каракургана, Бардуза и других мест. Весь июль и август ушел у русских войск на эти нападения, на сожжение заготовленных припасов, на уничтожение фуражиров, выходивших из крепости. В этих атаках почти всегда успех был на стороне русских.

Бакланов и его казаки в конце лета и ранней осенью 1855 г. превзошли самих себя ловкостью и смелостью.

5

Окружность крепости Карса, подлежавшая полной блокаде, была равна 50 верстам, и притом природа местности была такова, что проведение строгой блокады являлось почти невозможным или, во всяком случае, очень трудно достижимым. Несмотря на все усилия Муравьева и его генералов, все же время от времени в крепость доставлялось продовольствие. Но, конечно, все попытки неприятеля сколько-нибудь правильно поставить фуражировки пресекались в корне русскими разъездами. Генерал Бакланов 18 (30) августа разгромил большой отряд фуражиров, вышедший из города под прикрытием конницы. Через два дня ликвидировал подобную же попытку турок граф Нирод с двумя дивизионами драгун и полутора сотней казаков. Более мелкие попытки повторялись и далее. 22 августа была одержана новая победа, еще более крупная, чем 18 числа: было убито 125 турок, взято в плен около 20. Голод в Карсе становился все чувствительнее. Осень в 1855 г. наступила очень ранняя, для этих широт неожиданно холодная, особенно в гор-

ных отрогах. Уже 28 августа там выпал снег. Положение крепости быстро ухудшалось. В турецкой главной квартире в Эрзеруме решено было послать к Карсу подкрепление. Трудно понять, как решились турки на подобное фантастическое дело: надеяться, что небольшому отряду удастся прорваться сквозь русские осаждающие войска, было крайне легкомысленно. Потом выяснилось, что турки были обмануты слухами, будто на Саганлугском горном хребте уже стоят какие-то турецкие войска. Но как могли этому поверить в Эрзеруме? Впрочем, разведка у турок на азиатском театре была из рук вон плоха. Муравьев велел генерал-лейтенанту Ковалевскому идти навстречу турецкому отряду. Ковалевскому было дано 7 батальонов пехоты, 8 эскадронов, 10 казачьих сотен и 20 орудий. Встреча с турецким отрядом, которым командовал Али-паша, произошла у Пеняка 31 августа. Турки потерпели полное поражение и бежали, оставив весь свой лагерь и много пленных, в числе которых оказался и сам Али-паша. Убитыми турки потеряли до 300 человек. В битве приняли участие не только шедшие в Карс войска, но отчасти и вышедшие из Карса с целью помочь Али-паше. У самого же Али-паши было всего 1500 человек регулярной конницы, тысяча башибузуков, несколько сот пехоты и четыре легких орудия. Сопротивление турок было крайне слабым. Ковалевский рассеял отряд Али-паши, не понеся почти никаких потерь. Большие заботы, однако, обступили Муравьева: в русском лагере в первую же неделю сентября появилась холера.

К концу июля Карс был уже обложен войсками Муравьева. Население занятых русскими войсками турецких районов вокруг Карса должно было вносить в пользу стоявшей там русской армии только *бахру*, т. е. то же, что они вносили в турецкую казну до прихода русских: одну десятую часть хлебного урожая. Жители тяготились главным образом подвозом, так как вьючный скот у них был почти весь отнят турецким командованием и загнан в крепость еще до начала полного обложения Карса. За скот, покупаемый у турецкого населения для продовольствия армии, русские платили, согласно приказу Муравьева, *наличным* золотом, а не какими-то подозрительными бумажками и расписками, как это было при турецком начальстве. Вообще отношения между русскими войсками и турецким населением установились очень хорошие [13].

Продовольственная нужда среди карсского турецкого гарнизона росла с каждым днем. В конце августа положение стало почти угрожающим. Командир Вассиф-паша и фактический начальник гарнизона и города английский полковник Вильямс принимали суровейшие меры в борьбе с участившимся дезертирством. Расстрелы следовали за расстрелами. Сильно подняли дух гарнизона два события: 2 (14) сентября в Батуме

высадился корпус Омер-паши, приблизительно в 25 000 человек с 10 полевыми орудиями, 20 горными и несколькими мортирами. Омер-паша направился в Абхазию, но в Карсе убеждены были, что Муравьев снимет осаду, чтобы отразить Омер-пашу. Одновременно в Карс пришло и другое радостное для гарнизона известие, принесенное случайно проскочившим в крепость всадником Арслан-агой, что пал Севастополь.

Но восторженное возбуждение вскоре опять сменилось тревогой. Муравьев осады не снял; напротив, осада стала особенно тесной и строгой. Все фуражирские поиски турок оканчивались неудачей, русские разведчики смелели все больше и больше. Но дисциплина в гарнизоне держалась. Доверие к Вильямсу у турецких солдат было полное; они убеждены были прежде всего в его полной честности и мирились с его беспощадной суровостью по отношению к дезертирам. Султан дал ему чин «ферика» (дивизионного генерала) и велел именовать пашой. Вильямс был человек энергичный, с твердым характером, обладавший военным образованием, большой выдержкой и находчивостью. Русские войска он ставил очень высоко.

6

Но близился момент, когда между главнокомандующим и Баклановым произошло решительное разногласие. До Муравьева уже давно доходили слухи, что турецкое главное командование решило послать на выручку Карса значительные подкрепления. После оставления нами Севастополя эти слухи очень усилились. Было ясно, что приободренные турки будут отстаивать Карс до последней капли крови, да и армия у них поосвободилась. Наконец, в первых числах сентября стало известно, что, в самом деле, в Батуме высажен турецкий десант. 2 (14) сентября Бакланов внезапно был вызван к главнокомандующему.

К удивлению Бакланова, Н. Н. Муравьев объявил ему, что желает штурмовать Карс. Бакланов был на этот раз решительно против штурма и взялся произвести еще новую разведку через пластунов. Две ночи подряд происходили эти опаснейшие разведки. На вторую ночь Бакланов вместе с тремя казаками отправился лично, ползком пробрался мимо турецких часовых и подробно осмотрел батареи. Покончив это дело и благополучно выбравшись из рва, он отправился немедленно в ставку Муравьева. Мнение Бакланова было совершенно категорическим: «Кавалерия... должна скакать на протяжении трех верст под огнем сорока семи орудий. Девять десятых из нее, конечно, останется на месте, и если на Шорах прискачут со мною триста, четыреста всадников, они не принесут ни малейшей пользы».

Начался спор. Муравьев показывал лежавший у него план карсских укреплений, а Бакланов говорил, что этот план никакого значения не имеет. «Позвольте предложить вопрос: с какого расстояния осмотрены, сняты и нанесены на этот план карсские укрепления?» — «В телескоп»,— отвечал главнокомандующий.—«Значит, на расстоянии семи, а может и более верст?»—«Да. Вы хотите сказать,— быстро перебил меня (Бакланова — *Е. Т.*) Муравьев,— что этот план не может быть верен?» — «Более, я удивляюсь, как вы ваше высокопревосходительство решаетесь основывать на нем свои предположения, когда на расстоянии какой-нибудь полуверсты зоркий глаз, вооруженный отличным биноклем, меня обманывает» [14]. Спор обострялся с каждой минутой. Бакланов, наконец, сказал: «Шорах вы не возьмете и с 15 батальонами, в этом да будет вам порукою моя голова, поседевшая в битвах». Тогда крутой деспотический нрав, свойственный всем братьям Муравьевым, прорвался: «Муравьев медленно приподнялся с места. „Генерал! — сказал он резко, делая ударение на каждом слове.— В ответ на вашу речь напомню вам русскую пословицу: яйца курицу не учат, а слушают. Вы слишком опрометчиво *ручаетесь своею головою.* Поэтому я возвращаю вам ваше слово назад. Возвратитесь к отряду. Накануне приступа получите вы приказания, которые я обязываю вас исполнить в точности"».

Внимательно наблюдая за Карсом, Бакланов пришел к очень тревожному выводу, что турки уже откуда-то узнали о готовящемся штурме, хотя половина успеха зависела от строжайшей тайны! Бакланов запиской уведомил об этом убийственном открытии самого Муравьева. Ответа не последовало. Поколебался ли Муравьев после спора,— мы не знаем. Но во всяком случае он несколько оттянул дело́.

15 (27) сентября [15] главнокомандующий собрал своих генералов на совещание. Приглашены были шесть человек. Бакланов не получил приглашения. На этом заседании Муравьев даже и не поставил на обсуждение вопроса о штурме. Он только сообщил генералам о предположенной диспозиции, о том, что́ именно и кому именно он приказывает делать в момент предстоящего штурма. Два участника совещания, генералы Майдель и Ковалевский, совершенно убеждены были, что Бакланов прав и что штурма предпринимать нельзя. И оба промолчали, не решившись возражать, зная из предшествующих разговоров о непоколебимом решении главнокомандующего.

Штурм был назначен на предутренние часы 17 (29) сентября. «Наступал рассвет, а грозная крепость казалась погруженною в глубокий сон: так тихо и безмолвно было на ее батареях. Многим эта зловещая тишина вовсе не показалась зловещею; они рассчитывали, напротив, что турки беспечно предаются

сну, и торопились воспользоваться благоприятною минутою». Бакланов, однако, был убежден, что турки отлично обо всем уже осведомлены. «Попомните,— сказал он генералу Базину,— турецкая пехота стоит на валах и молча ждет нападения» [16].

Штурм, в самом деле, был встречен страшной канонадой: «Со всех батарей грянул убийственный залп, и неприятельские снаряды с воем и визгом полетели над нашими колоннами». Один за другим три редута под ужасающим огнем были взяты все-таки нашими штурмующими колоннами. Но оставалось взять главное укрепление Вели-Табию, пройдя для этого через глубокую и широкую лощину, отделявшую ее от уже взятого русскими третьего редута. Уже к пяти часам утра вся линия Чакмахских укреплений со всей кавалерией, с 15 орудиями, с двумя турецкими знаменами была взята. «Будь в это время под рукою три-четыре свежие батальона, можно было бы сделать попытку против самой Вели-Табии» — говорят участники боя. Но этих батальонов не оказалось. Генералы Базин и Бакланов посылали к Муравьеву одного адъютанта за другим: подкреплений — и Карс наш! Но Муравьеву неоткуда было их взять: из своей ставки он ясно видел, что Шорах не взят и что генерал Майдель, отчаянно там дерущийся, гибнет, все поджидая резервов, которые уже полностью введены в дело. К Муравьеву примчался от Базина капитан Ермолов (сын знаменитого Алексея Петровича). «Взяли все, что было назначено по диспозиции,— доложил Ермолов; — теперь дело остановилось; войск мало; мы не можем взять Вели-Табии, но если угодно будет прислать четыре батальона, мы перейдем овраг и через полчаса соединимся с вами на Шорахе. Бакланов и Базин приказали сказать, что головами ручаются за успех предприятия». «Подожди,— сказал главнокомандующий отрывисто. Долго ждал ответа Ермолов.— Скачи скорее назад,— сказал он, наконец, Ермолову,— и скажи Бакланову и Базину, чтобы отступали; у меня огромная потеря, и я не могу овладеть Шорахом».

Сражение длилось еще около трех часов, но надежды взять в этот день Карс не оставалось уже никакой. Начались контратаки турок. Подоспело приказание Муравьева, и русская армия отошла. Из строя в этот злосчастный день у нас выбыло, по официальным (несколько уменьшенным) данным, 4 генерала, 248 офицеров, около 7000 нижних чинов. Убит был один из лучших кавказских генералов — Ковалевский.

Изумительная храбрость, проявленная штурмующими колоннами, не помогла: штурм мог удаться только при гораздо бо́льших силах и, главное, при полнейшей внезапности нападения и неподготовленности гарнизона к атаке. А турки прекрасно знали о готовящемся штурме. Руководитель турецкого гарнизона англичанин Вильямс, видя, что русские идут на Шо-

рах, снял шляпу и поздравил уже наперед турок с победой, так как считал, что овладеть Шорахом открытым штурмом невозможно.

«На следующий день,— говорит Бакланов,— я сидел в палатке мрачный, подавленный тяжелой скорбью о тех потерях, которые я предрекал, но которые предотвратить было не в моей власти. Наконец, я не выдержал, сел на коня и поехал к главнокомандующему. Муравьев встретил меня сухим и суровым вопросом: „Что вам угодно?" Я вспыхнул и отвечал: „Приехал я только для того, чтобы спросить: кто оказался правым — генерал ли Муравьев или генерал Бакланов?"». Муравьев промолчал. С этой минуты идея Бакланова, что Карс должно взять голодом, восторжествовала окончательно.

Генерал Муравьев уточняет цифру наших потерь 17 сентября: 4 генерала раненых (Ковалевский смертельно); офицеров — убитых 74, раненых 126, контуженных 48; солдат — убитых 2278, раненых и контуженных 4784, без вести пропавших 164, всего нижних чинов, выбывших из строя, 7226. Муравьев утверждает, что многие впоследствии вернулись в строй, так что «настоящей убыли убитыми и изувеченными оказалось не более 4500 человек». Обе стороны сражались в этот день храбро и стойко. Показаний о турецких потерях, сколько-нибудь точных, нет. Вильямс дает такие цифры: 362 убитых и 361 раненых из числа турецкой армии и 101 — из числа жителей Карса. Помощник Вильямса, тоже непосредственно участвовавший в бою, полковник английской службы Лек дает несколько иные цифры и исчисляет общие потери турок в 1393 человека. Н. Н. Муравьев не соглашается ни с первым, ни со вторым свидетельством и утверждает, что турки потеряли не менее 2000 человек. Непосредственно в штурме участвовало около 20 000 русских, а в обороне, по показаниям Лека, до 10 000 турок [17]. Венгерский майор Кмети, бежавший в Турцию после подавления венгерской революции 1849 г. и участвовавший в защите Карса, не находит слов, чтобы достаточно восхвалить героизм русских солдат и офицеров, бросавшихся с отчаянной отвагой и полным презрением к смертельной опасности на крутые, совсем неприступные высоты под адским огнем неприятеля.

Ликование и в Карсе, и в Константинополе, и в Париже, и в Лондоне, когда получены были вести об отбитом штурме 17 сентября, не омрачалось на первых порах никакими тревожными предчувствиями. Но уже довольно скоро выяснились два чрезвычайно важных факта: турки совершенно не сумели использовать свой успех, а русские нисколько не пали духом. Турецкое начальство, вместо того чтобы подсылать новые и новые подкрепления, удовольствовалось распространением в гарнизоне Карса, в Эрзеруме и во всех частях анатолийской армии

известия о таинственной дружине, одетой во все зеленое, которая спустилась с неба в день 17 сентября, а после победы исчезла. И ровно ничего реального для использования победы Вассиф-паша и его верховный начальник Омер-паша не сделали. Но и англичане — Вильямс, его помощники Лек и Тисдель — тоже уверены были, что осада будет теперь снята с Карса непременно. А в лагере осаждающих как раз и проявилось свойство русского народа — способность не смущаться никакими неудачами. Ни малейшего упадка духа не наблюдалось даже там, где этого, по вполне естественным причинам, можно было бы ожидать. «При посещении генералом Муравьевым полевых госпиталей он остался доволен их устройством; но всего более поразил его тот необыкновенный дух, который сказывался между ранеными. Ни стона, ни вопля не было ниоткуда слышно; на приветствия же главнокомандующего в каждой палате страдальцы отзывались бодро и с жаром выражали надежды свои на скорое выздоровление, дабы снова идти на приступ Карса и отомстить туркам за павших товарищей и за случившуюся неудачу. При посещении полков в их лагерях выбегали из палаток, среди здоровых, с подвязанными руками легко раненные офицеры и нижние чины, которые не хотели отстать от своих частей и поступить в госпитали. „Турку,— говорили солдаты,— нельзя с одного раза разбить"» [18]. Сам Муравьев ни минуты не колебался. Он решил продолжать осаду и взять Карс, смотря по обстоятельствам, либо новым штурмом, либо голодом. Его военная репутация могла теперь быть поправлена только каким-либо большим, бесспорным успехом; это хорошо понимали окружающие его и, вероятно, лучше всех сознавал он сам. Но его большой заслугой является то, что он не внял никаким советам и внушениям о целесообразности снятия осады и движения против армии Омер-паши. Никуда из-под Карса он не двинулся, правильно разгадав своего противника. Если бы в Мингрелии турецкой армией командовал даже не Суворов, а всего только, скажем, будущий герой Плевны Осман-паша, тогда, конечно, после неудачи 17 сентября Муравьеву нужно было бы уходить из-под Карса и перегруппировывать свои силы. Но при Омер-паше можно было не очень опасаться молниеносных ударов. Безмерное самолюбие Муравьева, которое заставило его при подробнейшем описании штурма 17 сентября ни единым звуком не помянуть о предупреждениях Бакланова и о резком споре с ним, самолюбие, побуждающее его скрывать свои ошибки, вместе с тем толкало его, конечно, к скорейшему примирению с этим самым Баклановым. Нрав у обоих был тяжелый, своеобразный и неуживчивый, а кроме того, старый храбрый казак иногда склонен был забывать, что он разговаривает все-таки не с закубанским

пластуном, а с наместником его императорского величества, которому не принято заявлять простодушно в глаза, что он говорит глупость, даже если тот и в самом деле высказывает таковую. Но что же делать? Бакланов только и мог теперь подать дельный совет. Ковалевский погиб при штурме 17 сентября, а кроме Бакланова и Ковалевского, около Муравьева с самого начала осады больших военных людей не было: Бебутова он держал вдали от карсского лагеря. Итак, споров с Баклановым уже заводить не приходилось, а следовало в интересах дела волей-неволей мирно сожительствовать двум медведям в одной берлоге.

Теперь уже мысль Бакланова не наталкивалась на возражения. Муравьев решил не повторять штурма, но усилить до крайней степени строгость осады крепости, устроить русские войска на зиму в теплых помещениях, обильно снабдить их продовольствием — и ждать неминуемой сдачи турецкого гарнизона. Бакланов зорко наблюдал за крепостью, стремясь сделать осаду герметической. Казачьи разъезды, поиски, патрули, беспрестанно рыскавшие вокруг Карса, сделали к концу осады совсем невозможной какую бы то ни было помощь осажденным со стороны.

Молодой М. Т. Лорис-Меликов, действуя вполне в духе Бакланова, убедил Н. Н. Муравьева дать ему средства организовать действовавших вразброд добровольцев грузин, армян, азербайджанцев и даже некоторых курдов в большой партизанский отряд, который неутомимо нападал на обозы, пытавшиеся украдкой доставить осажденным продовольствие, и отбивал их у турецких конвоиров.

7

Уже 20 октября (1 ноября) при речке Ингуре в Мингрелии войска князя Багратиона-Мухранского встретились с Омер-пашой, в распоряжении которого было больше 20 тысяч человек регулярных войск и от 5 до 8 (приблизительно) тысяч башибузуков и местных вооруженных жителей. При этой армии находилось около 40 орудий. У русских было 18 500 человек и 28 орудий. После разведки и перестройки 25 октября (6 ноября) начался бой, разыгравшийся неудачно для наших войск. Потеря, правда, была всего около 450 человек, но Багратион-Мухранский отступил, а вскоре и совсем ушел из Мингрелии. Омер-паша занял город Зугдиди, стоял там в полном бездействии несколько недель, получая одно за другим большие подкрепления, высаживавшиеся в Редут-Кале, независимо от стоявшего в Батуме отряда в 10 000 человек, и не зная, что́ с этой большой армией (в общем около 50 000 человек) предпринять. Никак он своего успеха не использовал. Как уже было замече-

но, когда речь шла о Дунайской кампании 1854 г., Омер-паша является классическим примером того, как средний по своим способностям генерал может при благоприятных обстоятельствах искусной саморекламой приобрести (правда, временную и очень шаткую) репутацию талантливого полководца. Его боязливость и недоверие к себе самому и к своим войскам (т. е. к правильности своих суждений и к стойкости своих войск) сказались необычайно ярко именно в этом абсолютном неумении использовать свою, хоть и небольшую по существу, но способную дать крупные результаты победу при Ингуре. Багратион-Мухранский своими неудачными действиями и ненужно-скорым уходом отдал Омер-паше Мингрелию. А Омер-паша, зная, что Карс погибает, вместо того чтобы идти на выручку или организовать большую диверсию, ровно ничего не делал и свел всю свою кампанию 1855 г. к полному нулю. Получив известие о падении Карса (не сейчас, а только спустя девять дней после события), Омер-паша ускорил свое уже и до того начавшееся отступление из Мингрелии. Турки в конце концов, после нескольких стычек, неудачных для них, отошли к Редут-Кале и Батуму. Омер-паша чувствовал себя безопасно только у берега моря, хотя у русских вовсе не было еще сил, чтобы в самом деле прижать его к морю и заставить очистить все Закавказье полностью. Да после падения Карса ему ничего другого и не оставалось, как исподволь готовить войска к уходу домой. Европейские военные люди, давно понявшие истинные размеры дарований Омер-паши, с большой иронией наблюдали его движения, имевшие видимой целью угрожать Тифлису. Германский военный критик и историк похода фон Рюстов высчитал в строгой точности и с немецким педантизмом, что Омер-паша двигался по Мингрелии со средней скоростью *в одну тысячу шагов* в день и что при подобных темпах он, начав движение на Тифлис 18 ноября 1855 г., тотчас же после падения Карса, пришел бы к Тифлису *через один год и три месяца,* т. е. в феврале 1857 г. То, что было ясно фон Рюстову, не было тайной и для Муравьева.

8

Теперь мы уже знаем, что Муравьев безошибочно разгадал все (не очень хитрые) планы Омер-паши. Турецкий главнокомандующий имел в виду испугать Муравьева своим нападением в Мингрелии и одним только этим принудить снять осаду с Карса и спешить на выручку Тифлиса и Грузии. Вся удача зависела от того, испугается Муравьев или нет.

Муравьев нисколько не испугался ни победы Омер-паши над Багратионом-Мухранским, ни вторжения в Мингрелию. Он не отошел от Карса, и это предрешило участь крепости.

Чтобы препятствовать движениям Омер-паши, Муравьев отдал соответствующие приказания Бебутову, который прекрасно перегруппировал отряды, предназначенные прикрывать Тифлис и Кутаис и поддерживать в Мингрелии, Гурии и Грузии лояльно настроенные по отношению к России элементы.

Кольцо осады вокруг Карса стягивалось все туже и туже. Жестокий голод царил в крепости. Перебежчиков в Карсе расстреливали при поимке, да немало их погибло и от казачьих аванпостов, потому что казаки не всегда успевали разобраться, кто и зачем идет к ним из крепости. И все-таки число турецких перебежчиков из Карса увеличивалось. Бывало и так, что в русский лагерь приходили женщины с малыми детьми, умоляя накормить их. По приказу Муравьева, им давали однодневную порцию, и они возвращались в крепость (явно с разрешения турецкого начальства). Удостоверившись окончательно, что Омер-паша ни за что не рискнет приблизиться к русской армии, осаждающей Карс, и что, значит, спасения нет, Вильямс посоветовал командиру гарнизона Вассиф-паше сдать крепость вследствие абсолютной невозможности держаться долее. Тот согласился. 12 (24) ноября к Муравьеву прибыл под белым флагом английский офицер, адъютант Вильямса. Генерал Вильямс просил личного свидания с наместником Кавказа. На другой день явился к Муравьеву и сам Вильямс, встреченный большим и блестящим конвоем.

«Я человек прямой и искренний,— начал Вильямс, когда его ввели к Муравьеву;— лгать не умею, не буду хвалиться изобилием продовольствия нашего и не домогаюсь скрыть от вас то бедственное положение, в котором ныне находится гарнизон Карса. Как честный человек, я исполнил обязанность свою до последней возможности, пока в состоянии был это делать, но ныне недостает у меня к тому более способов. Войско изнурено до крайности, мы теряем до 150 человек в сутки от нужды и лишений; таким же образом погибают городские обыватели от голода и болезней. Нам неоткуда более ожидать помощи, хлеба у нас осталось только на три дня». Закончил свою речь генерал Вильямс заявлением о сдаче Карса: «Предоставляю условия на ваше великодушие» [19].

Крепость сдалась со всем вооружением и гарнизоном. Ценя мужественное сопротивление, как было сказано в письменных условиях сдачи, генерал Муравьев позволил сдавшимся офицерам сохранить свои шпаги. 14 (26) ноября 1855 г. эти условия были формально приняты и подписаны турецким командиром карсских войск муфтиром Вассиф-пашой. Турецкие генералы в Карсе были возмущены поведением Омер-паши, явно оробевшим и отступившим перед встречей с Муравьевым. «Вместо скорой помощи Карсу Омер-паша вздумал маневрировать,

а нам от этого приходится теперь сдаваться»,— угрюмо сказал один из лучших турецких начальников Керим-паша.

В руки победителей попала крепость (и город) Карс с гарнизоном около 16 000 человек. «Иностранные выходцы», т. е. венгерцы и поляки, сражавшиеся в составе турецкого гарнизона, были, согласно условиям сдачи, свободно выпущены из крепости и удалились в Турцию. Венгерский революционер, майор Кмети, который впоследствии оставил очень интересное описание осады Карса, выпущенный на свободу Муравьевым, первый примчался в Эрзерум и принес весть о падении крепости. Из Эрзерума известие было немедленно переслано в Константинополь, оттуда по телеграфу в Париж, из Парижа в нейтральный Брюссель, а из Брюсселя в Петербург. Таким образом, царь узнал радостную новость косвенно через посредство революционера Кмети раньше, чем получил первый рапорт от Муравьева. Весть, облетевшая весь свет, произвела и у врагов и в нейтральных странах огромное впечатление. Сдача Карса очень ускорила окончание войны, оказав большую моральную помощь русской дипломатии. В руках у русских оказались сильная крепость и турецкая территория. Появилась возможность, в случае начала мирных переговоров, использовать Карс и Карский пашалык в качестве компенсации и предмета обмена, если России предъявят требования каких-либо территориальных уступок в Бессарабии.

Русские победители — и начальство и солдаты — проявили в Карсе большое великодушие к населению и к пленным.

«Сердечно расстроенный положением больных турок, в справедливом гневе на турецких старшин, главнокомандующий отправился в Меджлис. Самыми строгими выражениями попрекал он это собрание в равнодушии к защитникам Карса, напоминал им, что все богатство, приобретенное ими в последнее время, составлено от тех же единоверческих (т. е. мусульманских — *Е. Т.*) войск, которым они теперь отказывают в насущном пропитании. В заключение велел он следовать за собой председателю Меджлиса, самому почетному и богатому из жителей Карса. Главнокомандующий повел его в ближайшее отделение госпиталя, повторив перед больными турками свои упреки, немедленно приказал положить старшину на свободную койку того же лазарета, с тем чтобы в продолжение недели заставить его испытать все лишения, претерпеваемые больными от равнодушия его к их положению. Смешно и жалко было видеть, как заменили шитую золотом одежду старшины грязным лазаретным халатом и, на место богатой чалмы, покрыли голову его госпитальным колпаком! Громкий смех и радость всех больных служили лучшим одобрением этого взыскания. Вместе с тем тут же были приняты главнокомандую-

щим меры для немедленного снабжения карсских госпиталей всем необходимым» [20]. Так рассказывает об этом князь Дондуков-Корсаков.

В конце зимы 1855 г. турки не оставляли надежды возвратить Карс. Но Муравьев крепко держал его в руках.

«Турецкие войска внезапно сожгли свои бараки, оставили позицию свою впереди Хопы, оставили Зугдиды и стянулись вплоть к морю, где они расположились вдоль по берегу, на узкой полосе, отделенной непроходимыми болотами от твердой земли, и укрепились в дефиле при с. Хорги, что вблизи Редут-Кале. Слышно, что неприятель стягивается к Батуму: это правдоподобно. Итак, тот же самый Омер-паша, который для избавления Карса высадился в Сухум-Кале, по-видимому переплывет в Трапезунт, чтобы отнять у нас Карсскую область, и хотя прискорбно, что он ушел из Мингрелии безнаказанно, но с другой стороны, принимая во внимание завязчивую кампанию в смертоносном климате бесхлебной Мингрелии, нельзя не порадоваться такому исходу дела, служащему как бы предвестником к надеждам на успех кампании нынешнего года между Карсом и Эрзерумом, к которой войска, покойно оставаясь в своих зимних квартирах, могут лучше приготовиться. Труден будет туркам и даже союзному войску переход из Трапезунта в Эрзерум, и неслыханных бы надобно усилий с их стороны, чтобы занять с ранней весны высоты Саганлугского хребта, ибо и на равнинах, окружающих Карс, не рано показывается подножный корм». Так писал Муравьев 8(20) февраля 1856 г. в Петербург [21].

Ничего не выходило у союзников ни с племенами Черноморья, ни с Шамилем и его наибами вроде Мегмета-Эмина (потерпевшего от русских поражение осенью 1855 г. при попытке вторжения в Карачай), ни с Сефер-беем, занявшим с двумястами горцев Анапу. Мало того, горцы не только к англичанам и французам, но даже и к туркам относились недоверчиво. Взять хотя бы этого Сефер-бея, черкеса, бежавшего еще до войны к туркам, числившегося турецким офицером и вошедшим в Анапу после ее оставления русскими. Он, турецкий офицер, просто-напросто ответил самому Омер-паше, приказавшему допустить в Анапу англичан, что ни за что их туда не пустит. И не пустил. Таково было особенно настроение закубанских горцев. Русские даже с некоторым недоумением наблюдали это очень отрадное для себя явление. Вот как объясняет его покоритель Карса, генерал Муравьев: «При большей опытности и лучшем знании народов, с коими союзники вступали в сношения, они должны были бы рассудить, что горцам, воюющим с нами за независимость, равно противно было всякое иго и что введение порядков, которых они могли ожидать от наших врагов, столько же было бы для них тягостно, как и наше владычество... Ша-

миль, руководясь, быть может, подобными же мыслями, имел к соперникам нового рода едва ли еще не большее отвращение, ибо он мог ожидать, что мнимые благотворители — союзники, хотя б то были единоверные ему турки, потребуют от него покорности» [22].

Здесь уместно будет напомнить, что английская разведка даже и не пыталась работать на Кавказе среди грузин, армян, азербайджанцев, так как преданность этих народов России казалась (и была) несокрушимой. Но зато горцев «Черкесии» английские агенты не оставляли своим вниманием. Антирусская пропаганда энергично велась тут англичанами долгие годы с благословения и под верховным надзором британского посольства в Константинополе. Еще в 30-х годах английские агенты проводили среди горцев энергичную пропаганду в пользу Турции, обещая одновременно им военную поддержку английского правительства в борьбе против русских. В тех случаях, когда горские племена принимали решение вступить в мирные переговоры с русским командованием, вмешательство англичан приводило к их срыву. Так, например, в июне 1836 г. натухайцы и шапсуги собрали близ урочища Вардане большое собрание, на котором обсуждался вопрос о прекращении войны с Россией. В результате этого совещания было принято решение прекратить военные действия и поставить об этом в известность русские военные власти. Но в этот момент среди собравшихся неожиданно появились два англичанина, которые вручили старшинам знамя английского короля и именную грамоту с обещанием покровительства Англии и паши египетского. Это был известный английский агент Белль с одним из своих помощников. Из-за их вмешательства решение горцев вступить в мирные переговоры с Россией было сорвано [23].

Кроме Белля, деятельно агитировали между горцами присланный под видом корреспондента газеты «Морнинг кроникл» Лонгворт и другие шпионы и агенты Англии. Белль трижды ездил к горцам и всякий раз не один, а с целой «депутацией». Действовали эти агенты в прибрежных горах, а также среди закубанских черкесов. Белль был испытанным маэстро шпионажа, и Маркс недаром отметил слух о том, что Белль участвовал и в организации посылки брига «Уиксен» в декабре 1835 г. с военной контрабандой к берегам «Черкесии» [24]. Белль и другие английские агенты доставляли горцам боеприпасы в большом количестве, порох, ружья, старались доставить и легкую артиллерию.

Однако, как уже отмечено выше, все эти длительные усилия английских агентов и диверсантов увенчались лишь крайне скромным успехом.

Шамиль все время похода Муравьева на Карс оставался

спокоен. Он, помимо всего, не очень и верил в конечную победу турок над Россией и занял выжидательную позицию.

Подвиги русских войск, а также грузинской милиции и пламенный патриотизм, привязанность к родной земле грузинского, армянского, азербайджанского населения помогли отстоять Закавказье, которое, связав большую турецкую армию и разгромив ее, сыграло тем самым очень крупную роль в общем трудном деле отстаивания русской государственной территории от врагов. Не забудем, что если бездарность, гнилость, общая отсталость царизма и дворянско-крепостнического строя, можно сказать, роковым образом подорвали военный потенциал России на всех фронтах этой войны, то, может быть, больше всего приходится сказать это именно о Северном Кавказе и Закавказье. Черноморские казачьи части и прежде всего пластуны береговой и кордонной линии на Северном Кавказе, грузины, армяне и азербайджанцы на юге были в начале войны в значительной мере брошены на произвол судьбы. И в это опасное время они оказались на высоте требований момента. И в рядах милиции и в регулярных полках, которые повели к победе грузин Андроников, армянин Бебутов, казак Яков Петрович Бакланов, народы Закавказья соперничали с коренными представителями России в героизме и стойкости. Неблагодарностью и историческим непониманием согрешит всякий, кто не оценит по достоинству и очень существенную роль, которую сыграл Кавказский фронт в войне 1853—1855 гг., и высокую моральную доблесть, которую обнаружили народные массы Грузии, Армении, Азербайджана в отстаивании родной земли от алчных, захватнических планов Турции, усердно поощряемой союзниками (точнее, англичанами) в самых необузданно-грабительских ее мечтаниях.

Последние выстрелы в эту войну раздались в ночь с 28 на 29 декабря 1855 г., когда население Екатеринодара и войска отразили прочь от города внезапный набег горцев. Но это не было действием, планомерно рассчитанным, а скорее налетом, рассчитанным на мимолетный успех и добычу. Шамиль выжидал событий и не давал общей директивы о наступательных действиях против русских сил.

Шамиль ждал на юге, король шведский Оскар ждал на севере, Франц-Иосиф и Фридрих-Вильгельм IV ждали в центре Европы,— и все они не решались и колебались по одной и той же причине: поздней осенью пошли упорные слухи о каких-то таинственных, крайне секретных сношениях, неожиданно начавшихся между Наполеоном III и Александром II, о том, что вдруг наметилась возможность соглашения и что приближается конец великого побоища.



Глава XX

ПАРИЖСКИЙ КОНГРЕСС И МИР

1

Напомним в нескольких словах, каково было сцепление фактов, приведших к принятию Александром II прелиминарных условий, необходимых для начала мирных переговоров. Дело было поздней осенью 1855 г., уже после взятия русскими войсками Карса. Русский посол в Вене А. М. Горчаков совсем неожиданно узнал, что венский финансист Сину получил от своего делового контрагента в Париже, главы большой банкирской фирмы Эрлангера (он же, по французскому произношению, Эрланже), сообщение, что граф Морни выражает вполне определенное мнение о желательности начала мирных переговоров с Россией. Обрадованный Горчаков, зная очень большое влияние Морни в Тюильрийском дворце, сейчас же ответил, что Россия пошла бы на мир с полной готовностью, если бы от нее не потребовали согласия на унизительные для национального достоинства условия, вроде отказа от права содержать военный флот на Черном море или вроде территориальных уступок. Морни отвечал, что никто Россию унижать не думает, что нейтрализация Черного моря сама собой со временем может свестись фактически к нулю и т. д. Горчаков обратил внимание Морни на полную возможность установить со временем дружелюбные отношения между Францией и Россией. Не был ли «великий дядя императора» Наполеон I на вершине несокрушимого могущества именно в те годы, когда у него был союз с Александром I? и т. д. Затеялась переписка в очень ласковых тонах. Дело шло на лад, когда внезапно Горчакову велено было из Петербурга прервать сношения с Морни, так как канцлер Нессельроде будет отныне сам вести переговоры не с Морни, а с министром иностранных дел французской империи графом Валевским. Морни, во-первых, был гораздо больше расположен к России, чем Валевский, потому что мечтал о франко-русском союзе, а во-вторых, имел гораздо

большее влияние на Наполеона III, чем граф Валевский,— и уж поэтому Горчаков имел все причины от души пожалеть, что вдруг Морни отстраняют от переговоров. А кроме того, Горчаков очень хорошо знал, что́ такое сам Нессельроде, и это также очень мало могло его обрадовать в данном случае. Дело объяснилось несколько позднее. Оказалось, что саксонский министр фон Бейст, встретив в Германии временно проживавшего во Франкфурте бывшего русского посла в Англии барона Бруннова, предложил ему такого рода комбинацию: он, Бейст, едет в Париж и сообщает там, ссылаясь на Бруннова, что Россия хотела бы на достаточных началах заключить мир. При этом речь будет идти лишь о частном, личном мнении Бруннова. Спустя несколько дней Бейст был принят Наполеоном III, после чего император французов разрешил графу Валевскому тоже «частным» образом разговаривать на эти темы с саксонским посланником в Париже фон Зеебахом. Наполеон III знал, что фон Зеебах женат на дочери русского канцлера Нессельроде. Как только начался этот «частный» обмен мнений между Валевским и Нессельроде, русский канцлер тотчас же и забрал все дело в свои руки, отстранив, как сказано, А. М. Горчакова, в котором уже усматривал своего соперника, которого он всегда не терпел, всячески затирал и которому завидовал. Уже эта замена Морни Валевским, а Горчакова канцлером Нессельроде сильно портила русскую позицию в начинающихся переговорах. Но этим дело не ограничилось. Вконец все было испорчено, как потом говорили, непонятной выходкой фон Бейста, который ни с того, ни с сего сообщил о происходящих тайных переговорах не то австрийскому послу в Париже Гюбнеру, не то самому Буолю. Могло быть, что уже до Бейста кто-то выдал секрет австрийскому правительству.

До сих пор никому из писавших о конце Крымской войны современников и потомков не удалось дать доказательный ответ на следующий вопрос: кто именно довел до сведения Франца-Иосифа и графа Буоля о том, что уже с поздней осени 1855 г. между Наполеоном III и Россией затеялись и в большой тайне ведутся через доверенных и, конечно, нисколько не официальных лиц какие-то сложные переговоры? Большинсто тогда полагало, что виновата была болтливость кого-то из узнавших о том лиц, и обвиняло Бейста и Нессельроде. Возможно, конечно, что Нессельроде, который, несмотря на все свои негодующие восклицания об австрийском коварстве, все-таки продолжал надеяться на воскрешение «союза» России с Австрией, нарочно постарался как-нибудь стороной, может быть именно через Бейста, довести до сведения Буоля о начавшихся тайных сношениях с Наполеоном в совершенно неосновательной надежде припугнуть его этим и заставить изменить курс своей

политики. Возможно и другое: Наполеон III очень не прочь был в это время оказать самое серьезное давление на Австрию, чтобы заставить ее предъявить России ультиматум, и затем Австрия либо принудила бы этим Александра II пойти на мир, либо объявила бы ему войну. Это было вполне в стиле дипломатии французского императора. Во всяком случае одной только совсем случайной чьей-то болтливостью объяснить это дело трудно. Слишком уж большую и скорую услугу оказала эта «случайность» Наполеону III.

Франц-Иосиф решился. Австрийский посол в Петербурге Эстергази явился к Нессельроде и передал ему ультимативное требование: если Россия не изъявит своего согласия на принятие в виде прелиминарных условий мира пяти пунктов, то австрийское правительство принуждено будет объявить войну. Крайним сроком для получения русского ответа ставилось 18 января 1856 г. Таким образом, кроме пунктов о нейтрализации Черного моря, об отказе России от права исключительного протектората над Молдавией и Валахией, о свободе плаванья по Дунаю (что соединялось с потерей части Бессарабии), о согласии России на коллективное покровительство всех великих держав живущим в Турции христианам и христианским церквам, требовалось согласие России и на пятый пункт, крайне неопределенный и именно поэтому очень угрожающий. Этот пятый пункт, присоединенный к прежним, давнишним четырем требованиям, по настоянию Англии и Австрии, давал возможность державам во время будущих мирных переговоров с Россией возбуждать новые вопросы и предъявлять новые претензии «в интересах прочности мира». Таким образом, в присоединении этого умышленно неясного пятого пункта к первым четырем явственно сказывалось стремление врагов расширить свои первоначальные требования до самых произвольных размеров. Срок был поставлен довольно жесткий — 18 января. Оставалось всего несколько дней.

Но как быть теперь, после Черной речки, после падения Севастополя? Продолжать войну было возможно, жизненные центры России не были затронуты, никаких симптомов упадка духа, растерянности, малодушия в армии не наблюдалось. Но было ясно, что хотя физическая возможность продолжать войну еще имеется, однако на победу надежд уже никаких нет и, главное, нельзя вполне ручаться за настроение в тылу. Крепостная масса была и оставалась уже не совсем «спящим» вулканом. Многие, очень многие на верхах переживали этой зимой 1855/56 г. настроения Александры Осиповны Смирновой, которая растерянно металась и либеральничала в переписке с Иваном Аксаковым, когда думала, что война будет продолжаться,— и мигом оборвала с ним отношения, как только разнеслись

слухи, что Наполеон III согласен на мир и что царь завел с ним какие-то сношения. По крайней мере Иван Аксаков очень язвительно ответил ей на письмо, в котором Смирнова ни с того, ни с сего грубо написала ему, что ничего общего между нею и им в убеждениях нет и не было; Аксаков иронически объяснил, что он вполне понимает внезапную перемену в своей корреспондентке, которую, очевидно, приободрили слухи о мире. Царское окружение, подобно Смирновой, имело основания беспокоиться — продолжение войны могло стать началом бурного крестьянского движения.

Решаясь пойти на мир, Александр вместе с тем вовсе еще не выработал себе в эту зиму твердой линии будущей русской политики. Губительное пристрастие Александра II к Пруссии, к главе прусской реакции — брату короля (и будущему королю) Вильгельму, приходившемуся царю дядей, не умерялось в Александре скорым на подозрения, быстро раздражающимся нравом и недоверчивым умом Николая. Много роковых ошибок в своей политике касательно Пруссии (а затем Германской империи) предстояло совершить Александру II, и реками крови заплатили за эти ошибки последующие поколения русских людей. Уже в 1855/56 г. эта политика стала сказываться: царь все мечтал, что дружественная Пруссия поможет и что непременно нужно устроить так, чтобы эта держава была допущена к участию в переговорах. Александр не хотел признавать, что именно его дядя, принц Вильгельм — *противник* России и порицает «русофильство» (тоже крайне шаткое и сомнительное) короля Фридриха-Вильгельма IV. Берлин, под шум войны, давно уже был центром антирусских интриг и шпионажа. Такова была единственная «опора» России. И притом от «русофильского» короля шли горячие увещания поскорее кончать войну, с темными намеками, что если война будет продолжаться, то, пожалуй, всей «горячей любви» Фридриха-Вильгельма IV к царю может не хватить на то, чтобы воздержаться от выступления против России.

Александр II в последние годы жизни отца приобщался время от времени к делам внутренней политики, к обсуждению чисто военных вопросов, как организационных, так и стратегических, связанных с ведением враждебных действий против неприятеля. Но дипломатия его не касалась, да и интереса к ней особенно он никогда не обнаруживал. И вот теперь ему приходилось безотлагательно решать грозную проблему: поднять перчатку, брошенную Австрией, и продолжать войну или подчиниться ультиматуму.

Смелости мысли в этой всегда чуждой ему дипломатической области у Александра никогда не было. Его, по существу дела, нелепое заявление, сделанное после смерти отца (о том, что он будет верен принципам Священного союза), вовсе не знамено-

вало, что он хочет быть каким-то Дон-Кихотом и перед лицом вполне определенных неприятельских актов австрийского правительства все-таки будет цепляться за давным-давно выветрившиеся и без остатка исчезнувшие «союзные» отношения с Австрией, которая заключила 2 декабря 1854 г. тесный договор с Наполеоном III, и с Пруссией, которая не сегодня-завтра могла последовать ее примеру. Александр II повторял эти ставшие бессмыслицей слова лишь потому, что продолжал ассоциировать со словами «Священный союз» идею надежной защиты монархических начал от революционной гидры, угрожающей тронам и алтарям. Это, конечно, не помешало царю с полной готовностью отнестись к обозначившемуся после падения Севастополя желанию Наполеона III завязать негласные переговоры. Александр II хотел мира, войну считал проигранной и полагал, что долгое упорство в защите Севастополя и было одной из главных причин проигрыша всей кампании.

Впоследствии Александр II имел случай в точности высказать свою мысль о Крымской кампании. Дело было в 1865 г., когда царь, проездом из Парижа в Ниццу, остановился на несколько часов в Лионе и здесь встретился с маршалом Канробером, который с начала октября 1854 г. до мая 1855 г. был главнокомандующим французской армии под Севастополем. Александр II сказал Канроберу, что незачем было русским так ожесточенно защищать Севастополь, потому что если бы они сразу же его отдали, то сохранили бы в полной неприкосновенности все средства защиты, и обладание Севастополем ничуть не подвинуло бы французов и англичан к победе. Царь приписал русскую неудачу главным образом трудностям, при русском бездорожье, доставлять по ужасной грязи и по снежным сугробам продовольствие и боеприпасы из центра империи в Севастополь. А союзники, напротив, благодаря полному владычеству на море имели постоянный и обильный подвоз.

2

20 декабря 1855 г. (1 января 1856 г.) Александр II велел явиться в Зимний дворец канцлеру Нессельроде, графу Павлу Киселеву, князю М. С. Воронцову, графу А. Ф. Орлову и графу Блудову. Заседание было открыто царем, поставившим вопрос так. Австрия настойчиво предлагает принять в качестве прелиминарных условий пять пунктов, после чего начнутся мирные переговоры. В случае отказа есть основание опасаться, что Австрия объявит России войну и примкнет к коалиции. Что делать? Поставив вопрос, Александр II приказал графу Нессельроде прочесть приготовленную им записку. В своей записке Нессельроде определенно заявлял, что продолжение войны ни к

чему хорошему для России не приведет, что условия после кампании 1856 г. станут еще более жесткими и что нужно мириться, но можно постараться отделаться от опасного пятого пункта, по которому члены будущей мирной конференции могут «в интересах Европы» возбуждать новые вопросы, не предусмотренные первыми четырьмя пунктами. Граф П. Д. Киселев вполне присоединился к Нессельроде. Он прибавил, что новое напряжение, которое потребуется от России, серьезно подорвет ее финансы и экономическое ее положение и может стать опасным для целости империи. В таком же духе высказались и А. Ф. Орлов и прочие члены совещания. С особенной решительностью и убежденностью говорил старый граф Воронцов, считавший новую кампанию против усилившейся коалиции в высшей степени трудным и бесцельным предприятием. Горячую речь против всяких уступок произнес Д. Н. Блудов. Он находился под большим влиянием своей дочери, придворной славянофилки Антонины Дмитриевны, которая с полным непониманием политической ситуации соединяла необычайно азартно высказываемую уверенность в возможности, при должной настойчивости, разгромить всех супостатов и потом объединить славянский мир под русским двуглавым орлом. Испытания 1854—1855 гг. сделали ее сдержаннее, и после смерти Николая она высказывалась уже не так категорически, как прежде. Но все-таки и она, а под ее влиянием и старый граф, отец ее, еще сохраняли многое из недавних иллюзий. Блудов считал, что честь России не позволяет ей согласиться на австрийские пять пунктов, что с Россией союзники и Австрия разговаривают так, как разбойники, напавшие в лесу на одинокого путника, и т. д.

Орлов, Киселев и Воронцов жестоко напали на Блудова. Они заявили ему, что государь их созвал не за тем, чтобы выслушивать не имеющие практического значения разные сравнения и фразы, но за тем, чтобы узнать их мнение: воевать или кончить войну? Киселев обратил внимание на то, что в случае проигрыша новой кампании Россия может лишиться Финляндии, Кавказа и Польши. Совещание решительно высказалось против Блудова. Решено было ответить, что Россия принимает четыре пункта, но пятый отвергает, а также отвергает всякое урезывание своей территории.

30 декабря 1855 г. (11 января 1856 г.) в Вене А. М. Горчаков сообщил этот ответ графу Буолю. Но тот прямо заявил, что он даже и не перешлет этот ответ в Париж и Лондон, так как там его все равно не примут. Вместе с тем он сообщил о решении Франца-Иосифа: если Россия не примет всех пяти пунктов без оговорок, то Австрия объявляет ей войну. Окончательного ответа граф Буоль будет ждать через шесть дней.

Но на этот раз граф Блудов только горестно сострил, повторив фразу министра Людовика XV после Семилетней войны: если мы не умели как следует вести войну, то остается заключить мир. Это повторялось некоторое время в петербургских салонах, но, конечно, на решающем совещании во дворце ни малейшего впечатления не произвело. Даже если бы граф Блудов имел и очень большой вес при дворе,— а он не имел никакого веса сравнительно с Орловым или Воронцовым,— то и тогда при сложившихся обстоятельствах его мнение никак не могло бы возобладать. Дело было решено бесповоротно.

3

3 (15) января 1856 г. Александр II приказал явиться в Зимний дворец к 8 часам вечера следующим лицам: князю Воронцову, графам Орлову, Киселеву, Блудову, военному министру князю Долгорукову, великому князю Константину, графу Нессельроде и Мейендорфу. Петр Казимирович Мейендорф, приглашенный в качестве бывшего русского посла в Вене и знатока австрийских дел, оставил сравнительное полное описание того, что происходило в Зимнем дворце на этом историческом заседании. Протоколов не велось. Это совещание в общем было довольно близким повторением предыдущего.

Вопрос был поставлен так. Австрия предлагает принять пять условий, ею предъявленных. Если русское правительство откажется или не изъявит своего согласия до 6(18) января, то австрийскому послу Эстергази предписывается потребовать паспорта и прервать дипломатические отношения между Австрией и Россией.

Сообщив об этом, царь, предоставил слово канцлеру графу Нессельроде. Нессельроде категорически высказался за принятие австрийских предложений. Основания он привел следующие: чем дольше будет длиться война, тем больше будет возрастать число врагов, выступающих против России; шансов на победу нет никаких. Если Австрия примкнет к коалиции, то новые условия, на которых Россия сможет заключить мир, будут хуже предъявленных теперь. Нессельроде напомнил, что и без того союзники не очень охотно согласились с австрийским ультиматумом, считая его слишком мягким. После Нессельроде слово взял князь Воронцов. Старый наместник Кавказа признал условия тягостными для России, но тоже считал, что нет никаких шансов добиться лучших, продолжая войну. А это продолжение потребует огромных жертв и затрат, быть может, потери Польши и Финляндии, полного финансового истощения. Лучше принять мир сейчас, чем быть к нему насильно вынужденными впоследствии.

Третьим выступил граф Орлов. Орлов знал, кто его будет

слушать; он знал, что Блудовы, отец и дочь, стараются повлиять на императора и императрицу, передавая им о настроениях в патриотических кругах и убеждая не соглашаться на мир. Поэтому, конечно, Орлов сразу же обрушился на «злонамеренных или невежественных людей», которые представляют возражения против мира. Никакого внимания, по мнению графа Алексея Федоровича, эти возражения не заслуживают. «Масса населения, утомленная жертвами, которых требует война, с радостью примет известие о мире». Правительство не должно ничуть заботиться о разглагольствованиях и возгласах публики (des criailleries du public,— все совещание велось на французском языке). Орлов обращал внимание собрания на то, что ведь еще и полустолетия нет, как Польша и Финляндия вошли в состав Российской империи, что они вовсе еще не так прочно срослись с Россией, и не известно, как на них повлияет дальнейшее возможное расширение военных действий союзников. «По сравнению с такими опасностями, жертвы, которых у нас теперь требуют, ничтожны, минимальны (minimes), и на них должно согласиться». После Орлова высказался несомненно граф Киселев, хотя в письме Мейендорфа, которое я положил тут в основу рассказа о совещании, ничего о выступлении Киселева не говорится, а Петр Казимирович сразу же переходит к своему собственному высказыванию. Но в своей речи Мейендорф, хоть и бегло, ссылается на слова Киселева, и мы узнаем, что Киселев тоже высказался за мир, черпая свою аргументацию в фактах, относящихся к внутреннему положению России. Мейендорф вполне согласен с Киселевым и с ударением говорит о том, что «война неизбежно ведет нас к банкротству». Дефицит огромен, во многих губерниях не хватает рук для сельского хозяйства. Если Россия будет упорствовать в продолжении войны, то она дойдет до такой слабости, до какой дошла Австрия после наполеоновских войн или Швеция после истощивших ее войн Карла XII. Так же точно, как граф Орлов, Мейендорф утверждает, что условия мира, предлагаемые России, нисколько не помешают развитию ее экономических ресурсов, нисколько не повредят ей в будущем, и совершенно очевидно, что через несколько лет Россия будет так же сильна, как была до войны, и будет тогда в состоянии сделать то, что при нынешних обстоятельствах невозможно. «Император меня одобрил»,— говорит Мейендорф [1]. Но он не приводит выступления графа Блудова, которое известно нам из других свидетельств.

4

Историческое заседание в Зимнем дворце стало тотчас же известно в широких кругах общества. Дознались, кто именно выступал и о чем говорил.

Славянофилы были раздражены до крайности. Они обвиняли уже не только Нессельроде, но и всю придворную аристократию в трусости и предательстве. И больше всего обрушивались на М. С. Воронцова.

«По Москве ходят письма князя Воронцова, который с чего-то вообразил, что он пользуется авторитетом в России, и особенно в Москве. Он поучает нас, как мы должны радоваться миру, и всех, недовольных им, заранее клеймит именем преступных глупцов. Письма писаны для распространения в публике, за что как следует публика порядочно его отделывает, вспоминая пророческие стихи поэта, и заканчивает их стихом: и вот он *целый* наконец...[2] Говорят, что они умеют сочувствовать тяжкому положению и невольному согласию царя, но умеют также презирать подлецов, которые, валяясь в ногах, испрашивали согласия на мир. Продолжение войны угрожало их карману и в России и в Англии, родственной им по деньгам, духу и крови. Но чёрт с ними»[3].

Конечно, писавший это своему сыну старик Аксаков знал уже и о том, что при первых слухах о мире А. О. Смирнова перестала либеральничать, порвала сношения с И. С. Аксаковым и вообще успокоилась и воспрянула духом.

Но не все разделяли страхи перед продолжением войны и диктуемое ими миролюбие А. О. Смирновой. При дворе раздавались и иные голоса. «Я в состоянии полного отчаяния. Сегодня на выходе все громко повторяли, что скоро будет заключен мир, что император согласился принять предложения Австрии. Вчера в городе говорили, что Эстергази покидает Петербург, вследствие несогласия Австрии на наши контрпредложения, а сегодня только и речи, что о мире. Это объясняет мне состояние раздражения, в котором был император эти дни; быть может, его мучила совесть за то, что он уступил и подписался под позором России»,— писала в своем дневнике очень влиятельная при новом дворе фрейлина Тютчева 6 (18) января 1856 г. В те дни она была не одинока. «Уже вчера в городе разнесся слух, что мы соглашаемся на мир на унизительных основах австрийских предложений... Я не могу повторить всего, что я слышала в течение дня. Мужчины плакали от стыда». Тютчева не выдержала и пошла к императрице Марии Александровне, жене Александра II. «Она мне сказала, что им это тоже очень много стоит, но что Россия в настоящее время не в состоянии продолжать войну. Я ей возразила то, что повторяют все, что министр финансов и военный министр невежды, что нужно попробовать других людей, прежде чем отчаяться в чести России». Из этого разговора, происходившего 8 (20) января, Тютчева вынесла лишь убеждение, что Мария Александровна «или святая, или деревяшка!» Поразмыслив, взволнованная

фрейлина, очевидно, признала первый вариант, потому что решилась возобновить этот разговор с царицей. Тютчеву, впрочем, подбивал к такому настойчивому образу действий князь Петр Вяземский, который надеялся как-нибудь еще повлиять на императора. «Вы можете сослаться на мой авторитет; подо всем, что вы скажете, я подписываюсь»,— так он напутствовал Тютчеву.

На этот раз, 11 (23) января, Анна Федоровна решила говорить энергичнее. «Я твердо решила не молчать ни о чем... Я ей сказала, что все в отчаянии говорят, что императору дали, вероятно, наркотическое средство, чтобы заставить его подписать такие позорные для России условия, и это после того, как он четыре раза их отвергал самым решительным образом, о чем гремели все газеты в Европе. Я ей рассказала, как вчера в русском театре, где давали „Дмитрия Донского", в ту минуту, когда произносились слова: „Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный!", вся зала разразилась громом рукоплесканий и кликами, так что актеры принуждены были прервать на время игру... освистали актера, изображавшего в этой пьесе того, кто советовал заключить мир. Вот настоящая общественная демонстрация!» Тютчева, все усиливая тон, стала говорить, «до какой степени опасна эта игра по тому глубоко неприязненному чувству, которое она создает в стране по отношению к императору». Императрица возразила, что воевать дальше было невозможно. Крайне интересно продолжение этого разговора, подтверждающее нам, что все-таки в борьбе двух мнений настроения Смирновой в придворной аристократии явно преобладали над патриотическими чувствами Тютчевой: «Почему люди, которые отстаивали этот мир, вместо того чтобы испытывать стыд и унижение от позора страны, принимают торжествующий и сияющий вид, как будто они одержали победу над страной? Почему они бросают в лицо насмешку и оскорбление тем, кто оплакивает позор родины? Почему князь Долгорукий в вашем салоне, подходя к графине Разумовской, говорит ей с радостным видом: „Поздравляю вас, графиня, весной вы будете в Париже?" Почему граф Нессельроде за обедом говорил итальянскому певцу Лаблаш: „Поздравим друг друга, мы поедем в этом году к вам есть макароны"?» Эти яростные и горестные нападки, срывающиеся с уст заведомо преданнейшей и любящей женщины, взволновали императрицу. «Наше несчастье в том,— сказала она Тютчевой,— что мы не можем сказать стране, что эта война была начата нелепым образом, благодая бестактному и незаконному поступку,— занятию княжеств, что война велась дурно, что страна не была к ней подготовлена, что не было ни оружия, ни снарядов, что все отрасли администрации плохо организованы, что наши финансы истощены, что наша политика

уже давно была на ложном пути и что все это привело нас к тому положению, в котором мы теперь находимся. Мы ничего не можем сказать, мы можем только молчать...» [4] Александр знал о борьбе двух настроений и не хотел занимать слишком вызывающей позиции. Ходили слухи, что граф Орлов советовал арестовать вожаков демонстрации в театре во время представления «Дмитрия Донского», но царь ответил: «За что бы вы их арестовали? разве только за то, что они пошли в театр в такое тяжелое время?» [5]

Но все же Вера Федоровна Вяземская боялась и за Тютчеву и за своего мужа, князя Петра Андреевича, когда предостерегала смелую фрейлину: «Умоляю вас, будьте осторожны и не выдавайте своей точки зрения при дворе,— это могло бы повредить вам и всем тем, с кем вы близки». Больше таких разговоров с царицей Тютчева уже не вела.

Не зная еще ничего точного, Иван Аксаков, по-видимому, терялся. Мир он считал позорным, войну — безнадежной. Единственным утешением ему казался засвидетельствованный перед всем миром полный провал системы покойного императора. Вот что писал он родителям в конце января 1856 г.:

«Позорный мир не состоится, вновь начнется война, война вялая, томительная, бестолковая. Какими тяжкими испытаниями ведет бог Россию к самосознанию, к уразумению источника бед и зол, ее терзающих». «...Ратники радовались известию о мире, но когда им объясняется, что он куплен ценою позорных уступок, так они говорят, что им и воротиться-то будет стыдно, что их в России на смех поднимут... Но все в порядке вещей: необходимо, чтоб позорилась правительственная Россия, чтобы обличилась вполне; было бы несправедливо и нелогично, если бы вышло иначе» [6].

5

Когда конгресс уже подходил к концу, второй русский уполномоченный, барон Бруннов, в интимном письме к канцлеру Нессельроде сообщил «очень конфиденциальные данные, которые получил от Валевского». Эти данные имеют, бесспорно, большой исторический интерес; они подтверждаются другими свидетельствами и в свою очередь объясняют многое, уже без них известное. Вот как по этим показаниям развивались события.

В конце кампании 1855 г. английское правительство осаждало Наполеона III просьбами о новой, третьей кампании в предстоявшем 1856 г. «Наполеон сказал: хорошо, я согласен. Вы мне предлагаете продолжать войну. Я принимаю. Но она потребует огромных расходов, жертв людьми. Раньше чем на это решиться, я хочу знать, какое возмещение вы мне предла-

гасте, чтобы компенсировать риск подобного предприятия». Тут Англия начала колебаться и бормотать (balbutier). Она убоялась обязательств перед таким положительным, таким могущественным, таким ловким союзником. Она отступила. Тогда Наполеон сказал: вот мелочные люди (les gens de peu). Они хотят, чтобы я делал их дела на наш собственный счет; чтобы я им помог сжечь Кронштадт для их удовольствия. И в ответ они мне ничего не предлагают. Так дело не пойдет»[7].

В то время, когда подобные переговоры шли между Парижем и Лондоном, «другая маленькая пьеса разыгрывалась в Вене». Наполеон предлагал Австрии согласиться на удаление герцога Тосканского из Тосканы и перемещение его в качестве владетельного князя в Молдавию и Валахию. Но Австрия не соглашалась, тем более что Наполеон при этом имел в виду «другие комбинации в Италии».

Тогда Наполеону «стали противны его союзники». И он решил заключить мир с Россией. А раз решившись на мир, он и повел дело с твердостью и поставил на своем[8]. Так изображает дело двоюродный брат и министр Наполеона III, граф Валевский, доверенное лицо императора, сын Наполеона I от графини Валевской. Даже если Валевский умышленно хочет очернить Англию в глазах Бруннова, которому все это рассказывает, то все-таки это свидетельство заслуживает полного внимания.

При дворе знали о давнишней, относившейся еще к началу февраля 1854 г. и совершенно неудавшейся тогда попытке Орлова круто переменить курс русской внешней политики, разорвать узы мнимого «союза» с Австрией и заключить реальный союз или соглашение непосредственно с Наполеоном III. Теперь, когда по ряду признаков Александр II видел, что Наполеон со своей стороны хочет скорейшего прекращения войны и, может быть, сближения с Россией, царь, естественно, решил послать в Париж Орлова. «Государь брат мой! — писал царь Наполеону 24 января (5 февраля) 1856 г.— ваше императорское величество не могли ошибиться относительно мысли, руководившей мной, когда я предложил, чтобы мирные конференции состоялись в Париже. Эта мысль была мне внушена доверием к личному воздействию вашего императорского величества на ход переговоров. Миссия моего генерал-адъютанта графа Орлова ныне дополняет эту мысль. Он — более чем уполномоченный. Я могу сказать, что он друг и выразитель самых интимных моих взглядов. В этом качестве я и прошу ваше императорское величество благоволить принять его». По-видимому, этот первоначальный проект письма был видоизменен[9]. Но письмо в точности выражает настроения царя в этот момент; это мы знаем из единогласных свидетельств всех других источников.

При отъезде графа Орлова в Париж ему была вручена одобренная царем инструкция, которую составил Нессельроде, доживавший последние дни своего канцлерства, хотя он и делал все зависящее, чтобы полностью воспринять новые взгляды.

Немногому научила Орлова эта инструкция. Он и без постановления знал, что труднее всего будет дипломатическая борьба на конгрессе против Англии и Австрии и, пожалуй, даже больше против Австрии, чем против Англии. И без инструкции граф Алексей Федорович понимал также, что следует искать помощи у Наполеона III. Глубокомысленный совет Нессельроде — составить, при случае, дипломатический блок из России, Франции и Австрии против Англии — был последней робкой попыткой старого канцлера примирить свое австрофильство (всецело базировавшееся на мечте о воскрешении Священного союза) с новой системой, с идеей А. Ф. Орлова и А. М. Горчакова — тесно сблизиться с французским императором. Любопытно, что Нессельроде и одобривший инструкцию Александр II готовы были, если понадобится уступить по вопросу о невозведении впредь укреплений на Бомарзунде и на Аландских островах вообще. Из этого согласия насчет укреплений на Аландских островах, а также из согласия России на возвращение туркам взятого Карса и на исправление границы с Турцией графу Орлову рекомендовалось сделать предмет, так сказать, дипломатической торговли: уступить по этим вопросам, попытавшись предварительно получить соответствующую компенсацию. Нессельроде подчеркивает, что согласие на мир пришлось дать потому, что, в случае отказа, к враждебной коалиции примкнули бы сначала Швеция и Австрия, а затем и все европейские державы вообще. И прямым последствием этого была бы «полная торговая блокада России». Канцлер и царь этими строками инструкции с ударением напоминают Орлову, что он должен пустить в ход в Париже всю свою общепризнанную ловкость, чтобы оградить на конгрессе, по возможности, интересы и достоинство России,— но что во всяком случае он должен привезти из Парижа подписанный мир [10].

В другой специальной инструкции речь шла о Бессарабии. Этот пункт в намеченном проекте мирного трактата был озаглавлен так: «Исправление границы Бессарабии». По этому пункту Александр II и Нессельроде предвидят больше всего возражений со стороны австрийского уполномоченного графа Буоля, так как, по их мнению (вполне справедливому), ни Франция, ни Англия не особенно сильно заинтересованы в этом вопросе. Здесь Орлову рекомендуется подействовать на Буоля следующими аргументами: «Образ действий, которому следовал австрийский кабинет с начала нынешнего кризиса, создал в

России крайнее раздражение. Не легко прощают другу, который оказался неблагодарным и предал вас. Не в интересах Австрии, чтобы это чувство укрепилось, чтобы эта враждебность продолжалась: Австрия может ее почувствовать в тех случаях, которые могут возникнуть легко при еще столь взволнованном состоянии Европы. Единственное средство, которое есть у Австрии, чтобы исправить причиненное ею нам зло, заключается в том, чтобы обнаружить уступчивость (se montrer facile) в деле о Бессарабии, отказаться от выдуманного ею (Австрией — *Е. Т.*) дурного разграничения...» По мнению Нессельроде, «этот аргумент, рассудительно развитый, может быть, произвел бы действие на австрийского уполномоченного» [11].

С тем же курьером Нессельроде отправил Орлову и еще одно «очень *секретное*» письмо.

Тут в самых кратких словах дается ближайшая внешнеполитическая программа нового царствования: Россия должна заняться внутренними своими делами, а от Европы может требовать только одного — чтобы Европа оставила ее в покое. Но даже и эта скромная цель, по мнению царя и канцлера, не легко достижима. Старый союз России с Австрией и Пруссией не существует; Англия выходит из войны недовольной, раздраженной; Швеция на севере, Турция на юге, теперь, после войны, совсем в другом положении относительно России, чем были прежде, и отношения с ними теперь более «деликатные», т. е. они будут держаться не так уступчиво и миролюбиво, как до сих пор. Общий вывод: ввиду поведения бывших союзников воспользоваться возможностью установить хорошие отношения с Наполеоном III, но не давать себя увлечь во все его будущие политические предприятия.

Кроме общей инструкции, графу Орлову при его отъезде на конгресс было вручено еще несколько частных, касавшихся отдельных вопросов наиболее важного для России значения.

Самым болезненным для национального самолюбия, конечно, являлся вопрос о Черном море.

Как понимать требование: «Черное море должно быть нейтрализовано; открытые для торгового судоходства всех наций эти воды должны остаться закрытыми для военных флотов»? Орлову рекомендовалось требовать прибавления пункта *о закрытии проливов* для военных судов всех наций. Проект договора говорил, что на Черном море отныне не должно быть *ни создаваемо,* ни сохраняемо морских военных арсеналов. Инструкция рекомендовала Орлову ввести в окончательный трактат две оговорки: одну — о морском арсенале, существующем в городе Николаеве, который, собственно, находится не на берегу Черного моря; вторую — об Азовском море, где Россия должна была сохранить право обладания морскими арсенала-

ми. Кроме того, по толкованию русской дипломатии, запрещение должно было касаться именно только морских арсеналов, а не возведения фортов и крепостей. Наконец — запрет России и Турции держать военный флот на Черном море. Тут Орлову предлагалось указать конгрессу, что Россия и Турция не в одинаковом положении, что Россия имеет гораздо бо́льшую береговую полосу на Черном море, чем Турция, что, кроме того, России необходимо бороться против пиратов и против судов, ведущих торговлю рабами, не говоря уже о военной контрабанде у черкесских берегов. Тут инструкция имела в виду реальнейший факт оживленной работорговли между кавказским берегом и Турцией[12].

Третья из этих специальных инструкций очень любопытна: она отражает колебания Александра, который одинаково боится и лишиться поддержки Наполеона III, и слишком дорого переплатить за эту поддержку, если тот потребует участия в каких-либо рискованных политических предприятиях. Эта инструкция снабжена в оригинале надписью: «*Проект очень секретной* (подчеркнуто в рукописи — *Е. Т.*) депеши графу Орлову». Графу Орлову очень рекомендуется помнить, что хотя в главной (общей) инструкции ему и указывается на необходимость искать помощи у императора французов, но это сближение должно быть лишь временным, на те дни, когда будет заседать конгресс, потому что, пишет Нессельроде, «более чем когда-либо наш августейший повелитель хочет освободить свою политику от всякого окончательного обязательства». Не нужно никаких «преждевременных союзов». А с другой стороны, августейший повелитель не хочет, чтобы Наполеон III подумал, будто русские на него еще сердятся за войну. Как же быть? «Ловкости наших уполномоченных предоставляется так себя повести, чтобы миновать это преткновение и вместе с тем не возлагать на себя несвоевременных обязательств».

Нужнее всех и опаснее всех Наполеон III: «Мы должны особенно остерегаться того, кто теперь управляет судьбами Франции». С одной стороны, совсем не известны его проекты, и поэтому наперед связывать свою политику с его политикой нельзя. «А с другой стороны, было бы все же благоразумно заручиться его благорасположением, указывая на выгоды, которые могут проистечь для него, и особенно указывая на то, что без деятельного участия России, каковы бы ни были тенденции остальной Европы, не исключая Англии, никакая эффективная коалиция против наполеоновской династии и невозможна и неосуществима»[13].

Никаких настоящих указаний, в сущности, за все время пребывания своего в Париже граф Орлов не получал ни от Александра II, ни от Нессельроде. Да он их, собственно, вовсе и не

просил. Он нуждался лишь в необходимом санкционировании тех шагов, которые он делал на конгрессе, и это-то он и называл, из любезности к царю, высочайшими указаниями и предначертаниями. Александр II не имел ни особого вкуса, ни способностей к дипломатии, в полную противоположность своему отцу. Звезда А. М. Горчакова еще только восходила, и при новом царе находился в Петербурге пока все тот же неизменный Нессельроде, который никогда еще, за все свое земное странствие, не произвел на свет ни одной самостоятельной идеи, не измыслил ни одного сколько-нибудь искусного дипломатического шага. Поэтому на редкость пресны и бессодержательны все бумаги из Петербурга, которые во время Парижского конгресса получали время от времени Орлов и Бруннов. Взять для примера хотя бы послание Нессельроде графу Алексею Федоровичу от 29 февраля, украшенное обычной царской пометой: «Быть по сему». Это перепевы всего того, что сам Орлов не переставал писать царю и канцлеру в Петербург. Ненужный, истинно азбучный совет — стараться уладить все дела с Англией и Францией, ибо эти державы решают вопрос о войне и мире. Столь же азбучное и ничего конкретного не советующее указание, что нужно искать расположения Наполеона, но очень доверять ему нельзя, потому что он не захочет отделиться от Англии и ссориться с ней. Запоздалые, совсем уже ненужные «указания» об Аландских островах и о Карсе [14] и т. п. Единственное, что историку должно извлечь из этого и других подобных произведений творчества графа Нессельроде в дни Парижского конгресса, это — явное, решительное нежелание продолжать войну.

Канцлер К. В. Нессельроде доживал тогда последние недели своего более чем сорокалетнего пребывания на министерском посту. Он органически не мог понять всей цепи роковых заблуждений, приведших к войне 1853—1856 гг., и долю личной своей ответственности и даже просто был неспособен почувствовать горечь национальной обиды, которую, например, граф Орлов очень остро переживал.

А. М. Горчаков, ближайший преемник Нессельроде, государственный канцлер и министр иностранных дел при Александре II, рассказал однажды в доверительной частной беседе следующее: «Знаете одну из особенностей моей деятельности как дипломата? Я первый в своих депешах стал употреблять выражение: государь и *Россия.* До меня для Европы не существовало другого понятия, по отношению к нашему отечеству, как только: *император.* Граф Нессельроде даже прямо мне говорил с укоризной, для чего я это так делаю? „Мы знаем только одного царя, говорил мой предместник: *нам нет дела до России*“» [15].

В особенности графу Карлу Васильевичу не было дела до России, когда ей приходилось весной 1856 г. расплачиваться на Парижском конгрессе. Его лично ждала милостивая отставка, с громадной пенсией и немногими, еще не доданными ему за сорок лет орденами. И он вел себя весной 1856 г. уже больше как посторонний зритель. Конечно, именно по поводу Нессельроде в первые месяцы 1856 г. поэт Тютчев сказал, что эти сановники Николая, оставшиеся у власти и при Александре II, ему «напоминают волосы и ногти, которые продолжают расти на теле умерших еще некоторое время после их погребения в могиле».

Как видим, Нессельроде продолжал вредить России по мере его сил и при новом царе, хотя делал это по-прежнему, конечно, по бездарности и недальновидности, а не потому, чтобы был изменником, в чем его, например, подозревали тогда даже и такие умные усадебные барышни, как Вера Аксакова (да и вся семья Аксаковых в большей или меньшей степени).

6

Первым прибыл в Париж барон Бруннов, и 14 и 16 февраля он имел собеседования с председателем конгресса, французским министром иностранных дел графом Валевским. Оба свидания произвели на второго русского уполномоченного очень отрадное впечатление. Валевский заявил, что император Наполеон хочет, чтобы начинающиеся переговоры увенчались успехом, и будет играть «умеряющую» роль перед лицом английской и австрийской делегаций, которые могут обнаружить менее примирительные наклонности. Но Валевский при этом настойчиво просил, чтобы русские поняли, как подозрительно и ревниво англичане будут следить за всяким признаком сближения между Наполеоном и Россией. Это же подтвердил Бруннову и другой французский министр, Фульд. С англичанами дело обстоит так. Пальмерстон боится, что в Англии будут недовольны мирным трактатом, который обещает быть гораздо менее выгодным для англичан, чем в парламенте этого ждали. Премьер опасается быть низвергнутым. Первый английский уполномоченный на конгрессе, лорд Кларендон — человек робкий, очень боящийся оказаться в глазах общественного мнения не на высоте своей задачи. И притом именно Кларендон очень боится за целость и сохранность англо-французского союза вследствие возможного сближения Наполеона с русской делегацией.

Бруннову удалось уже в этих первых беседах с французами основательно позондировать почву по основным пяти пунктам, которые больше всего интересовали Россию.

Первый пункт: вопрос об Аландских островах. Обнаружилось, что англичане будут требовать воспрещения для России возводить укрепления на этих островах; и в этом требовании французское правительство их поддержит. Второй вопрос — о Карсе. И англичане и французы будут требовать возвращения его Турции. Третий вопрос — о «Черкесии». Английская делегация намерена настаивать на том, что союзники, которые во время войны пытались поднять на Кавказе восстание против России, обязаны теперь «не предать их». Но Валевский уже наперед успокоил Бруннова. Наполеон не намерен поддерживать англичан в этом вопросе: «Вы можете не беспокоиться» [16]. Четвертый вопрос — о Черном море. Тут Бруннов озабочен возможным требованием англичан о срытии укреплений и уничтожении верфей в Николаеве, Новороссийске, Сухуме. Но Бруннов об этом, по своему признанию, не хотел даже пока и заговаривать с Валевским, чтобы не показать, что у него, Бруннова, даже и мысли о таких требованиях возникнуть не может. Пятый вопрос — о новом разграничении Бессарабии. Это такой вопрос, который в состоянии очень неблагоприятно повлиять на весь ход мирной конференции. Тут главный враг не Англия, но Австрия, которая «*имела ловкость*» привлечь на свою сторону англичан. Валевский не будет особенно энергично поддерживать Австрию, но, с другой стороны, он не очень склонен принять и подсказываемую русскими комбинацию: не уменьшать нисколько русских владений в Бессарабии, а компенсацией за это признать возвращение Карса... Но тут предстоит много хлопот и затруднений: «Англичане показывают вид, что благоприятствуют Австрии в Европе, чтобы она помогла им, в свою очередь, в том, что касается Азии». Вообще же исход переговоров будет в значительной степени зависеть от Наполеона III. «Я смотрю так, что в этом истинный узел всех негоциаций».

Барон Бруннов со злорадством отмечает, что Австрия своим поведением во время войны потеряла дружбу России, но вовсе не приобрела этим дружбы противников России. Но, очевидно, даже для неглупого в общем дипломата, каковым был барон Бруннов, нельзя безнаказанно всю свою жизнь провести под начальством Нессельроде: Бруннов и теперь считает полезным внушать этой самой Австрии, что «старые друзья — самые верные». Даже Александра II это взорвало, и он, отчеркнув эту строчку в донесении Бруннова, написал карандашом на полях: «Я нисколько на это не рассчитываю» [17].

Но уж зато первый уполномоченный, граф Орлов, ни в малейшей степени не был заражен сентиментальными воспоминаниями о Священном союзе. Для него Австрия была врагом гораздо худшим, чем Англия.

Произведя предварительное зондирование почвы, Бруннов стал с нетерпением ждать приезда в Париж графа Орлова.

15 февраля в Париж прибыл первый английский уполномоченный, лорд Кларендон. Немедленно же после этого второй уполномоченный, лорд Каули, явился к барону Бруннову и предложил ему свидание с Кларендоном.

Это свидание состоялось 18 февраля. Кларендон начал с того, что будущий мирный договор не будет популярен в Англии. Первые две кампании (1854 и 1855 гг.) не привели к решительному результату, и Англия делала большие приготовления к третьей кампании (1856 г.), как вдруг дело пошло к переговорам. Это разочаровывает английский народ, усиливает оппозицию, ставит в опасное положение правительство. После такого дебюта Кларендон все-таки заявил, что лично он хочет заключения мира, и тут же предложил главные английские требования: возвращение взятого Карса туркам; невосстановление укреплений на Аландских островах; Англия желала бы некоторых облегчений для своей торговли на Кавказе (в «Черкесии»), а также уничтожения (точнее невосстановления) фортификаций на побережье Черного моря.

Тут в донесении Бруннова некоторая расплывчатость: не ясно, говорил ли Кларендон о кавказской части побережья или о всем побережье Черного моря,— потому что дальше Бруннов отмечает, что Кларендон «промолчал» о Николаеве. Обо всех этих острых вопросах Бруннов своего мнения не высказывал, подчеркивая тем самым, что не ему судить, а графу Орлову, который еще не приехал. Но зато Бруннов очень распространялся о желательности установления коллективного контроля и наблюдения всех пяти великих держав над правильным проведением в жизнь новейшего султанского хатти-шерифа о полной свободе всех христианских исповеданий в Турции. Лорд Кларендон с полнейшим сочувствием встретил это заявление и сказал, что система, предлагаемая Брунновым, устраняет впредь всякие разногласия между Англией и Россией в этой области: «Делая наше наблюдение коллективным, вы лишаете его оскорбительного характера, который в наших глазах имела бы политика исключительного (русского — *Е. Т.*) наблюдения». Мало того, Кларендон уже от себя заявил: «Никто из нас не может отрицать постоянного влияния России и ее государей, которое они должны оказывать на большинство христиан, исповедующих православную веру на всем протяжении Оттоманской империи». Вскоре после этого свидания Кларендон поделился с графом Валевским благоприятным впечатлением, которое произвели на него заявления Бруннова.

В сущности с самого начала заседаний Парижского конгресса для русского представителя было аксиомой, не требующей

никаких доказательств вследствие полнейшей самоочевидности, что ни в каком случае Англия в одиночку воевать против России не станет. Когда спустя несколько месяцев после заключения мира правительство Пальмерстона по одному частному вопросу, касавшемуся выполнения мирных условий, заняло угрожающую позицию, то граф Валевский поспешил успокоить русского представителя барона Бруннова словами: «Без Франции никто в Англии не рискнет воевать с Россией. Вся страна высказалась бы против подобной идеи. Пальмерстон сразу пал бы, если бы вздумал эту мысль поддерживать» [18]. Во время заседания конгресса Валевский, конечно, еще не мог изъясняться в таких категорических выражениях, но по существу дела граф Орлов ясно видел, что Наполеон III не желает грозить России войной из-за ее несогласий с англичанами.

Перед началом заседаний мирного конгресса между Валевским, Брунновым и Кларендоном было условлено, что следует избегать длинных речей и что для протокола следует приберегать лишь формулировки окончательных результатов каждого заседания. Протокол должен был составляться директором политического департамента французского министерства иностранных дел Бенедетти, причем ему в помощь было командировано по одному представителю от каждой из мирных делегаций, принимающих участие в конгрессе [19].

Еще не успели открыться заседания конгресса, как последовал один очень обдуманный ход со стороны Наполеона III. Граф Морни завел доверительную беседу со вторым русским уполномоченным, бароном Брунновым. Нужно сказать, что Морни и до начала войны и даже во время самой войны не переставал при всяком удобном случае обнаруживать дружелюбие по отношению к России и свое огорчение по поводу разрыва с ней. Теперь он не скрывал, что очень бы хотел более тесного франко-русского сближения. Но обратился он на этот раз в середине февраля 1856 г. к Бруннову явно по прямому поручению императора, и обратился с такой речью, которую императору самому было неудобно вести с графом Орловым. Граф Морни информировал Бруннова о следующем. Император Наполеон должен умышленно, с намерением, «чтобы не сказать с аффектацией (pour ne pas dire l'affectation)», показывать вид «при публике», что он приписывает большую важность своему союзу с Англией. «Но не следует обманываться насчет истинного характера этой манифестации. Она глубоко скрывает секрет перехода от одной системы к другой. Истинная ловкость будет состоять в том, чтобы дать созреть делу, не желая слишком торопить развязку» [20].

Другими словами, Наполеон III решил вести игру на два фронта, обеспечивая за собой возможность использовать одно-

го из партнеров против другого и культивировать сближение с Россией, в то же время не раздражая и не отпугивая подозрительного Пальмерстона.

Со свойственным ему оптимизмом барон Бруннов чрезмерно преувеличивал в начале парижских совещаний степень готовности Наполеона III пожертвовать уже существовавшим союзом с Англией во имя проблематического будущего союза с Россией. Его иллюзия поддержки велась интимными беседами с графом Морни, который не переставал уверять Бруннова (в самый разгар совещаний), будто император только для вида поддерживает союз с Англией, а на самом деле не нужно придавать значения его дружественным манифестациям по адресу англичан, потому что готовится «переход от одной системы к другой» [21].

Русские дипломаты с большим вниманием следили за одним довольно загадочным феноменом. Барон Джемс Ротшильд, финансовый магнат, связанный большими делами и с русским и с французским правительствами, проговорился или сказал намеренно Бруннову о деятельных военных приготовлениях, под шумок происходящих во Франции. Бруннов в «дружеской» беседе с графом Валевским дал ему тогда понять, что он знает об этих военных приготовлениях, как будто несоответствующих мирным стремлениям французской дипломатии. Валевский объяснил этот факт тем, что Франции приходится в данном случае считаться с англичанами, которые очень активно продолжают вооружаться. Чтобы не породить у английского правительства никаких подозрений, добавил Валевский, французы должны следовать их примеру, иначе это может повредить успеху дела умиротворения. Барон Бруннов сделал вид, что он удовлетворен этим довольно путаным объяснением [22].

7

Вечером 21 февраля 1856 г. граф Орлов со своей свитой прибыл в Париж. Уже 22-го утром он виделся с Валевским и остался очень доволен первым визитом: «Я сказал все, мы расстались добрыми друзьями» [23]. Орлову была назначена аудиенция у императора на следующий день, 23 февраля.

Аудиенция состоялась в кабинете у императора, с глазу на глаз. Наполеон III был ласков, обнаружил не только желание мира, но и стремление завязать «личные, более интимные отношения между обоими государями». Правда, никаких положительных обещаний он не давал, но «это в его характере», замечает Орлов, который в своей телеграмме прибавляет, что император уверил его в своей готовности всячески облегчить переговоры, «согласно объяснениям, которые я (Орлов — *Е. Т.*)

ему дал»[24]. Александр написал на этой телеграмме: «Дай бог, чтобы отсюда вышло что-нибудь хорошее».

Прием, оказанный Орлову в первой же аудиенции в Тюильри, был в самом деле очень милостивый. Орлов заявил, что Александр II хочет «справедливого и прочного мира» и стремится «укрепить симпатии», возникшие (по наблюдениям царя) между Россией и Францией. Наполеон III ответил, что это — и его желание. Затем император отпустил кивком головы окружавшую его придворную свиту, и, оставшись вдвоем, собеседники повели деловой разговор.

У нас есть полный отчет Орлова о том, что было переговорено в этой интимной обстановке. Орлов, с той симуляцией искренности, в которой мог смело потягаться со своим собеседником, начал с того, что, мол, он решил отбросить в сторону всякие хитрости и дипломатические извороты (sans réserve, sans détour et sans finesse diplomatique) и изложить сущую правду. Он прямо расскажет императору, на что Россия согласится и что она отвергнет. Во-первых, Россия согласна на установление полной свободы торгового плавания по Дунаю для всех наций. При этом Россия согласна срыть укрепления в Измаиле и Килии, с тем чтобы и Турция снесла укрепления в Мачине, Тульче и Исакче. Острова в дельте Дуная не должны быть заняты никем из держав. Во-вторых, Черное море будет объявлено нейтральным, согласно уже состоявшемуся плану. В-третьих, определение границ между Молдавией и Бессарабией должно стать предметом углубленного рассмотрения. Но при дальнейшем обсуждении этого вопроса должно будет принять во внимание, что русская армия в настоящий момент занимает Карс и часть турецкой территории,— и Орлов тут же дал понять, что возвращение Карса и будет с русской стороны компенсацией за уступки, которые противники должны будут сделать России при определении бессарабских границ.

Наполеон III, выслушав все это, спросил: «А согласились ли бы вы не возобновлять постройки Бомарзунда?» Орлов на это ответил. «Я знаю, что ваше величество придает важность этому пункту. Поэтому я не колеблясь заявляю, что мой августейший государь не выдвинет в этом деле никаких препятствий». Единственная оговорка, которую при этом сделал Орлов, заключалась в том, чтобы относительно Бомарзунда русское обязательство не было включено в текст общего мирного договора, а составило предмет особого соглашения.

Наполеон III после этого заговорил об императоре Николае I, пожалел, что у него с покойным вышли разногласия и т. д. А потом вдруг спросил Орлова: «Я хотел бы знать ваше мнение о Венском трактате. Обстоятельства внесли большие изменения. Если же дело шло о том, чтобы подвергнуть его

пересмотру, я хотел бы уяснить себе ваши суждения по этому поводу». Орлов знал, о чем идет речь: Наполеон III хотел собрать специальный конгресс держав для торжественной отмены тех пунктов Венского трактата и специальных к нему добавлений, которые касались исключения династии Бонапартов из французского престолонаследия. Собственно, трудно было понять, зачем это было нужно ему, уже царствующему государю, признанному всеми правительствами земного шара. Но он хотел, по выражению дипломата одного из второстепенных дворов, чтобы «Европа сама себе плюнула в лицо», торжественно признав свою «ошибку» 1815 г. Орлов ответил, что он не уполномочен высказываться по этому вопросу. Наполеон не настаивал, а перешел к Италии и Польше. Нужно что-нибудь сделать для Италии. Орлов, конечно, мог только порадоваться, видя, что французский император собирается рано или поздно схватить за горло Австрию. Но от угнетенной Италии Наполеон перешел к Польше: «Эта бедная Польша, религия которой подвергается нападениям...» Не могло ли быть проявлено милосердие царя к католической церкви и к большому количеству «несчастных, увлекшихся политическими заблуждениями»?

Орлов ответил, что католическая церковь в Польше вовсе не притесняется. Что же касается политических преступников польских, то Орлов думает, что царь намерен дать амнистию при своем предстоящем короновании. Император поспешил заключить словами, что он считает этот обмен мнений «простым разговором» [25].

В одном из первых же непосредственно к Александру II направленных докладов графа Орлова Алексей Федорович говорит: «Начиная с моих первых сношений с императором Наполеоном, я получил глубокую уверенность, что главный план, которому я должен был следовать для выполнения возложенной на меня вашим величеством миссии, заключался в том, чтобы вполне заручиться доверием этого государя, личное воздействие коего одно только было в силах дать нам поддержку против систематической враждебности других наших противников». Орлов считает,— объективно он совершенно прав,— что ему удалось достигнуть поставленной цели [26].

Император французов предложил Орлову «в трудных случаях», какие будут возникать на конгрессе, обращаться непосредственно к нему. И в первый же раз, когда Орлов счел уместным воспользоваться этим разрешением (по поводу споров с англичанами и австрийцами о границах Бессарабии), Наполеон III, перейдя от частного вопроса к совсем другому предмету, стал говорить «о чувствах глубокого уважения, которые он, несмотря на войну, питал к императору Николаю достославной памяти, и о восхищении, которое ему всегда

внушал великий характер (Николая — *Е. Т.*)». После этого вступления Наполеон III пустился в интимные воспоминания из своей жизни, о своем заключении в крепости Гам (при Луи-Филиппе) и т. д. Беседа велась в доверительно-дружественных тонах. Со стороны очень замкнутого, совсем не разговорчивого, никогда ничего спроста не говорившего императора французов подобного рода прием и беседа с послом враждебной державы были решительно необычны и знаменовали многое.

Умный и тонкий Орлов сопоставил это с другими, очень показательными симптомами: «поистине я должен сказать, что я нисколько не ожидал приема, который меня тут встретил. Я осмеливаюсь сказать, что этот прием был блестящим не только со стороны императора, но и со стороны всей нации. Военные симпатии и желание установить братство по оружию с Россией, несмотря на обстоятельства, превзошли все мои надежды и в самом деле не оставляли ничего желать». Наполеон III не переставал осыпать графа Орлова всевозможными любезностями и с глазу на глаз и публично. Конечно, англо-французский союз еще продолжал существовать, и это обстоятельство не позволяло Наполеону идти дальше известного предела в поддержке русской делегации на конгрессе.

8

А положение было временами крайне тягостным, и Орлов не скрывал от Петербурга, с каким трудом ему и Бруннову приходится бороться с Кларендоном и графом Буолем. Орлов возлагал надежды на Наполеона не только в настоящем, но и в будущем: «Если мир будет подписан, я нисколько не сомневаюсь, что император Наполеон употребит все возможные средства, чтобы сделать более тесным наш будущий союз...»

Но для Орлова было ясно, что Наполеон по ряду соображений не пожелает разрывать и того союза, который его связывает с Англией [27].

В Австрии с очень большим беспокойством следили за этим явно и быстро прогрессировавшим дружелюбием Наполеона III по отношению к России. Известия об этой тревоге венского кабинета дошли до Петербурга, и канцлер счел долгом информировать об этом графа Орлова. В Вене собирались предложить императора Франца-Иосифа в крестные отцы ребенка, которого должна была в ближайшие дни родить императрица Евгения, подготовляли обмен визитами между Францем-Иосифом и Наполеоном III и т. д. Все это, по мысли графа Буоля, должно было скрепить союз Австрии с Францией. Но Александр II, приказывая уведомить обо всем этом Орлова, в то же время вовсе не желал пускаться в какие-либо активные интриги с целью помешать австрийцам: Орлову напоминали, что царю

потребуется лишь ускорить заключение мира и поэтому не следует раздражать даже и австрийцев [28].

Граф Орлов обнаружил свою проницательность, едва только начались переговоры: он прежде всего пожелал узнать (и узнал) через Валевского, еще до начала официальных заседаний конгресса, что́ именно имелось в виду, когда России навязывали таинственный «5-й пункт» в качестве одного из прелиминарных условий. Это привело, как выразился Орлов в своем донесении канцлеру Нессельроде, к «открытию величайшей важности». Оказалось, что английский кабинет желает поставить под вопрос «все русские территориальные владения по ту сторону Кубани»: имелось в виду заставить Россию согласиться либо на независимость всех этих земель, либо на отдачу их Турции. И тут же Валевский успокоил Орлова: император Наполеон отказался помогать англичанам в этом домогательстве. Узнав об этом, Орлов, как он пишет, признал бесспорную заслугу Наполеона перед Россией: русский уполномоченный понял, что если Англия в самом деле предъявит это требование, то следует категорически отказать, и ничего отсюда дурного не выйдет [29]. Без Наполеона III Англия ни в коем случае продолжать войну не может и не будет. Тут нужно заметить, что граф Валевский по всей видимости играл двойную игру: он не мог не знать, что Пальмерстон уже отчаялся в исполнимости своих давних воинственных намерений и что лорды Кларендон и Каули, близко наблюдая, как с графом Орловым обходятся при Тюильрийском дворе, конечно, понимают всю безнадежность предъявления подобных требований. Но, вместо того чтобы вовремя категорически заявить Англии, что Наполеон не будет ее поддерживать в вопросе о Кавказе, Валевский предпочел довести дело до столкновения на самом конгрессе между англичанами и русскими с целью покрепче их перессорить на всякий случай и представить затем Наполеона III великодушным спасителем русского владычества на Кавказе. Точно так же Орлов уже наперед знал от Валевского, что Наполеон не желает требовать от России формального обязательства о невосстановлении черноморских фортов на Кавказе. Значит, и тут можно будет решительно отказать англичанам и туркам. Уже эти предварительные зондирования почвы, и интимные разговоры с графом Валевским, и первые заседания конгресса дали графу Орлову материал для решения центральной, колоссальной важности проблемы: хочет или не хочет продолжения войны Наполеон III? Все время, почти вплоть до середины марта, Орлов бился над разрешением этой основной задачи, пока не пришел к окончательному ее решению. «До сих пор император Наполеон своим поведением и своими заявлениями свидетельствовал о своем желании прийти

к заключению мира. Если бы он не желал мира, он бы воздерживался от сдерживающего влияния относительно требования Англии, именно касательно 5-го пункта прелиминариев. Тогда переговоры безусловно были бы провалены. Наш отказ согласиться на несправедливые притязания британского правительства положил бы конец переговорам, и притом ответственность за их разрыв не пала бы на императора Наполеона. Одним словом, если бы он войну предпочел миру, то ему было бы достаточно только хранить молчание. Он этого не захотел. Он вмешивался активно, ловко, настойчиво, чтобы умерить то исключительные намерения Англии, то своекорыстные расчеты Австрии. Он проводил этот арбитраж не только в направлении, наиболее благоприятном для заключения мира, но еще и с целью дать справедливое удовлетворение нашим прямым интересам» [30].

9

Первое заседание пленума Парижского конгресса состоялось 25 февраля 1856 г. Вступительная речь избранного немедленно и единогласно председателем графа Валевского звучала очень примирительно и выражала твердую уверенность в предстоящем успехе начинающихся совещаний и в близости мира. Пленум постановил, согласно желанию графа Орлова, никакого особого прелиминарного трактата не вырабатывать, а просто зачитать и, приняв, снабдить подписями протокол о согласии России на 5 пунктов, составленный в Вене и помеченный 1 февраля 1856 г.

Затем постановлено было объявить о прекращении военных действий и перемирии сроком на четыре недели, с тем чтобы этот срок мог быть по истечении четырех недель продолжен. Орлов просил занести в протокол, что не Россия, а другие ведущие войну державы предложили перемирие по своей инициативе. Перемирие касалось лишь сухопутных армий, но не флота. Другими словами, ни Англия, ни Франция не желали немедленно же отказаться от блокады русских берегов. Но, согласно желанию Орлова, было постановлено, что начальникам эскадр будет послано немедленно приказание воздерживаться от каких бы то ни было агрессивных действий против русского побережья [31].

Наконец, опять-таки по предложению графа Орлова, конгресс постановил, что безотлагательно, со следующего же заседания приступит к выработке окончательного мирного договора. Это было сделано, поясняет в своем донесении Орлов, с целью содействовать скорейшему заключению мира. На этом и окончилось первое заседание, оставившее у графа Орлова хорошее впечатление [32]. Председатель граф Валевский отнесся к

России самым примирительным и предупредительным образом. Представители других держав — Англии, Австрии, Сардинии пробовали, но довольно слабо, вступать в полемику, которую, однако, сейчас же прекратили. Перед закрытием первого заседания граф Валевский весьма внушительно предложил участникам конгресса хранить в полнейшей тайне все происходящее на заседаниях и, кроме того, не посылать своим правительствам никаких писем и донесений по почте, а непременно с нарочными курьерами.

Эта настойчивость графа Валевского имела свои мотивы. Французской дипломатии предстояло не очень легкое дело. Наполеон III желал, во-первых, предотвратить всякое серьезное ослабление России и помешать тем самым излишнему усилению Англии и, во-вторых, сделать это так, чтобы Англия не была слишком раздражена и не порвала бы свои союзные с Францией отношения. Требовалось, таким образом, начать дружбу с Александром II, не приканчивая этим самым дружбу с лордом Пальмерстоном. При этих обстоятельствах еще можно было вынудить у британского правительства те или иные уступки и отказ от первоначальных требований. Но для этого прежде всего необходимо было оградить и Пальмерстона и английских уполномоченных на конгрессе, лордов Кларендона и Каули, от нападок и травли со стороны шовинистической части английской прессы. Нужно было поставить прессу и парламент уже перед совершившимся фактом, не давая им возможности агитировать в течение времени, когда конгресс еще только будет вырабатывать свои решения.

Второе заседание пленума конгресса произошло 28 февраля. Оно имело характер предварительного, общего обсуждения некоторых намеченных тем и обмена мнений. Орлову удалось добиться согласия пленума на то, чтобы вопрос о количестве вооруженных сил на Черном море был решен по двухстороннему соглашению между Россией и Турцией и уж потом был представлен на утверждение конгресса. Поясняя этот шаг в донесении графу Нессельроде, Орлов утверждал, что такого рода процедура выгоднее для России. В этом же заседании Орлову удалось, при поддержке председателя графа Валевского, достигнуть постановления конгресса о том, что вопрос, касающийся судьбы Дунайских княжеств, будет решен на пленуме лишь в принципе, в общих основных чертах, а подготовка окончательного решения будет передана особой комиссии, которая будет действовать уже после окончания конгресса и затем представит свои заключения на санкцию держав. Графу Орлову казалось нужным отсрочить окончательное решение потому, что сейчас, во время заседания конгресса, еще все-таки слишком сплоченным фронтом выступали противники

России, а с течением времени, даже спустя уже несколько месяцев, многое могло перемениться, сближение России с Наполеоном III могло за этот промежуток очень и очень прогрессировать. А с другой стороны, все-таки России было выгодно, чтобы *принципиальное* решение о Молдавии и Валахии было принято конгрессом, пока он заседает, и чтобы Австрия при этом ровно ничего не получила. И Орлову удалось уже в этом втором заседании добиться согласия пленума на такого рода способ рассмотрения вопроса о Дунайских княжествах. Обсуждался в этом заседании и вопрос о христианских подданных Турции и правах христианских церквей. Великий визирь Али-паша заявил, что султан издал хатти-шериф, обеспечивающий полнейшую свободу всех христианских вероисповеданий, и поэтому конгрессу будет достаточно принять этот факт к сведению. И только граф Орлов протестовал. Он хотел, чтобы о христианских церквах в Турции было особое постановление конгресса, т. е. чтобы религиозная свобода обеспечивалась не простым волеизъявлением султана, а обязательным для Турции решением конгресса. Но в этом Орлов успеха не имел. Впрочем, самый вопрос не имел даже и тени серьезного, реального значения в тот момент. Русский представитель хотел лишь как бы почтить память Николая I и сделать вид, будто больше всего Россия занята судьбами православия в Турции. Сам же граф Орлов был ими озабочен в минимальной степени. Он удовольствовался тем, что конгресс, по его предложению, решил, что при окончательном редактировании текста мирного договора о религиозных делах в Турции будет сказано на первом месте [33].

Это второе заседание имело, таким образом, как бы распорядительный, предварительный характер. Говорилось больше о процедуре, о том, в каком порядке будет происходить обсуждение. Конечно, и тут не обошлось без некоторой дискуссии по существу. Но уже начиная с третьего заседания пленума, происходившего 1 марта, позиция обеих сторон стала выявляться вполне определенно.

Вопрос о Бессарабии полностью уточнил позицию противников. В том, чтобы отнять у России по возможности всю Бессарабию, была заинтересована прежде всего Австрия, а вовсе не Англия. Но так как английская делегация в свою очередь нуждалась в поддержке требований касательно Черного и Азовского морей, срытия укреплений и уничтожения верфей в Николаеве, то лорд Кларендон и лорд Каули сочли уместным оказать Австрии деятельную поддержку и упорно боролись против предложения русских делегатов оставить Бессарабию целиком за Россией, а возвращение Карса туркам считать за справедливую компенсацию. Конечно, этот острый вопрос дол-

жен был выяснить и позицию Наполеона III, давно уже беспокоившую англичан.

К первым дням переговоров (без обозначения точной даты) относится сохранившееся в Архиве внешней политики письмо Бруннова к председателю конгресса графу Валевскому, показывающее, что вопрос об уступке бессарабской территории был в самом деле в тот момент для русской дипломатии наиболее болезненным: «Мой дорогой граф! Вот мы и дошли до того пункта, когда переговоры рискуют оборваться. Вы сами были свидетелем того упорства, с которым англичане отвергают принцип справедливой компенсации в обмен на возвращение Карса». Бруннов просит Валевского довести обо всем происходящем до сведения императора Наполеона: «Я убежден, что только сам император может в эту минуту оказать спасительное влияние на исход переговоров» [34].

10

28 февраля граф Орлов испросил аудиенцию в Тюильри, и Наполеон III пригласил его на обед. Беседа была «очень долгой и дружественной», как докладывал об этом Орлов в Петербург. Орлов начал с обильных изъявлений признательности за ласковое отношение императора к русской делегации, за манифестации симпатии и дружбы со стороны французского общества и т. д., а затем перешел к делу. Орлов объяснил, что пришел момент, когда он принужден обратиться за помощью к императору Наполеону. Претензии англичан и всяческие затруднения со стороны Австрии становятся такими, что, может быть, ему, Орлову, придется прервать совещания (suspendre les conférences). Император Александр, продолжал Орлов, полагал, что, возвращая Турции завоеванный русскими Карс, он в праве рассчитывать, чтобы за Россией полностью была сохранена Бессарабия. И вот теперь Россия ждет, что император Наполеон III поддержит ее в этом вопросе против Англии и Австрии.

Наполеон III внимательно слушал. От его ответа зависело очень много и в судьбах конгресса и в будущих дипломатических комбинациях. Он начал свой ответ с того, что наговорил много любезностей по адресу графа Орлова, поблагодарил его за прямой образ действий и прибавил, что и его собственный ответ тоже будет вполне искренен.

Наполеон сказал Орлову, что он, действительно, считал Карс достаточной компенсацией за Бессарабию, но в «сопротивлении со стороны Англии и Австрии он встретил почти непреодолимые препятствия». Император сообщил далее, что ему стоило больших усилий категорически отклонить такие чрез-

мерные притязания Англии, как требование разрушения Николаева, претензии касательно Азовского моря и другие, оскорбительные для России, но что в вопросе о Бессарабии он не может совершенно порвать со своими союзниками. Он очень хочет в будущем «истинного союза» с Россией, но он «желает действовать осторожно и ничего не компрометируя». Император прибавил, что он прикажет своим министрам поддерживать Россию во всех вопросах, касающихся уточнения новой русской границы в Бессарабии.

Больше ничего Орлов не добился. Было ясно, что порывать союза своего с Англией Наполеон не желает, хотя с Австрией он считаться бы и не стал. И вместе с тем Наполеон ничуть не скрыл, *что сближение с Россией для него* — задача ближайшей политики.

Вывод для Орлова был несомненен: он посоветовал царю примириться с потерей Бессарабии [35].

По-видимому, однако, Пальмерстон вовсе не склонен был так легко расстаться со своей старой мечтой о «независимости» Кавказа. Когда наступило третье заседание пленума (1 марта), то здесь Кларендон, явно уже успевший получить после совещания у Валевского новые инструкции из Лондона, снова поставил вопрос о русских владениях на Кавказе и соединил этот вопрос с другим — с судьбой русских фортов на Черноморском побережье Кавказа. Четыре часа сряду продолжался спор на заседании пленума. Орлов снова решительно отверг все домогательства. Дело в том, что накануне заседания (на третий день после частного совещания у Валевского) Орлов получил, как всегда бывало в трудных случаях, приглашение на обед в Тюильрийский дворец. После этого свидания Орлова с Наполеоном русская делегация имела полное право считать свое дело относительно Кавказа выигранным. Орлов не только отказался от каких бы то ни было уступок, но не пожелал допускать каких бы то ни было обязательств России относительно фортов на Кавказском побережье. Точно так же Орлов ответил полным отказом и на требования, касавшиеся Николаева. Барон Бруннов в донесении канцлеру Нессельроде не скрывает своего удовлетворения по поводу этих успехов русской делегации и категорически приписывает их скрытому за кулисами, но всемогущему дирижеру конгресса: «Если мы достигнем мирного окончания, то, бесспорно, императору Наполеону принадлежит большая доля в этом результате... без его личной поддержки нам не удалось бы положить границы английским требованиям... В этом отношении я вам скажу, достоверно зная факты, что, перенося мирные переговоры в Париж, наш августейший повелитель избрал *единственное возможное средство* (le seul moyen possible — подчеркнуто в ру-

кописи), чтобы совершить дело мира. Каждый день я имею случай убедиться в этой истине. Валевский — наш *помощник* (auxiliaire — подчеркнуто в рукописи) в переговорах»[36]. Затрагивались на этом заседании и другие вопросы (о границах Бессарабии, о султанском хатти-шерифе), но были перенесены на будущие собрания пленума.

На краткой телеграмме Орлова, передающей результаты третьего заседания, Александр II сделал карандашную пометку: «Таким образом еще ничего решительного!»[37] Но царь был неправ. Уже после этого заседания стало выясняться, что русские потери от тяжелой, неудачной войны будут несравненно меньше, чем можно было опасаться. В этом отношении Орлову и Бруннову теперь многое было видно, чего еще нельзя было тогда разглядеть из Зимнего дворца.

В заседании 1 марта сначала был поставлен и быстро решен вопрос об Аландских островах. Граф Орлов объявил, что Россия согласна впредь не укреплять Аландских островов и не создавать там никаких морских или военных учреждений. Но Орлов потребовал, чтобы об Аландских островах было подписано особое соглашение только Россией, Францией и Англией, без всякого участия других участвующих в конгрессе стран. Буоль предложил тогда, чтобы это особое соглашение, по крайней мере, было *прибавлением* к общему мирному трактату. Орлов согласился. Затем, в том же заседании 1 марта, был поставлен вопрос о «территориях на восточном берегу Черного моря». Турецкий представитель Али-паша предложил обсудить вопрос об «исправлении границ» между Турцией и Россией. Русские уполномоченные этому воспротивились, и вопрос был отложен, причем Валевский высказал мысль (принятую русскими) о том, чтобы это дело было поручено особой «смешанной комиссии» уже после заключения мира. Другими словами, Орлову удалось похоронить этот вопрос.

Что касается Карса, то русские уполномоченные согласились возвратить его Турции. Валевский, закрывая это заседание, воздал хвалу «примирительным настроениям» русских представителей[38].

11

Собственно, именно в этом третьем заседании Парижского конгресса оказалось, что на конгрессе действуют не две, а три стороны: Россия, англо-австрийское дипломатическое содружество на конгрессе и Наполеон III.

Тут впервые обнаружилось, что надежды графа Орлова блестяще оправдываются и что дело не ограничится постоянными милостивыми приглашениями первого русского уполномочен-

ного во дворец к обеду и долгим послеобеденным курением папирос в императорском кабинете с глазу на глаз, что уже давно и очень жестоко беспокоило Лондон и Вену. В первый раз именно в ходе этого третьего заседания выяснилось, что Наполеон, не пожелав быть официально председателем конгресса и назначив вместо себя своего министра иностранных дел графа Валевского, поступил необычайно умно и целесообразно: делая на конгрессе руками графа Валевского решительно все, что мог бы сделать он сам, при своем личном председательстве. Император французов в то же время сохранил за собою, правда неофициально, роль некоего суперарбитра, верховного судьи конгресса, нелицеприятного миротворца, успокаивающего взволнованные страсти, и вообще «благодетеля европейских народов».

А как именно надлежит ему использовать такую ловко занятую позицию, это было Наполеоном III решено, конечно, не вчера. Недаром лорд Пальмерстон содержал в Париже еще в течение всего последнего периода войны целый штат великосветских шпионов и осведомителей, главной функцией которых было внимательно следить за изменчивыми настроениями его величества. Когда поздней осенью 1855 г., после падения Севастополя, вдруг обнаружилось, что Наполеон III не желает дальше воевать, то в Европе были этим изумлены многие дипломаты, но не лорд Пальмерстон: английскому премьеру его агенты уже давно донесли о тех тайных сношениях через вторых (и даже третьих) лиц, какие ведутся между Наполеоном III и русским правительством.

Теперь, на конгрессе, Наполеон III последовательно продолжал то, что он начал осенью 1855 г. Усиливать Англию он не хотел ни в каком случае, и уже поэтому всякое чрезмерное ослабление России казалось ему вредным. И помимо этого соображения для Наполеона III ни малейшего смысла не было возбуждать к себе враждебные чувства нового царя; решительно ничего ему от России не было нужно, ни в чем интересы Франции и России не расходились. Что же касается Австрии, то здесь мотивы поведения Наполеона на конгрессе были еще более ясны. «Австрия занимает почетное положение выжатого лимона во время чаепития»,— обмолвился весной 1856 г. один брюссельский журналист: в Париже ему бы не позволили выражаться в подобном тоне, потому что Наполеон III не разрешал своей прессе издеваться над теми, кого он обманывал. Но по существу бельгиец был, конечно, прав. Из Австрии Наполеон извлек во время войны все или почти все, что хотел. Теперь она ему была совершенно не нужна. Но хуже всего для Франца-Иосифа было другое: итальянские владения Австрии — Ломбардия и Венеция теперь, после Крымской войны, находи-

лись под прямым ударом Наполеона III. Захочет ли он их присоединить к своей империи, или создаст из них какое-нибудь вассальное государство, или обменяет их на что-нибудь, — это для Австрии было уже делом третьестепенным. Важно было лишь то, что теперь австрийское владычество в Италии повисло на волоске. В самом деле, где искать защиты? В России ненавидели Австрию за ее поведение и не только не помогли бы ей в беде, но скорее готовы были поддержать любое нападение, направленное на нее. Англия была далека, да и не стала бы она воевать против Наполеона III из-за сохранения австрийского владычества на Апеннинском полуострове. И при этих-то условиях, всецело завися от воли Наполеона III, австрийским уполномоченным графу Буолю и барону (впоследствии графу) Гюбнеру приходилось домогаться у французского императора какой-то награды за дипломатическую помощь союзникам во время Крымской войны. Конечно, ровно ничего они достигнуть не могли. Каждое новое заседание конгресса убеждало австрийцев, что ничего они не получат ни в Дунайских княжествах и нигде вообще. Вялая поддержка Англии на конгрессе была далеко не достаточна для австрийской делегации.

Конечно, при этих условиях, если Австрия являлась наиболее ненавидимым и раздражающим врагом России на конгрессе, то ее вражда сама по себе никакой опасности не представляла. Орлову и Бруннову хотелось еще до пленума 1 марта поточнее узнать нечто более существенное: каковы именно инструкции от Пальмерстона, с которыми прибыла в Париж английская делегация? Поэтому еще перед официальным третьим заседанием граф Валевский пригласил к себе на дом Орлова, Бруннова, лорда Кларендона и лорда Каули «для конфиденциального разговора в отсутствие графа Буоля и уполномоченных Турции и Сардинии» [39]. Свидание привело к таким спорам, что если верить Орлову, то ему даже показалось, будто дело дойдет до срыва конференции. Но это он явно пишет больше для возведения своих заслуг перед царем: дело вовсе так остро не стояло. Обсуждался именно тот «таинственный» пятый пункт прелиминарного венского соглашения, который давал право участникам конгресса возбуждать во время заседаний «в интересах Европы» новые вопросы, т. е., другими словами, предъявлять новые требования России. Оказалось, что Кларендон заговорил о судьбах и желательном устройстве Имеретии, Гурии, Абхазии, Мингрелии, «Черкесии». Орлов категорически отказался пускаться в обсуждение вопроса об этих странах. Поддержка Наполеона III была ему в этом вполне обеспечена. Не за тем Наполеон III воевал, чтобы закрепить за Англией или за Турцией Кавказ и этим

упрочить в Персии английское преобладание. Но нужно сказать, что и сам Кларендон явно не считал исполнимым этот давнишний проект Пальмерстона, который был бы очень трудно осуществим, даже если бы война продолжалась. Кларендон тут говорил, по-видимому, больше для очистки совести перед начальством. Гораздо больше споров возникло из-за Карса. Орлов настаивал на том, что за возвращение Карса Россия имеет право требовать компенсации, англичане же отрицали это. Орлов уступил, потому что по поведению графа Валевского он понял, что Наполеон III в этом случае не поддержит русскую делегацию: Валевский сохранял во время спора «мягкое и пассивное положение» и казался в затруднении [40]. Окончательного согласия не было достигнуто. Отложили до пленума. Совсем легко прошел вопрос об Аландских островах: в России еще задолго до конгресса решено было не укреплять их после войны, а англичане ничего другого и не требовали.

Замечу, кстати, тут же, что истинное умонастроение лорда Кларендона выявилось несколько позже, в речи, которую он произнес 5 мая того же 1856 г., при обсуждении ратификации Парижского договора палатой лордов. Когда правительству было поставлено в укор, что оно не отстояло «Черкесию» и отказалось от мысли потребовать запрета для России восстановить форты на Черном море, то Кларендон напрямик заявил, что не могла Англия требовать от России отказа от Адрианопольского мира 1829 г. Кларендон тут же прибавил, что и отстаивать самостоятельность «Черкесии» англичане не имели основания, так как Шамиль не обнаружил во время войны никакого желания примкнуть к союзникам. Мало того, Кларендон прямо заявил о несочувствии своем австрийскому плану разграничения Бессарабии и вообще — что настаивать на этом плане значило бы просто придираться к России. Затем Кларендон с большой хвалой отозвался о всем образе действий русских уполномоченных на конгрессе.

Выступление Кларендона произвело на графа Орлова самое лучшее впечатление [41].

12

Сообщение Орлова о том, как его приняли в Париже, произвело сильное и радостное впечатление в Петербурге. «Находясь во главе двух великих наций, между которыми не существует никаких противоречий в интересах и которые имеют много мотивов к сближению, оба государя вскоре увидят, при лояльных и искренних объяснениях, как исчезнут случайные причины, их разъединившие» [42]. В такой топорней-

шей французской прозе известил Нессельроде графа Орлова о настроениях Александра.

Царь поручает Орлову высказать Наполеону III признательность за помощь, которую тот оказал русской дипломатии. Конгресс не был окончен в момент, когда писалось это письмо (т. е. 3 (15) марта), оставалось еще две недели до его завершения. Но общие контуры будущего трактата обозначились уже в достаточной степени.

В тот же день Нессельроде написал Орлову о решении Александра касательно будущих судеб Молдавии и Валахии. Решено было, согласно мнению самого Орлова, совершенно отступиться от каких бы то ни было прав и претензий, связанных с Дунайскими княжествами. «Молдаво-валахская нация дала слишком много доказательств своей неблагодарности за благодеяния, которые ей были сделаны ценой русской крови, чтобы мы еще и дальше проливали из-за нее свою кровь»,— так велено было канцлеру Нессельроде писать в Париж графу Орлову [43].

Получив первые донесения Орлова из Парижа, Александр II был очень обрадован и крайне доволен уменьем старого ловкого русского царедворца вкрасться в милость к Наполеону III. «Наш августейший повелитель,— писал Нессельроде Орлову,— мог только одобрить направление, которое вы дали происходящим негоциациям, заручившись добрым расположением и поддержкой императора Наполеона». Графу Орлову далее внушалось, чтобы он всячески поддерживал наметившееся намерение Наполеона завязать дружеские и «более интимные сношения с Россией» [44].

Следующее, четвертое заседание конгресса произошло 4 марта.

Сначала уточнили вопрос о комиссии для исправления границ между Россией и Турцией. Решено было, что в комиссию войдут два турецких представителя, два русских, один английский и один французский и что комиссия должна закончить свои труды в течение восьми месяцев после подписания мира. А затем граф Валевский поставил вопрос о «нейтрализации Черного моря».

Но этот жгучий вопрос был решен по существу дела уже давно. Ведь именно о нем-то и шла речь, когда в Зимнем дворце в декабре 1855 г. и январе 1856 г. колебались: идти на мир или продолжать отчаянную борьбу?

Граф Валевский предложил такую формулировку двух главных пунктов этой статьи договора: «I. Черное море нейтрализовано. Открытые для торгового судоходства всех наций его воды и его порты формально и навсегда закрыты для военного флага прибрежных держав, а также любой другой

державы, кроме исключений, обозначенных в настоящем трактате. Свободная от всяких препятствий торговля в портах и водах Черного моря будет подчинена только правилам, существующим в настоящее время. II. Так как Черное море объявлено нейтральным, то удержание или установление на его побережье военно-морских укреплений становится ненужным и бесцельным. Вследствие этого его величество султан обязуется не возводить и не сохранять на этом побережье никаких военно-морских арсеналов».

Но тут лорд Кларендон сделал попытку принудить Россию разрушить морские верфи в Николаеве. Попытка эта была осуждена на неудачу. С формальной стороны Николаев вовсе не подходил к понятию порта, лежащего на Черном море, потому что он лежит вовсе не на Черном море, но на реке Буге. А по существу дела Орлов твердо знал, что Наполеон III не желает в этом случае поддерживать англичан, следовательно, можно и должно категорически отказать Кларендону. Орлов это и сделал, но в очень сдержанной и примирительной форме. Затем прошел пункт, разрешающий России и Турции содержать известное количество легких судов морского флота [45].

Уже 5 марта одна за другой были получены царем две телеграммы, накануне отправленные из Парижа. В них граф Орлов в сжатом телеграфном стиле сообщал о бесспорном своем дипломатическом успехе. Турки, поддерживаемые англичанами, настойчиво предлагали России проверку на месте русско-турецкой границы в Азии. Наполеон III советовал Орлову уступить по этому вопросу — и Орлов уступил. Выгода была в том, что Наполеон III, поддержав в этом вопросе англичан и турок, мог зато свободно прийти на помощь России, как сейчас увидим, в другом, несравненно более важном пункте. Ведь проверка границы ровно никакого вреда России принести не могла (и в самом деле не принесла), ибо ни единого сантиметра русской территории русские туркам не отдали, и все надежды турок рушились через восемь месяцев, когда проверка границы была окончена. А зато, отдав эту платоническую дань англо-французскому союзу, Наполеон поддержал Орлова и в решительном отказе русского уполномоченного обсуждать вопрос о независимости Черкесии и Мингрелии, и в другом опасном вопросе — о разрушении русских фортов на восточном побережье Черного моря [46].

Омер-паша, впрочем, даже и не ожидая известий из Парижа, эвакуировал почти всю Мингрелию [47].

Кларендон не успокаивался. В ближайшем заседании конгресса (6 марта) он спросил у Орлова и Бруннова, относится ли также к Херсону и к берегам Азовского моря уверение обоих русских уполномоченных, высказанное ими касатель-

но Николаева (т. е. что Россия не намерена строить в Николаеве военный флот, хотя и не желает брать на себя никаких формальных обязательств относительно этого города). Орлов снова подчеркнул, что хотя ни к Херсону, ни к Николаеву, ни к Азовскому морю не относится формальный запрет, распространяющийся только на берега и воды Черного моря, но Россия не намерена также строить военный флот ни в этих городах, ни на Азовском море.

Приступили к статье о свободе торговой навигации по Дунаю. Решено было объявить полную свободу навигации по Дунаю, причем торговые суда всех наций избавлялись от каких бы то ни было поборов и налогов в связи с плаваньем по Дунаю. Вообще же решено было избрать постоянную комиссию из представителей держав для окончательного урегулирования всех вопросов, связанных с плаваньем по Дунаю, с очисткой устьев от заносящего их песка и т. п. [48]

Накануне заседания, где должны были окончательно обсуждаться границы Бессарабии, граф Орлов решил прямо обратиться к Наполеону и сейчас же получил аудиенцию. Из разговора выяснилось, что император не может посодействовать русским в том, чтобы город Измаил был оставлен за Россией, но что он не будет поддерживать предлагаемого Австрией плана проведения новой границы (от Хотина до озера Салзык). Наполеон дал понять Орлову, как всегда, не уточняя своей мысли (да это вовсе и не требовалось), что русский уполномоченный может не уступать австрийцам и всей важной торговой линии Березаны — Бельцы — Скуляны. На другой день после визита в Тюильри, на заседании пленума конгресса 8 марта, граф Орлов разговаривал с Буолем уже совсем не так, как приходилось говорить с австрийцами раньше. Упорное сопротивление со стороны обоих австрийских уполномоченных, Буоля и Гюбнера, мало им помогло, хотя Кларендон их поддерживал в этом ожесточенном споре. В общем Орлов мог вечером того же дня, после заседания, телеграфировать в Петербург, что хотя Россия уступила Измаил и болгарские колонии, но спасена *половина* той бессарабской территории, которую русское правительство уже соглашалось уступить раньше, во время прелиминарных переговоров, происходивших в Вене. Это было достигнуто уже в день 8 марта, потому что дальнейшее обсуждение, отложенное на следующее заседание, должно было коснуться главным образом еще только той части новой границы, которая намечалась (по австрийскому плану) от холмов, расположенных к северу от озера Салзык до озера Анибн, находящегося к востоку от озера Салзык. Но эта оспариваемая территория представляла собой болотистую равнину, «вероятно не имеющую ценности» [49].

13

В шестом заседании пленума конгресса, происходившем 8 марта, был решен — и, казалось, окончательно — очень щекотливый вопрос о новой границе Бессарабии, другими словами — о размерах территориальной уступки России в пользу Молдавии. Протест Орлова и Бруннова против намеченной было (австрийцами и турками) границы не был поддержан Валевским полностью, т. е. не была принята карта границы, начертанная и доложенная конгрессу бароном Брунновым и сводившая русскую уступку к совсем ничтожной величине. Но зато не была принята и австрийско-турецкая карта. Восторжествовало среднее решение, предложенное графом Валевским. Граф Буоль протестовал от имени Австрии особенно горячо, настаивая на том, что Россия теперь берет назад свое слово, отказывается от обещания, которое она дала, соглашаясь в январе на мир. Дело дошло до обмена довольно ядовитыми репликами между Буолем и Орловым, который, по-видимому, в своих суждениях о графе Буоле соглашался наполовину с бароном Мейендорфом и наполовину с Бисмарком. Алексей Федорович соглашался с Мейендорфом в том, что Буоль — подлец, и с Бисмарком — что Буоль глуп. Передавали, что однажды в пылу спора, в ответ на слова Буоля: «Вы забываете, что Россия побеждена!», Орлов ответил: «России не мудрено это забыть, потому что она не привыкла быть побежденной. Другое дело вы, так как вас всегда все били, с кем только вы ни воевали».

Так или иначе, некоторый компромисс был найден, территориальная уступка России очень сократилась, и конгресс перешел к вопросу о том, что же дальше будет с Молдавией и Валахией. Тут обозначились два течения: Австрия и Турция хотели, чтобы Молдавия и Валахия вели по-прежнему отдельное политическое существование, не сливаясь воедино. Трудно понять, зачем это было нужно туркам. Не мог же не понимать Али-паша, что все равно туркам уже никогда не видать ни Молдавии, ни Валахии, будут ли они существовать вкупе или порознь. Но стремление Австрии было вполне понятно. Если Молдавия и Валахия сольются в один политический организм, тогда Австрии очень трудно будет поживиться той или иной частицей молдавской, либо валахской территории. А рассчитывать, что все это будущее единое Молдо-Валахское государство полностью отдадут Австрии, Буоль уже не решался; слишком становилось явственно, что Орлов ни за что этого не допустит и что у русских уже есть по этому вопросу какая-то договоренность с Наполеоном, о которой они до поры до времени скромно молчат.

Как только началась дискуссия о будущей организации Дунайских княжеств, тотчас же и обнаружилось, что как председатель конгресса граф Валевский, так и русские уполномоченные решительно стоят за слияние Молдавии и Валахии в единое государство, будет ли оно называться впредь Румынией или как-нибудь иначе. Возгорелся большой спор между Валевским и Буолем. Буоль заявил, что молдаване — это одно, валахи — совсем другое, и ему известно, что эти два племени вовсе не хотят сливаться воедино. А граф Валевский возразил, что ему, например, это вовсе не известно, а напротив, ему известно, что Молдавия и Валахия жаждут слияния воедино. Граф Орлов, с своей стороны, сообщил, что он имел возможность взвесить потребности и оценить пожелания Молдавии и Валахии и тоже находит, подобно графу Валевскому, что их следует соединить в одно государство.

Все спорящие и не подумали спросить население Молдавии и Валахии, чего, собственно, оно на самом-то деле хочет. Но против Валевского, за которым стоял Наполеон III, и Орлова, за которым находился ненавидящий Австрию Александр II, австрийские уполномоченные были совершенно бессильны. Спор был так упорен, что к концу заседания решено было отклонить окончательный вотум до следующего пленума [50].

14

Орлов все-таки остался не очень доволен поведением председателя конгресса графа Валевского на заседании 8 марта. «Валевским овладел страх перед англичанами»,— так телеграфировал Орлов канцлеру Нессельроде вечером после заседания. Он решил принять экстренные меры и обратиться в Тюильри. Граф Алексей Федорович, тонкий дипломат и лукавый царедворец, прошел за свою долгую жизнь очень хорошую практическую выучку по части наиболее целесообразного и умелого обращения с самодержцами в целях продуктивнейшего их использования. Николай тридцать лет подряд души не чаял в своем «Алешке», так он его называл, и сыну своему завещал его, а сам до могилы не узнал, как часто и как удачно многоопытный «Алешка» его обходил и делал императорскими руками то, что хотел. С Наполеоном III графу Алексею Федоровичу справиться было, правда, труднее, но он быстро и успешно вник в дух и проник в тайны Тюильрийского дворца и во все оттенки настроений императорского окружения. Он сообразил, что Валевский страшится раздражить Кларендона и Каули слишком уж упорным и энергичным отстаиванием русских интересов и что он не может и не хочет брать на себя полностью ответственность за возможный подрыв уже сущест-

вовавшего и доказавшего свою мощь англо-французского союза во имя проблематического будущего союза франко-русского. Словом, Орлов счел нужным снова просить аудиенции у императора. Тут, по-видимому, ему удалось сыграть на одной чувствительной струне, очень звучавшей в духе молчаливого хозяина: Орлов искусно, обиняками жаловался на графа Валевского, т. е. на недостаточно усердное выполнение Валевским воли императора Наполеона, на слишком слабую поддержку, которую председатель конгресса оказал русским в деле разграничения Бессарабии. Основная задача заключалась в том, чтобы восстановить Наполеона против председателя конгресса, тонко указав ему, больше намеками, на непослушание Валевского. Эта цель была блестяще достигнута. Вернувшись из Тюильрийского дворца, граф Орлов телеграфировал немедленно в Петербург: «Аудиенция императора. Он очень недоволен спором о границах (Бессарабии — *Е. Т.*). Он мне объявил, что намерен снова пересмотреть этот предмет, и пересмотреть его таким способом, чтобы наибольшая часть болгарских колоний осталась за нами». Алексей Федорович так ловко это проделал, что вместе с тем ничуть не испортил и своих отношений с Валевским. С Валевским было даже наперед условлено у Орлова, против каких желаний Орлова Валевский будет возражать для вида, чтобы не слишком себя обнаружить перед австрийцами и англичанами, и с чем он будет соглашаться на предстоящем собрании. На новом заседании пленума, 10 марта, вопрос о бессарабских границах был вновь пересмотрен и намечена была гораздо более выгодная для России граница, чем та, о которой шла речь 8 марта [51]. Участники конгресса, вероятно, без труда догадались, почему 10 марта вдруг снова почти полностью пересматривается вопрос, уже решенный в значительной своей части ровно два дня тому назад. По новым повадкам графа Валевского они сообразили, что председатель получил неожиданную инструкцию свыше и хитрит, но подчинились. В седьмом и восьмом заседаниях пленума (10 и 12 марта) уточнялось соглашение касательно тех немногих военных судов, которые отныне дозволялось России и Турции сохранять на Черном море, а также рассматривалась в окончательном виде новая граница, разрезавшая Бессарабию, уславливались относительно будущих работ землемеров, которые должны фактически эту границу провести, и т. д. Конгресс приближался к концу. Настроение участников становилось все более и более примирительным, и 10 марта произошла очень дружественная манифестация. Лорд Кларендон обратился к графу Орлову с уверением, что он не сомневается в согласии России сохранить в целости под Севастополем и в других местах русской территории могилы павших воинов со-

юзной армии и памятники, воздвигнутые англичанами и французами на кладбищах погибших в бою. Граф Орлов на это ответил, что он очень рад случаю удостоверить конгресс касательно соответствующих чувств, одушевляющих императора Александра, всецело идущего навстречу желанию английских уполномоченных [52].

15

Это более мирное настроение конгресса не коснулось австрийских уполномоченных — графа Буоля и Гюбнера. Дело в том, что с каждым заседанием для них становилось все яснее, что ни за что граф Валевский не захочет серьезного, обстоятельного, окончательного рассмотрения вопроса о Молдавии и Валахии. Ведь решить, что оба эти Дунайских княжества должны образовать единое государство еще совсем не значило определить реально: кто же будет этим государством владеть. Конечно, при все возраставшей близости Орлова к Наполеону III, при положении русской делегации, осыпаемой всяческими ласками со стороны Тюильрийского двора, нечего было и надеяться на отдачу Молдавии и Валахии австрийцам. И Гюбнер, человек умный, это уже давно понял. Но граф Буоль, которому природа в числе многих других даров отказала также в быстроте соображения, до последней минуты продолжал еще надеяться вопреки всякой очевидности. Это так ясно, когда читаешь протокол заседания конгресса 12 марта! Снова Валевский не поставил на повестку дня вопрос о Дунайских княжествах, и обсуждение касалось лишь уточнения условий уже принятого конгрессом соглашения о торговом плавании по Дунаю. Но Буоль возбуждал один вопрос за другим, придирался, ставил ненужные препятствия. Он отказывался признать компетентность комиссии, состоящей из представителей держав, относительно всех вопросов, касающихся «верхнего Дуная». Это должно было повлечь нескончаемую дискуссию о верхнем, среднем и нижнем Дунае и привести к проблеме о каких-либо особых правах и привилегиях для Австрии. Но Валевский ловко оборвал начинавшуюся со стороны Буоля попытку обструкции [53]. Он окончательно утвердился на той точке зрения, которую имел случай лишний раз высказать в заседании 10 марта: участь Молдавии и Валахии решит будущая специальная комиссия, а если рассматривать дело тут, на конгрессе, то это «может без достаточных мотивов замедлить выполнение главной задачи конгресса», т. е. заключение мира.

У Буоля оставалась еще слабая надежда на то, что конгресс не заставит Австрию прекратить «временную оккупацию» княжеств. Пока австрийские войска там стоят, кто

знает, нельзя ли будет этим воспользоваться? Как увидим, и тут графа Буоля ждало жестокое разочарование.

Граф Орлов и Бруннов употребили все усилия, чтобы оттянуть какое бы то ни было окончательное решение конгресса относительно судьбы Дунайских княжеств. Австрийский уполномоченный граф Буоль ничуть не отказывался от заманчивой надежды получить для Австрии богатую награду от милостей и щедрости Наполеона III в виде именно Молдавии и Валахии. «Иуда получил за свое предательство, как *цену крови*, всего тридцать серебренников, а в XIX веке *цена крови* возросла, и за кровь Николая Павловича Иуда просит оба Дунайских княжества»,— говорили в славянофильских салонах.

Но Буоль рассчитал без хозяина. Если Наполеон III должен был очень считаться с Англией, то уж зато с Австрией ему совсем не казалось нужным стесняться: он ведь знал очень хорошо то, о чем еще мало кто догадывался в дни Парижского конгресса. Как мы знаем теперь, будущая война с Австрией была в главных чертах решена императором еще тогда, когда он так успешно принуждал Австрию подписать направленный против России договор 2 декабря 1854 г. Вот почему интимные беседы Орлова с Наполеоном III после частых обедов русского посла в Тюильри привели к неприятнейшей для Буоля неожиданности. Как раз когда после долгих (умышленных) проволочек председатель конгресса, французский министр иностранных дел Валевский, наконец, 10 марта поставил на обсуждение (и сейчас же вновь отклонил) вопрос о княжествах, он тут же вдруг дал знать, что император Наполеон желает, чтобы уже к 20 марта конгресс был закончен. А как же быть с Молдавией и Валахией? Когда же успеть выработать решение о них? Когда угодно, но только его величество желает, чтобы конгресс закончился через десять дней. Австрийский уполномоченный не знал тогда, что Наполеон III именно затем и не желает подробного рассмотрения вопроса о княжествах, чтобы потом, в порядке полного сюрприза внезапно оглушить графа Буоля в самый последний момент решительным отказом отдать Австрии Молдавию и Валахию. Торжество графа Орлова в этом деле было полное. И недаром Бруннов, восторгаясь успехами своего шефа Орлова в Париже при дворе Наполеона III, писал графу Нессельроде в Петербург: «Работа нашей канцелярии превосходит мои надежды. В двадцать четыре часа было сделано дело целой недели» [54].

И даже в остающийся короткий срок вопрос о Молдавии и Валахии почти не затрагивался по существу.

Только 10 марта конгресс решил, невзирая на упорное сопротивление англичан, допустить прусского представителя на

заседание. Мотивировалось это допущение тем, что Пруссия подписала в 1841 г. общий протокол великих держав о проливах и, следовательно, имеет право подписать и новый трактат, который должен заменить этот отменяемый протокол [55].

Орлов и Александр II считали это допущение Пруссии своей большой победой, но фактически ни малейшего для России значения участие Пруссии в работах конгресса не имело. Прусские уполномоченные всячески заискивали перед Наполеоном III и перед теми же лордами Каули и Кларендоном, не желавшими так долго их допускать на заседания.

16

Подводя к концу первой половины марта итоги своим впечатлениям, Орлов доносил в Петербург, что, по его наблюдению, взгляды английских уполномоченных менялись за время переговоров. Сначала они держали себя более решительно, а потом стали уступчивее.

Объяснение этому факту Орлов находил в том, что Пальмерстон сначала очень уж боялся быть низвергнутым в парламенте, если результаты долгой и тяжкой войны окажутся не в соответствии с жертвами, принесенными английским народом. А с течением времени он убедился, что эта опасность ему не грозит.

Когда же обнаружилось, во-первых, что русские ни за что не уступят по вопросу о Кавказе и о черноморских фортах, а во-вторых, что Наполеон III не желает поддержать эти требования, то Пальмерстон отступил.

Из того, что мы знаем теперь, но чего не мог знать Орлов, когда писал свое донесение, явствует, что лично и Кларендон и Каули вовсе не разделяли и с самого начала переговоров даже до переговоров воинственного (не столько реального, сколько видимого) умонастроения лорда Пальмерстона.

Что касается австрийского представителя графа Буоля, то, по утверждению Орлова, он был обижен и раздражен уже тем, что по желанию Александра II мирные переговоры велись не в Вене, как сначала все ожидали, а в Париже. Затем он очень раздражался, обижался, тревожился и завидовал, наблюдая демонстративно ласковый прием, который оказывали все время Орлову и император Наполеон, и весь двор, и салоны Парижа, и французская армия. «Это беспокоит и устрашает Буоля. Он видит в этом предвестие более тесного сближения между Россией и Францией. Он знает, что от этого Австрия ничего не выиграет. Такое предчувствие и составляет для этого человека вполне заслуженную кару за содеянные им ошибки. Тут и укор за прошлое и страх за будущее» [56]. Буоль так боится,

что уже стал искать сближения с графом Орловым. Любопытнее всего положение Турции, из-за которой якобы и происходило страшное трехлетнее побоище. «Оттоманские уполномоченные обретаются в таком ничтожестве, которое внушает чувство сострадания (d'une nullité faite pour inspirer un sentiment de pitié)». Александр II, лишь по донесениям Орлова следя за тем, что происходит в Париже, продолжал больше, чем Орлов и Бруннов в Париже, опасаться, что Молдавия и Валахия могут как-нибудь еще очутиться во власти Австрии. Поэтому его обеспокоило решение конгресса, разрешающее постройку крепостей в Дунайских княжествах. «Все это не очень утешительно»,— начертал царский карандаш на секретной телеграмме графа Орлова от 12 марта, в которой говорилось об этих будущих укреплениях. Орлов и Бруннов могли отнестись к делу гораздо спокойнее: они уже знали, что не видать Австрии Дунайских княжеств и не Австрии придется воспользоваться этим разрешением строить в Молдавии крепости[57].

13 марта Орлов обратился к графу Валевскому с такой же просьбой, с которой по его же поручению несколько раньше обратился барон Бруннов. Но Бруннов писал только о границе Бессарабии, а Орлов имел в виду целый ряд очень острых проблем. Первая проблема касалась тех же разграничений на левом берегу Дуная. Орлов хотел, чтобы этот вопрос был связан с вопросом о свободе торгового судоходства по Дунаю. «Император Наполеон одобрил это и обеспечил успех» русского предложения[58]. Второй вопрос касался вооруженных сил России и Турции на Черном море. «Личное влияние императора было с пользой пущено в ход для уничтожения препятствий, поставленных по этому делу Англией»[59].

Третий вопрос — конвенция об Аландских островах. Здесь Орлову не удалось полностью отстоять свое предложение, лишавшее русское *обещание* касательно неукрепления островов характера *обязательства*. Но «причина была не в императоре Наполеоне. Оппозиция явилась из Лондона». Наконец, четвертый вопрос (об обеспечении христианских подданных султана в их религиозной свободе) был решен, правда, не совсем так, как предлагал Орлов, но лукавый Алексей Федорович только прикидывался, что он очень по этому поводу огорчен. И при Николае и, подавно, при Александре этот вопрос никогда не казался графу Орлову стоящим не то что войны, а даже малейшей порчи дипломатических отношений. Граф Валевский передал Наполеону, что Орлов желал бы поместить в мирный договор «формулу», ставящую под реальный контроль держав положение христианских церквей в Турции. «Здесь содействие императора Наполеона не пришло мне на помощь. Я имею все основания думать, что он встретил неодо-

лимую оппозицию со стороны британского правительства. За отсутствием личной поддержки со стороны императора самые ревностные мои усилия должны были оказаться бесплодными среди конференции, где при нынешних обстоятельствах русские уполномоченные оставались изолированными»[60].

Собственно, после заседания 12 марта оставался еще целый ряд, правда второстепенных, но все-таки очень важных вопросов, оставалось согласиться по ряду уточнений и формулировок, которые имели далеко не только внешний, стилистический характер. Но тут могущественное вмешательство императора французов быстро устранило все препятствия, несмотря на усилия графа Буоля и барона Гюбнера, с одной стороны, лордов Кларендона и Каули — с другой. Уже 16 марта Александру II была доложена телеграмма Орлова, посланная накануне из Парижа: «Нам удалось превозмочь затруднения с английской стороны после четырех заседаний, каждое по шести часов. Вероятно, договор будет подписан через два или три дня. Наше положение здесь не оставляет желать ничего лучшего. Наполеон расположен к нам все лучше и лучше»[61].

В заседании 14 марта по инициативе председателя графа Валевского прошло постановление пленума, которое должно было служить обязательной инструкцией для работ этой будущей комиссии. Постановление уже наперед ставило перед Австрией неодолимые затруднения. «Ничье исключительное право покровительства не будет впредь осуществляться над Дунайскими княжествами. Не будет ни исключительной (с чьей-либо стороны) гарантии, ни особого права вмешательства в их внутренние дела»[62].

И тут же было добавлено нечто такое, что совсем подрывало надежды Буоля на внедрение австрийской власти хотя бы в период временной оккупации. Пленум постановил, что положение княжеств будет пока прежнее: «Они будут продолжать пользоваться привилегиями и охраной, которыми они обладают, под суверенитетом Высокой Порты и под европейской гарантией». Комиссии предписывалось осведомиться о нынешнем состоянии княжеств, а султан приглашался созвать немедленно представителей «интересов всех классов общества» в обеих провинциях. Эти собрания («диваны» — один в Молдавии, другой в Валахии) изложат перед комиссией свои пожелания о будущей организации создаваемого нового государства. Комиссия же передаст затем все дело представителям держав, участвовавших в Парижском конгрессе.

Все это — в будущем. А пока «будет организована национальная вооруженная сила с целью ограждения безопасности внутри [обоих княжеств] и охраны границ». Мало того. Предвидя, какой соблазн может представить для австрийцев

присутствие их войск в Молдавии и Валахии уже в настоящий момент, конгресс наперед уничтожает всякий предлог для продолжения австрийской оккупации: «Если бы внутреннее спокойствие в княжествах оказалось под угрозой или скомпрометированным, то гарантирующие державы согласятся с Высокой Портой о мерах для сохранения или восстановления законного порядка. Вооруженное вмешательство не может иметь места без предварительного согласия держав». Орлов мог окончательно торжествовать: добыча, из-за которой Франц-Иосиф в 1854 г. так неожиданно для Николая нанес ему удар в спину, награда, из-за которой Буоль осмелился в 1855 г. грозить Александру II ультиматумом, эта богатая придунайская территория явно ускользнула от австрийцев. Наполеон III так ловко повел все дело, что Австрия даже не могла его обвинить в обмане, в коварстве: когда же он им обещал отдать Молдавию и Валахию? Где такой документ? Нет такого документа! Наполеон, правда, умел в 1854 г. и зимой 1855 г. сочувственно слушать, симпатично улыбаться и ласково помалкивать, когда барон Гюбнер при нем говорил, бывало, о княжествах, но вольно же было австрийской державе принимать это за согласие императора французов подарить ей Молдавию и Валахию.

Конечно, меньше всего затруднений на конгрессе было с вопросом о религиозной свободе христианских подданных султана. Султан Абдул-Меджид издал хатти-шериф, гарантировавший всем христианским церквам в турецких владениях полнейшую свободу богослужения. Следовательно, отпадал сам собой и вопрос о положении православных.

Но Орлов никаких попыток оживить или воскресить этот вопрос и не делал, и Александр II его к этому вовсе и не побуждал. И Орлов и царь прекрасно понимали, что религиозная сторона восточного вопроса и до и во время Крымской войны играла роль лишь подходящего дипломатического инструмента, которым попеременно пользовались то Николай, то Наполеон III. Теперь спорить в данной области было и незачем и не о чем.

17

Редакционный комитет конгресса уже с середины марта погрузился в довольно трудную работу выработки окончательного текста мирного договора. Каждая статья вносилась комитетом на утверждение пленума конгресса, и здесь Орлов жаловался на замедлявшие ход дела «придирки» англичан [63]. Но английские уполномоченные, уже давно разгадавшие тайную игру Наполеона, не верили ни ему, ни Валевскому, ни, подавно, Орлову и Бруннову и, зная подавляющее влияние, какое имел

председатель конгресса Валевский на редакционный комитет, естественно, искали подвоха и коварства в каждой фразе каждой статьи.

Оставались еще некоторые трудности. Например, Кларендон не сразу согласился на разрешение России и Турции держать на Черном море по шести больших пароходов и по четыре легких военных корабля, на чем настаивал Орлов. В конце концов соглашение было достигнуто, но кое в чем Кларендону все-таки удалось видоизменить первоначальный проект об этих судах, составленный Валевским и русскими уполномоченными [64].

Уже 20 марта Орлов получил от Нессельроде телеграмму: «Император одобряет все, что вы сказали и сделали. Отсюда никакой палки в колеса не будет вам вставлено. Кончайте и подписывайте. Нам важно пораньше остановить дорогостоящие приготовления». На подлиннике телеграммы Александр II написал: «Быть по сему» [65].

В последние дни конгресса обнаружилось ясно, что не только графы Орлов и Валевский, но и лорды Кларендон и Каули определенно хотят скорейшего заключения мира. Это сказалось на конечной победе Орлова в довольно мелочном споре (возбужденном Пальмерстоном) о вооружении и размерах нескольких военных судов, которые отныне Россия и Турция могли держать на Черном море: Кларендон уступил. Это выразилось в быстром и вполне благоприятном решении вопроса о снятии английской блокады с русских торговых портов еще до ратификации мирного договора [66] и т. д. Одновременно Александр II разрешил свободный вывоз хлеба из русских портов [67]. Точно так же еще до ратификации Англия и Франция распорядились об эвакуации своих войск из Керчи, Еникале, Кинбурна и Евпатории. Представители обоих правительств заявили о своем стремлении как можно скорее закончить эвакуацию. Что касается ухода австрийских войск из Дунайских княжеств, то об этом было возвещено торжественно и официально в первые же дни после подписания мирного договора. Об этом постарался граф Валевский, зная, как это будет приятно русским представителям [68].

Утром 30 марта 1856 г. все участники конгресса от имени представленных ими держав подписали Парижский мирный договор. Сто один пушечный выстрел возвестил об этом историческом событии в столице Франции. Тотчас после подписания договора конгресс в полном составе отправился в Тюильри к императору. Наполеон III очень милостиво принял явившихся, причем все заметили, как особенно ласково и долго он говорил с графом Орловым, выделяя и отличая его перед всеми.

В 10 часов 52 минуты вечера того же дня Александр II получил от Орлова телеграмму, извещавшую царя о великом

событии[69]. Долгая кровопролитная война, начавшаяся в 1853 г., отошла, наконец, в область истории.

В Европе дипломатические круги считали, что Россия отделалась, сравнительно, ничтожными уступками.

Французский посол в Вене барон де Буркнэ высказался о Парижском трактате так: «Никак нельзя сообразить, ознакомившись с этим документом, кто же тут победитель, а кто побежденный».

18

Тотчас после подписания мирного договора Орлов и Бруннов отправили в Петербург ряд донесений, бросающих яркий свет на всю историю Парижского конгресса. Конечно, оба уполномоченных понимают, что Россия, привыкшая подписывать победоносные трактаты, будет недовольна, и они хотят, во-первых, подчеркнуть, что подписанный ими документ является наименьшим из многих зол и, во-вторых, что, делая необходимые уступки, они только исполняли волю Александра II, считавшего (как и они сами) продолжение борьбы трудным и рискованным делом. «Я не жалею (о труде и заботах — *Е. Т.*), когда я думаю о том, от скольких несчастий, жертв и страданий Россия избавлена благодаря великодушным решениям нашего августейшего повелителя,— пишет Бруннов графу Нессельроде.— Когда даже наши враги невольно отдают нам справедливость, неужели мы должны получать в виде награды от наших друзей критику и порицания? Я об этом не беспокоюсь. Мы исполнили наш долг по совести. При данных обстоятельствах трактат, таким, как он получился, превзошел мои ожидания». Англичане недовольны, и это, по мнению Бруннова, доказывает, что трактат хорош[70].

В ответ на посылку в Петербург полного проекта текста мирного договора Орлов получил от Нессельроде самые лестные приветствия от имени царя:

«Ваше превосходительство сумели заручиться благоприятным расположением императора Наполеона, и, таким образом, вам удалось, обойдя проекты Англии, расстроить коалицию, которая принимала все более и более огромные размеры и ввергла бы Россию в продолжительную войну, исход которой никто не мог бы предвидеть»[71]. В общем проект удовлетворил русское правительство, но было признано желательным, чтобы в текст договора была внесена поправка, ограничивающая права Дунайских княжеств (независимо от окончательного устройства их) по части постройки крепостей и укреплений от Рени до устьев Дуная. Но даже и это требование, осторожно прибавлял Нессельроде, не должно «компрометировать дело мира».

Другими словами, Орлов должен был подписать договор, даже если противники и не уступят по этому пункту.

Священный союз скончался, похоронен, и поведение Австрии сделало его абсолютно невозможным впредь.

Где же искать опоры? «Наша единственная ограда против возобновления осложнений, которым мир положил конец, и для обеспечения передышки (la trêve), в которой мы нуждаемся внутри государства, заключается в благорасположении императора Наполеона. Поэтому все наши усилия должны быть направлены к тому, чтобы сохранить за нами его благорасположение, вместе с тем не обязываясь следовать за государем французов в тех предприятиях, которые он пожелает затеять» [72].

Такова была основная мысль Александра II о ближайших отношениях, которые желательно установить с Наполеоном III. По крайней мере так она формулировалась в первые дни после подписания мирного договора.

Через пять дней после подписания мира Александр II поручил графу Нессельроде поделиться с Орловым некоторыми соображениями о том, каков же отныне должен быть ближайший курс русской внешней политики.

Прежде всего Россия нуждается в том, чтобы ей была дана возможность спокойно и беспрепятственно развивать свои внутренние силы. Нужна безопасность. Но «как ни проста эта задача, она не будет легка». Война глубоко изменила прежние отношения России. Союз «трех северных дворов» (России, Пруссии, Австрии) перестал существовать из-за поведения Австрии. Затем — Швеция на севере, Турция на юге находятся «в новых и деликатных отношениях к России». «Англия недовольна условиями мира и полна досады». Словом, все «элементы коалиции и причины, ее вызвавшие, продолжают существовать». Александр II видит большое благо для России в настроениях, обнаруженных Наполеоном III. «Наша единственная охрана от возвращения тех осложнений, которым положило конец заключение мира,— в благоприятном расположении императора Наполеона». Задача русской дипломатии формулируется так: сохранить доброе расположение французского императора и вместе с тем не давать ему увлечь Россию за собой в какие-нибудь новые свои военные предприятия. Поэтому царь вполне одобряет поведение Орлова, отклонившего какое бы то ни было участие в обсуждении, например, итальянских дел. Но если бы Наполеону вздумалось поставить вопрос об отмене (формальной, ибо по существу их уже давно не было на свете) условий Венского трактата 1814—1815 г., то Орлову предоставляется пойти навстречу желаниям Наполеона, если он найдет это уместным. Наконец, Орлову поручается дело, довольно неожиданное (и по меньшей мере решительно беспо-

лезное для России): постараться расположить императора Наполеона к... Пруссии. Это было началом губительных ошибок Александра II относительно Пруссии [73].

После важнейшего события — подписания мирного договора — конгресс имел еще несколько пленарных заседаний, но они носили уже второстепенный характер. На заседаниях 8 апреля говорилось о том, что Англия и Франция хотя еще не могут безотлагательно прекратить оккупацию Греции, но с нетерпением ждут момента, когда это будет возможно сделать. Заходила речь и об очень щекотливом вопросе «морского права». Английские представители сначала предлагали, чтобы конгресс просто высказал воспрещение каперства и всякого рода вооружения корсаров для нападения на торговые суда противника. В таком виде подобная декларация служила бы только интересам Англии и английской торговли. Орлов предложил, чтобы, *кроме воспрещения каперства, конгресс высказался* в своей декларации о правах нейтрального флага и об обеспечении его от нападений и каких-либо насильственных действий со стороны воюющих стран. В этом требовании граф Валевский вполне поддержал Орлова, и русское предложение прошло. Мало того: прошла и еще одна поправка, внесенная Орловым. Каперство воспрещается только относительно тех держав, которые будут уважать права нейтральных судов.

Не обошлось, наконец, и без того, без чего не бывало до сих пор ни одного большого мирного конгресса. На заседании 14 апреля участники конгресса высказались по поводу идеи *обязательного* арбитража с целью предупреждения будущих войн в случае возникновения конфликтов между державами. Пацифистская ассоциация, возникшая в Лондоне под названием «Друзья мира», отрядила в Париж своих делегатов с проектом такого «всеобщего арбитража». Делегаты не были допущены на конгресс, и их предложение официально не было доложено. Но лорд Кларендон произнес небольшую речь с неопределенно миролюбивыми заявлениями, хотя и совсем не в таком духе, как имели в виду «Друзья мира». Участники конгресса уже перед заседанием 14 апреля знали, что Наполеон III решительно против этих предложений и даже не желает, чтобы такие принципы были «навязаны» конгрессу. Да и участники конгресса считали идею обязательного арбитража неосуществимой. Дело ограничилось невинной и ни малейшего значения не имевшей декларацией: «Уполномоченные, не колеблясь, выражают от имени своих правительств пожелание, чтобы государства, между которыми возникают серьезные разногласия, раньше чем обратиться к оружию, прибегли, поскольку позволяют обстоятельства, к доброму посредничеству дружественной державы» [74].

16 апреля 1856 г. состоялось последнее заседание Парижского конгресса. Подписывались последние протоколы, зачитывался текст декларации о правах и обязанностях держав, ведущих морскую войну. Затем граф Орлов произвел дружественную демонстрацию по адресу Франции: он предложил выразить председателю графу Валевскому благодарность за примирительный дух, проявившийся в руководстве работами конгресса. Это выступление Орлова было тотчас же поддержано лордом Кларендоном и прошло единогласно. Граф Валевский ответил выражением своей благодарности, после чего объявил конгресс закончившимся.

19

На этом мы могли бы и окончить историю Парижского конгресса, поскольку конгресс явился дипломатическим окончанием войны России против враждебной коалиции. О всех политических последствиях Крымской войны для России, для Европы, для революционной общественности, о целом ряде других вопросов, связанных отчасти близко, отчасти более отдаленно с войной и ее результатами, здесь говорить не место.

Но все-таки, кончая анализ документов, рисующих нам работу Парижского конгресса, нельзя не коснуться некоторых моментов, когда на конгрессе и около конгресса как бы вспыхивали и тотчас же потухали зарницы еще пока отдаленных новых бурь. Перед заключительным заседанием пленума 8 апреля Наполеон III, а затем и Валевский предлагали графу Орлову сказать несколько слов, благоприятных для Польши.

Но Орлов решительно не согласился на это и дал понять, что не согласен, чтобы вообще слово «Польша» было произнесено на заседании конгресса. Валевский все-таки еще раз заговорил о том же предмете, и Орлов повторил свой отказ. На этом дело о Польше и было на конгрессе покончено еще не начавшись. Орлов приписывал эти французские попытки только желанию Наполеона показать польской эмиграции, что все-таки он о Польше продолжает радеть и заботиться[75]. Заговорил с Орловым о Польше, но тоже не на заседании, а частным образом, и лорд Кларендон. Но, получив решительный отказ, Кларендон сейчас же прекратил разговор на эту тему. Как и относительно всех других вопросов, возникавших на конгрессе, англичане прежде всего считались с линией поведения императора французов. Подавно, конечно, так было именно относительно Польши. Ни малейшего искреннего сочувствия поляки в официальной Англии не встречали даже во время войны, и для Пальмерстона Польша была в свое время лишь одной из выигрышных карт в дипломатической игре против России.

Нечего и говорить лично о Кларендоне, который все более и более примирительно держал себя к концу конгресса.

Зато несравненно ярче и внушительнее был поставлен другой вопрос, тоже формально нисколько не относившийся к работам конгресса, но в самом деле серьезно занимавший Наполеона III. Это была «итальянская проблема», которой суждено было породить ближайшую по времени вторую большую войну наполеоновского царствования.

Председатель конгресса граф Валевский на заседании пленума 8 апреля 1856 г. вдруг произнес прочувствованное слово о непорядках и дурном управлении в некоторых провинциях, принадлежавших римскому папе, а также в Королевстве обеих Сицилий. Казалось бы, это относилось только к римскому папе, Пию IX, и к неаполитанскому королю. Но всполошился и обиделся прежде всего граф Буоль, первый австрийский уполномоченный. Он высказался в том смысле, что конгрессу не следует вмешиваться во внутренние дела независимых держав. Буоль понимал, что Валевский и тотчас же поддержавший его Кларендон открывают прямую дорогу к опаснейшему для Австрии обсуждению вопроса об австрийском владычестве в Ломбардии и Венеции. И, действительно, вслед за первыми ораторами, говорившими за и против, выступил полномочный представитель королевства Сардинии граф Камилло Бензо Кавур. Граф Кавур, можно сказать, пожертвовал 15 тысячами пьемонтских солдат, которых по желанию Наполеона III погнал на смерть к бастионам Севастополя, лишь бы получить право теперь, на конгрессе, поставить во всей полноте итальянский вопрос.

Кавуру не удалось полностью осуществить то, чего он домогался, т. е. прочесть на пленуме свой мемуар о бедственном положении итальянского народа во владениях Австрии на Апеннинском полуострове, а также в других государствах Италии, вроде Церковной области и Королевства обеих Сицилий. Это прочтение перед пленумом означенного мемуара было, как утверждала впоследствии итальянская пресса, в свое время обещано самим Наполеоном III Кавуру, еще когда речь шла о посылке сардинского корпуса в Крым. Но мало ли что обещается устно! Наполеон III всегда на практике придерживался юмористического ответа своего дяди, когда до него дошли упреки Александра I в забвении тильзитских мотивов: «В политике, как и в музыке, *мотивы* только тогда действительны, когда положены на *ноты*». Не позволив Кавуру прочесть мемуар, граф Валевский зато разрешил ему произнести именно в заседании 8 апреля в высшей степени резкую речь, прямо направленную против Австрии. Эта речь была потом, для протокола, очень смягчена графом Валевским, и из нее было старательно вытрав-

лено все, что довольно недвусмысленно говорило о неизбежности устранения австрийского владычества на Апеннинском полуострове. Но самое выступление Кавура, прослушанное пленумом, даже разрешение императорской негласной цензуры печатать почти полностью во французских газетах не прочитанный на конгрессе мемуар,— все это было довольно неприкрытой угрозой для Австрии, и притом угрозой, за которой чувствовалось присутствие самого Наполеона III. Орлов не выступал по этому вопросу, сославшись на то, что его полномочия не простираются на обсуждение предметов, не относящихся прямо к заключению мира. Но русские уполномоченные могли только злорадствовать, наблюдая, в каком незавидном положении оказывается к концу конгресса граф Буоль. Австрия все три года войны послушно шла за Наполеоном III в надежде, во-первых, на великие и богатые милости в Молдавии и Валахии *и, во-вторых, на упрочение своего господства в Италии* вследствие «союзных» отношений с французским императором. Теперь Буоль возвращался в Вену не только с пустыми руками, но и чувствуя уже собирающуюся над Ломбардией и Венецией грозу. В России М. П. Погодин и поэт Ф. И. Тютчев определенно предсказали еще в 1854 г., что прямым последствием победы Наполеона III под Севастополем будет изгнание Австрии с Апеннинского полуострова и что, таким образом, предательская политика Буоля никакой наградой не увенчается.

«Пушка, которая разбивает Севастополь, прогонит Австрию из Италии»,— писал Тютчев в одном частном письме, и, следовательно, напрасно Австрия так старается [76].

20

«У нас известие о заключении мира, хотя и было обычным порядком возвещено городу пушечными выстрелами с Петропавловской крепости и сопровождалось благодарственными молебствиями, не могло, конечно, считаться событием радостным...— говорит в своих воспоминаниях Д. А. Милютин.— Бедствиям войны положен был конец,— но мир куплен дорогой ценой. Русское национальное чувство было оскорблено. Молодому императору пришлось расплачиваться за неудачи войны, не им начатой» [77].

Орлов не имел в виду остаться послом в Париже после заключения мира. Александр II еще не знал, на ком остановиться. Он решил временно назначить туда барона Бруннова. Вместе с тем царю хотелось поскорее узнать, насколько серьезны намеки Наполеона III на возможность франко-русского союза. Вот какое письмо Александр написал императору французов 21 апреля 1856 г.: «Государь, брат мой! В ожидании момента,

который, я надеюсь, уже недалек,— когда мне будет возможно сообщить вашему императорскому величеству о выборе лица, предназначаемого для поддержания с вашим кабинетом сношений, столь счастливо восстановленных между нами мирным договором,— благоволите, государь, брат мой, отнестись с полной верой к предложениям, которые он, может быть, будет призван сделать от моего имени вашему величеству или министерству вашего величества, и почтить его высокой вашей благосклонностью. Я спешу воспользоваться этим случаем, чтобы выразить вашему величеству уверение в глубоком почтении, с которым я остаюсь братом вашего величества. Александр».

Это письмо с особым фельдъегерем было отправлено на другой день, 22 апреля, в Париж.

Уезжая спустя месяц из Парижа и уже сдав дела барону Бруннову, Орлов имел прощальную аудиенцию у Наполеона. Император говорил с Орловым с необычайной любезностью, симулируя полнейшую сердечность. Он говорил о том, что хочет дружбы с русским царем, и о чувствах симпатии, какие существуют между обеими нациями. Наполеон заявил, что эти симпатии приобретут еще больше силы, *если между обоими государями будет заключено соглашение.* Эти последние слова подчеркнуты в телеграмме Орлова, дающей отчет о прощальной аудиенции. А сверху Александр II написал: «Все это было бы очень хорошо, если это искренне». Царь не обиделся даже и тем, что на этот раз Наполеон тоже заговорил о Польше, правда «в таком духе, как согласуется с намерениями» самого царя. Вообще же император французов, говоря о желательности соглашения между Россией и Францией, до того расчувствовался, что слова его выразили «глубокое волнение, на глазах были слезы». Орлов пишет, что слова Наполеона о будущем он считает правдивыми [78].

Так закончилась дипломатическая миссия Орлова в Париже. В награду за успехи на конгрессе царь пожаловал ему княжеский титул взамен графского, и при русском дворе его встретили как триумфатора. Даже в близких к двору сферах было не мало недовольных миром, но и они признавали, что Россия отделалась от тяжкой и долгой войны благополучнее, чем можно было ожидать.

Но ограничение суверенных прав России на Черном море ощущалось как оскорбление.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трехлетнее кровавое побоище окончилось. Парижский конгресс оказался исходным пунктом нового периода европейских международных отношений. В истории России Крымская война сыграла совершенно исключительную роль и была прологом к переменам и сдвигам крупнейшего значения в социально-экономической жизни страны.

Влияние, которое приобрел Наполеон III в Европе, сказалось прежде всего в усилении полицейской диктатуры во Франции, торжестве реакции в Испании, в Бельгии, временном, унизительном (и очень раздражавшем значительную часть английского парламента) подчинении Пальмерстона наполеоновскому влиянию, и прежде всего в укреплении надолго буржуазной реакции во внутренней политике Англии и грубо захватнических тенденций в ее политике внешней. Для Австрии полный провал ее политики в Крымскую войну был лишь как бы историческим введением к ряду ожидавших страну тяжких катастроф, первой из которых оказалось нападение на нее Наполеона III и, как последствие этого акта, потеря почти всех североитальянских владений. Для итальянского народа исход Крымской войны предопределил тот характер воссоединительного процесса в ближайшие годы, который привел к полному торжеству монархической кавуровской политики над политикой революционно-демократической, к властному вмешательству Наполеона III в дела Италии и к потере двух итальянских областей — Савойи и Ниццы, аннексированных императором французов.

Для Польши Крымская война и Парижский конгресс, в связи с указанными новыми течениями в международной политике, были предисловием к движению, кончившемуся восстанием 1863 г. Наконец, кавказские и среднеазиатские события первого десятилетия после Парижского конгресса стоят в прямой связи с крутой переменой всей русской внешней политики

и заменой (временной) прежних ее целей новыми,— точнее, не столько новыми, сколько отступавшими до тех пор на второй план.

Я кончил свою работу, когда русский народ и другие народы нашего великого Советского Союза вели гигантскую борьбу против вероломного, жестокого врага — фашистской Германии.

Все изменилось со времени Крымской войны. Крепостная Россия превратилась в первое в мире социалистическое государство.

Краснофлотцы Черного моря и Балтики называют себя часто «нахимовскими внуками». Нахимов был бы доволен ими и так же гордился бы ими, как они гордятся своим славным дедом...

Внимательный анализ как военных, так и дипломатических событий, связанных с Крымской войной, приводит нас к непоколебимому убеждению, что тяжкое поражение потерпел самодержавный строй, но не русский народ. Героическая оборона произвела сильное и длительное впечатление на врагов.

Читатель моей книги припомнит, как даже неприятель судил не только о бесспорных русских победах — о Синопе, о Балаклаве, о штурме 18 июня, о защите Петропавловска-на-Камчатке, о Карсе, но и о таких русских неудачах, как Инкерман, и как восторженно враги отзывались о защите Севастополя. Буквально на другой же день после подписания мира Наполеон III домогается тесного союза с Россией. Проходит еще немного времени — и русская дипломатия, руководимая А. М. Горчаковым, в 1870 г. уничтожает наложенное на Россию унизительное ограничение военных сил на Черном море, а в 1878 г. Бессарабия снова становится русской.

Великий русский народ выдержал страшные удары в 1854—1855 гг., но морально не пал духом.

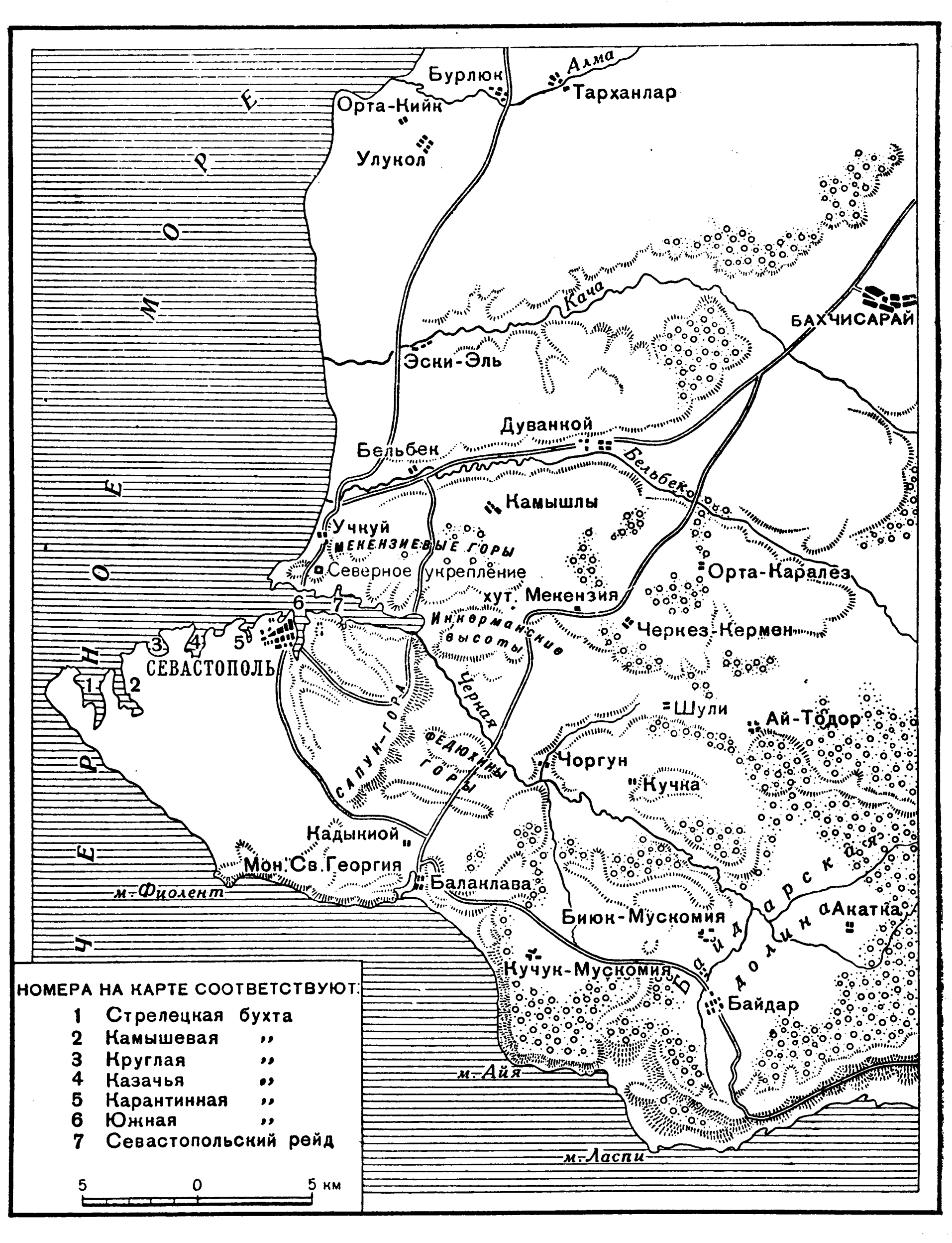
Таков исторический урок Крымской войны, которая притом велась Россией в самых тягостных, самых неблагоприятных условиях, какие только можно себе представить, при существовании царского режима, подрывавшего живые силы и круто понижавшего обороноспособность народа. Ведь когда мы знакомимся с бесчисленными подвигами героев Крымской войны, мы ни на минуту не должны забывать ни о безобразной отсталости в технике, в боевой подготовке командного и рядового состава, ни об общем слабом промышленном развитии страны, ни о невозможном состоянии путей сообщения в необъятном Русском государстве. Крепостной уклад со всеми губительными социально-экономическими своими следствиями, гнет николаевского режима, так страшно усилившийся именно в послед-

ние годы перед Крымской войной (с 1848 г.),— все это крайне ослабляло общий военный потенциал Российской империи.

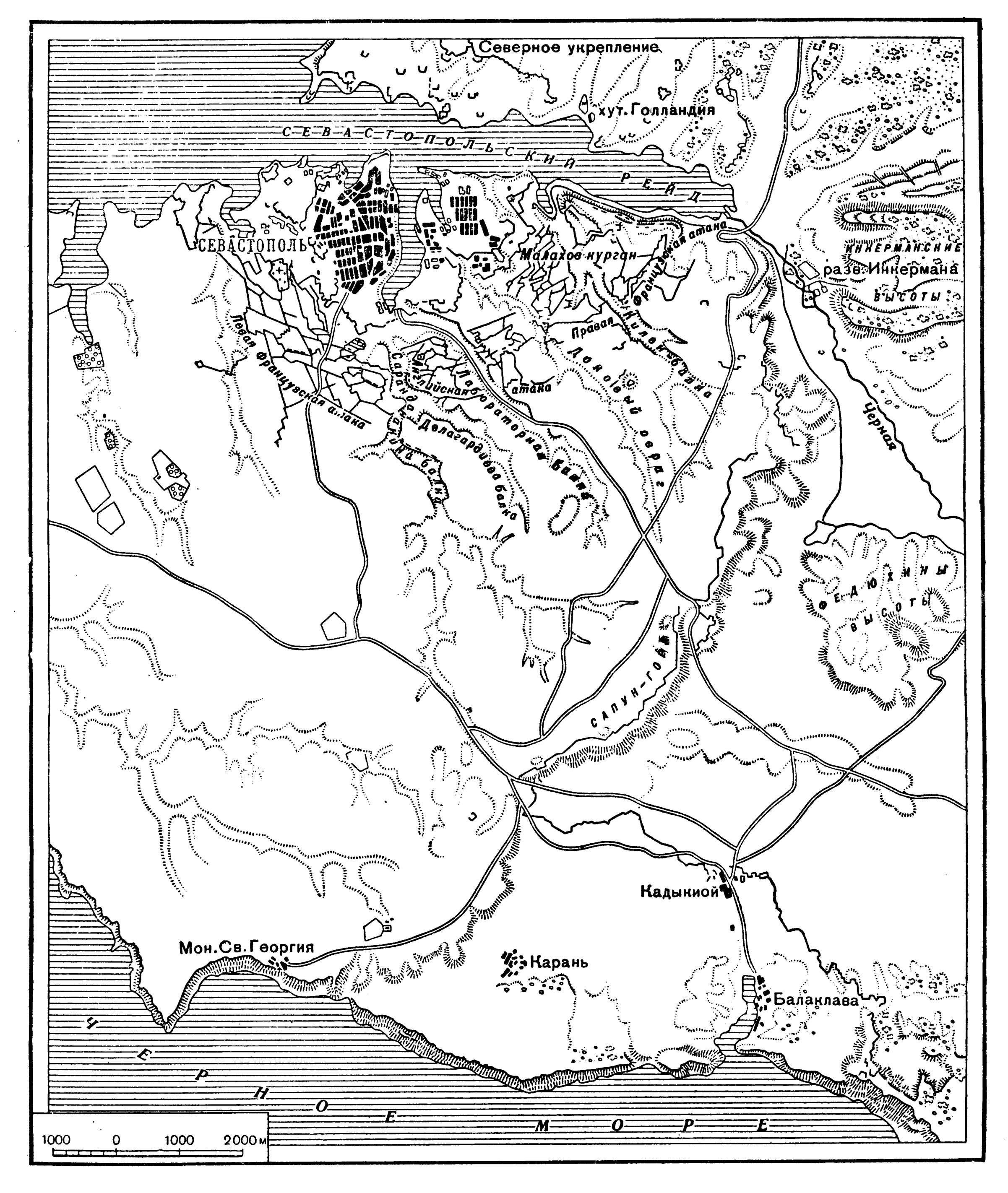
И самое изумительное — это та потрясающая картина геройской самозащиты русского народа, которую дает нам изучение Крымской войны. «Нахимовские львы» не были исключением. К слову замечу, что даже и в смысле своей выучки и сноровки русские моряки и на Черном, и на Балтийском морях, и на Тихом океане оказались на высоте.

От Крымской войны осталась навеки память немеркнущей славы, осталась сияющая легенда о геройских подвигах русского народа. Наряду с изгнанием поляков во времена Минина и Пожарского, наряду с петровской Полтавой и с кутузовским Бородинским сражением, нахимовский Севастополь показал, на что способна Россия в минуту грозной опасности.

А в наши дни советские люди оказались способными при совсем новых социально-политических условиях, созданных Великой Октябрьской социалистической революцией, совершать такие поистине бессмертные подвиги, достигнуть таких совсем ни с чем не сравнимых по своему мировому значению результатов, каких не достигал великий русский народ за все века своей славной истории.



КАРТА ТЕАТРА ГЛАВНЫХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В 1854—1856 ГОДАХ



ПЛАН ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕВАСТОПОЛЯ

Комментарии



Глава I

1 Центральный государственный архив Военно-морского флота (ЦГАВМФ), фонд 19, Меншикова. Меншиков — Гейдену. Севастополь, 4 марта 1854 г.

2 Там же, д. 194, л. 36—37. Анненков — Меншикову. 2 апреля 1854 г. Там же, ответ Меншикова. Севастополь, 8 апреля 1854 г.

3 Там же, д. 209, оп. 2, л. 163—165. Серебряков — Меншикову. Керчь, 13 апреля 1854 г.

4 Там же, л. 166—169. 17 апреля 1854 г.

5 Bazancourt. *L'expédition de Crimée. La marine française dans la mer Noire et la Baltique. Chroniques maritimes de la guerre d'Orient*, t. I. Paris, s. a., стр. 87.

6 Приказ Остен-Сакена. Одесса, апреля 11 дня 1854, № 16.— *Одесский вестник*, 1854, № 40, 17 апреля.

7 Bazancourt. Цит. соч., т. I, стр. 113.

8 Malmesbury. *Memoirs of an ex-minister*. London, 1885, стр. 335. July 30, 1854.

9 Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, 2 изд., т. 10, стр. 265.

10 Gerlach. *Denkwürdigkeiten*, Bd. II. Berlin, 1892, стр. 65.

11 Bocher Ch. *Mémoires*. Paris, 1907, стр. 208—209.

12 Там же, стр. 119.

13 См. новейшее очень интересное и документированное специальное польское исследование, написанное на основании архива семьи Чарторыйских и других источников: Pawlikowa M. *O formacjach kozackich w czasie wojny Krymskiej*.— *Kwartalnik hystoryczny* (Lwów), rocznik 50, zeczyt 1, 1936, № 1, стр. 9.

14 Там же, стр. 20 и сл.

15 Там же, стр. 20: «... najlepsza jazda turecka ...». Нужно заметить, что автор этого труда, интересного перепечатками из недоступного до сих пор архива Чарторыйских, сам уклоняется от прямых выводов из использованного им материала и не видит, как сознательно (и зачем именно) Наполеон III обманывал поляков летом 1854 г.

16 Там же, стр. 18.

17 Bapst G. *Le Maréchal Canrobert. Souvenirs d'un siècle*, t. II. Paris, 1902, стр. 215—216.

18 Центральный государственный исторический архив. Москва (ЦГИАМ), ф. 722, д. 206, л. 148. Севастополь, 29 июня 1854. Копия.

19 Там же, л. 172. Copie d'une dépêche du comte Chreptowitsch.

[20] Russell W. H. *History of the Crimean war*, vol. II, стр. 198. Книга Росселя, вышедшая в Лондоне в 1855—1856 гг., состоит собственно из двух томов, но я пользовался приобретенным Рукописным отделением Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде пятитомным экземпляром, где на одних листах наклеены печатные страницы работы Росселя, а на других — автографы, рукописные заметки, письма и другой рукописный материал, относящийся тоже к Крымской войне. Поэтому при ссылках на Росселя я обозначаю томы этого искусственно, так сказать, составленного пятитомного экземпляра Публичной библиотеки, а не двухтомного издания, в том виде, как оно поступило в продажу в 1855—1856 гг.

[21] Slade A. (Mushaver-Pasha). *Turkey and the Crimean war*. London, 1867, стр. 268—269.

[22] Там же, стр. 262—263.

[23] Bazancourt. Цит. соч., т. I, стр. 104.

[24] Там же, стр. 116. Maréchal Saint-Arnaud à S. E. le ministre de la Guerre, le 27 juillet (1854). Varna.

[25] Bright J. *The diaries of John Bright*. New York, 1931, стр. 188.

[26] Bazancourt. Цит. соч., т. I, стр. 148.

[27] ЦГИАМ, ф. 722, д. 206, л. 279. Философов — вел. князю Константину. Кишинев, 11 сентября 1854 г.

[28] Вейгельт. *Осада Севастополя*. СПб., 1863, стр. 16—17.

Глава II

[1] Государственная библиотека им. В. И. Ленина, Рукописное отделение, ф.169, п.8, № 29, л. 182 об.— 183. Воспоминания Д. А. Милютина.

[2] ЦГИАМ, Ш. О. 1 эксп., № 399, ч. 2, 1854 г., л. 63.

[3] Ср. Зюзенков И. П. *Морской флот России в Крымской войне 1853—1856 гг.— Труды Военно-политической академии им. В. И. Ленина*, 1940, № 4, стр. 137.

[4] Кроме названных в библиографии трудов Hugues, Бородкина, Squarr, полк. Шелова, см. подготовленную к печати работу Н. Ф. Литке. *Первые русские мины Якоби и Нобеля*, дающую ценнейшие сведения о первых опытах с минами на Балтийском море (в рукописи).

[5] См. цитированную рукописную работу Н. Ф. Литке. *Первые русские мины Якоби и Нобеля*, стр. 5.

[6] Там же, стр. 6—7. Эта работа полна также крайне важных и интересных деталей чисто технического характера.

[7] «... увидим, что будет с англичанами и легко ли мы им дадимся в руки. Я надеюсь, что в крайнем случае погибнем вместе». ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, д. 63, оп. 2, л. 192 об. Гейден — Меншикову. 5 февраля 1854 г.

[8] Барсуков Н. *Жизнь и труды М. П. Погодина*, кн. XIII, стр. 66.

[9] *Морской сборник*, 1904, февраль, неоф. отдел, стр. 2.

[10] Бородкин М. *Война 1854—1855 гг. на Финском побережье*. СПб., 1904, стр. 280—281.

[11] Там же, стр. 282.

[12] Там же, стр. 283—285.

[13] Из дневника и записной книжки П. Х. Граббе.— *Русский архив*, 1889, № 4, стр. 571. Запись под 18 марта 1854 г.

[14] Там же, стр. 576. Запись под 2 апреля 1854 г.

[15] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, д. 63, оп. 2, л. 184 об. Гейден — Меншикову, 9 октября 1853 г.

[16] Там же, л. 197 об.25 марта 1854 г.(получено в Севастополе 8 апреля 1854 г.).

[17] Там же, л. 193—194. 20 февраля 1854 г.
[18] Там же, л. 198. 25 марта 1854 г.
[19] Ср., например, книгу: Петров М. А. *Обзор главнейших кампаний и сражений парового флота*. Л., 1927, стр. 46—48, 52—54.
[20] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, д. 112, оп. 4, л. 60. Краббе — Меншикову, 19 апреля 1854 г. (не смешивать этого Краббе, который был креатурой Меншикова, с генералом П. Х. Граббе, начальником гарнизона в Кронштадте).
[21] См. роспись — *Морской сборник*, 1904, февраль, неоф. отдел, стр. 11—12. Кстати, там вместо «блокшифный флот» читаем переделанное в просторечии слово: «блошкивный», причем оно оставлено без пояснений. Блокшифами назывались у нас парусные по большей части суда, пришвартованные к берегу и усиливающие своим огнем огонь береговых батарей. В случае необходимости эти суда предназначались в первую очередь к затоплению с целью загромоздить и сделать невозможным проход неприятельских судов. Конечно, в блокшифы отчислялись наименее пригодные к бою в открытом море старые суда.
[22] Вся эта переписка полностью опубликована в бумагах Чарльза Непира, изданных Earp'ом: *The history of the Baltic campaign from documents and other materials furnished by vice-admiral sir Ch. Napier*. London, 1857, стр. 599—610. Собственно этот издатель был лишь подставным лицом: все документы о Балтийской кампании были тут опубликованы в 1857 г. с комментариями самого Непира, к величайшему раздражению британского адмиралтейства.
[23] *The life and correspondence of admiral sir Charles Napier*, vol. II. London, 1862, стр. 208.
[24] *The Russian war and blockade of the Baltic by an Admiral*. London, 1854.
[25] *The life and correspondence of Ch. Napier*, vol. II, стр. 215. Чарльз Непир — первому лорду адмиралтейства, 18, Albemarle-Street, 24th february 1854.
[26] *The history of the Baltic campaign*, стр. 15.
[27] «Indeed, at the commencement of the war in the Baltic the Russian gunners could have fired much better for they were welltrained, whilst many of our men were not trained at all».— *The history of the Baltic campaign*, стр. 22.
[28] Там же, стр. 28.
[29] Там же, стр. 53.
[30] *The life and correspondence of Ch. Napier*, vol. II, стр. 249, 251.
[31] Там же, стр. 250—251.
[32] Там же, стр. 257.
[33] На борту корабля «Герцог Веллингтон», перед Кронштадтом, 1 июля 1854 г. Непир — Грэхему. *The life and correspondence of Ch. Napier*, vol. II, стр. 264.
[34] Из дневника и записной книжки П. Х. Граббе, запись от 15 июня 1854 г.— *Русский архив*, 1889, № 4, стр. 586—587.
[35] Архив Ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР (ЛОИИ), ф. 34, оп. 1, № 8, л. 29—30.
[36] Hoseason J. C. *Remarks on the late war with Russia*. London, 1857.
[37] Там же, стр. 86: it being well known that so lately as August 1855, the quantity of gunpowder manufactured in all England, by both public and private establishments, was but 108 tons a week.
[38] *The history of the Baltic campaign*, стр. 88.
[39] Там же, Непир — Грэхему, 3 июня 1854 г.
[40] Там же, стр. 229. Непир — сэру Джемсу Грэхему, 30 июня 1854 г.
[41] *The life and correspondence of Ch. Napier*, vol. II, стр. 272.

[42] Донесение о разведке Сэлливана напечатано Непиром, как и другие подлинные документы о действиях Балтийской эскадры, в том же издании Earp'a: *The history of the Baltic campaign*, стр. 335—336.

[43] Там же, стр. 343.

[44] *Морской сборник*, 1866, № 2, стр. 643.

[45] Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ), Рукописное отделение, F. IV, 885. Рукописная записка капитана Кноринга о бомбардировании Аландских укреплений.

[46] *Журнал военно-учебных заведений*, 1856 , т. CLXXI, стр. 410.

[47] ГПБ, Рукописн. отд., F. IV, 885. Рукописная записка капитана Кноринга.

[48] Там же.

[49] *The history of the Baltic campaign*, стр. 370.

[50] ГПБ, Рукописн. отд., F. IV, 885. Рукописная записка капитана Кноринга.

[51] *Русская старина*, 1893, № 10, стр. 185—212.

[52] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, д. 112, оп. 4, л. 71. Краббе — Меншикову, 29 августа 1854 г.

[53] *The life and correspondence of Charles Napier*, vol. II, стр. 250.

[54] *The history of the Baltic campaign*. Непир — Грэхему, 28 июня 1854 г.

[55] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, д. 112, оп. 4, л. 44. Краббе — Меншикову.

[56] Eriksson S. *Svensk diplomati och tidningspress under Krimkrieget*. Stockholm, 1939, стр. 173.

[57] Там же, стр. 157.

[58] Palmstierna C. F. *Sverige, Ryssland och England. 1833—1855*. Stockholm, 1932, стр. 278—287, 351—357, 382—383 и др.

[59] Напечатано у Guichen. *La guerre de Crimée*. Paris, 1936, стр. 328.

[60] Там же, стр. 229.

[61] Eriksson S. Цит. соч., стр. 158.

[62] Runeberg C. M. *Sveriges Politik under Krimkrieget. Neutralitetsförklaringen*. Ekenäs, 1934, стр. 137.

[63] Det är naturligt, att Danmarks fredsälskande gesandt, greve Scheel-plessen ansåg att kronprinsen komprometterade sig genom «Talemaander com ere utilgivelige». Runeberg C. M. Цит. соч., стр. 146—147.

[64] Там же, стр. 147. Донесение Лобстейна Друэн де Люису от 19 декабря 1853 г.: «il croit avoir un compte à régler au sujet de Pultava».

[65] Runeberg C. M. Цит. соч., стр. 305. Примечание.

[66] Eriksson S. Цит. соч., стр. 200.

[67] Geffroy A. *Une visite à Bomarsund.— Revue des deux mondes*, 1854, vol. VII, стр. 1061.

[68] Guichen. Цит. соч., стр. 230.

[69] Toly V. *Mensonges et réalités de la guerre d'Orient*. Bruxelles, 1855, стр. 106.

[70] Библиотека им. В. И. Ленина, Рукописн. отд., ф. 169, п. 8, № 28, л. 140—140 об. Воспоминания Д. А. Милютина.

[71] Барсуков Н. Цит. соч., кн. XIII, стр. 121.

[72] *The life and correspondence of Ch. Napier*, vol. II, стр. 343. Непир — лорду Пальмерстону, 8 February 1855.

[73] Там же, т. II, стр. 344.

Глава III

[1] Leouzon le Duc. *La question russe*. Paris, 1853, стр. 32.

[2] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, д. 112, оп. 4, л. 60. Краббе — Меншикову, 19 апреля 1854 г.

[3] ЦГИАМ, ф. 722, д. 206, л. 119. Копия с письма гос. императора к генерал-адъютанту Меншикову, 18 июня 1854 г.

[4] Там же, л. 128—129. Copie d'une dépêche du comte Chreptowitch, le 7/19 juin 1854, № 69.

[5] Меншиков — Горчакову. Севастополь, 30 июня 1854 г.— *Русская старина*, 1875, февраль, стр. 304.

[6] ЦГИАМ, ф. 722, оп. 1, д. 202, 1853 г., л. 210. Меншиков — Константину.

[7] Там же, л. 215—216. Глазенап — Константину. 26 февраля 1854 г.

[8] Там же, л. 281—282. Меншиков — Константину. Севастополь, 20 марта 1854 г.

[9] Центральный Государственный военно-исторический архив (ЦГВИА), д. 5626, ф. ВУА, л. 6—8. Письмо князя Варшавского князю Меншикову из Бухареста от 23 апреля 1854 г.

[10] Госархив Крымской области, фонд Воронцовых-Дашковых, № 11, рукопись на 24 листах (продолжение рукописи того же фонда № 10).

[11] Там же.

[12] Библиотека им. В. И. Ленина, Рукописн. отд., ф. 169, п. 8, № 28, л. 140—141.

[13] ГПБ, Рукописн. отд., F. IV, 818. П. Ф. Хомутов. Из воспоминаний о Крымской кампании, л. 46.

[14] *Кн. Александр Сергеевич Меншиков в рассказах бывшего его адъютанта А. А. Панаева.— Русская старина*, 1877, январь, стр. 118. «Тотлебен прибыл в Севастополь 10 августа и просил у его светлости позволения осмотреть укрепления... Своей любовью к науке он заинтересовал князя, который выразил ему свое расположение...» И дальше все в том же слащавом тоне, извращающем правду.

[15] ГПБ, Рукописн. отд., F. IV, 818. П. Ф. Хомутов. Из воспоминаний о Крымской кампании, л. 14 об.

[16] Там же.

[17] Шперк В. Ф. *А. З. Теляковский.— Вестник Военно-инженерной Краснознаменной академии*, 1945, № 39, стр. 7. Ср. Теляковский А. З. *Фортификация полевая*. СПб., 1839. Его же. *Фортификация долговременная*. [1846]; Бузник. *О русской фортификационной школе.— Военно-инженерный журнал*, 1948, № 11.

[18] ГПБ, Рукописн. отд., F. IV, 818. П. Ф. Хомутов. Из воспоминаний о Крымской кампании, л. 14.

[19] Библиотека им. В. И. Ленина, Рукописн. отд., ф. 169, п. 8, № 28, л. 141 об.—142.

[20] ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера, К-3, № 8, л. 76. Письма Э. И. Тотлебена генерал-майору Н. Б. Герсеванову. Копия. 1868 (более точной даты на копии нет).

[21] Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА), фонд Строгановых, д. 175, л. 46—46 об. Севастополь, 11 октября 1854 г.

[22] ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера, К-3, № 2.

[23] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, д. 35, оп. 6. Записки полковника Циммермана о слышанном от союзников, л. 45.

[24] Niel, général. *Siège de Sébastopol. Journal des opérations*. Paris, 1858.

[25] Этот подсчет Лихачева наиболее обоснованный из всех.— *Военный сборник*, 1902, № 4, стр. 114.

[26] ЦГВИА, 1854—1855, ф. ВУА, № 5451. Горчаков — Меншикову. Kichineff, le 10 septembre 1854.

[27] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 365/1.

[28] ЦГАДА, фонд Строгановых, д. 175, л. 46—47 об. Севастополь, 11 октября 1854 г.

[29] Bazancourt. Цит. соч., т. I, стр. 212.

[30] См. эту любопытную по-своему полемику: Генерал-майор В. Вунш *Несколько слов против «Новых подробностей о сражении при Альме».— Военный сборник*, 1858, июль, стр. 46—56.

[31] ЦГАДА, ф. Строгановых, д. 175, л. 47 об.— 48. 11 октября 1854 г.

[32] Kinglake A. W. *The invasion of the Crimea*, vol. II. London, 1853.

[33] Там же, стр. 510.

[34] Там же, т. III, стр. 1--2.

[35] Bazancourt. Цит. соч., т. I, стр. 221.

[36] ЦГАДА, ф. Строгановых, д. 175, л. 49—49 об. Письмо от 11 октября 1854 г.

[37] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, д. 72, оп. 2, л. 74. Péterhoff, le 17 août 1853. Голицын — Меншикову.

[38] ГПБ. Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера, К-3, № 8, л. 137—139. Князь Долгоруков — наказному атаману Войска Донского. Гатчина, 12 сентября 1854 г.

[39] *Русский архив*, 1892, № 8, стр. 479.

[40] Библиотека им. В. И. Ленина, Рукописн. отд., ф. 169, п. 8, № 29, л. 153—155.

[41] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, ед. хр. 2180, л. 70 об. Николай I — Паскевичу, 20 сентября 1854 г.

[42] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, д. 112, оп. 4, л. 69. 20 сентября 1854 г.

[43] ЦГИАМ, ф. 722, ед. хр. 208, л. 1. Записка А. Головнина от 15 сентября 1854 г., $11^1/_2$ час. вечера. Там же ответ, написанный рукой Константина.

[44] Архив Института истории русской литературы АН СССР (ИРЛИ), фонд 3, оп. 3, № 14. Архив Аксаковых, л. 70—71. Сергей Аксаков — Ивану Аксакову, 16 сентября 1854 г.

[45] Там же, л. 72—73. 23 сентября 1854 г.

[46] Там же, Сергей Аксаков — Ивану Аксакову, 30 сентября 1854 г., Абрамцево.

[47] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 365/3. Васильчиков — Менькову. Херсон, 23 сентября (1854 г.).

Глава IV

[1] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 365/1. Ср. также в архиве Крымской области, фонд Воронцовых-Дашковых, № 11.

[2] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 365/1.

[3] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, д. 2156, л. 118 и 118 об., № 16. Севастополь, 6 сентября 1854 г.

[4] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 365/1.

[5] Жандр А. *Материалы для истории обороны Севастополя и для биографии В. А. Корнилова, собранные и объясненные капитан-лейтенантом А. Жандром, бывшим его флаг-офицером.* СПб., 1859, стр. 180—183.

[6] Там же, стр. 186.

[7] Bapst G. Цит. соч., т. II, стр. 261.

[8] Архив ЛОИИ, ф. 100, № 456. Остен-Сакен — Иннокентию. Было опубликовано в *Военном сборнике*, 1861, № 7, стр. 132—133.

[9] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, д. 2156, л. 135. Дневник Корнилова 1854 г. 28 сентября.

[10] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 365/3. Красовский — Менькову, 18 февраля 1855 г.

[11] *Морской сборник*, 1868, № 3, стр. 20. Ср. также воспоминания И. Лихачева. *В Севастополе 50 лет тому назад.— Русская старина*, 1904, май, стр. 339.

[12] ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера, К-3, № 8, л. 140. Князю Меншикову — и. д. новороссийского и бессарабского генерал-губернатора Анненкова 2-го рапорт. Одесса, 11 октября 1854 г. Там же, приписка Анненкова от 22 октября.

[13] ГПБ, Рукописн. отд., F. IV, 818. П. Ф. Хомутов. Из воспоминаний о Крымской кампании, л. 35 об.

[14] Жандр А. Цит. соч., стр. 199.

[15] Там же. Текст приказа на стр. 204. Корнилов именно начал словом «товарищи».

[16] Корнилов в своей речи посчитал лишь линейные корабли, не упомянув о двух фрегатах. Приведу официальное его донесение: «По приказанию его светлости князя Александра Сергеевича, корабли: „Три святителя", „Уриил", „Селафаил", „Варна", „Силистрия", и фрегаты „Флора" и „Сизополь" затоплены в здешнем фарватере».— ЦГВИА, ф. ВУА, № 5492, л. 49. 11 сентября 1854 г. Копия с докладной записки начальника штаба Черноморского флота и портов (Корнилова) № 2160.

[17] Лихачев Д. *Очерк действий Черноморского флота в 1853—1854 гг.— Военный сборник*, 1902, № 4, стр. 113.

[18] Там же, стр. 115.

[19] См. Зюзенков И. П. *Морской флот России в Крымской войне.— Труды Военно-политической академии*, 1940, № 4, стр. 137—173.

[20] Blerzy H. *Un mois devant Sébastopol.— Revue des deux mondes*, seconde période, t. 83, 1869, стр. 410—411.

[21] *Русская старина*, 1877, март, стр. 488.

[22] Там же, стр. 499.

[23] Меншиков — Горчакову. Северная, 21 января 1855 г.— *Русская старина*, 1875, февраль, стр. 327.

[24] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, д. 2156, л. 123—124 об. Запись 15 сентября.

[25] Жандр А. Цит. соч., стр. 235.

[26] Севастополь, 18 сентября 1854 г. Извлечено из переписки Тотлебена. Приложения к I тому книги: Шильдер Н. К. *Граф Э. И. Тотлебен*. СПб., 1885, стр. 49—50.

[27] *Русская старина*, 1877, апрель, стр. 698—699.

[28] Казахстанская публичная библиотека в Алма-Ате, Рукописное отделение, Бумаги Хрулева, инв. № 32. Горчаков — Хрулеву, № 2999, 13 сентября 1854 г.

[29] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, д. 109, л. 116а. 1854. Севастополь, 4 октября, 8 часов утра.

[30] Архив ЛОИИ, ф. 48. Письма И. М. Дебу, № 4, 4 октября 1854 г.

Глава V

[1] *Сборник известий, относящихся до настоящей войны*, изд. Н. Путиловым, кн. 21. СПб., 1855, стр. 417—418.

[2] Russell W. H. *The great war with Russia*. London, 1895, стр. 78.

[3] Капитан генерального штаба Аничков считает от 5 до 6 тысяч. См. Аничков. *Военно-исторические очерки крымской экспедиции*. СПб., 1856, стр. 28—29.

[4] Peard G. S. *Narrative of a campaign in the Crimea*. London, 1855, стр. 65.

[5] Layard A. *La première campagne de la Crimée*. Bruxelles, 1855, стр. 45.

[6] Там же, стр. 44—45.

[7] Kinglake A. W. *Invasion of the Crimea*, vol. II. London, 1863, стр. 383.

[8] Castex, général. *Ce que j' ai vu*, t. I. Paris, 1898, стр. 94.

[9] *Морской сборник*, 1854, № 12, стр. 444. Показание капитан-лейтенанта Попова.

[10] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 365/1, л. 152—153.

[11] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, д. 2156, л. 142—142 об. Дневник Корнилова.

[12] Архив ЛОИИ, ф. 48. Письма И. М. Дебу, № 8, 2 ноября 1854 г.

[13] *Морской сборник*, 1854, № 12, стр. 442—443. Показания Жандра.

[14] Там же, стр. 445—446. Показание капитан-лейтенанта Попова.

[15] *Сборник известий...*, кн. 22, стр. 492—493.

[16] Там же, стр. 488.

[17] В *Indépendence Belge* от 5 ноября 1854 г. перепечатано в *Сборнике известий...*, кн. 22, стр. 490.

[18] Blerzy H. *Un mois devant Sébastopol.— Revue des deux mondes*, seconde période, t. 83, 1869, стр. 424.

[19] *Сборник известий...*, кн. 23, стр. 514—515.

[20] Там же, кн. 22, стр. 496—497.

[21] Bazancourt. Цит. соч., т. I, стр. 334—335.

[22] *Сборник известий...*, кн. 22, стр. 494.

[23] Там же, кн. 23, стр. 516.

[24] Там же, стр. 514.

[25] Архив ЛОИИ, ф. 48. Письма И. М. Дебу, № 5, 11 октября 1854 г.

[26] Там же, № 7, 25 октября 1854 г.

[27] Там же.

[28] Там же.

[29] Там же, № 8, 2 ноября 1854 г.

[30] Там же, № 5, 11 октября 1854 г.

[31] Архив Севастопольского музея обороны, №№ 5070 и 5071, VI. Бумаги Бутакова. Письмо к матери (подлинник). 18 октября 1854 г.

Глава VI

[1] Библиотека им. В. И. Ленина, Рукописн. отд., ф. 169, п. 8, № 29. Воспоминания Д. А. Милютина, л. 161 об.—162.

[2] Peard G. S. Цит. соч., стр. 153—154.

[3] Там же, стр. 154.

[4] Bapst G. Цит. соч., т. II, стр. 319.

[5] Страстная полемика, которая возникла впоследствии по поводу этого рокового для английской кавалерии приказа, вызвала немало статей и брошюр. Самая документированная брошюра (имеющаяся у нас, в отделе Rossica ГПБ) называется: *The British cavalry at Balaklava. Remarks in reply to leutenant general Earl of Lucan's speech in the House of Lords*. London, 1855.

[6] Malmesbury. Цит. соч., т. II, стр. 163.

[7] ЦГВИА, ф. ВУА, д. 5772, л. 19—21 и 37. Начальника 12-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Липранди рапорт. На позиции. Получено на Северной стороне Севастополя 26 октября 1854 г. Там же, д. 5772, л. 37 (о подвигах нижних чинов отряда Жабокритского).

[8] Там же, л. 22—29, док. 25. Донесение Липранди.

[9] Там же.

[10] Там же.

[11] *The British cavalry at Balaklava*. Цит. изд.

Глава VII

[1] *Русский архив*, 1869, т. II, стр. 24.

[2] Библиотека им. В. И. Ленина, Рукописн. отд., ф. 169, п. 8, № 29, л. 163 об.—165. Воспоминания Д. А. Милютина.

[3] ЦГИАМ, ф. 722, д. 206, л. 349. Николай I— Меншикову. Гатчина, 11 ноября 1854 г.

[4] Там же, ф. 728, оп. 1, д. 2228. На Северной стороне, у № 4 батареи, 26 октября 1854 г. Николай Николаевич — Александру Николаевичу.

[5] *Русская старина*, 1875, февраль, стр. 313—314.

[6] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 365/1, л. 161 об.

[7] ЦГВИА, ф. В УА, № 5451. Prince Gortchakoff au prince Menchikoff, le 19 octobre 1854. Kichineff.

[8] Ср. письмо Меншикова Горчакову от 9 июня 1853 г.— *Русская старина*, 1875, январь, стр. 176.

[9] *Новороссийский телеграф*, 1889, № 4365.

[10] *Записки кн. В. И. Васильчикова.— Русский архив*, 1891, № 6, стр. 201.

[11] Тотлебен Э. И. *Описание обороны города Севастополя*, ч. I. СПб., 1863, стр. 425—426.

[12] Там же, стр. 428.

[13] У меня в руках было авторизированное и дополненное брюссельское издание, сделанное Джервизом. Layard A. *La première campagne de la Crimée*. Bruxelles, 1855.

[14] Layard A. Цит. соч., стр. 81.

[15] Там же, стр. 84.

[16] ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова, д. 35, оп. 6, л. 51—52. Записки полковника Циммермана о слышанном от союзников и т. д.

[17] ГПБ, Рукописн. отд., II, 3, № 2, л. 35 об. Из архива д. т. с. Александра Дмитриевича Крылова. Записки о П. Д. и М. Д. Горчаковых.

[18] Там же, л. 36.

[19] Тотлебен Э. И. Цит. соч., ч. I, стр. 423. Генерал А. П. Хрулцов в своих записках дает цифру в 20 000 чел., но не детализирует.

[20] *Записки графа М. Д. Бутурлина.— Русский архив*, 1898, № 7, стр. 418.

[21] Bapst G. Цит. соч., т. II, стр. 345—346.

[22] Там же, стр. 75.

[23] Там же, стр. 342.

[24] Colebrooke. *Journal of two visits to the Crimea in the autumn of 1854 and 1855*. London, 1856, стр. 199.

[25] Russell W.H. *The great war with Russia*. London, 1895, стр. 200—201.

[26] Там же, стр. 204.

[27] Тотлебен Э. И. Цит. соч., ч. I, стр. 450—451.

[28] Guérin L. *Histoire de la dernière guerre de Russie*, t. I. Paris, 1858, стр. 404.

[29] Там же, стр. 405.

[30] Canonge F. *Histoire militaire contemporaine*, t. I. Paris, 1882, стр. 45—46.

[31] Saint Priest, duc d'Almazan. *La bataille d'Inkerman.— Revue des deux mondes*, seconde période, t. XV, 1858, стр. 395.

[32] Подлинник этого письма хранится в Архиве Севастопольского музея обороны, № 5154, VII.

[33] Там же. Николай I — Меншикову, 2 ноября 1854 г. (подлинник).

[34] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, д. 2228, л. 3—5 об. 26 октября 1854 г. На Северной стороне, у 4-й батареи, Николай Николаевич — Александру Николаевичу.

[35] Майор Курпиков. *Эпизод из Инкерманского дела.— Сборник рукописей... о Севастопольской обороне*, т. I. СПб., 1872, стр. 118—119.

[36] Хрущов А. П. *История обороны Севастополя*. СПб., 1889, стр. 49.

[37] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 365/1, л. 161 об.— 162.

[38] Из походных воспоминаний о Крымской войне.— *Русский архив*, 1870, № 11, стр. 2044—2045.

[39] На нем рукой Меншикова написано было: «не состоялось». ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера, К-3, № 8 (II, 3, № 2, л. 71—72. Меншиков — В. А. Долгорукову. 1854).

[40] Погодин М. П. *Сочинения*, т. IV. М., 1874, стр. 282.

[41] Там же, стр. 285.

Глава VIII

[1] *Военный сборник*, 1904, № 9, стр. 37 и сл.

[2] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 832, л. 2. Копия. Секретно. Рапорт его превосходительству г. архангельскому военному губернатору.

[3] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 832, 16 марта 1854 г. Из доклада г. Кольскому городничему. Архангельск, № 613, л. 3 об.

[4] Там же, 10 марта 1854 г. Копия постановления, л. 4.

[5] Там же, 23 марта 1854 г. К руководству г. Кольскому городничему. Архангельск, № 697, л. 5—6.

[6] Пушкарев был в это время болен.

[7] Там же. Оборона Колы.

[8] ЦГИАМ, III О., 1 эксп., № 412, ч. 3, 1854, л. 1—1 об. от штаб-офицера корпуса жандармов в Архангельске шефу жандармов графу Орлову. 28 августа 1854 г., № 41.

[9] Hailly E. *Une campagne dans l'Océan Pacifique. L'expédition de Petropavlovsk.— Revue des deux mondes*, seconde période, t. XVI, 1858, стр. 686—718.

[10] Завойко Ю. *Воспоминания о Камчатке и Амуре (1854—1855)*. М., 1876, стр. 9.

[11] Архив ЛОИИ, ф. 39, Глазенапа, карт. № 1. Петропавловск, 30 августа 1854 г.

[12] Там же, карт. № 1. Петропавловск. 30 августа 1854 г. Начинается: «Ваше превосходительство милостивый государь Богдан Александрович». Подписано Николаем Фесуном.

[13] Родственник Дмитрия Максутова.

[14] Арбузов А. П. *Оборона Петропавловского порта.— Русская старина*, 1870, апрель, стр. 374—375.

[15] Библиотека им. В. И. Ленина, Рукописн. отд., ф. 169, п. 8, № 29, л. 174 об. —176.

[16] Hailly E. Цит. соч.— *Revue des deux mondes*, seconde période, t. XVI, 1858, стр. 716.

[17] Арбузов А. П. *Замечания на статью Г. Фесуна о Петропавловском деле.— Морской сборник*, 1860, № 10, отд. IV, стр. 4—10.

[18] *Морской сборник*, 1860, № 10, стр. 4—10.

[19] Невельский Г. И. *Подвиги русских морских офицеров*. М., 1947, стр. 312—313.

[20] Там же, стр. 309.

[21] Документы, относящиеся к эвакуации Петропавловска в 1855 г., напечатаны в *Известиях Приморского губернского архивного бюро*, т. I, вып. 2. Владивосток, 1923, стр. 22—31.

[22] О переезде из Петропавловска в Николаевск см. интересные *Воспоминания о Камчатке и Амуре* жены губернатора Юлии Завойко. М., 1876.

[23] «... The odds certainly were on the side of the Allies, and considering the weight of their armaments they had a fair chance of success». R a v e n s t e i n E. *The Russians on the Amur.* London, 1861, стр. 129.

Глава IX

[1] Архив ЛОИИ, ф. 48. Письма И. М. Дебу, № 9, 9 ноября 1854 г.

[2] ЦГВИА, ф. В У А, № 5254. Sévernaya, près de Sévastopol, le 3 novembre 1854. Меншиков — Долгорукову.

[3] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, д. 1913 а, л. 26. Письма вел. князя Михаила Николаевича к августейшим родителям. 12 ноября 1854 г. На Северной стороне Севастополя.

[4] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 365/3, л. 18. Семякин — Менькову, 16 декабря 1854 г. Бивуак на Северной стороне Севастополя.

[5] ЦГИАМ, ф. 694, ед. хр. 322, л. 11 об. На Северной стороне Севастополя, 21 ноября 1854 г.

[6] C a s t e x. Цит. соч., стр. 96—97.

[7] ЦГИАМ, ф. 722, д. 213, л. 148. О пленных и перебежчиках.

[8] M o l è n e s P. *Les commentaires d'un soldat.* Paris, 1877, стр. 110.

[9] B r i g h t J. Цит. соч., стр. 177.

[10] G u é r i n L. Цит. соч., т. II, стр. 45—47. Примечания.

[11] В е й г е л ь т. Цит. соч., стр. 81.

[12] ЦГИАМ, ф. 722, д. 213, л. 52 об.— 53. Constantinople, le 18 janvier 1855.

[13] G u é r i n L. Цит. соч., т. II, стр. 45.

[14] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 365/3, л. 14. Васильчиков — Менькову. Севастополь, 4 декабря, ночью.

[15] Там же. Чоргун, 16—28 ноября (1854 г.).

[16] Там же, л. 17. Герсеванов — Менькову. 16 декабря (1854 г.).

[17] Там же, л. 17 об.

[18] ЦГВИА, ф. В У А, № 5451, ч. II, л. 238. Kichineff, le 29 décembre 1854. Prince Gorchakoff au prince Menchikoff.

[19] Архив ЛОИИ, ф. 48. Письма И. М. Дебу, № 21, 21 декабря 1854 г.

[20] ИРЛИ, ф. 265, л. 2. Архив журнала *Русская старина*, 14 декабря 1854 г.

[21] ЦГВИА, ф. В У А, № 5452, ч. II. Меншиков—Долгорукову, le 24 décembre 1854. Sévernaya.

[22] Архив ЛОИИ, ф. 48. Письма И. М. Дебу, № 11, 19 ноября 1854 г.

[23] Там же, № 12, 22 ноября 1854 г.

[24] Там же, № 15, 30 ноября 1854 г.

[25] ЦГАДА, ф. 11 — Госархив, разр. XI, № 1259, л. 4—5. Copie d' une dépêche au comte Benkendorff en date du 16/28 novembre 1854, de Berlin, № 192.

[26] Там же.

[27] И. Аксаков—А. О. Смирновой, 24 ноября 1854 г.—*Русский архив*, 1895, № 12, стр. 459.

[28] В а л у е в П. А. *Дума русского.— Русская старина*, 1891, май, стр. 352.

[29] ЦГВИА, ф. В У А, № 5452, ч. II. Князь Меншиков—князю Долгорукову, 11 октября 1854 г., бивуак между Инкерманом и Бельбеком.

[30] Там же. Князь Долгоруков — князю Меншикову. Гатчина, 21 октября: «Elle (la Russie) mérite la protection du Tout-puissant».

[31] Там же. St. Pétersbourg, le 23 octobre 1854.

[32] Архив Севастопольского музея обороны, № 5120, IV. Черновые заметки Ухтомского.

[33] Гос. архив Одесской области, 1138, архив № 23, Зеленого. Заметки Милошевича: «больные умирают с голоду, продовольствия нет, полнейшая бездарность и никчемность министра Долгорукова».

[34] ЦГВИА, ф. В У А, №8452, л. 213—216. Prince Dolgorouky au prince Menchikoff (по кн. Е. В. Тарле изд. 1943 г. —*Ред.*).

[35] *Русская старина*, 1877, июнь, стр. 290—291.

[36] *Из походных воспоминаний о Крымской войне. — Русский архив*, 1870, № 11, стр. 2049.

[37] Там же, стр. 2051—2053.

[38] Щербатов А. П. *Генерал-фельдмаршал князь Паскевич*, т. VII. СПб., 1904, стр. 316.

[39] ЦГВИА, ф. В У А, № 5968. Выписка из журнала Севастополя, напечатанного за границей.

[40] Ушаков Н. *Записки очевидца о войне России противу Турции и западных держав*, ч. II. В кн.: «*Девятнадцатый век*», кн. 2. М., 1872, стр. 198.

[41] *Русская старина*, 1877, январь, стр. 115.

[42] *Записки князя В. И. Васильчикова.— Русский архив*, 1891, № 6, стр. 191—192.

[43] ЦГАЛИ, ф. 1337, оп. 1, ед. хр. 167. Записки Д. А. Оболенского.

[44] Черняев М. Г. *Во время русско-турецкой войны 1853—1856 гг.— Русский архив*, 1906, № 3, стр. 457.

[45] Жемчужников Л. А. *Отрывки из моих воспоминаний.— Вестник Европы*, 1899, ноябрь, стр. 234.

[46] Меншиков — Горчакову. Севастополь, Северная, 22 декабря 1854 г.— *Русская старина*, 1875, февраль, стр. 322.

[47] *Сборник рукописей... о Севастопольской обороне*, т. I, стр. 30—41.

[48] *Воспоминания о Севастополе Евгения Корженевского.— Сборник рукописей... о Севастопольской обороне*, т. III. СПб., 1873, стр. 33 — 34.

[49] Архив Севастопольского музея обороны, № 5120, IV. Черновые заметки Ухтомского.

[50] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 365/2.

[51] Bapst G. Цит. соч., т. II, стр. 374.

[52] Там же, стр. 377.

[53] ЦГИАМ, ф. 722, д. 213, л. 3 об. Рапорт № 587, ноября 27 дня 1854 г. Нахимов — Меншикову.

[54] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 365/2.

[55] Там же, 365/3, л. 15 об.— 16. Васильчиков — Менькову. Севастополь, 14 декабря 1854 г.

[56] Архив ЛОИИ, ф. 48. Письма И. М. Дебу, № 45, 16 марта 1855 г.

[57] Баумгартен А. *Заметки к письмам князя А. С. Меншикова.— Русская старина*, 1875, май, стр. 139—140.

[58] Архив Севастопольского музея обороны, № 5128, VI. Бумаги Щегловых. Отрывок письма Д. Щеглова без даты.

[59] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, д. 1913а, л. 35 об.— 36. Письма вел. князя Михаила Николаевича августейшим родителям.

[60] Там же, л. 41—48. Северная сторона Севастополя. 18 января 1855 г.

[61] ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера, II, 3, № 2, л. 135. Остен-Сакен — Киселеву. Помечено 16 февраля 1855 г.— 156-й день обороны.

[62] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV. 365/2. Эту точную дату дает полковник Меньков.

[63] Гос. архив Одесской области, 1138, архив № 23, Зеленого. *Заметки Милошевича о Крымской кампании.* Списано рукой неизвестного, рукопись на л. 18—48. Приложения к этой рукописи на л. 46—48.

[64] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 365/2, л. 27.

[65] Библиотека им. В. И. Ленина, Рукописн. отд., ф. 169, Д. А. Милютина, п. 8, № 29, л. 168 об.—169, 179—180.
[66] Прусский посланник в Петербурге, письма которого в Берлине систематически попадали в руки Наполеона III.
[67] ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова, д. 112, оп. 6, л. 74. СПб., 7 января 1855 г. Подписано: «Н. Краббе». Пометка сверху: «Получено 19 января 1855 г.»
[68] ЦГИАМ, ф. 573, Мейендорфа, д. 510, л. 157—161.
[69] Архив ЛОИИ, ф. 48. Письма И. М. Дебу, № 45, 16 марта 1855 г.
[70] Архив Севастопольского музея обороны, № 5077, VII. Воспоминания Ухтомского (подлинная рукопись).
[71] *Артиллерийский журнал*, 1857, № 3, стр. 181—182.
[72] Там же, стр. 183.
[73] Там же, стр. 184.
[74] ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова, д. 100, л. 79. СПб., 3 июля 1855 г.
[75] ЦГИАМ, ф. 722, д. 213, л. 48—48 об. Копия с рапорта генерал-адъютанта барона Остен-Сакена г. военному министру из Севастополя 7 марта 1855 г., № 444.
[76] Там же.
[77] Архив Севастопольского музея обороны, № 5080, VII.
[78] Берг Н. В. *К биографии графа Замойского.— Исторический вестник*, 1880, сентябрь, стр. 103.
[79] *Князь М. Д. Горчаков в 1855—1861 гг.— Русская старина*, 1880, сентябрь, стр. 120—121.
[80] Там же, стр. 121.
[81] *Н. И. Пирогов в Севастополе 1854—1855 гг.— Русская старина*, 1885, август, стр. 299.
[82] ЦГИАМ, ф. 722, д. 206, л. 482—483. Севастополь, 18 декабря 1854 г.
[83] ЦГВИА, ф. В У А, № 5451, ч. II, л. 220. Северная, le 22 décembre 1854. Prince Menchikoff au prince Gortchakoff.
[84] *Записки доктора А. Генрици.— Русская старина*, 1878, январь, стр. 92—93.
[85] *Из воспоминаний А. Н. Супонева.— Русский архив*, 1895, № 10, стр. 259.
[86] ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова, д. 88, оп. 2, л. 68 об. Москва, 12 декабря 1855 г.
[87] *Сборник рукописей... о Севастопольской обороне*, т. III, стр. 394—395.
[88] Тотлебен говорит, что эти контрапроши можно было бы удержать, если бы на русскую вылазку было дано 20 апреля шесть батальонов, как это и предполагалось. Но главнокомандующий изменил это распоряжение, и вместо шести батальонов было дано втрое меньше (Тотлебен Э. И. Цит. соч., ч. II, отд. 1, стр. 181 и сл.).
[89] Гос. архив Одесской области, 1138, архив № 23, Зеленого. *Заметки Милошевича о Крымской кампании*. Списано рукой неизвестного. Рукопись на л. 18—46.
[90] ГПБ, Рукописн. отд., Q. IV, 365/2, л. 29—31.
[91] ЦГИАМ, ф. 722, д. 213, л. 129—136. Извлечение из письма из Севастополя. Севастополь, 26 апреля 1855 г.

Глава X

[1] Guérin L. Цит. соч., т. II, стр. 2—3.
[2] Архив внешней политики России (АВПР), ф. К., д. 105. Bruxelles, le 16/28 décembre 1854. Приложение к донесению Эбелинга.
[3] Там же, д. 84. Brunnow — Nesselrode. Cologne, le 29 mai (10 juin) 1854.

[4] Там же, д. 161, № 136. Meyendorff — Nesselrode. Vienne, le 1/13 juin 1854.

[5] Князь Варшавский, граф Паскевич Эриванский, Иван Федорович.

[6] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, д. 2214, л. 37—37 об. Письма Николая I — кн. Горчакову Михаилу. Александрия близ Петергофа, 19 июня (1 июля) 1854 г.

[7] АВПР, ф. К., д. 161. Gortchakoff — Nesselrode. Vienne, le 26 juin (8 juillet) 1854.

[8] Там же. Vienne, le 6/18 juillet 1854.

[9] Там же, д. 84. Brunnow — Nesselrode. Darmstadt, le 3/15 juin 1854.

[10] Eckhart F. *Die deutsche Frage und der Krimkrieg*. Berlin, 1931, стр. 68—71.

[11] АВПР, ф. К., д. 161. Gortchakoff — Nesselrode. Vienne, le 27 juin (9 juillet) 1854.

[12] Там же, д. 161, № 6. Gortchakoff — Nesselrode. Vienne, le 30 juin (12 juillet) 1854.

[13] Там же, № 7 (это — второе донесение за то же число).

[14] Там же, д. 84, № 115. Darmstadt, le 28 juillet (9 août) 1854. Brunnow — Nesselrode.

[15] Там же, д. 161, № 24. Vienne, le 8/20 juillet 1854.

[16] The Greville memoirs, vol. VII. London, 1938, стр. 58. «Aberdeen as hot as anyone». Это лучшее новейшее издание знаменитых дневников, наиболее полное и критическое.

[17] АВПР, ф. К., д. 161. Vienne, le 6/18 juin 1854.

[18] Там же.

[19] Там же, le 14/26 juillet 1854.

[20] Там же. В конце донесения от 14/26 июля 1854 г.

[21] Там же, д. 161, № 48, le 22 juillet (3 août) 1854. Gortchakoff — Nesselrode.

[22] Там же, № 53. Vienne, le 22 juillet (3 août) 1854.

[23] Там же, № 3, Berlin, 2/14 août 1854 (копия резолюции царя).

[24] Там же, № 54. Vienne, le 24 juillet (5 août) 1854.

[25] Там же, д. 162, № 72. Vienne, le 2/14 août 1854. Très secret.

[26] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, д. 2214, л. 147 об.— 148. Из письма Николая I — Горчакову М. от 19/31 августа 1854 г.

[27] ЦГАДА, разр. III, д. 43, л. 1—6. Copie d'une dépêche au prince Gortchakoff à Vienne. En date de St. Pétersbourg, le 14 août 1854.

[28] АВПР, ф. К., д. 162, № 87. Vienne, le 19/31 août 1854.

[29] ... l'empereur François Joseph devrait avoir rudement traité Buol, car il est tout décontenancé... Там же, № 89. Vienne, le 21 août (2 septembre) 1854.

[30] Там же, Vienne, le 22 août (3 septembre) 1854.

[31] Там же, № 92. Vienne, le 24 août (5 septembre) 1854.

[32] Там же.

[33] Там же, № 95. Vienne, le 25 août (6 septembre) 1854.

[34] Jusqu'ici je ne vois d'un côté que des paroles, de l'autre des démonstrations militaires, des engagements écrits avec nos adversaires, la détention d'un gage longtemps convoité. АВПР, ф. К., д. 162, № 95. Vienne, le 25 août (6 septembre) 1854. Надпись Николая I сверху: «Faites dire à Gortchakoff que j'approuve complètement son télégramme».

[35] Там же, № 101. Vienne, le 2/14 septembre 1854.

[36] ЦГАДА, разр. III, д. 171, л. 196—197. Charlottenburg, le 18 août 1854.

[37] Там же, разр. III, д. 108, Lettres de Brunnow; Brunnow — Nesselrode. Darmstadt, le 30 août (11 septembre) 1854.

[38] АВПР, ф. К., д. 84, № 135. Darmstadt, le 1/13 septembre 1854.

[39] Там же, д. 162, № 101. Vienne, le 2/14 septembre 1854.

[40] Там же, № 131. Vienne, le 25 septembre (7 octobre) 1854. Gortchakoff — Nesselrode.

[41] Там же.

[42] ЦГАДА, разр. III, д. 140, л. 186. Горчаков — Нессельроде. Vienne, le 27 octobre (8 novembre) 1854.

[43] АВПР, ф. К., д. 162, № 177. Vienne, le 26 octobre (7 novembre) 1854. Très reservée. Gortchakoff — Nesselrode.

[44] Hübner. *Neuf ans de souvenirs*, t. I. Paris, 1904, стр. 273.

[45] Там же, стр. 280.

[46] ЦГАДА, ф. 11 — Госархив, разр. XI, д. 1260, л. 21—21 об. Annexe ad № 210. Extrait d'une lettre de Constantinople, en date du 14 novembre 1854.

[47] Там же, д. 1266, лл. 5—6. Copie d'une dépêche du comte Chreptowitch en date de Bruxelles, le 8/20 novembre 1854.

[48] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, д. 2214, л. 193—194.

[49] Там же, л. 192 об. Гатчино (sic!), 8 ноября 1854 г.

[50] АВПР, ф. К., д. 162. Vienne, le 5/17 novembre 1854. Dépêche secrète.

[51] Hübner. Цит. соч., т. I, стр. 279 (запись: «Mardi 21»).

[52] Этот *Immediat Bericht* Эдвина Мантейфеля хранится в «Домашнем архиве» Гогенцоллернов и цитирован впервые в кн.: Eckhart F. Цит. соч., стр. 78.

[53] Le parti ministériel qui représente d'une manière assez prononcée celui libéral en Autriche et que soutiennent la haute finance, les notabilités industrielles, les jésuites et les ultramontains, se range du côté des puissances occidentales. ЦГАДА, ф. 3 — Госархив, разр. III, д. 140, л. 209—211, le 30 novembre 1854.

[54] АВПР, ф. К., д. 163, № 201. Vienne, le 10/22 novembre 1854.

[55] Там же, № 202. Vienne, le 11/23 novembre 1854.

[56] Там же, № 191. Vienne, le 4/16 novembre 1854.

[57] Hübner. Цит. соч., т. I, стр. 281.

[58] Там же, стр. 282.

[59] ЦГАДА, ф. 3 — Госархив, разр. III, д. 140, л. 209—211, le 30 novembre 1854.

[60] АВПР, ф. К., д. 163, № 212. Vienne, le 19 novembre (1 décembre) 1854.

[61] Hübner. Цит. соч., т. I, стр. 284.

[62] Там же, стр. 285. Русские документы молчат об этом, но австрийский посол в Париже обладал совсем исключительной осведомленностью.

[63] АВПР, ф. К., д. 163, № 217. Vienne, le 20 novembre (2 décembre) 1854. Gortchakoff — Nesselrode.

[64] «... ganz aus freien Stücken abschloss...». Eckhart F. Цит. соч., стр. 132.

[65] Borries K. *Preussen im Krimkrieg*. Stuttgart, 1930.

[66] Там же, стр. 186.

Глава XI

[1] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, д. 2214, л. 224—224 об.

[2] ЦГВИА, ф. ВУА, № 5451.

[3] ЦГИАМ, ф. 722, д. 213, л. 140 об. Описание канонады и штурма г. Евпатории 5 февраля 1855 г. (подписал: генерал-лейтенант Хрулев).

[4] В документе всюду вместо «батарея» и «батальон» сокращения «бат.».

[5] ЦГИАМ, ф. 722, д. 213, л. 116—126 об. Бумага за № 79, 9 февраля 1855 г. На бивуаках при ауле Тюк-Мамай Таврической губ. Евпаторийского у. (подписал: Волков).

[6] *Записки доктора А. Генрици.— Русская старина*, 1877, ноябрь, стр. 456.

[7] Архив Севастопольского музея обороны,№ 5154, VII.Николай I— Меншикову, 9 февраля 1855 г.

[8] Библиотека им. В. И. Ленина, Рукописн. отд., ф. 169, Д. А. Милютина, п. 8, № 30, л. 211 об.—212 об., 213 об.—214.

[9] Там же.

[10] ЦГВИА, ф. В У А, № 5482, л. 200—217. St. Pétersbourg, le 16/28 février 1855. Долгоруков — Меншикову.

[11] Архив Севастопольского музея обороны, № 5159, VII. Александр Николаевич — Меншикову, 15 февраля 1855 г. Проект письма.

[12] Все четыре рукописные записки в ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, ед. хр. 2214. (При проверке для данного изд. в архиве была обнаружена лишь одна записка от 1 февраля 1855 г.—*Ред.*).

[13] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, д. 2214, л. 224—225. Собственноручная записка его императорского величества от 30 декабря 1854 г.

[14] Там же. Собственноручная записка его императорского величества от 1 февраля 1855 г.

[15] Там же. Подчеркнуто мною (*Е. Т.*).

[16] Тютчева А. Ф. *При дворе двух императоров*. Воспоминания. Дневник. [М.], 1928, стр. 167—168.

[17] *Русская старина*, 1896, июнь, стр. 625. Показания Инсарского, бывшего в курсе событий, подтверждаются в полной мере и другими свидетельствами.

[18] Шелгунов Н. *Воспоминания*. М.— Пг., 1923, стр. 26.

[19] Там же, стр. 66—67.

[20] Пеликан А. В. *Перемена царствования*.— *Голос минувшего*, 1914, № 2, стр. 120—121.

[21] Фредерикс М. П. *Из воспоминаний*.— *Исторический вестник*, 1898, февраль, стр. 477—478.

[22] Там же, стр. 480.

[23] *Воспоминания В. И. Панаева*.— *Русская старина*, 1892, декабрь, стр. 491—496.

[24] Штакеншнейдер Е. А. *Из воспоминаний*.— *Русский вестник*, 1899, № 10, стр. 552.

[25] Poggenpohl N. *L'empereur Nicolas I*. Bruxelles, [1855], стр. 9. «...Non, il ne le pouvait pas,il ne le devait pas, il ne l'a pas fait. Il a préféré se retirer... Vivant, il eût été mort, il s'est survécu...».

Глава XII

[1] Clarendon to Cowley, 15 december 1854. Приложение к кн.: Puryear V. J. *England, Russia and the Straits questions*. Berkeley, 1931, стр. 447.

[2] АВПР, ф. К., д. 163, № 225. Горчаков — Нессельроде. Vienne, le 25 novembre (7 décembre) 1854.

[3] Там же, № 241. Gortchakoff—Nesselrode. Vienne le 4/16 décembre 1854.

[4] Там же, № 262. Gortchakoff — Nesselrode. Vienne, le 17/29 décembre 1854.

[5] Там же, № 267. Vienne, le 18/30 décembre 1854. Secrète.

[6] Там же, д. 220, № 289. Горчаков — Нессельроде. Vienne, le 27 décembre 1854 (8 janvier 1855).

[7] Там же. Горчаков — Нессельроде. Vienne, le 12 janvier 1855.

[8] Там же, д. 163, № 276. Vienne, le 21 décembre 1854 (2 janvier 1855).

[9] Там же, д. 220, № 31. Vienne, le 21 janvier (2 février) 1855. Gortchakoff — Nesselrode.

[10] Там же. Copie d'une dépêche télégraphique en chiffres du prince Gortchakoff. Vienne, le 23 janvier 1855.

[11] Там же, № 25. Vienne, le 14/26 janvier 1855. Шифрованная телеграмма Горчакова — Нессельроде.

[12] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, д. 2429, л. 76—77. Из дневника Коцебу. Известия из Парижа.

[13] W u r m C. F. *Vier Briefe über die freie Donau-Schiffahrt*. Leipzig, 1855.

[14] АВПР, ф. К., д. 222, № 158. Nesselrode — Gortchakoff, le 29 mars 1855.

Глава XIII

[1] ЦГИАМ, ф. 722, д. 214, л. 106—106 об. Соображения по некоторым новым предположениям на случай войны с Австрией. 3 марта 1855 г.

[2] Т о т л е б е н Э. И. Цит. соч., ч. I, стр. 596.

[3] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, д. 1913а, л. 41—48. Северная сторона Севастополя. 18 января 1855 г. Письма Михаила Николаевича к августейшим родителям.

[4] Там же.

[5] Там же, л. 62—64. Северная сторона Севастополя, 20 февраля 1855 г.

[6] ЦГИАМ, ф. 722, д. 213, л. 12—13 об.

[7] Т о т л е б е н Э. И. Цит. соч., ч. II, отд. I, стр. 23—26.

[8] Там же, стр. 42.

[9] ЦГИАМ, ф. 722, д. 213, л. 134—136 об. Извлечение из письма из Севастополя. Севастополь, 26 апреля 1855 г. Не подписано. По разным признакам поступило в архив из Главного штаба.

[10] R o t h a n G. *Souvenirs diplomatiques. La Prusse et son roi pendant la guerre de Crimée*. Paris, 1888, стр. 172—173.

[11] Э в а л ь д А. В. *Рассказы о Николае I.— Исторический вестник*, 1896, № 8, стр. 348.

[12] ЦГВИА, ф. В У А, № 5757, 25 марта 1855 г. Семякин—Меншикову. Семякин неточно называет Камчатский люнет «редутом».

[13] Архив Севастопольского музея обороны, № 5080. Письма П. С. Нахимова, 24 марта 1855 г., Севастополь.

[14] B a z a n c o u r t. Цит. соч., т. II, стр. 318.

[15] Там же, стр. 321—322.

[16] *Сборник рукописей... о Севастопольской обороне*, т. III, стр. 380.

[17] Т о т л е б е н Э. И. Цит. соч., ч. II, отд. I, стр. 295.

[18] Там же, стр. 298.

[19] Архив Севастопольского музея обороны, № 5141, VII. Бумаги Тимирязевых. Из журнала, веденного Тимирязевым на Камчатском люнете с 27 марта по 26 мая.

[20] Там же, № 5078, VII. Нахимов—А. М.Тимирязеву, 1 июня 1855 г. (Севастополь). Подлинник.

[21] Там же, № 5120, IV. Черновые заметки Ухтомского. Ухтомский пишет неправильно «Жабокрицкий» вместо «Жабокритский».

[22] Гос. архив Одесской области, 1138, архив № 23, Зеленого. *Заметки Милошевича о Крымской кампании*. Писано рукой неизвестного. Рукопись на л. 18—46. Приложения: л. 46—48. Цитируемое место на л. 28—29.

[23] Т о т л е б е н Э. И. Цит. соч., ч. II, отд. I, стр. 308—309.

[24] ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова, д. 35, оп. 6. Записки полковника Циммермана.

[25] Ш и л ь д е р Н. К. Цит. соч., т. I, стр. 426—427. Приложения.

[26] Это письмо появилось в полном виде впервые в *Русской старине* в 1883 г., ноябрь, стр. 369—380, т. е. спустя почти 30 лет после событий, которыми оно было вызвано.

[27] Д у х о н и н Л. *Под Севастополем в 1853—1856 гг.* Записки и дневник бывшего начальника артиллерийских парков Южной и Крымской армий генерал-майора Духонина.— *Русская старина*, 1885, сентябрь, стр. 446—447. Запись под 13 апреля.

[28] М. Д. Горчаков — Александру II. Северная сторона Севастополя, 30 апреля 1855 г.— *Русская старина*, 1883, июль, стр. 195.

[29] ЦГИАМ, ф. 722, д. 213, л. 203—203 об. Копия с отношения г. генерал-адъютанта князя Горчакова г.военному министру от 17 мая 1855 г., № 1357.

[30] Там же, л. 130. Извлечение из письма из Севастополя. Севастополь, 26 апреля 1855 г.

Глава XIV

[1] Bapst G. Цит. соч., т. II, стр. 496.

[2] Там же, стр. 480.

[3] Perret S. *Récits de Crimée. 1854—1856*. Paris, s. a., стр. 330.

[4] Kinglake A. W. *The invasion of the Crimea*, т. VIII. London, 1887, стр. 136.

[5] Delorme A. *Lettres d'un zouave*. Bivouac de la Tchernaïa, le 20 juin 1855. Paris, 1896, стр. 253—254.

[6] Kinglake A. W. Цит. соч., т. VIII, стр. 142—143.

[7] Sterling A. *The story of the Highland brigade in the Crimea*. Camp. battery, № 4. Balaclava, 13 june 1854. London, 1895, стр. 271.

[8] Тотлебен Э. И. Цит. соч., ч. II, отд. I, стр. 323—324.

[9] Там же, стр. 325.

[10] Noir L. *Souvenirs d'un simple zouave*. Paris, 1856, стр. 297.

[11] Богданович М. *Восточная война*, т. III. СПб., 1877, стр. 359.

[12] Тотлебен Э. И. Цит. соч., ч. II, отд. I, стр. 355.

[13] ЦГИАМ, ф. 722, д. 207, л. 276—291 об. Журнал военных действий в Крыму с 4 по 15 число июня 1855 г.

[14] Там же, л. 276—276 об.

[15] *Сборник рукописей... о Севастопольской обороне*, т. III, стр. 165. Из писем К. Р. Семякина.

[16] Robinson F. *Diary of the Crimean war*. London, 1856, стр. 342.

[17] The ammunition of the foe again began to run short and the infantry soldiers who had replaced the trained seamen gunners, most of whom had been killed, were of course far less efficient than those whom they succeeded. Wood E. *The Crimea in 1854*. London, 1895, стр. 290.

[18] Wickenden W. *Adventures before Sebastopol*. London, 1855, стр. 168.

[19] Robinson F. Цит. соч., стр. 342—343.

[20] Тотлебен Э. И. Цит. соч., ч. II, отд. I, стр. 339.

[21] Духопин Л. *Под Севастополем в 1853—1856 гг.— Русская старина*, 1885, октябрь, стр. 90.

[22] *Письма капитан-лейтенанта П. И. Лесли.— Сборник рукописей... о Севастопольской обороне*, т. II. СПб., 1872, стр. 376—380.

[23] Там же, стр. 387—388.

[24] *Военный журнал*, 1856, т. I, стр. 161.

[25] Noir L. Цит. соч., стр. 332.

[26] *Сборник известий...*, кн. 32, стр. 466.

[27] Там же, стр. 467—468.

[28] Ершов А. И. *Севастопольские воспоминания*. СПб., 1858, стр. 207—209.

[29] Тотлебен Э. И. Цит. соч., ч. II, отд. I, стр. 342.

[30] Там же, стр. 344—345.

[31] Там же, стр. 345.

[32] *Военный сборник*, 1905, № 8, стр. 52.

[33] Perret E. Цит. соч., стр. 336.

[34] Fay Ch. *Souvenirs de la guerre de Crimée*. Paris, 1867, стр. 192.

[35] Thoumas, général. *Mes souvenirs de Crimée*. Paris, 1892, стр. 204.

[36] Архив Севастопольского музея обороны. Бумаги Pacra, le 19 juin.

[37] Thoumas, général. Цит. соч., стр. 205.

[38] *The Crimean diary and letters of lieut. general Sir Charles Ash Windham.* London, 1897, стр. 152.

[39] *Letters from the army in the Crimea, by a staff-officer who was there.* London, s. a., стр. 352.

[40] Там же, стр. 354.

[41] Kinglake A. W. Цит. соч., т. VIII, стр. 161—162.

[42] Там же: «he could not loyally hesitate to interpose in the action».

[43] *Сборник известий...*, кн. 32, стр. 485.

[44] Lysons D., general. *The Crimean war.* London, s. a., стр. 195. To his mother. Camp before Sebastopol, 21 june 1855.

[45] Там же, стр. 192—194.

[46] Wood E. Цит. соч., стр. 339.

[47] Эти цифры дает также E. Perret. Цит. соч., стр. 340.

[48] Милошевич Н. С. *Из записок севастопольца.* СПб., 1904, стр. 51.

[49] *Воспоминания Георгия Чаплинского.— Сборник рукописей... о Севастопольской обороне*, т. II, стр. 146.

[50] *Записки князя В. И. Васильчикова.— Русский архив*, 1891, № 6, стр. 234—235.

[51] *Сборник известий...*, кн. 32, стр. 469. Датировано: Севастополь, 6 июня 1855 г.

[52] Степанов М. *Севастопольские записки.— Военный сборник*, 1905, № 8, стр. 54.

[53] *Сборник известий...*, кн. 32, стр. 474.

[54] Campbell C. F. *Letters from camp.* London, 1894, стр. 258. To his brother John Campbell, 25 june 1855.

[55] Cavendish-Taylor G. *Journal of adventures with the British army*, vol. II. London, 1856, стр. 83.

[56] Lysons D. Цит. соч., стр. 197. To his sister, 29 june 1855.

[57] Там же, стр. 199. To his mother, 3 july 1855.

[58] *Letters from the army in the Crimea... by a staff-officer who was there*, стр. 360—361. Camp before Sebastopol, 29 june 1855.

[59] Thoumas, général. Цит. соч., стр. 210.

[60] *Сборник рукописей... о Севастопольской обороне*, т. II, стр. 388. Письма Петра Ивановича Лесли.

[61] Там же, стр. 391—392.

[62] ЦГАЛИ, ф. 1337, оп. 1, ед. хр. 167. Записки Д. А. Оболенского (запись 26 июня 1855 г.).

[63] АВПР, ф. К., д. 224. Vienne, 1855. Gortchakoff — Nesselrode, le 24 juin (6 juillet) 1855, № 287.

[64] *Notes et correspondances de campagne du général de Wimpffen*, publiées par H. Galli. Paris, 1892, стр. 82.

[65] Fay Ch. Цит. соч., стр. 229.

[66] *Letters from the army in the Crimea by a staff-officer who was there*, стр. 338. For private circulation only.

Глава XV

[1] *Сборник рукописей... о Севастопольской обороне*, т. III, стр. 388.

[2] *Адмирал П. С. Нахимов.* СПб., 1872, стр. 26. Изд. Севастопольского отдела на Политехнической выставке.

[3] *Сборник известий...*, кн. 27. Приложения, стр. 88.

[4] Горчаков — Александру II. Лагерь при Инкермане, 7/19 июня 1855 г.— *Русская старина*, 1883, июль, стр. 199.

[5] Библиотека им. В. И. Ленина, Рукописн. отд. ф. 169, Д. А. Милютина, п. 8, № 32, л. 287 об.—288.

[6] Богданович М. *Восточная война*, т. III, стр. 413. Генерал-лейтенант Модест Богданович построил все свое изложение обстоятельств гибели Нахимова на собранных им показаниях очевидцев, с которыми он лично беседовал. Он дополняет рассказ Белавенца.

[7] Гос. архив Одесской области, 1138, архив № 23, Зеленого. *Заметки Милошевича о Крымской кампании*. Рукопись на л. 18—46.

[8] Алабин П. *Походные записки*, ч. II. Вятка, 1861, стр. 284; Богданович М. *Восточная война*, т. III, стр. 407—408 и сл. Генерал Богданович лично слышал обо всем, что случилось в роковой день, от капитана 1-го ранга Керна.

[9] *Кронштадтский вестник*, 1868, № 17.

[10] Извлечение из письма Крестовоздвиженской общины сестры Г. Б.— *Морской сборник*, 1855, № 9, стр. 72—73.

[11] Там же, стр. 73—74.

[12] ЦГИАМ, ф. 722, д. 201, л. 6—7 об. Выписка из письма с подписью «твой муж» из Севастополя от 29 июня 1855 г. к Юлии Григорьевне Чебышевой в Сухиничи.

[13] Шильдер Н. К. Цит. соч., т. I, стр. 78. Приложения.

[14] Берг Н. *Записки об осаде Севастополя*, т. I. М., 1858, стр. 223—224.

Глава XVI

[1] Correspondence between the Admiralty and rear-admiral R. S. Dundas.— *Russian War. 1855. Black sea.* Official correspondence. London, 1945, стр. 5. (Publications of the Navy Record Society, vol. 84).

[2] Там же, стр. 51, № 123. Дондас — секретарю адмиралтейства, 28 мая 1855 г.; № 131. Дондас — секретарю адмиралтейства, 3 июня 1855 г.

[3] ЦГАДА, ф. 30, разр. XXX, д. 165, л. 2—3. Секретно. Кронштадт, ноября 21 дня, 1855 г. Его сиятельству князю В. А. Долгорукову.

[4] Архив ЛОИИ, ф. 187, оп. 1, № 87, л. 350. 29 января 1855 г.

[5] Там же, л. 359. 3 февраля 1855 г. Литке — Якоби.

[6] Там же.

[7] Correspondence between the Admiralty and rear-admiral R. S. Dundas. Дондас — секретарю адмиралтейства. На борту «Герцог Веллингтон», перед Свеаборгом, 13 августа 1855 г. *Russian War. 1855*. № 367, стр. 185. (Publications of the Navy Record Society, vol. 84).

[8] *Dictionary of national biography*, vol. 16. London, 1888, стр. 193.

[9] ЦГИАМ, ф 728, оп. 1, д. 2450, л. 7. Общая ведомость войск при Балтийском море.

[10] Там же, ф. 722, д. 203, л. 32—32 об. Материалы... относящиеся к разработке мероприятий по укреплению Балтийских берегов. Секретно. Соображения относительно обороны берегов Балтийского моря. 29 сентября 1854 г.

[11] Сэр Ричард Саундерс Дондас, вице-адмирал. Не смешивать его с его родственником адмиралом сэром Джемсом Уитли Динсом Дондасом, главнокомандующим британским флотом на Черном море в 1854 г.

[12] Correspondence between the Admiralty and rear-admiral R. S. Dundas. Дондас — секретарю адмиралтейства. На борту «Герцог Веллингтон», перед Свеаборгом,13 августа 1855 г.—*Russian War. 1855*, цит. изд., стр. 184.

[13] Дондас — секретарю адмиралтейства. На борту «Герцог Веллингтон», перед Свеаборгом, 13 августа 1855 г. Там же, стр. 184—185, № 367.

[14] Там же. На борту «Герцог Веллингтон». Нарген, 13 мая 1855 г., стр. 45, № 85.

[15] Дондас — секретарю адмиралтейства. На борту «Герцог Веллингтон», перед Свеаборгом, 13 августа 1855 г. — Там же, № 367, стр. 188.

[16] ЦГИАМ, ф. 722, д. 213, л. 234 об. Копия с отношения командующего войсками в Финляндии к военному министру от 4/16 августа 1855 г., № 1342.

[17] Там же, л. 237 об.

[18] Там же, л. 240 об.

[19] ЦГИАМ, III О., 1 эксп. № 397, ч. 5, 1854, л. 2—2 об.

[20] Correspondence between the Admiralty and rear-admiral R. S. Dundas. № 403. «Герцог Веллингтон», Наргeн, 21 августа. *Russian War. 1855*, стр. 215.

[21] Дондас—секретарю адмиралтейства. «Герцог Веллингтон», Нарген, 27 августа 1855 г. Там же, стр. 243, № 421.

Глава XVII

[1] Александр II — Горчакову. Петергоф, 6 июня 1855 г.— *Русская старина*, 1883, июль, стр. 207.

[2] Александр II — Горчакову. Петергоф, 13 июня 1855 г.— Там же, стр. 208.

[3] Горчаков — Александру II. Инкерман, 14/26 июля 1855 г.— Там же, стр. 210.

[4] Александр II — Горчакову. Петергоф, 20 июля 1855 г.— Там же, стр. 211—212.

[5] Остен-Сакен Д. *Военный совет при обороне Севастополя.— Русская старина*, 1874, октябрь, стр. 331.

[6] Севастополь. Весьма тайное.— Там же, стр. 332—333.

[7] Там же, стр. 338. «J'admire votre abnegation, je voulais dire la même chose, mais le courage manquait».

[8] Богданович М. *Восточная война*, т. IV, стр. 1—20. Приложения.

[9] *Из воспоминаний А. Н. Супонева.— Русский архив*, 1895, № 10, стр. 261.

[10] «...une masse fabuleuse de projectiles» (письмо, конечно, на французском языке).

[11] *Из воспоминаний А. Н. Супонева.— Русский архив*, 1895, № 10, стр. 262.

[12] Горчаков М. Д. *Сражение при Черной.— Русская старина*, 1876, май, стр. 167—168.

[13] *Из личных воспоминаний о Крымской войне.— Русский архив*, 1874, № 4, стр. 1363—1364.

[14] Bazancourt. Цит. соч., т. II, стр. 388.

[15] *Из личных воспоминаний о Крымской войне.— Русский архив*, 1874, № 4, стр. 1363.

[16] Там же, стр. 1365.

[17] *Смерть барона Павла Вревского.— Русская старина*, 1876, январь, стр. 221—222.

[18] *Заметки артиллериста.— Русская старина*, 1875, ноябрь, стр. 552—553.

[19] ГПБ, Рукописн. отд., архив С. П. Боткина. Письмо князя Д. А. Оболенского к его тестю графу С. П. Сумарокову. Это письмо случайно попало в архив Боткина, бывшего (через жену) в родстве с Сумароковым.

[20] Это письмо фельдмаршала долго ходило в рукописных списках. Впервые оно появилось в *Русской старине* в 1872 г., октябрь, стр. 427—435, а второй раз, в наиболее полном виде, в том же журнале, в 1883 г., ноябрь, стр. 369—380.

[21] *Русский архив*, 1874, № 4, стр. 1368.

Глава XVIII

[1] Александр II — Горчакову. Царское село, 28 августа 1855 г.— *Русская старина*, 1883, июль, стр. 214.

[2] Тютчева А. Ф. Цит. соч., ч. II, стр. 43.

[3] Константинов О. *Штурм Малахова кургана.— Русская старина*, 1875, ноябрь, стр. 569.

[4] Там же, стр. 573.

[5] Там же, стр. 573—574.

[6] Духонин Л. *Под Севастополем в 1853—1856 гг.— Русская старина*, 1885, ноябрь, стр. 599.

[7] Константинов О. *Штурм Малахова кургана.— Русская старина*, 1875, ноябрь, стр. 576.

[8] Там же.

[9] Берг Н. Цит. соч., т. II, стр. 33 (подчеркнуто в подлиннике).

[10] Там же, стр. 29.

[11] Bazancourt. Цит. соч., т. II, стр. 415.

[12] Константинов О. *Штурм Малахова кургана.— Русская старина*, 1875, ноябрь, стр. 580. Две смены Люблинского полка по 130 чел. в смене.

[13] Берг Н. Цит. соч., т. II, стр. 67.

[14] Вязмитинов А. А. *Севастополь от 21 марта по 28 августа 1855 г.— Русская старина*, 1882, апрель, стр. 54—55.

[15] Там же, стр. 56.

[16] ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова, д. 35, оп. 6. Записки полковника Циммермана.

[17] Там же.

[18] Пирогов Н. И. *Севастопольские письма и воспоминания*. М.— Л., 1950, стр. 151—152.

[19] Там же, стр. 152.

[20] Берг Н. Цит. соч., т. II, стр. 53.

[21] *Из воспоминаний А. Н. Супонева.— Русский архив*, 1895, № 10, стр. 267—268.

[22] Устный рассказ севастопольца, передаваемый Модестом Богдановичем (*Восточная война*, т. IV, стр. 129).

[23] *Воспоминания Д. В. Ильинского.— Русский архив*, 1893, № 4, стр. 334.

[24] *Кто последний оставил Севастополь.— Русская старина*, 1875, май, стр. 140—142.

[25] *Воспоминания Д. В. Ильинского.— Русский архив*, 1893, № 4, стр. 334.

[26] Вязмитинов А. А. *Севастополь от 21 марта по 28 августа 1855 г.— Русская старина*, 1882, апрель, стр. 61.

[27] Там же, стр. 62.

[28] Горчаков — Александру II. Северная сторона Севастополя. 28 августа 1853 г.— *Русская старина*, 1883, июль, стр. 216.

[29] Ермолов А. П. Письма к князю В. О. Бебутову. Письмо от 19 сентября 1855 г.— *Русская старина*, 1872, март, стр. 452.

[30] Александр II — Горчакову. Москва, 3 сентября 1855 г.— *Русская старина*, 1883, июль, стр. 220.

[31] Хрущов А. П. Цит. соч., стр. 154.

[32] *Т. Н. Грановский и его переписка*, т. I. М., 1897, стр. 270.

[33] Библиотека им. В. И. Ленина, Рукопис. отд., ф. 169, Д. А. Милютина п. 8, № 30, л. 219 об.

[34] ЦГИАМ, III О., 1 эксп. № 403, 1854 г., л. 24—25 об.

[35] Александр II — князю М. Д. Горчакову. Николаев, 16 октября 1855 г.— *Русская старина*, 1883, август, стр. 325.

[36] Там же, стр. 326. Всеподданнейшее письмо от 18 октября 1855 г.

[37] *Всеподданнейшая записка князя Варшавского.* Впервые напечатана там же, стр. 311—314.

[38] Там же, стр. 324. *Последнее всеподданнейшее письмо князя Варшавского.* Варшава, 14/26 октября 1855 г.

[39] *Times*, 1855, 1 november, стр. 8.

[40] ЦГИАМ, ф. 728, оп. 1, д. 2449, л. 1 об.

Глава XIX

[1] ГАФКЭ, ф. 1 с, д. 2271, т. 23. Собственноручная его императорского величества записка от 10 января 1855 г. (по кн. Е. В. Тарле изд. 1943 г.—*Ред.*).

[2] *Государь Николай Павлович.* Из автобиографических рассказов бывшего кавказского офицера.— *Русский архив*, 1881, кн. II, стр. 242.

[3] ЦГИАМ, ф. 722, д. 213, л. 34—39. Копия с рапорта г. казацкому атаману Донского казачьего войска от 6 марта 1855 г. за № 221.

[4] Отметим небольшое, специальное, очень насыщенное фактами и основанное на существенно важных данных из местных архивов исследование краснодарца М. Покровского. *Военные действия у Новороссийска и на Таманском полуострове во время Крымской войны 1853—1855 гг.*— Кубань, лит.-худ. альманах (Краснодар), 1949, № 7, стр. 144—169.

[5] Этой цифре официального донесения верит генерал Богданович (*Восточная война*, т. II, стр. 158). По английским частным данным, турок было 22 000.

[6] *Записки Павла Дм. Рудакова.— Русская старина*, 1883, декабрь, стр. 536—537. Некоторые авторы пишут: «Зариф-паша». Турки его именуют: Мустафа-Зориф-паша.

[7] *Russian War, 1855. Black sea.* Official Correspondence. London, 1945. (Publications of the Navy Record Society, vol. 85).

[8] Там же, стр. 219. Inclosure 3 in № 119. Simmons to Lyons. July 12, 1855.

[9] Муравьев Н. Н. Война за Кавказом в 1855 г., т. I. СПб., 1877, стр. 5.

[10] ЦГАДА, ф. 3 — Госархив, разр. III, д. 157, л. 22—23 (без заглавия, начальная строка: «Les nouvelles d'Asie sont inquietantes»).

[11] Замечу, что эту же поговорку, но с большой горечью применяет к толкам о неудаче 17 сентября сам Н. Н. Муравьев в своей книге.

[12] Щербинин М. П. *Кн. М. С. Воронцов и Н. Н. Муравьев.— Русская старина*, 1874, сентябрь, стр. 113.

[13] Муравьев Н. Н. Цит. соч., т. I, стр. 210.

[14] Блокада и штурм Карса по неизданным запискам Я. П. Бакланова и рассказам прочих участников в событии.— *Русская старина*, 1870, декабрь, стр. 588—589.

[15] Сам Муравьев дает дату 16/28 сентября. Там же, стр. 590—591.

[16] Там же, стр. 596—597. Тут же отмечу, что генерал Богданович в своем большом труде решительно ошибается, говоря: «Неприятели вовсе не ожидали штурма» (*Восточная война*, т. IV, стр. 321). А между тем, когда он писал свою книгу, *Записки* Бакланова уже были изданы.

[17] Муравьев Н. Н. Цит. соч., т. II, стр. 94.

[18] Там же, стр. 118—119.

[19] Там же, стр. 184—185.

[20] *Русский архив*, 1894, № 10, стр. 288.

[21] АВПР, ф. К., д. 152, л. 222. Выписка из письма генерал-адъютанта Муравьева к военному министру от 8 февраля 1856 г., № 8, из Тифлиса.

[22] Муравьев Н. Н. Цит. соч., т. I, стр. 293.

[23] Ср. цитированную выше статью новейшего исследователя М. Покровского. *Военные действия у Новороссийска и на Таманском полу-*

острове во время Крымской войны 1853—1855 гг., стр. 146—148. Покровский использовал ценнейшие данные, найденные им в архиве Управления Черноморской береговой линии.

[24] Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, 2 изд., т. 9, стр. 422. Об этой статье Маркса упоминает и Покровский, говоря о Белле. Но едва ли король Вильгельм IV лично тут побудил Белля действовать: дело шло, вернее всего, через Пальмерстона, который очень ревниво не допускал короля к подобным вмешательствам.

Глава XX

[1] ЦГИАМ, ф. 573, д. 1540, л. 2. «Из писем П. К. Мейендорфа», le 3/15 janvier 1856.

[2] Намек на известную эпиграмму Пушкина о М. С. Воронцове («...полуподлец, но есть надежда, что будет полным наконец»).

[3] ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, № 14 л. 119. Архив Аксаковых Сергей Аксаков — Ивану Аксакову. 26 января 1856 г.

[4] Тютчева А. Ф. Цит. соч., т. II, стр. 98—99 (запись 11 января 1856 г.).

[5] Там же, стр. 105.

[6] ИРЛИ, ф. 3. Архив Аксаковых, оп. 12, № 27, л. 84 об. Письмо И. С. Аксакова к родителям, с датой 25 января 1856 г., Бендеры.

[7] АВПР, ф. К., д. «Письма барона Ф. Бруннова к К. В. Нессельроде». Paris, le 8/20 mars 1856.

[8] Там же.

[9] Там же, д. 72. Alexandre II— Napoléon III, janvier 1856. На копии: «Projet d'une lettre non parvenue». Заголовок оригинала: «Projet d'une lettre à l'empereur Napoléon».

[10] Там же, д. 152. Nesselrode — Orloff, le 30 janvier 1856. Помета Александра II: «Быть по сему».

[11] Там же, Notice particulière Nesselrode — Orloff, le 30 janvier 1856.

[12] Там же. Mer Noire. Приложение к инструкции Нессельроде, 30 января 1856 г.

[13] Там же, д. 152. Nesselrode— Orloff, le 30 janvier 1856. Помета Александра II сверху: «Быть по сему».

[14] Там же, Nesselrode — Orloff, le 17/28 février 1856.

[15] *Рассказы А. М. Горчакова.— Русская старина*, 1883, октябрь, стр. 168.

[16] АВПР, ф. К., д. 147, № 1. Brunnow —Nesselrode. Paris, le 7/19 févier 1856.

[17] Там же. Brunnow — Nesselrode. «Je n'y compte nullement».

[18] Там же, д. 150, № 368. Brunnow — Gortchakoff. Paris, le 6/18 octobre 1856.

[19] Там же, д. 147, № 4. Brunnow — Nesselrode. Paris, le 7/19 février 1856.

[20] Там же, № 5. Brunnow — Nesselrode. Paris, le 7/19 février 1856.

[21] Там же.

[22] Там же, № 6.

[23] Там же, № 10. Orloff — Nesselrode. Paris, le 10/22 février 1856. Телеграфная депеша.

[24] Там же, № 11. Orloff — Nesselrode. Paris, le 12/24 février 1856.

[25] Там же, № 18. Orloff — Nesselrode. Paris, le 19 février (2 mars) 1856.

[26] ЦГАДА, ф. 15 — Госархив, разр. XV, д. 325, л. 271—276. Письмо Орлова — императору. Projet d'une lettre à S. M. l'Empereur à St. Pétersbourg.

[27] Там же, л. 275 об. Письмо Орлова императору. Projet d'une lettre à S. M. l'Empereur à St. Pétersbourg.

[28] АВПР, ф. К., д. 152. Nesselrode — Orloff, le 9/21 février 1856. Помета Александра II сверху: «Быть по сему».

[29] Там же, д. 147, № 31. Paris, le 28 février (11 mars) 1856. Орлов — Нессельроде.

[30] Там же.

[31] Там же, № 12. Copie d'une dépêche télégraphique secrète du comte Orloff le 13/25 février 1856. Extrait du protocole. Paris, le 13/25 février 1856.

[32] Там же, № 19. Орлов — Нессельроде. Paris, le 19 février (2 mars) 1856.

[33] Там же, № 21. Orloff — Nesselrode, le 19 février (2 mars) 1856.

[34] Там же. Бруннов — Валевскому. Без даты.

[35] Там же, № 22. Orloff — Nesselrode. Paris, le 19 février (2 mars) 1856.

[36] Там же, папка: «Письма барона Ф. Бруннова».

[37] Paris, le 19 février (2 mars) 1856. «Ainsi rien encore de décisif». АВПР, ф. К., д. 147. Copie d'une dépêche télégraphique secrète du comte Orloff, Paris, le 18 février (1 mars) 1856.

[38] Там же, Paris, 1856, № 422. Protocole № III. Séance du 1 mars 1856.

[39] Там же, № 20. Орлов — Нессельроде. Paris, le 19 février 1856.

[40] Там же.

[41] Там же, д. 148, № 925. Paris, le 7 mai 1856. Орлов — Горчакову.

[42] ЦГАДА, ф. 15 — Госархив, разр. XV, д. 325, л. 154—156. Confidentielle. St. Pétersbourg, le 3 mars 1856.

[43] Там же. Нессельроде — Орлову, л. 157—159 об.

[44] АВПР, ф. К., д. 152. Nesselrode — Orloff, le 3 mars 1856. Помета рукой Александра II: «Быть по сему».

[45] Там же, д. 147. Protocole № IV. Séance du 4 mars 1856.

[46] Там же. Первая телеграмма № 25, вторая № 26. Обе помечены: Paris, le 21 février (4 mars) 1856.

[47] Там же, д. 152. Нессельроде — Орлову, le 20 février (3 mars) 1856.

[48] Там же, д. 147. Protocole № V. Séance du 6 mars 1856.

[49] Там же, № 28. Орлов — Нессельроде. Paris, le 25 février (8 mars) 1856.

[50] Там же, Protocole № VI. Séance du 8 mars 1856.

[51] Там же, № 29. Копия телеграммы графа Орлова канцлеру Нессельроде. Paris, le 10 mars 1856.

[52] Там же, д. 148, № 47. Protocole № VII. Séance du 10 mars 1856.

[53] Там же, Protocole № VIII. Séance du 12 mars 1856.

[54] Там же, д.: «Письма барона Ф. Бруннова к К. В. Нессельроде». Paris, le 29 février (12 mars) 1856.

[55] Там же, д. 147, № 34. Orloff — Nesselrode, le 11 mars 1856.

[56] Там же, № 31. Paris, le 28 février (11 mars) 1856.

[57] Там же, № 36. Copie d'une dépêche télégraphique secrète du comte Orloff. Paris, le 12 mars 1856.

[58] Там же, д. 148. Orloff — Nesselrode. Paris, le 20 mars (1 avril) 1856.

[59] Там же.

[60] Там же.

[61] Там же. Copie d'une dépêche télégraphique secrète etc., le 16 mars 1856.

[62] Там же. Protocole № IX. Séance du 14 mars 1856.

[63] Там же, № 42. Телеграммы Орлова — Нессельроде, 7/19 марта 1856 г.

[64] Там же, № 41. Секретная телеграмма Орлова графу Нессельроде.

[65] Там же, д. 152. Nesselrode — Orloff, le 8/20 mars 1856.

[66] Там же д. 148, № 60. Орлов — Нессельроде. Paris, le 20 mars (1 avril) 1856.

[67] Там же, помета Александра II карандашом: «Je n'ai rien contre», на телеграмме Орлова от 21 марта (2 апреля). Там же телеграммы Нессельроде графу Орлову от 22 марта (3 апреля).

[68] АВПР, ф. К., д. 147, № 67. Orloff — Nesselrode. Paris, le 23 mars (4 avril) 1856.

[69] Там же, д. 148. Депеша Орлова. Подана в Париже 30 марта в 4 часа 14 минут.

[70] Там же, д.: «Письма барона Ф. Бруннова». Paris, le 20 mars (1 avril) 1856. Бруннов — Нессельроде.

[71] ЦГАДА, ф. 15 — Госархив, разр. XV, д. 325, л. 175 об. St. Pétersbourg, le 5 avril 1856. Нессельроде — Орлову.

[72] Там же, л. 178. Très secrète. St. Pétersbourg, le 5 avril 1856 (второе письмо помечено той же датой).

[73] АВПР, ф. К., д. 152. Nesselrode — Orloff, le 5 avril 1856. Помета Александра II: «Быть по сему».

[74] Там же, д. 148, № 78. Paris, le 19 février 1856.

[75] Там же.

[76] «L'Autriche se brouille avec ses amis pour ne pas se compromettre vis-à-vis de ses ennemis. Peine inutile. Le canon qui bat en brèche Sébastopol la chassera d'Italie».— *Русский архив*, 1874, № 10, стр. 315.

[77] Библиотека им. В. И. Ленина, Рукописн. отд.,ф. 169, Д. А. Милютина, п. 8, № 33, л. 376—376 об.

[78] АВПР, ф. К., д. 148, № 119. Paris, le 12/24 mai 1856. Орлов — Горчакову.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

I. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АРХИВЫ

Архив внешней политики России (АВПР).

Рукописное отделение Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (ГПБ).

Центральный государственный архив Военно-морского флота (ЦГАВМФ)—фонд князя А. С. Меншикова.

Архив Ленинградского отделения Института истории АН СССР (ЛОИИ) — фонд И. М. Дебу, архив Глазенапа и другие материалы.

Архив Института истории русской литературы АН СССР (ИРЛИ, Ленинград) — архив Аксаковых, фонд Блудовых и другие материалы.

Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА, Москва).

Центральный государственный исторический архив (ЦГИАМ).

Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Рукописный отдел — фонд Д. А. Милютина и другие материалы.

Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ)

Центральный государственный Военно-исторический архив СССР (ЦГВИА).

Архив Севастопольского музея обороны—Заметки и записки А. А. Ухтомского, письма П. С. Нахимова, бумаги Тимирязевых, бумаги Г. И. Бутакова, бумаги бр. Щегловых, письма участников войны — солдат союзной армии, приказы Канробера и Пелисье и др.

Гос. архив Крымской области — фонд Воронцовых-Дашковых.

Гос. архив Одесской области — архив Зеленого, фонд Скальковского и др.

II. ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Глава I[1]. Союзники в Варне и высадка в Крыму

Маркс К. Сент-Арно.— Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд., т. 10, стр. 265—268.

Маркс К. Письмо Энгельсу от 3 мая 1854 г. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XXII, стр. 28.

Энгельс Ф. Письмо Марксу от 1 мая 1854 г.— Там же, стр. 27.

Энгельс Ф. Письмо Марксу от 9 мая 1854 г.— Там же, стр. 34.

[1] Общую литературу о Крымской войне см. в т. VIII наст. изд. («Крымская война», ч. 1), в разделе «Источники и литература» —*Ред.*

Источники

Абакумов Ф. И. Взятие парохода «Тигр» 30 апреля 1854 года.— «Русская старина», 1891, ноябрь, стр. 485—488.

Англо-французский флот перед Одессою в 1854 году. Письмо архиепископа Херсонского Иннокентия к бар. М. А. Корфу. Сообщ. А. И. Бычков.— «Русская старина», 1904, № 4, стр. 179—180.

Зеленецкий К. Записки о бомбардировании Одессы 10 апреля 1854 г. Одесса, 1855. 115 стр.

«Месть побежденных». Из прошлого Одессы (рассказ старожила). Эпизод из войны 1854 г.— «Южнорусский альманах» (Одесса), 1896, стр. 87—88.

Палатин. Одесские события 1854 года. Из записок очевидца.— «Русский вестник», 1877, январь, стр. 325—370.

Приказ Остен-Сакена.— «Одесский вестник», 1854, № 40, 17 апреля.

Репнина В. Н. Воспоминания о бомбардировании Одессы 1854 г.— «Русский архив», 1891, № 11, стр. 413—418.

Чайковский М. (Садык-паша). Турецкие анекдоты. Из 30-летних воспоминаний. М., 1883. 420 стр.

Чижевич О. О. Город Одесса и Одесское общество. Воспоминания одесского старожила. В кн.: Из прошлого Одессы. Сборник статей. Одесса, 1894.

Щеголев А. Полвека назад (с рис.).— «Военный сборник», 1904, № 4, стр. 39—56; № 5, стр. 45—54.

Bapst G. Le maréchal Canrobert. Souvenirs d'un siècle. T. 2. P., 1909, p. 102—224.

Bazancourt C. L. L'expédition de Crimée. L'armée française à Gallipoli, Varna et Sébastopol. Chroniques militaires de la guerre d'Orient. Vol. 1—2. P., 1858.

Cabrol (médecin en chef de l'état major de l'armée d'Orient). Le maréchal de Saint-Arnaud en Crimée. P., 1895. XXII, 376 p. (avec 29 lettres inédites du maréchal à sa fille).

Feline A. Guerre d'Orient. De la coopération néccessaire des puissances neutres. P., 1854. 27 p.

Kossuth L. Traduction française du discours, prononcé à Hanley sur la guerre d'Orient (21/VIII 54). L., [1854].

Quatrelles l'Epine M. Le maréchal de Saint-Arnaud d'après sa correspondance et des documents inédits. P., 1928—1929 (vol. 1. 1798—1850; vol. 2. 1850—1854). 492 p. 516 grav.

Литература

Черемисинов В., кап. Нападение англо-французского флота на Одессу в 1854 году. Одесса, 1904. 32 стр. (20 рис.).

Черемисинов В., кап. Одесса и история русских войн. К 50-летию Крымской войны. Одесса, 1904. 220 стр., VI табл., черт.

Handelsman M. Czartoryski, Nicolas I et la question du Proche Orient. P., 1934. 152 p. (Rec. N. Jorga.— «Revue hist. du Sud-Est europ.», t. II [1934], p. 168—172).

Pawlicowa M. O formacjach kozackich w czasie wojny Krymskiej.— «Kwart. hist.», 1936, [v. 50], s. 3—50.

Pawlicowa M. Ze starań o legję polską w początkach wojny Krymskiej 1853—1854.—«Kwart. hist.», 1932, [t. 46], s. 74—98.

Глава II. Балтийская кампания 1854 г.

Маркс К. Новые разоблачения в Англии (передовая).—Соч., 2 изд., т. 11, стр. 548—553.

Маркс К. Письмо Нейпира.— Соч., 2 изд., т. 11, стр. 530—531.

Источники

Аркас Н. А. Из воспоминаний.— «Исторический вестник», 1901, апрель, стр. 107—136.

Войны России за обладание Балтийским морем, политика Англии в отношении к России и вступление английского флота в Балтийское море. М., 1855. 117 стр.

Воронов Н. И. Из воспоминаний о Кронштадте в последние годы царствования Николая I.— «Русская старина», 1909, № 8.

Граббе П. Х. Из дневника и записной книжки.— «Русский архив», 1889, № 4, стр. 521—584.

Загородников И. Дневник русского солдата, взятого в плен при Бомарзунде в 1854 г.— «Русская старина», 1893, № 10, стр. 185—212.

Записки, веденные во время крейсерства английского флота в Балтийском море в 1854 г., пер. А. Люджера.— «Морской сборник», 1855, № 5, стр. 59—62; № 8, стр. 64—74; № 9, стр. 1—15; № 10, стр. 173—190.

Петровский М. Письмо из Ревеля, 1854 г.— «Щукинский сборник», вып. 3. М., 1904.

Рассказы русского офицера, бывшего в плену во Франции.— «Журнал военит. военно-учебных заведений», 1856, ч. CXXII, отд. 1, стр. 409—454; ч. CXXIII, стр. 1—60.

Шеншин Н. В. Рассказ о поездках его на Аландские острова в последнюю войну (письмо к кн. Н. А. Орлову).— Русский архив, 1863, № 12, стр. 1002—1017 (дополнения в заметках В. Романова—«Русский архив», 1864, стр. 624, и П. Бартенева — там же, стр. 78).

Эгерштром Н. Воспоминания о Восточной войне одного из ее участников.— «Военный сборник», 1904, № 10, стр. 35—42.

Britiska Eskadern i Ostersjön. 3 uppl. Gothe org. 1854 (гравюры, карта).

Earp G. B. The history of the Baltic campaign of 1854. Lond., 1857. XLVIII, 622 p. (from documents and other materials furnished by vice-admiral sir Charles Napier).

Four days at Portsmouth on the eve of war. March 1854. Lond., 1855. 24 p.

Geoffroy A. Une visite à Bomarsund.— «Revue des deux mondes», 1854, p. 1061.

Hoseason J. C. Remarks on the late war with Russia. L., 1857. 142 p. (together with plans for the attack on Cronstadt, Sveaborg and Helsingfors, with an appendix and map illustrative of the distribution of the Russian army at commencement of war). См. Н. С. Замечания Джона Кокрена Госизона о Восточной войне.— «Морской сборник», 1858, № 8, стр. 314—349.

Hugues R. Two summer cruises with the Baltic fleet in 1854—1855. Lond., 1855 (карты, гравюры).

The life and correspondence of admiral sir Charles Napier. From personal recollection, letters and official documents by major general Elers Napier. Vol. 1—2. L., 1862.

Martax. Is the Russian Baltic fleet to be destroyed? A question. Lond., [1854]. 8 p.

Nikolaus I, Rysslands Keysare, samt början till rysk.- turkiska kriget. Stockholm, 1854. 32 p.

The Russian war and blockade of the Baltic. By an admiral. Lond., 1854. 10 p.

Russian war 1854. Baltic and Black sea. Official correspondence. Lond., 1943. Рец. Тарле Е. — «Вопросы истории», 1947, № 4, стр. 129—130.

Siège de Bomarsund en 1854. Journal des opérations de l'artillerie et du génie, publ. avec l'autorisation du ministre de la guerre. P., 1855. 54 p. (планы).
Squarr O. La guerre dans la Baltique. La politique russe. Le littoral de la Baltique. Bruxelles, 1854. 75 p.

Литература

Бородкин М. Война 1854—55 гг. на Финском побережье. СПб., 1904 (илл.). (Первоначально — «Военный сборник», 1902, №№ 6, 7, 9, 12; 1903, №№ 1—3).
Денисов А. П. Генерал-адъютант адмирал Николай Андр. Аркас (биогр. очерк). Севастополь, 1887.
Зюзенков И. П. Морской флот России в Крымской войне 1853—1856 гг.— «Труды Военно-политической академии им. В. И. Ленина», сб. 4, 1940, стр. 137—173.
Истомин, кап. 2-го ранга. Балтийский флот 50 лет назад, в кампанию 1854—1855 гг.—«Морской сборник», 1904, № 2, стр. 1—50; № 3, стр. 1—21.
Цебрикова. Пятидесятые годы.— «Вестник всемирной истории», 1901, № 10, стр. 1—32; № 11, стр. 35—73; № 12, стр. 1—20.
Шателен. Атака и оборона Аландских островных укреплений.— «Инженерный журнал», 1866, № 5.
Шелов, подполк. Оборона Кронштадта в 1854—55 гг. (с рис. и картами)— «Военный сборник», 1905, № 11, стр. 55—78; № 12, стр. 55—84.
Bajer F. Nordens saerlig Danmarks neutralitet under Krimkrigen. Kobenhavn, 1914. 826 s.
Bajer F. Le système scandinave de neutralité pendant la guerre de Crimée et son origine historique.— «Revue d'histoire diplomatique», 1900, p. 259—288.
Bapst E. Det franske Diplomati og Nordens Neutralitet ved Krimkrigens Udbrud 1854.— «Dansk tidskrift», 1913—1914, s. 284—291.
Cullberg A. La politique du roi Oscar I pendant la guerre de Crimée. Etudes diplomatiques sur les négociations secrètes entre les cabinets de Stockholm, Paris, Saint-Pétersbourg et Londres (1853—1856). T. I—II. Stockholm, 1912—1926. 2 vol.
Eriksson S. Svensk diplomati och tidningspress under Krimkriget. Stockholm, 1939. VIII, 424 s.
Hallendorff C. Oscar I, Napoleon och Nikolaus. Ur diplomaternas privatbrev under Krimkriget. Med. 15 pl. Stockholm, 1918.
Palmstierna C. F. Sverige, Ryssland och England (1833—1855). Stockholm, 1932.
Runeberg C. M. Sveriges politik under Krimkriget, Neutralitätsforklaringen (1853—1854). Helsinki, 1934. Diss.
Stokeby R. Baltimore blokaad 1854—1855.— Sodur, t. 15, [1933], p. 1201—1205, 1239—1242.
Törnegren C. W. Brev fran Krimkrigets dagar. Helsingfors, 1894.
Williams H. N. The life and letters of admiral sir Charles Napier. Lond., 1917.

Глава III. Альма

Источники

Барятинский В. И. Воспоминания. М., 1904.
Васильчиков В. И. Севастополь.— «Русский архив», 1891, № 6, стр. 167—256.

Духонин Л. Г. Под Севастополем в 1853—1856 гг.— «Русская старина», 1885, № 7, стр. 87—124.
Еропкина В. В. М. Еропкин, участник обороны Севастополя 1854 г.— «Русский архив», 1905, № 2, стр. 471—478.
Ильинский Д. В. Из воспоминаний и заметок севастопольца.— «Русский архив», 1892, № 3, стр. 447—462.
Колчак В. Война и плен 1853—1855 гг. СПб., 1904.
Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Под ред. Н. Дубровина. Вып. 2—3. СПб., 1871—1872.
Меньков П. К. Записки. Т. I. СПб., 1898.
Сборник известий, относящихся до настоящей войны, изд. Н. Путиловым. Кн. 19. СПб., 1855.
Семерихин Н. Высадка неприятелей в Крыму и сражение при Альме. СПб., 1859.
Сборник рукописей, представленных...о севастопольской обороне севастопольцами. Т. I, III. СПб., 1872—1873.
Тотлебен Э. И. Описание обороны города Севастополя. Ч. 1. СПб., 1871.
Ушаков Н. И. Записки очевидца о войне России противу Турции и западных держав. Ч. II. В кн.: «Девятнадцатый век». Кн. II. М., 1872, стр. 1—242.
Хрущов А. П. История обороны Севастополя. 3 изд. СПб., 1889.
Щербачев Г. Д. Двенадцать лет молодости. Воспоминания из времен царствования императора Николая I. М., 1892.
Щербачев Г. Д. Идеалы моей жизни. Воспоминания из времен царствования Николая I и Александра II. М., 1895.
Bosquet P. F. Lettres (1830—1858). P., 1894.
Bouët Willaumez E. Batailles de terre et de mer, jusque et y compris la bataille de l'Alma. P., 1855.
Campagnes de Crimée, d'Italie, d'Afrique, de Chine et de Syrie. Lettres adressées au maréchal de Castellane (1849—1862). P., 1898.
Kinglake A. W. The invasion of the Crimea. Vol. III—V. Lpz., 1863—1868.
Niel, général. Siège de Sébastopol. P., 1858.
Projet pour la bataille de l'Alma, préparé de 19 au soir et exécuté le 20 septembre 1854. sl., [1854].
Russell W. H. The British expedition to the Crimea. Lond., 1877.
Russell W. H. The great war with Russia. The invasion of the Crimea. Lond., 1895.
Russell W. H. The war. Lond., 1856.

Литература

Аничков В. М. Военно-исторические очерки Крымской экспедиции. Ч. 1. СПб., 1856.
Вейгельт. Осада Севастополя. СПб., 1863.
Гейрот А. Ф. Описание восточной войны 1853—1856 гг. СПб., 1872.
Павлюк. Альма. 1854—1904 гг. Сражение 8 сентября 1854 г. и современное состояние поля этого сражения. Одесса, 1904.
Чернышевский Н. Г. Рассказ о Крымской войне. М., 1935, стр. 314—327.
Guérin L. Histoire de la dernière guerre de Russie. T. I. P., 1858.
Rousset C. L'Alma. P., 1875.
Rousset C. Histoire de la guerre de Crimée. T. I. P., 1878.

Глава IV. Корнилов и начало осады Севастополя

Энгельс Ф. Осада Севастополя. Передовая из «New York Daily Tribune», 15/XI 1854 г. Соч., 2 изд., т. 10, стр. 537—541.

Источники

Васильчиков В. И. Севастополь.— «Русский архив», 1891, № 6, стр. 167—256.

Вице-адмирал Корнилов (сборник документов). М., 1947.

Генрици А. А. Воспоминания о Восточной войне (1854—1856 гг.). СПб., 1878.

Духонин Л. Г. Под Севастополем в 1853—1856 гг.— «Русская старина», 1885, № 7, стр. 87—124.

Жандр А. Материалы для истории обороны Севастополя и для биографии В. А. Корнилова. СПб., 1859.

Из записок севастопольца.— «Русский архив», 1867, № 12, стр. 1581—1638.

Ильинский Д. В. Из воспоминаний и заметок севастопольца.— «Русский архив», 1893, № 1, стр. 65—88.

Крымская экспедиция. Рассказ очевидца, французского генерала. СПб., 1855.

Лихачев И. В Севастополе 50 лет назад.— «Русская старина», 1904, май, стр. 337—345.

Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Под ред. Н. Дубровина. Вып. 3. СПб., 1872.

Тотлебен Э. И. Описание обороны города Севастополя. Ч. 1. СПб., 1871.

Хрущов А. П. Выдержки из его писем 1853—1859 гг.— «Русская старина», 1892, № 8, стр. 431—450.

Хрущов А. П. История обороны Севастополя. 3 изд. СПб., 1889.

Щербачев Г. Д. Двенадцать лет молодости. Воспоминания из времен царствования императора Николая I. М., 1892.

Bocher Ch. Lettres de Crimée. P., 1877.

Bosquet P. E. Lettres (1830—1858). P., 1894.

Journal humoristique du siège de Sébastopol, par un artilleur. T. 1. P., 1868.

Kinglake A. W. The invasion of the Crimea. Vol. V. Lpz., 1868.

Niel (général). Siège de Sébastopol. P., 1858.

Russell W. H. The British expedition to the Crimea. Lond., 1877.

Russell W. H. The war. Lond. 1856.

Литература

Божерянов И. Н. Как началась осада в 1854 г. Севастополя. СПб., 1904.

Вейгельт. Осада Севастополя. СПб., 1863.

Зюзенков И. П. Морской флот в России в Крымской войне 1853—1856 гг.— «Труды Военно-политической академии им. В. И. Ленина», сб. 4., 1940, стр. 137—173.

Лихачев Д. Очерк действий черноморского флота в 1853—1854 гг.— «Военный сборник», 1902, № 4.

Глава V. Первая бомбардировка

Источники

Бабенчиков П. Атака Севастополя англо-французским флотом в 1854 году. СПб., 1870.

Бабенчиков П. День и ночь в Севастополе.—«Военный сборник», 1875, № 8, стр. 315—364.

Барятинский В. И. Воспоминания. М., 1904.

Васильчиков В. И. Севастополь.— «Русский архив», 1891, № 6, стр. 167—256.

Вице-адмирал Корнилов. (Сборник документов). М., 1947.

Воеводский П. Письма к А. П. Зонтаг.— «Русский архив», 1915, № 8, стр. 455—476.

Врочeнский М. А. Севастопольский разгром. Воспоминания участника славной обороны Севастополя. Киев, 1893.

Духонин Л. Г. Под Севастополем в 1853—1856 гг.— «Русская старина», 1885, № 7, стр. 87—124.

Жандр А. Материалы для истории обороны Севастополя и для биографии В. А. Корнилова. СПб., 1859.

Ильинский Д. В. Из воспоминаний и заметок севастопольца.— «Русский архив», 1893, № 3, стр. 274—283.

Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Под ред. Н. Дубровина. Вып. 3. СПб., 1872.

Морской сборник, т. XIII, № 10. СПб., 1854, стр. 119—123.

Морской сборник, т. XIII, № 11. СПб., 1854, стр. 345—362.

Попов. Еще подробности о смерти генерал-адъютанта Корнилова.— «Морской сборник», т. XIII, № 12. СПб., 1854, стр. 443—447.

Попов А. Е. Записки о пребывании его в Крымской армии с 1 октября по 1 декабря 1854 г.— «Русская старина», 1878, № 2 и 3.

Попов А. Е. Мой приезд к А. С. Меншикову.— «Русская старина», 1877, № 6.

Протопопов И. Очерк осады и обороны Севастополя. Одесса. 1885.

Тотлебен Э. И. Описание обороны города Севастополя. Ч. 1. СПб., 1871.

Хрущов А. П. Выдержки из его писем 1853—1859 гг.— «Русская старина», 1892, № 8, стр. 431—450.

Хрущов А. П. История обороны Севастополя. 3 изд. СПб., 1889.

Щербачев Г. Д. Двенадцать лет молодости. Воспоминание из времен царствования императора Николая I. М., 1892.

Щербачев Г. Д. Идеалы моей жизни. Воспоминания из времен царствования Николая I и Александра II. М., 1895.

Bazancourt. L'expédition de Crimée. La marine française dans la mer Noire et la Baltique. T. I. P., Amyot, s. a.

Castex, général. Ce que j'ai vu. P., 1898.

Kinglake A. W. The invasion of the Crimea. Vol. VI. Lpz. 1868.

Niel, général. Siège de Sébastopol. P., 1858.

Peard G. S. Narrative of a campaign in the Crimea. Lond., 1855.

Russell W. H. The British expedition to the Crimea. Lond., 1877.

Russell W. H. The war. Lond.,1856.

Литература

Аничков В. М. Военно-исторические очерки Крымской экспедиции. Ч. II. СПб., 1856.

Б о г д а н о в и ч М. И. Первое бомбардирование Севастополя 5—13 октября 1854 г.— «Русская старина», 1875, № 6, стр. 240—258.
В е й г е л ь т. Осада Севастополя. СПб., 1863.
Г е й р о т А. Ф. Описание восточной войны 1853—1856 гг. СПб., 1872.
К о р о б к о в Н. М. Вице-адмирал Корнилов. М., 1944.
G u é r i n L. Histoire de la dernière guerre de Russie. T. I. P., 1858.

Г л а в а VI. Балаклава

И с т о ч н и к и

А р б у з о в. Воспоминания о кампании на Крымском полуострове в 1854 и 1855 гг.— «Военный сборник», 1874, № 4, стр. 389—410.
Д у х о н и н Л. Г. Под Севастополем в 1853—1856 гг.— «Русская старина», 1885, № 8, стр. 255—288.
И л ь и н с к и й Д. В. Из воспоминаний и заметок севастопольца.— «Русский архив», 1893, № 3, стр. 249—274.
К о ж у х о в С. Несколько слов по поводу записки генерал-лейтенанта *Рыжова о Балаклавском сражении.*— «Русский архив», 1870, стр. 1668—1676.
К о л ч а к В. Война и плен 1853—1855 гг. СПб., 1904.
К о р и б у т - К у б и т о в и ч. Воспоминания о Балаклавском деле 13 октября 1854 года.— «Военный сборник», 1859, т. VII, стр. 147—166.
Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Под ред. Н. Дубровина. Вып. 3, 4. СПб., 1872.
П р о т о п о п о в И. Очерк осады и обороны Севастополя. Одесса, 1885.
Р ы ж о в И. И. О сражении под Балаклавой.— «Русский вестник», 1870, № 4, стр. 463—469.
Сборник известий, относящихся до настоящей войны, изд. Н. Путиловым. Кн. 20. СПб., 1855.
Т о т л е б е н Э. И. Описание обороны города Севастополя. Ч. 1. СПб., 1871.
Х р у щ о в А. П. История обороны Севастополя. 3 изд. СПб., 1889.
B a p s t G. Maréchal Canrobert. Souvenirs d'un siècle. T. II. P., 1902.
B r a c k e n b u r y G. The campaign in the Crimea. Lond., 1855.
British cavalry at Balaklava. Remarks in reply to lieutenant-general earl of Lucan's speech in the House of Lords. Lond., 1855.
Campagnes de Crimée, d'Italie, d'Afrique, de Chine et de Syrie. Lettres adressées au maréchal de Castellane (1849—1862). P., 1898.
K i n g l a k e A. W. The invasion of the Crimea. Vol. VII—IX. Lpz., 1868—1875.
M a l m e s b u r y, earl. Memoirs of ex-minister. Lond., 1885.
N i e l, général. Siège de Sébastopol. P., 1858.
P e a r d G. S. Narrative of a campaign in the Crimea. Lond., 1855.
R u s s e l l W. H. The British expedition to the Crimea. Lond., 1877.
R u s s e l l W. H. The great war with Russia. The invasion of the Crimea. Lond., 1895.
R u s s e l l W. H. The war. Lond., 1856.

Л и т е р а т у р а

А н и ч к о в В. М. Военно-исторические очерки Крымской экспедиции. Ч. I. СПб., 1856.

Вейгельт. Осада Севастополя. СПб., 1863.
Гейрот А. Ф. Описание восточной войны 1853—1856 гг. СПб., 1872.
Дубровин Н. Ф. История Крымской войны. Т. II. СПб., 1900.
Guérin L. Histoire de la dernière guerre de Russie. T. I. P., 1858.
Rousset C. Histoire de la guerre de Crimée. T. I. P., 1878.

Глава VII. Инкерман

Источники

Андриянов А. Инкерманский бой и оборона Севастополя. СПб., 1903.
Андриянов А. Инкерманский бой и оборона Севастополя (наброски участника).— «Военный сборник», 1903, № 2—5.
Бутурлин М. Д. Записки.— «Русский архив», 1898, № 7.
Вроченский М. А. Севастопольский разгром. Воспоминания участника славной обороны Севастополя. Киев, 1893.
Духонин Л. Г. Под Севастополем в 1853—1856 гг.— «Русская старина», 1885, № 8, стр. 255—288.
Из походных воспоминаний о Крымской войне.— «Русский архив», 1870, № 11.
Колчак В. Война и плен 1853—1855 гг. СПб., 1904.
Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Под ред. Дубровина. Вып. 4. СПб., 1872.
Несколько частностей во время Инкерманского дела на нашем левом фланге (из записок унтер-офицера).— «Военный сборник», 1861, № 9, стр. 205—218.
Никитов В. Подвиги некоторых сподвижников Тарутинского пехотного полка. СПб., 1874.
Протопопов И. Очерк осады и обороны Севастополя. Одесса, 1885.
Сборник известий, относящихся до настоящей войны, изд. Н. Путиловым. Кн. 23. СПб., 1855.
Сборник рукописей, представленных...о севастопольской обороне севастопольцами. Т. I. СПб., 1872.
Тотлебен Э. И. Описание обороны города Севастополя. Ч. 1. СПб., 1871.
Ушаков Н. И. Записки очевидца о войне России противу Турции и западных держав. Ч. II. В кн.: «Девятнадцатый век». Кн. II. М., 1872, стр. 1—242.
Хрущов А. П. История обороны Севастополя. СПб., 1889.
Щербачев Г. Д. Идеалы моей жизни. Воспоминания из времен царствования Николая I и Александра II. М., 1895.
Bapst G. Le maréchal Canrobert. Souvenirs d'un siècle. T. II. P., 1902.
Brackenbury G. The campaign in the Crimea. Lond., 1855.
Campagnes de Crimée, d'Italie, d'Afrique, de Chine et de Syrie. Lettres adressées au maréchal de Castellane (1849—1862). P., 1898.
Colebrooke. Journal of two visits to the Crimea in the autumn of 1854 and 1855. L., 1856.
Kinglake A. W. The invasion of the Crimea. Vol. IX—X. Lpz., 1875.
Layard. La première campagne de Crimée. Bruxelles, 1855.
Niel, général. Siège de Sébastopol. P., 1858.
Russell W. H. The British expedition to the Crimea. Lond., 1877.

Russell W. H. The great war with Russia. The invasion of the Crimea. Lond., 1895.
Russell W. H. The war. Lond., 1856.

Литература

Аничков В. М. Военно-исторические очерки Крымской экспедиции. Ч. I. СПб., 1856.
Вейгельт. Осада Севастополя. СПб., 1863.
La bataille d'Inkermann livrée le 24 octobre 1854. P., 1857.
Bedollière E. Inkermann. P., Panthéon populaire, s. a.
Canonge F. Histoire militaire contemporaine. T. I. P., 1882.
Rousset C. Histoire de la guerre de Crimée. T. I. P., 1878.
Saint Priest, duc d'Almazan. La bataille d'Inkermann.— «Revue des deux mondes», 1858, 15/V, p. 373—395.
Die Schlacht von Inkermann am 24 Oktober 1854. Berl., 1855.
Soye C. La bataille d'Inkermann. P., 1857.

Глава VIII. Белое море и Тихий океан

Источники

А. де Л. Подробности Петропавловского сражения 24 августа 1854 г.— «Морской сборник», 1911, № 3, стр. 13—27.
Арбузов А. П. Оборона Петропавловского порта в 1854 г. против англо-французской эскадры (из записок очевидца и участника в этом деле).— «Русский архив», 1870, апрель, стр. 365—379.
Арбузов А. П. Замечания на статью Г. Фесуна о Петропавловском деле.— «Морской сборник», 1860, № 10, стр. 4—10.
Завойко В. Письмо П. Е. Ложечникову 1854 г. (Обстрел Петропавловска).—«Щукинский сборник», вып. IX. М., 1910, стр. 332—334.
Завойко Ю. Воспоминания о Камчатке и Амуре. М., 1876.
Колчак В. Война и плен 1835—1855 гг. СПб., 1904.
«Морской сборник», т. XIII, № 12. СПб., 1854, стр. 193—210, 448—478.
Нападение англо-французов на Петропавловский порт Камчатки. СПб., 1855.
Невельский Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России 1849—1855 гг. СПб., 1896; то же, 2 изд. М., 1947.
Оборона Петропавловска. Частное письмо.— «Русский архив», 1901, № 2.
Оборона Петропавловска против англо-французской эскадры в 1854 г.— «Русский архив», 1898, № 7, стр. 465—471.
Отрывок из журнала французского офицера о нападении союзников на Петропавловский порт.— «Живописная русская библиотека», 1858, т. III, № 35, стр. 274—278.
Официальное донесение английскому адмиралтейству о нападении на Петропавловский порт.— «Морской сборник», т. XIV, № 1. СПб., 1855, стр. 87—97.
Официальное французское известие о сражении под Петропавловском.— «Морской сборник», т. XIV, № 1. СПб., 1855, стр. 97—107.
Подробности Петропавловского сражения 24 августа 1854 года.— «Морской сборник», 1911, № 3.
Сборник известий, относящихся до настоящей войны, изд. Н. Путиловым. Кн. 14, 19, 20, 27, 29. СПб., 1855—1856.
Толстой А. К. Из переписки 1853—1875 гг.— «Вестник Европы», 1897, № 4, стр. 609—610.

Ф е с у н. Из записок офицера, служившего на фрегате «Аврора».— «Морской сборник», 1860, № 1, ч. III, стр. 1—46.

Ш у м а х е р П. Оборона Камчатки и Восточной Сибири против англо-французов в 1854—1855 гг.— «Русский архив», 1878, № 8, стр. 393—425.

C a s t e x, général. Ce que j'ai vu. P., 1898.

H a i l l y E. de. Une campagne dans l'océan Pacifique. L'expédition de Petropavlovsk.— «Revue des deux mondes», 1858, vol. XVI, p. 686—718.

Литература

Б а р с у к о в Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. XIII. СПб., 1899.

Б а р т е н е в Ю. Оборона Петропавловска против англо-французской эскадры в 1854 году.— «Русский архив», 1898, № 7, стр. 465—671.

Б о г о л ю б о в Н. Славная оборона Петропавловского порта против англо-французского флота в 1854 г. СПб., 1885.

В е й г е л ь т. Осада Севастополя. СПб., 1863.

Г е й р о т А. Ф. Описание восточной войны 1853—1856 гг. СПб., 1872.

К у н ц е в и ч Г. З. О защите г. Колы от неприятеля в 1854 году. М., 1906.

Л и в р о н А. Петропавловский бой. СПб., 1914.

М а р к о в С. Декабристы и Камчатка.— «Тридцать дней», 1940, № 3—4, стр. 114—117.

М а р к о в С. Ялуторовск — Амур — Камчатка. Декабристы в 1854 г.— «Омская область», 1940, № 2, стр. 67—72.

Н а з а р о в М. Восемьдесят пять лет назад (Оборона Камчатки от англо-франц. флота в 1854 г.).— «Военно-исторический журнал», 1940, № 4, стр. 128—129.

Нападение на Петропавловский порт англо-французской эскадры в 1854 г. СПб., 1884.

Р я б о в Н. Героическая оборона Петропавловска.— «На рубеже» (Хабаровск), 1939, № 2, стр. 166—170.

С е р г е е в А. Н. Английская эскадра в Белом море в 1854 г.— «Русская старина», 1909, № 12, стр. 567—575.

С е р г е е в М. А. Оборона Петропавловска-на-Камчатке. М.— Л., 1940. 76 стр.

Соловецкий монастырь и описание бомбардирования его англичанами 7 июня 1854 г. М., 1867.

С т е п а н о в А. Петропавловская оборона (1853—1856 гг.). Хабаровск, 1940. 108 стр.

Ф и л и п п о в Б. Англо-французские пираты на севере России в период Крымской войны.— «Большевистская мысль» (Архангельск), 1941, № 3, стр. 54—61.

R e v e n s t e i n G. The Russians on the Amur. Lond., 1861.

Г л а в а IX[1]. Верховное командование и защитники Севастополя. Моряки и солдаты на вылазках

Источники

Б е р г Н. В. Князь Михаил Дмитриевич Горчаков.— «Русская старина», 1881, № 1, стр. 195—203.

[1] Литературу о П. С. Нахимове см.: Библиография к гл. XV.

Васильчиков В. И. Севастополь.— «Русский архив», 1891, № 6, стр. 167—256.
Вице-адмирал Корнилов. [Сборник документов]. М., 1947.
Генрици А. Воспоминания о Восточной войне (1853—1856 гг.). СПб., 1878.
Героические подвиги доблестных защитников Севастополя. М., 1855.
Гюббенет Х. Я. Воспоминания об обороне Севастополя 1854—1855 гг.— «Русская старина», 1889, № 1, стр. 75—99.
Есаул. Черноморцы-пластуны в Севастополе.— «Военный сборник», 1874, т. 95, № 1, стр. 5—28.
Жандр А. Материалы для истории обороны Севастополя и для биографии Владимира Алексеевича Корнилова. СПб., 1859.
Из боевого прошлого русской армии. Документы о доблести и героизме русских солдат и офицеров. [М.], 1947.
Исаков Н. В. Из записок.— «Исторический вестник», 1915, № 8, стр. 412—445; № 9, стр. 768—798.
Ильинский Д. В. Из воспоминаний и заметок севастопольца.— «Русский архив», 1893, № 1, стр. 49—88; 1893, № 4, стр. 323—336.
Кедрина Л. Из моих воспоминаний.— «Русский архив», 1917, № 1, стр. 102—135.
Контр-адмирал Истомин. (Его севастопольские письма. Письма к нему его брата. Письмо П. С. Нахимова о его кончине). Сообщ. В. К. Истомин.— «Русский архив», 1877, № 1, стр. 124—142.
Лихачев И. В Севастополе 50 лет назад.— «Русская старина», 1904, № 5, стр. 337—345.
Лихачев И. Несколько слов о Владимире Алексеевиче Корнилове.— «Морской сборник», 1856, № 7, отд. III, стр. 272—286.
Ляскоронский В. Воспоминания Прокофия Антоновича Подпалова. Киев, 1904.
Орда А. Саперы в Севастополе.— «Инженерный журнал», 1862, № 5.
Н. И. Пирогов в Севастополе 1854—1855 гг.— «Русская старина», 1885, № 8.
[Панаев А. А.] Князь А. С. Меншиков в рассказах бывшего его адъютанта А. А. Панаева.— «Русская старина», 1877, № 1—7.
Паскевич П. Ф. Князь Михаил Дмитриевич Горчаков в Севастополе.— «Русская старина», 1883, № 11, стр. 369—380.
Пирогов Н. И. Севастопольские письма (1854—1855 г.). СПб., 1899.
Пирогов Н. И. Севастопольские письма и воспоминания. М.—Л., 1950.
Сборник известий, относящихся до настоящей войны, изд. Н. Путиловым. Кн. 1—33. СПб., 1855—1859.
Сборник рукописей, представленных... о севастопольской обороне севастопольцами. Т. I—III. СПб., 1872—1873.
Список раненым в Севастополе нижним чинам Морского ведомства.— «Морской сборник», 1855, т. XVI, № 5, оф. отд., стр. 72—82.
Очерк деятельности офицеров и некоторых нижних чинов 4 и 3 саперных батальонов при обороне Севастополя.— «Инженерный журнал», 1880, № 8, 9.
Список убитым, умершим от ран, раненым и контуженным офицерам и кондукторам Морского ведомства.— «Морской сборник», 1855, т. XVI, № 5, оф. отд., стр. 62—72.
Хрущов А. П. История обороны Севастополя. 3 изд. СПб., 1889.
Черняев М. Г. Во время русско-турецкой войны 1853—1856 гг.— «Русский архив», 1906, № 3, стр. 449—458.

Черты мужества и самоотвержения русских войск. Из современной войны России с англо-французами и турками. М., 1855.
Bapst G. Le maréchal Canrobert. Souvenirs d'un siècle. T. II. P., 1902.
Brackenbury G. The campaign in the Crimea. Lond., 1855.
Bryce C. England, France before Sebastopol looked at from a medical point of view. Lond., 1857.
[Calthorpe S. J.] Letters from headquarters; or the realities of the war in the Crimea. Vol. I—II. Lond., 1856.
Castex, général. Ce que j'ai vu. P., 1898.
Du Casse A. La Crimée et Sébastopol (1853—1856). P., 1892.
Heath L. G. Letters from the Black sea during the Crimea war (1854—1856). Lond., 1897.
Molènes P. Les commentaires d'un soldat. P., 18^6.
Pack R. Sebastopol trenches and five months in them. Lond., 1878.
Ranken G. Journal of six months residence at Sebastopol. Lond., 1857.

Литература

Анчарский А. Боевые подвиги наших моряков. М., 1944.
Бузник Г. О русской фортификационной школе.— «Военно-инженерный журнал», 1948, № 11, стр. 28—29.
Вейгельт. Осада Севастополя. СПб., 1863.
Гейсман П. А. Оборона Севастополя. СПб., 1893.
Генерал-лейтенант Степан Александрович Хрулев. СПб., 1872.
Добровольский К. Н. Степан Александрович Хрулев.— «Русская старина», 1911, № 1, стр. 152.
Дубровин Н. Ф. История Крымской войны. Т. I—III. СПб., 1900.
Зайончковский. Оборона Севастополя. Подвиги защитников. СПб., 1904.
Контр-адмирал Владимир Иванович Истомин. СПб., 1872.
Коробков Н. М. Вице-адмирал Корнилов. М., 1944.
Крыжановский Н. А. Севастополь и его защитники в 1855 г.— «Русская старина», 1886, № 5, стр. 401—435.
Преснухин П. Ответ на замечания французских минеров о наших минных работах при обороне Севастополя.— «Инженерный журнал», 1861, № 1.
Рерберг П. Ф. Севастопольцы. Участники 11-месячной обороны Севастополя в 1854—1855 гг. Вып. 1—2. СПб., 1903—1904.
Фролов, инженер-полковник. Минная война в Севастополе в 1854—1855 гг. под руководством генерал-адъютанта Тотлебена. СПб., 1868.
Шестаков П. Генерал-адъютант, вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов. СПб., 1872.
Шильдер Н. Граф Эдуард Иванович Тотлебен, его жизнь и деятельность. Т. I—II. СПб., 1885—1886.
Яковлев В. В. Краткий очерк истории подземной минной войны. М., 1938, стр. 37—43.

Глава X. Борьба за дипломатическое присоединение Австрийской империи к западным державам и договор 2 декабря 1854 г.

Источники

Albin P. Les grands traités politiques. Recueil des principaux textes diplomatiques depuis 1815 jusqu'à nos jours. P., 1932.
Gréville Ch. Memoirs. Vol. VII. Lond., 1938.

Hübner A. Neuf ans de souvenirs d'un ambassadeur d'Autriche à Paris. (1851—1859). Vol. I—II. P., 1904.

Литература

История дипломатии. Т. I. М., 1941.

Бутковский Я. Н. Сто лет австрийской политики в восточном вопросе. Ч. II. СПб., 1888.

Зотов Р. Тридцатилетие Европы в царствование императора Николая I. Ч. II. СПб., 1857.

Татищев С. С. Внешняя политика императора Николая Первого. СПб., 1887.

L'Autriche et l'Allemagne dans la question d'Orient. Bruxelles, [1856].

Beer A. Die orientalische Politik Oesterreichs seit 1774. Prag, 1883.

Borries K. Preussen im Krimkrieg. Stuttgart, 1930.

Bratiano J. C. Mémoire sur l'Empire d'Autriche dans la question d'Orient. P., 1885.

[Crampon E.] De la neutralité de l'Autriche dans la guerre d'Orient. P., 1854.

Debidour A. Histoire diplomatique de l'Europe. Vol. II. P., 1891.

Eckhart F. Die deutsche Frage und der Krimkrieg. Berl., 1931.

Friedjung H. Der Krimkrieg und die österreichische Politik. 2 Auflage. Stuttgart, 1919. VIII, 198 S.

Gathy A. Histoire diplomatique de la question orientale de 1853 à 1856. Bruxelles, 1858.

Geffcken H. Zur Geschichte des orientalischen Krieges 1853—1856. Berl., 1881.

Guérin L. Histoire de la dernière guerre de Russie. T. II. P., 1858.

Guichen. La guerre de Crimée et l'attitude des puissances européennes. P., 1936.

Holland T. E. European concert in the eastern question. Oxford, 1885.

[Jomini A. H.] Etude diplomatique sur la guerre de Crimée par un ancien diplomate. T. I—II. SPB., 1878. (Русский перевод: Жомини А. Г. Россия и Европа в эпоху Крымской войны.— «Вестник Европы», 1886, июль, стр. 204—260; август, стр. 658—714).

[Legros J.] Le Moniteur et les conférences de Vienne. Bruxelles, 1855.

Reitzenheim J. L'Autriche dans la crise actuelle. P., 1855.

Rüstow W. Der Krieg gegen Russland. Bd. I. Zürich, 1855.

Wurm Ch. F. Diplomatische Geschichte der Orientalischen Frage. Lpz., 1858.

Глава XI. Евпатория

Источники

Раков В. С. Мои воспоминания о Евпатории в эпоху Крымской войны. Евпатория, 1904.

Сборник известий, относящихся до настоящей войны, изд. Н. Путиловым. Кн. 28. СПб., 1856.

Сборник рукописей, представленных... о севастопольской обороне севастопольцами. Т. II. СПб., 1872.

Ушаков Н. И. Записки очевидца о войне России против Турции и западных держав. Ч. II. В кн.: «Девятнадцатый век». Кн. II. М., 1872, стр. 1—242.

Хрущов А. П. История обороны Севастополя. 3 изд. СПб., 1889.
Bazancourt. L'expédition de Crimée. La marine française dans la mer Noire et la Baltique. T. II. P., Amyot, s. a.
Campagnes de Crimée, d'Italie, d'Afrique, de Chine et de Syrie. Lettres adressées au maréchal de Castellane (1843—1862). P., 1898.
Mismer Ch. Souvenirs d'un dragon de l'Armée de Crimée (avril 1854—juillet 1856). P., 1887.
Niel, général. Siège de Sébastopol. P., 1858.
[Pallu]. Six mois à Eupatoria (Souvenirs d'un marin). P., 1858.

Смерть Николая

Маркс К. Английская печать об умершем царе.— Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд., т. 11, стр. 113—114.

Источники

Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. XIII. СПб., 1899.
Б[лудов] Д. Последние часы жизни императора Николая Первого. М., 1855. 40 стр.
Ден В. И. Записки. СПб., 1890.
Завещание и последние дни жизни императора Николая Первого. М., 1856.
Из жизни императора Николая Павловича.— «Русская старина», 1905, № 4, стр. 164—174.
Из преданий об императоре Николае Павловиче.— «Русский архив», 1892, № 8, стр. 479—481.
Ильинский А. И. За полстолетия. Воспоминания о пережитом.— «Русская старина», 1894, № 6, стр. 16—23.
[Лебедев К. Н.] Из записок сенатора К. Н. Лебедева.— «Русский архив», 1888, № 10, стр. 249—270.
Мандт М. Ночь с 17-го на 18-е февраля 1855 г.— «Русский архив», 1884, № 1, стр. 192—198.
Мандт М. О последних неделях имп. Николая Павловича.— «Русский архив», 1905, № 2, стр. 479—480.
Некоторые подробности о кончине императора Николая Павловича.— «Русский архив», 1906, № 9, стр. 143—145.
Никитенко А. В. Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был. Записки и дневник. 2 изд., испр. и дополн. по рукописи, под ред. и с примеч. М. К. Лемке. Т. I. СПб., 1904.
[Николай I]. Предсмертное письмо имп. Николая Павловича к М. Д. Горчакову, 2 февраля 1855 г.— «Русская старина», 1881, №12, стр. 895—899.
Панаев В. И. Воспоминания.— «Русская старина», 1892, № 12, стр. 480.
Пеликан А. Во второй половине XIX в.— «Голос минувшего», 1914, № 2, стр. 120—121.
Погодин М. П. Историко-политические письма и записки в продолжении Крымской войны 1853—1856 гг. М., 1874.
Попов М. М. Последние дни жизни императора Николая.—«Русская старина», 1896, № 6, стр. 607—614.
Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М.— Л., [1928], стр. 64—67.
Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. М., 1928.
Устрялов Н. Ф. Университетские воспоминания.— «Исторический вестник», 1884, № 8, стр. 307—308.

Фредерикс М. П. Из воспоминаний. XXVI.— «Исторический вестник», 1898, № 2, стр. 475—484.
Шелгунов Н. Воспоминания. Ред., вступительная статья и примечания А. А. Шилова. М.— П., 1923.
Шидловский А. Болезнь и кончина императора Николая Павловича.— «Русская старина», 1896, № 6, стр. 615—631.
Штакельберг Н. Загадка смерти Николая I.— «Русское прошлое». Кн. I. П.— М., 1923, стр. 58—73.
Штакеншнейдер Е. А. Из воспоминаний.— «Русский вестник», 1899, № 10, стр. 543—550.
Эвальд А. Рассказы о Николае I. XX. Кончина императора Николая I.— «Исторический вестник», 1896, № 8, стр. 349—353.
Э-ский А. Эпизод из времени Крымской кампании.— «Исторический вестник», 1896, № 12, стр. 981—986.
Avènement de l'empereur Alexandre II. Le passé. L'avenir. Le czar Nicolas, sa vie et sa mort, par un diplomate. Bruxelles, 1855.
Bagreef-Speransky. Les dernières heures de sa majesté l'empereur Nicolas. Lpz., 1855.
Chronique de la quinzaine. 14 mars 1855 (la mort de l'empereur Nicolas I).— «Revue des deux mondes», t. IX, 1855, 15/III, p. 1302—1314.
Lubomirsky J. Souvenirs d'un page du tzar Nicolas. P., 1869.
Mort de l'empereur Nicolas. Extrait du «Moniteur». Alençon, Poulet-Malassis et E. de Broix, s. a.
Nicolas I., empereur de Russie (1796—1825—1855). Recueil d'articles publiés dans les journaux à l'occasion de sa mort. S. l., 1855.
Nouvelle officielle. Mort de l'empereur Nicolas. Lille, s.a., [1855].
Poggenpohl N. L'empereur Nicolas I-er. [Bruxelles], 1855. 23 p. (Русский перевод: Марков А. Европа и Россия в предсмертные минуты жизни императора Николая I. М., 1856. 19 стр.).

Литература

Зотов Р. Исторические очерки царствования императора Николая I, ч. II. СПб., 1857.
Balleydier A. Histoire de l'empereur Nicolas. Vol. II. P., 1857.
Grimm P. Geheimnisse von St.-Petersburg (Letzte Lebenstage des Kaisers Nikolaus). T. I—II. Würzburg, 1866. (Русский перевод: [Гримм П.]. Тайны Зимнего дворца. Берлин, 1928. 320 стр.).
Schiemann Th. Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I. Bd. IV. Berl. u. Lpz., 1919 (Kap. XIV. Das Ende des Kaisers, S. 363—435).
Titakoff A. Nicolas I, Empereur de Russie. Sa vie, sa politique et sa mort. Genève, 1855.

Глава XII. Венская конференция послов

Литература

История дипломатии. Т. I. М., 1941.
Петров А. Н. Русские дипломаты на венских конференциях 1855 г.— «Исторический вестник», 1890, № 4, стр. 22—50; № 5, стр. 265—289; № 6, стр. 514—534.
Charles-Roux F. Alexandre II, Gortchakoff et Napoléon III. P., 1913.
Debidour A. Histoire diplomatique de l'Europe. Vol. II. P., 1891.
[Delaps]. La guerre d'Orient. Bruxelles, 1878.
Legros J. Moniteur et les conférences de Vienne. Bruxelles, 1855.
Puryear V. J. England, Russia and straits question 1844—1856. Berkeley, 1931.

Rothan. La Prusse et son roi pendant la guerre de Crimée. P., 1888.
Wurm C. F. Diplomatische Geschichte der Orientalischen Frage. Lpz., 1858.
Wurm C. F. Vier Briefe über die freie Donau-Schiffahrt. Lpz.,1855.

Глава XIII. Борьба за Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет

Источники

Алабин П. Четыре войны, ч. 3. Защита Севастополя. 1854—1856. М., 1892.
Васильчиков В. И. Севастополь.— «Русский архив», 1891, № 6, стр. 167—256.
Вязмитинов А. А. Севастополь от 21 марта по 28 августа 1855 г.— «Русская старина», 1882, № 4, стр. 1—70.
Духонин Л. Г. Под Севастополем в 1853—1856 гг.— «Русская старина», 1885, № 9, стр. 445—460.
Ершов А. И. Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера. СПб., 1891.
Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя под ред. Н. Дубровина. Вып. 5. СПб., 1874.
Меньков П. К. Записки. Т. I. СПб., 1898.
Милошевич Н. С. Из записок севастопольца. СПб., 1904.
Орда А. Письма севастопольца.—«Русская старина», 1893, № 12, стр. 609—614.
Протопопов И. Очерк осады и обороны Севастополя. Одесса, 1885.
Сборник известий, относящихся до настоящей войны, изд. Н. Путиловым. Кн. 27, 32. СПб., 1856.
Сборник рукописей, представленных... о севастопольской обороне севастопольцами. Т. II. СПб., 1872.
Степанов М. Севастопольские заметки.— «Военный сборник», 1905, №№ 4—12.
Тотлебен Э. И. Описание обороны города Севастополя. Ч. II. СПб., 1871.
Ушаков Н. И. Записки очевидца о войне России противу Турции и западных держав. Ч. II. В кн.: «Девятнадцатый век». Кн. II. М., 1872, стр. 1—242.
Хрущов А. П. Выдержки из его писем 1853—1859 гг.— «Русская старина», 1892, № 8, стр. 431—450.
Хрущов А. П. История обороны Севастополя. 3 изд. СПб., 1889.
Bazancourt. Cinq mois au camp devant Sébastopol. P., 1855.
Campagne de Crimée. Lettres écrites de Crimée par le capitaine d'état-major Henri Loizillon à sa famille. P., 1895.
Fay Ch. Souvenirs de la guerre de Crimée. P., 1867.
Kinglake A. W. The invasion of the Crimea. Vol. XIII. Lpz., 1889.
Niel, général. Siège de Sébastopol. P., 1858.
Perret S. Récits de Crimée (1854—1856). P., s. a.
Russell W. H. The British expedition to the Crimea. Lond., 1877.

Литература

Вейгельт. Осада Севастополя. СПб., 1863.
Гейрот А. Ф. Описание восточной войны 1853—1856 гг. СПб., 1872.

Д у б р о в и н Н. Ф. История Крымской войны и оборона Севастополя. Т. III. СПб., 1900.
Ш и л ь д е р Н. Граф Эдуард Иванович Тотлебен. Т. I. СПб., 1885.
R o u s s e t C. Histoire de la guerre de Crimée. T. II. P., 1878.

Г л а в а XIV. Первый общий штурм Севастополя и русская победа 6/18 июня 1955 г.

И с т о ч н и к и

А л а б и н П. В. Походные записки в войну 1853—1856 гг. Ч. II. Вятка, 1861.
Б е р г Н. Записки об осаде Севастополя. Т. I. М., 1858.
В а с и л ь ч и к о в В. И. Севастополь.— «Русский архив», 1891, № 6, стр. 167—256.
В я з м и т и н о в А. А. Севастополь от 21 марта по 28 августа 1855 г.— «Русская старина», 1882, № 4, стр. 1—70.
Д у х о н и н Л. Г. Под Севастополем в 1853—1856 гг.— «Русская старина», 1885, № 10, стр. 83—98.
Е р ш о в А. И. Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера. СПб., 1891.
К р а с о в с к и й И. Отбитый штурм Севастополя 6 июня 1855 г. М., 1880.
М е н ь к о в П. К. Записки. Т. I. СПб., 1898.
М и л о ш е в и ч Н. С. Из записок севастопольца. СПб., 1904.
П р о т о п о п о в И. Очерк осады и обороны Севастополя. Одесса, 1885.
Сборник рукописей, представленных... о севастопольской обороне севастопольцами. Т. II—III. СПб., 1872—1873.
Т о т л е б е н Э. И. Описание обороны города Севастополя. Ч. II. СПб., 1871.
У р у с о в С. С. Очерки восточной войны 1854—1855 гг. М., 1866.
Х р у щ о в А. П. История обороны Севастополя. 3 изд. СПб., 1889.
Х р у щ о в А. П. Выдержки из писем 1853—1859 гг.— «Русская старина», 1892, № 9, стр. 593—614.
B a p s t G. Le maréchal Canrobert. Souvenirs d'un siècle. P., 1902.
B a z a n c o u r t. L'expédition de Crimée. La marine française dans la mer Noire et la Baltique. T. II. P., Amyot, s. a.
Campagnes de Crimée, d'Italie, d'Afrique, de Chine et de Syrie. Lettres adressées au maréchal de Castellane (1849—1862). P., 1898.
C h o d a s i e w i c z R. A voice from within the walls of Sebastopol. Lond., 1856.
D e l o r m e. Lettres d'un zouave. P., 1856.
Letters from the army in the Crimea by a staff-officer who was there. Lond., 1857.
L y s o n s D. The Crimean war. Lond., s. a.
N i e l, général. Siège de Sébastopol. P., 1858.
N o i r L. Souvenirs d'un simple zouave. P., s. a.
P e r r e t S. Récits de Crimée (1854—1856). P., s. a.
R o b i n s o n F. Diary of the Crimean war. Lond., 1856.
R u s s e l l W. H. The British expedition to the Crimea. Lond., 1877.
R u s s e l l W. H. The war. Lond., 1856.
T a y l o r G. Journal. Vol. II. Lond., 1856.
T h o u m a s (général). Mes souvenirs de Crimée (1854—1856). P., [1892].
W o o d E. The Crimea in 1854. Lond., 1895.

Литература

Вейгельт. Осада Севастополя. СПб., 1863, стр. 210—227.
Гейрот А. Ф. Описание восточной войны 1853—1856 гг. СПб., 1872.
Ерошевич Г. К. Оборона Севастополя. Штурм 6-го июня 1855 г. СПб., 1910. 31 стр.
Оборона Севастополя. Штурм 6-го июня 1855 г. СПб., 1909. 13 стр.
Штурм Севастополя 6 июня 1855 г. Севастополь, 1903. 23 стр.
Guérin L. Histoire de la dernière guerre de Russie. T. II. P.,1858.
Ladimir H. et Arnoul H. La guerre, histoire complète des opérations militaires en Orient et dans la Baltique pendant les années 1853 à 1856. T. I—II. P., 1859.
Rousset C. Histoire de la guerre de Crimée. T. II. P., 1878.

Глава XV. Смерть Нахимова

Источники

Адмирал Нахимов [сборник документов]. М.— Л., 1945.
Асланбегов А. Адмирал Павел Степанович Нахимов.— «Русский архив», 1868, № 3, стр. 373—410.
Асланбегов А. Адмирал Павел Степанович Нахимов.— «Морской сборник», 1868, № 3, отд. библиогр., стр. 1—32.
Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. XIV. СПб., 1900, стр. 63—71.
Берг Н. Записки об осаде Севастополя. Т. I. М., 1858.
Богданович М. И. Восточная война. Ч. III. СПб., 1876.
Гюббенет Х. Я. Воспоминания об осаде Севастополя 1854—1855 г.— «Русская старина», 1889, № 1, стр. 75—99.
Лихачев Н. В Севастополе 50 лет назад.— «Русская старина», 1904, № 5, стр. 337—345.
Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя под ред. Н. Дубровина. Вып. 1. СПб., 1871.
Сборник известий, относящихся до настоящей войны, изд. Н. Путиловым. Кн. 27. СПб., 1856.
Соколов А. Некролог. Адмирал Павел Степанович Нахимов.— «Морской сборник», 1855, № 7, отд. IV, стр. 158—167.

Литература

Адмирал П. С. Нахимов. СПб., 1872.
Белавенец. Адмирал П. С. Нахимов. Севастополь, 1902.
Дубровин Н. История Крымской войны. Т. III. СПб., 1900.
Найда С. Адмирал Нахимов. М., 1945.
Новиков Н. Адмирал Нахимов. М., 1944.
Тарле Е. Нахимов. М., 1948.

Глава XVI. Вторая Балтийская кампания 1855 г.

Источники

«Морской сборник», т. XVII, № 8. СПб., 1855.
«Морской сборник», т. XIX, № 11. СПб., 1855.
Приготовления англичан к военным действиям в Балтийском море в 1855 г.— «Морской сборник», т. XIV, № 2. СПб., 1855, стр. 266—267.
Сборник известий, относящихся до настоящей войны, изд. Н. Путиловым. Кн. 30, 32. СПб., 1857—1859.
Эгерштром Н. Воспоминания о Восточной войне одного из ее участников.— «Военный сборник», 1904, № 10, стр. 35—42.

Bazancourt. L'expédition de Crimée. La marine française dans la mer Noire et la Baltique. T. II. P., Amyot, s. a.
Russian war, 1855. Baltic offic. correspondence. Ed. by D. Bonner-Smith. Lond., 1944. (Public. of the Navy Record Society. Vol. 84).

Литература

Бородкин М. Война на Финском побережье 1854—1855 гг. СПб., 1903.
Гауровиц. Обзор болезней и распоряжений по медицинской части на Балтийском флоте в кампанию 1855 г. СПб., 1856.
Генрот А. Ф. Описание восточной войны 1853—1856 гг. СПб., 1872.
Зюзенков И. П. Морской флот России в Крымской войне 1853—1856 гг.— «Труды Военно-политической академии им. В. И. Ленина», сб. 4, 1940, стр. 137—173.
Кренке В. Д. Оборона Балтийского побережья в 1854—1856 гг. СПб., 1887.
Guérin L. Histoire de la dernière guerre de Russie. T. II. P., 1858.
Kaufmann. La Russie et l'Europe. P., 1865.
Ladimir J. et Arnoul N. La guerre, histoire complète des opérations militaires en Orient et dans la Baltique pendant les années 1853 à 1856. Vol. I—II. P., 1859.
O'squarr. La guerre dans la Baltique. Vol. I—II. Bruxelles, 1858.
Richild-Orivel. La marine dans l'attaque des fortifications et le bombardement des villes du littoral. Bomarsund, Odessa, Sweaborg, Kinburn. P., 1856.

Глава XVII. Черная речка 4 августа 1855 г.

Источники

Алабин П. В. Походные записки в войну 1853—1856 гг. Ч. II. Вятка, 1861.
Бой при р. Черной 4 августа 1855 г. Сообщ. И. И. Красовский.— «Русская старина», 1876, № 10, стр. 363—364.
Горчаков М. Д. Сражение при Черной.— «Русская старина», 1876, май.
Гюббенет Х. Я. Воспоминания об обороне Севастополя 1854—1855 гг.— «Русская старина», 1889, № 1, стр. 76—99.
Из личных воспоминаний о Крымской войне. — «Русский архив», 1874, № 4.
К истории сражения при р. Черной, 4 августа 1855 г. (Письма). Сообщ. Н. Шильдер. — «Военный сборник», 1903, № 4, стр. 245—264.
Красовский И. И. Из воспоминаний о войне 1853—1856 гг. Дело на Черной речке. М., 1874.
Кузмин П. Описание участия 5-й пехотной дивизии в деле при р. Черной 4 августа 1855 г. СПб., 1859.
Меньков П. К. Записки. Т. I. СПб., 1898.
Остен-Сакен Д. Е. Военный совет при обороне Севастополя 29 июля 1855 г.— «Русская старина», 1874, октябрь, стр. 330—338.
Полторацкий А. На реке Черной в Крыму.— «Русская старина», 1882, № 6, стр. 739—742.
Протопопов И. Очерк осады и обороны Севастополя. Одесса, 1885.

Сборник рукописей, представленных ... о севастопольской обороне севастопольцами. Т. I—II. СПб., 1872—1873.

Святополк-Мирский Д. И. Воспоминания о сражении при Черной речке 4 августа 1855 г. Пенза, 1897.

Смерть барона Вревского. — «Русская старина», 1876, № 1, стр. 221—222.

Сражение при Черной 4 августа 1855 г.— «Русская старина», 1876, № 5, стр. 161—171.

Супонев А. Н. Из воспоминаний.— «Русский архив», 1895, № 10.

Столыпин Д. А. Из личных воспоминаний о Крымской войне (Дело на Черной).— «Русский архив», 1874, кн. 1, стр. 1358—1374.

Хрущов А. П. История обороны Севастополя. 3 изд. СПб., 1889.

Bataille de la Tchernaïa gagnée par l'armée française et les troupes alliées sur les Russes. P., 1855.

Grande victoire remportée sur les Russes en Crimée sur la Tchernaïa. Bombardement de Sweaborg sur la Baltique. Lyon, [1855].

Глава XVIII. Штурм 27 августа (8 сентября) 1855 г.

Источники

Берг Н. Записки об осаде Севастополя. Т. II. М., 1858.

Васильчиков В. И. Севастополь.— «Русский архив», 1891, № 6, стр. 167—256.

Вышеславцев А. Севастополь 27 августа 1855 г.— «Морской сборник», 1856, № 9, стр. 72—84.

Вязмитинов А. А. Севастополь от 21 марта по 28 августа 1855 г.— «Русская старина», 1882, № 4, стр. 1- 70.

Глебов Н. Н. Записки.— «Русская старина», 1905, № 3, стр. 494—558.

Духонин Л. Г. Под Севастополем в 1853—1856 гг.— «Русская старина», 1885, № 11, стр. 591—612.

Ершов А. И. Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера. СПб., 1891.

Ильинский Д. В. Из воспоминаний и заметок севастопольца.— «Русский архив», 1893, № 4, стр. 329—335.

Колчак В. Война и плен 1853—1855 гг. СПб., 1904.

Константинов О. И. Штурм Малахова кургана 27 и 28 августа 1855 г.— «Русская старина», 1875, № 11, стр. 568—586.

Корвин-Павловский И. Из воспоминаний севастопольца.— «Военный сборник», 1871, № 12, стр. 287—326.

Крыжановский Н. А. Севастополь и его защитники в 1855 г.— «Русская старина», 1886, № 5, стр. 401—435.

Кто последний оставил Севастополь?— «Русская старина», 1875, май.

Милошевич Н. С. Из записок севастопольца. СПб., 1904.

Милошевич Н. С. Севастополь в ночь с 27 на 28 августа 1855 г.— «Русская старина», 1886, № 12, стр. 698—708.

Орда А. Заметки инж. о причинах взятия Малахова кургана.— «Военный сборник», т. II, 1858.

Пароход «Владимир» при штурме Севастополя 27/VIII 1855 г.— «Русская старина», 1876, № 6, стр. 398.

Протопопов И. Очерк осады и обороны Севастополя. Одесса, 1885.

Сборник известий, относящихся до настоящей войны, изд. Н. Путиловым. Кн. 29. СПб., 18..7.

Сборник рукописей, представленных... о севастопольской обороне севастопольцами. Т. II. СПб., 1872.

Супонев А. Н. Сороковая годовщина Севастополя. (Из крымских воспоминаний).— «Русский архив», 1895, № 11, стр. 257—268.

Тотлебен Э. И. Описание обороны города Севастополя. Ч. II. СПб., 1871.

Хрущов А. П. Выдержки из писем 1853—1859 гг.— «Русская старина», 1892, № 9, стр. 593—614.

Хрущов А. П. История обороны Севастополя. 3 изд. СПб., 1889.

Литература

Вейгельт. Осада Севастополя. СПб., 1863.

Гейрот А. Описание восточной войны 1853—1856 гг. СПб., 1872.

Дубровин Н. История Крымской войны и оборона Севастополя. Т. III. СПб., 1900.

Bedollière E. Kinburn. P., Panthéon populaire, s. a.

Du Casse P. Précis historique des opérations militaires en Orient de mars 1854 à sept. 1855. P., 1856.

Hamley E. The story of the campaign of Sebastopol. Lond., 1855.

Глава XIX. Военные действия на Северном Кавказе и в Закавказье в 1854—1855 гг. Взятие Карса

Маркс К. Падение Карса.— Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд., т. 11, стр. 633—667.

Источники

А. О. Воспоминание о штурме Карса (17 сентября 1855 г.).— «Военный сборник», т. XVIII. СПб., 1861, стр. 115—134.

Блокада Карса. Письма очевидцев о походе 1855 г. в Азиатскую Турцию. Тифлис, 1856.

Броневский П. Письмо.— «Щукинский сборник», вып. IX. М., 1910.

Воспоминания о кампании 1855 года в Азиатской Турции. Из архива А. М. Дондукова-Корсакова.— «Старина и новизна», кн. XIX. П., 1915, стр. 27—89.

Н. О. Воспоминания офицера закавказской армии. СПб., 1857.

К. Л. Н. Из записок и воспоминаний о походе в Азиатскую Турцию в 1855 г.— «Военный сборник», 1868, № 6, стр. 221—290.

Князь М. С. Воронцов и Н. Н. Муравьев в письмах к М. Т. Лорис-Меликову, 1852—1856 гг.— «Русская старина», 1884, № 9, стр. 589—598.

Корсаков А. С. Воспоминания о Карсе.— «Русский вестник», 1861, № 8.

Лихутин М. Русские в Азиатской Турции в 1854 и 1855 гг. СПб., 1863.

Мамулов. Ночное дело под Карсом с 22 на 23 августа 1855 г.— «Военный сборник», 1869, № 10, стр. 137—140.

Муравьев Н. Н. Война за Кавказом в 1855 г., т. I, ч. 1—2; т. II, ч. 3—4. СПб., 1876.

Ольшевский М. Я. Кавказ с 1841 по 1866 год. Записки.— «Русская старина», 1894, №№ 7, 9.

Ольшевский М. Я. Русско-турецкая война за Кавказом.— «Русская старина», 1884, №№ 10—12.

Орсус И. И. Штурм, блокада и взятие Карса в 1855 г.— «Русская старина», 1877, № 8, стр. 559—587.

Осман-Бей. Воспоминания 1855 года. События в Грузии и на Кавказе.— «Кавказский сборник», т. II. Тифлис, 1877.
П. Ф. К. Штурм Карса 17 сентября 1855 г. (Из записок очевидца, полковника де Сада).— «Исторический вестник», 1898, № 7, стр. 92—110.
Переписка А. А. Неверовского.— «Русский архив», 1913, № 8, 9.
Потто В. А. Блокада и штурм Карса (по неизданным запискам Я. П. Бакланова и рассказам прочих участников в событии).— «Русская старина», 1870, № 12, стр. 567—610.
Потто В. А. Воспоминания о Закавказском походе 1855 года.— «Кавказский сборник», т. XXV. Тифлис, 1906.
Рудаков П. Д. Два эпизода из войны 1853—1856 гг. в Азиатской Турции.— «Русская старина», 1883, № 12, стр. 523—551.
Сборник известий, относящихся до настоящей войны, изд. Н. Путиловым. Кн. 29. СПб., 1857.
Степанов П. И. Из записок.—«Русская старина», 1906, №№ 1,2.
Щербинин М. П. Кн. М. С. Воронцов и Н. Н. Муравьев.— «Русская старина», 1874, № 9.
Lake A. Kars and our captivity in Russia. 2 ed. Lond., 1856.
Lake A. Narrative of the defence of Kars historical and military. Lond., 1857.
Monteith W. Kars and Erzeroum. Lond., 1856.
Oliphant L. The Trans-Caucasian campaign of the Turkish army under Omer pasha. Edinburgh, 1856.
Russian war, 1855. Black sea offic. correspondence. Ed. A. C. Dewar. Lond., 1945. (Public. of the Navy Record Society. Vol. 85).
Sandwith H. A narrative of the siege of Kars. Lond., 1856.

Литература

Гейрот А. Описание восточной войны 1853—1856 гг. СПб., 1872.
Покровский М. Военные действия у Новороссийска и на Таманском полуострове во время Крымской войны 1853—1855 гг.— «Кубань», лит.-худ. альманах (Краснодар), 1949, № 7, стр. 144—169.
Потто В. Карские торжества в 1910 г. и четыре штурма Карса Тифлис, 1911.

Глава XX. Парижский конгресс и мир

Источники

А. А. Г. Выдержки из журнала маршала Кастеллана, касающиеся восточной войны 1853—1856 гг.— «Русская старина», 1898, № 8, стр. 369—381.
Восточный вопрос в 1856—1859 гг.—«Русская старина», 1904, № 2—5.
К истории Парижского мира 1856 г.— «Красный архив», 1936, № 2, стр. 10—61.
Мартенс Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами, т. 15. Трактаты с Францией. СПб., 1909.
Нессельроде К. В. Записка о политическом положении России в 1856 г.— «Русский архив», 1872, стр. 336—350.
Рассказы А. М. Горчакова.— «Русская старина», 1883, № 10.
Сборник известий, относящихся до настоящей войны, изд. Н. Путиловым. Кн. 33. СПб., 1859.
Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Ч. II. М., 1929.
Albin P. Les grands traités politiques. Recueil des principaux textes diplomatiques depuis 1815 jusqu'à nos jours. P., 1911.
Congrès de Paris. Décret impérial portant promulgation du traité de paix et d'amitié conclu le 30 mars 1856 entre la France, l'Autriche,

le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie. P., 1856.
Traité de paix et d'amitié entre la France, l'Autriche, le Royaume uni de la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie, conclu et signé au congrès de Paris, le 30 mars 1856. P., 1856.

Литература

История дипломатии. Т. I. М., 1941.
Петров А. Н. Русские дипломаты на Парижском конгрессе 1856 г.— «Исторический вестник», 1891, № 1, стр. 98—119; № 2, стр. 386—413; № 3, стр. 672—705.
Улянницкий В. Дипломатия во время Восточной войны и Парижский трактат 1856 г. — «Русский вестник», 1877, № 12, стр. 724—771.
Angeberg. Le traité de Paris. P., 1873.
Bedollière E. Le congrès de Paris. P., Panthéon populaire, s. a.
Charles-Roux F. Alexandre II, Gortchakoff et Napoléon III. P., 1913.
Debidour A. Histoire diplomatique de l'Europe. Vol. II. P., 1891.
Desjardins A. Le congrès de Paris et la jurisprudence internationale. P., 1884.
Gathy A. Histoire diplomatique de la question orientale de 1853 à 1856. Bruxelles, 1858.
Gourdon E. Histoire du congrès de Paris. P., 1857.
Guichen. La guerre de Crimée et l'attitude des puissances européennes. P., 1936.
[Jomini A. H.]. Etude diplomatique sur la guerre de Crimée par un ancien diplomate, t. I—II. SPB., 1878. (Русский перевод: Жомини А. Г. Россия и Европа в эпоху Крымской войны.— «Вестник Европы», 1886, октябрь, стр. 550—619).
Lamarche H. L'Europe et la Russie. Remarques sur le siège de Sébastopol et sur la paix de Paris. P., 1857.
Monicault G. La question d'Orient. Le traité de Paris et ses suites (1856—1871). P., 1898.
Raymond X. La guerre et la conférence.— «Revue des deux mondes», 1856, 15.III, p. 348—387.
Sirtema de Grovestius. Le congrès de Vienne en 1814 et 1815, et le congrès de Paris en 1856. P., 1856.
Temperley H. The treaty of Paris of 1856 and its execution.— Journal of modern history (Chicago), 1932, sept., p. 387—414; dec., p. 523—543.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ

Пять пунктов, предъявленных Австрией России от имени союзных держав в качестве условий мирных переговоров (декабрь 1855)

1. Дунайские княжества

Совершенная отмена русского покровительства.

Россия не будет пользоваться никаким особенным или исключительным правом вмешательства во внутренние дела Княжеств.

Княжества сохранят свои преимущества и льготы, под верховною властью Порты, и Султан, с согласия Договаривающихся Держав, утвердит в Княжествах устройство, сообразно с нуждами и желаниями народа.

В Княжествах, с согласия Порты, будет введена постоянная оборонительная система, соответствующая их географическому положению; принятие ими чрезвычайных мер для обороны не должно встречать никакого препятствия.

Россия, взамен крепостей и земель, занятых Союзными войсками, соглашается на проведение новой границы в Бессарабии. Эта граница, в видах общих интересов, начинаясь от окрестностей Хотина, пройдет вдоль горной цепи, по юго-восточному направлению, до озера Салзыка. Пограничная черта будет определена окончательно мирным трактатом и уступленное пространство будет присоединено к Княжествам под верховной властью Порты.

2. Дунай

Свобода судоходства по Дунаю и Дунайским гирлам будет существенно обеспечена европейскими комиссиями, составленными из равного числа представителей от всех Договаривающихся Держав; частные же интересы прибрежных владений будут приняты во внимание на основании правил, определенных Актом Венского конгресса, по предмету речного судоходства.

Каждая из Договаривающихся Держав будет иметь право содержать по одному или по два легких морских судна у дунайских устьев, чтобы охранять свободу судоходства по Дунаю.

3. Черное море

Черное море будет объявлено нейтральным.

Открытый в него вход для торгового мореплавания всех народов воспрещается военным судам.

Посему на берегах Черного моря не будут ни заведены, ни оставлены никакие военно-морские арсеналы.

Покровительство торговых интересов всех народов будет обеспечено в портах Черного моря учреждениями, сообразными с международным правом и установившимися обычаями.

Обе прибрежные Державы условятся между собою насчет числа и силы легких судов, которые они будут содержать в Черном море. Конвенция между ними, по сему предмету, по предварительном принятии ее Договаривающимися Державами, приложится к общему трактату и будет иметь такую же силу, как еслиб составляла его часть. Она не может быть ни уничтожена, ни изменена без согласия Договаривающихся Держав.

Закрытие проливов допустит исключение, помянутое в предыдущем пункте.

4. Христиане — подданные Порты

Права и льготы христиан — подданных Порты — будут обеспечены без нарушения независимости и достоинства турецкого правительства.

Россия, по заключении мира, будет приглашена к участию в распоряжениях, принятых Австриею, Франциею, Великобританиею и Портою, для облегчения религиозных и политических прав христиан — подданных Султана.

5. Особенные условия

Воюющие державы предоставляют себе право предъявить на общую пользу Европы особенные условия сверх четырех прежних.

Трактат, заключенный в Париже 18/30 марта 1856 г.

Ст. I. Со дня размена Ратификаций настоящего Трактата, быть на вечные времена миру и дружеству между Его Величеством Императором Всероссийским с одной, и Его Величеством Императором Французов, Ее Величеством Королевою Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, Его Величеством Королем Сардинским и Его Императорским Величеством Султаном — с другой стороны, между Их Наследниками и Преемниками, Государствами и подданными.

Ст. II. Вследствие счастливого восстановления мира между Их Величествами, земли, во время войны завоеванные и занятые Их войсками, будут ими очищены.

О порядке выступления войск, которое должно быть учинено в скорейшее по возможности время, поставлены будут особые условия.

Ст. III. Его Величество Император Всероссийский обязуется возвратить Его Величеству Султану город Карс с цитаделью оного, а равно и прочие части Оттоманских владений, занимаемые Российскими войсками.

Ст. IV. Их Величества Император Французов, Королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, Король Сардинский и Султан обязуются возвратить Его Величеству Императору Всероссийскому города и порты: Севастополь, Балаклаву, Камыш, Евпаторию, Керчь-Еникале, Кинбурн, а равно и все прочие места, занимаемые союзными войсками.

Ст. V. Их Величества Император Всероссийский, Император Французов, Королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, Король Сардинский и Султан даруют полное прощение тем из Их

подданных, которые оказались виновными в каком-либо в продолжение военных действий соучастии с неприятелем.

При сем постановляется именно, что сие общее прощение будет распространено и на тех подданных каждой из воевавших Держав, которые во время войны оставались на службе другой из воевавших Держав.

Ст. VI. Военнопленные будут немедленно возвращены с той и другой стороны.

Ст. VII. Его Величество Император Всероссийский, Его Величество Император Австрийский, Его Величество Император Французов, Ее Величество Королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, Его Величество Король Прусский и Его Величество Король Сардинский объявляют, что Блистательная Порта признается участвующею в выгодах общего права и союза Держав Европейских. Их Величества обязуются каждый с своей стороны уважать независимость и целость Империи Оттоманской, обеспечивают совокупным своим ручательством точное соблюдение сего обязательства и вследствие того будут почитать всякое в нарушение оного действие вопросом, касающимся общих прав и пользы.

Ст. VIII. Если между Блистательною Портою и одной или несколькими из других заключивших сей Трактат Держав возникнет какое-либо несогласие, могущее угрожать сохранению дружественных между ними сношений, то и Блистательная Порта, и каждая из сих Держав, не прибегая к употреблению силы, имеют доставить другим договаривающимся сторонам возможность предупредить всякое дальнейшее столкновение, через свое посредничество.

Ст. IX. Его Императорское Величество Султан, в постоянном попечении о благе своих подданных, даровав фирман, коим улучшается участь их, без различия по вероисповеданиям или племенам, и утверждаются великодушные намерения Его касательно Христианского народонаселения Его Империи, и желая дать новое доказательство Своих в сем отношении чувств, решился сообщить Договаривающимся Державам означенный, изданный по собственному Его побуждению, фирман.

Договаривающиеся Державы признают высокую важность сего сообщения, разумея при том, что оно ни в коем случае не даст сим Державам права вмешиваться, совокупно или отдельно, в отношения Его Величества Султана к Его подданным и во внутреннее управление Империи Его.

Ст. X. Конвенция 13 июля 1841 года, коею поставлено соблюдение древнего правила Оттоманской Империи относительно закрытия входа в Босфор и Дарданеллы, подвергнута новому с общего согласия рассмотрению.

Заключенный Высокими Договаривающимися Сторонами сообразный с вышеозначенным правилом акт прилагается к настоящему Трактату, и будет иметь такую же силу и действие, как еслиб он составлял неотдельную оного часть.

Ст. XI. Черное море объявляется нейтральным; открытый для торгового мореплавания всех народов вход в порты и воды оного формально и навсегда воспрещается военным судам, как прибрежных, так и всех прочих Держав, с теми токмо исключениями, о коих постановляется в статьях XIV и XIX настоящего Договора.

Ст. XII. Свободная от всяких препятствий торговля в портах и на водах Черного моря будет подчинена одним лишь карантинным, таможенным, полицейским постановлениям, составленным в духе, благоприятствующем развитию сношений торговых.

Дабы пользам торговли и мореплавания всех народов даровать все желаемое обеспечение, Россия и Блистательная Порта будут допускать

Консулов в порты свои на берегах Черного моря, согласно с правилами международного права.

Ст. XIII. Вследствие объявления Черного моря нейтральным, на основании статьи XI, не может быть нужно содержание или учреждение военно-морских на берегах оного арсеналов, как не имеющих уже цели, а посему Его Величество Император Всероссийский и Его Императорское Величество Султан обязуются не заводить и не оставлять на сих берегах никакого военно-морского арсенала.

Ст. XIV. Их Величествами Императором Всероссийским и Султаном заключена особая Конвенция, определяющая число и силу легких судов, которые они предоставляют себе содержать в Черном море, для нужных по прибрежию распоряжений. Сия Конвенция прилагается к настоящему Трактату и будет иметь такую же силу и действие, как еслиб она составляла неотдельную его часть. Она не может быть ни уничтожена, ни изменена без согласия Держав, заключивших настоящий Трактат.

Ст. XV. Договаривающиеся Стороны, с взаимного согласия, постановляют, что правила, определенные Актом Конгресса Венского, для судоходства по рекам, разделяющим разные владения или протекающим чрез оные, будут впредь применяемы вполне к Дунаю и устьям его. Они объявляют, что сие постановление отныне признается принадлежащим к общему народному Европейскому праву и утверждается Их взаимным ручательством.

Судоходство по Дунаю не будет подлежать никаким затруднениям и пошлинам, кроме тех, которые именно определяются нижеследующими статьями. Вследствие сего не будет взимаемо никакой платы собственно за самое судоходство по реке и никакой пошлины с товаров, составляющих груз судов. Правила полицейские и карантинные, нужные для безопасности Государств, прибрежных сей реке, должны быть составлены таким образом, чтобы оные сколь можно более благоприятствовали движению судов. Кроме сих правил, свободному судоходству не будет поставляемо никакого рода препятствий.

Ст. XVI. Для приведения в действие постановлений предыдущей статьи, учредится Комиссия, в коей Россия, Австрия, Франция, Великобритания, Пруссия, Сардиния и Турция будут иметь каждая своего депутата. Сей Комиссии будет поручено предназначить и привести в исполнение работы, нужные для очистки Дунайских гирл, начиная от Исакчи, и прилегающих к оным частей моря, от песка и других заграждающих оные препятствий, дабы сия часть реки и упомянутые части моря сделались вполне удобными для судоходства.

Для покрытия расходов, нужных как для сих работ, так и на заведения, имеющие целью облегчить и обеспечить судоходство по Дунайским гирлам, будут постановлены постоянные с судов соразмерные с надобностию пошлины, которые должны быть определены Комиссиею по большинству голосов и с непременным условием, что в сем отношении и во всех других соблюдаемо будет совершенное равенство относительно флагов всех наций.

Ст. XVII. Будет также учреждена Комиссия из членов со стороны Австрии, Баварии, Блистательной Порты и Виртемберга (по одному от каждой из сих держав); к ним будут присоединены и комиссары трех Придунайских княжеств, назначенные с утверждения Порты. Сия Комиссия, которая должна быть постоянною, имеет: 1, составить правила для речного судоходства и речной полиции; 2, устранить все какого-либо рода препятствия, которые встречает еще применение постановлений Венского Трактата к Дунаю; 3, предположить и привести в исполнение нужные по всему течению Дуная работы; 4, по упразднении общей предназначаемой статьею XVI Европейской Комиссии, наблюдать за содержанием в надлежащем для судоходства состоянии Дунайских гирл и частей моря, к ним прилегающих.

Ст. XVIII. Общая Европейская Комиссия должна исполнить все ей поручаемое, а Комиссия прибрежная привести к окончанию все работы, означенные в предыдущей статье, под №№ 1 и 2, в течение двух лет. По получении о том известия, Державы, заключившие сей Трактат, постановят определение об упразднении общей Европейской Комиссии, и с сего времени постоянной прибрежной Комиссии передана будет власть, которою дотоле имеет быть облечена общая Европейская.

Ст. XIX. Дабы обеспечить исполнение правил, кои с общего согласия будут постановлены на основании изложенных выше сего начал, каждая из Договаривающихся Держав будет иметь право содержать во всякое время по два легких морских судна у Дунайских устьев.

Ст. XX. Взамен городов, портов и земель, означенных в статье IV настоящего Трактата, и для вящшего обеспечения свободы судоходства по Дунаю, Его Величество Император Всероссийский соглашается на проведение новой граничной черты в Бессарабии.

Началом сей граничной черты постановляется пункт на берегу Черного моря в расстоянии на один километр к востоку от соленого озера Бурнаса; она примкнет перпендикулярно к Аккерманской дороге, по коей будет следовать до Траянова вала, пойдет южнее Болграда, и потом вверх по реке Ялпуху до высоты Сарацика и до Катамори на Пруте. От сего пункта вверх по реке прежняя между обеими Империями граница остается без изменения.

Новая граничная черта должна быть означена подробно нарочными комиссарами Договаривающихся Держав.

Ст. XXI. Пространство земли, уступленное Россиею, будет присоединено к Княжеству Молдавскому под Верховною властию Блистательной Порты.

Живущие на сем пространстве земли будут пользоваться правами и преимуществами, присвоенными Княжествам, и в течение трех лет им дозволено будет переселяться в другие места и свободно распорядиться своею собственностию.

Ст. XXII. Княжества Валахское и Молдавское будут под Верховною Властию Порты и, при ручательстве Договаривающихся Держав, пользоваться преимуществами и льготами, коими пользуются ныне. Ни которой из ручающихся Держав не предоставляется исключительного над оными покровительства. Не допускается никакое особое право вмешательства во внутренние дела их.

Ст. XXIII. Блистательная Порта обязуется оставить в сих Княжествах независимое и национальное управление, а равно и полную свободу вероисповедания, законодательства, торговли и судоходства.

Действующие ныне в оных законы и уставы будут пересмотрены. Для полного соглашения касательно сего пересмотра, назначена будет особая Комиссия, в составе коей Высокие Договаривающиеся Державы имеют условиться. Сия Комиссия должна без отлагательства собраться в Бухаресте; при оной будет находиться Комиссар Блистательной Порты.

Сия Комиссия имеет исследовать настоящее положение Княжеств и предложить основания их будущего устройства.

Ст. XXIV. Его Величество Султан обещает немедленно созвать в каждой из двух областей нарочный для того Диван, который должен быть составлен таким образом, чтобы он мог служить верным представителем польз всех сословий общества. Сим Диванам будет поручено выразить желания народонаселения касательно окончательного устройства Княжеств.

Отношения Комиссии к сим Диванам определятся особою от Конгресса инструкциею.

Ст. XXV. Приняв мнение, которое будет представлено обоими Диванами, в надлежащее соображение, Комиссия немедленно сообщит в на-

стоящее место заседания конференций результаты своего собственного труда.

Окончательное соглашение с Верховною над Княжествами Державою должно быть утверждено Конвенциею, которая будет заключена Высокими Договаривающимися сторонами в Париже, и Хатти-Шерифом, согласным с постановлениями Конвенции, дано будет окончательное устройство сим областям при общем ручательстве всех подписавшихся Держав.

Ст. XXVI. В Княжествах будет национальная вооруженная сила, для охранения внутренней безопасности и обеспечения безопасности границ. Никакие препятствия не будут допускаемы в случае чрезвычайных мер обороны, которые, с согласия Блистательной Порты, могут быть приняты в Княжествах для отражения нашествия извне.

Ст. XXVII Если внутреннее спокойствие Княжеств подвергнется опасности или будет нарушено, то Блистательная Порта войдет в соглашение с прочими Договаривающимися Державами о мерах, нужных для сохранения или восстановления законного порядка. Без предварительного соглашения между сими Державами не может быть никакого вооруженного вмешательства.

Ст. XXVIII. Княжество Сербское остается, как прежде, под Верховною Властию Блистательной Порты, согласно с Императорскими Хатти-Шерифами, утверждающими и определяющими права и преимущества оного при общем совокупном ручательстве Договаривающихся Держав.

Вследствие сего, означенное Княжество сохранит свое независимое и национальное управление и полную свободу вероисповедания, законодательства, торговли и судоходства.

Ст. XXIX. Блистательная Порта сохраняет определенное прежними постановлениями право содержания гарнизона. Без предварительного соглашения между Высокими Договаривающимися Державами не может быть допущено никакое вооруженное в Сербии вмешательство.

Ст. XXX. Его Величество Император Всероссийский и Его Величество Султан сохраняют в целости владения свои в Азии, в том составе, в коем они законно находились до разрыва.

Во избежание всяких местных споров, линии границы будут поверены и в случае надобности исправлены, но таким образом, чтобы от сего не могло произойти никакого в поземельном владении ущерба ни для той, ни для другой стороны.

На сей конец, немедленно по восстановлении дипломатических сношений между Российским Двором и Блистательною Портою, послана будет на место составленная из двух Комиссаров Российских, двух Комиссаров Оттоманских, одного Комиссара Французского и одного Комиссара Английского, Комиссия. Она должна исполнить возлагаемое на нее дело в продолжение восьми месяцев, считая со дня размена ратификаций настоящего Трактата.

Ст. XXXI. Земли, занятые во время войны войсками Их Величеств Императора Австрийского, Императора Французов, Королевы Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии и Короля Сардинского, на основании Конвенций, подписанных в Константинополе 12 марта 1854 года между Франциею, Великобританиею и Блистательною Портою, 14 июня того же года между Блистательною Портою и Австриею, а 15 марта 1855 года между Сардиниею и Блистательною Портою, будут очищены после размена ратификаций настоящего Трактата в скорейшее по возможности время. Для определения сроков и средств исполнения сего имеет последовать соглашение между Блистательною Портою и Державами, коих войска занимали земли ее владений.

Ст. XXXII. Доколе Трактаты или Конвенции, существовавшие до войны между воевавшими Державами, не будут возобновлены или заменены новыми Актами, взаимная торговля, как привозная, так и отвозная,

должна производиться на основании постановлений, имевших силу в действие до войны, и с подданными сих Держав, во всех других отношениях, поступаемо будет наравне с нациями, наиболее благоприятствуемыми.

Ст. XXXIII. Конвенция, заключенная сего числа между Его Величеством Императором Всероссийским с одной и Их Величествами Императором Французов и Королевою Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии с другой стороны, относительно островов Аландских, прилагается и остается приложенною к настоящему Трактату и будет иметь такую же силу и действие, как еслиб оная составляла неотдельную часть его.

Ст. XXXIV. Настоящий Трактат будет ратификован и ратификации оного будут разменены в Париже в течение четырех недель, а если можно и прежде.

Статья дополнительная и временная

Постановления подписанной сего числа Конвенции о проливах не будут применяемы к военным судам, кои воевавшими Державами употреблены будут для вывода морским путем войск их из земель, ими занимаемых. Сии постановления войдут в полную силу, как только сей вывод войск будет приведен к окончанию.

В Париже, в 30-й день марта 1856 года.

Конвенция касательно проливов Дарданелл и Босфора

Ст. I. Его Величество Султан, с одной стороны, объявляет, что Он имеет твердое намерение соблюдать на будущее время постановление неизменно принимавшееся, как древнее правило Его Империи, в силу коего всегда было воспрещаемо военным судам Держав Иностранных входить в проливы Дарданелл и Босфора, и что доколе Порта будет находиться в мире, Его Величество не допустит никакого иностранного военного судна в означенные проливы.

А Их Величества Император Всероссийский, Император Австрийский Император Французов, Королева Соединенных Королевств Великобритании и Ирландии, Король Прусский и Король Сардинский, с другой стороны, обязуются уважать сие решение Султана и сообразоваться с вышеизъясненным правилом.

Ст. II. Султан предоставляет себе, как и прежде, выдавать фирманы для прохода легких под военным флагом судов, которые будут употребляемы, по существующему обыкновению, при миссиях дружественных с Портою Держав.

Ст. III. То же самое изъятие допускается в отношении к легким под военным флагом судам, которые каждая из Договаривающихся Держав имеет право содержать при устьях Дуная, для обеспечения исполнения постановлений о свободе судоходства по сей реке, и коих число не должно превышать двух для каждой Державы.

Ст. IV. Настоящая Конвенция, приложенная к общему Трактату, подписанному сего числа в Париже, будет ратификована, и ратификации оной будут разменены в течение четырех недель, а если можно и прежде.

Конвенция о русских и турецких военных судах в Черном море

Ст. I. Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно обязуются не иметь в Черном море иных военных судов, кроме тех, коих число, сила и размеры определены, как ниже следует.

Ст. II. Высокие Договаривающиеся Стороны предоставляют себе содержать каждая по шести в означенном море паровых судов в 50 метров длины по ватерлинии, вместительностию не свыше 800 тонн; и по четыре

легких паровых или парусных судна, коих вместительность не должна превышать 200 тонн в каждом.

Ст. III. Настоящая Конвенция, приложенная к общему Трактату, подписанному сего числа в Париже, будет ратификована, и ратификации оной будут разменены в течение четырех недель, а если можно и прежде.

Конвенция об Аландских островах

Ст. I. Его Величество Император Всероссийский, согласно с желанием, изъявленным Ему Их Величествами Императором Французов и Королевою Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, объявляет, что Аландские острова не будут укрепляемы и что на оных не будет содержимо, ни вновь сооружено никакого военного или морского заведения.

Ст. II. Настоящая Конвенция, приложенная к общему Трактату, подписанному сего числа в Париже, будет ратификована, и ратификации оной будут разменены в течение четырех недель, а если можно и прежде.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абдул-Меджид 18, 158, 544
Агорд, епископ 81
Адлерберг В. Ф., граф 324, 430
Айн Э. де 198, 211, 212, 568
Аксаков И. С. 223, 467, 468, 501, 502, 507, 509, 564, 569, 582
Аксаков К. С. 118
Аксаков С. Т. 117, 118, 467, 507, 564, 582
Аксакова В. С. 243, 515
Аксаковы 515, 564, 582
Алабин П. В. 393, 578
Александр I 19, 78, 236, 324, 499, 550
Александр II 17, 169, 270, 347, 363, 405, 407, 428—432, 448, 450, 467, 469, 472, 474, 498, 499, 501—503, 507, 509—511, 513—516, 520—522, 527, 529, 533, 537, 539, 541—547, 551, 552, 567, 574, 576—584
Александр, архимандрит 194, 195
Александр Македонский 98
Александра Федоровна 318
Али-паша, великий визирь 526, 529, 536
Али-паша 486
Аллонвиль д' 473
Альбединский П. П. 241, 243, 430
Альвенслебен А. 272, 273, 275—277
Ангудинов, лейтенант 204, 207, 208
Андраши 271
Андриянов А. 179
Андроников И. М., князь 478, 479, 498
Аничков В. М. 565
Анненков Н. Н. 102, 137, 559
Антонович П. А. 365
Аракчеев А. А. 236
Арбузов А. П., капитан 200—202, 212, 568
Аркас Н. А. 46, 419
Арним Г. Ф. 294, 297
Арслан-ага 487
Асланович 134

Багговут А. Ф., генерал 480
Багратион-Мухранский, генерал 492, 493
Базанкур С., барон 30, 32, 33, 109, 152, 180, 182, 351, 352, 373, 559, 560, 564, 566, 575, 579, 580
Базин И. А. 489
Бакланов Я. П., генерал 482, 484, 485, 487—492, 498, 581
Банст Ж. 22, 179, 180, 368, 559, 564, 566, 567, 570
Барагэ д'Илье А., генерал 14, 36, 61, 62, 64—70, 72, 82—86, 88, 89, 91
Барсуков Н. П. 560
Барятинский А. И. 482
Барятинский В. И. 123, 480
Баумгартен А. К. 244, 245, 570
Бах 285, 287, 292, 293
Бебутов В. О., генерал 466, 478—480, 482, 484, 492, 494, 498, 580
Бейст Ф. Ф. 271, 500
Белавенец П. И., лейтенант 411, 578
Беличев, мичман 357
Белкин 456, 457
Белль 497, 582
Бельгард К. А. 437
Бельназем А. 217
Бенедетти В. 518
Бенкендорф А. Х. 569
Берг Н. В. 255, 454, 457, 571, 578, 580
Берe 352
Беркли М. 58, 81
Бернадотт, см. Карл XIV
Бернадотты 78, 80

Бизо М., генерал 41, 265
Биллебрант 185
Бирюлев Н. А. 246, 247
Бисмарк О. фон 270, 536
Бланшар 81
Блерзи 132, 151, 565, 566
Блудов Д. Н., граф 503—505
Блудова А. Д., графиня 115, 504
Блудовы 506
Бобылев, генерал 306—308
Богданович М. И., генерал 376, 381, 408, 436, 480, 578—581
Богдзевич 458
Боданс 220
Бодиско, полковник 60, 64, 66, 70
Бонапарт, см. Наполеон I
Бонапарты 521
Борг 77
Бородкин М. 560
Боске П.-Ф.-Ж., генерал 22, 37, 108, 109, 111—113, 144, 161, 175, 180—182, 265, 352, 368, 370—372, 376, 378, 388, 403, 455, 460, 463
Боткин С. П. 579
Боше Ш. 16
Брабантский, герцог 336
Брайт Д. 30, 217, 560, 569
Браницкий К., граф 83
Брансьон А.-Э. 352
Бретон 460
Брук фон К.-Л., барон 296
Бруннер 196, 197
Бруннов Ф. И., барон 72, 267, 268, 272, 274, 283, 285, 500, 509, 510, 514—516, 518, 519, 522, 527—529, 531, 534, 536, 540, 542, 544, 546, 552, 571, 572, 582—584
Брюа А.-Ж., адмирал 33
Брюммер 480
Брюне, генерал 368, 382, 388, 393, 395
Брюховецкий И., гетман 18
Будберг А. Ф., барон 279
Будищев, полковник 384, 385
Бузник Г. 563
Буоль фон Шауэнштейн К.-Ф. 19, 80, 81, 270—287, 291—301, 328—336, 402, 500, 504, 511, 529, 531, 535—537, 539—541, 543, 544, 551, 572
Буркнэ Ф.-А. 274, 275, 278, 282, 284, 288, 295, 297—299, 318, 328—334, 402, 546
Буссау, генерал 454
Бутаков Г. И. 155, 239, 381, 566
Бутурлин М. Д. 178, 567
Бутурлин С. П. 436
Бухмейер А. Е. 410, 436
Бьюфорты-Рагланы 399, 400
Бэргойн Д.-Ф. 124, 125, 265
Бэрридж, капитан 201

Валевская, графиня 510
Валевский Ф.-А., граф 499, 500, 509, 510, 515—519, 523—525, 527—533, 536—540, 542, 544, 545, 548—550, 583
Валуев П. А. 223, 569
Вальян Ж.-Б. 18, 28, 38, 143
Варлаам Успенский 193
Варшавский, князь, см. Паскевич И. Ф.
Васильчиков В. И. 89, 90, 96, 109, 118, 128, 134, 189—191, 220, 232, 243, 246, 255, 261, 360, 362, 386, 396, 397, 405—408, 434, 564, 569, 570, 577
Вассиф-паша 486, 491, 494
Ватовский 244
Вейгельт, капитан 218, 376, 560
Веймарн П. В. 439—441, 446
Вели-паша 482
Венецкий 458
Викорст, лейтенант 411
Виктор-Эммануил II 336
Виктория 198, 347
Вильгельм I 502
Вильгельм IV 582
Вильямс У.-Ф. 482, 486, 487, 489—491, 494
Вимпфен 402, 457, 577
Виндишгрец А.-Ф., генерал 284, 285
Вобер де Жанлис 176
Воеводский П. В. 262, 408, 413
Воейков П. А. 462
Волков, полковник 308, 573
Волохов 122
Воробьев 465
Воронцов М. С., князь 481, 484, 503—505, 507, 581, 582
Воронцовы-Дашковы 102, 563, 564
Ворцель С. 83
Врангель, генерал 364, 365, 479, 480
Вревский П. А. 430, 434, 436, 442, 579
Вронченко Ф. П. 97
Вуд Г.-Э. 399, 577
Вульф, контр-адмирал 364
Вунш В., генерал 109, 110, 117, 232, 564
Вяземская В. Ф. 509
Вяземский П. А., князь 114, 508, 509
Вязмитинов А. А. 415, 459, 465, 466, 580

Габсбурги 303
Гаврилов, лейтенант 203

Гамлэн Ф.-А., адмирал 8—10, 30, 32—34, 38, 57, 151, 290
Гарнье, полковник 384, 385, 388, 391
Гейден, граф 47, 559, 560
Генрици А.-А. 257, 308, 571, 573
Герлах Л. фон, генерал 16, 348, 559
Герсеванов Н. Б., генерал 106, 563
Герцен А. И. 429, 468, 469
Герштенцвейг А. Д. 46
Герэн Л. 182, 183, 218, 220, 265, 266, 567, 569, 571
Гесс Г., генерал 280, 284, 287, 288, 295, 299, 470
Гиртль 323
Гладиков 397, 398
Глазенап Б. А., контр-адмирал 100, 563
Гогенцоллерны 573
Голицин М. П., князь 114, 115, 564
Головнин А. В. 45, 564
Горн, капитан 386
Горчаков А. М., князь 269—281, 283—288, 291, 293—302, 318, 328—335, 337, 402, 499, 500, 504, 511, 514, 554, 572, 573—575, 577, 582—584
Горчаков М. Д., князь 102—104, 107, 134, 136, 137, 170, 177, 220, 226, 233, 237, 242, 244, 248—252, 255—259, 261, 263, 268, 279, 280, 290, 291, 305, 306, 309, 311, 312, 314, 315, 320, 344, 345, 347, 355, 359—363, 371, 374, 385, 405, 409, 410, 414, 429—442, 445, 446, 448—450, 455, 460, 461, 463—467, 470, 473, 482, 563, 565, 567, 569, 571, 572, 576, 577, 579, 580
Горчаков П. Д. 112, 167, 171, 176—178, 180, 183—188, 190, 237, 567
Госизон Д.-К. 561
Граббе П. Х., граф 46, 57, 560, 561
Грановский Т. Н. 416, 467, 580
Гревиль Ч. 274
Грей 79, 80
Грейг С. А., ротмистр 115, 116, 317
Грубер В. Л. 323
Грэхем Д.-Р. 51, 56, 60, 66, 72, 85—87, 92, 561, 562
Грядка 236
Губарев, поручик 203, 207, 208
Гюббенет 96, 239
Гюбнер И.-А., граф 289, 292, 297, 299, 302, 500, 531, 535, 539, 543, 544, 573

Дамас 218
Данильченко 458
Данненберг П. А. 168—173, 179, 182, 184—189, 220, 361
Дардель 77
Дарья Савельевна 71, 72
Дашков Я. А. 77
Дебу И. М. 138, 155, 477, 566, 569—571
Делорм А. 372, 576
Демидов, прапорщик 243
Ден В. И. 250, 419
Ден И. И., генерал 58
Депуант, адмирал 199, 201, 211, 212
Джервиз, адмирал 93, 567
Джонс Г.-Д. 373
Дибич-Забалканский 407
Долгорукий, князь 508
Долгоруков В. А., князь 43, 96, 98, 170, 185, 215, 221, 223—226, 229, 230, 233, 236, 237, 239, 249, 310, 419, 438, 505, 564, 568—570, 578
Дондас Д.-У., адмирал 8—10, 30, 32—34, 39, 50, 52, 57, 92, 290
Дондас Р.-С., вице-адмирал 418—420, 422—424, 426—428, 578, 579
Дондуков-Корсаков А. М. 496
Друшлевский, фейерверкер 194
Друэн де Люис Э. 18—21, 75, 76, 268, 276, 297—299, 301, 326, 336
Дункан, лорд 222
Дуф 178
Духонин Л. Г. 363, 575, 580
Духонин 458
Дюлак 440

Евгения 347, 522
Екатерина Михайловна, великая княгиня 216
Елена Павловна, великая княгиня 256, 320, 324
Енохин И. В. 325
Ермолов А. П. 258, 466, 580
Еромолов, капитан 489
Еропкин В. М. 161
Ершов А. И. 383, 576
Ефимов К. 163

Жабокритский Л. П., генерал 162, 163, 237, 354, 355, 359—361, 566, 575
Жандр А. 120, 135, 146, 147, 149, 564—566
Жемчужников Л. А. 233, 570
Жерве 370, 371, 374, 376, 382, 384—388, 391, 393, 397, 398, 404, 449, 452, 454, 456, 458, 459, 461
Жилкин 207, 208

Завойко В. С., адмирал 199—202, 207, 210, 212
Завойко Ю. П. 568

Загородников И. 71, 72
Зайончковский А. М. 131
Замойский А., граф 18, 19, 21, 83, 571
Затлер Ф. К., генерал 363
Зеебах Л. 474, 500
Зейдлиц 256
Зеленый 570, 571, 575, 578
Зориф паша 480, 581
Зюзенков И. П., капитан 3-го ранга 132, 560, 565

Ивэнс Л. 168, 173, 181, 182
Измаил-паша, см. Кмети Г.
Изыльметьев И. Н. 201, 212
Ильинский Д. В. 462, 580
Инглэнд, генерал 168, 265
Иннокентий 564
Инсарский В. И. 325, 574
Ирп Б. 52, 93, 561
Истомин В. И., адмирал 96, 124, 128, 129, 147—150, 171, 224, 226, 236, 238, 239, 242, 248, 252—255, 261, 355, 362, 378, 406, 408, 416, 449
Истомин К. И. 254

Кавелин К. Д. 468
Кавендиш-Тэйлор Г. 399, 577
Кавур К.-Б. 346, 550, 551
Кальноки Г. З. 271
Каму 372
Канробер Ф., генерал 22, 32, 37, 38, 40, 125, 135, 143—145, 150, 156, 159—161, 165, 167, 176, 179—181, 219, 220, 238, 265, 309, 343, 346, 348, 350, 358, 368, 372, 428, 429, 559
Кардиган 158—161, 164
Карелль Ф.-Я. 316, 318
Карл XII 78, 506
Карл XIV 75, 78, 80
Карл, кронпринц 77—80
Карпов 452
Картачевский Н. Г. 137
Каули, лорд 87, 336, 517, 523, 525, 526, 531, 537, 541, 543, 545
Кембриджский Г. В., герцог 141
Кемпбелл К.-Ф. 158, 159, 403, 577
Керим-паша 495
Керн Ф. С. 408, 412, 578
Кинглэк А.-У. 111, 127, 132, 143, 144, 368, 392, 566, 576, 577
Кингштедт, подполковник 69
Кирьяков, генерал 109—113, 133, 237
Киселев Н. Д. 72, 285, 570
Киселев П. Д. 97, 98, 249, 503—506
Клапка Г. 265, 266
Кларендон Д.-У. 21, 73, 87, 88, 274, 417, 515, 517, 518, 522, 523, 525, 526, 528, 531, 532, 534, 535, 537, 538, 541, 543, 545, 548—550, 574
Клейнмихель П. А., граф 97, 236
Кмети Г. 490, 495
Кнорринг 69, 562
Ковалевский, генерал 486, 488—490
Кодрингтон 144
Козлянинов 434
Колбрук Э. 181, 567
Колокольцев, генерал 484
Колтовской 411
Комаровский И. П. 410
Комиссаров Д. 163
Комовский 105, 253
Константин Николаевич, великий князь 46, 49, 57, 100, 116—117, 241, 249, 505, 560, 563, 564
Константинов О. И. 252, 454, 580
Корженевский Е. 570
Корнилов В. А., адмирал 95, 96, 98, 102, 120—130, 133—139, 145—151, 155, 224, 226, 231, 232, 236, 238, 239, 241, 252—255, 261, 360, 362, 378, 384, 387, 406, 408, 412, 416, 466, 564—566
Корнюльс 461
Королев, капитан-лейтенант 206
Короленко В. Г. 404
Коронини, генерал 280
Корф М. А. 473
Костырев 133
Коханович 471
Коцебу П. Е., генерал 259, 261, 359—361, 436, 465, 575
Кошка 153, 154, 245, 247, 396
Краббе Н. К., капитан 73, 116, 249, 561, 562, 571
Красовский И. И. 564
Креспе, капитан 351
Криднер, генерал 307
Кроу Д. 74
Крузенстольпе М.-Я. 73, 81
Крыжановский Н. А., генерал 363
Крылов А. Д. 176, 567
Крюднер 147, 413
Курников, майор 568
Кэмпбелл Д. 392, 395
Кэткарт Д. 168, 174, 178, 181

Лаблаш Л. 508
Лазарев М. П. 98, 145, 149, 236, 239, 240, 254, 408, 416
Лайонс Э. 77, 265, 577
Ла Мармора А. Ф. 401
Ламотруж 462
Лауниц 338
Лебедев, капитан 133

Лебединцев А. Г. 405
Левайан 440
Левеньельм, граф 74
Лек А. 490, 491
Лекэн Д.-Ч. 158—161, 164
Леопольд I 267, 268, 290
Леопольд, эрцгерцог 307
Лесли П. И. 576, 577
Ливен А. К. 249
Лидерс А. Н., генерал 314, 472
Липранди И. П. 227
Липранди П. П., генерал 155, 158, 162—165, 175, 177, 227, 434, 436, 438, 439, 443, 444, 566
Литке Н. Ф. 560
Литке Ф. П., вице-адмирал 45, 57, 419
Лихачев Д. 131, 132, 563, 565
Лихачев И. Ф. 128, 146, 565
Лобанов-Ростовский А. Б. 118
Лобстейн 76, 77, 84
Лонгворт 497
Лонгуорс 483
Лорис-Меликов М. Т. 492
Луи Бонапарт, см. Наполеон III
Луи-Наполеон, см. Наполеон III
Луи-Филипп 522
Лурмель 179, 183
Лысенко, генерал 455, 462, 466
Львов, лейтенант 149
Лэйард О.-Г. 142, 174, 565, 567
Лэйсонс Д. 394, 400
Людовик XV 505
Людовик-Наполеон, см. Наполеон III

Майдель 488, 489
Мак-Магон М.-Э. 387, 454, 455, 457, 458, 463
Максимилиан Баварский 272
Максутов А. П., князь 204, 206, 208
Максутов Д. П., князь 203, 204, 568
Малевский, полковник 397
Мандт М. 318, 320—325
Мантейфель О.-Т. 293, 300
Мантейфель Э.-Ф. 274, 293
Мария Александровна 318, 507
Мария Николаевна, великая княгиня 321
Маркс К. 11, 56, 94, 497, 559, 582
Мароль 460, 462
Матюшкин Ф. Ф., адмирал 46, 98
Мегмет-Эмин 496
Мейендорф П. К., барон 251, 268, 269, 505, 506, 536, 571, 572, 582
Мемсбери Д.-Г. 10, 559, 566
Меншиков А. С., князь 7, 24, 34, 39, 44, 48, 73, 90, 95—109, 111, 112, 114—117, 121—123, 126—137, 142, 146, 157, 162—173, 176, 177, 184—191, 215, 216, 221, 223—225, 227—233, 236—239, 241—245, 247, 248, 250—253, 256—261, 266, 283, 285, 290, 295, 305, 308—310, 317, 320, 335, 345, 350, 355, 361, 363, 405, 406, 409, 460, 470, 559—565, 567—571, 574, 575, 580
Меньков П. К., генерал 118, 188, 220, 230, 237, 248, 260, 261, 263, 564, 569, 570
Мигуэль дон 50
Микрюков 411
Милошевич Н. С. 359, 395, 570, 571, 575, 577, 578
Милютин Д. А. 89, 103, 105, 116, 157, 166, 184, 210, 249, 468, 551, 560, 566, 567, 571, 574, 578, 580, 584
Минин К. 555
Миньe К.-Э. 173, 178, 186
Михаил Николаевич, великий князь 57, 116, 169, 185, 216, 242, 340, 482, 569, 570, 575
Михаил Павлович, великий князь 236, 239
Михайлов, мичман 203, 207, 208.
Михеев 425
Мицкевич А. 18
Можайский, прапорщик 204
Моллер, генерал 127, 133, 134, 237
Морни Ш.-О., граф 499, 500, 518, 519
Мортанпре, генерал 37, 143, 175, 175, 184, 265
Мошнин В. А. 131
Муравьев А. Н. 484
Муравьев М. Н. 213, 484
Муравьев Н. Н., генерал 482—497, 581
Муравьевы 484
Мустье Л. де 348
Мушавер-паша, см. Слэд А.
Мэдженнис А. 82
Мэйран 381, 382, 384, 388, 391, 395
Мюнстер Г.-Г. 250, 348, 350

Навашин, полковник 398
Наиб-паша Р.-М., 29
Наполеон I 23, 61, 75, 78, 192, 238, 465, 499, 510
Наполеон III 7, 8, 11—13, 17—21, 23, 29, 31, 36, 42, 57, 59, 72, 73, 76, 78, 81—84, 86—89, 91, 93, 95, 114, 143, 145, 191, 198, 220, 222, 229, 251, 258, 266, 271, 272, 274, 275, 278, 281, 282, 284, 286, 292—297, 299, 302, 303, 309, 318, 326,

327, 330, 332, 335, 336, 346—350, 354, 358, 368, 370, 371, 416—418, 422, 428, 449, 465, 470, 471, 473, 474, 481, 498, 500—503, 509—516, 518—554, 571
Наполеон, принц 290
Нахимов П. С., адмирал 32, 89, 93, 95, 96, 98, 120, 123—130, 132, 133, 135—138, 146, 147, 150, 170, 171, 189, 190, 224, 226, 232, 234—236, 238—244, 247, 248, 251—256, 258—263, 342—345, 347, 349—360, 362, 363, 378, 386, 387, 400, 404—416, 432, 464, 554, 575, 577, 578
Невельский Г. И. 213, 568
Некрасов Н. А. 468
Нельсон Г., адмирал 93, 211, 212
Непир Ч., адмирал 10, 23, 45—66, 69, 72—75, 78—80, 82, 83, 85—87, 90—94, 317, 418, 422, 427, 428, 561, 562
Непир Э.-Э. 51, 93, 94
Нессельроде К. В., граф 72, 96, 118, 192, 249, 266, 270, 272, 275, 277—279, 281, 283, 285, 288, 290, 291, 300, 337, 470, 474, 499, 500, 503—505, 507—509, 511—516, 523, 525, 528, 533, 537, 545—547, 571—575, 582—584
Ниель А., генерал 107, 346, 352, 563
Николай I 18, 45, 53, 55, 57, 72, 73, 77, 81, 88, 95—97, 99, 114, 115, 177, 184, 185, 191, 192, 216, 229—231, 236, 239, 241, 242, 248, 249, 251, 260, 267, 268, 271—276, 278—288, 291—294, 296, 297, 300, 301, 303—305, 308—327, 329, 330, 332, 333, 335, 336, 340, 347, 349, 362, 418, 432, 445, 474, 475, 481, 482, 484, 502, 504, 515, 520, 522, 526, 540, 542, 544, 564, 567, 572, 574, 575, 581
Николай Николаевич, великий князь 169, 185, 186, 242, 567
Никонов 411
Ниоль, генерал 387
Нобель Л. 44, 45, 419, 420, 560
Новосильский, адмирал 153, 154, 436
Нолэн Л.-Э. 160, 161
Нуар Л. 576
Ньюкестльский К.-Г., герцог 23, 183

Оболенский Д. А., князь 229, 401, 442, 443, 570, 577, 579
Огарев, генерал 307
Омер-паша 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 33, 157, 280, 292, 309—311, 370, 474, 481, 483, 487, 491—494, 496, 534
Оммонэй 194
Орлов А. Ф., граф 115, 197, 250, 267, 271, 426, 469, 482, 503—506, 509—514, 516—529, 531—549, 552, 553, 568, 582«584
Оскар I 55, 62, 74—84, 428, 498
Осман-паша 491
Остен-Сакен Д. Е., барон 9, 189, 242, 243, 247, 248, 251—254, 259—261, 341, 344, 350, 355, 360, 361, 362, 386, 405, 406, 408, 432—436, 559, 564, 570, 571
Островский 386
Отмар д' 367, 382, 385, 387—389, 391, 393

Павел I 236
Павлов П. Я., генерал 168, 169, 171—173, 177, 178
Павловский 149
Пакра 389, 577
Пальмерстон Г.-Д., лорд 21, 49, 63, 74, 78, 87, 88, 94, 97, 114, 282, 292, 297, 318, 326, 335, 336, 347, 427, 428, 474, 481, 515, 518, 519, 523, 525, 528, 530, 531, 541, 545, 549, 553, 582
Пальмшерна Н. 74, 562
Панаев А. А. 103, 133, 136, 226, 232, 563
Панаев В. И. 325, 574
Панаев, подполковник 307
Панаева А. Я. 91
Панин В. Н. 325
Панфилов А. И. 411
Панютин С. Ф. 404
Парсеваль-Дешен, адмирал 56, 57, 62, 63—65, 72, 73, 84, 86, 89, 92
Паскевич И. Ф. 96, 99, 101, 115, 116, 230, 250, 251, 268, 269, 303, 313—314, 318, 362, 432, 442, 445—447, 470, 482, 564, 570, 572, 581
Пеликан А. В. 322, 574
Пеликан В. В. 322
Пелисье Ж.-Ж., генерал 12, 31, 32, 57, 176, 258, 305, 343, 346, 349, 352, 354, 358, 361, 367—373, 376, 378, 379, 381, 382, 384, 385, 388, 389, 391, 398, 400, 401, 440, 449, 450, 455—457, 461, 463, 464
Пеннифасер Д. 173—175
Перовский Л. А. 227
Перре С. 370, 388
Петр I 79

Петрашевский М. В. 227
Петров М. А. 561
Пий IX 326, 550
Пирд Д. 141
Пирогов Н. И. 96, 239, 256, 460, 571, 580
Пломридж, адмирал 60
Поггенполь Н. П. 325, 574
Погодин М. П. 45, 90, 91, 118, 191, 195, 416, 551, 568
Пожарский Д., князь 555
Поклонский 425
Покровский М. 581, 582
Поленов 187
Понтевс 461, 462
Попов А. А. 145, 147, 149
Попов А. Е., полковник 166, 167, 250
Попов М. М. 326, 566
Попов, мичман 201, 203
Прайс Д., адмирал 199—201, 205, 211—213
Прасковья Ивановна 380
Пугачев Е. И. 469
Путилов Н. 565
Пушкарев, капитан 196, 568
Пушкин А. С. 98, 269, 270, 582
Пфордтен Л.-К., фон дер 286—288, 294
Пэнмор Ф. 391
Пэно, адмирал 418, 419, 422, 426

Равенстейн Э.-Г. 214, 569
Раглан Ф.-Д., лорд 11, 13—15, 23, 28, 29, 31—33, 35, 37—41, 57, 111, 112, 124, 125, 142—144, 150, 157, 159—161, 164, 165, 167, 180, 181, 183, 219, 265, 280, 369, 372, 373, 379, 389—392, 394, 398—400
Разумовская, графиня 508
Реад Н. А., генерал 437—444, 446, 478
Реймерс В. Г. 234, 235
Реньо де Сен-Жан д'Анжели О.-М., генерал 346, 367
Решид-Мустафа-паша 315
Риве 460
Ридигер Ф. В. 315
Рикорд, адмирал 58
Робинсон Ф. 379, 576
Роз Г., полковник 265
Россель Д., лорд 315
Россель У.-Г. 26, 141, 181, 182, 560, 565
Ростопчин Ф. В. 471
Ростопчина Е. П., графиня 114
Ротшильд Д. 287, 519
Рудаков П. Д. 480, 581
Руднев И. Г. 239
Румянцев А. В., вице-адмирал 48
Рыжов И. И. 159
Рэмбо, полковник 222
Рюстов фон 493

Садык-паша, см. Чайковский М.
Саксен-Кобургский Э. 76
Салливан 423
Самарин Ю. Ф. 118
Сатурнин-Клечинский 19
Сеймур Г. 53, 54, 303
Сеймур Ч. 174
Сеймур, вице-адмирал 423
Селим-паша 479
Семевский М. И. 432
Семякин К. Р., генерал 216, 259, 261, 342, 350, 434, 436, 569, 575, 576
Сен-Поль 461
Сен-При д'Альмазан, герцог 183, 184, 567
Сент-Арно, маршал 7, 11—16, 21—24, 26—41, 57, 106, 111, 122, 124—126, 132, 138, 142, 143, 156, 160, 274, 280, 290, 369, 372, 560
Серебряков, вице-адмирал 8, 559
Сержпутовский 436
Сефер-бей 477, 478, 496
Симпсон Д., генерал 461, 462
Сину 499
Сиссэ 372
Скабичевский А. М. 192
Скандролов, лейтенант 208
Скарятин, лейтенант 340
Скэрлетт Д., 158, 159
Скюдери А. П. 437, 440
Славони Г. 152, 153
Слэд А. 26, 27, 560
Смирнов 257
Смирнова А. О. 223, 501, 502, 507, 508, 569
Соймонов Ф. И., генерал 168, 169, 171—173, 177, 178, 250
Соколов А. 413
Соколов 197
Сорокин А. Ф. 425
Степанов М. 577
Степанов, майор 383
Стерлинг Э. 374, 576
Стеценко 408
Столыпин А. Д. 401
Столыпин Д. А. 440, 441, 447
Строгановы 563, 564
Стрэтфорд-Редклиф, лорд 14, 21, 74, 97, 158, 162
Суворов А. А. 43
Суворов А. В., 132, 491
Сумароков С. П. 442, 579

Супонев А. Н. 436, 571, 579, 580
Сухозанет И. О., генерал 230, 236
Сэлливан, капитан 62, 562

Теляковский З. А. 104, 105, 563
Теше, капитан 65, 67, 69
Тимирязев, лейтенант 356—358, 575
Тимирязевы 575
Тимофеев Н. Д. 179, 180, 183
Тири, генерал 41
Тисдель 491
Толстой Л. Н. 467, 468
Тотлебен Э. И. 45, 96, 102—106, 120, 123—125, 127—129, 134—137, 148—151, 162, 165, 172, 173, 177, 182, 188, 224, 226, 234, 238, 242, 245, 248, 255, 261, 339, 340, 342, 343, 345, 349, 354, 355, 360—363, 374, 376, 379, 386, 387, 396, 403—407, 414, 416, 449, 455, 460, 563, 565, 567, 571, 575, 576
Трентовиус 43
Трофимов П. 358
Трошю Л.-Ж. 265, 352, 457
Тума 390, 400, 576, 577
Тургенев И. С. 467
Тютчев Ф. И. 317, 515, 551
Тютчева А. Ф. 317, 318, 449, 507—509, 574, 580, 582

Уикенден 378 576
Уиндэм Ч. 390
Уоллинг 217
Урусов, князь 308
Усов 413
Ухтомский А. А. 224, 236, 237, 252, 359, 414, 569, 570, 571, 575
Ушаков Н. И., генерал 436, 570
Ушаков 364
Уэст, лорд 392
Уэстморлэнд Д. 274, 275, 299, 301, 318, 328—334, 402

Фай Ш. 388, 403, 577
Фаррагут Д.-Г. 131
Федор Иоаннович 193
Фельдман А. И. 317, 349, 350
Фесун Н., мичман 200, 202, 203, 205, 212, 568
Философов 560
Финьгаузен 356
Форе Э. Ф., генерал 11, 265
Фоше 440
Франц-Иосиф 19, 20, 81, 265, 267, 268, 271—273, 276—288, 291, 292—295, 297—303, 326—328, 330, 333—335, 402, 498, 500, 501, 504, 522, 530, 544, 572

Фредерикс М. П. 321, 324, 574
Фридрих-Вильгельм IV 272, 274, 277, 282, 286, 293, 294, 300, 328, 498, 502
Фроссар Ш.-О. 352
Фульд А. 515
Фурцгельм, полковник 65

Харламов, мичман 356, 357
Хацелиус И. 81
Хиббери, полковник 392
Хиерта Л.-И. 77
Хлебников 251
Хомутов П. Ф. 106, 107, 129, 166, 477, 563, 565
Хрептович 24, 99, 290, 563
Христофоров, капитан 147
Хрулев С. А., генерал 96, 128, 137, 224, 248, 255, 305—310, 320, 350, 352, 353, 355, 356, 359, 360, 362, 385—388, 393, 397, 404, 405, 434—436, 455, 462, 466, 565
Хрущов А. П., генерал 96, 128, 178, 188, 248, 255, 259, 342, 345, 362, 386, 465, 467, 567, 568, 580

Цветковский 163
Цеханович 365
Циммерман А. Э., полковник 107, 175, 184, 361, 567, 575, 580

Чайковский М. И. 17—21, 23, 483
Чаплинский Г. 577
Чарторыйский А. Ю., князь 17—21, 83
Чарторыйский В. 21
Чебышев П. А. 414
Чебышева Ю. Г. 578
Чернышев А. И. 96, 98, 229, 236, 239
Чернышева 98
Чернышевский Н. Г. 225, 468
Черняев М. Г. 233, 570
Чеснович 459
Чечель, поручик 100, 101

Шамиль 28, 29, 476, 477, 483, 496—498, 532
Шварц 339, 343, 345, 376, 456, 457
Шварценберг Ф.-Л. 271
Шевырев С. П. 194
Шеель-Плессен, граф 78
Шейдеман К. Ф. 306, 308
Шелгунов Н. В. 319, 321, 574
Шелов 560
Шеншин Н. В. 250
Шернельд 81, 84
Шернкрейц 419
Шильдер К. А., генерал 305, 319, 385

Шильдер Н. К. 319, 361, 362, 563—565, 568, 570, 575, 578
Шиман Т. 282
Шишелев 195
Шперк В. Ф. 563
Штакеншнейдер Е. А. 325, 574
Шувалов П. А., граф 225
Шульча 163

Щеглов Д. 570
Щегловы 570
Щеголев, прапорщик 9
Щербатов А. П., князь 229, 570
Щербинин М. П. 484, 581

Эбелинг 266, 571
Эбердин Д.-Г., лорд 21, 29, 87, 274, 282, 292, 318, 335, 572
Эвальд А. В. 350, 575
Эйри Р. 160, 265, 391
Экгарт Ф. 302, 572, 573
Эльвертон 422
Энгельс Ф. 559, 582
Эрбильсн 440
Эренталь 271
Эриванский, граф, см. Паскевич И. Ф.
Эристов Н. Д. 478
Эрлангер 499
Эстергази В. 291, 501, 505, 507
Эстергази Г., граф 281, 286, 287, 291

Юньев 458
Юрьев С. Ф., капитан 1-го ранга 86
Юсуф, генерал 23
Юферов, генерал 384, 462, 463

Якоби Б.-С. 44, 45, 100, 101, 419, 420, 560
Яхтман 420

Aberdeen D.-G., см. Эбердин Д.-Г.

Bapst G., см. Бапст Ж.
Bazancourt S., см. Базанкур С.
Blerzy, см. Блерзи
Bocher Ch. 559
Borries K. 573
Burgoyne G.-F., см. Бергойн Д.-Ф.

Campbell C.-F., см. Кемпбелл К.-Ф.
Cempbell J. 577
Canonge F. 567
Castex 566, 569
Cavendish-Taylor G., см. Кавендиш-Тэйлор Г.
Clarendon, см. Кларендон
Colbrooke E., см. Колбрук Э.
Cowley H. M., см. Каули

Delorme A., см. Делорм А.
Dundas R.-S., см. Дондас Р.-С.

Earp B., см. Ирп Б.
Eckhart F., см. Экгарт Ф.
Eriksson S. 562
Evans L., см. Ивэнс Л.

Fay Ch., см. Фай Ш.

Geffroy A. 562
Gerlach L., см. Герлах Л.
Guérin L., см. Герэн Л.

Hailly E., см. Аий Э.
Hoseason, см. Госизон Д.-К.
Hübner, см. Гюбнер И.-А.
Hugues R. 560

Kinglake A.-W., см. Кинглэк А.-У

Layard A., см. Лэйард А.-Г.
Lyons E., см. Лайонс Э.

Malmesbury, см. Мемсбери Д.-Г.
Molènes P. 569

Niel A., см. Ниель А.
Noir L., 576

Pacra, см. Пакра
Palmstierna C.-F., см. Пальмшерна Н.
Pawlikowa M. 559
Peard G.-S. 565, 566
Perret S. 576, 577
Poggenpohl N., см. Поггенполь Н.-П.
Puryear V.-I. 574

Ravenstein E., см. Равенстейн Э.-Г.
Robinson F., см. Робинсон Ф.
Rothan G. 575
Runeberg C. M. 562
Russel W.-G., см. Россель У.-Г.

Saint Priest, duc d'Almzan, см. Сен-При Альмазан
Seymour G., см. Сеймур Г.
Slade A., см. Слэд А.
Squarr O. 560
Sterling A., см. Стерлинг Э.

Thoumas, см. Тума
Toly V. 562

Wickenden W., см. Уикенден
Wimpffen, см. Вимпфен
Wood E., см. Вуд Г.-Э.
Wurm C.-F. 575

ИЛЛЮСТРАЦИИ

	Стр.
Е. В. Тарле. Фронтиспис	
Титульный лист первого издания книги «Крымская война» (ч. II)	16
Карта театра главных военных действий в 1854—1856 годах . . .	556
План окрестностей Севастополя	556

СОДЕРЖАНИЕ

КРЫМСКАЯ ВОЙНА [ч. II]

Стр.

Глава I. Союзники в Варне и высадка в Крыму 7
Глава II. Балтийская кампания 1854 г. 42
Глава III. Альма 95
Глава IV. Корнилов и начало осады Севастополя 120
Глава V. Первая бомбардировка 140
Глава VI. Балаклава 156
Глава VII. Инкерман 165
Глава VIII. Белое море и Тихий океан. Неудача англо-французского флота у Петропавловска-на-Камчатке 193
Глава IX. Верховное командование и защитники Севастополя. Моряки и солдаты на вылазках. (Зима1854/55 г.) 215
Глава X. Борьба за дипломатическое присоединение Австрийской империи к западным державам и договор 2 декабря 1854 г. 264
Глава XI. Евпатория. Смерть императора Николая I 305
Глава XII. Венская конференция послов. (Декабрь 1854 г.—апрель 1855 г.) 327
Глава XIII. Борьба за Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет 338
Глава XIV. Первый общий штурм Севастополя и русская победа 6(18) июня 1855 г. 367
Глава XV. Смерть Нахимова 404
Глава XVI. Вторая Балтийская кампания 1855 г. 417
Глава XVII. Черная речка 4 августа 1855 г. 429
Глава XVIII. Штурм 27 августа (8 сентября) 1855 г. 448
Глава XIX. Военные действия на Северном Кавказе и в Закавказье в 1854—1855 гг. Взятие Карса 475
Глава XX. Парижский конгресс и мир 499
Заключение 553
Комментарии 557
Источники и литература 585
Приложения 609
Указатель имен 617
Иллюстрации 626

Тарле
Евгений Викторович
Собрание сочинений, т. IX
*
Составители:
А. В. Паевская, А. Г. Чернов
*
Редактор издательства *Н. А. Гусева*
Технический редактор *Т. П. Поленова*
Переплет художника *Н. А. Седельникова*
Корректор *В. А. Бобров*
*
Сдано в набор 26/VIII 1959 г. Подписано
к печати 22/X 1959 г. Формат 60×92¹/₁₆. Печ. л. 39¹/₄+3 вкл.
Уч.-изд. л. 42,3. Тираж 29 000
Изд. № 3961. Тип. зак. № 2210

Цена 20 руб.

Издательство Академии наук СССР.
Москва Б-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография Издательства АН СССР.
Москва Г-99, Шубинский пер., 10

ОПЕЧАТКИ В VIII ТОМЕ

Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть
128	14—15 св.	самодержавших	самодержавных
182	7 сн.	cetesprit	cet esprit
206	2 св.	Кларэдон	Кларэндон
490	11 св.	несколько	нисколько
526	15 сн.	ours	jours

